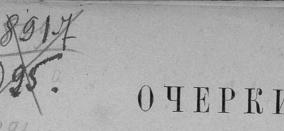


Tules 10257 16 pt 8-487 275531 27890. Hp. 2010 ПРОВЕРЕНО



ОЧЕРКИ 95-9 6-3 8/с/Р.

M.K

ГОГОЛЕВСКАГО ПЕРІОДА

РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

(Современникъ 1855—1856 гг.)

изданіе второв

М. Н. Чернышевокаго.

FI. A 200 B 1 2016

From George

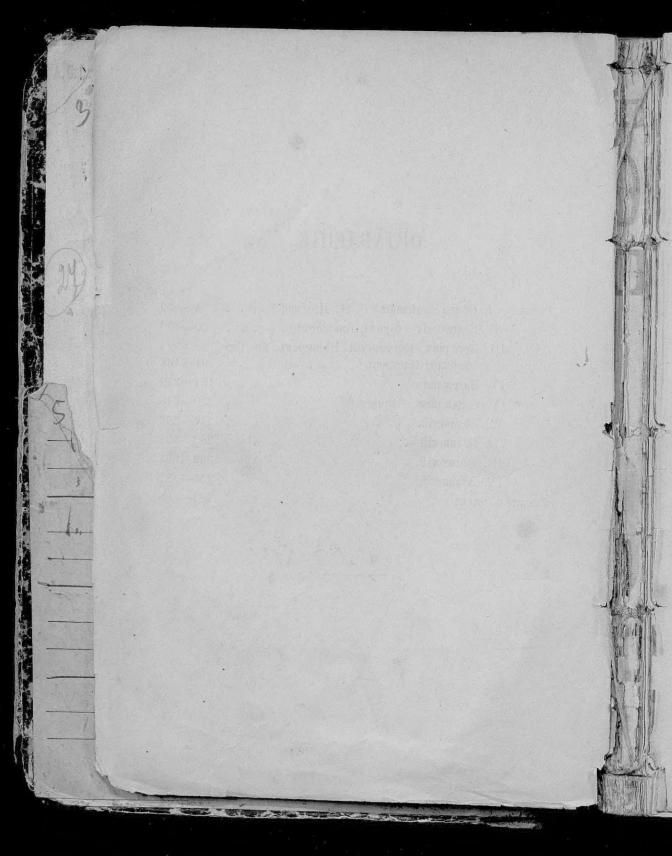
123 | Vill | 335 F. No. 1941

С.-ШЕТЕРБУРГЪ. Типографія в Литографія в. А. Тиханова, Садовая № 27. 8(0)17-35

ОГЛАВЛЕНІЕ.

			Стран.
Глава І. Общія замѣчанія. Н. А. Полевой			1- 49
» II. Сенковскій (баронъ Брамбеусь)			50- 90
» III. Погодинъ. Киръевскій. Шевыревъ. кн.	Bs	1-	
земскій. Плетневъ			91—163
» IV. Надеждинъ			164-219
» V. Надеждинъ. Белинскій			220—246
» VI. Бълинскій			247—282
» VII. Бълинскій			283-331
» VIII. Бѣлинскій			332-355
» IX. Вълинскій			356-382
Указатель именъ	1	1	383—386

Falle



ОТЪ ИЗДАТЕЛЯ.

(Предисловіе къ первому изданію).

Издаваемые нынѣ «Очерки Гоголевскаго періода русской литературы» печатались въ журналъ «Современникъ» 1855— 1856 гг. и въ свое время обратили на себя большое вниманіе, какъ первый опыть обстоятельнаго историко-литературнаго объясненія отношеній «Гоголевскаго періода»; они были и первою оцѣнкою дѣятельности Бѣлинскаго: не названный въ первыхъ главахъ, по условіямъ того времени, онъ только въ концѣ книги является съ его собственнымъ именемъ. Въ такой живой, и вмёстё популярной, форме картина литературы тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ не была въ другой разъ воспроизведена и до сихъ поръ. Послъдующіе историки нашей литературы цитировали «Очерки», какъ изследованіе, цённое и по фактическимъ указаніямъ, и по критической точкі зрѣнія; новѣйшія детальныя изысканія о той эпохѣ не уменьшили значенія этого труда и, излагая обыкновенно подробности безъ общаго историческаго освъщенія, можеть быть, дълають еще болье необходимымь такой цыльный обзорь эпохи, какой въ свое время и предпринялъ авторъ «Очерковъ».

Мих. Чернышевскій.

15 марта, 1892.

I, gi rc H 8) I)(I T The state of the s P

ОЧЕРКИ ГОГОЛЕВСКАГО ПЕРІОДА

РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

(Сочиненія Николая Васильевича Гоголя. *Четыре тома. Изданіе второе. Москва.* 1855.

Сочиненія Николая Васильевича Гоголя, найденныя посль его смерти. Похожденія Чичикова или Мертвыя Души. Томг второй. (Пять главг). Москва. 1855).

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Въ древности, о которой сохраняются нынъ лишь темныя, неправдоподобныя, но дивныя въ своей невероятности воспоминанія, какъ о времени миническомъ, какъ объ «Астрев», по выраженію Гоголя, —въ этой глубокой древности быль обычай начинать критическія статьи размышленіями о томъ, какъ быстро развивается русская литература. Подумайте (говорили намъ) — еще Жуковскій быль въ полномъ цвътъ силъ, какъ ужь явился Пушкинъ; едва Пушкинъ совершилъ половину своего поэтическаго поприща, столь рано пресвченнаго смертью, какъ явился Гоголь — и каждый изъ этихъ людей, столь быстро слёдовавшихъ одинъ за другимъ, вводилъ русскую литературу въ новый періодъ развитія, несравненно высшаго, нежели все, что дано было предъидущими періодами. Только двадцать пять льть раздыляють «Сельское кладбище» отъ «Вечеровъ на хуторѣ близь Диканьки», «Свѣтлану» отъ «Ревизора»,--и въ этотъ краткій промежутокъ времени, русская литература имѣла три эпохи, русское общество сделало три великіе шага впередъ по пути умственнаго и нравственнаго совершенствованія. Такъ начинались критическія статьи въ древности.

Эта глубокая, едва памятная нынёшнему покольнію древность была не слишкомъ давно, какъ можно предполагать изъ того, что въ преданіяхъ ея встрычаются имена Пушкина и Гоголя. Но—хотя мы отдылены отъ нея очень немногими годами, — она рышительно устарыла для насъ. Въ томъ увъряють насъ положительныя свидытельства почти всыхъ людей, пишущихъ нынь о русской литературь—какъ очевидную истину, повторяють они, что мы уже далеко ушли впередъ отъ критическихъ, эстетическихъ и т. п. принциповъ и мный той эпохи; что принципы ея оказались односторонними и неосновательными, мный—утрированными, несправедливыми; что мудрость той эпохи оказалась нынь суесловіемъ, и что истинные принципы критики, истинно мудрыя воззрыня на русскую литературу — о которыхъ не имыли понятія люди той эпохи — найдены русскою критикою только съ того времени, какъ въ русскихъ журналахъ критическія статьи начали оставаться неразрызанными.

Въ справедливости этихъ увъреній еще можно сомнъваться, твиъ болве, что они высказываются рвшительно безъ всякихъ доказательствъ; но то остается несомнъннымъ, что въ самомъ дълъ, наше время значительно разнится отъ незапамятной древности, о которой мы говорили. Попробуйте, напримфръ, начать нынф критическую статью, какъ начинали ее тогда, соображеніями о быстромъ развитіи нашей литературы — и съ перваго же слова вы сами почувствуете, что дело не ладится. Сама собою представится вамъ мысль: правда, что за Жуковскимъ явился Пушкинъ, за Пушкинымъ Гоголь, и что каждый изъ этихъ людей вносиль новый элементъ въ русскую литературу, расширяль ея содержаніе, изміняль ея направленіе; но что новаго внесено въ литературу после Гоголя? И отвътомъ будетъ: Гоголевское направление до сихъ поръ остается въ нашей литературъ единственнымъ сильнымъ и плодотворнымъ. Если и можно припоминать нъсколько сносныхъ, даже два или три прекрасныхъ произведенія, которыя не были проникнуты идеею сродною идев Гоголевыхъ созданій, то, несмотря на свои художественныя достоинства, они остались безъ вліянія на публику, почти безъ значенія въ исторіи литературы. Да, въ нашей литератур'в до сихъ поръ продолжается Гоголевскій періодъ-а вѣдь двадцать льть прошло со времени появленія «Ревизора», двадцать пять льть съ появленія «Вечеровъ на хуторѣ близь Диканьки»: - прежде, въ такой промежутокъ смѣнялись два-три направленія. Нынѣ-тосподствуеть одно и тоже, и мы не знаемъ, скоро-ли мы будемъ въ со- у стояніи сказать: «начался для русской литературы новый періодъ».

Изъ этого ясно видимъ, что въ настоящее время нельзя начинать критическихъ статей такъ, какъ начинали ихъ въ глубокой древности, —размышленіями о томъ, что едва мы усивваемъ привыкнуть къ имени писателя, дѣлающаго своими сочиненіями новую эпоху въ развитіи нашей литературы, какъ уже является другой, съ произведеніями, которыхъ содержаніе еще глубже, которыхъ форма еще самостоятельнѣе и совершеннѣе, —въ этомъ отношеніи нельзя не согласиться, что настоящее не похоже на прошедшее.

Чему же надобно приписать такое различие? Почему Гоголевскій періодъ продолжается такое число літь, какого въ прежнее время было достаточно для сміны двухъ или трехъ періодовъ? Выть можеть сфера Гоголевскихъ идей такъ глубока и общирна, что нужно слишкомъ много времени для полной разработки ихъ литературою, для усвоенія ихъ обществомъ, условія, отъ которыхъ, конечно, зависить дальнъйшее литературное развитіе, потому что, только поглотивъ и переваривъ предложенную пищу, можно алкать новой, только совершенно обезпечивъ себъ пользование тъмъ, что уже пріобрѣтено, должно искать новыхъ пріобрѣтеній, - быть можетъ, наше самосознание еще вполнъ занято разработкою Гоголевскаго содержанія, не предчувствуєть ничего другаго, не стремится ни къ чему болъе полному и глубокому? Или пора было бы явиться въ нашей литератури новому направлению, но оно не является вследствие какихъ нибудь постороннихъ обстоятельствъ? Предлагая последній вопрось, мы тёмь самымь даемь поводь думать, что считаемъ справедливымъ отвъчать на него утвердительно; а говоря: «да, пора было бы начаться новому періоду въ русской литературь», мы тымь самымь ставимь себь два полные вопроса: въ чемь же должны состоять отличительныя свойства новаго направленія, которое возникнеть и отчасти, хотя еще слабо, нервинтельно, уже возникаетъ изъ Гоголевскаго направленія? и какія обстоятельства задерживають быстрое развитие этого новаго направления? Послвиній вопрось, если хотите, можно решить коротко-хотя бы, напримъръ, и сожальніемъ о томъ, что не является новый геніальный писатель. Но вёдь опять можно спросить: почему же онъ не является такъ долго? Въдь прежде являлись же, да еще какъ быстро одинъ за другимъ-Пушкинъ, Грибовдовъ, Кольцовъ, Лермонтовъ, Гоголь...

пять человѣкъ, почти въ одно и то же время—значить не принадлежать же они къ числу явленій, столь рѣдкихъ въ исторіи народовъ, какъ Ньютонъ или Шекспиръ, которыхъ ждеть человѣчество по нѣскольку столѣтій. Пусть же теперь явился бы человѣкъ, равный хотя одному изъ этихъ пяти, онъ началъ бы своими твореніями новую эпоху въ развитіи нашего самосознанія. Почему же нѣтъ нынѣ такихъ людей? Или они есть, но мы ихъ не замѣчаемъ? Какъ хотите, а этого не слѣдуетъ оставлять безъ разсмотрѣнія. Дѣло очень казусное.

А иной читатель, прочитавъ послѣднія строки, скажетъ, качая головою: «не слишкомъ то мудрые вопросы; и гдѣ-то я читалъ совершенно подобные, да еще и съ отвѣтами, — гдѣ, дайте припомнить; ну, да, я читалъ ихъ у Гоголя, и именно въ слѣдующемъ отрывкѣ изъ подневныхъ «Записокъ сумасшедшаго»:

Декабря 5. Я сегодня все утро читаль газеты. Странныя дёла дёлаются въ Испаніи. Я даже не могъ хорошенько разобрать ихъ. Пишутъ, что престоль упразднень, и что чины находятся въ затруднительномъ положеніи о избраніи наслёдника. Мнё кажется это чрезвычайно страннымъ. Какъ же можеть быть престоль упразднень? На престоль долженъ быть король. "Да", говорять, "нёть короля"—не можеть статься, чтобъ не было короля. Государство не можетъ быть безъ короля. Король есть, да только онъ гдё нибудь скрывается въ неизвёстности. Онъ статься можетъ, находится тамъ же, но какія нибудь пли фамильныя прачины, или опасенія со сторовы сосёдственныхъ державъ, какъ-то: Франціи и другихъ земель, заставляють его скрываться, или есть какія нибудь другія причины.

Читатель будеть совершенно правъ. Мы двиствительно пришли къ тому же самому положенію, въ какомъ былъ Аксентій Ивановичь Поприщинъ. Дѣло только въ томъ, чтобы объяснить это положеніе на основаніи фактовъ, представляемыхъ Гоголемъ и новѣйшими нашими писателями, и переложить выводы съ діалекта, которымъ говорятъ въ Испаніи, на обыкновенный русскій языкъ.

Тритика вообще развивается на основаніи фактовъ, представляемыхъ литературою, произведенія которой служатъ необходимыми данными для выводовъ критики. Такъ, вслѣдъ за Пушкинымъ съ его поэмами въ Байроновскомъ духѣ и «Евгеніемъ Онѣгинымъ», явилась критика «Телеграфа»; Когда Гоголь пріобрѣлъ господство надъ развитіемъ нашего самосознанія, явилась такъ называемая критика 1840-выхъ годовъ... Такимъ образомъ

развитіе новыхъ критическихъ уб'єжденій каждый разъ было сл'єдствіемъ измѣненій въ господствующемъ характерѣ литературы. Понятно, что и наши критическія воззрівнія не могуть иміть притязаній ни на особенную новизну, ни на удовлетворительную законченность. Они выведены изъ произведеній, представляющихъ только нъкоторыя предвъстія, начатки новаго направленія въ русской литературѣ, но еще не выказывающихъ его въ полномъ развитін, и не могутъ содержать болъе того, что дано литературою. Она еще не далеко ушла отъ «Ревизора» и «Мертвыхъ Душъ», и наши статьи не могуть много отличаться по своему существенному содержанію отъ критическихъ статей; явившихся на основаніи «Ревизора» и «Мертвыхъ Душъ». По существенному содержанію, говоримъ мы, — достоинства развитія зависятъ исключительно отъ нравственныхъ силъ пишущаго и отъ обстоятельствъ; и если вообще должно сознаться, что наша литература въ последнее время измельчала, то естественно предполагать, что и наши статьи не могуть не носить того же характера, по сравнению съ тъмъ, что мы читали въ старину. Но какъ бы то ни было, не совершенно же безплодны были эти послёдніе годы--наша литература пріобрёла нісколько новыхъ тадантовъ, если и не создавшихъ еще ничего столь великаго, какъ «Евгеній Онвгинъ» или «Горе отъ ума», «Герой нашего времени» или «Ревизоръ» и «Мертвыя Души», то все же успавшихъ уже дать нама насколько прекрасныхъ произведеній, замёчательных самостоятельными достоинствами въ художественномъ отношении и живымъ содержаниемъ, произведений, въ которыхъ нельзя не видеть залоговъ будущаго развитія. И если въ нашихъ статьяхъ отразится хотя сколько нибудь начало движенія, выразившееся въ этихъ произведеніяхъ, онъ будутъ не совершенно лишены предчувствія о болье полномь и глубокомь развитіи русской литературы. Удается ли намъ это — рёшать читатели Но мы смёло и положительно сами присудимъ своимъ статьямъ другое достоинство, очень важное: онъ порождены глубокимъ уваженіемъ и сочувствіемъ къ тому, что было благороднаго, справедливаго п полезнаго въ русской литературъ и критикъ той глубокой древности, о которой говорили мы въ началь, древности, которая, впрочемъ, только потому древность, что забыта отсутствіемъ уб'яжденій или кичливостью и въ особенности мелочностью чувствъ и понятій,намъ кажется, что необходимо обратиться къ изученію высокихъ

стремленій, одушевлявшихъ критику прежняго времени; безъ того, пока мы не вспомнимъ ихъ, не проникнемся ими, отъ нашей критики нельзя ожидать никакого вліянія на умственное движеніе общества, никакой пользы для публики и литературы; и не только не будетъ она приносить никакой пользы, но и не будетъ возбуждать никакого сочувствія, даже никакого интереса, какъ не возбуждаетъ его теперь. А критика должна играть важную роль въ литературѣ, пора ей вспомнить объ этомъ.

Читатели могуть заметить въ нашихъ словахъ отголосокъ безсильной нервинительности, овладвишей русскою литературою въ последніе годы. Они могуть сказать: «вы хотите движенія впередь, и откуда же предлагаете вы почерпнуть силы для этого движенія? Не въ настоящемъ, не въ живомъ, а въ прошедшемъ, въ мертвомъ. Неодобрительны тв воззванія къ новой деятельности, которыя ставять идеалы себь въ прошедшемъ, а не въ будущемъ. Только сила отрицанія отъ всего прошедшаго есть сила, создающая н'вчто новое и лучшее». Читатели отчасти будутъ правы. Но и мы не совершенно неправы. Падающему всякая опора хороша, лишь бы подняться на ноги; и что же делать, если наше время не выказываеть себя способнымь держаться на ногахъ собственными силами? И что же дёлать, если этотъ падающій можеть опереться только на гробы? И надобно еще спросить себя, точно ли мертвецы лежатъ въ этихъ гробахъ? Не живые ли люди похоронены въ нихъ? По крайней мёре, не гораздо ли более жизни въ этихъ покойникахъ, нежели во многихъ людяхъ, называющихся живыми? Въдь если слово писателя одушевлено идеею правды, стремленіемъ къ благотворному действію на умственную жизнь общества, это слово заключаетъ въ себъ съмена жизни, оно никогда не будетъ мертво. И развѣ много лѣтъ прошло съ того времени, когда эти слова были высказаны? Нётъ; и въ нихъ еще столько свежести, они еще такъ хорошо приходятся къ потребностямъ настоящаго времени, что кажутся сказанными только вчера. Источникъ не изсякаетъ оттого, что лишившись людей, хранившихъ его въ чистоть, мы по небрежности, по легкомыслію, допустили завалить его хламомъ пустословія. Отбросимъ этотъ хламъ, -и мы увидимъ, что въ источникъ еще живымъ ключемъ бьетъ струя правды, могущая, хотя отчасти, утолить нашу жажду. Или мы не чувствуемъ жажды? Намъ хочется сказать «чувствуемъ», — но мы боимся, что придется прибавить: «чувствуемъ», только не слишкомъ сильно».

Читатели могли видѣть уже изъ того, что нами сказано, и увидять еще яснѣе изъ продолженія нашихъ статей, что мы не считаемъ сочиненія Гоголя безусловно удовлетворяющими всѣмъ современнымъ потребностямъ русской публики, что даже въ «Мертвыхъ Душахъ» (*) мы находимъ стороны слабыя, или по крайней

^{*)} Мы говоримъ вдёсь только о первомъ томё «Мертвыхъ Душъ», какъ и вездъ, гдъ не означено, что ръчь идеть о второмъ. Кстати, надобно сказать хотя несколько словь о второмь томе, пока придеть намъ очередь разбирать его подробно, при обзоръ сочиненій Гоголя. Напечатанныя нынъ пять главъ втораго тома «Мертвыхъ Душъ» уцёлели только въ черповой рукописи, и безъ сомивнія въ окончательной редакців имвли совершенно не тотъ видъ, въ какомъ теперь мы читаемъ ихъ — извъстно, что Гоголь работалъ туго, медленно, и только посяв множества поправокъ и передвлокъ, успъвалъ придать истинную форму своимъ произведеніямъ. Это обстоятельство, вначительно затрудняющее при рашеніи вопроса: «ниже или выше перваго тома «Мертвыхъ Душъ» въ художественномъ отношении было бы ихъ продолжение. окончательно обработанное авторомъ», не можетъ еще заставить насъ совершенно отказаться отъ сужденія о томъ, потеряль или сохраниль Гоголь всю громадность своего таланта въ эпоху новаго настроенія, выразившагося «Перепискою съ друзьями». Но общій приговорь о всемь черновомь эскизь, сохранившемся отъ втораго тома, делается невозможнымъ потому, что этотъ отрывокъ самъ, въ свою очередь, есть собраніе множества отрывковъ, написанныхъ въ различное время, подъ вліяніемъ различныхъ настроеній мысли, и кажется, написанныхъ по различнымъ общимъ планамъ сочиненія, наскоро перечерканныхъ безъ пополненія вычеркнутыхъ мість, -- отрывковъ, разпівленных пробълами, часто болъе значительными, нежели самые отрывки, наконецъ потому, что многія изъ сохранившихся страницъ были, какъ видно, отброшены самимъ Гоголемъ, какъ неудачныя, и заменены другими, написанными совершенно вновь, изъ которыхъ иныя-быть можетъ, въ свою очередь также отброшенныя — дошии до насъ, другія — и въроятно большее число — погибли. Все это заставляеть насъ разсматривать каждый отрывокъ порознь, и произносить суждение не о «пяти главахъ Мертвыхъ Душъ», какъ цільномъ, хотя и черновомъ эскизів, а только о различной степени достоинствъ различныхъ страницъ, не связанныхъ ни единствомъ плана, ни единствомъ настроенія, ни одинаковостью довольства ими въ авторів, ни даже единствомъ эпохи ихъ сочиненія. Многіе изъ этихъ отрывковъ решительно такъ же слабы и по выполнению и особенно по мысли, какъ слабъйши мъста «Перениски съ друвьями»; таковы особенно отрывки, въ которыхъ изображаются идеалы самого автора, напримёръ, дивный воспитатель Тентетникова, мно-

мъръ, недостаточно развитыя, что наконець въ нъкоторыхъ произведеніяхъ послъдующихъ писателей мы видимъ залоги болъе иолнаго и удовлетворительнаго развитія идей, которыя Гоголь обнималъ только съ одной стороны, не сознавая вполнъ ихъ сцъп-

гія страницы отрывка о Костанжогло, многія страницы отрывка о Муразовф; но это еще начего не доказываетъ. Изображение идеаловъ было всегда слабъйшею стороною въ сочиненияхъ Гоголя, и въроятно не столько по односторонности таланта, которой многіе приписывають эту неудачность, сколько именно по силк его таланта, состоявшей въ необыкновенно тъсномъ родствъ съ дъйствительностью: когда дъйствительность представляла идеальныя лица, они превосходно выходили у Гоголя, какъ напримёръ, въ «Тарасъ Бульбъ» или даже въ «Невскомъ Проспектѣ» (лицо художника Пискарева). Если же действительность не представляла идеальныхъ лицъ, или представляла въ положеніяхъ, недоступныхъ пскусству — что оставалось дёлать Гоголю? Выдумывать ихъ? Другіе, привыкшіе лгать, ділають это довольно искусно; по Гоголь никогда не умёль выдумывать, онъ самъ говорить это въ своей «Исповъди», и выдумки у него выходили всегда неудачны. Въ числъ отрывковъ втораго тома «Мертвыхъ Душъ» мпого выдуманныхъ, и пельзя не видъть, что они произошли отъ сознательнаго желанія Гоголя внести въ свое произведеніе отрадный элементь, о недостатк' котораго въ его прежнихъ сочиненіяхъ такъ многіе и такъ много и громко кричали и жужжали ему въ уши. Но мы не внаемъ, суждено ли было бы этимъ отрывкамъ уцёлёть въ окончательной редакціи «Мертвых» Душь» — художественный тактъ, котораго такъ много было у Гоголя, върно сказалъ бы ему при просмотръ сочиненія, что эти мъста слабы; и мы не имъемъ права утверждать, что стремление разлить отрадный колорить по сочинению пересилило бы тогда художническую критику въ авторъ, который былъ и неумолимымъ къ себъ и проницательнымъ критикомъ. Во многихъ случаяхъ эта фальшивая идеализація происходить, повидимому, чисто отъ произвола автора; но другіе отрывки обязаны происхожденіемъ искреннему, непроизвольному, котя и несправедливому убъжденію. Къ числу такихъ мъстъ относятся по преимуществу монологи Костанжогло, представляющіе смёсь правды и фальши, вёрныхъ замёчаній и узкихь, фантастическихь выдумокь; эта см'ясь удивить своею странною пестротою каждаго, кто не знакомъ коротко съ мнѣніями, которыя часто встрічались въ ніжоторых в изъ наших журналовь и принадлежать людямь, съ которыми Гоголь быль въ короткихъ отношеніяхъ. Чтобы охарактеризовать эти мижнія какимъ нибудь именемъ, мы держась правила: nomina sunt odiosa, назовемъ только покойнаго Загоскина, —многія страницы втораго тома «Мертвыхъ Душъ» кажутся проникнуты его духомъ. Мы не думаемъ, чтобы именно Загоскинъ имълъ хотя малъйшее вліяніе на Гоголя, и даже не знаемъ, въ какихъ отношеніяхъ они были между собою. Но метнія, проникающія насквозь послёдніе романы Загоскина и им'єющія дучнимъ изъ своихъ многочисленныхъ источниковъ простодушную и недальновидную любовь къ патленія, ихъ причинъ и следствій. И однако же мы осмелимся сказать, что самые безусловные поклонники всего, что написано Гоголемъ, превозносящіе до небесъ каждое его произведеніе, каждую

ріархальности, господствовали между многими ближайшими къ Гоголю людьми изъ которыхъ иные отличаются большимъ умомъ, а другіе начитанностью или даже ученостью, которая могла обольстить Гоголя, справедливо жалующагося, что не получить образованія, соотв'єтственнаго его таланту, и, можно прибавить, великимъ силамъ его нравственнаго характера. Ихъ-то мивніямъ конечно подчинялся Гоголь, изображая своего Костанжогло, или рисуя слёдствія, происшедшія отъ слабости Тентетникова (стр. 24—26). Подобныя мізста, встрфчавшіяся въ «Перепискѣ съ друзьями», болѣе всего содѣйствовали осужденію, которому подвергся за нее Гоголь. Впослёдствін мы постараемся разсмотръть, до какой степени его слъдуетъ осуждать за то, что онъ поддался этому вліянію, отъ котораго, съ одной стороны, долженъ быль предохранять его проницательный умъ, но противъ котораго, съ другой стороны пе имълъ онъ достаточно твердой подпоры ни въ прочномъ современномъ образованіи, ни въ предостереженіяхъ со стороны людей, прямо смотрящихъ на вещи - потому что, къ сожадению, судьба или гордость держала Гоголя всегда далеко отъ такихъ людей. Сдёлавъ эти оговорки, внушенныя не только глубокимъ уваженіемъ къ великому писателю, но еще болье чувствомъ справедливаго свисхожденія къ человіку, окруженному неблагопріятными для его развитія отношеніями, мы не можемъ, однако же, не сказать прямо, что понятія, внушившія Гоголю многія страницы втораго тома «Мертвыхъ Душъ», не достойны ни его ума, ни его таланта, ни особенно его характера, въ которомъ, песмотря на вет противортнія, до ныпт остающіяся загадочными, должно признать основу благородную и прекрасную. Мы должны сказать, что на многихъ страницахъ втораго тома, въ противоръчіе съ другими и лучшими страницами, Гоголь является адвокатомъ закоснедости; впрочемъ, мы увърены, что онъ принималъ эту закоснълость за что-то доброе, обольщаясь нёкоторыми сторонами ея, съ односторонней точки зрёнія могущими представляться въ поэтическомъ или кроткомъ видъ и закрывать глубокін язвы, которыя такъ хорошо видёлъ и добросовёстно изобличалъ Гоголь въ другихъ сферахъ, болъе ему извъстныхъ, и которыхъ не различилъ въ сферъ дъйствій Костанжогло, ему не столь хорошо знакомой. Въ самомъ дъль, второй томъ «Мертвыхъ Душъ» изображаетъ бытъ, котораго Гоголь почти не касался въ прежнихъ своихъ сочиненіяхъ. Прежде у него на первомъ планъ постоянно были города и ихъ жители, преимущественно чиновники и ихъ отношенія; даже въ первомъ томъ «Мертвыхъ Душъ», гдъ является такъ много помещиковъ, они изображаются не въ своихъ деревенскихъ отношеніяхъ, а только какъ люди, входящіе въ составъ такъ называемаго обравованнаго общества, или чисто съ исихологической стороны. Коснуться не вскользь сельскихъ отношеній Гоголь вздумаль только во второмъ томѣ «Мертвыхъ Душъ», и новость его на этомъ поприщъ можетъ до нъкоторой стеего строку, не сочувствують такъ живо его произведеніямъ, какъ сочувствуемъ мы, не приписывають его д'ятельности столь громаднаго значенія въ русской литературт, какъ приписываемъ мы. Мы называемъ Гоголя безъ всякаго сравненія величайшимъ изъ

пени объяснить его заблужденів. Быть можеть, при ближайшемъ изученім предмета, многія изъ набросанныхъ имъ картипъ совершенно измѣнили бы свой колоритъ въ окончательной редакців. Такъ или нѣть, но во всякомъ случать мы имѣемъ положительныя основанія утверждать, что каковы бы ни были нѣкоторые эпизоды во второмъ томѣ «Мертвыхъ Душъ», преобладающій характеръ въ этой книгѣ, когда бъ она была окончена, остался бы все-таки тотъ же самый, какимъ отличается и ея первый томъ и вст предъидущія творенія великаго писателя. Въ этомъ ручаются намъ первыя же строки изданныхъ ныяѣ главъ:

«Зачемь же изображать бёдность, да бёдность, да несовершенство нашей жизни, выканывая людей изъ глуши, изъ отдаленныхъ закоулковъ государства?—Чтожь дёлать, если уже таковы свойства сочипителя, и заболёвъ собственнымъ несовершенствомъ, уже не можетъ онъ изображать ничего другаго, какъ только бёдность, да бёдность, да несовершенства нашей жизни выканывая людей изъ глуши, изъ отдаленныхъ закоулковъ государства?...»

Очевидно, что это м'єсто, служащее программою второму тому, написано уже тогда, когда Гоголь быль сильно занять толками о мнимой односторопности его произведеній; когда онъ, считая эти толки справедливыми, уже объясняль свою мнимую односторонность собственными правственными слабостямя, —однимъ словомъ, оно принадлежитъ эпохъ «Переписки съ друзьями»; и однако же программою художника остается, какъ видимъ, прежняя программа «Ревизора» и перваго тома «Мертвыхъ Душъ». Да, Гоголь — художникъ оставался всегда въренъ своему призванію, какъ бы ни должны мы были судить о перемёнахъ, происшедшихъ съ нимъ въ другихъ отношеніяхъ-И дъйствительно, каковы бы ни были его ошибки, когда онъ говоритъ о предметахъ для него новыхъ,--но нельзя не признаться, перечитывая уцъявшія главы втораго тома «Мертвыхъ Душъ», что едва онъ переходить въ близко знакомыя ему сферы отношеній, которыя изображаль въ первомъ том' «Мертвыхъ Душъ», какъ талантъ его является въ прежнемъ своемъ благородствъ, въ прежней своей силъ и свъжести. Въ удълъвшихъ отрывкахъ есть очепь много такихъ страницъ, которыя должны быть причислены къ лучшему, что когда либо давалъ намъ Гоголь, которыя приводять въ восторгъ своимъ художественнымъ достоинствомъ, и что еще важнее, правдивостью и силою благороднаго негодованія. Не перечисляемъ этихъ отрывковъ, потому что ихъ слишкомъ много; укажемъ только пъкоторые: разговоръ Чичикова съ Бетрищевымъ о томъ, что всё требуютъ себе поощренія, даже воры, и анекдоть объясняющій выраженіе: «полюби насъ черненькими, а бъленькими насъ всякій полюбить», описаніе мудрыхъ учрежденій Кашкарева, судопроизводство надъ Чичиковымъ и геніальные поступки опытнаго

русскихъ писателей, по значеню. По нашему миѣнію, онъ имѣлъ полное право сказать слова, безмѣрная гордость которыхъ смутила въ свое время самыхъ жаркихъ его поклонниковъ, и которыхъ неловкость понятна и намъ:

"Русь! Чего ты хочешь оть меня? Какан непостижимая связь таится между нами? Что глядишь ты такъ и за чёмъ все, что ни есть въ тебъ, обратило на меня полныя ожиданія очи?"

Онъ имѣлъ полное право сказать это, потому что какъ ни высоко цѣнимъ мы значеніе литературы, но все еще не цѣнимъ его достаточно: она неизмѣримо важнѣе почти всего, что ставится выше ея. Байронъ въ исторіи человѣчества лицо едва ли не болѣе важное, нежели Наполеонъ, а вліяніе Байрона на развитіе человѣчества еще далеко не такъ важно, какъ вліяніе многихъ другихъ инсателей, и давно уже не было въ мірѣ писателя, который былъ бы такъ важенъ для своего народа, какъ Гоголь для Россіи.

юрисконсудьта; наконець, дивное окончаніе отрывка-різчь генераль-губернатора, ничего подобнаго которой мы не читали еще на русскомъ языкъ, даже у Гоголя. Эти мъста человъка самаго предубъжденнаго противъ автора «Переписки съ друвьями» убѣдять, что писатель, создавшій «Ревизора» и первый томъ «Мертвыхъ Душъ», до конца жизни останся веренъ себе, какъ художникъ, несмотря на то, что какъ мыслитель могъ заблуждаться;-убъдять, что высокое благородство сердца, страстная любовь къ правдъ и благу всегда горъди въ душъ его, что страстною ненавистью ко всему низкому и влому до конца жизни кипёль онъ. Что же касается чисто юмористической стороны его таланта, каждая страница, даже наименте удачная, представляеть доказательства, что въ этомъ отношении Гоголь всегда оставался прежнимъ великимъ Гогодемъ. Изъ большихъ отрывковъ, проникнутыхъ юморомъ, вейми читатенями втораго тома «Мертвыхъ Душъ» были замичены удивительные разговоры Чичикова съ Тентетниковымъ, съ генераломъ Бетрищевымъ, превосходно очерченные характеры Бетрищева, Петра Петровича Пътуха и его дътей, многія страницы изъ разговоровъ Чичикова съ Платоновыми, Костанжогло, Кашкаревымъ и Хлобуевымъ, превосходные характеры Кашкарева и Хлобуева, прекрасный эпизодъ повздки Чичикова къ Лвницыну и наконецъ мпожество эпизодовъ изъ носивдней главы, где Чичиковъ понадается подъ судъ. Однимъ словомъ, въ этомъ рядв черновыхъ отрывковъ, которые намъ останись отъ втораго тома «Мертвыхъ Душъ», есть слабые, которые безъ сомовнія были бы передвланы или уничтожены авторомъ при окончательной отдёлкё романа, но въ большей части отрывковъ, несмотря на ихъ неотдёланность, великій таланть Гоголя является съ прежнею своею силою, свъжестью, съ благородствомъ направленія, врожденнымъ его высокой натурь.

Прежде всего скажемъ, что Гоголя должно считать отцомъ русской прозаической литературы, какъ Пушкина-отцомъ русской поэзіи. Спѣшимъ прибавить, что это мнѣніе не выдумано нами, а только извлечено изъ статьи «О русской повъсти и повъстяхъ г. Гоголя», напечатанной ровно двадцать лътъ тому назадъ («Телескопъ», 1835 г., часть XXVI) и принадлежащей автору «Статей о Пушкинъ». Онъ доказываетъ, что наша повъсть, начавшаяся очень недавно, въ двадцатыхъ годахъ нынёшняго столетія, первымъ истиннымъ представителемъ своимъ имъла Гоголя. Теперь, послѣ того какъ явились «Ревизоръ» и «Мертвыя Души», надобно прибавить, что точно также Гоголь былъ отцомъ нашего романа (въ прозѣ) и прозаическихъ произведеній въ драматической формѣ, то есть, вообще русской прозы (не надобно забывать, что мы говоримъ исключительно объ изящной литературу). Въ самомъ дълъ, истиннымъ началомъ каждой стороны народной жизни надобно считать то время, когда эта сторона раскрывается замётнымъ образомъ, съ некоторою энергіею, и прочнымъ образомъ утверждаетъ за собою мъсто въ жизни, — всѣ предшествующія отривочныя, исчезающія безъ следа, энизодическія проявленія должны быть считаемы только порывами къ осуществленію себя, но еще не дъйствительнымъ существованіемъ. Такъ, превосходныя комедіи Фонвизина, не им'явшія вліянія на развитіе нашей литературы, составляють только блестящій эпизодь, предвіщающій появленіе русской прозы и русской комедін. Повъсти Карамзина имьють значеніе только для исторіи языка, но не для исторін оригинальной русской литературы, потому что русскаго въ нихъ нътъ ничего, кромъ языка. Притомъ же, и онъ скоро были подавлены наплывомъ стиховъ. При появленіи Пушкина, русская литература состояла изъ однихъ стиховъ, не знала прозы, и продолжала не знать ея до начала тридцатыхъ годовъ. Тутъ-двумя или тремя годами раньше «Вечеровъ на Хуторів», наділаль шума «Юрій Милославскій», —но надобно только прочитать разборъ этого романа, помещенный въ «Литературной Газеть», и мы осязательно убъдимся, что если «Юрій Милославскій» нравился читателямъ, не слишкомъ требовательнымъ относительно художественныхъ достоинствъ, то для развитія литературы онъ и тогда не могь считаться важнымъ явленіемъ, —и действительно, Загоскинъ имълъ только одного подражателя-себя самого. Романы Лажечникова пивли более достоинства, -- но не столько

чтобъ утвердить право литературнаго гражданства за прозою. Затемъ остаются романы Нарежнаго, въ которыхъ несколько эпизодовъ, имфющихъ несомненное достоинство, служать только къ тому. чтобы ярче выставить неуклюжесть разсказа и несообразность сюжетовъ съ русскою жизнью. Они, подобно Ягубу Скупалову, болже походять на лубочныя издёлія, нежели на произведенія литературы, принадлежащей образованному обществу. Русская повъсть въ прозъ имела более даровитыхъ деятелей, тежду прочими Марлинскаго. Полеваго, Павлова. Но характеристику ихъ представляетъ статья, о которой мы говорили выше, и для насъ довольно будеть сказать, что повъсти Полеваго признавались самыми дучшими изъ всёхъ, существовавшихъ до Гоголя, -- кто забылъ ихъ и хочеть составить себф понятіе о ихъ отличительныхъ качествахъ, тому совътуемъ прочесть превосходную пародію, помъщенную нъкогда въ «Отечественныхъ Запискахъ», (если не ошибаемся, 1843 г.)—«Необыкновенный Поединокъ»; а для тёхъ, кому не случится имёть ее подъ руками, помъщаемъ въ выноскъ характеристику лучшаго изъ беллетристическихъ произведеній Полеваго — «Аббаддоны». Если таково было лучшее изъ прозаическихъ произведеній, то можно себь вообразить, каково было достоинство всей прозаической отрасли тогдашней литературы *). Во всякомъ случав, новъсти были

^{*) «}Г. Полевой хотъль выразить въ своемъ романъ идею противоръчія поэзін съ прозою жизни. Для этого онъ представиль молодаго поэта въ борьбъ съ сухимъ, эгоистическимъ и прозаическимъ обществомъ. Но... во первыхъ. его поэть, этоть Рейхенбахь, есть то, что ижицы называють «прекрасная душа» (schöne Seele). Слова «прекрасная душа» имъли у нъмцевъ то благородное значеніе, которое им'вють они до сихъ поръ у насъ. Но теперь они у ивмцевъ употребляются какъ выражение чего-то комическаго, смешнаго. Такъ точно, еще недавно слова «чувствительность» и «чувствительный» употреблялись у насъ для отличія людей съ чувствомъ и душою отълюдей грубыхъ, животныхъ, лишенныхъ души и чувства; а теперь употребляются для выраженія слабаго, расплывающагося, растлівнаго и притворнаго чувства. Выраженіе «прекрасная душа» получило теперь у нёмцевъ впаченіе чего-то добраго, теплаго, но вийстй съ тимъ дитскаго, безсильнаго, фразерскаго и смѣшнаго. Рейхенбахъ г. Полеваго есть полный представитель такой «прекрасной души, -- и онъ твиъ смвшиве, что почтенный сочинитель нисколько не думаль издеваться надъ нимь, но отъ чистаго сердца убеждень, что представиль намъ въ своемъ Рейхенбахв истиннаго поэта, душу глубокую пламенную, могучую. И потому его Рейхенбахъ есть что-то уродливое, смъшное, не образъ и не фигура, а какая-то каракулька, начерченная на сфрой

несравненно лучше романовь, и если авторъ статьи, о которой мы упоминали, подробно обозрѣвъ всѣ существовавшія до Гоголя повѣсти, приходитъ къ заключенію, что, собственно говоря, «у насъ еще не было повѣсти» до появленія «Вечеровъ на Хуторѣ» и «Миргорода», то еще несомнѣннѣе, что у насъ не существовало романа. Были только попытки, доказывавшія, что русская литература готовится имѣть романъ и повѣсть, обнаруживавшія въ ней стремленіе къ произведенію романа и повѣсти. Относительно драматическихъ произведеній нельзя сказать и этого: прозаическія пьесы, дававшіяся на театрѣ, были чужды всякихъ литературныхъ качествъ, какъ водевили, передѣлываемые нынѣ съ французскаго.

Такимъ образомъ, проза въ русской литературѣ занимала очень мало мѣста, имѣла очень мало значенія. Она стремилась существовать, но еще не существовала.

и толстой бумагѣ дурно очиненнымъ неромъ. Въ немъ нѣтъ ничего поэтическаго: онъ просто добрый малый, и весьма педалекій малый,—а между тѣмъ, авторъ поставилъ его на весьма высокія ходули. Люди оскорбляютъ его не истинными своими недостатками, а тѣмъ, что не мечтаютъ, когда надо работать, и не восхищаются вечернею зарею, когда надо ужинать. Авторъ даже и не намекнулъ на истинныя противорѣчія поэзіи съ прозою жизни, поэта съ толною.

Рейхенбахъ любитъ Генріетту, простую дівушку безъ образованія, безъ эстетическаго чувства, но хорошенькую, добренькую и молоденькую. Кто не быль мальчикомь и не влюблялся такимь образомь и въ кувину, и въ сосёдку, и въ подругу но дётскимъ нграмъ? Но у кого же такая любовь и прододжалась за эту эпоху, когда воротнички á l'enfant мёняются на галстухъ? Рейхенбахъ думаетъ объ этомъ иначе и, во чтобы то ни стало, хочетъ обожать Генріетту до гробовой доски. Она тоже не прочь отъ этого. Но въ нхъ отношеніяхь ніть инчего поэтическаго, невыговариваемаго авторомь, но понятнаго для читателей. Вся любовь ихъ испаряется въ словахъ, въ дерзкихъ поцалуяхъ со стороны поэта, и въ «ахъ, что вы это?» со стороны хорошенькой мъщаночки. Вдругъ, Рейхенбаху предстаетъ Леонора. Это актриса,femme émancipée нашего времени, жрица искусства и любви. Любовница министра, дряхнаго, развратнаго старичишки, она томится жаждою любви глубокой и возвышенной. Въ Рейхенбахъ находить она свой идеаль. И вотъ, вы думаете, что она перерождается, какъ баядера Гёте, — ничего не бывало! Она только говорить о перерожденіи, о возстанін, о пламени любви своей. Вы думаете, что Рейхенбахъ оставляеть для этой сильной, иламенной и страстной души, столь обаятельной для юношей, -оставляеть для нея свою ребяческую любовишку къ добренькой кухарочкъ, --иичего не бывало! Онъ только колеблется между тою и другою, и въ этомъ колебаніи высказывается вся спабость его слабенькой натуры. Наконець Гепріетта рёшительно поб'яждаеть,

Въ строгомъ смыслѣ слова, литературная дѣятельность ограничивалась исключительно стихами. Гоголь былъ отцомъ русской прозы, и не только былъ отцомъ ея, но быстро доставилъ ей рѣшительный перевѣсъ надъ поэзіею, перевѣсъ, сохраняемый ею до сихъ поръ. Онъ не имѣлъ ни предшественниковъ, ни помощниковъ въ этомъ дѣлѣ. Ему одному проза обязана и своимъ существованіемъ, и всѣми своими успѣхами.

«Какъ! не имѣлъ предшественниковъ или помощниковъ? Развѣ можно забывать о прозанческихъ произведеніяхъ Пушкина?»— Нельзя, но во-первыхъ, они далеко не имѣютъ того значенія въ исторіи литературы, какъ его сочиненія, писанныя стихами: «Капитанская дочка» и «Дубровскій»—повѣсти, въ полномъ смыслѣ

особенно потому что Леопора впадаеть въ бъшенство и неистовствуетъ, какъ пьяная гетера, вивсто того, чтобъ представлять изъ себя плачущую слезами любви и раскаянія падшую пери. И чёмъ же оканчивается любовь нашего великаго поэта? а вотъ чёмъ, послушайте: «Генріетта ни за что не хотёла «соглашаться съ Вильгельмомъ, который увёрялъ, что съ этихъ поръ онъ «перестанетъ писать стихи. На усиленныя просьбы Генріетты не оставлять «стиховъ, онъ отвёчаль, смёнсь, что готовъ писать, но—только колыбельныя «пёсни для своихъ дётей. Тутъ нескромному Вильгельму зажали ротъ ма«ленькою ручкою, краснёли и не внали куда дёваться, пока другіе собееёдсяники смёнлись громко...» О, честное компанство добрыхъ мёщань? О, великій поэть, вышедшій изъ маленькой фантазіи! Видите ли, какъ ложпая, натянутая идеальность сходится наконецъ съ пошлою прозою жизни, мирится съ пею на конфектныхъ страстишкахъ, картофельныхъ нёжностяхъ и плоскихъ шуткахъ?.. Это не то, что на человёческомъ языкъ пазывается «любить», а то, па мёщанскомъ языкъ пазывается «амуриться»...

«Вообще, многое въ романѣ г. Полеваго можетъ быть прочтено не безъ удовольствія, а иное и съ удовольствіемъ, но цѣлое странно: теперь опо развѣ усыпитъ сладко, и ужь никого не увлечетъ. Когда, рисуя смѣшное, авторъ знаетъ, что онъ рисуетъ смѣшное,—картина можетъ быть великимъ созданіемъ; по когда авторъ изображаетъ намъ Донъ-Кихота, думая изображать Александра Македонскаго или Юлія Цезаря,—картина выйдетъ суздальская, лубочная литографія съ изображеніемъ райской птицы и наивною надписью:

Райская птица Сиренъ, Гласъ ея въ пъпін зъло силенъ: Когда Господа воспъваетъ, Сама себя позабываетъ...

Поэзія, поэтъ, любовь, женщина, жизнь, ихъ взаимныя отношенія,—все это въ «Аббаддонъ» похоже на цвъты, сдъланные изъ старыхъ тряпокъ..

(Отеч. Заи. 1841 г., томъ XV, библіограф. хроника).

слова превосходныя; но укажите, въ чемъ отразилось ихъ вліяніе? гдъ школа писателей, которыхъ было бы можно назвать послъдователями Пушкина, какъ прозаика? А литературныя произведенія бывають одолжены значеніемъ не только своему художественному достоинству, но даже (или даже еще болье) своему вліянію на развитіе общества или, по крайней мёрё, литературы. Но главное-Гоголь явился прежде Пушкина, какъ прозанка. Первыми изъ прозаическихъ произведеній Пушкина (если не считать незначительныхъ отрывковъ) были напечатаны «Повъсти Бълкина»---въ 1831 г.; но всв согласятся, что эти повъсти не имъли большаго художественнаго достопиства. Затемъ, до 1836 года, была напечатана только «Пиковая дама» (въ 1834 году)--никто не сомиввается въ томъ, что эта небольшая пьеса написана прекрасно, но также никто не принишеть ей особенной важности. Между тъмъ, Гоголемъ были напечатаны «Вечера на хуторь» (1831—1832), «Повъсть о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ» (1833), «Миргородъ» (1835)-то есть, все, что въ послъдствін составило двъ первыя части его Сочиненій; кромъ того, въ «Арабескахъ» (1835)-«Портретъ», «Невскій проспектъ», «Записки сумасшедшаго». Въ 1836 году Пушкинъ напечаталъ «Капитанскую дочку»—но въ томъ же году явился «Ревизоръ», и кромъ того «Коляска», «Утро дёловаго человека» и «Нось». Такимъ образомъ, большая часть произведеній Гоголя, и въ томъ числѣ «Ревизоръ», были уже извъстны публикъ, когда она знала еще только «Пиковую даму» и «Капитанскую дочку» («Арапъ Петра Великаго», «Летопись села Горохина», «Сцены изъ рыцарскихъ времент» были напечатаны уже въ 1837 г., по смерти Пушкина, а «Дубровскій» только въ 1841)—публика имела довольно времени проникнуться произведеніями Гоголя прежде, нежели познакомилась съ Пушкинымъ, какъ прозаикомъ.

Въ общемъ теоретическомъ смыслѣ, мы не думаемъ отдавать предпочтенія прозаической формѣ надъ поэтическою, или наобороть—у каждой изъ нихъ есть свои несомнѣнныя преимущества; но что касается собственно русской литературы, то смотря на нее съ исторической точки зрѣнія, нельзя не признать, что всѣ предъидущіе періоды, когда преобладала поэтическая форма, далеко уступаютъ въ значеніи и, для искусства и для жизни послѣднему, Гоголевскому періоду, періоду господства прозы. Что принесеть лите-

25531.

ратурѣ будущее, мы не знаемъ; мы не имѣемъ основаній отказывать нашей поэзіи въ великой будущности; но должны сказать, что до настоящаго времени прозанческая форма была и продолжаетъ быть для насъ гораздо илодотворнѣе стихотворной, что Гоголь даль существованіе этой важнѣйшей для насъ отрасли литературы, и единственно онъ доставилъ ей тотъ рѣшительный перевѣсъ, который она сохраняетъ до настоящаго времени и по всей вѣроятности сохранитъ еще надолго.

Нельзя сказать, напротивъ того, чтобы Гоголь не имълъ предшественниковъ въ томъ направленіи содержанія, которое называютъ сатирическимъ. Оно всегда составляло самую живую, или, лучше сказать, единственную живую сторону нашей литературы. Не будемъ дълать распространеній на эту общепризнанную истину, не будемъ говорить о Кантемиръ, Сумароковъ, Фонвизинъ и Крыловъ. но должны упомянуть о Грибовдовв. «Горе оть ума» имветь недостатки въ художественномъ отношеніи, но остается до сихъ поръ одною изъ самыхъ любимыхъ книгъ, потому что представляетъ рядъ превосходныхъ сатиръ, изложенныхъ то въ формъ монологовъ, то въ видъ разговоровъ. Почти столь же важно было вліяніе Пушкина, какъ сатирическаго писателя, какимъ онъ явился преимущественно въ «Онъгинъ». И однако же, несмотря на высокія достоинства и огромный усибхъ комедін Грибобдова и романа Пушкина. должно принисать исключительно Гоголю заслугу прочнаго введенія въ русскую изящную литературу сатирическаго — или, какъ справедливе будеть называть его, критического направленія *).

1971

^{*)} Въ новъйшей наукъ, критикою называется истолько суждение о явленияхь одной отрасли народной жизни—искусства, литературы или науки, но вообще суждение о явленияхъ жизни, произносимое на основании понятий, до которыхъ достигло человъчество, и чувствъ, возбуждаемыхъ этими явлениями при сличении ихъ сътребованиями разума. Понимая слово «критика» въ этомъ общиритищемъ смыстъ, говорятъ: «Критическое направление въ изящной литературъ, въ поэзи» — этимъ выражениемъ обозначается направление до нъкоторой степени сходное съ «аналитическимъ направлениямъ, анализомъ» въ интературъ, о которомъ такъ много говорили у насъ. По различие состоитъ въ томъ, что «аналитическое направление» можетъ изучать подробности житейскихъ явлений и воспроизводить ихъ подъ влиниемъ самыхъ разнородныхъ стремлений, даже безъ всякаго стремления, безъ мысли и смысла, а «критическое направление» при подробномъ изучении и формоизведении явлений жизни, проникнуто сознаниемъ о соотвътстви или несоотъ тольно и зучения жъ явлений проникнуто сознаниемъ о соотвътстви или несоотъ тольно и зучения жъ явлений проникнуто сознаниемъ о соотвътстви или несоотъ тольно изучения жъ явлений проникнуто сознаниемъ о соотвътстви или несоотъ тольно и зучения жъ явлений проникнуто сознаниемъ о соотвътстви или несоотъ тольно изучения жъ явлений

Несмотря на вопросъ, возбужденный его комедіею, Грибо довъ не имъть послъдователей, и «Горе отъ ума» осталось въ нашей литературъ одинокимъ, отрывочнымъ явленіемъ, какъ прежде комедіп Фонвизина и сатиры Кантемира, осталось безъ зам'єтнаго вліянія на литературу, какъ басни Крылова *). Что было тому причиною? Конечно, господство Пушкина и плеяды поэтовъ, его окружавшей. «Горе отъ ума» было произведеніемъ, на столько блестящимъ и живымъ, что не могло не возбудить общаго вниманія; но геній Грибойдова не быль такъ великъ, чтобы однимъ произведеніемъ пріобрасть съ перваго же раза господство надъ литературою. Что же касается до сатирическаго направленія въ произведеніяхъ самого Пушкина, то оно заключало въ себъ слишкомъ мало глубины и постоянства, чтобы производить заметное действіе на публику и литературу. Оно почти совершенно пропадало въ общемъ впечатленіи чистой художественности, чуждой определеннаго направленія, — такое внечатлівніе производять не только всів другія лучшія произведенія Пушкина-«Каменный гость», «Борисъ Годуновъ», «Русалка» и проч., но и самый «Онъгинъ»: — у кого есть сильное предрасположение къ критическому взгляду на явленія жизни, только на того произведуть вліяніе б'яглыя и легкія сатирическія замітки, попадающіяся въ этомъ романі; — читателями, не предрасположенными къ нимъ, они не будутъ замъчены, потому что дъйствительно составляють только второстепенный элементъ въ содержаніи романа.

Такимъ образомъ, не смотря на проблески сатиры въ «Онътинъ» и блестящія филиппики «Горе отъ ума», критическій элементъ играль въ нашей литературѣ до Гоголя второстепенную роль. Да и не только критическаго, но и почти никакого другаго опредъленнаго элемента нельзя было отъпскать въ ея содержаніи, если смотрѣть на общее впечатлѣніе, производимое всею массою

съ нормою разума и благороднаго чувства. Потому «критическое направленіе» въ литературъ есть одно изъ частныхъ видоизмъпеній «аналитическаго направленія» вообще. Сатирическое направленіе отличается отъ критическаго, какъ его крайность, не заботящаяся объ объективности картинъ, и допускающая утрировку.

^{*)} Мы говоримъ о направленіи литературы, о ея духѣ, стремленіяхъ, а не о развитіи литературнаго языка,—въ послѣднемъ отношеніи, какъ уже тысячу разъ было замѣчаемо въ нашихъ журналахъ, Крыловъ долженъ быть считаемъ однимъ изъ предшественниковъ Иушкина.

сочиненій, считавшихся тогда хорошими или превосходными, а не останавливаться на немногихъ исключеніяхъ, которыя, являясь случайными, одинокими, не производили замѣтной перемѣны въ общемъ духѣ литературы. Ничего опредѣленнаго не было въ ея содержаніи,—сказали мы,—потому что въ ней почти вовсе не было содержанія. Перечитывая всѣхъ этихъ поэтовъ—Языкова, Козлова и проч., дивишься тому, что на столь бѣдныя темы, съ такимъ скуднымъ запасомъ чувствъ и мыслей, успѣли они написать столько страницъ,—хотя и страницъ написано ими очень немного—приходишь наконецъ къ тому, что спрашиваешь себя: да о чемъ же они писали? и писали ли они хотя о чемъ нибудь; или просто ни о чемъ? Многихъ не удовлетворяетъ содержаніе Пушкинской ноэзіп,— но у Пушкина было во сто разъ больше содержанія, нежели у его сподвижниковъ, взятыхъ вмѣстѣ. Форма была у нихъ почти все, подъ формою не найдете у нихъ почти ничего.

Такимъ образомъ за Гоголемъ остается заслуга, что онъ первый даль русской литературь рашительное стремление къ содержанію, и притомъ стремленіе въ столь плодотворномъ направленіи, какъ критическое. Прибавимъ, что Гоголю обязана наша литература и самостоятельностью. За неріодомъ чистыхъ подражаній п передёлокъ, какими были почти всё произведенія пашей литературы до Пушкина, следуеть эпоха творчества, несколько более свободнаго. Но произведенія Пушкина все еще очень близко напоминають или Байрона, или Шекспира, или Вальтера-Скотта. Не говоримъ уже о Байроновскихъ поэмахъ п «Онъгинъ», котораго несправедливо называли подражаніемъ «Чайльдъ-Гарольду», но который однако же действительно не существоваль бы безъ этого Байроновскаго романа; но точно также «Борисъ Годуновъ» слишкомъ замътно подчиняется историческимъ драмамъ Шекспира, «Русалка»—прямо возникла изъ «Короля Лира» и «Сна въ лътнюю ночь», «Канитанская дочка» -- изъ романовъ Вальтера-Скотта. Не говоримъ уже о другихъ писателяхъ той эпохи, -- ихъ зависимость отъ того или другаго изъ европейскихъ поэтовъ слишкомъ ярко бросается въ глаза. То ли теперь?-повъсти г. Гончарова, г. Григоровича, Л. Н. Т., г. Тургенева, комедін г. Островскаго также мало наводять вась на мысль о заимствовании, также мало напоминають вамъ, что либо чужое, какъ романъ Диккенса, Теккерея, Жоржа-Санда. Мы не думаемъ дълать сравненія между

этими писателями по таланту или значеню въ литературѣ; но дѣло въ томъ, что г. Гончаровъ представляется вамъ только г. Гончаровымъ, только самимъ собою, г. Григоровичъ также, каждый другой даровитый нашъ писатель также,—ничья литературная личность не представляется вамъ двойникомъ какого нибудь другаго писателя, ни у кого изъ нихъ не выглядывалъ изъ-за плечъ другой человѣкъ, подсказывающій ему—ни о комъ изъ нихъ нельзя сказать «Сѣверный Диккенсъ», или «Русскій Жоржъ-Сандъ», или «Теккерей сѣверной Пальмиры». Только Гоголю мы обязаны этою самостоятельностью, только его творенія своею высокою самобытностью подняли нашихъ даровитыхъ писателей на ту высоту, гдѣ начинается самобытность.

Впрочемъ, какъ ни много почетнаго и блестящаго въ титулъ «основатель плодотворнъйшаго направленія и самостоятельности въ литературѣ»--- но этими словами еще не опредъляется вся великость значенія Гоголя для нашего общества и литературы. Онъ пробудиль въ насъ сознание о насъ самихъ-вотъ его истинная заслуга, важность которой не зависить оть того, первымъ или десятымъ изъ нашихъ великихъ писателей должны мы считать его въ хронологическомъ порядкв. Разсмотрвніе значенія Гоголя въ этомъ отношении должно быть главнымъ предметомъ нашихъ статей, -- дъло очень важное, которое быть можетъ признали бы мы превосходящимъ наши силы, если бы большая часть этой задачи не была уже исполнена, такъ что намъ, при разборѣ сочиненій самого Гоголя остается почти только приводить въ систему и развивать мысли, уже высказанные критикою, о которой мы говорили въ началъ статьи; дополненій, собственно намъ принадлежащихъ, будетъ немного, потому что, хотя мысли, нами развиваемыя, были высказываемы отрывочно, по различнымъ поводамъ, однакоже если свести ихъ вмёстё, то немного останется пробёловъ, которые нужно дополнить, чтобы получить всестороннюю характеристику произведеній Гоголя. Но чрезвычайное значеніе Гоголя для русской литературы еще не совершенно опредъляется оцънкою его собственныхъ твореній: Гоголь важенъ не только, какъ геніальный писатель, но вийстй съ тимъ и какъ глава школы-единственной школы, которою можеть гордиться русская литература, —потому что ни Грибофдовъ, ни Пушкинъ, ни Лермонтовъ, ни Кольцовъ не имфли учениковъ, которыхъ имена были бы важны для исторіи русской литературы. Мы должны убѣдиться, что вся наша литература, на сколько она образовалась подъ вліяніемъ нечужеземныхъ писателей, примыкаетъ къ Гоголю и только тогда представится намъ въ полномъ размѣрѣ все его значеніе для русской литературы. Сдѣлавъ этотъ обзоръ всего содержанія нашей литературы въ ея настоящемъ развитіп, мы будемъ въ состояніи опредѣлить, что она уже сдѣлала и чего мы должны еще ожидать отъ нея, — какіе залоги будущаго представляетъ она, и чего еще не достаетъ ей, — дѣло интересное, потому что состояніемъ литературы опредѣляется состояніе общества, отъ котораго всегда она зависитъ.

Какъ ни справедливы мысли о значении Гоголя, высказанныя здёсь, -- мы можемъ, нисколько не стёсняясь опасеніями самохвальства, называть ихъ совершенно справедливыми, потому что онъ высказаны въ первый разъ не нами, и мы только усвоили ихъ, следовательно самолюбіе наше не можеть ими гордиться, оно остается совершенно въ сторонъ, - какъ ни очевидна справедливость этихъ мыслей, но найдутся люди, которымъ покажется, что мы слишкомъ высоко ставимъ Гоголя. Это потому, что до сихъ поръ еще остается много людей, возстющихъ противъ Гоголя. Литературная судьба его въ этомъ отношении совершенно различна отъ судьбы Пушкина. Пушкина давно уже все признали великимъ, неоспоримо великимъ писателемъ; имя его-священный авторитетъ для каждаго русскаго читателя и даже нечитателя, какъ, напримфрь, Вальтерь Скотть авторитеть для каждаго англичанина, Ламартинъ и Шатобріанъ для француза, или, чтобы перейдти въ болъе высокую область, Гете для нъмца. Каждый русскій есть цочитатель Пушкина, и никто не находить неудобнымъ для себя признавать его великимъ писателемъ, потому что поклонение Пушкину не обязываеть ни къ чему, понимание его достоинствъ не обусловливается никакими особенными качествами характера, никакимъ особеннымъ настроеніемъ ума. Гоголь, напротивъ, принадлежитъ къ числу техъ писателей, любовь къ которымъ требуетъ одинаковаго съ ними настроенія души, потому что ихъ д'ятельность есть служеніе определенному направленію нравственных встремленій. Въ отношения къ такимъ писателямъ, какъ напримеръ, къ Жоржу Занду, Беранже, даже Диккенсу и отчасти Теккерею, публика раздъляется на двъ половины: одна не сочувствующая ихъ стремленіямь, негодуеть на нихь; но та, которая сочувствуеть, до преданности любить ихъ, какъ представителей ся собственной нравственной жизни, какъ адвокатовъ ея собственныхъ горячихъ желаній и задушевивишихъ мыслей. Отъ Гете никому не было ни тепло, ни холодно; онъ равно привътливъ и утонченно деликатенъ къ каждому — къ Гете можетъ являться каждый, каковы бы ни были его права на нравственное уважение - уступчивый, мягкій и въ сущности довольно равнодушный ко всему и ко всемь, хозяинъ ни кого не оскорбить не только явною суровостью, даже ни однимъ щекотливымъ намекомъ. Но если речи Диккенса или Жоржа Санда служать утвшеніемъ или подкрвпленіемъ для однихъ, то уши другихъ находять въ нихъ много жестокаго и въ высшей степени не пріятнаго для себя. Эти люди живуть только для друзей; они не держатъ открытаго стола для каждаго встречнаго и поперечнаго; пной, если сядеть за ихъ столь, будеть давиться каждымъ кускомъ и смущаться оть каждаго слова; и убъжавь изъ этой тяжелой бесъды, въчно будетъ онъ «поминать лихомъ» суроваго хозяина. Но если у нихъ есть враги, то есть и многочисленные друзья; и никогда «незлобивый поэть» не можеть имёть таких в страстных иочитателей, какъ тотъ, кто, подобно Гоголю, «пптая грудь ненавистью» ко всему низкому, пошлому и пагубному, «враждебнымъ словомъ отриданья» противъ всего гнуснаго «проповедуетъ любовь» къ добру и правдъ./Кто гладить по шерсти всъхъ и все, тотъ, кромъ себя, не любитъ никого и ничего; къмъ довольны всъ, тотъ не дѣлаетъ вичего добраго, потому что добро невозможно безъ оскорбленія зла. Кого никто не ненавидить, тому никто ничъмъ не обязанъ.

Гоголю многимъ обязаны тѣ, которые нуждаются въ защитѣ; онъ сталъ во главѣ тѣхъ, которые отрицаютъ злое и пошлое. Потому онъ имѣлъ славу возбудить во многихъ вражду къ себѣ. И только тогда будутъ всѣ единогласны въ похвалахъ ему, когда исчезнетъ все пошлое и низкое, противъ чего онъ боролся!

Мы сказали, что наши слова о значении произведений самого Гоголя будуть только въ немногихъ случаяхъ дополнениемъ, а по большей части только сводомъ и развитиемъ воззрѣний, выраженныхъ критикою Гоголевскаго періода литературы, центромъ которой были «Отечественныя Записки», главнымъ дѣятелемъ тотъ критикъ, которому принадлежатъ «Статъи о Пушкинъ». Такимъ образомъ, эта половина нашихъ статей будетъ имѣть по преимуществу

историческій характеръ. Но исторію надобно начинать съ начала, и прежде, нежели будемъ мы излагать мивнія, которыя принимаемъ, должны мы представить очеркъ мненій, высказанныхъ относительно Гоголя представителями прежнихъ литературныхъ партій. Это тамъ более необходимо, что критика Гоголевскаго періода развивала свое вліяніе на публику и литературу въ постоянной борьбѣ съ этими партіями, что отголоски сужденій о Гоголь, высказанныхъ этими партіями, слышатся еще до сихъ поръ, — и наконецъ потому, что этими сужденіями отчасти объясняются «Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями»-этого столь замъчательнаго, и повидимому, страннаго факта въ дъятельности Гоголя. Мы должны будемъ касаться этихъ сужденій, и нужно знать ихъ происхожденіе, чтобы надлежащимъ образомъ оценить степень ихъ добросовестности и справедливости. Но, чтобы не слишкомъ растянуть нашъ обзоръ отношеній къ Гоголю людей, литературныя мивнія которыхъ неудовлетворительны, мы ограничимся изложениемъ суждений только трехъ журналовъ, бывшихъ представителями важивишихъ изъ второстепенныхъ направленій въ литературф.

Сильнъйшимъ и достойнъйшимъ уваженія изъ людей, возстававшихъ противъ Гоголя, быль Н. А. Полевой. Всѣ другіе, когда не повторяли его слова, нападая на Гоголя, выказывали въ себѣ только отсутствіе вкуса, и потому не заслуживаютъ большаго вниманія. Напротивъ того, если нападенія Полеваго и были рѣзки, если иногда переходили даже границы литературной критики и принимали, какъ тогда выражались, «юридическій характеръ», —то всегда въ нихъ видѣнъ умъ, и, какъ намъ кажется, Н. А. Полевой, не будучи правъ, былъ однако же добросовѣстенъ, возставая противъ Гоголя не по низкимъ разсчетамъ, не по внушеніямъ самолюбія пли личной вражды, какъ многіе другіе, а по искреннему убѣжденію.

Последніе годы деятельности Н. А. Полеваго нуждаются въ оправданіи. Ему не суждено было счастіе сойти въ могилу чистымъ отъ всякаго упрека, отъ всякихъ подозреній,—но многимъ ли изъ людей, долго принимавшихъ участіе въ умственныхъ или другихъ преніяхъ, достается на долю это счастіе? Самъ Гоголь также нуждается въ оправданіяхъ, и намъ кажется, что Полевой можетъ быть оправданъ гораздо легче, нежели онъ.

Важнъйшимъ пятномъ на памяти Н. А. Полеваго лежитъ то,

что онъ, сначала столь бодро выступившій однимъ изъ предводителей въ литературномъ и умственномъ движеніи, -- онъ, знаменитый редакторъ «Московскаго Телеграфа», столь сильно действовавшаго въ нользу просвещения, разрушившаго столько литературныхъ и другихъ предубъжденій, подъ конецъ жизни сталь ратовать противъ всего, что было тогда здороваго и плодотворнаго въ русской литературѣ, занялъ съ своимъ «Русскимъ Вѣстникомъ» то самое положеніе въ литературь, которое некогда занималь «Вестникъ Европы», сдёлался защитникомъ неподвижности, закоснёлости, которую столь сильно поражаль въ лучшую эпоху своей деятельности. Умственная жизнь у насъ началась еще такъ недавно, мы пережили еще такъ мало фазисовъ развитія, что подобныя перемёны въ положенім людей кажутся намъ загадочными; между тімъ, въ нихъ нътъ ничего страннаго, -- напротивъ, очень естественно, что человъкъ сначала стоявшій во главь движенія, делается отсталымь н начинаетъ возставать противъ движенія, когда оно неудержимо продолжается далье границъ, которыя онъ предвидьлъ, далье ціли, къ которой онъ стремился. Не будемъ приводить примёровъ изъ всеобщей исторіи, хотя они скорфе всего могли бы пояснить дело. И въ исторіи умственнаго движенія недавно былъ великій, поучительный примеръ подобной слабости человека, отстающаго отъ движенія, главою котораго онъ быль — этотъ прискорбный прим'єръ мы видели на Шеллинге, котораго имя въ последнее время было въ Германіи символомъ обскурантизма, между тімь какь нікогда онъ придаль могущественное движение философіи; но Гегель повель философію далье границь, которыхь не могла переступить система Шеллинга, — и предшественникъ, другъ, учитель и товарищъ Гегеля сталь его врагомъ. И если бы самъ Гегель прожиль нёсколько лётъ долее, онъ сделался бы противникомъ лучшихъ и верневишихъ своихъ учениковъ, -- и, быть можетъ, его имя сдёлалось бы также символомъ обскурантизма.

Мы не безъ намѣренія упомянули о Шеллингѣ и Гегелѣ, потому что для объясненія перемѣны въ положеніи Н. А. Полеваго, надобно припомнить его отношеніе къ разнымъ системамъ философіи. Н. А. Полевой былъ послѣдователемъ Кузена, котораго считалъ разрѣшителемъ всѣхъ премудростей и величайшимъ философомъ въ мірѣ. На самомъ же дѣлѣ, философія Кузена была составлена изъ довольно произвольнаго смѣшенія научныхъ понятій,

заимствованныхъ отчасти у Канта, еще болье у Шеллинга, отчасти у другихъ немецкихъ философовъ, съ некоторыми обрывками изъ Декарта, изъ Локка и другихъ мыслителей, - и весь этотъ разнородный наборъ быль въ добавокъ передъланъ и приглаженъ такъ. чтобы не смущать никакою смёлою мыслью предразсудковъ французской публики. Эта кашица называвшаяся «эклектическою философією», не могла имъть большаго научнаго достопиства, но она была хороша тымь, что легко переваривалась людьми, еще не готовыми къ принятію строгихъ и різкихъ системъ німецкой философін, и во всякомъ случав была полезна, какъ приготовленіе къ переходу отъ прежней закоснилости и језунтскаго обскурантизма къ болве здравымъ воззрвніямъ. Въ этомъ смыслв полезна была она и въ «Московскомъ Телеграфъ». Но само собою разумъется, что последователь Кузена не могъ примириться съ Гегелевскою философією, и когда Гегелевская философія проникла въ русскую литературу, -- ученики Кузена оказались отсталыми людьми, -- и ничего нравственно преступнаго съ ихъ стороны не было въ томъ, что они защищали свои убъжденія и называли нельпымъ то, что говорили люди, опередившіе ихъ въ умственномъ движеніи: нельзя обвинять человъка за то, что другіе, одаренные болъе свъжими силами и большею решительностью, опередили его, — они правы, потому что ближе къ истинъ, но и онъ не виновать, онъ только ошибается.

Новая критика опиралась на идеяхъ, принадлежащихъ строгой и возвышенной системѣ Гегелевой философіи,—вотъ первая и едва ли не важнѣйшая причина того, что Н. А. Полевой не понималъ этой новой критики, и не могъ не возстать противъ нея, какъ человѣкъ, одаренный живымъ и горячимъ характеромъ. Что это несогласіе въ философскихъ воззрѣніяхъ было существеннымъ основаніемъ борьбы, видимъ изъ всего, что было писано и Н. А. Полевымъ и его молодымъ противникомъ, мы могли бы привести сотни примѣровъ, но довольно будетъ и одного. Начиная свои критическія статьи въ «Русскомъ Вѣстникѣ», Н. А. Полевой предпосылаетъ имъ ргоfеssion de foi, въ которомъ излагаетъ свои принцины и показываетъ, чѣмъ будетъ отличаться «Русскій Вѣстникъ» отъ другихъ журналовъ, п вотъ какъ онъ характеризуетъ паправленіе журнала, въ которомъ господствовали новыя воззрѣнія:

Въ одномъ изъ журналовъ нашихъ предлагали намъ жалкіе, уродливые обломки Гегелевской схоластики, излагая ее языкомъ, едва ли даже для самихъ издателей журнала понятнымъ. Все еще устремлянсь уничтожать прежнее, вслъдствіе спутанныхъ и перебитыхъ теорій своихъ, но чувствуя необходимость какихъ нибудь авторитетовъ, дико вопили о Шекспиръ, создавали себъ крошечные идеальчики и преклопяли кольни передъ дътскою игрою бъдной самодъльщины, а вмъсто сужденія употребляли брань, какъ будто брань доказательство *).

Видите ли, основнымъ пунктомъ обвиненія была приверженность къ «Гегелевской схоластикѣ», и всё остальные грѣхи противника выставляются какъ слѣдствія этого основнаго заблужденія. Но почему же Полевой считаетъ Гегелевскую философію ошибочною? потому что она для него непонятна, это прямо говорить онъ самъ. Точно также и противникъ его, основнымъ недостаткомъ, главною причиною паденія прежней романтической критики, выставлялъ то, что она опиралась на шаткую систему Кузена, не знада и не понимала Гегеля.

И действительно, несогласів въ эстетическихъ убёжденіяхъ было только слёдствіемъ несогласія въ философскихъ основаніяхъ всего образа мыслей, — этимъ отчасти объясняется жестокость борьбы—изъ-за одного разногласія въ чисто эстетическихъ понятіяхъ нельзя было бы такъ ожесточаться, тёмъ бол'єе, что въ сущности оба противника заботились не столько о чисто эстетическихъ вопросахъ, сколько вообще о развитіи общества, и литература была для нихъ драгоцінна преимущественно въ томъ отношеніи, что они понимали ее какъ могущественной жизни. Эстетическіе вопросы были для обоихъ по преимуществу только полемъ битвы, а предметомъ борьбы было вліяніе вообще на умственную жизнь.

Но что бы ни было существеннымъ содержаніемъ борьбы, поприщемъ ея были чаще всего эстетическіе вопросы, и намъ должно припомнить, хотя б'яглымъ образомъ, характеръ эстетическихъ уб'яжденій школы, представителемъ которой былъ Н. А. Полевой, и показать ея отношеніи къ новымъ воззр'яніямъ.

Не будемъ однако слишкомъ подробно говорить о романтизмъ,

^{*)} Прежде Полевой говорить, что разрушение старых в авторитетовъ было его двломъ, и вообще ясно, что своего противника онъ считаетъ своимъ ученикомъ, въ ослъплении зашедшимъ далъе границъ, поставленныхъ учителемъ.

о которомъ писано уже довольно много; скажемъ только, что французскій романтизмъ, поборниками котораго были и Марлинскій, п Полевой, надобно отличать отъ немецкаго, вліяніе котораго на пашу литературу не было такъ сильно. (Баллады Саути, переведенныя Жуковскимъ, представляютъ уже англійское видоизмѣненіе нвмецкаго романтизма). Нвмецкій романтизмъ, гласными источниками котораго были-съ одной стороны, фальшиво перетолкованныя мысли Фихте, съ другой — утрированное противодъйствіе вліянію французской литературы XVIII въка, быль странною смъсью стремленій къ задушевности, теплот'я чувства, лежащей въ основаніи німецкаго характера, съ такъ называемою тевтономаніею, пристрастіемъ къ среднимъ векамъ, съ дикимъ поклоненіемъ всему, чъмъ средніе въка отличались отъ новаго времени, - всему, что было въ нихъ туманнаго, противоречащаго ясному взгляду новой цивилизаціи, поклоненіемъ всёмъ предразсудкамъ и нелёпостямъ средиихъ въковъ. Этотъ романтизмъ представляетъ очень много сходства съ мнёніями, которыми одушевлены у насъ люди, видящіе идеаль русскаго человека въ Любиме Торцове. Еще страние сделался романтизмъ, перешедши во Францію. Въ Германіи дело шло преимущественно о направленіп, духѣ литературы: нѣмцамъ было ненужно много хлопотать о ниспровержении условныхъ псевдоклассическихъ формъ, потому что Лессингъ уже давно показалъ ихъ нелвиость, а Гёте и Шиллеръ представили образцы художественныхъ произведеній, въ которыхъ идея не втискивается насильно въ условную, чуждую ей форму, а сама изъ себя рождаетъ форму, ей свойственную. У французовъ этого еще не было, — имъ еще нужно было освободиться отъ эпическихъ поэмъ съ возваніями къ Музь, трагедій съ тремя единствами, торжественныхъ одъ, избавиться отъ холодности, чонорности, условной и отчасти пошлой гладкости въ слогъ, однообразномъ и вяломъ, однимъ словомъ, романтизмъ засталъ у нихъ почти то самое, что было у насъ до Жуковскаго и Пушкина. Потому борьба обратилась преимущественно на вопросы о свободѣ фермы; на самое содержаніе смотрѣли французскіе романтики съ формалистической точки зрінія, стараясь сдёлать все наперекоръ прежнему: у псевдоклассиковъ лица раздълялись на героевъ и злодъевъ, — противники ихъ ръшили, что злодви не злодви, а истинные герои; страсти изображались у классиковъ съ жеманной, холодной сдержанностью, -- романтическіе

герои начали неистовствовать и руками, и особенно языкомъ, безпощадно кричать всякую гиль и ченуху; классики хлопотали о щеголеватости, -- противники ихъ провозгласили, что всякая благовидность есть ношлость, а дикость, безобразіе-истинная художественность и т. д.; однимъ словомъ, романтики имели целью не природу и человъка, а противоръчіе классикамъ; планъ произведенія, характеры и положенія действующихь лиць, и самый языкъ создавались у нихъ не по свободному вдохновенію, а сочинялись, придумывались по разсчету, и по какому же мелочному разсчету?только для того, чтобы все это вышло решительно противъ того, какъ было у классиковъ. Потому-то у нихъ все выходило такъ же искуственно и натянуто, какъ и у классиковъ, только искуственность и натянутость эта была другаго рода: у классиковъ приглаженная и прилизанная, у романтиковъ — преднамъренно растрепанная. Здравый смысль быль пдоломь классиковь, незнавшихь о существованіи фантазін; романтики сділались врагами здраваго смысла, и искуственно раздражали фантазію до болізненнаго напряженія. Послів этого очевидно, насколько у нихъ могло быть простоты, естественности, пониманія дійствительной жизни и художественности, -- ровно никакихъ следовъ. Таковы были произведенія Виктора Гюго, предводителя романтиковъ. Таковы же были у насъ произведенія Марлинскаго и Полеваго, для которыхъ, особенно для Полеваго, Викторъ Гюго быль идеаломъ поэта и романиста, Кто давно не перечитывалъ ихъ повъстей и романовъ и не имъетъ охоты пересмотръть ихъ, тотъ можетъ составить себъ достаточное понятіе о характер'я романтических в созданій, проб'яжавъ разборъ «Аббаддонны», приведенный нами выше. Откуда взяль авторъ своего Рейхенбаха? развъ одинъ изъ характеристическихъ тиновъ нашего тогданняго общества составляли пылкіе, великіе ноэты съ глубоко-страстными натурами? - вовсе нътъ, о такихъ людяхъ не было у насъ и слуху. Рейхенбахъ просто придуманъ авторомъ; и развъ основная тэма романа-борьба иламенной любви къ двумъ женщинамъ, дана нравами нашего общества? развѣ мы походимъ на итальянцевъ, какими они представляются въ кровавыхъ мелодрамахъ? нътъ, на Руси съ самаго призванія варяговъ до 1835 года въроятно не было ни одного случая, подобнаго тому, какой сочинился съ Рейхенбахомъ; и что для насъ интереснаго, что для насъ важнаго въ изображении столкновений, решительно

чуждыхъ нашей жизни?—Эти вопросы о близкомъ соотношеніи поэтическихъ созданій къ жизни общества не приходили и въ голову романтическимъ сочинителямъ, — они хлопотали только о томъ, чтобы изображать бурныя страсти и раздирательныя положенія неистово фразистымъ языкомъ.

Мы вовсе не въ укоръ романтизму приноминаемъ его характеристику, а только для вывода соображеній о томъ, могъ ли человъкъ, пропитавшійся насквозь подобными понятіями объ искусствъ, понимать истинную художественность, могь ли онь восхищаться простотою, естественностью, вфрнымъ изображениемъ дъйствительности. Мы не хотимъ смвяться надъ романтиками, - напротивъ, помянемъ ихъ добрымъ словомъ: они у насъ были въ свое время очень полезны: они возстали противъ закосналости, неподвижной заплеснев влости; еслибъ имъ удалось повести литературу по дорогв, которая имъ нравилась, это было бы дурно, потому что дорога. вела къ вертепамъ фантастическихъ злодвевъ съ картонными кинжалами, жилищамъ фразёровъ, которые тщеславились выдуманными преступленіями и страстями; но это не случилось, -- романтики усивли только вывесть литературу изъ неподвижнаго и првснаго болота, и она ношла своей дорогой, неслушаясь ихъ возгласовъ; слъдовательно вреда ей они не успъли сдълать, а пользу сдълали,за что же бранить ихъ, и какъ же не помянуть добрымъ словомъ ихъ услуги?

Намъ нужно знать ихъ понятія не для того, чтобы смѣяться надъ ними,—это безполезно, посмѣемся лучше надъ тѣмъ, что въ насъ остается еще нелѣпаго и дикаго,—а для того, чтобы понять искренность и добросовѣстность ихъ борьбы противъ тѣхъ, которые явились послѣ нихъ, которые были лучше ихъ.

Въ самомъ дѣлѣ, могъ ли поклонникъ Виктора Гюго, авторъ «Аббаддонны», понимать эстетическую теорію, которая главными условіями художественнаго созданія ставила простоту и одушевленіе вопросами дѣйствительной жизни? Нѣтъ, и его нельзя обвинять за то, что онъ не понималъ того, чего не понималъ; должно только сказать, что были правы его противники, защищавшіе ученіе болѣе высокое и справедливое нежели понятія, которыхъ онъ держался.

Мы не думаемъ принимать сторону Н. А. Полеваго, какъ противника критики и литературы Гоголевскаго періода; напротивъ,

онъ былъ совершено неправъ, его противникъ совершенно правъ, мы утверждаемъ только, что основнымъ побужденіемъ къ борьбѣ и у Н. А. Полеваго, какъ у его противника, было неподдѣльное, непритворное убѣжденіе.

Борьба была жестока, и естественнымъ образомъ, влекла за собою безчисленныя оскорбленія самолюбію партизановь той или другой стороны, - въ особенности стороны отсталой и слабейшей, потому что побъдитель можеть прощать обиды ослабъвающему противнику, но самолюбіе поб'єждаемаго бываетъ раздражительно и непримиримо. Потому очень можеть быть, что желчность различныхъ выходокъ Н. А. Полеваго усиливалась горькимъ чувствомъ сознанія въ томъ, что другіе заняли місто впереди его, лишили его (и его убъжденія, потому что онъ дорожиль своими убъжденіями) первенства, господства въ критикѣ, что литература перестала признавать его своимъ верховнымъ судьею, сознанія, что онъ не побъждаетъ, какъ прежде, а побъжденъ, п болъзненными криками глубоко уязвляемаго самолюбія; но все это было только второстепеннымъ элементомъ, развившимся въ теченіе борьбы, --а истинными главными причинами борьбы были убъжденія, безкорыстныя и чуждыя низкихъ разсчетовъ или мелочнаго тщеславія. Въ свое время, нельзя было не опровергать ошибочных сужденій писателя, имѣвшаго столь сильный авторитеть; но изъ-за ошибочнаго направленія его д'ятельности нельзя было забывать ни того, что въ сущности онъ всегда оставался челов комъ, достойнымъ уваженія по характеру, ни въ особенности того, что въ прежнее время онъ оказалъ много услугъ русской литература и просващению. Это было съ обычною прямотою всегда признаваемо его противникомъ и съ жаромъ высказано въ брошюрѣ «Николай Алексѣевичъ Полевой».

Жестокія нападенія на Гоголя принадлежать къ числу важивійшихъ ошибокъ Н. А. Полеваго; они были одною изъ главныхъ причинъ нерасположенія, которое питало къ Полевому публика и лучшіе писатели прошедшаго десятильтія. ∕Но должно только сообразить, что онъ никогда не могъ выйти изъ круга понятій разработанныхъ французскими романтиками, распространенныхъ у насъ его первымъ журналомъ, «Московскимъ Телеграфомъ», практически осуществившихся въ его повъстяхъ и «Аббаддоннѣ», и мы убъдимся, что Полевой не могъ понимать Гоголя, не могъ понимать лучшей стороны его произведеній, важнѣйшаго

ихъ значенія для литературы. Не могъ понимать—и слёдовательно ему долженъ былъ казаться несправедливымъ восторгъ, возбужденный въ позднъйшей критикъ этими произведеніями; какъ чедовъкъ, привыкшій горячо защищать свои мнѣнія, онъ не могъ не подать громкаго голоса въ дёле, котораго важность была столь сильно указываема и противникомъ Полеваго и жаркими толками въ публикъ. Что это мнѣніе, основанное на эклектической философін и романтической эстетикъ, было въ высшей степени неблагопріятно Гоголю, нимало не удивительно, — напротивъ, иначе и быть не могло. Въ самомъ деле, эклектическая философія всегда останавливалась на серединъ пути, старалась занять «златую середину», говоря «нътъ», прибавлять и «да», признавая принципъ, не допускать его приложеній, отвергая принципъ, допускать его приложенія. «Ревизоръ» и «Мертвыя Души» были різпительною противуположностью этому правилу портить впечатлёние цёлаго примъсью ненужныхъ и несправедливыхъ оговорокъ — они, какъ произведенія художественныя, оставляють эфекть цільный, полный, определенный, неослабляемый посторониими и произвольными придълками, чуждыми основной идеф, -- и потому для послъдователя эклектической философіи они должны были казаться односторонними, утрированными, несправедливыми по содержанію. По форм' они были совершенною противоположностью любимымъ стремленіямь французскихь романтиковь и ихъ русскаго последователя: «Ревизоръ» и «Мертвыя Души» не имьють ни одного изъ тёхъ качествъ, за которыя Н. А. Полевой признавалъ великимъ созданіемъ искусства «Notre Dame de Paris» Виктора Гюго, и которыя старался онъ придать своимъ собственнымъ произведеніямъ: тамъ хитрая завязка, которую можно придумать только при высочайшей раздраженности фантазіи, характеры придуманные, небывалые въ свёть, положения исключительныя, неправдоподобныя. и восторженный, горячечный тонъ; тутъ — завязка обиходный случай, извъстный каждому, характеры - обыденные, встръчающіеся на каждомъ шагу, тонъ — также обыденный. Это вяло, пошло, вульгарно, по понятіямъ людей, восхищающихся «Notre Dame de Paris». Н. А. Полевой поступаль совершенно последовательно, осуждая Гоголя и какъ мыслитель, и какъ эстетикъ. Нътъ сомивнія, что тонъ осужденія быль бы не такъ різокъ, если бы другіе не хвалили такъ Гоголя, и еслибъ эти другіе не были противниками

Н. А. Полеваго, — но сущность сужденія осталась бы та же; она зависёла отъ философскихъ и эстетическихъ сужденій критика, а не отъ личныхъ его отношеній. И нельзя ставить ему въ вину рѣзкости этого тона: когда хвалители говорять громко, и необходимо и справедливо, чтобы люди, несогласные съ ихъ мнѣніемъ, высказывали свои убѣжденія столь же громко, — на чьей бы сторонѣ ни была правда, она выпграетъ отъ того, что преніе ведется во всеуслышаніе: современники яснѣе будутъ понимать сущность вопроса, да и приверженцы праваго дѣла ревностнѣе будутъ защищать его, когда поставлены въ необходимость вести борьбу съ противниками, оспаривающими каждый шагъ смѣло и по возможности сильно. И когла

Смерть велить умолкнуть злобь,

исторія скажеть, что если поб'єдители были правы и честны, то и н'єкоторые изъ поб'єжденныхъ были честны; она признаєть даже за этими честными поб'єжденными ту заслугу, что ихъ упорное сопротивленіе дало возможность виолн'є высказаться сил'є и правот'є д'єла, противъ котораго они боролись. И если исторія будеть считать достойнымъ памяти время, въ которое жили мы и наши отцы, она скажеть, что Н. А. Полевой быль честенъ въ д'єл'є о Гогол'є. Взглянемъ же ближе на его мн'єнія объ этомъ писател'є.

Нѣкоторые люди, съ глазами болѣе свѣжими и проницательными, увидѣли въ «Вечерахъ на хуторѣ», «Миргородѣ» и повѣстяхъ, помѣщенныхъ въ «Арабескахъ», начало новаго періода для русской литературы, въ авторѣ «Тараса Бульбы» и «Ссоры Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ» — преемника Пушкину. Авторъ статьи «О русской повѣсти и повѣстяхъ г. Гоголя», напечатанной въ 1835 г., когда еще не былъ извѣстенъ «Ревизоръ», заключаетъ свой обзоръ слѣдующими словами, которыя могли бы служить однимъ изъ блестящихъ доказательствъ его критической проницательности, еслибъ доказательства ея нужны были людямъ, котя сколько нибудь слѣдившимъ за русскою литературою:

"Изъ современныхъ писателей никого не можно назвать цовтомъ, съ большей увъренностью и нимало незадумываясь, какъ г. Гоголя... Огличный характеръ повъстей г. Гоголя составляютъ: простота вымысла, народность, совершенная истина жизни, оригинальность и комическое одушевленіе, всегда побъждаемое глубокимъ чувствомъ грусти и унынія. Причина всёхъ этихъ ка-

чествъ заключается въ одномъ источникѣ: г. Гоголь поэтъ, поэтъ жизни, лѣйтельной. Г. Гоголь еще только началъ свое поприще; слѣдовательно наше дѣло высказать свое мнѣніе о его дебютѣ и о надеждахъ въ будущемъ, которыя подаетъ этотъ дебютъ. Эти надежды велики, ибо г. Гоголь владѣетъ талантомъ необыкновеннымъ, сильнымъ и высокимъ. По крайней мѣрѣ, въ настоящее время онъ является главою литературы, главою поэтовъ.

Другіе тогдашніе критики не воображали этого. «Вечера на хуторѣ» понравились всѣмъ веселостью разсказа; въ авторѣ замѣтили даже нѣкоторую способность довольно живо изображать лица и сцены изъ простонароднаго малороссійскаго быта; болѣе въ нихъ ничего не замѣтили, и были правы. Но неправы были старые критики въ томъ, что на Гоголя они до конца его дѣятельности смотрѣли, какъ на автора «Вечеровъ на хуторѣ», мѣряя всѣ слѣдующія его произведенія аршиномъ, который годенъ быль только для этихъ первыхъ опытовъ, не понимая въ «Ревизорѣ» и «Мертвыхъ Душахъ» ничего такого, чего еще не было въ «Вечерахъ на хуторѣ» и видя признаки паденія таланта во всемъ, что въ послѣдующихъ сочиненіяхъ Гоголя не было похоже на «Вечера».

Такъ было и съ Н. А. Полевымъ. Только первыя и слабѣйшія произведенія Гоголя остались для него понятны и хороши, потому что въ нихъ еще не преобладало новое начало, превышавшее уровень его понятій. Онъ всегда продолжалъ находить прекрасными «Вечера на хуторѣ», «Носъ», «Коляску»,—справедливо видя въ нихъ признаки большого дарованія, хотя, также справедливо, и не видя въ нихъ произведеній геніальныхъ, колоссальныхъ. Но вотъ явился «Ревизоръ»; люди, понявшіе это великое твореніе, провозгласили Гоголя геніальнымъ писателемъ; Н. А. Полевой, какъ и следовало ожидать, не поняль п осудиль «Ревизора» за то, что онъ не похожъ на «исторію о носъ». Это очень любопытно, и было бы странно, еслибъ мы не видели, что философско-эстетическія убъжденія критика были слишкомъ неръшительны и фантастичны для вивщенія идеи, выраженной «Ревизоромъ», и пониманія художественныхъ достоинствъ этого великаго произведенія. Вотъ какія мысли возбудилъ «Ревизоръ» въ Н. А. Полевомъ:

"Сочинитель "Ревизора" представиль намъ собою печальный примъръ, какое зло могутъ причинить человъку съ дарованіемъ духъ партій и хвалебныя воили друзей, корыстныхъ прислужниковъ, и той безсмысленной толпы, которая является окресть людей съ дарованіемъ. Благодарить Бога надобно скорбе за непріязнь, нежели за дружбу того парода, о которомъ говорилъ Пушкинъ.

Ужь эти мић друзья, друзья!

"Никто не сомнъвается въ дарованіи г. Гоголя, и въ томъ, что у него есть свой безспорный участокъ въ области поэтическихъ созданій. Его участокъ-добродушная шутка, малороссійскій "жанрь"; похожій нісколько на дарованіе г. Основьяненки, но отдыльный и самобытный, хотя также заключаюпійся въ свойствахъ малороссіянъ. Въ шуткі своего рода, въ добродушномъ разсказѣ о Малороссіи, въ хитрой простотѣ взгляда на міръ и людей, г. Гоголь превосходенъ, неподражаемъ. Какая прелесть его описаніе ссоры Ивана Ивановича, его "Старосветские пом'єщики", его изображение запорожскаго казацкаго быта въ Тарасъ Бульбъ (исключая тъ мъста, гдъ запорожцы являются героями и смъшатъ каррикатурой на Донъ-Кихота), его исторія о нось, о продажв коляски.

"Такъ и "Ревизоръ" его-фарсъ, который нравится именно тъмъ, что въ немъ нътъ ни драмы, ни пъли, ни завязки, ни развязки, ни опредъленныхъ характеровъ. Языкъ въ немъ неправильный, лица-уродливые гротески, характеры-китайскія тіни, происшествіе-несбытное и неліпое, но все вмість уморительно смішно, какъ русская сказка о тяжбі ерша съ лещомъ, какъ повъсть о Дурнъ, какъ малороссійская пъсня:

> Танцовала рыба съ ракомъ, А петрушка съ пастарнакомъ, А цыбуля съ чеснокомъ...

"Не подумайте, чтобы такія созданія было легко писать, чтобы всякой могь писать ихъ. Для нихъ надобно дарование особенное, надобно родиться для нихъ, и притомъ еще часто то, что вамъ кажется произведениемъ досуга, двломъ минуты, слъдствіемъ веселаго расположенія духа, бываетъ трудомъ тяжелымъ, долговременнымъ, слъдствіемъ грустнаго расположенія души, борь-

бою рёзкихъ противоположностей.

"Съ "Ревизоромъ" обошлись у насъ весьма несправедливо. Справедливо поступила только публика вообще, которая увлекается впечатленіемъ общимъ, безотчетнымъ, и почти никогда въ немъ не ошибается; но несправедливы были вев наши судьи и записные критики. Одни вздумали разбирать "Ревизора" по правиламъ драмы, чопорно оскорбились его шутками и языкомъ и сравняли его съ грязью. Другіе, напротивъ, мнимые друзья автора, увидъли въ "Ревизоръ" что-то Шекспировское, превознесли его, прославили, и вышла та же исторія, какая была съ Озеровымъ. Досадно вспомнить, какія были притомъ побужденія къ неумфреннымъ похваламъ. Но если они и были искренны, за то ошибочны; и посмотрите, какое зло онъ причинили: видя осужденіе однихъ и похвалы другихъ, авторъ почель себя неузнаннымъ геніемъ, пе поняль направленія своего дарованія, и вмісто того, чтобы не браться за то, что ему не дано, усилить двятельность въ томъ направленіи, которое пріобрвло ему общее уваженіе и славу, вспомнить слова Сумарокова:

Слагай, къ чему тебя влечетъ твоя природа,— Лишь просвёщение, писатель, дай уму,

началь писать исторію, разсужденія о теоріи изящнаго, о художествахь, принялся за фантастическіе, патетическіе предметы, точно такь какь Лафонтепь вікогда доказываль, что онь береть образцы у древнихь классиковь. Разумбется, авторь проиграль свою тяжбу. Все, что здісь сказано, не выдумка наша и сказано не наобумь: прочтите приложенное при новомь изданіи «Ревизора» письмо автора, которое можно сохранить, какь любопытную историческую черту, и какь матеріаль для исторіи человіческаго сердца. Разві Шекспирь только могь бы такь писать о себі и о своихь твореніяхь, и такь говорить о характері своего Гамлета, какь г. Гоголь говорить о характері Хлестакова. И съ тімь вмісті письмо это дышить такою добродушною, поэтическою грустью.

"Но, скажуть намь, следственно, чемь же туть виноваты хвалители автора?—Темь, что не увлеки они самолюбія авторскаго въ ощибку, осужденія могли благодітельно подійствовать на автора и обратить его на прямой путь. Осужденія не погубять пикогда, а восхваленія часто и почти всегда губять нась. Таковъ человікь.

"И какъ не имъть столько уваженія къ самимъ себь, что изъ мелкаго разсчета корысти не стыдиться показать себя надувателями мыльныхъ пузырей! Если же хваленія происходять отъ безотчетнаго увлеченія, какъ до такой степени не отдавать себь отчетовъ о своихъ понятіяхъ, не научиться изъ опытовъ прошедшаго не повторять въ каждомъ покольніи одну и ту же докучную сказку!" *).

Возможно ли обвинять человька за то, что онъ не можеть видьть въ «Ревизорь» «ни драмы, ни цъли, ин завязки, ни развязки, ни опредоленных характеровъ»? Это все равно что обвинять почитателя «Русской сказки о тяжбъ ерша съ лещемъ» за то, что онъ не понимаетъ «Гамлета» и не восхищается «Каменнымъ гостемъ» Пушкина. Онъ не понимаетъ этихъ произведеній, и только; чтожь прикажете съ нимъ дълать! Такова степень его эстетическаго развитія. Можно и должно сказать, что онъ ошибается, если онъ сказалъ, что «Гамлетъ» пустъ, а «Каменный гость» скученъ; можно прибавить, что онъ не судья этимъ произведеніямъ; но видъть въ его сужденіяхъ преднамъренное эстетическое преступленіе, желаніе ввести другихъ въ заблужденіе — невозможно: они слиш-

^{*) &}quot;Русскій Вѣстникъ", 1842 г., № 1.

комъ наивны, слишкомъ компрометируютъ умъ произносящаго ихъ-ихъ можеть произносить только тоть, кто въ самомъ деле не видить достоинствъ осуждаемыхъ имъ произведеній. Еслибъ онъ понималь хотя сколько нибудь, еслибъ хотель преднамеренно вводить другихъ въ заблуждение, поверьте, онъ не сказалъ бы такъ, повёрьте, онъ придумаль бы хитрость нёсколько лучшую. Рецензія, нами выписанная, ръзка до грубости, - но нельзя не видъть, что собственно противъ Гоголя авторъ ея не имъетъ враждебнаго расположенія. Напротивъ, сквозь тонъ, різкій до оскорбительности. слышно доброжелательное стремленіе возвратить талантливое заблудшее овча на путь истинный. Наставникъ ощибается, — тотъ, кого онъ считаетъ блуднымъ сыномъ, идетъ по прямому пути и не долженъ покидать его, --- но въдь нельзя же осуждать человъка, если онъ возвыщаеть голось, чтобь онъ достигь до слуха погибающаго юноши, оглушеннаго, по мнёнію совётника, коварными льстецами. Что эти люди не льстецы, мы знаемъ; что они не имѣли — къ сожалѣнію — особеннаго вліянія на Гоголя, мы также знаемъ: иначе онъ не писалъ бы такихъ «писемъ къ друзьямъ», и не сжегь бы втораго тома «Мертвых» Душъ». Но вѣдь не называють же преступникомъ врача, который отсталь отъ современнаго ивиженія науки, прописываеть замысловатые рецепты, заставляющіе пожимать плечами отъ удивленія, - о немъ просто говорять, что онъ пересталъ быть хорошимъ врачемъ и перестають обращать вниманіе на его сов'єты. — Но вотъ вышли «Мертвыя Души» — и возбудили восторгъ, какому не было примеровъ на Руси, были восхвалены до небесъ, какъ колоссальнъйшее создание русской литературы; — съ точки зрвнія, къ которой приросъ Н. А. Полевой, это столь превозносимое произведение должно было показаться еще хуже «Ревизора», и надобно было еще возвыщать голосъ, чтобы онъ слышень быль среди оглушительных в хвалебных в криковь. И Подевой выразиль свое суждение о новомъ произведении погибающаго талантливаго писателя обстоятельнее, - не голословно, какъ другіе, но съ доказательствами подробными, хорошо изложенными, касающимися не вившнихъ мелочей, но важныхъ сторонъ дела:

"Мы сказали мивніе наше о литературных достоинствах г. Гоголя, оцінняя въ немь, что составляеть его безспорное достоинство. Повторимь слова наши (выписана первая половина рецензіи, приведенной выше). Осміливаемся думать, что такого мивнія не назовуть мивніемь, которое внушило бы пре-

дубъжденіе, пристрастіе, личность противъ автора. Тѣмъ откровеннѣе скажемъ мы, что "Похожденія Чичикова или Мертвыя души", подтверждая наше мнѣніе, показываютъ справедливость и того, что мы прибавили къ мнѣнію нашему о дарованіи г. Гоголя (выписана другая половина ренензіи). Похожденія Чичикова также любопытная замѣтка для исторіи литературы и человѣческаго сердца. Здѣсь видимъ, до какой степени можетъ увлечься съ прямой дороги дарованіе, и какія уродливости создаетъ оно, идя путемъ превратнымъ. Съ чего началъ "Ревизоръ", то кончилъ "Чичиковъ"...

"Изъ всего, что пишетъ и что о самомъ себѣ говоритъ Гоголь, можно заключить, что онъ превратно смотритъ на свое дарованіе. Покупая созданія свои тяжкимъ трудомъ, онъ не думаетъ шутить, видитъ въ нихъ какія-то философическо-гуморическія творенія, почитаетъ себя философомъ и дидактикомъ, составляетъ себѣ какую-то ложную теорію искусства, и очень понятно, что почитая себя геніемъ универсальнымъ, онъ считаетъ самый способъ выраженія, или языкъ свой, оригинальнымъ и самобытнымъ. Можетъ быть, такое миѣніе о самомъ себѣ необходимо по природѣ его, но мы не перестанемъ однакожь думать, что, при совѣтахъ благоразумныхъ друзей, г. Гоголь могъ бы убѣдиться въ противномъ. Вопросъ: производилъ ли бы онъ тогда, или нѣтъ, свои прекрасныя созданія, можетъ быть рѣшенъ положительно и отрицательно *).

«Легко могло бы быть, что г. Гоголь отвергъ бы тогда все, что вредило ему и также легко могло бы случиться, что разочарованный въ высокомъ мнѣній о самомъ себѣ, онъ съ горестью бросиль бы перо свое, какъ орудіе недостойной его величія шутки. Человѣкъ—загадка мудреная и сложная; но мы скорѣе склоняемся на первое изъ сихъ мнѣній, —сказать ли? —даже лучше желаль бы, чтобъ г. Гоголь вовсе пересталь писать, нежели, чтобы постепенно болѣе и болѣе онъ падаль и заблуждался. По нашему мнѣнію, онъ уже и теперь далеко устранился отъ истипнаго пути, если сообразить всѣ сочиненія его, начиная съ "Вечеровъ на хуторѣ близь Диканьки" до "Похожденій Чичикова". Все, что составляетъ предесть его увѣреній, постепенно исчезаетъ у него. Все, что губитъ ихъ, постепенно усиливается».

«Гоголя захвалили,—говорить Полевой:—онъ возмечталь, что призвань писать высоко-философскія созданія, вообразиль, что даже прекрасень языкь, которымь онъ пишеть, когда вдается въ высокопарныя мечтанія, и посмотрите, къ чему это привело его—къ произведеніямь, подобнымь отрывку «Римъ», недавно напечатанному. «Римъ»—это «наборъ ложныхъ выводовъ, дѣтскихъ наблюденій, смѣшныхъ и ничтожныхъ замѣтокъ, не проникнутыхъ ни одною свѣтлою или глубокою мыслью, изложенныхъ языкомъ изломаннымъ, дикимъ, нелѣпымъ»—тутъ есть и «смола волосъ», и «сіяющій снѣтъ лица», и «призракъ пустоты, который видится во

^{*)} Изъ сравненія съ предъидущими выписками очевидно, что подъ "прекрасными" должно здёсь принимать препмущественно: "Вечера на хуторъ" и слабъйтія, по ныпъшнему мнёнію публики, изъ слёдующихъ повъстей.

всемъ», и «женщины, которыя подобно зданіямъ—или дворцы, или лачужки», —однимъ словомъ. «Римъ» — это «галиматья». Въ этомъ отзывѣ о «Римѣ» есть свои доля правды, и доля значительная. Мы должны будемъ еще обратиться къ «Риму», говоря о постепенномъ развитіи идей Гоголя, и тогда замѣтимъ, что опустилъ изъ виду Полевой, называя безусловною галиматьею «Римъ» — этотъ отрывокъ, дѣйствительно представляющій много дикаго, не лишенъ поэзіи. Не будемъ останавливаться и на замѣчаніяхъ относительно языка, —съ ними прійдется еще намъ имѣть дѣло. «Признаемся» — продолжаетъ Полевой — «что прочитавши «письмо» при «Ревизорѣ» и «Римъ», мы уже немногаго ожидали отъ «Мертвыхъ Душъ», предвозвѣщенныхъ, какъ нѣчто великое и чудное. Подлинно чудное: «Мертвыя Души» превзошли всѣ наши ожиданія».

"Мы совсёмъ не думаемъ осуждать г. Гоголя за то, что онъ назвалъ "Мертвыя Души" поэмою. Разумъется, что такое пазваніе—шутка. "Для чего запрещать шутку? Наше осужденіе "Мертвыхъ Душъ» коснется болье важ-

"Начнемъ съ содержанія-какая бъдность! Не помнимъ, читали или сдышали мы, что кто то назваль "Мертвыя Души" старой попудкой на новый ладг. Действительно: "Мертвыя Души" сколокъ съ "Ревизора"-опять какой-то мошенникъ прівзжаеть въ городь, населенный плутами и дураками, мошенничаеть съ ними, обманываеть ихъ, боясь преследованія уважаеть тихонько, и-"конецъ поэмъ"!-Надобно ли говорить, что шутка, въ другой разъ повторенная, становится скучна, а еще болье, если она растянута па 475 страницъ? Но если мы къ тому прибавимъ, что "Мертвыя Души" составляя грубую каррикатуру, держатся на небывалыхъ и несбыточныхъ подробностяхъ; что лица въ нихъ все до одного пебывалыя преувеличенія, отвратительные мерзавцы или пошлые дураки, - всѣ до одного, повторяемъ; что подробности разсказа наполнены такими выраженіями, что иногда бросаете книгу невольно; и наконецъ, что языкъ разсказа, какъ языкъ г. Гогодя въ "Римъ" и "Ревизоръ" можно назвать собраніемъ ошибокъ противъ логики и грамматики, -спрашиваемъ, что сказать о такомъ создания? Не должно ли съ грустнымъ чувствомъ видёть въ немъ упадокъ дарованія прекраснаго, и пожалёть еще объ одной изъ утраченныхъ надеждъ нашихъ, пожальть темъ более, что падение автора умышленно и добровольно? - Каррикатура, конечно, принадлежить къ области искусства, но каррикатура неперешедшая за предълъ изящнаго. Русская повъсть объ Еремушкъ и повивальной бабушкъ, какъ русская сказка о дьячкъ Савушкѣ, романы Диккенса 1), неистовые романы новѣйшей французской словесности исключаются изъ области изящнаго, 2) если и допустимъ въ низіпій

¹⁾ Романы Диккенса исключаются изъ области изящнаго.

²⁾ Здёсь подразумёваются преимущественно романы Жоржъ-Санда—они исключаются -изъ области изищнаго!

отдъль исскуства грубые фарсы, итальянскія буффонады, эпическія поэмы на *изнанку* (travesti), поэмы въ родѣ "Елисея" *). Можно ли не пожалѣть, что прекрасное дарованіе г. Гоголя тратится на подобныя созданія!

«Искусству нечего делать, не въ чемъ разсчитываться съ "Мертвыми Ду-

шами".

Видите ли, Полевой отказывается отъ мелочныхъ придирокъкъ заглавію «Мертвыхъ Душъ» — ужь за это одно онъ заслуживаетъ отличія оть другихь рецензентовъ, «остроуміе которыхъ безконечно потешалось надъ темъ, что «Похожденія Чичикова» названы поэмою. Бедность содержанія въ «Мертвыхъ Душахъ» — опять одно изъ тъхъ сужденій, искренность которыхъ доказывается ихъ невообразимою наивностью замечаній, которыя возбуждають жалость къ сделавшему ихъ и совершенно обезоруживаютъ несогласнаго съ нимъ читателя. Но зам'ттьте, однако же, что Полевой начинаеть съ существенныхъ сторонъ вопроса и достигаеть даже нѣкоторой мѣткости упрековъ, замѣчая, что «Мертвыя Души» сколокъ съ «Ревизора» — это не придетъ въ голову никому изъ понимающихъ разницу между существеннымъ содержаніемъ «Ревизора» и «Мертвыхъ Душъ»: навосъ одного произведенія составляетъ взяточничество, различные безпорядки и т. д., однимъ словомъ, преимущественно офиціальная сторона жизни, паоосъ другаго-частная жизнь, психологическое изображение различныхъ типовъ пустоты или одичалости. По Полевой, не замъчая существеннаго различія, смотрёль на сюжеты обоихъ произведеній съ той чисто внёшней точки зрвнія, съ которой можно находить, что «Горе отъ ума» есть повтореніе «Гамлета», потому что и здісь и тамъ главное лицо-юноша съ умомъ и прекраснымъ сердцемъ, окруженный дурными людьми, остающійся чисть среди ихъ, негодующій, говорящій много такого, что кажется нельпо его слушателямь, признаваемый наконецъ человекомъ сумасшедшимъ, опаснымъ, и немогущій жениться на дівушкі, которую любить. Сближеніе сюжетовь «Ревизора» съ «Мертвыми Душами» такъ же нелёно, какъ и сбли-

^{*)} И такъ романы Диккенса и Жоржъ-Санда ниже самыхъ грубыхъ фарсовъ и буффопадъ, ниже даже поэмы "Елисей или раздраженный Вакхъ", ниже "Энеиды" вывороченной на изпанку Н. Осиповымъ и А. Котельницкимъ,—это все еще принадлежитъ хотя "низшему отдълу" искусства, а произведени Диккенса и Жоржъ-Санда совершенно "исключаются изъ области изящнаго".

женіе сюжетовъ «Гамлета» и «Горе отъ ума»; но Полевой умьль выставить натянутыя черты мнимаго сходства довольно искуснымъ образомъ. Не придумано ли это сближение нарочно? нътъ, искренность его опять доказывается его наивностью, -только отъ искренней души можеть умный человікь, каковь безь сомнінія быль Н. А. Полевой, говорить такія странныя вещи. Далье начинаются жалобы на утрировку характеровъ и положеній, на неправдоподобность ихъ и проч. Отложимъ разборъ этихъ обвиненій до того времени, когда будемъ разсматривать «Мертвыя Души»; а теперь ограничимся замічаніемь, что отношенія романтической эстетики къ новъйшимъ произведеніямъ искусства, сбросившимъ растрепанную изысканность французскихъ романтиковъ, къ людямъ, выучившимся писать романы съ лицами и положеніями, непохожими на «исполинскіе образы Виктора Гюго въ его «Notre Dame de Paris», достаточно опредъляются тымь, что Н. А. Полевой исключаеть романы Диккенса и Жоржа Санда изъ области искусства, ставятъ ихъ ниже самыхъ пошлыхъ фарсовъ, на одну степень съ «Сказкою о дурнъ»--неужели противъ Диккенса и Жоржа Санда Н. А. Полевой имѣлъ какія нибудь личности? Неужели и ихъ осуждаль онъ не по убъжденію, а изъ какихъ нибудь постороннихъ видовъ? Кстати, о Лермонтовъ онъ судить совершенно такъ же, какъ о Гоголь. Вотъ подлинныя его слова:

"Вы говорите, что ошибка прежияго искусства состояла именио въ томъ, что оно румянило природу и становило жизнь на ходули. Пусть такъ; но избирая изъ природы и жизни только темную сторону, выбирая изъ нихъ грязь, навозъ, развратъ и порокъ, не впадаете ли вы въ другую крайность, и изображаете ли върно природу и жизнь? Природа и жизнь, такъ какъ онъ есть, представляють намъ рядомъ жизнь и смерть, добро и зло, свёть и тёнь, небо и землю. Избирая въ картину свою только смерть, зло, тинь, землю, втрно лв списываете вы природу и жизиь? Вамъ скучны прежніе героп искусства, по покажите же намъ человька и людей, да, человька, а не мерзавда, не чудовище, людей, а не толну мошенниковъ и негодяевъ. Иначе лучше примемся мы за прежнихъ героевъ, которые иногда скучны, но не возмущаютъ, по крайней мірт, нашей души, не оскорбляють нашего чувства. Изобразить человіка съ его добромъ и зломъ, мыслыо неба и жизнью земли, примирить для насъ видимый раздоръ дъйствительности изящною идеею искусства, ностигшаго тайну жизни, -- вотъ цёль художника: но къ пей ли устроены Герои нашего времени и Мертвыя Души? Напрасно будете вы ссылаться на Шекспира, на Виктора Гюго, на Гёте. Кроми Рого, что худое у Шекспира худо, Шекспиръ не темъ великъ, что Офелія поетъ у него неблагопристойную песню, Фальстафъ ругается и нянька Юлін говорить двусмысленности,—но похожи ли ваши грязныя каррикатуры на созданія высокаго гумора Шекспирова, на исполинскіе образы Виктора Гюго (мы говоримъ объ его Notre Dame de Paris), на многостороннія созданія Гёте?"

Зачёмъ мы приводимъ буквально столько отрывковъ изъ грубыхъ рецензій Н. А. Полеваго? Затьмъ, что онь имъють одно несомнанное достоинство: связность, логичность, нослёдовательность въ образъ сужденій. Надобно же намъ видъть, съ какими понятіями объ искусств'в необходимо связаны упреки Гоголю въ односторонности направленія, — упреки, которые до сихъ поръ повторяются людьми, непонимающими ихъ значенія, непонимающими, что кто называеть Гоголя одностороннимъ и сальнымъ, долженъ въ такой же степени одностороннимъ и сальнымъ, называть и Лермонтова, находить, что «Герой нашего времени» произведение грязное и гадкое, что романы Диккенса и Жоржъ-Санда не только отвратительны, но и слабы въ художественномъ отношеніи, слабъе последняго неленейшаго водевиля, уродливе последняго фарса. при этомъ необходимо ставить Виктора Гюго между Шексииромъ и Гете, немного ниже перваго, гораздо выше последняго. Кто такъ думаетъ о Викторъ Гюго, Лермонтовъ, Диккенсъ и Жоржъ-Сандъ, тотъ долженъ упрекать Гоголя въ односторонности и сальности, — но заслуживаетъ ли опроверженій, заслуживаеть ли вниманія мивніе такого цінителя? Важно пногда бываеть знать происхождение мивнія и первобытный, подлинный видь, въ которомъ оно выразнлось, часто этого бываетъ довольно, чтобы вполнъ оцънить годность этого мнънія для нашего времени, - часто оказывается, что оно принадлежить неразрывно къ системв понятій, невозможныхъ въ наше время. Самую жалкую фигуру представляють не тв люди, которые имвють ошибочный образь мыслей, а тѣ, которые не имъютъ никакого опредъленнаго, послъдовательнаго образа мыслей, которыхъ мивнія—сборъ безсвязныхъ обрывковъ, неклеящихся между собою. Прочитавъ рецензіи Полеваго, мы убъждаемся, что всъ упреки, дълаемые до сихъ поръ иными людьми Гоголю, заимствованы изъ этихъ рецензій; разница только въ томъ. что у Н. А. Полеваго упреки имёли смыслъ, будучи логическимъ выводомъ изъ системы убъжденій, хотя неудовлетворительной для нашего времени, но все-таки бывшей прекрасною и полезною въ свое время; между тымь какы въ устахъ людей, повторяющихъ

нынѣ эти нападенія, они лишены всякаго основанія, всякаго смысла. Представивъ множество примѣровъ «тривіальнаго» и «неправдоподобнаго» въ «Мертвыхъ Душахъ», множество примѣровъ того, что Гоголь пишетъ неправильнымъ и низкимъ языкомъ (тутъ выставлено на видъ и то, что Чичиковъ не можетъ съ перваго раза дѣлать помъщикамъ предложенія о продажѣ мертвыхъ душъ, и то, что Ноздревъ не можетъ на балѣ сѣсть на полъ и ловить танцующихъ за ноги, и Петрушка съ запахомъ жилой комнаты, и капля, надающая въ супъ Оемистоклюса и т. д., и «глупѣйшій разсказъ» о капитанѣ Копейкинѣ, и слова «тюрюкъ», «взбутетенить» и пр.,—однимъ словомъ, все, что только служило пищею для послѣдующихъ остроумныхъ шутокъ и благородныхъ негодованій на Гоголя), Н. А. Полевой оканчиваетъ свою рецензію такъ:

Не будемъ болье говорить о слогь, объ образь выраженія, но скажемъ въ заключеніе: каково понятіе автора объ искусствь и цып его, если онъ думаеть, что художникъ можетъ быть уголовнымъ судьей современнаго общества? Да если и положимъ, что такова дъйствительно обязанность писателя, такъ развъ выдумками на современное общество, развѣ небывалыми каррикатурами укажеть онь на зло и предупредить его? Беремъ на себя кажущееся смышнымь автору названіе патріотовъ, даже «такъ называемыхъ патріотовъ», пусть назовуть насъ Кифами Мокіевичами, -- но мы спрашиваемь его: почему въ самомъ дёлъ, современность представляется въ такомъ непріязненномъ видъ, въ какомъ изображаеть онъ ее въ своихъ «Мертвыхъ Душахъ», въ своемъ «Ревизорь»,-и для чего не спросить: почему думаеть онъ, что каждый русскій человікь носить въ глубині души своей зародыши Чичиковыхъ и Хлестаковыхъ? Предвидимъ негодованіе и оскорбленіе защитниковъ автора: они представять насъ поддільными патріотами, лицемірами, быть можеть чімь нибудь еще хуже—въдь за такими бездълками у многихъ дъло не станетъ!. Ихъ воля, но мы скажемъ прямо и утвердительно, что приписывая предубъкденіе автора доброму наміренію, нельзя не замітить какого-то превратнаго взгляда его на многое. Вы скажете, что Чичиковъ и городъ, гдъ онъ является, не изображенія цёлой страны, но посмотрите на множество мёстъ въ «Мертвыхъ Душахъ»: Чичиковъ, выёхавши отъ Ноздрева, ругаетъ его нехорошими словами- «что ділать», прибавляеть авторь, «русскій человікь, да еще и въ сердцахь!»—Пьяный кучерь Чичикова съёхался съ встречнымь экипажемъ и начинаетъ ругаться - «русскій человѣкъ», прибавляеть авторъ, «не любить сознаваться передъ другимъ, что онъ виноватъ!... Изображается городъ; фризовая шинель (необходимая принадлежность города, по мнёнію автора) плетется по улиць, «зная только одну (увы!) слишкомъ протертую русскимъ забубеннымъ народомъ дорогу!>--Какіе то купцы позвали на пирушку другихъ купцовъ-«пирушку на русскую ногу», и «пирушка (прибавляеть авторь), какъ водится, кончилась дракой... > Спрашиваемъ, такъ ли изображаютъ, такъ ли говорятъ о

томъ, что мило и дорого сердцу? Квасной патріотизмъ!.. Милостивые государи, мы сами не терпимъ его, но позвольте сказать, что квасной патріотизмъ все же лучше космополитизма... какого бы?.. да мы понимаемъ другъ друга!

Не знаемъ, придется ли намъ заняться подробнымъ разсмотрѣніемъ этого упрека, едва ли не самаго существеннаго изъ всего, что было говорено противъ Гоголя. А пока напомнимъ читателю, что самъ Гоголь превосходно разъяснилъ сущность вопроса анекдотомъ о Кифѣ Мокіевичѣ и слѣдующимъ мѣстомъ въ «Разъѣздѣ изъ Театра» послѣ представленія «Ревизора».

Господинъ П. Помилуй, братецъ, ну что это такое? какже это въ самомъ дёлё?

Господинъ В. Что?

Господинъ П. Ну да какже выводить это?

Господинъ В. Почему же нътъ?

Господинъ И. Ну да самъ посуди ты: ну какже, право? Все пороки, да пороки; ну какой примъръ подается черезъ это зрителямъ?

Господинъ Б. Да развѣ пороки хвалятся? Вѣдь они же выведены на осмѣяніе.

Господинъ В. Но позвольте однако же замѣтить, что все это, нѣкоторымъ образомъ, есть уже оскорбленіе, которое болье или менье распространяется на всѣхъ.

Господинъ II. Именно. Вотъ это я самъ хотёлъ ему зам'єтить. Это именно оскорбленіе, которое распространяется.

Господинъ В. Чъмъ выставлять дурное, зачъмъ же не выставлять хорошее, достойное подражания?

Господинъ В. Зачёмъ? Странный вопросъ: «зачёмъ». Зачёмъ одинъ отець, желая исторгнуть своего сына изъ безпорядочной жизни, не тратилъ словъ и наставленій, а привель его въ дазаретъ, гдё предстали предъ нимъ во всемъ ужась страшные слёды безпорядочной жизни? Зачёмъ онъ это сдёлалъ?

Господинъ В. Но позвольте намъ заметить: это уже некоторымъ образомъ наши общественныя раны, которыя надобно скрывать, а не показывать.

Господинъ П. Это правда. Я съ этимъ совершенио согласенъ. У насъ дурное надо скрывать, а не показывать. (Господинъ В уходить; подходить киязъ N). Послушай, князь!

Князь N. А что?

Господинъ II. Ну, однакожь скажи: какъ это представлять? На что это похоже?

Киязь N. Почему-жь не представлять?

Господинъ П. Ну да посуди самъ, ну да какже это: вдругъ-на сценъ плутъ,—вёдь это все наши раны.

Князь N. Какія раны?

Господинъ П. Да, это наши раны, наши, такъ сказать, общественныя раны.

Князь N. Возьми ихъ себь. Пусть онь будуть твои, а не мои раны Что ты мнь ихъ тычешь? (Уходить).

Именно, такъ! именно, это «нѣкоторымъ образомъ наши раны!» именно «дурное у насъ надо скрывать, а не показывать!», именно это «оскорбленіе, которое распространяется»! Правъ, тысячу разъ правъ Господинъ П.! Но отчего же вы сами гг. недовольные Гоголемъ, находите Господина П. смѣшнымъ и нелѣпымъ? Если онъ нелѣпъ, то и не повторяйте же его словъ. Они имѣютъ смыслъ только на его языкъ.

Въ рецензін «Ревизора» нельзя не зам'втить, что Н. А. Полевой еще не отчанвается въ исправленіи Гоголя, принисывая всю вину только его «льстецамъ»; еще не отказывается отъ Гоголя:— посл'в выхода «Мертвыхъ Душъ» онъ уже считаетъ его челов'вкомъ, безвозвратно погибшимъ для искусства, неисц'влимо закосн'влымъ въ своей сумасбродной гордости—писать такія нельпыя вещи, изъ которыхъ первою былъ «Ревизоръ». Вотъ посл'яднія строки разбора «Мертвыхъ Душъ».

«Если бы мы осмёдились взять на себя отвёть автору отъ имени Руси, мы сказали бы ему: милостивый государь! Вы слишкомъ много о себё думаете, ваше самолюбіе даже забавно, но мы сознаемъ, что у васъ есть дарованіе, и только та бёда, что вы немножко «сбились съ панталыку!» Оставьте въ покоё вашу «выюгу вдохновенія», поучитесь русскому языку, да разсказывайте намъ прежнія ваши сказочки объ Ивань Ивановичь, о коляскь и нось, и не пишите, ни такой галиматіи, какъ вашь «Римъ», ни такой чолуки, какъ вашь «Мертвыя Души!» Впрочемъ, воля ваша!»

Мы кончили наши выписки изъ сужденій Н. А. Полеваго о Гоголь. Къ некоторымъ изъ мньній, высказанныхъ имъ въ первый разъ, мы еще должны будемъ возвратиться, говоря о мньніяхъ, высказываемыхъ иными еще и теперь. Другія можно оставить безъ разбора, потому что крайняя наивность ихъ дълаетъ излишнимъ всякое опроверженіе. Но здъсь намъ остается сдълать два замъчанія, вызываемыя приговорами Н. А. Полеваго.

Въ томъ, что Гоголь возмечталъ о себѣ не какъ о невинномъ шутникѣ, но какъ о великомъ писателѣ съ глубоко философскимъ направленіемъ, Иолевой обвиняетъ «льстецовъ» Гоголя. Смѣшно

было бы въ наше время думать, что произведенія, подобныя «Ревизору» и «Мертвымъ Душамъ», могуть быть обязаны своимъ происхожденіемъ чьему бы то ни было постороннему вліянію, -созданія, столь глубоко прочувствованныя, бывають плодомь только собственной глубокой натуры самого автора, а не постороннихъ наущеній. Кром'в того, мы уже говорили, что люди, которые лучше другихъ понимали значение этихъ высокихъ созданий искусства, не имели вліянія на Гоголя. Въ следующей статье мы увидимъ, какъ мало понимали «Мертвыя Души» другіе люди, которые, будучи поклонниками Гоголя, были въ то же время и его друзьями-эти мудрые варягоруссы, если и были въ чемъ нибудь виноваты, то развѣ въ «Перепискѣ съ друзьями», притомъ же, они и не были знакомы съ Гоголемъ, и не играли въ литературѣ значительной роли въ 1834 году, когда уже былъ написанъ «Ревизоръ» (*). Пушкинъ зналъ Гоголя гораздо раньше, имфлъ нфкоторое вліяніе на начинавшаго юношу и хвалилъ его произведенія, но невозможно, чтобы его считаль Полевой «льстецомъ» Гоголя, -- напротивъ, каждому изв'єстно, что Жуковскій и Пушкинъ были покровителями Гоголя, занимая въ литературф и въ обществф гораздо почетнъйшее мъсто, нежели онъ, безвъстный юноша. А между тъмъ, онъ будучи еще совершенно безвъстнымъ и ничтожнымъ молодымъ человъкомъ. уже печаталь философскія и высокопарныя статейки, въ которыхъ видить Полевой уже следствіе лести, вскружившей ему голову. Нѣкоторыя изъ этихъ статеекъ перепечатаны въ «Арабескахъ», ивкоторыя другія исчислены г. Геннади (**). Вообще, надобно сказать, что въ развитін своемъ, Гоголь быль независим ве отъ постороннихъ вліяній, нежели какой либо другой изъ нашихъ первоклассныхъ писателей. Встмъ, что высказано прекраснаго въ его пропзведеніяхъ, онъ обязанъ исключительно своей глубокой натуръ. Это

^(*) См. Письмо Гоголя въ Максимовичу, отъ 14 августа 1834 г., въ "Опытъ біографіи Гоголя", г. Николая М., помъщенномъ въ "Современникъ" 1854 г.

^(**) См. Списокъ сочиненій Гоголя, составленный г. Геннади, въ "Отеч. Зап." 1853 г. Изъ этихъ статей большая часть, какъ, напримеръ, "Скульптура, живопись и поэзія", "объ Архитектуръ", "Живнь" принадлежатъ еще 1831 году, и написаны, конечно, прежде, нежели фамилія Гоголя упоминалась печатнымъ образомъ.

очевидно нынѣ для каждаго, нечуждаго понятія о русской литературѣ. И если гордость Гоголя вовлекала его когда нибудь въ ошибки, то, во всякомъ случаѣ, надобно сказать, что источникомъ этой гордости было его собственное высокое понятіе о себѣ, а не чужія похвалы. Нѣкоторые люди питаютъ такое гордое и высокое понятіе о себѣ, что чужія похвалы не могутъ ужь имѣть на нихъ особеннаго вліянія,—кто знавалъ подобныхъ людей, легко увидитъ изъ писемъ и авторской псповѣди Гоголя, что онъ принадлежалъ къ числу ихъ.

Другое наше замѣчаніе относится къ самому Н. А. Полевому. По двумъ последнимъ отрывкамъ изъ его рецензін на «Мертвыя Луши», иные, быть можеть, заключать, что онь какъ издатель «Русскаго Въстника», сдълался невъренъ собственнымъ мнѣніямъ, которыя были съ такою энергіею выражаемы въ «Московскомъ Телеграфѣ»; это заключение было бы несправедливо. Мы не то хотимъ сказать, чтобы решительно о каждомъ отдельномъ вопросе Н. А. Полевой быль готовъ повторить въ 1842 году то самое, что сказаль въ 1825. Мивнія человька мыслящаго не бывають никогда окамен влостями, — съ теченіемъ времени онъ можеть во многихъ предметахъ замъчать стороны, которыя опускалъ изъ виду прежде, потому что онъ еще не были довольно раскрыты историческимъ движеніемъ. Но діло въ томъ, что человікъ съ самостоятельнымъ умомъ, достигнувъ умственной зрелости и выработавъ себе известныя основныя убъжденія, обыкновенно остается навсегда проникнуть ихъ существеннымъ содержаніемъ, и эта основа всёхъ мнвній остается у него уже навсегда одинаковою, какъ бы ни мънялись окружающіе его факты. И не надобно считать измѣною убъжденіямъ, если сообразно изміненію окружающихъ фактовъ, такой человёкъ, сначала заботившійся преимущественно о томъ, чтобы выставить на видь одну ихъ сторону, впоследствии считаль необходимымъ сильнъе выставлять другую. Онъ можетъ сдълаться человъкомъ отсталымъ, непереставая быть въренъ себъ. Такъ было и съ Н. А. Полевымъ. Онъ ратовалъ противъ классиковъ, — но потомъ, когда классики были сбиты во всехъ пунктахъ, онъ увидъль новыхъ людей, которые, не обращая вниманія на классицизмъ, уже совершенно обезсилъвшій, борются противъ романтизма. Ихъ убъжденія гораздо болье разнились отъ убъжденій Н. А. Полеваго, нежели убъжденія Н. А. Полеваго отъ убъжденій

классиковъ, — оба последніе оттенка принадлежали одной и той же сфере понятій, только различнымъ образомъ изменяемыхъ—новыя литературныя понятія разделялись отъ нихъ целою бездною. И Н. А. Полевой, нисколько не изменяя своимъ романтическимъ убежденіямъ, могъ сказать: «ужь лучше піптика Буало, нежели эстетика Гегеля. Лучше классицизмъ, нежели произведенія новейтшей литературы». И действительно. Жанлись ближе къ Виктору Гюго, нежели Диккенсъ или Жоржъ Сандъ, «Бедная Лиза» имееть съ «Аббалдоною» более родства, нежели «Герой нашего времени» или «Мертвыя Души». Жанлисъ и Викторъ Гюго, «Бедная Лиза» и «Аббалдонна» сходны хотя въ томъ, что изображаютъ людей вовсе не такими, каковы они на самомъ делё. А что у нихъ общаго съ романами новой литературы?

И этимъ то объясняется странный повидимому фактъ, что человъкъ съ такимъ замъчательнымъ умомъ, какъ Н. А. Полевой, не могъ понимать произведеній новой-не только русской, но и вообще всей европейской литературы, объясняется странная до невфроятности смёсь умныхъ и дёльныхъ критическихъ пріемовъ съ наивными и решительно несправедливыми выводами въ статьяхъ «Русскаго Въстника» и другихъ журналовъ, издававшихся имъ въ последнюю половину жизни. Онъ делалъ правильные выводы изъ принциповъ, сдълавшихся съ теченіемъ времени неудовлетворительными, - и ни его умъ, ни его добросовъстность ни мало не теряють въ глазахъ справедливаго судьи отъ нелѣпости выводовъ. Напротивъ, сильный умъ обнаруживается въ каждой строкъ этихъ до чрезвычайности наивныхъ статей, — а что касается ихъ добросовъстности, -- мы въ ней ни мало не сомнъваемся, и думаемъ, что каждый безпристрастный человекь дойдеть до того же убежденія, если вникнеть въ сущность дела, краткій обзоръ котораго мы представили.

Последняя половина литературной деятельности Н. А. Полеваго нуждается въ оправданіп, сказали мы въ начале этого обзора; и по нашему мнённію, она можеть быть удовлетворительно оправдана, — пора снять пятно съ памяти челов'я, который, действуя въ последніе годы ошибочно, могъ быть противникомъ литературнаго развитія, и подвергаться за то въ свое время справедливымъ укоризнамъ, — но теперь миновала опасность, которую представляло тогда его вліяніе на литературу, — и потому теперь должно

признаться: онъ справедливо говориль о себё, что всегда быль человёкомь честнымь и желавшимь добра литературё, и что за нимь остаются неотъемлемо важныя заслуги въ исторіи нашей литературы и развитія, — признаться, что онъ, издавая собраніе своихъ критическихъ статей, имёль право сказать въ предисловіи:

«Кладу руку на сердце, и дерзаю сказать въ слухъ, что никогда не увлекался я на злобою, --чувствомъ, для меня преэрительнымъ, на завистью --чувствомъ, которато не понямаю, никогда то, что говорилъ и писалъ я, не разногласило съ моимъ убъжденіемъ, и никогда сочувствіе добра не оставляло сердца моего; оно всегда сильно билось для всего великаго, полезнаго и добраго. Смёю прибавить, что такое постоянное стремленіе доставляло мнь минуты прекрасныя, усладительныя, награждавшія меня за горести и страданія жизни моей. Сколько разъ слышалъ я искреннюю благодарность и привътъ юношей, говорившихъ, что мий одолжены они правственнымъ наслаждениемъ и вёрою въ добро! Не скажеть обо мнь, кто приметь на себя трудь познакомиться съ тымъ, что было мною писано, -- не скажеть, чтобы я чёмъ либо обезславиль званіс, которое всегда высоко цѣню и цѣнилъ—званіе литератора. Мои слова не самохвальство, по искренній голосъ человіка и литератора, который дорожить названіемъ честнаго. Между тімъ какь человікъ, я платиль горькую дань несовершенствамъ и слабостямъ человѣка... Пусть вержетъ за то на меня камень тотъ, кто самъ не испыталъ обмана и разочарованія въ окружающемъ его ичто еще грустиве-въ самомъ себв! Если ты еще юнъ, собрать мой,-ты не судья мий: дай пробиться сёдинё на голове твоей, дай похолодёть сердцу твоему, дай утомиться силамъ твоимъ отъ труда и времени, и тогда говори и суди меня!..

«Я не судья самъ себъ. Но никто не оспорить у меня чести, что первый я сдёлаль изъ критики постоянную часть журнала русскаго, первый обратидь критику на всв важнъйшіе современные предметы. Мон опыты были несовершенны, неполны, — скажуть мив-и последователи мои далеко меня обогнали въ сущности и самомъ образѣ воззрѣнія. Пусть такъ, да и стыдно было бы повому покольнію не стать выше нась, покольнія уже преходящаго, потому выше, что оно старше насъ, послъ насъ явилось, продолжаеть, что мы начинали, и мы должны быть довольны, если наши труды будуть имёть для него цъну историческую... Самъ чувствую, перечитывая нынъ, неполноту, несовершенство многаго... Многое обновляеть для меня въ настоящемъ чувство утъшительное, по еще больше внушаеть чувство грустное, сознаніе недостигнутой мечты, невыраженныхъ идеаловъ. Такое чувство, думаю, естественно каждому, кто жилъ сколько нибудь и мыслилъ. Только неважество, только глупость получили на сей землѣ (впрочемъ, не знаю, счастливую ли) участь самодовольства. Есть другая награда, болье драгоцыная, которою благословляеть насъ Провидение: мысль, что если Богъ далъ намъ что нибудь, сильно горевшее въ душћ нашей, свльно тревожившее пасъ въ дни нашей юности, еще безсознательнымъ, теплымъ ощущеніемъ, мы не погубили его потомъ въ суеть и бедствіяхъ жизни, не зарыли таланта въ землю... Пусть мы не достигли искомыхъ нами идеаловъ,—по крайней мфрв порадуемся, что не безплодно утраченная протекла жизнь наша...»

Сколько благородства въ этихъ словахъ, и какою правдою въетъ отъ нихъ! Кто такъ говоритъ, тотъ не лжетъ, и действительно, не безплодно протекла жизнь этого человъка, и не съ осужденемъ, а съ признательностью должны мы вспоминать его.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Обозрѣвая мнѣнія, высказанныя о Гоголѣ представителями различныхъ направленій, существовавшихъ въ русской критикѣ, мы начали съ сужденій, произнесенныхъ Н. А. Полевымъ. Главною мыслью нашей было показать зависимость этихъ сужденій о частномъ вопросѣ, насъ теперь занимающемъ, отъ общаго характера той системы понятій, замѣчательнѣйшимъ послѣдователемъ которой у насъ былъ Н. А. Полевой. И если приговоры его произведеніямъ Гоголя, дѣйствительно, были только слѣдствіемъ его общихъ убѣжденій, то уже ясно, что не стоитъ заниматься подробнымъ опроверженіемъ этихъ ошибочныхъ нападеній, — довольно было сказать: они — ни болѣе и ни менѣе, какъ логическій выводъ изъ ученій Виктора Гюго и Кузена. Нынѣ каждому очевидно, что ученія Гюго и Кузена неудовлетворительны; а кто отвергаетъ основанія, тотъ не можеть согласиться и съ выводами.

теперь мы должны говорить о мивніяхъ критиковъ, которые играли ивкоторую роль въ литературв носледующихъ годовъ, до того времени, когда «Отечественныя Записки» пріобрели решительное господство. Критиковъ этихъ было два: писатель, называвшій себя иногда Тюгюнджи-Оглу, чаще барономъ Брамбеусомъ, а подъ некоторыми статьями подписывавшій и свое настоящее имя—О. И. Сенковскій *), и г. Шевыревъ. Припоминая ихъ суж-

^{*)} О томъ, что баронъ Брамбеусъ и Тютюнджи-Оглу были исевдонимы г. Сенковскаго, есть много указаній. Мы приведемъ одно изъ статьи Гоголя "О движеніи журнальной литературы" ("Современникъ" 1836 г., № 1, стр. "197): "Г. Сенковскій является въ своемъ журналѣ какъ критикъ, какъ по"вѣствователь, какъ ученый, какъ сатирикъ, какъ глашатай новостей и проч., и проч., является въ видѣ Брамбеуса, Морозова, Тютюнджи-Оглу, А. Бѣл-"кина, наконецъ въ собственномъ видѣ".

денія о Гоголь, мы будемъ держаться прежняго правила—стараться показывать отношеніе мніній того или другаго критика объ отдъльномъ вопросъ къ общему характеру его критической дъятельности: этимъ чрезвычайно облегчается и уясияется діло. Едва ли нужно замічать, что въ воспоминаніяхь о дізтельности барона Брамбеуса и г. Шевырева въ настоящее время нельзя руководиться ничемъ инымъ, кроме чисто историческаго интереса. Хотя оба эти писателя не покинули литературнаго поприща, но ихъ вліяніе на литературу и на публику принадлежитъ времени, уже прошедшему, и литературныя отвошенія настоящаго уже не должны им'єть вліянія на сужденія объ этихъ писателяхъ, потому что не им'єють никакого соприкосновенія ни съ важными статьями г. Шевырева, которыми иные поучались лёть пятнадцать, ни съ легкими статьями барона Врамбеуса, которыя въ известномъ классе публики производили фуроръ лётъ двадцать тому назадъ. И самые журналы бывшіе некогда органами этихъ критиковъ, хотя существують донынь, но уже совершенно измънили свое направленіе, и, какъ намъ кажется, къ лучшему. «Москвитянинъ» въ последние годы былъ органомъ г. А. Григорьева, который, по нашему мивнію, очень часто, или, чтобы говорить точнее, почти постоянно поддается страннымъ обольщеніямъ, но въ самыхъ странныхъ тирадахъ котораго видёнъ умъ живой, энергическій и искреннее, горячее увлеченіе тімь, что представляется ему истиною. Въ нынішнемь журналѣ «Вибліотека для Чтенія» критическія статьи часто содержать мысли болбе основательныя, нежели прежнія сужденія. Такимъ образомъ, то, что мы должны будемъ говорить о писателяхъ, нъкогда господствовавшихъ въ критическомъ отделе «Вибліотеки для Чтенія» и «Москвитянина», нимало не относится и не можеть быть примъняемо къ характеру этихъ журналовъ въ настоящее время.

Послё этихъ оговорокъ, нужныхъ только для немногихъ изъ читателей, потому что почти всё и безъ объясненій пишущаго чувствуютъ, какъ далеки литературные интересы настоящаго времени отъ всякаго соотношенія съ старинными статьями прежняго «Москвитянина» и прежней «Библіотеки для Чтенія», —мы уже можемъ, не стёсняясь никакими посторонними соображеніями, перейти къ характеристикъ той роли, какую играли нъкогда баронъ Брамбеусъ и г. Шевыревъ. Начинаемъ съ воспоминаній о баронѣ Брамбеусъ, потому что блестящая эпоха его критики относится къ бо-

лье раннимъ годамъ, нежели окончательное развитие воззрыній г. «Шевырева.

Трустнымъ, но поучительнымъ примѣромъ можетъ служить для русскихъ писателей исторія литературной дѣятельности барона Брамбеуса: имѣть столько дарованій—и растратить ихъ совершенно понапрасну, безъ всякой пользы для литературы, между тѣмъ, какъ даже наименѣе даровитые писатели часто приносили у насъ нѣкоторую пользу, заслужили себѣ право на нѣкоторую признательность,—это грустно; имѣть столько силы—и не оказать рѣшительно никакого вліянія, между тѣмъ, какъ писатели съ самымъ незначительнымъ запасомъ силь имѣли у насъ свою долю вліянія, утвердили за собою мѣсто въ исторіи литературы, — это грустно, это покажется почти невѣроятно людямъ, которые не будутъ уже, подобно нашему поколѣнію, очевидцами явленія, столь ненатуральнаго.

Баронъ Брамбеусъ имъть почти всъ качества, нужныя для того, чтобъ играть важную и плодотворную роль въ литературъ, осо-

бенно въ журналистикъ.

Одна изъ главныхъ задачъ журналиста есть распространеніе положительныхъ знаній между своими читателями, ознакомленіе публики съ фактами науки. Въ нашей литературъ, гдъ еще такъ мало дельных ученых книгь, да и те находятся въ рукахъ самой ничтожной по числу части публики, исполнять эту обязанность журналистамъ еще пеобходимъе, нежели въ другихъ литературахъ. Публика наша хочеть имъть въ журналь не только журналь, то есть органъ извъстнаго мивнія, но и ученый сборпикъ. Писатель, извъстный подъ именемъ барона Брамбеуса, имълъ средства удовлетворять этой потребности публики. Онъ обладаль обширною начитанностью по всемъ отраслямъ знанія, а по многимъ и основательными познаніями. Мы не будемъ, для болье поразительнаго контраста между средствами и результатами, говорить о его учености въ преувеличенныхъ выраженіяхъ: намъ всегда казалось забавно митніе иткоторыхъ простодушныхъ людей, будто бы свтть никогда не производилъ такого энциклопедиста, какъ баронъ Брамбеусъ. Даже въ кружкъ нашихъ литераторовъ, всегда столь малочисленномъ, были около того времени, когда явился Брамбеусъ, люди, не уступавшіе ему обширностью познаній, наприм'єръ Н. А. Полевой; были даже люди, далеко превосходившіе его, наприм'єръ,

г. Надеждинъ. Но то справедливо, что, не будучи ни единственнымъ, ни лучшимъ нашимъ энциклопедистомъ, этотъ писатель обладалъ дъйствительно замъчательною начитанностью. Во многихъ случаяхъ его знанія оказывались почерпнутыми изъ устарълыхъ или плохихъ источниковъ особенно по философіи, эстетикъ, политической экономіи, нъкоторымъ отдъламъ всеобщей исторіи, наконець по индо-европейской филологіи. Но естественныя науки онъ любилъ и зналъ основательно; а что касается Востока, онъ былъ въ свое время однимъ изъ лучшихъ оріенталистовъ въ Европъ.

Мы указали педостаточность его знаній по многимъ важнейшимъ наукамъ; но ему не было бы затруднительно восполнить этотъ недостатокъ: ему стоило только захотъть, и онъ легко знакомился съ результатами какой угодно науки; мъсяца ему достаточно на то, для чего человъку съ обыкновенными способностями нуженъ былъ годъ. Однимъ изъ примъровъ этой способности былъ переводъ «Эймундовой Саги», въ свое время поразившій многихъ: извъстно было, что г. Сенковскій употребиль только полтора или два мѣсяца для изученія исландскаго нарѣчія, которое было ему совершенно неизвъстно. Изумительнаго въ этомъ фактъ не было ничего: кто внаеть по-намецки и по-англійски, тому изучить третье видоизмънение общаго германскаго семейства языковъ-исландское наръчіе, такъ же легко, какъ русскому, знающему по-малороссійски, выучиться переводить съ польскаго; для человъка съ хорошею намятью это дёло нёсколькихъ недёль. Не надобно забывать и того, что г. Сенковскій, изучивъ уже много восточныхъ и европейскихъ языковъ, очень хорошо зналъ удобнъйшія методы для практическаго изученія языковъ. Надобно прибавить, что латинскій переводъ, приложенный къ исландскому тексту, значительно помогаль труду. Но, во всякомъ случав, не будучи фактомъ необычайнымъ, переводъ «Эймундовой Саги» послѣ двухмъсячныхъ занятій свидътельствуетъ объ острой намяти и быстрой способности соображенія въ переводчикъ. Другой подобный примъръ былъ менъе замътенъ тогдашними литераторами, но, безъ сомивнія, болве замвчателень. Г. Сенковскій выучился очень хорошо писать на русскомъ языкъ также въ очень непродолжительное время. Правда, литературные враги находили въ его языкъ много ошибокъ; но эти придирки были почти всё несправедливы. Слогъ г. Сенковскаго могъ иметь свои недостатки-это зависить отъ вкуса, а не отъ знаній въ языкъно русскій языкъ г. Сенковскаго быль съ самыхъ первыхъ его статей очень легокъ и чистъ. Человѣку зрѣлыхъ лѣтъ въ годъ, въ два года выучиться хорошо владѣть языкомъ, на которомъ не привыкъ онъ говорить съ младенчества, — вещь гораздо болѣе рѣдкая, нежели выучиться въ два мѣсяца понимать писанныя на немъ книги.

Мы упомянули объ этихъ двухъ фактахъ для того, чтобы выставить ихъ въ истинномъ свъть. Тотъ и другой часто принимаются превратно: изученіе исландскаго нарічія въ два місяца считають многіе діломъ необычайнымъ, обнаруживая тімь только собственное незнакомство съ дъломъ, другіе нападаютъ на русскій языкъ г. Сенковскаго, не понимая того, что даровитый человъкъ можеть владеть несколькими языками лучше, нежели бездарный олнимъ своимъ собственнымъ, и смфшивая недостатки слога съ неправильностями языка, которыхъ безпристрастный читатель не найдеть у г. Сенковскаго. Но мы вовсе не думаемъ, чтобы эти случан были единственными или лучшими доказательствами быстроты и силы ума, которымъ одаренъ этотъ писатель. Не всв его статьи удачны, -- многія слабы, какъ у всякаго, кто пишеть много и нечатаеть все, что пишеть; но въ самыхъ неудачныхъ постоянно видны очень замъчательные проблески сильнаго ума, а въ лучшихъ этотъ умъ блестить на каждой страниць. Мы и здъсь не хотимъ ничего преувеличивать, чтобы сделать ярче противоположность между дарованіями и ихъ употребленіемъ: въ статьяхъ барона Брамбеуса нътъ такой силы ума, какая видна у лучшихъ тогдашнихъ журналистовъ: Марлинскаго, Н. А. Полеваго, г. Надеждина; но, во всякомъ случай, писатель этотъ — человикъ замичательнаго vma.

Не должно смёшивать умъ съ остроуміемъ. Объ этомъ послёднемъ качествъ, которымъ въ особенности славился баронъ Брамбеусъ, надобно сказать нёсколько подробнье. Во время его славы, лучшіе тогдашніе литераторы, какъ Пушкинъ, Гоголь, кн. Вяземскій, Н. А. Полевой и проч., не были нимало ослешлены насчеть его остроумія... Но у нихъ остроуміе употреблялось въ дѣло только кстати, когда требовалъ того предметъ рѣчи, какъ и должно быть подчиняясь другимъ, высшимъ чертамъ ихъ литературнаго характера. Напротивъ, баронъ Брамбеусъ пзбралъ остроуминчанье своею спеціальностью, старался ни одвого слова не сказать безъ укра-

шенія остроуміємъ. Исключительность всегда рівзче бросается въ глаза, нежели гармоническое равновесіе дарованій. Такъ, напримфръ, втеченіе некотораго времени Языковъ быль болфе известень, какъ «певецъ вина», а Козловъ какъ «певецъ грусти», нежели Пушкинъ, хотя у Пушкина и эти стороны жизни выразились сильнее и полнее, нежели у Языкова и Козлова. Такъ въ наше время изображенія купеческаго быта у г. Островскаго многихъ занимають болье, нежели сцены въ «Ревизоръ» и «Женитьбъ», изъ того же быта, хотя внимательное сравнение покажеть, что у г. Островскаго (мы говоримъ, конечно, о достоинствахъ, а не о недостаткахъ его комедій) очень немногое прибавлено къ тому, что уже указано Гоголемъ. Совершенно подобнымъ образомъ для большинства читателей остроуміе у барона Брамбеуса было зам'ятн'яе, нежели у Н. А. Полеваго или г. Надеждина, хотя у последнихъ его было гораздо больше. У нихъ внимание читателя, не останавливаясь на формъ, остроумін, обращалось къ сущности, мысли статей; у барона Брамбеуса читатель останавливался исключительно на остроуміи, потому что кром'в замысловатых в фразъ не на чемъ было останавливаться. Эта мысль далеко не новая, какъ и все, что мы говорили до сихъ поръ, и потому едва ли нуждается въ доказательствахъ; но кому вздумается остановиться на ней, того мы попросимъ сравнить выписки изъ рецензій барона Брамбеуса, которыя мы приведемъ ниже, съ отрывками изъ разборовъ Н. А. Полеваго въ предъидущей нашей статъй. Если остроумие состоить въ новости, непринужденности, разнообразін, неожиданности, мъткости сближеній, въ живости, ъдкости фразеологіи, то не можеть оставаться сомнения въ огромномъ превосходстве на стороне Н. А. Полеваго. Не знаемъ, скоро ли намъ представится случай говорить о «Телескопв» и г. Надеждинь, но каждый, кто помнить статын «эксъ-студента Надоумко», скажеть, что кромѣ Пушкина не кого изъ тогдашнихъ писателей сравнивать съ нимъ. Не говоримъ уже объ удивительномъ остроумін самого Пушкина.

Ночему же баронъ Брамбеусь успёль прославиться остроуміемъ, далеко уступая многимъ изъ тогдашнихъ журналистовъ въ этомъ отношеніи? Одну изъ причинъ мы уже видёли — исключительное стремленіе его къ остроумію, мимо всякихъ другихъ цёлей. Воейковъ, раздёлявшій съ нимъ едва ли завидную выгоду заботиться преимущественно объ остроумін, также легко достигь въ свое вре-

мя цёли и считался едва ли не нервымъ острякомъ, но крайней мъръ, въ низшихъ слояхъ литературнаго кружка. Но въ публикъ онъ далеко не пользовался такою извъстностью, какъ баронъ Брамбеусъ: это потому, что ни одинъ изъ тогдашнихъ журналовъ не быль такъ распространенъ, какъ «Вибліотека для Чтенія». Въ 1830-1838 годахъ едва ли хотя одинъ журналъ расходился въ тысячъ экземпляровъ *), а «Библіотека для Чтенія» въ первые годы расходилась въ числѣ отъ четырехъ до пяти тысячъ экземиляровъ. Очень естественно, что она была единственною распространительницею извъстности въ массъ публики. Баронъ Брамбеусъ былъ главнымъ лицомъ въ этомъ журналѣ, онъ единовластно управлялъ его мивніями, всё критическія и библіографическія статьи приписывались ему, и справедливо, потому что онъ передълывалъ и тъ немногія, которыя были писаны не имъ; онъ самъ говорилъ о своихъ заслугахъ русской литературѣ, и до большинства публики не достигаль ничей другой голось. Но, быть можеть, не онъ обязань своею популярностью «Вибліотек'в для Чтенія», а самый этоть журналъ обязанъ ею его управленію? Если такъ, распространеніе круга журнальныхъ читателей -- столь важная услуга общественному образованію, что надобно было бы барона Брамбеуса поставить на ряду съ Новиковымъ, Карамзинымъ, Пушкинымъ, Гоголемъ, какъ сильнаго двигателя нашего просвищения. Но онъ самъ нигди не приписываеть себѣ этой заслуги, хотя не забываеть часто объяснять читателямъ всв свои права на высокое значение въ литературъ; очевидно, ему даже не приходило на мысль, что «Вибліотека для Чтенія» расширила кругъ русской публики. Оно и дійствительно было такъ. Масса людей, не имъвшихъ прежде привычки читать, была привлечена къ чтенію произведеніями Пушкина и его сподвижниковъ. Дущою русской книжной торговли былъ почтенный А. Ф. Смирдинъ. Ловъріе къ имени Смирдина было такъ велико, литературныя и коммерческія связи его такъ обширны, что изданіе имъ предпринимаемое, всегда должно было имъть несравненно боль-

^{*)} Пушкинъ, въ 1832 году, говорилъ даже только о 500. "Одна газета, издаваемая двумя извъстными литераторами, имъя около 3,000 подписчиковъ, естественно должна имътъ большое вліяніе на читающую публику. Журналы литературные, вмъсто 3,000 подписчиковъ, имъютъ едва ли и 500,—слъдственно, голосъ ихъ вовсе не дъйствителенъ". Сочин. Пушк., изд. П. А. Анненкова, томъ 1-й, стр. 358.

шій успахъ, нежели подобное же предпріятіе какого-нибудь другаго лица. Писатель, который сдёлался душою «Вибліотеки для Чтенія», поняль это и очень основательно поступилъ, внушивъ А. Ф. Смирдину мысль быть издателемъ журнала, имъ задуманнаго. Всв лучшіе русскіе литераторы были привлечены Смирдинымъ къ участію въ журналь. Такимъ образомъ, редакторъ «Библіотеки для Чтенія» уміль воспользоваться обстоятельствами. Но кругь русскихъ читателей былъ распространенъ Пушкинымъ и его сподвижниками, а не «Вибліотекою для Чтенія»; «Вибліотека для Чтенія» была обязана своимъ усивхомъ участію Пушкина и почти всёхъ другихъ литературныхъ знаменитостей и положенію своего издателя, Смирдина, въ книжной торговив, а не редактору. Напротивъ, дъйствія редактора были причиною наденія журнала. Все это вещи извъстныя, и выписки изъ статьи Гоголя «О движеніи журнальной литературы за 1834 и 1835 годы», которыя будуть намъ нужны для объясненія отношеній Брамбеуса къ Гоголю, представять подробности носледняго факта.

Но если вліяніе барона Брамбеуса было вредно для журнала, то, ужь конечно, не потому, чтобы редакторъ недостаточно заботился о сообщении журналу тъхъ качествъ, которыя считалъ для него полезными. Трудно найти въ исторіи новой русской журналистики другаго редактора, который такъ неутомимо заботился бы о своемъ изданіи, употребляль бы на него столько трудовъ. Не говоримъ уже о томъ, что баронъ Брамбеусъ самъ писалъ чрезвычайно много, такъ что можетъ поспорить своимъ добровольнымъ трудолюбіемъ съ невольною неусыпностью самаго прилежнаго изъ такъ называемыхъ журнальныхъ чернорабочихъ. Но едва ли какой нибудь редакторъ такъ неутомимо и прилежно перерабатывалъ каждую статью своихъ сотрудниковъ: перечитывая первые годы «Библіотеки», вы різшительно во всіхх неподписанных статьях Критики, Литературной Летописи, Смеси находите совершенное единство слога, манеры, самыхъ мивній, — всв онв кажутся написаны одною рукою: такъ заботливо исправлены и передъланы онъ неутомимымъ редакторомъ. Въ этомъ отношеніи «Библіотека для Чтенія» доведена была до совершенства почти идеальнаго, потому что единство въ характеръ всъхъ этихъ чисто журнальныхъ статей, безъ сомнвнія, должно быть целью каждаго журнала. Если нельзя похвалить «Вибліотеку» старых годовъ за ея характеръ, то нельзя не похвалить ее за точную выдержанность характера. На статьяхъ въ отдёлё Иностранной Словесности очень часто замётны также слёды неутомимой передёлки; то же самое часто, или, лучше сказать, почти постоянно, замётно даже въ подписанныхъ именами авторовъ оригинальныхъ русскихъ повёстяхъ, постоянно въ неподписанныхъ, а иногда и въ подписанныхъ своими авторами статьяхъ по отдёлу Наукъ. Однимъ словомъ, этотъ человёкъ нёсколько лётъ писалъ, быть можетъ, по сту печатныхъ листовъ и внимательно переправлятъ до самыхъ мелочныхъ подробностей почти все, что писали другіе для его журнала, часто вставляя по нёскольку страницъ въ чужія статьи. Невольно думаещь: какъ много полезнаго произвела бы такая неутомимая дёятельность, если бы направлена была къ какой нибудь важной цёли!

Нельзя забыть еще двухъ великихъ достоинствъ, которыми отличался баронъ Врамбеусъ: онъ былъ одаренъ способностью писать очень легко и популярно и завиднымъ искусствомъ излагать свои мысли о самыхъ щекотливыхъ предметахъ съ достаточною ясностью.

Способность писать легко и популярно доказывають не тв его многочисленныя статьи, въ которыхъ онъ народируетъ истины науки, съ целью быть забавнымъ и занимательнымъ-это искусство легкое, оно по илечу каждому-но тв страницы, на которыхъ онъ излагаеть свои собственныя теоріи съ искреннимъ намфреніемъ убъдить читателя. Сюда относятся многія мъста изъ его статей объ «Иліадь» и «Одиссев», о ниневійскихъ памятникахъ, о различныхъ вопросахъ изъ русской исторіи, напримерь о Несторовой Автописи, о значеніи Литвы для русской народности, объ имени «славянинъ» и проч., о теоріи образованія словъ въ языкѣ и т. д. Эти мивнія до такой степени оригинальны, что многіе принимали ихъ за шутку. Но внимательное чтеніе всего, что написано было ихъ авторомъ, убъждаетъ въ противномъ: одну и ту же шутку, почти одними и теми же словами, нельзя продолжать двадцать леть. Во первыхъ, нельзя въчно помнить ее; остроумный человъкъ скоро забываеть свои остроты, потому что прежнія безпрестанно вытісняются изъ его ума новыми; во вторыхъ, такой умный человікъ, какъ ученый, о которомъ мы говоримъ, не сдёлаль бы этого, чтобы не наскучить своимъ читателямъ. И дъйствительно, предметы своихъ шутокъ и пародій онъ безпрестанно изм'вняетъ и, говоря

объ одномъ, не остерегается противоръчить мнвніямъ, которыя высказывадъ полгода или мёсяцъ назадъ, говоря о другомъ. Но въ этихъ случаяхъ онъ безпрестанно повторяетъ то, что сказалъ однажды, повторяеть кстати и не кстати, и каждый разъ съ величайшими подробностями. Нътъ сомнънія, что это его задушевныя, любимыя мысли, которыя онъ хочеть внушить читателямъ. Нельзя хвалить основательность этихъ мысдей, но нельзя не хвалить той удобопонятности, съ какою изложены онв и ихъ доказательства, по большей части заимствованныя изъ самыхъ спеціальныхъ фактовъ науки, совершенно незнакомыхъ читателю: тонкости арабской филологіи, греческихъ діалектовъ излагаются ученымъ журналистомъ съ такою популярностью, что читатель не затрудняясь понимаетъ сущность и подробности вопроса, потому съ охотою пробъгаетъ статью чрезвычайно спеціальную: благодаря искусству изложенія она кажется ему легкою и занимательною. Неть надобности говорить, какъ важно это достоинство въ журналистъ,-и за это мы отдаемъ полную честь г. Сенковскому.

Нельзя не отдать справедливости ему и за то, что онъ гордо уклонялся отъ всякой полемики. На него отовсюду сыпались укоризны, часто несправедливыя, часто грубыя до оскорбительности. Онъ, при случав, не щадилъ своихъ противниковъ, но никогда не принималъ вызововъ на перебранку, что было тогда въ большой модъ. Онъ отзывался о своихъ противникахъ иногда очень жестко, но всегда такъ, что въ словахъ его слышался голосъ журналиста, высказывающаго свои мнѣнія, а не раздраженнаго человъка. Это прекрасное, и нынѣ рѣдкое, а въ тѣ времена еще болѣе рѣдкое доказательство глубокаго сознанія собственнаго достоинства и силы.

Сколько залоговъ плодотворной дѣятельности! Ученость, проницательность и живой умъ, остроуміе, умѣнье вѣрно понять обстоятельства, подчинить ихъ себѣ, пріобрѣсть огромныя средства для дѣйствія на публику, трудолюбіе, сознаніе собственнаго достоинства—все въ высокой степени соединялось въ этомъ писатель. Мы не думаемъ говорить, чтобы онъ быль человѣкомъ необыкновеннымъ, далеко превышавшимъ всѣхъ своихъ соперпиковъ; напротивъ, не только по употребленію силь, но и по самымъ силамъ таланта должно нѣкоторыхъ, напримѣръ, Н. А. Полеваго и особенно г. Надеждина, поставить выше барона Брамбеуса. Но, во всякомъ случаѣ, этотъ человѣкъ былъ одаренъ отъ природы замѣчательными качествами и многія изъ нихъ успель развить до очень значительной силы. И однако же, что онъ сделалъ для нашей литературы, для нашего просвѣщенія, или для науки? Посмотрите: люди съ гораздо меньшими дарованіями им'єли въ свое время нікоторое участіе въ развитіи нашей литературы, или просв'єщенія — скоро мы будемъ говорить объ одномъ изъ такихъ людей, именно о г. Шевыревѣ, — а баронъ Брамбеусъ, который былъ гигантъ передъ ними, не сділаль ничего, совершенно ничего, и въ той жатві, которая нынь зръеть понемногу, нъть ни одного колоса, который бы выросъ изъ стмени, брошеннаго его рукою. Почему же такъ? Причина очень простая: онъ пренебрегалъ такимъ простымъ діломъ, какъ посвы хлеба, да пренебрегалъ и самимъ хлебомъ, какъ пищею не довольно пряною и не довольно легкою: онъ хотвлъ собрать вокругь себя какъ можно больше почитателей; онъ вздумаль, что дътей больше, нежели взрослыхъ людей; что дъти лучше любять лакомства, нежели хльбь, и занялся раздачею лакомствь, которыя таяли на языкъ, чъмъ и кончалось дъло. Прибавить можно развъ то, что дъти не слишкомъ разборчивы на лакомства, потому онъ мало заботился о качествъ лакомствъ, лишь бы только раздавать ихъ побольше; а дешеваго можно раздать больше, нежели дорогаго, потому лакомства барона Брамбеуса по большей части были самыя лешевыя.

Смѣшно осуждать самолюбіе вообще: оно производить очень много хорошаго, -- но только тогда, когда, нодъ вліяніемъ разсудка и любви, избираеть себъ возвышенную цъль; иначе оно, какъ всякая страсть, заведеть человъка на фальшивую дорогу, и онъ растратить свои силы бозполезно для другихъ, безполезно и для собственной славы. Баронъ Брамбеусь, до самаго того времени, какъ сделался русскимъ писателемъ, не зналъ ни русской литературы, ни русской публики, будучи уже очень хорошо знакомъ съ богатыми иностранными литературами, зная, какъ высоко развиты понятія и знанія въ публикъ западной Европы. Совершенно позволительно, -- потому что очень естественно и справедливо, -- было ему, узнавъ новую сферу, въ которой пришлось ему действовать, вывесть, по сравненію, не очень высокое заключеніе объ этой сферь. Очень естественно было ему, им'я высокое понятіе о себ'я, почесть себя человакомъ, стоящимъ гораздо выше этой сферы, -- и за это слишкомъ высокое мивніе о себв нельзя судить его; въ

собственномъ дёлё трудно быть безпристрастнымъ судьею. Но должно замътить, что уже съ этого пункта начинается ошибка: вообще говоря, наша литература была мелка, наша публика мало развита; но между литераторами были люди, достойные всякаго уваженія, а въ публикѣ было стремленіе къ развитію. Но чтожь оставалось дёлать челов'єку, который думаеть, что все окружающее ниже его?-Таково было задушевное мнине многихъ нашихъ литераторовъ, между прочимъ, и самого Гоголя. Гоголь поставилъ пѣлью своего самолюбія номочь окружающимъ его людямъ возвыситься до него, -- и это есть истинное самолюбіе, потому что только похвалы равныхъ могутъ быть лестными похвалами. Но помогать, улучшать, развивать - дёло медленное и трудное; чтобы предаться ему, необходимо быть уверенну въ томъ, что общество, о которомъ пдеть дёло, способно и готово къ развитію разсудительный человъкъ не станетъ хлопотать понапрасну; надобно любить это общество, потому что никто не захочеть трудиться на пользу тёхъ, кого не любитъ.

1/ Но мы думаемъ, что онъ былъ не правъ самъ передъ собою, изъ высокаго мивнія о себв и невысокаго мивнія о насъ сдвлавъ заключеніе, что ему надобно потішаться надъ нами. Геркулесь могъ поражать пигмеевъ, хотя и въ этомъ ему не было особенной славы; но мноъ не говорить, чтобъ онъ терялъ время въ потвхахъ надъ ними. Наше мевніе довольно ясно было высказано прежде: баронъ Брамбеусъ не быль Геркулесомъ; и между нами были люди, которые скоръе его могли имъть право на это имя; но мы становимся на точку зрвнія человька, о действіяхь котораго говоримъ. Скажите, человъкъ, считающій себя Геркулесомъ, а окружающихъ его пигмеями, не сдёлался ли бы пичтожнее самыхъ ингмеевъ, еслибъ всю деятельность свою растратилъ на потехи надъ нѣкоторыми изъ пигмеевъ для потѣхи другихъ пигмеевъ? Одно только было сообразно съ его достоинствомъ; отвернуться отъ пигмеевъ и заняться другими подвигами, более приличными силамъ, которыя онъ въ себ'в предполагаетъ. Пусть этотъ челов'вкъ занялся бы борьбою съ Гаммеромъ, но не передъ профанами, въ «Энциклопедическомъ Лексиконъ» Плюшара, съ Кювье и Шампольйономъ, но опять не передъ профанами; въ «Фантастическихъ Путешествіяхъ», а передъ лицомъ ученаго світа, хотя бы, наприміръ, въ «Вюллетеняхъ» С.-Петербургской Академін Наукъ или въ Journal des Savants. Тогда и мы, пигмен, посмотрёли бы, чёмъ кончится борьба, и присоединили бы наши единодушныя похвалы къ похваламъ великихъ судей ученаго міра.

Но лиллинутскія забавы соблазнили барона Брамбеуса: на нихъ растратиль онь всв свои силы, забывь о всякой другой аренв. Изъ этого мы должны заключать, что лиллипутская арена была для него совершенно удовлетворительна, и что ошибался онъ, считая себя слишкомъ многимъ выше лиллипутовъ. Замъняемъ слово «нигмен» лиллинутами для ясности: то мы говорили съ его точки зрвнія, тенерь уже отъ себя. Въ той сферв, гдв онъ находился, были люди различнаго роста. Какихъ онъ выбралъ своими товарищами, своими судьями? самыхъ малорослыхъ. Кого онъ хвалилъ? г. Тимоееева, котораго ставилъ сонерникомъ Пушкину, г. Масальскаго, котораго называль талантливымь и остроумнымъ писателемъ, г. фанъ-Дима, г. Бернетта, г. Очкина, г. В. Зотова, и т. д., и т. д. Вы скажете, что это была шутка? Но какъ бы низко ни думади мы о людяхъ, всегда надобно предполагать, что есть между ними нъкоторые, не совершенно лишенные хотя небольшой частички здраваго смысла: передъ ними нельзя шутить подобныхъ лиутокъ, нельзя, для собственнаго развлеченія, ставить г. Тимооеева выше Пушкина. Съ подобными речами можно обращаться не къ публикъ вообще, а только къ «избранной» публикъ. Трудно предполагать, чтобы человъкъ добровольно сдълалъ подобный выборъ. Въроятнъе всего, надобно объяснять загадочную роль Брамбеуса следующимъ образомъ: отъ природы онъ получилъ довольно сильную наклонность блестьть остроуміемъ и нъкоторую склонность къ нарадоксамъ, что ночти нераздельно одно съ другимъ, -- кроме того, большую увёренность въ собственныхъ силахъ. Увёренность эта и счастливыя обстоятельства, въ которыя онъ умёль себя поставить, такъ что наконецъ сдълался полнымъ распорядителемъ единственнаго сильнаго журнала, внушили ему мысль, что онъ можетъ вертьть этою литературою и этою публикою, какъ ему вздумается. Онъ вздумаль, что такъ какъ наша исторія еще мало разработана, наша литература еще мало развита, съ иностранными литературами мы еще мало знакомы, литературныя мивнія еще шатки въ большинствъ публики, которая мало еще знакома и вообще съ наукою, то онъ можетъ сдълаться первымъ нашимъ беллетристомъ,--нелостатокъ повъствовательнаго таланта можно замънить заимствованіями у иностранныхъ писателей, - этого не откроють читатели. очень мало съ ними знакомые; можеть передълать всю нашу исторію блестящими гипотезами-відь она мало разработана: кто же докажеть неосновательность этихъ предположеній? -- можеть увърять публику во всемъ, что ему вздумается, въдь ея литературныя мивнія шатки, а знанія слабы. И онъ началь писать пов'єсти, передълывая и переводя Бальзака, Жюля Жанена, Марріета, Вольтера, Лесажа, Фильдинга, Рабле, и т. д., и т. д. *). Онъ ръшился доказывать, что языкъ Несторовой Летописи-польскій, что литовцы-коренные русскіе славяне, что «славянинъ» значить «человъкъ», а «славяне» — «человъки», что китайскій языкъ отличается отъ еврейскаго только интонаціею, что «Иліада» и «Одиссея» писаны на бълорусскомъ наръчін, что Киръ и его персы говорили наржчіемъ, очень близкимъ къ бізлорусскому, такъ что персепольскія гвоздеобразныя надписи скорте всего можно прочитать на бълорусскомъ наръчіи, и т. д., и т. д. Но оказалось, что наша публика не такъ легковърна, а литераторы и ученые наши не такіе невъжды, какими надлежало имъ быть для успъха въ столь смълыхъ предпріятіяхъ: заимствованія были открыты, неосновательность гипотезъ обнаружилась, и тогда самолюбіе заставило барона Брамбеуса систематически и преднамфренно продолжать то, что было начато, быть можеть, только необдуманно, отчасти по излишней увъренности въ собственныхъ дарованіяхъ, отчасти по неосновательности знаній въ техъ наукахъ, которыя онъ вздумалъ пересоздавать. Кого не удовлетворяеть это объяснение, тотъ можетъ прочитать другое, более простое, въ статье «Менцель» (Отечественныя Зависки, томъ УШ, Науки, на страницахъ 27-29).

Мы самымъ краткимъ образомъ говорили о новъствовательной и ученой дъятельности барона Брамбеуса, но должны сказать нъсколько подробнье о характеръ его критическихъ статей и рецензій, съ одной стороны потому, что на нихъ преимущественно опиралось мнѣніе о немъ, какъ объ остроумнъйшемъ изъ русскихъ писателей, нъкоторое время господствовавшее въ извъстномъ классъ публики, съ другой потому, что критическая его дъятельность бли-

^{*)} Предёлы статьи заставляють насъ ограничиться только указаніемъ на статью «Брамбеусъ и юная словесность», пом'єщенную въ «Московскомъ Наблюдатель» 1835 г., томъ 2. Тамъ приведены доказательства.

жайшимъ образомъ относится къ нашему предмету. Признаемся, мы прочитывали эти статьи со скукою, потому что остроуміе ихъ очень однообразно и вложено въ нихъ почти всегда чисто механическимъ способомъ, который по плечу каждому рецензенту, даже напменте остроумному. Все искусство состоитъ обыкновенно въ томъ, чтобы ловить неправильныя фразы въ разбираемой книгф и потомъ повторять ихъ несколько разъ; если заглавіе книги не совсвит удачно, то посмвиться и надъ заглавіемъ; если же можно, то прибрать какія нибудь подобнозвучныя или подобозначащія слова заглавію или фамиліи автора и, повторяя ихъ несколько разъ, перемѣшивать, напримѣръ «Московскаго Наблюдателя» называть то «Московскимъ Надзирателемъ, то «Московскимъ Надирателемъ», то «Московскимъ Соглядатаемъ», то «Московскимъ Подзирателемъ». Разбирая книжку, на которой авторъ, конечно какой нибудь Протопоповъ, выставиль свою фамилію такъ: Пр. т. п. п. въ (невинная скромность, употребительная въ тъ блаженныя времена), разъ двадцать новторить: «говорить г. П. п. п. н. въ», «говоритъ г. П. р. р. р. р. въ», «говоритъ г. П. п. п. р р. р. въ», и т. д. Однимъ словомъ, по этому очень незамысловатому рецепту остроумный разборъ «Мертвыхъ Душъ» могъ бы быть написанъ следующимъ образомъ. Выписавъ заглавіе книги: «Похожденія Чичикова или Мертвыя души», начинать прямо такъ: «Прохлажденія Чхи! чхи! кова-не подумайте читатель, что я чихнулъ, я только произношу вамъ заглавіе новой поэмы г. Гоголя, которой нашеть такъ, что его можеть понять только одинъ Гегель... Я отдохнулъ и продолжаю: Чхи... Это грузинецъ: у грузинцевъ ни одна фамилія не обходится безъ Чхи! чхи!... Итакъ. «Прегражденія Чичикова, пли Мертвыя Туши... Не знаемъ, о тушинцахъ ли, сосёдяхъ грузинъ, говоритъ авторъ, или о Тушинскомъ Воръ, или о бурой коровъ, или о своихъ любимыхъ животныхъ, которыхъ такъ часто описываетъ съ достойнымъ ихъ искусствомъ», и т. д., и т. д. Летъ двадцать тому назадъ находились читатели, которымъ это казалось остроуміемъ. Тогда могли найтись даже читатели, которые поняли бы тонкій каламбуръ, скрытый въ словахъ «прохлажденія... пригвожденія... прегражденія Чхичхикова», и сказали: «ай-да молодецъ! раскритиковалъ! Ужь подлинно, такъ прохладилъ да пригвоздилъ, что преградитъ писаніе такихъ нелѣпостей. Върно не разъ чихнеть авторъ отъ этой критики!» И читатель быль доволень собою, слёдовательно восхищень ловкимы критиканомы, доставившимы ему случай не только разсмёнться, но и самому сказать остроту! О, благословенныя времена! Какъ легко было прослыть тогда остроумцемы вы извёстномы кругу читателей, обы одномы изы которыхы упоминаеты несравненный лейтенанты Жевакины. «У насы вы эскадрё капитана Волдырева быль мичманы «Ийтуховы, Антоны Ивановичы: тоже этакы былы веселаго нрава. «Бывало, ему ничего больше, покажещь этакы одины палецы — «вдругы засмёется, ей Богу! и до самаго вечера смёется. Ну, глядя чна него, и самому сдёлается смёшно, и смотришь наконецы, и «самы, точно, смёешься» (Сочин. Гоголя, 4 часты, 308 стр. новаго изданія). Мало уже нынё Пётуховыхы, Антоновы Ивановичей! Воля ваша, скажещь Гоголемы: «скучно на свётё, господа!», особенно скучно, когда по необходимости перечитываешь то, надычёмы такы смёялись Антоны Ивановичи, лёть за двадцать.

Это объ остроумін; что же касается содержанія и смысла рецензій и критикъ барона Брамбеуса, мы находимъ у Гоголя совершенно справедливый отзывъ (О движеніи журнальной литературы, «Современникъ» 1836 г, № 1):

Въ разборахъ и критикахъ г. Сенковскій никогда не говорилъ о внутреннемъ характеръ разбираемаго сочиненія, не определяль верными и точными чертами его достоинства: критика его была или безусловная похвала, въ которой рецензенть отъ всей души тъшился собственными фразами, или хула, въ которой отзывалось какое-то странное ожесточение. Она состояла въ мелочахъ, ограничивалась выпискою двухъ-трехъ фразъ и насмѣшкою. Ничего не было сказано о томъ, что предполагалъ себъ цълью авторъ разбираемаго сочиненія, какъ оное выполниль и, если не выполниль, какъ должень быдъ выполнить. Больще всего г. Сенковскій занимался разборомъ разнаго дитературнаго сора, множествомъ всякаго рода пустыхъ книгъ: надъ ними шутилъ, трунилъ и показывалъ то остроуміе, которое такъ нравится нѣкоторымъ читателямъ; наконецъ даже завязалъ цёлое дёло о двухъ мёстонмёніяхъ, "сей" и "оный", которыя показались ему, непзвёстно почему, неумёстными въ русскомъ языкъ. Объ этихъ мъстоименіяхъ писаны были имъ целые трактаты, и статьи его, разсуждавшія о какомъ бы то ни было предметь, всегда оканчивались тімь, что містоименія "сей" и "оный" совершенно неприличны. Это напомнило старый процессъ Тредьяковскаго за букву ижицу и десятиричное і: книга, въ которой встрачались эти два частицы, была торжественно признаваема написанною дурнымъ слогомъ.

Къ этимъ совершенно справедливымъ словамъ надобно прибавить замѣчаніе о томъ, откуда взять быль тонъ и слогъ этихъ ста-

тей, — изъ литературныхъ фельетоновъ Жюля Жанена, который тогда быль въ цвете молодости и на вершине своей славы. И вотъ мы пришли къ необходимости вникнуть въ предполагаемыя нѣкоторыми заслуги барона Брамбеуса передъ русскою литературою. Никто не скажеть теперь, чтобы его повъсти были особенно хорошимъ пріобрѣтеніемъ для нашей беллетристики, никто не скажетъ, чтобы отъ его ученыхъ статей хотя сколько нибудь выиграла или наука, или публика; но въ старые годы Антоны Ивановичи П'втуховы получили обыкновение повторять его слова, что онъ ввель въ русскую литературу легкій прозаическій слогь, первый началь писать у насъ живымъ и светскимъ языкомъ. Чтобы говорить это, надобно не имъть понятія о нашихъ журналахъ 1825-1833 годовъ. Полевой и его сотрудники писали, когда то было сообразно съ предметомъ, самымъ легкимъ языкомъ. Не говоримъ уже о томъ, что для присужденія барону Брамбеусу заслугь относительно языка надобно думать, что онъ быль учителемъ Пушкина и его сподвижниковъ. «Телеграфъ», «Молва» и почти все другіе журналы показывають, что около 1825-1830 года искусство писать легкимъ языкомъ не было даже принадлежностью одной пушкинской школы, а решительно всёхъ грамотныхъ и небездарныхъ прозаиковъ. Странная ошибка, въ которую впаль баронъ Брамбеусъ, приписывая себь заслугу введенія у насъ легкой прозы, что уже было сдылано задолго до него, происходить оттого, что ему самому единственнымъ превосходнъйшимъ прозаическимъ языкомъ казалась жюль-жаненовская манера, которую, действительно, ввель онъ у насъ, какъ нѣкогда иные вводили фонтенелевскую манеру, другіе стерновскую, третьи юнгъ-штиллинговскую или эккартсгаузеновскую манеру. Дело просто въ томъ, что каждый подражатель подделывался подъ слогъ своего образца. Баронъ Брамбеусъ смъщалъ понятія «языкъ», который бываеть въ данную эпоху почти одинаковъ у всёхъ грамотныхъ писателей, и «слогъ», то есть особенную манеру каждаго писателя. Онъ быль у насъ первымъ подражателемъ Жюля Жанена и, цействительно, первый изъ литераторовъ, игравшихъ замътную роль, началъ поддълываться подъ его слогъ; считая этотъ слогъ идеаломъ совершенства и не зная различія между языкомъ и слогомъ, онъ, по нашему мненію, совершенно добродушно, пришелъ къ заключению, что онъ первый у насъ началь писать превосходнымь прозаическимь языкомъ, о чемъ для

человька, хотя немного понимающаго дьло и читавшаго хотя ньсколько страницъ пушкинской прозы, не могло быть и рычи въ 1834 или 1833 году. Но можеть быть речь о томъ, хороша ли манера Жюля Жанена и не должно ли считать заслугою барона Брамбеуса хотя то, что онъ, подражая Жюлю Жанену, писалъ хорошимъ слогомъ, хотя хорошій слогь тогда уже не быль новостью. Воть до чего мы дошли! Неужели надобно серьезно говорить о такомъ писатель, какъ Жюль Жанень? Ужели надобно доказывать, что слогъ его растянутъ, вычуренъ, приторенъ, что ни естественности, ни жизни, ничего, чёмъ отличается слогъ хорошихъ писателей, въ немъ нетъ? Одинъ фельетонъ пишетъ онъ, заключая каждую фразу восклицательнымъ знакомъ, — замътьте, буквально каждую фразу, не пропуская ни одной; другой — после каждыхъ двухъ-трехъ словъ ставя нъсколько точекъ; третій-начиная каждую фразу словами oh! que j'aime; четвертый—словомъ hélas! и т. д., и т. д., но повсюду остается онъ въренъ двумъ правиламъ: говорить какъ можно меньше о деле и какъ можно больше о пустякахъ, и растягивать фразы до безконечности наборомъ десяти, пятнадцати синонимовъ, безконечнаго ряда прилагательныхъ или глаголовъ, такимъ образомъ: «юный, свѣжій, розовый, цвѣтущій, весенній, ароматный румянець ея щекъ прельщаль насъ такъ недавно, и-hélas!-она увяла, поблекла, побледиела, уснула покинула насъ... не хочу сказать: умерла — умереть значить пережить себя, быть забытымъ, и т. д., и т. д. А такое чудное, дивное, упоительное, восхитительное, очаровательное и т. д. существо можеть ли быть когда нибудь забыто? Оh, non, ты всегда будешь лучшимъ, прекраснъйшимъ и т. д. воспоминаніемъ», и т. д., и т. д. на пятнадцать столбцовъ, -- и замътъте, что это говорится о смерти какой нибудь сорокальтней, неуклюжей танцовщицы, и замытьте, что она вовсе не думала умирать, а красноръчивый плачъ написанъ для того, чтобы завтра публика, увидъвъ ея имя на афишъ. толною бросилась въ театръ рукоплескать воскресшему «юному, дивному, прелестному, очаровательному и т. д. существу». Или перемънимъ тему: надобно сказать: «я изумленъ и обрадованъ». Жюльжаненовскимъ слогомъ говорится это такъ: «я пыхчу, я задыхаюсь я волнуюсь, я потью, я холодые, я тренещу отъ восторга, отъ удивленія, отъ изумленія, и т. д., и т. д.» Писать самому такимъ слогомъ и рекомендовать его другимъ не составляетъ особенной заслуги.

Повъсти барона Брамбеуса, его критическія статьи и рецензіи постоянно писаны въ манерѣ Жюля Жанена. О повъстяхъ мы не будемъ говорить: но въ критическихъ статьяхъ есть значительная разница между этими двумя рецензентами: несмотря на всю реторику. всю натянутость изложенія и постоянныя усилія выдать дурное за хорошее и наобороть, у Жюля Жанена очень часто зам'ятень эстетическій вкусь, -- слишкомъ утонченный, изысканный, но все-таки тонкій; кром'в того, его фельетоны, несмотря на всю свою пустоту. болье или менье проникнуты одною идеею, — тою самой, лучшимъ представителемъ которой служить его газета, Journal des Débats. Эта идея очень мелка, но все-таки она даеть ифкоторый смысль, нъкоторую внутреннюю ценность болтовне Жюля Жанена: лучше что вибудь, нежели ничего. У барона Брамбеуса вмѣсто этихъ качествъ замѣтно болѣе учености, нежели у поверхностнаго Жюля Жанена; но вы ръшительно не видите, чего хотять его рецензіи, и доходите до убъжденія, что рецензенть лишень вкуса. Вы постоянно видите, что для него не замътно различія между дурнымъ и хорошимъ въ художественномъ отношении. Для него самого незамѣтно-сказали мы - потому что недостаточно объяснять его ошибки преднамъренностью, желаніемъ посмъяться, внести въ заблужденіе читателей или автора: всему есть свои предалы; напримаръ, называть Тимофеева Пушкинымъ можно только тогда, когда самъ не замъчаень различія между этими двумя писателями. Мы могли бы привесть безчисленное множество подобныхъ примъровъ, но довольно будеть и двухъ: одинъ, самый изв'єстный, изумившій многихъ въ свое время, есть разборъ драматической фантазіи г. Кукольника, «Торквато Тассо»; этою статьею дебютировала критнка «Вибліотеки для Чтенія» (1834 г. № 1); другой примѣръ-отзывъо поэмъ г. В. Зотова, «Послъдній Хеакъ».

Разборъ «Торквато Тассо» пачинается тыть, что драматическая фантазія г. Кукольника признается явленіемъ столь же высокаго достоинства, какъ «Послідній день Помпеи». Поводомъ къ сравненію было то обстоятельство, что оба эти произведенія сділались извістными публикі въ одинь и тоть же годь.

Но — продолжаетъ критикъ, подписавшійся именемъ Тютюнджи-Оглу—публика наша, къ сожальнію, встрытила «Торквато Тассо» очень холодно. Впрочемъ, это ничего не доказываетъ: «первыя творенія музи Байрона встрытили точно такую же холодность

въ англійской публикъ», лордъ Брумъ, знаменитый въ свое время пънитель литературныхъ явленій, «совътоваль даже ему никогда не писать стиховъ», и только Вальтеръ Скоттъ объяснилъ англичанамъ величіе новаго поэтическаго генія. «Я желаль бы, чтобы Валь-«теръ-Скоттъ воскресъ изъ могилы и оказалъ другую подобную «услугу намъ, русскимъ: по скромной недовърчивости къ собствен-«нымъ нашимъ спламъ, мы не смъемъ подумать, чтобы между нами «возникъ необыкновенный поэтическій талантъ — молодой Куколь-«никъ». Разсказавъ содержание поэмы и выписавъ изъ нея два или три «превосходные отрывка», критикъ доходить до виденія больнаго Тассо въ домъ сумасшедшихъ, этой «чудесной, единственной «сцены, достойной величайшаго поэтическаго генія, истинной, «выспренней поэзіи ужаса». Для тёхъ, кто позабыль этоть удивительный отрывокъ, красоты котораго столь вфрно воспроизведены во второмъ отрывкъ, «Доменикино Фети», драматической фантазіи Новаго Поэта, скажемъ, что въ этой сцень «Торквато Тассо» безпрестанно сверкаетъ молнія, при блескахъ которой возникаетъ «Черный духъ съ крыльями», Тассо бросается обнимать его, «но «упавшая за самымъ окномъ съ ужаснымъ трескомъ молнія нъ-«сколько моментовъ ярко освѣщаетъ комнату», духъ исчезаетъ, Тассо «обнимаетъ воздухъ», «невольно падаетъ на кольни» и начинаетъ изъяснять свое отчаяние высокопарными словами, потомъ «подъемлетъ голову, но, увидевъ надъ собою золотой венецъ въ «сіяніи, падаетъ ницъ». Представивъ читателямъ это нескладное, напыщенное подражание первымъ сценамъ «Фауста», критикъ говоритъ: «Если это не поэзія, не самая высокая драматическая по-«эзія; то во мий ийть души. Этой сцены нельзя читать безъ тре-«пета. Одинъ Тальма быль бы въ состоянии представлять ее: въ «его рукахъ она произвела бы такой же ужасный и гораздо выс-«шій эффектъ, какъ прославленная сцена лунатизма въ Макбетъ». Почти также прекрасно драматизирована, на взглядъ критика, смерть Лукрецін, приключившаяся такимъ манеромъ:

«Тассъ подбътаеть и падаеть у ея кровати на кольни. Лукреція хватаєтся за сердце.

Лукреція.

Ахъ, сердце, сердце! (Съ произительнымъ крикомъ) Га! разорвалось! (Умираєть). Всё эти удивительно поэтическія мёста «приносять (по словамъ критика) величайшую честь поэтическимъ дарованіямъ юнаго нашего Гёте», и «я также громко восклицаю (говорить онъ): «ве«ликій Кукольникъ! передъ его видёніемъ Тасса и кончиною Лу«креціи, какъ восклицаю: великій Байронъ! передъ многими мёс«тами твореній Байрона».

Обыкновенно принимали этотъ разборъ за насмѣшку надъ публикою и авторомъ. Смыслъ этой статън можетъ быть только таковъ: собственно говоря, «Манфредъ» Байрона такъ же плохъ или хорошъ, какъ «Тассо» г. Кукольника, и я рѣшительно не знаю, хорошъ или дуренъ «Манфредъ»—вы, публика, думаете, что онъ хорошъ—такъ вотъ вамъ другое произведеніе, которое не хуже его.—Вотъ отзывъ того же критика о «Послѣднемъ Хеакъ»:

«Не должно судить о дарованіи г. Зотова по этой поэмь: она его первая поэма, а первая поэма бываеть всегда слаба, хотя бы, напримеръ, «Хаджи Абрекъ» Лермонтова. «Мы уговаривали даро-«витаго Лермонтова не печатать своей первой поэмы», увъряя его. что онъ будетъ писать хорошо впоследствии времени, а первая поэма его слаба; но «юный поэть не отставаль», и «чтобы удовлетворить эту невинную мечту неопытности», мы «напечатали «Халжи Абрека» въ сокращении, съ выпускомъ главнъйшихъ длиннотъ и страшнъйшихъ картинъ».--«Между Абрекомъ и Послъднимъ Хеакомъ» мы видимъ большое сходство. Здёсь также встрёчаются очень скучныя длинноты, но, такъ же, какъ и въ «Абрекъ», есть мѣста, предвѣщающія рѣшительный талантъ»: Рецензенть доказываетъ это длинными отрывками изъ «Хеака», -- отрывками, достоинство которыхъ читатели могутъ вообразить себъ и бсэъ нашихъ объясненій. «Послі этихъ выписокъ (заключаетъ рецензентъ) намъ остается только пожелать, чтобы невольное сближение последняго Хеака съ Абрекомъ принесло счастіе юному поэту, п чтобы г. В. Зотовъ, уже товарищъ Лермонтову по первому поэтическому грёху, точно также загладиль свою поэму истинными успъхами въ искусствъ и явился современемъ товарищемъ ему но таланту и славъ».

Здёсь опять то же самое: вы, публика, говорите, что «Хаджи Абрекъ» въ цёломъ слабъ, но имёетъ мёста, предвёщающія рёшительное дарованіе. Вы говорите, что Лермонтовъ великій поэтъ. Не знаю, такъ ли это; но «Послёдній Хеакъ», на мой взглядъ,

ничьть не отличается отъ «Хаджи Абрека»; потому надобно предрекать, что современемъ вы, публика, будете находить, что г. В. Зотовъ «товарищъ Лермонтову по таланту и славъ». Можно морочить публику относительно Кювье и Шампольйона, потому что публика не читала и пе будетъ читать ихъ; но Лермонтова она прочла, Байрона также знаетъ довольно хорошо, и говорить о нихъ такія странныя вещи можно только проговариваясь.

Невольнымъ сознаніемъ передъ собою въ своей неспособностн оцънивать достоинства и недостатки литературныхъ произведеній надобно объяснять постоянное правило барона Брамбеуса: съ одной стороны, о замічательных явленіях нашей словесности упоминать только вскользь, отдёлываясь оть нихъ несколькими общими фразами, одною или двумя страничками, почти всегда повторяя только то, что уже было сказано другими, но, чтобы придать оригинальность заимствованнымъ сужденіямъ, повторяя ихъ въ утрированной форм'в, и, съ другой стороны распространяться о стробумажныхъ книжкахъ, въ которыхъ главное дёло не художественные недостатки-къ эстетикъ не имъють онъ никакого отношеніяа просто беземысленность и безграмотность. Для того, чтобы умфть осудить ихъ, не впадая въ промахи, довольно быть человъкомъ грамотнымъ и неглупымъ. Въ началъ баронъ Брамбеусъ попробовалъ писать большія статьи о романахъ и драмахъ, которыя хотьль расхвалить или побранить: такъ, въ первыхъ нумерахъ «Вибліотеки» пом'єщены были обширные критическіе разборы «Торквато Тассо» и нъкоторыхъ другихъ произведеній г. Кукольника, «Мазены» г. Булгарина, «Черной Женщины» г. Греча. Но скоро онъ пересталъ пускаться въ подобныя предпріятія, в фроятно, самъ, какъ человъкъ умный, замътивъ, что они не въ характеръ его способностей. Критическій отділь «Библіотеки для Чтенія» сталь наполняться почти исключительно разборами ученыхъ сочиненій, а Литературная Летопись—длинными рецензіями о пустыхъ, незаслуживающихъ вниманія книжкахъ. Вотъ, напримёръ, заглавія литературныхъ произведеній, которыя удостоены очень длинныхъ рецензій въ последнихъ нумерахъ «Библіотеки для Чтенія» 1842 г.

«Сенсацін и замѣчанія госпожи Курдюковой за границею, данъ д'этранже», «Княжна Хабиба», повѣсть въ стихахъ Александры Фуксъ, «Мечты и звуки поэзіи Іосифа Грузпнова», «Завѣтныя думы, Осенніе цвѣты и Вечерніе досуги», стихотворенія М. Демидова,

«Послѣдній Хеакъ», поэма В. Зотова; «Мать и дочь», романъ, сочиненіе Михайла Чернявскаго, «Сердце женщины», романъ М. Воскресенскаго, «Etincelles et Cendres, poësies par mademoiselle Е. Oulybycheff». Moscou. 1842, «Любовь музыканта», романъ А. Ярославцева, «Повѣсти для добрыхъ москвитянъ», сочиненіе Эмманунла Люмина.

О каждой изъ этихъ книгъ говорится преподробно, объ иныхъ на 15, объ иныхъ на 20 страницахъ. Зато въ старыхъ годахъ «Библіотеки», начиная съ 1838 г. (въ 1836 и 1837 гг. разборы для этого журнала доставлялъ Н. А. Полевой), напрасно стали бы вы искать хотя такихъ статей, какъ разборы «Торквато Тассо» и «Черной Женщины». А между тѣмъ, журналъ проникнутъ былъ сильною потребностью хвалить романистовъ и поэтовъ, къ которымъ благоволилъ. Онъ и хвалилъ ихъ безпрестанно, но только общими фразами, чувствуя, что подробные разборы даже посредственныхъ произведеній ему не по силамъ.

Теперь нёть надобности намъ распространяться о томъ, могь ли баронь Брамбеусь сказать о Гоголь что нибудь въ самомъ дёль замѣчательное. Кто не сказаль ни о комъ ничего, тотъ, конечно, ничего особеннаго не сказаль и о Гоголь. Сначала «Библіотека для Чтенія» вёрно держалась своего правила: о «Миргородь» и «Арабескахъ» она сказала только по нѣскольку словъ, довольно благосклонныхъ, потому что всё другіе журналы отозвались объ этихъ книгахъ выгодно. О «Вечерахъ на Хуторѣ близь Диканьки» было сказано («Библіотека для Чтенія» 1834 г. № 5), что «у автора есть большое дарованіе», и съ обычною мѣткостью эстетическихъ сужденій барона Брамбеуса было прибавлено, что «у него нѣтъ чувства», между тѣмъ, какъ на каждаго читателя, не лишеннаго вкуса, сильнѣйшее впечатлѣніе производятъ «Вечера на Хуторѣ» именно своею задушевностью и теплотою. О «Миргородѣ», въ 3-мъ нумерѣ «Библіотеки» 1836 года, было сказано:

Впродолженіе двухъ томовъ вы только и видите, что малороссійскихъ мужиковъ, казаковъ, дьячковъ, мастеровыхъ. Публика г. Гоголя «утираетъ носъ полою своего балахона» и жестоко пахнетъ дегтемъ, и всѣ его повѣсти, или, правильнѣе, сказки, имѣютъ одинаковую физіономію. Литература эта, конечно, невысока, эта публика еще одной степенью ниже знаменитой публики польде-коковой; однакожь, книга читается съ большимъ удовольствіемъ, потому что она писана слогомъ плавнымъ, пріятнымъ, исполненнымъ непринужденной веселости, для которой часто прощаешь автору неправильность языка и грам-

матическія ошибки. Самое замічательное качество манеры г. Гоголя-когда т. Гоголь не вдается въ сужденія объ ученыхъ предметахъ-есть то особенное малороссійское забавничанье, та простодушная украинская насмішка, которыми онъ обладаеть въ высшей степени и которыя столько же различны съ англійскимъ юморомъ, сколько съ французскими тюрлюпинадами, или съ тымъ, что во Франціи называють goguenardise. Что это отнюдь не esprit, въ томъ натъ никакого сомнанія; а тамъ, которые принимали манеру автора «Вечеровъ на Хуторь» за humour, имьемъ честь доложить, со всымь должнымь почтеніемъ къ ихъ проницательности, что они, повидимому, не имфють яснаго понятія объ юморь. Мы настанваемъ на эти различія, которыя не каждому дано чувствовать въ равной степени, и хотя, слава Вогу, не смѣшиваемъ малороссійской потёхи съ юморомъ Стерна, Лема или Гогга, желали-бъ, однакожь, двухъ вещей: чтобы г. Гоголь не оставлялъ своей манеры, потому что она оригинальна, забавна и носять неподдёльный отпечатокъ народности ума, и чтобы другіе не подражали его манерь, если они не родились въ Малороссін, потому что она такъ же неподражаема и самобытна, какъ esprit и какъ юморь. Действующія лица этихъ сказокъ принадлежать къ самымъ низкимъ сословіямъ и говорять языкомъ, приличнымъ своему знанію: при всемъ томъ языкъ этотъ не поражаетъ читателя ни пошлыми оборотами бесёды въ присядку, ни грубостью, слешкомъ върною черной природъ. Какъ не полюбить этихъ молодыхъ казачекъ, съ такими круглыми бровями, съ такимъ свъжимъ и румянымъ лицомъ? ћакъ не находить удовольствія въ картинъ этихъ нравовъ, добродушныхъ, простыхъ, забавныхъ? Самая милая сказка-«Ночь передъ Рождествомъ»; она очень весела, очень drôle... в рнье мы не умьемъ выразить ея свойства. Здёсь часто попадается и остроуміе, и вообще вы читаете ее съ наслажденіемъ и любопытствемъ съ начала до конца. «Иванъ Өедоровичъ Шпонька» есть единственная въ цёломъ сочиненія повёсть, въ которой неть мужиковь и казаковь, и она именно столько занимательна, сколько нужно, чтобъ пожальть о томъ, что она не кончена.

Самый недовърчивый читатель согласится, что эта рецензія написана въ благосклонномъ тонъ. Но не дальше, какъ черезъ два
мъсяца, въ 5 нумеръ «Библіотеки» того же года, былъ помъщенъ
разборъ «Ревизора» совершенно въ другомъ родъ. Мы возвратимся
къ нъкоторымъ мъстамъ этой рецензіи, а теперь замътимъ только,
что Н. А. Полевой, не слишкомъ церемонившійся съ Гоголемъ
называетъ ее «бранью» и считаетъ нужнымъ отклонить отъ себя
подозръніе, что она писана имъ. Послъ того «Библіотека», втеченіе семнадцати или восемнадцати лътъ, постоянно нападала на
Гоголя. Было бы слишкомъ долго приноминать всъ ея выходки
противъ этого писателя; да это и не представляетъ особеннаго
интереса, потому что онъ слишкомъ однообразны: три-четыре колкости, показавшіяся рецензенту остроумными, повторяются безко-

нечное число разъ; иная стправдяетъ службу безсмѣнно цѣлый годъ, иная и нѣсколько лѣтъ. Особенно долговѣчны были каламбуры съ словомъ «носъ», какъ-то: «лучшее средство достичь до безсмертія есть писать о носѣ», «хорошо описать носъ есть верхъ остроумія», и т. д. Оставляя въ сторонѣ всѣ эти безчисленныя нападенія, статьи и статейки, по поводу разныхъ повѣстей Гоголя и особенно «Переписки съ Друзьями», по поводу упоминаній о Гоголѣ въ другихъ журналахъ и проч., мы приведемъ только нѣкоторые факты остроумія, порожденные первымъ изданіемъ «Мертвыхъ Душъ» только въ двухъ нумерахъ «Библіотеки» 1842 года: доста точно будеть и этихъ примѣровъ, чтобы судить о степени мѣткости и остроты въ нападеніяхъ на Гоголя, составлявшихъ едва ли не единственную живую сторону Литературной Лѣтописи «Библіотеки» до послѣдняго времени.

Литературная лѣтопись того нумера «Библіотеки для Чтенія», въ которомъ помѣщенъ разборъ «Мертвыхъ Душъ», начинается статейкою о трехъ стихотворныхъ брошюркахъ Алипанова, стихи котораго своими качествами соотвѣтствовали прозѣ Федота Кузмичева, А. А. Орлова, Сигова и прочихъ. Выписывая заглавія этихъ книжонокъ, рецензентъ вездѣ прибавляетъ слово «поэма». 1) Теофилъ, «поэма» Е. Алипанова. Спб. 1842. 2) Военныя пѣсни. «Поэмы» Е. Алипановъ. Спб. 1842. 3) Досуги для дѣтей. «Поэмы» Е. Алипановъ. Спб. 1842. Вдоволь натѣшившись надъ нелѣпыми его впршами, выписавъ изъ нихъ множество отрывковъ такого рода:

Какъ лѣтни настали Прекрасны деньки, Въ лѣсу выростали Младые грибки,

и т. д. рецензенть говорить, что Алипановь сочиняеть чудесным поэмы. «Я не смёю (продолжаеть онь) провозглашать Алипанова «величайшимь изъ современныхъ поэтовъ, потому что въ нашей «литературь есть уже другой величайшій изъ современныхъ по-«этовъ; но, по моему мнёнію, смёло можно автору «Досуговъ для «дётей» и проч. дать первое мёсто послё величайшаго.—«Самая поэтическая поэма», въ «Досугахъ для дётей»—посланіе къ шестилётнему мальчику о томъ, какъ хорошо сдёлалъ «крестьянинъ, другъ людей» подавъ милостыню нищему. «Въ нынёшнемъ поло-

«женіи поэтическихь діль и при настоящихь понятіяхь о поэзін «нельзя и желать прекраснійшей поэмы. Но вікть нашь обилень «чудесами. Я вокругь себя вижу одні только поэмы, одна пліни- «тельніе другой. Что значить эта поэма (о крестьянині, другі лю- «дей) въ сравненіи съ тою, о которой я сейчась буду иміть честь «вамь представить! Воть она «Похожденія Чичикова», или «Мерт- «выя Души». Поэма Н. Гоголя.

"Вы видите меня въ такомъ восторгѣ, въ какомъ еще пикогда не видали. Я пыхчу, трепещу, прыгаю отъ восхищенія: объявляю вамъ о такомъ литературномъ чудѣ, какого еще не бывало ни въ одной словесности. Позма! Да еще какая поэма! Одиссея, Неистовый Орландъ, Чайльдъ-Гарольдъ, Фаустъ, Онѣгинъ, съ поэволенія сказать дрянь въ сравненіи съ этой поэмой. Поэтъ! Да еще какой поэтъ! поэтъ, передъ которымъ Гомеръ, Аріосто, Пушкинъ, лордъ Вайронъ и Гёте, съ позволенія сказать, то, чѣмъ Ноздревъ называютъ Чичикова *). Это, можетъ быть, превосходить всѣ силы вашего соображенія, но это дѣйствительно такъ, какъ я вамъ докладываю. Никогда еще геній человъческій не производилъ подобной поэмы. Никогда смертный родъ Адама не удивлялся такому великому поэту. Книга названа поэмой не въ шутку. Поэтъ провозглашенъ первымъ современнымъ поэтомъ не въ насмѣшку. Все это, увѣряю васъ, серьёзно, и очень серьёзно. Можно съ ума сойти отъ радости если хоть немножко любишь искусство, русскій языкъ и честь своей литературы".

Потомъ рецензенть начинаетъ разговоръ съ читателемъ. Читатель спрашиваетъ, возможно ли поэмы писать прозою, а не стихами: рецензентъ отвъчаетъ, что вещи «необъятныя, какъ грезы тщеславія въ бреду», выше «всякаго понятія, всякой похвалы, всякаго порицанія», что невозможно и порицать ихъ, а можно только знакомить съ ними читателей посредствомъ выписокъ. Начинаются выписки. Читатель безпрестанно прерываетъ текстъ «Мертвыхъ Душъ», замъчаніями о неправильности выраженій, жесткости слога, неприличіи многихъ словъ въ литературномъ языкъ. Замъчанія большею частію такого достоинства: вътеръ и дымъ имьють въ родительномъ падежъ вътру, дыму, а не вътра, дыма; сказать «хотя... но», неправильно; надобно говорить: «хотя... однако»; нельзя сказать «совершенно никакого», должно говорить просто «никакого»; «слуги возились около экипажа», «слуга разсказываль ему всякій вздоро»—выраженія низкія, грязныя. Рецензенть отвъчаетъ, что

^{*)} Далъе написано, что Ноздревъ называетъ Чичикова свинтусомъ.

въ этихъ выраженіяхъ именно и заключается истинная поэзія, высочайшее остроуміє; восклицаеть, что онъ «отъ восторга становится на кольни передъ первымъ современнымъ поэтомъ». Наконецъ читатель останавливаеть его и говорить, что «Мертвыя Души» то же самое, что романы Поль-де-Кока, съ тою только разницею, что у Гоголя менье хорошаго и болье грязнаго, нежели у Поль-де-Кока.

Послѣ того всѣ остальныя книги, разбираемыя въ Литературной Лѣтописи, называются «поэмами»: «Холодная вода, какъ всегдашнее лекарство», сочиненее доктора медицины Вайгерсгейма. «Эта «удивительная поэма описываеть насморки. Холодной водой док«торъ Вайгерсгеймъ вылечиваетъ всѣхъ людей отъ всѣхъ болѣзней, «въ томъ числѣ и посредственныхъ романистовъ отъ гордости и «тщеславія». — «Общая анатомія», сочиненіе доктора медицины «Ивана Быстрова, и «О распознаваніи и леченіи аневризмовъ», «сочиненіе И. Гильдебранда—«двѣ очень любопытныя и полезныя «поэмы». — «Практическія упражненія въ физикѣ, переводъ съ фран«цузскаго» — «поэма безполезная и нелюбопытная». «Древняя флора, «или описаніе растущихъ въ Россійскомъ государствѣ деревъ и «кустарниковъ» — «поэма, изданная книгопродавцемъ, для извѣстной «ему цѣли».

Изъ многихъ продолженій этого остроумія по новоду «Мертвыхъ Душъ» выбираемъ только одинъ примѣръ — остроуміе, поводъ къ которому подала брошюра г. К. Аксакова, написанная въ восторженномъ тонъ. Вотъ рецензія на эту книжку:

Нисколько словт о поэмѣ "Похожденія Чичикова или Мертвыя Души" сочиненіе Константина Аксакова. Москва. 1842. Эта брошюра имѣеть цёлью доказать, что авторь поэмы "Похожденія Чичикова"—Гомерь, а сама поэма "Похожденія Чичикова"—Иліада; что въ "Иліадѣ является Греція съ своимъ міромъ" а "въ эпическомъ созерианіи автора поэмы "Похожденія Чичикова" является чорть знаеть что, но тоже съ своимъ міромъ; что это "эпическое его созерцаніе и есть чистый древній эпосъ, совершенно то же, что у Гомера, что это—"чудное, чудное явленіе!" и прочая, и прочая. Это плохо! Когда люди вздають, на свои деньги, такія похвальныя брошюры, это очень плохо! Это показываеть то, что поэма нехороша!" (Слова, напечатанныя курсивомъ, такъ напечатаны въ самой "Библіотекъ для Чтенія").

И, не давая испариться букету остроумія, рецензенть тотчась же переносить его въ отзывь о роман'в Поль-де-Кока, поставленный въ следъ за отзывомъ о брошюр'в г. К. Аксакова:

Парижская красавица. Романъ Поль-де-Кока. Спб. 1842. Въ подлинникъ эта поэма называется La jolie fille du faubourg. Всъ поэмы Поль-де-Кока переводятся на русскій языкъ. Это единственный изъ современныхъ писателей, котораго "созданія" (курснев и язвительныя"—"сохранены, какъ поставлены въ "Вибліотекъ дли Чтенія") удостоиваются у насъ такой чести. Мы не пропускаемъ ни одного его созданія. Можно ли, послъ этого, сомнъваться въ нашемъ рышительномъ вкусъ къ поль-де-коковскимъ поэмамъ? "Парижская красавица" довольно скучное "созданіе". Переводъ довольно плохъ. Но это не удержить читателей. Мы такъ любимъ Поль-де-Кока, что между его родомъ и Одиссей уже не дълаемъ никакого различія, увъряемъ, что это—совершенно одно и то же, и всякаго, кто творитъ подобные романы, нъкоторые называютъ Гомеромъ, не страшась нисколько, что если Европа услышитъ это, то она подумаетъ, что они—въ бълой горячкъ.

Здісь для насъ непонятно только одно: какимъ образомъ можно было сказать, по поводу панегирика, написаннаго г. К. Аксаковымъ: «Когда люди издають на свои деньги такія похвальныя брошюры, это очень плохо! Это показываеть, что поэма плоха!» Смысль этихъ выраженій ясенъ: Гоголь заказаль г. К. Аксакову похвальную брошюру и напечаталь ее на свой счеть. Можно не соглашаться съ г. К. Аксаковымъ, нътъ преступленія и острить надъ нимъ, если угодно; но между русскими писателями едва ли былъ тогда, или есть теперь, хотя одинь, столь мало знакомый съ общественнымъ положеніемъ и личнымъ характеромъ г. К. Аксакова, чтобы незнаніе давало ему право делать предположенія, будто бы г. К. Аксаковъ можетъ писать нанегирики по заказу и печатать ихъ на чужой счетъ. Велика должна была быть досада рецензента, если доводила его до столь несообразныхъ намековъ. Довольно остротъ уже мы выписали. Если Гоголь еще не убить ими во мивніи читателя, то всв остальныя уже не нанесли бы ему новыхъ ранъ, потому что онъ только варіацін на малочисленныя темы, которыя достаточно истощены и выписанными у насъ отрывками. Пора поговорить о томъ, отчего эти убійственныя нападенія были такъ многочисленны.

Помещая длинныя статьи о Гоголь, баронъ Брамбеусь нарушаль свое неизменное во всёхъ другихъ случаяхъ правило уклоняться отъ подробныхъ разборовъ замечательныхъ явленій нашей словесности. Это одно заставляетъ предполагать особенныя причины для объясненія его исключительнаго вниманія къ Гоголю: кто не считалъ нужнымъ говорить съ своими читателями о Пушкине, Лермонтовъ, Кольцовъ, не сталъ бы распространяться и о Гоголъ, еслибъ, не имълъ на то своихъ частныхъ побужденій. Притомъ же мы заметили, что тонъ его отзывовъ слишкомъ решительно изменился втеченіе короткаго времени, отделявшаго третій нумеръ «Библіотеки для Чтенія» 1836 года отъ пятой книжки того же года: въ первыхъ числахъ марта онъ говорилъ о Гоголѣ благосклонно, въ первыхъ числахъ мая отзывался о немъ уже такъ, что самому Н. А. Полевому разборъ этотъ казался неприличною «бранью». Эта быстрая и ръзкая перемъна совершенно объясняется тымь, что въ первыхъ числахъ апрыля вышелъ первый томъ пушкинскаго «Современника», заключавшій въ себ'в статью «О движенін журнальной литературы», одну выписку изъ которой привели мы выше. Вотъ другой отрывокъ, объясняющій исторію возникновенія пушкинскаго журнала и отношенія его издателя и сотрудниковъ къ барону Брамбеусу. Сказавъ, что въ 1833 году всъ прежніе журналы наши «им'вли постный видь» и тісный кругь читателей, авторъ статьи продолжаеть:

«Въ это время книгопродавецъ Смирдинъ, давно уже извъстный своею дъятельностью и добросовъстностью, ръшился издавать журналъ обширный, энциклопедическій, завоевать всёхъ литераторовъ, сколько ихъ ни есть въ Россіи, и заставить ихъ участвовать въ своемъ предпріятіи. Въ программѣ были выставлены имена почти всёхъ нашихъ писателей. Профессоръ арабской словесности, г. Сенковскій, взялся быть распорядвтелемъ журнала. Къ нему былъ присоединенъ редакторъ г. Гречъ. Никто тогда не заботнися о весьма важномъ вопросѣ: долженъ ли журналъ имѣть одинъ опредѣленный тонъ, одно уполномоченное мнаніе, или быть складочнымъ мастомъ всахъ мнаній и толковъ? Журналъ на сей счетъ отозвался глухо, обыкновеннымъ объявленіемъ, что критика будеть самая благонамъренная и безпристрастная, чуждая всякой личности и неприличности-объщаніе, которое даетъ всякій журналисть. Съ выходомъ первой книжки публика ясно увидела, что въ журнале господствуютъ тонъ, мненія и мысли одного, что имена писателей, которыхъ блестящая шеренга наполнила полстраницы заглавнаго листка, взяты были только напрокать, для привлеченія большаго числа подписчиковь. Главнымъ двятелемь и движущею пружиною всего журнала былъ г. Сенковскій. Имя г. Греча выставлено было только для формы. Но какая была цёль редакціи этого журнала, какую задачу предположила она рёшить? Здёсь мы поневолё должны задуматься, что, безъ сомнинія, сдилаеть и читатель. Въ программи ничего не сказалъ г. Сенковскій о томъ, какой начерталь для себя путь, какую выбраль для себя цёль; всь увидели только, что онъ взошелъ незамётно въ первый нумерь, а въ концъ его развернулся, какъ полный хозяинъ. Но на что преимущественно было обращено внимание сего хозяина, были ли гдв заметны ть неподвижныя правила, безъ коихъ человѣкъ дѣлается безхарактернымъ, которыя опредѣляютъ его физіономію? Прочитавъ все помѣщенное имъ въ этомъ журналѣ, невольно остановимся въ изумленіи: что это такое? что заставляло писать этого человѣка? Послѣдуемъ за распорядителемъ во всѣхъ родахъ его сочиненій».

Авторъ обзора пересматриваетъ ученыя статьи, критическія статьи и повъсти этого писателя и отзывается о нихъ справелливо, но вовсе не съ похвалою, замъчая, какъ главный недостатокъ, что во всёхъ этихъ повёстяхъ и статьяхъ нётъ единства мысли, определенныхъ убъжденій, нетъ никакой цели. Мы выписали уже сужденіе автора обзора о содержаніи рецензіи барона Брамбеуса. Нъсколькими строками раньше, еще точнъе опредъляется общій характерь его разборовь: «Вь критикь г. Сенковскій пока-«заль отсутствіе всякаго мнівнія: во его рецензіяхо нють ни поло-«жительнаго, ни отрицательнаго вкуса, вовсе никакого. (Подчер-«кнуто въ подлинникв). То, что ему нравится сегодня, завтра де-«лается предметомъ его насмъшекъ; у него рецензія не есть дѣло «убъжденія и чувства, а просто слъдствіе расположенія духа и об-«стоятельствъ. Онъ никогда не заботится о томъ, что говоритъ, и «въ следующей статье уже не помнить вовсе написаннаго въ «предъидущей». Выборъ статей для отдёла оригинальной и переводной словесности «показывалъ очень мало вкуса».

«Въ «Библіотекъ для Чтенія» случилось еще одно дотолъ неслыханное на Руси явленіе. Распорядитель ее сталъ переправлять и передълывать всъ почти статьи, въ ней печатаемыя. Такой странной опеки до сихъ поръ на Руси еще не бывало. Многіе писатели начали отказываться отъ участія въ изданіи сего журнала. Число сотрудниковъ такъ умалилось, что на другой годъ издатели уже не выставили длиннаго списка именъ и упомянули глухо, что участвують лучшіе литераторы, не означая какіе. Статьи замѣтно начали быть хуже. «Библіотеку» уже менѣе читали въ столицахъ».

Другіе журналы (продолжаеть авторь) были слабы по объему и по числу подписчиковь по сравненіи съ «Библіотекою для Чтенія». Что же было ділать литераторамь, которые увиділи себя въ необходимости отказаться отъ участія въ «Библіотекі для Чтенія»? *). Ніскоторые московскіе литераторы рішились основать

^{*)} Чтобы представить читателямъ котя одинъ примъръ того, какимъ образомъ передёлывались въ "Библіотекъ для Чтенія" статьи самыхъ извъстныхъ литераторовъ, приведемъ объясненіе Н. А. Полеваго изъ "предисловія"

новый журналь: «онь быль нужень 1) для тьхь, которые желали «имьть пріють для своихъ мньній, ибо «Вибліотека для Чтенія» не «принимала никакихъ критическихъ статей, если не были онь по «вкусу главнаго распорядителя: 2) для тьхь, которые видьли съ «изумленіемъ, какъ на ихъ собственныя сочиненія наложена была «рука распорядителя, ибо г. Сенковскій началь уже переправлять, «безо всякаго разбора лицъ, всь статьи, отдаваемыя въ «Библіоте- «ку для Чтенія». Такимъ образомъ явился «Московскій Наблюдатель». Черезъ ньсколько времени, по тьмъ же самымъ причинамъ и побужденіямъ, основанъ былъ Пушкинымъ «Современникъ». — Очень понятно, съ какими чувствами «Библіотека для Чтенія» и ея

къ его "Очеркамъ русской литературы". Тутъ мы видимъ замѣчательный примѣръ того, какимъ образомъ всѣ литераторы, отъ участія которыхъ зависѣли достоинство и успѣхъ журнала, были привлечены къ "Вибліотекѣ для Чтевія" почтеннымъ А. Ф. Смирдинымъ, и какимъ образомъ распорядитель "Библіотеки" лишилъ этотъ журналъ ихъ полезнаго содѣйствія. Мы еще помнимъ, какъ, перечитывая въ старые годы "Библіотеку", мы были поражены чрезвычайно рѣзкимъ улучшеніемъ ея критической части въ 1836 году: тонъ статей оставался почти всегда прежній, но онъ подробно говорили о замѣчательныхъ литературныхъ произведеніяхъ, чего не было прежде; содержаніе разборовъ было несравненно дѣльнѣе, а развитіе мыслей гораздо основательнѣе и остроумнѣе прежняго. Черезъ нѣсколько времени попались намъ въ руки "Очерки литературы", и дѣло объяснилось.

"Не здёсь мёсто (говорить Н. А. Полевой) излагать мое мийніе о ней (Библіотек'в для Чтенія) или разсказывать о моихъ отношеніяхъ къ ея почтенному редактору. Скажу одно, что съ самаго начала сего журнала я быль рішительно не согласень съ его цілью, планомъ, воззрініемъ и отрекался отъ всякаго постояниаго въ немъ участія, хотя неоднократно быль убъцительно приглашаемъ къ тому. Въ 1836 году, когда давно уже прекратился журналь, мною издававшійся, я прівзжаль въ Петербургь, и — для чего скрывать? о подобныхъ поступкахъ надобно говорить во всеуслышание -добрый, благородный издатель "Библіотеки для Чтенія", А. Ф. Смирдинъ, оказалъ мив тогда безкорыстную и важную услугу въ моихъ тогдашнихъ стъсненныхъ обстоятельствахъ, - услугу, когда люди, называвшіеся монии друзьями, — люди, которымъ я имълъ, быть можетъ, нъкогда случай быть полезнымъ, отвергли меня, показали мнф себя въ самой темной краскъ безчувственнаго эгоизма... Богъ съ ними, я давно простидъ имъ! тъмъ съ большею признательностью вспоминаю о немногихъ, тёмъ благодарнее быль и всегда буду я доброму, благородному А. Ф. Смирдину, который за услугу свою требоваль участія моего въ "Вибліотекъ для Чтенія". Отказаться я не могъ. Мы сощинсь съ редакторомъ ея. Посив продолжительнаго съ нимъ переговора, я взяль на себя отделенія критики и библіографін и началь доста«распорядитель» встрътили оба эти журнала. О враждъ противъ «Московскаго Наблюдателя» не будемъ говорить; но вотъ какія слова вырвались у распорядителя «Библіотеки для Чтенія», когда онъ узналъ о намъреніи Пушкина издавать журналъ и прочиталъ про-

грамму этого изданія:

«Африканскій король Ашантієвъ, говорять, объявиль войну «Англін и уже открыль кампанію. Александръ Сергьевичъ Пушкинь, «въ исходь весны, тоже вступаеть на поле брани: онъ хочеть «издавать альманахъ или журналь «Современникъ». «Этоть жур-кналь или альманахъ учреждается нарочно противъ «Библіотеки «для Чтенія», съ явнымъ и открытымъ намъреніемъ при помощи «Божіей уничтожить ее въ прахъ!» «О вы, которые читаете раз-кные русскіе журналы, скажите намъ по милости, который это уже «журналь возникаеть съ этимъ благимъ намъреніемъ? Четвертый, «кажется? или пятый?» «Библіотека для Чтенія» поставила себь правиломъ не вступать въ полемику съ другими журналами;

влять изъ Москвы статьи по обоимъ отдъленіямъ. Съ перваго шага всё условія моего сотрудничества были нарушены редакторомъ. Не мое было діло отвъчать за статьи самого редактора и другихъ сотрудниковъ; но, къ изумленію моему, редакторъ наложилъ право нестерпимаго ценсорства на всё мои статьи, передёлываль въ нихъ языкъ по своей методё, переправляль ихъ, прибавляль къ нимъ, убавляль изъ нихъ, и многое являлось въ такомъ извращенномъ видъ, что, читая «Библіотеку для Чтенія», иногда вовсе я не могъ отличить, что такое хотёль я сказать въ той или другой статьё... Возраженія мои были тщетны, и, несмотря на все желаніе мое исполнить желаніе добраго А. Ф. Смирдина, я принужденъ былъ ръшительно отказаться отъ всякаго участія въ «Библіотек'в для Чтенія»... До какой степени мысли мои были измёнены, повёрить трудно. Приведу три или четыре примёра. Я послалъ редактору статью о комедія М. Н. Загоскина «Недовольные», гдъ говорилъ о комедіи Грибовдова, изъявияя безпристрастно мивніе мое п отдавая справедливость и прекрасному произведенію М. Н. Загоскина, і н превосходному произведенію Гриботдова. Редакторъ прибавиль брань на «Ревизора», комедію г. Гогоня, и придаль словамь монмь о Грибовдовь такой смысль, что ими оскорбиль всёхъ почитателей памяти Грибоёдова и прежде всёхъ-перваго меня... (Слёдуютъ примёры искаженія трехъ другихъ статей). Но всего забавиће было приключение съ статьею о стихотворевияхъ г. Соколовскаго, «Мирозданіе» и «Хеверь». Желая показать, что поэть совершенно превратно смотритъ на предметъ свой, я написалъ статью, гдё подробно изложиль свои мысли о поэзіи духовной и о сочиненіяхь г. Соколовскаго. Редакторъ «Библіотеки для Чтенія», какимъ-то непостижимымъ для меня образомъ, умёль вырёзать изъ статьи некоторыя частицы и поместиль ихъ въ

она только позволяеть себѣ увѣдомить публику о программѣ новаго журнала»: «Но съ появленіемъ первой его книжки водворяется глу-«бокое и красноръчивое молчаніе: ни слова объ этомъ журналь, «особенно, если онъ плохъ и смѣетъ еще браниться!» Журналъ Пушкина будеть содержать въ себь обозрвнія русской журналистики. Этого не делають англійскіе Rewiews и французскіе Revues, —следовательно журналь Пушкина самь объявляеть, что будеть принадлежать къ журнальной черни», которая одна занимается литературою полемикою. «Какъ горько, какъ прискорбно видеть, когда «геній, каковъ Александра Сергвевича Пушкина, рожденный вить «безсмертные вѣнки на вершинѣ зеленаго Геликона, нарвавъ тамъ «горсть колючихъ остротъ, бъжить стремглавъ по скату горы въ объятія собравшейся на равнинь толпы Віооянъ, которая объправить, за подарокъ, наградить его грубымъ хохотомъ! Берегитесь, «неосторожный геній! Последніе слои горы обрывисты, и у самаго «подножія Геликона лежить Михонское болото, бездонное боло-«то, наполненное черною грязью! Эта грязь-журнальная поле-«мика, самый низкій и отвратительный родъ прозы, послѣ риомо-«ванныхъ пасквилей». Быть можетъ, Александръ Сергвевичъ надвется придать своему журналу болве занимательности войною съ

«Вибліографіи», а остальному даль названіе «О духовной поэзіи» и въ видъ статьи отдёльной напечаталь вь отдёленіи «Прозы», съ моимъ именемъ. Въ этой стать в столько нашель я прибавокъ, уръзокъ, изминений, что вовсе не понядъ и теперь не понимаю, о чемъ идетъ въ ней ръчь. Статья начинается, наприміть, небывалымь анекдотомь, будто Пушкинь разговариваль нікогда съ Батюшковымъ о русскихъ стихахъ. Но Батюшкова съ 1817 года не было уже въ Петербургъ, когда Пушкинъ былъ еще ученикомъ въ Лицеъ, писалъ дътскіе стихи и не могъ разсуждать о поэзін русской съ однимъ изъ корифеевъ тогдашней русской поэзін. По крайней мёрь, я ничего подобнаго не слыхиваль отъ Пушкина и ничего не писаль о разговорт его съ Батюшковымъ. Радуюсь, что теперь, печатая «Очерки», могу освободить себя отъ непринадлежащаго мив и непризнаваемаго мною. Беру изъ «Библіотеки для Чтенія» тѣ только мои статьи, которымъ (не имѣя у себя прежнихъ оригиналовь) могь я намятью возвратить, по возможности настоящій смысль ихъ. Отъ всего остального, что писано въ «Библіотекъ для Чтенія» 1836 и 1837 годовъ, я ръшительно отрекаюсь и ничего тамъ помъщеннаго прошу не почитать монмъ: оно ни мое, пи редакторово, а Богъ знаетъ чье, и что опо такое, я первый менье всыхь понимаю».

Намъ понадобится это объясненіе Н. А. Полеваго, когда мы возвратимся къ разбору «Ревизора», пом'ященному въ «Библіотекъ для Чтевія» 1836 года и содержащему такое внезапное объявленіе непримирамой войны Гоголю.

«Библіотекою для Чтенія», «но онъ ошибается въ разсчеть: «Би-«бліотека для Чтенія» никогда не унизится до отвъта другимъ жур-«паламъ. И зачъмъ вамъ отвъчать, друзья? Не лучшій ли вамъ от-«вътъ — молчаніе? Вообще, не безполезно знать, что презрънія у «насъ достанетъ для всъхъ нападокъ, отъ кого бы онъ ни проис-«ходили». (Библіотека для Чтенія. 1836 г., апръльская книжка).

Въ тонъ этихъ словъ столько гнъва и вражды, что они, безъ всякаго сомнинія, диктованы чувствомь оскорбленнаго самолюбія. Того, что Пушкинъ объщалъ въ своемъ журналѣ помъщать обозрѣнія журнальной литературы, было бы недостаточно для столь сильнаго раздраженія рецензента «Библіотеки»; но ему, безъ сомнънія, уже за нъсколько дней до появленія первой книжки пушкинскаго журнала, въ то время, какъ писалъ онъ эту филиппику, было извъстно, въ какой степени неблагопріятны для барона Брамбеуса будуть отзывы новаго журнала; да и могло ли это быть неизвъстно? Двадцать лъть тому назадь, литературныхъ слуховъ и толковъ въ пишущемъ кружкѣ было гораздо болѣе, нежели теперь; а еще и нынъ о каждомъ замъчательномъ литературномъ явленіи каждому нечуждому литературнаго кружка приходится волею или неволею слышать задолго до выхода книги въ свътъ. Невозможно сомнъваться въ томъ, что баронъ Брамбеусъ зналъ впередъ, какова будеть въ новомъ изданіи первая статья о журналистикъ, и что ръзкія выходки «Библіотеки» писаны подъ вліяніемъ этихъ слуховъ. Когда явился первый томъ новаго изданія съ статьею, отрывки изъ которой мы привели, писатель, противъ котораго она была направлена, также не могъ волею или неволею не услышать, кто такой быль авторомъ этой статьи. Люди чуждые литературному кружку, могли приписывать статью самому Пушкину; но въ литературномъ кружкѣ не могло быть тайною, что писалъ ее Гоголь и скоро Пушкинъ печатнымъ образомъ объявилъ, что статья «О движеніи журнальной литературы» принадлежить не ему. Для людей, знающихъ нашу литературу, всф подобныя объясненія совершенно излишни: они знають, что въ нашей литературъ тайны невозможны, и теперь у насъ пишущихъ людей такъ мало, что вск псевдонимы, и анонимы-пустая игрушка, прозрачный флёръ, ничего не прикрывающій. Хотя бы даже вовсе того не желаль онь, литератору нъть возможности не знать истиннаго автора каждой анонимной статьи, возбуждающей некоторое внимание.

Такимъ образомъ, баронъ Брамбеусъ имѣлъ двѣ основательныя причины измёнить тонъ своихъ сужденій о Гоголе. Во первыхъ, Гоголь явился однимъ изъ главныхъ участниковъ пушкинскаго журнала: въ первой же книжкъ «Современника» были помъщены два произведенія, подписанныя его именемъ: «Коляска» и «Утро діловаго человъка»; въ одной изъ слъдующихъ-«Носъ». Во вторыхъ, что еще важнье, Гоголь быль авторь неблагопріятной ему статьн «О движеніи журнальной литературы». Самъ баронъ Брамбеусъ обнаружиль третью причину своего нерасположенія къ автору «Ревизора»: онъ считалъ его, какъ юмористическаго писателя, своимъ соперникомъ. Вотъ предварительныя замъчанія изъ «брани на Ревизора», вставленной распорядителемъ «Библіотеки для Чтенія» въ статью Н. А. Полеваго о «Горе отъ Ума» и «Недовольных» Загоскина, какъ мы видели изъ свидетельства самого Полеваго. Очевидно, что въ этомъ отрывкъ остались нъкоторыя выраженія, написанныя Полевымъ. Но читатель легко отличитъ фразы, которыя могъ написать только баронъ Брамбеусъ:

√ "Перейдемъ къ "Ревизору". Здѣсь прежде всего надобно привѣтствовать въ его авторѣ новаго комическаго писателя, съ которымъ можно поздравить русскую словесность. Первый опыть г. Гоголя (т. е. первый опыть въкомедіи) вдругь обнаружиль въ немъ необыкновенный даръ комики, и еще такой комики, которая объщаеть поставить его между отличнъйщими въ этомъ роль писателями. Мы съ удовольствіемъ предаемся этой пріятной надежді, хотя одинъ весьма умный человекъ сказалъ намъ въ ответъ на подобное предсказаніе: "Ничего не будеть! его захвалять!" Въ самомъ деле, опасность, кажется, угрожаеть автору съ этой стороны, и если у него есть самолюбіе, онъ не можеть употребить его съ большею пользою для себя и для литературы. какъ поручевъ ему оберегать себя отъ яда необдуманныхъ похвалъ. Кажется, что одна изъ котерій, которая чрезвычайно нуждается въ примічательномъ таланть, для того, чтобы противопоставить его барону Брамбеусу, избрала его своимъ героемъ и условилась превозносить до небесъ каждое его сочинение. скрывая отъ него и отъ публики ихъ несовершенства. Ежели это правда, то нельзя не предостеречь г. Гоголя, что онъ стоитъ на пропасти, прикрытой цвітами, и можеть упасть въ нее со всею своею будущею славой. Что касается до насъ, то мы никогда не были въ состояни усмотрёть малейшаго сходства между талантомъ г. Гоголя и таинственнаго барона и не понимаемъ, какимъ образомъ литературная досада могда ослёнить котерію до того, чтобъ она вздумала сделать изъ автора "Вечеровъ на хуторе" и "Миргорода" соперника автору "Фантастическихъ путешествій" и "Похожденій одной ревижской души". Если г. Гоголь приметить это вовремя, то его личное самолюбіе поможеть ему воспользоваться замічаніями тіхь, которые ничего столько не

желають, какъ полнаго развитія его таланта, не довърять умышленнымъ панегирикамъ и усовершенствовать свое дарованіе".

«Котерія, нуждающаяся въ примѣчательномъ талантѣ, для того, чтобы противопоставить его барону Брамбеусу, избравшая Гоголя своимъ героемъ и условившаяся превозносить до небесъ каждое его сочиненіе, чтобы сдѣлать его соперникомъ таинственнаго барона», по смыслу словъ и по тогдашнимъ отношеніямъ, могла означать только Пушкина и его сподвижниковъ. Но гдѣ жь баронъ Брамбеусъ нашелъ доказательство этого намѣренія? Въ то время быль изданъ только одинъ томъ пушкинскаго журнала, а единственнымъ мѣстомъ, относившемся въ этомъ томѣ къ Гоголю, была небольшая рецензія втораго изданія «Вечеровъ на хуторѣ», которую мы вполнѣ приводимъ въ примѣчаніи *).

Читатели видять, что несовершенства произведеній Гоголя вовсе не скрываются этою рецензією, и она не заключаеть ни самаго отдаленнъйшаго намека на противопоставленіе Гоголя таинственному барону, если не видъть этого намека въ подчеркнутомъ нами

выраженіи «мы, не сміжвшіеся со временъ Фонвизина». Надобно принимать одно изъ двухъ: или слова барона написаны по дошедшимъ до него слухамъ, что Пушкинъ въ разговорахъ ставитъ Гоголя выше барона Брамбеуса—и это служило бы новымъ подтвер-

^{*) «}Читатели паши, конечно, помнять внечатльніе, произведенное надъ ними появленіемъ «Вечеровъ на хуторъ»: всь обрадовались этому живому описанію племени поющаго и пляшущаго, этимъ свіжимъ картинамъ малороссійской природы, этой веселости, простодушной и вмёстё лукавой. Какъ изумились мы русской книгь, которан заставила насъ смъяться, - мы, не смылвийсел со времень Фонвизина! Мы были такъ благодарны молодому автору, что охотно простили ему неровность и неправильность его слога, безсвязность и пеправдоподобіе ныкоторых разсказовт, предоставя сін недостатки на поживу критики. Авторъ оправдалъ таковое снисхождение. Онъ съ тъхъ поръ непрестанно развивался и совершенствовался. Онъ издалъ «Арабески», гдъ находится его «Невскій проспектъ», самое полное изъ его произведеній. Вельдъ затъмъ явился «Миргородъ», гдъ съ жадностью вев прочли и «Старосвётскихъ помещиковъ», эту шутливую, трогательную идиллію, которая заставляеть вась сивиться сквозь слевы грусти и умиленія, и «Тараса Бульбу», коего начало достойно Вальтера Скота. Г. Гоголь идетъ еще впередъ. Желаемъ и надъемся имъть часто случай говорить о немъ въ нашемъ журналь.-Надияхъ будетъ представлена на здъшнемъ театръ его комедія «Ревизоръ».

жденіемъ нашему прежнему объясненію рѣзкой выходки противъ Пушкина—пли слова барона Брамбеуса вызваны неудовольствіемъ на то, что Гоголь поставленъ прямымъ наслѣдникомъ Фонвизина, безъ оговорки, что юмористическія статьи барона Брамбеуса также превосходны,—и это послужило бы новымъ подтвержденіемъ мнѣнія о его щекотливости.

Какъ бы то ни было, но факты, нами сведенные, не оставляють сомнинія, что въ отзывахь барона Брамбеуса о Гоголи участвовало оскороленное самолюбіе. И чёмъ дальше шло время, тёмъ сильнъе должно было становиться это побуждение, потому что удивленіе барону Брамбеусу, какъ «отличнъйшему юмористу», сначала очень сильное въ извъстномъ кружкъ читателей, съ каждымъ годомъ быстро ослабъвало, а слава Гоголя быстро увеличивалась. Только этимъ личнымъ отношеніемъ — мыслью барона Брамбеуса видеть въ Гоголе своего противника — можно объяснить фактъ. что баронъ въ отзывахъ о Гоголь отступаль отъ постояннаго правила своей критической деятельности: какъ можно мене говорить о замъчательныхъ явленіяхъ словесности, чтобы избъжать промаховъ въ деле, для котораго нуженъ вкусъ. Еще разительнее его отступление отъ постоянной тактики въ томъ, что онъ неизмѣнно продолжалъ говорить о Гоголъ лъть пятнадцать то же самое, что сказалъ въ 1836 году. Обыкновенно онъ поступалъ иначе: какъ скоро замічаль онь, что восхваленный имъ писатель уничтожень критикою другихъ журналовъ, онъ тотчасъ же начиналъ повторять мнфнія, высказанныя критикомъ-побфдителемъ, не заботясь о противоръчіи этихъ мнёній съ его прежними выспренними похвалами; и наоборотъ, когда слава писателя утверждалась, онъ начиналъ также хвалить его, вследъ за другими журналами. Примеры последняго излишни: все наши талантливые писатели довольно долго сначала не обращали на себя никакого вниманія барона Брамбеуса. какъ люди, не обнаруживающіе дарованій, или даже были имъ осмъиваемы, не по злому умыслу, а просто по неумънью его отличить, дъйствительно ли они талантливы; а потомъ всёхъ ихъ онъ хвалиль, когда другими критиками были объяснены ему ихъ достоинства. Что же касается примеровъ того, какъ онъ покидалъ своихъ прежнихъ кліентовъ, когда слава ихъ была разрушена другими, разскажемъ одинъ случай. Мы привели отрывки изъ разбора «Торквато Тассо», гдѣ это произведение было превознесено до небесъ; черезъ два три мъсяца съ автора были сняты чинъ Байрона и санъ «великаго», объявлено было даже, что баронъ Врамбеусъ, хваля его, только забавлялся: критику вздумалось, говорила «Библіотека для Чтенія», състь у окна и бросить вънокъ славы на голову первому прохожему, прохожій, т. е. г. Кукольникъ, не въ міру возгордился, и надобно снять съ него візнокъ, данный по капризу, а не по заслугъ. Это объяснение, повидимому столь откровенное, возмутило многихъ и надълало въ свое время большаго шума: «какъ! раздавать и снимать вънки байроновской славы по одному капризу!» говорили всъ съ негодованиемъ. Но, разобравъ дъло ближе, мы увидимъ, что негодовать на барона было почти не за что: онъ, кажется, говорилъ о капризъ только для оправдапія своей перемфичивости въ обращеній съ г. Кукольникомъ, а на самомъ дълъ поступалъ по своему искреннему убъжденію и крайнему разумѣнію. Исторія повышенія и низложенія г. Кукольника въ «Виблютекъ для Чтенія» произошла слъдующимъ образомъ. Н. А. Полевой помъстилъ въ «Телеграфъ» краткій отзывь о «Торквато Тассо», въ томъ смыслъ, что «юный авторъ подаетъ надежды и уже выказаль большое дарованіе».—Нзъ этого отзыва и выросла восторженная статья барона Брамбеуса. Потомъ Полевой помъстилъ въ «Телеграфъ» подробный разборъ «Торквато Тассо», гдъ, какъ обыкновенно бываетъ при подробномъ разборъ, рядомъ съ достоинствами указаль и недостатки драматической фантазіп г. Кукольника, кстати и мимоходомъ зам'ятивъ, что «Библіотека для Чтенія» уже слишкомъ далеко зашла въ похвалахъ этому произведенію, и что странно видёть въ г. Кукольникі Байрона. Вследъ за этимъ и «Вибліотека» перестала безусловно восхищаться г. Кукольникомъ, даже почла за нужное унизить его. Видите ли, какъ просто было дело! Если капризъ и участвовалъ въ увенчании и разв'єнчаній русскаго юнаго Байрона, то участвоваль очень мало; и мы готовы даже хвалить барона Брамбеуса за то, что онь, взявъ слишкомъ высокую ноту съ чужаго голоса, съ такимъ послушаніемъ понизиль ее, какъ скоро наставникъ зам'ятиль ему его промахъ. То же самое было съ его сужденіями о Марлинскомъ, Загоскинъ и проч. Такъ бывало постоянно. Пока никто еще не хвалилъ и не бранилъ писателя, баронъ Брамбеусъ хвалилъ или бранилъ его на удачу. Какъ скоро сильнъйшіе голоса въ критикъ произносили свое сужденіе, онъ повторяль ихъ слова.

Относительно одного Гоголя не могъ онъ, увлеченный личнымъ чувствомъ, пересилить себя и до конца повторяль свои первые отзывы, сдѣланные съ голоса Н. А. Полеваго, хотя и видѣлъ, что сильнѣйшіе голоса говорятъ противное. Не будемъ осуждать этой ошибки: надобно же уступать человѣку нѣкоторую свободу въ чувствахъ, не всегда же можно требовать отъ человѣка, чтобъ онъ дѣйствовалъ только по внушенію благоразумнаго разсчета и холоднаго разсудка. Ужели вы изгоняете изъ міра поэзію? вѣдь увлеченіе чувствомъ и есть поэзія.

Такимъ-то образомъ, увлеченный до поэзін чувствомъ своимъ, баронъ Брамбеусъ семнадцать лётъ повторялъ то, что было когдато сказано о Гоголѣ Н. А. Полевымъ. Дѣйствительно, сличивъ статьи того и другаго критика, мы увидимъ, что всѣ, рѣшительно всѣ сужденія о Гоголѣ заимствованы барономъ Брамбеусомъ у Н. А. Полеваго,—даже знаменитое сравненіе Гоголя съ Поль-де-Кокомъ, даже замѣчанія относительно разныхъ мелочей. Одно остается у него свое — остроумныя насмѣшки надъ тѣмъ, что «Мертвыя Души», сочиненіе написанное въ прозѣ, названо поэмою. Какого вниманія онѣ заслуживаютъ, предоставляемъ судить читателю. Мы знаемъ только то, что на отзывы барона Брамбеуса о Гоголѣ публика обращала несравненно менѣе вниманія нежели наши журналы; говоря по всей справедливости, надобно даже сказать, что сужденія барона Брамбеуса о Гоголѣ не произвели на публику ровно никакого вліянія.

И не только вдкіе отзывы барона Брамбеуса о Гоголь, но и вся его продолжительная многосторонняя, неутомимая журнальная двятельность едва ли произвела хотя малвйшее двйствіе на публику, или имвла хотя слабое вліяніе на развитіе литературы, вы полезномы или вредномы смысль. Потому и исторія литературы, если мало будеть говорить о его заслугахь, то мало скажеть и вы осужденіе ему. Она только пожальеть, какъ жальемы и мы, что этоть человыкь растратиль свои дарованія отчасти на предпріятія, несвойственыя его таланту и знаніямы, — напримірь, на поверхностныя гипотезы вы наукахь, чуждыхь его спеціальности, на усилія пріобрысть славу романиста и быть законодателемы вы области изящной словесности, при недостаткы эстетическаго вкуса,—отчасти на мелочи, которыми также надъялся оны пріобрысти славу. Къ

слога, приведшее его къ вычурности; стремленіе выдавать себя за преобразователя русской прозы, которая не нуждалась въ преобразованіяхъ, по крайней міру, подобныхъ тімь мелочнымь нововведеніямъ, какія онъ считалъ нужными и важными; стремленіе прослыть остроумивишимь изъ русскихъ писателей. Всю эту напрасную растрату силъ надобно будетъ приписать тому, что онъ, вслъдствіе ли своей натуры, или вследствие своего фальшиваго положения въ нашей литературь, не питль въ своей дъятельности ни одной изъ тахъ возвышенныхъ цалей, безъ стремленія къ которымъ нельзя писателю достигнуть истинной славы. Но, съ другой стороны, псторія литературы скажеть, что, не будучи ни геніемь, ни даже даровитьйшимъ или ученъйшимъ изъ современныхъ ему русскихъ журналистовъ, онъ обладалъ замъчательными силами: и знаніями, и проницательнымъ умомъ, и остроуміемъ, и неутомимою жаждою славы и дъятельности. Она прибавить также, что если самолюбіе вовлекало его въ ошибки, то, по нравственному характеру, его невозможно сравнивать съ людьми, которые достойны «презрънія» (чтобы выразиться его терминомъ): у него было много истинной гордости, — силы, исключительно и неотъемлемо принадлежащей личностямъ благороднымъ по всей натуръ, каковы бы ни были обстоятельства ихъ дёятельности. И если мы захотимъ вникнуть въ отношенія и интриги ніжоторых литературных котерій (чтобы опять употребить его терминъ) того времени, когда онъ успълъ прочно занять столь важное для литературы мёсто распорядителя единственнаго журнала, бывшаго тогда сильнымъ, то мы должны будемъ сказать, что умънье его поставить себя на это видное мъсто было, хотя отрицательнымъ образомъ, очень полезно для русской литературы: не займи онъ этого мъста, еще Богъ знаетъ. кто захватиль бы этоть столь важный пость, и, по всей въроятности, захватиль бы его тоть или другой изъ людей, съ которыми какъ мы выразились, невозможно его смешивать. Онъ не хотелъ дълать ничего дурнаго, не сдълалъ ничего вреднаго; нъкоторые другіе на его м'єст'є хот'єли бы дурнаго и усп'єли бы сд'єлать много вреднаго. И наконець, чтобы назвать положительную заслугу его, скажемъ, что, дъйствительно, ему принадлежитъ честь изгнанія изъ русскаго литературнаго языка, въ самомъ дёлё вредныхъ его легкости, мъстоименій «сей» и «оный».

Внимательный читатель заметить, что вся настоящая статья есть только развитіе относящихся къ барону Брамбеусу эпизодовъ изъ статьи Гоголя «О движеніи журнальной литературы» а во многихъ мъстахъ должна быть названа только парафразомъ словъ Гоголя и И если изъ нашей характеристики следуеть, что баронъ Врамбеусъ гораздо реже, чемъ думаютъ многіе, писалъ съ намереніемъ подшутить надъ публикою и гораздо чаще, нежели думають, писаль серьезно, не дурача никого, а излагая свой настоящія мнінія, только въ форм'я нісколько манерной, то это опять мысль Гоголя и мысль совершенно справедливая. И если она представляеть лучшее оправдание для литературной двятельности барона Брамбеуса, то намъ опять пріятно сказать, что именно съ такимъ сознаніемъ и выражается она у Гоголя, который, осуждая многія изъ дѣйствій своего противника, постоянно прибавляеть, что нравственный характеръ этого писателя выше подозрѣній и что онъ все дёлалъ не съ другою какою-нибудь цёлью, но именно съ тою, чтобы сдёлать, какъ ему казалось, лучше. Это, кажется, совершенно справедливо.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Представивъ характеристику критической дъятельности и отношеній къ Гоголю Н. А. Полеваго и г. Сенковскаго, мы перейдемъ прямо къ журналамъ и журналистамъ, бывшимъ на сторонъ Гоголя, не упоминая ни однимъ словомъ о нъкоторыхъ другихъ журналистахъ, бранившихъ автора «Мертвыхъ Душъ». Не считаемъ также, съ другой стороны, нужнымъ безпокоить нъкоторыхъ невинныхъ журналистовъ припоминаніями о ихъ простодушныхъ сомнѣніяхъ къ Гоголю: добрые люди давно простили имъ грѣхъ невъдѣнія, въ которомъ они находились, а иные изъ нихъ, быть можетъ, еще и по сю пору находятся, повторяя разныя обвиненія, вычитанныя изъ статей Н. А. Полеваго. Такимъ образомъ, мы можемъ, оставивъ въ сторонъ различныхъ мелкихъ воителей, успливавшихся подвизаться противъ Гоголя, перейти къ изложенію критической дъятельности и миѣній о Гоголѣ тѣхъ журналистовъ, которые считали Гоголя великимъ писателемъ.

Еслибъ кто, придерживаясь исключительно строгаго хронологическаго порядка, ръшился разрывать тъсно связанные между собою факты, при изложени различныхъ митей о Гоголф, ему пришлось бы начать свой обзоръ свидътельствомъ Пушкина о досточиствахъ «Вечеровъ на хуторъ», потому что Пушкинъ не только первый похвалилъ Гоголя, но и вообще былъ первымъ изъ всѣхъ, въ какомъ бы то ни было смыслъ, заговорившимъ нашей публикъ о Гоголь. Поставивъ себъ цълью дать не безсвязный хронологическій перечень статей о Гоголь, а изложене распространенія въ литературномъ міръ и въ публикъ понятій о значеніи Гоголя, мы должны были соединять въ одну цъльную характеристику все, что было говорено о Гоголъ съ той и ли другой точки зрѣнія, соблюдая

порядокъ, въ какомъ одно направленіе пріобрѣло первенство надъ другимъ въ литературѣ. Такимъ образомъ, надобно было начать нашъ обзоръ сужденіями журналистовъ, бывшихъ представителями направленій, господствовавшихъ въ нашей критикѣ до того времени, когда пріобрѣли рѣшительное преобладаніе «Отечественныя Записки», которымъ, въ числе другихъ заслугъ, принадлежитъ и честь прочнаго утвержденія въ публик' справедливых понятій о Гоголъ. Слъдуя этому плану, намъ должно, прежде нежели мы займемся изложениемъ этихъ нынъ господствующихъ и совершенно раздъляемыхъ нами мнъній, представить обзоръ литературныхъ возэрьній «Москвитянина», который, впродолженіе первыхъ двухъ или трехъ лътъ своего существованія, имъль нъкоторую долю вліянія на публику и литературу, пока, отчасти по причинамъ, лежавшимъ въ сущности его собственнаго характера, отчасти по неудержимо возрастающему вліянію «Отечественных» Записокъ», совершенно ослабълъ. Это ръшительно обозначилось въ 1844, если еще не въ 1843 году. Пость того существованіе «Москвитянина» было едва замѣтно въ литературѣ до 1849 или 1850 года, когда «молодая редакція» (терминъ, употребленный самимъ издателемъ) обновила его силы. Мы здесь говоримъ о мивніяхъ, которыя существовали въ русской литератур' до пріобр' тенія «Отечественными Записками» совершеннаго преобладанія; потому исключительно говоримь о «Москвитянинъ» первой редакціи,—«Старомъ Москвитянинъ», если можно такъ выразиться, и (повторяемъ слова, сказанныя въ началъ предъидущей статьи) выводы наши нимало не относятся къ обновленному, или «новому» «Москвитянину». Но кромъ этой краткой оговорки необходима другая, требующая болье обстоятельнаго развитія.

Старый «Москвитянинъ» иногда называли журналомъ славянофильскимъ. Поводомъ къ этому мнѣнію было то, что изъ всѣхъ существовавшихъ до нынѣшняго года журналовъ онъ по преимуществу, или даже онъ одинъ, высказывалъ относительно нѣкоторыхъ вопросовъ понятія, довольно, повидимому, близкія къ славянофильскимъ: Но только въ «нѣкоторыхъ вопросахъ» и только «повидимому»; въ сущности же старый «Москвитянинъ» былъ органомъ г. Погодина и г. Шевырева, какъ новый «Москвитянинъ»— органомъ г. Погодина и г. А. Григорьева. Иногда помѣщались въ этомъ журналѣ и чисто славянофильскія статьи; однажды (въ

1845 г.) зав'єдываль имъ одинь изъ славянофиловъ, но только три или четыре нумера журнала въ этомъ году были зам'єчательны, остальные не представляли ничего интереснаго; а отд'єльныя статьи, являвшіяся изр'єдка въ другіе годы, не им'єли вліянія на общій характеръ журнала.

Мы не знаемъ, много или мало соотвътствія съ своимъ образомъ мыслей находять славянофилы въ мнвніяхъ г. Погодина; но, во всякомъ случав, это мнвнія отлельнаго человька, а не целой школы. Что же касается мнвній г. Шевырева, не подлежить сомнвнію, что гг. Аксаковы, Кирвевскіе, Хомяковъ не считаютъ г. Шевырева своимъ. Изъ этихъ словъ очевидно, что мы не находимъ особенной близости въ характерв понятій гг. Шевырева и Погодина, а еще менве возможнымъ считаемъ присоединять г. Шевырева къ славянофиламъ, и что изъ нашей характеристики образа понятій г. Шевырева не должно выводить никакихъ сужденій ни о г. Погодинв, ни твмъ болве о славянофилахъ.

Но этого отрицательнаго указанія было бы недостаточно. У многихъ понятія о г. Шевыревѣ, о г. Погодинѣ, о славянофильствѣ такъ тѣсно связаны, что, для предупрежденія отпочныхъ заключеній, необходимо точнѣе опредѣлить различіе въ литературномъ характерѣ двухъ редакторовъ стараго «Москвитянина» и высказать опредѣлительное мнѣніе о славянофильствѣ.

Г. Погодинъ не принималъ на себя роли критика художественныхъ произведеній, потому о немъ здісь мы можемъ упомянуть только эпизодически: его діятельность, какь журналиста, ограничивавшаяся статьями или чисто ученаго, или публицистическаго содержанія, не входить въ границы нашихъ очерковъ; содержаніе его статей не касается нашего предмета. Мы обратимъ внимание читателя только на ихъ изложение. Слогъ г. Погодина богатъ странностями, которыя подавали даже поводъ къ забавнымъ пародіямъ. Но невозможно не признаться, что точность, мъткость, оригинальность, непринужденность, сжатость, энергія, совершенная естественность, составляють неотъемлемыя его качества. Нельзя также не прибавить, что наблюдательность, проницательность, отсутствіе всякаго педантства, строгая логика въ развитін мыслей и вообще зам'вчательная сила здраваго смысла — неизм'внныя достоинства всего, что было написано господиномъ Погодинымъ. Мы не принадлежимъ къ числу его поклонниковъ, -- но справедливость

требуетъ назвать его ученымъ основательнымъ; и самые противники его согласятся, что онъ оказалъ своей спеціальной наукѣ — русской исторіи—значительныя услуги. Та же справедливость требуетъ сказать, что въ его любви къ наукѣ нѣтъ ни жеманства, ни притворства, что онъ защитникъ просвѣщенія, и что какъ бы ни казались намъ странны нѣкоторыя его мнѣнія, но никто не можетъ и подумать назвать его обскурантомъ. Этого достаточно, чтобы вынудить у каждаго здравомыслящаго человѣка сочувствіе къ нему во многихъ случаяхъ и во всякомъ случаѣ обезпечить ему право на уваженіе.

Мы никогда не разделяли и не чувствуемъ ни малейшаго влеченія раздёлять мижнія славянофиловъ *), но по всей справедливости должны сказать, что если понятія ихъ и надобно признать ошибочными, то нельзя не сочувствовать имъ, какъ людямъ, проникнутымъ сочувствіемъ къ просвіщенію. Отчасти въ увлеченіи жаромъ полемики, еще болье потому, что смъшивали истинныхъ славянофиловъ съ людьми, которые пустоту и кичливость своихъ мнтній прикрывають напыщенными родомонтадами на отрывочныя и непонятныя мысли, заимствованныя на прокать у славянофиловь, эту школу обвиняли во вражде къ науке, въ обскурантизме, въ стремленіи возвратить Россію «ко днямъ Кошихина» и т. д. Упреки эти дёлались не по слапой ненависти, не по желанію взвести на противниковъ предосудительную небывальщину, а по искреннему убъжденію въ ихъ справедливости; но они несправедливы, - по крайней мере, относительно такихъ людей, какъ гг. Аксаковы, Кошелевъ, Кирѣевскіе, Хомяковъ, рѣшительно несправедливы. Горячая ревность къ основному началу всякаго блага, просв'єщенію, одушевляеть ихъ. Нёть нужды лично знать ихъ, чтобы быть твердо убъжденному, что они принадлежать къ числу образованнъйшихъ. благороднъйшихъ и даровитъйшихъ людей въ русскомъ обществъ; а эти качества достаточно ручаются за чистоту и возвышенность ихъ намфреній. Считаемъ излишнимъ прибавлять, что личный ха-

^{*)} Мы употребляемъ это имя, какъ наиболъ̀е всѣмъ извѣстное; по намъ кажется, что, будучи придумано въ то время, когда мнѣнія лучшихъ послѣдователей школы были еще мало извѣстны, опо пе имѣетъ въ настоящее время никакого внутренняго смысла. Мы готовы съ удовольствіемъ замѣнитъ его другимъ, какое будетъ намъ указано самыми послѣдователями мнѣній, о которыхъ идетъ рѣчь.

рактеръ каждаго изъ этихъ людей выше всякой укоризны. Кто знакомъ съ славянофилами только по полемикъ, которую нѣкогда вели петербургскіе журналы противъ стараго «Москвитянина», тотъ ихъ не знаетъ. Мы не возьмемъ на себя смѣлости отъ своего лица излагать передъ читателями полную систему ихъ убѣжденій, какъ мы ихъ понимаемъ: система эта представляется намъ не во всѣхъ пунктахъ достаточно ясною, и мы не хотимъ подвергаться опасности ввести читателей въ заблужденіе; вѣрнѣе будетъ, если мы представимъ извлеченіе изъ статьи г. И. Кирѣевскаго «О характерѣ просвѣщенія Европы и о его отношеніи къ просвѣщенію Россіи» *). Она пока остается едва ли не лучшимъ выраженіемъ славянофильства. Мы будемъ совершенно строго держаться собственныхъ словъ автора.

"Еще не очень давно то время, когда вопросъ объ отношеніи русскаго просвіщенія къ западному быль почти невозможень, или разрішался такъ легко, что не стоило труда его предлагать. Тому тридцать літь, едва ли можно было встрітить мыслящаго человіка, который бы постигаль возможность другаго просвіщенія, кромі заимствованнаго отъ западной Европы. Общее мнініе было таково, что различіе между просвіщеніемь Европы и Россіи существуєть только въ степени, а не въ духі или основныхь пачалахъ образованности. У пасъ (говорили тогда) было прежде только варварство: образованность наша начинается только съ той минуты, какъ мы начали учиться у Европы. Оттого, тамъ учители, мы—ученики".

"Но съ тъхъ поръ въ просвъщени западномъ и въ просвъщени русскомъ произошла перемьна. Европейское просвъщение достигло той полноты развития, гдъ его особенное начало выразилось съ очевидною ясностью. Результатомъ этой полноты развитія, ясности итоговъ было общее чувство недовольства. Правда, науки процветали, внешняя жизнь устраивалась благопріятно. Но жизнь лишена была своего существеннаго смысла, ибо, не проникнутая никакимъ общимъ, сильнымъ убъжденіемъ, она не могла быть ни укращена высокою надеждою, ни согръта глубокимъ сочувствіемъ. Анализъ разрушилъ всь основы, на которыхъ стояло европейское просвещение съ самаго начала своего развитія. И съ тъмъ вмысть этоть анализь, эта логическая дыятельность, этоть отвлеченный разумъ дошель до сознанія своей ограниченной односторонности. Онъ убъдился, что высшія истины ума, его существенныя убъжденія лежать внв отвлеченнаго круга его діалектическаго процесса. Этоть результать европейской образованности выражень передовыми мыслителями Запада. Теперь западному человьку остается или ограничиться равнодушіемъ ко всему, что выше чувственныхъ питересовъ, -- но это неестественно и унизительно, или возвратиться къ темъ отвергнутымъ убежденіямъ, которыя одушевляли Западъ прежде конечнаго развитія отвлеченнаго разума, — по эти убіжденія уже раз-

^{*) «}Московскій Сборникъ» 1852 г., стр. 1-68.

рушены. Потому-то почти каждый, чтобъ избёгнуть этой мучительной пустоты, началь изобрётать въ своей головё для всего міра новыя общія начала жизни и истины, мёшая старое съ новымъ, возможное съ невозможнымъ".

"У насъ большая часть людей, слёдившихъ за явленіями европейской жизни, убёдившись послё этого въ неудовлетворительности европейской образованности, обратили вниманіе свое на тѣ особенныя начала просвёщенія, не оцѣненныя европейскимъ умомъ, которыми прежде жила Россія, и которыя теперь еще замѣчаются въ ней помимо европейскаго вліянія.—Эти основныя начала, которыхъ мы не замѣчали прежде, по пристрастію къ западной образованности и безотчетному предубѣжденію противъ своей старины, представлявшейся варварскою, совершенно отличны отъ тѣхъ элементовъ, изъ которыхъ составилось просвѣщеніе европейскихъ народовъ".

"Основными элементами въ развити западной Европы были: римская церковь, древне-римская образованность и государственность (общественное устройство), возникшая посредствомъ завоеванія и изъ борьбы побъжденныхъ съ побъдителями. Всё эти три элемента были совершенно чужды древней Россіи. Она приняла христіанство изъ Византіи, древне-языческая образованность переходила къ ней уже сквозь ученіе христіанское, русское государство осно-

валось и утвердилось самобытно, не испытавъ завоеванія".

"Развитіе элементовъ западной образованности обнаружило ихъ неудовлетворительность и односторонность. Потому намъ нужно прилъпиться къ своимъ основнымъ элементамъ образованности, исчисленнымъ выше, гораздо полнъйшимъ и плодотворнъйшимъ. Тогда возможна будетъ въ Россіи наука, основанная на самобытныхъ началахъ, отличныхъ отъ тъхъ, какія намъ предлагаетъ просвъщеніе европейское. Тогда возможно будетъ въ Россіи искусство, на самородномъ корнъ разцвътающее. Тогда жизнь общественная въ Россіи утвердится въ направленіи, отличномъ отъ того, какое можеть ей сообщить образованность западная".

"Однако же, говоря: "направленіе", я не излишнимъ почитаю прибавить, что этимъ словомъ я рѣзко ограничиваю весь смыслъ моего желанія. Ибо, если когда-нибудь случилось бы мив увидѣть во снѣ, что какая-либо изъ внѣшнихъ особенностей нашей прежней жизни, давно погибшая, вдругъ воскресла посреди насъ и въ прежнемъ видѣ своемъ вмѣшалась въ настоящую жизнь нашу, то это видѣніе не обрадовало бы меня. Напротивъ, оно испугало бы меня. Ибо такое перемѣщеніе прошлаго въ новое, отжившаго въ живущее, было бы то же, что перестановка колеса изъ одной машины въ другую, другаго устройства и размѣра: въ такомъ случаѣ или колесо должно сломаться, или машина. Одного только желаю я... чтобы эти высшія начала, господствуя надъ просвѣщеніемъ европейскимъ и не вытѣсняя его, но, напротивъ, обнимая его своею полнотою, дали ему высшій смыслъ и послѣдпее развитіе".

Изъ читателей, которые не принадлежатъ къ числу записныхъ последователей славянофильства, очень немногимъ понравятся эти выписанныя нами места, если только они потрудятся внимательне

всмотреться въ смысль основныхъ мыслей и подумать о выводахъ, до которыхъ могутъ и должны привести эти основанія, будучи логически развиты. А темъ, которые читали самую статью г. И. Кирвевскаго, она, безъ сомнвнія, понравилась еще гораздо менве, нежели наше извлечение: въ ней слишкомъ ярко выставлены на первый планъ иные слишкомъ сомнительные тезисы, которые мы почли удобнейшимъ сделать едва заметными въ нашемъ изложенін, потому что у другихъ славянофиловъ они дійствительно не играютъ особенно важной роли; мы старались извлечь изъ статыи г. Кирфевскаго общія всей школф положенія, а не принадлежащія лично автору преувеличенія тыхь или другихъ мижній шкоды. Другіе, можеть быть, сообщили бы этимъ тезизамъ развитіе боле обольстительное, и самъ г. И. Киръевский въ другихъ случаяхъ говорить гораздо завлекательнее. Чтобы дать примерь этого, укажемъ на его статью «Обозрѣніе современнаго состоянія словесности». Спеціальный смыслъ ея, по нашему мижнію, также существенно несправедливъ, и многіе факты также приведены или поняты ошибочно, - да иначе и быть не могло, иначе она была бы помъщена не въ «Москвитянинъ» 1845 года, иначе не явился бы и «Московскій Сборникъ» съ статьею И. Кирвевскаго; но дело не въ томъ: мы указываемъ на «Обозрвніе современнаго состоянія словесности» съ цылью выставить на видь, что въ этой стать очень много есть мыслей вёрныхъ и прекрасныхъ. Ея введеніе, представляемое нами въ выноскъ, достаточно убъдить въ этомъ читателя *). А превосходное заключение статьи послужить для насъ наилучшимъ заключеніемъ эпизода о славянофильствъ.

^{*)} Выло время, когда говоря: «словесность», разумёли обыкновенно изящную литературу: въ наше время изящная литература составляеть только незначительную часть словесности. Можетъ быть, отъ самой энохи, такъ называемаго возрожденія наукъ въ Европі, никогда изящная литература не играла такой жалкой роли, какъ теперь, особенно въ послідніе годы нашего времени, хотя, можетъ быть, никогда не писалось такъ много во всіхъ родахь и никогда не читалось такъ жадно все, что пишется. Еще XVIII вікъ быль по преимуществу литературный; еще въ первой четверти XIX віка чисто литературные интересы были одною изъ пружинъ умственнаго движенія народовъ; великіе поэты возбуждали великія сочувствія; различія литературныхъ мийній производили страстныя партів. Но теперь отношеніе изящной литературы къ обществу измінилось; изъ великихъ всеувдекающихъ поэтовъ не осталось ни одного; при множестві стиховъ и, скажемъ еще, при

Но возвратимся къ статъв «Московскаго Сборника» и разсмотримъ главныя положенія, изъ которыхъ развита система воззрвній, въ ней изложенная. Существеннъйшимъ основаніемъ всему служить въ ней аксіома: западная цивилизація оказалась неудовлетворительною и одностороннею. Анализъ показалъ, что элементы, изъ которыхъ она развивалась, односторонни, и не далъ новыхъ основаній для жизни и убъжденій. Да откуда же извъстно все это? Ужь конечно, не изъ твореній тъхъ «передовыхъ мыслителей», на

множествъ замъчательных талантовъ, нътъ поэзіи; не замътно даже ея потребности; литературныя мнънія повторяются безъ участія; изъ первой блистательной роди изящная словесность сошла на родь наперсницы другихъ героинь нашего времени. Мы читаемъ много, читаемъ больше прежняго, читаемъ все, что попадо, но все мимоходомъ, безъ участія, какъ чиновникъ прочитываетъ входящія и исходящія бумаги, когда онъ ихъ прочитываетъ. Читая, мы не наслаждаемся, еще менъе можемъ забыться, но только принимаемъ къ соображенію, ищемъ извлечь примъненіе, пользу, и тотъ живой безкорыстный интерест къ явленіямъ чисто литературнымъ, та отвлеченная дюбовь къ прекраснымъ формамъ, то наслажденіе стройностію ръчи, то упоительное самозабвеніе въ гармоніи стиха, какое мы испытали въ нашей молодости, наступающее покольніе будеть знать о немъ развъ только по преданію.

Въ наше время изящную словесность замѣнила словесность журнальная.— И не надобно думать, чтобы характеръ журнализма принадлежалъ однимъ періодическимъ изданіямъ: онъ распространяется на всѣ формы словесности, съ весьма немногими исключеніями. Въ самомъ дѣдѣ, куда ни оглянемся, вездѣ мысль подчинена текущимъ обстоятельствамъ, чувство приложено къ интересамъ партіи, форма принаровлена къ требованіямъ минуты. Романъ обратился въ статистику правовъ, поэзія въ стихи на случай; исторія, бывъ отголоскомъ прошедшаго, старается быть вмѣстѣ и зеркаломъ пастоящаго или докавательствомъ какого нибудь общественнаго убѣжденія, цитатой въ пользу какого нибудь современнаго возврѣнія; философія, при самыхъ отвлеченныхъ созерцаніяхъ вѣчныхъ истинъ, постоянно запята ихъ отношеніемъ къ текущей минутѣ; даже произведенія богословскія на Западѣ по большей части порождаются какимъ нибудь постороннимъ обстоятельствомъ внѣшней жизни.

Впрочемь, это общ е стремленіе умовь къ событіямь дѣйствительности, къ интересамъ дня, имѣетъ источникомъ своимъ не однѣ личныя выгоды или корыстныя цѣли, какъ думаютъ нѣкоторые. Хотя выгоды частныя и связаны съ дѣл ми общественными, по общій интересъ къ послѣднимъ пронсходитъ не изъ одного этого разсчета. По большей части это просто интересь сочувствія. Умъ разбуженъ и направленъ въ эту сторону. Мысль человѣка срослась съ мыслію о человѣчествѣ,—это стремленіе любви, а не вы-

которыхъ ссылается авторъ. Они говорятъ совершенно противное: анализъ ихъ показалъ новыя основанія для жизни и убъжденій; они вовсе не находятъ, чтобы западная цивилизація дошла до своего «полнаго развитія»: напротивъ, они утверждаютъ, что нравственныя науки еще только начинаютъ развиваться, обшественныя

годы. Онъ хочеть знать, что дёлается въ мірё, въ судьбё ему подобныхъ, часто безъ малёйшаго отношенія къ себё. Онъ хочеть знать, чтобы только участвовать мыслію въ общей живни, сочувствовать ей извнутри своего ограниченнаго круга.

Несмотря на то, однако, кажется, не безъ основанія, жалуются многіе на это излишнее уваженіе къ минуть, на этоть всепоглощающій интересъ къ событіямъ дня, къ внышней, дыловой сторонь жизни. Такое направленіе, думають они, не обнимаеть жизни, но касается только ея наружной стороны, ея несущественной поверхности. Скорлупа, конечно, необходима, но только для сохраненія верна, безъ котораго она свищъ. Можетъ быть, это состояніе умовъ понятно, какъ состояніе переходное; но беземыслица, какъ состояніе высшаго разряда. Крыльцо къ дому хорошо, какъ крыльцо; но если мы расположимся на немъ жить, какъ будто оно весь домь, тогда намъ оттого можетъ быть и тъсно и холодно.

Впрочемъ, замѣтимъ, что вопросы собственно политическіе, правительственные, которые такъ долго волновали умы на Западѣ, теперь уже начинаютъ удаляться на второй планъ умственныхъ движеній, и хотя при поверхностномъ наблюденіи можетъ показаться, будто они еще въ прежней силѣ, потому что по прежнему еще занимаютъ большинство голосовъ, но это большинство уже отсталое; оно уже не составляетъ выраженія вѣка; передовые мыслители рѣшительно переступили въ другую сферу—въ область вопросовъ общественныхъ, гдѣ первое мѣсто занимаетъ уже не внѣшаяя форма, но сама внутренияя жизнь общества, въ ея дѣйствительныхъ, существенныхъ отношеніяхъ.

Умственныя движенія на Западѣ совершаются теперь съ меньшимъ шумомъ и блескомъ, по очевидно имѣютъ болѣе глубины и общности. Вмѣсто ограниченной сферы событій дня и внѣшнихъ интересовъ, мысль устремляется къ самому источнику всего внѣшняго — къ человѣку, какъ онъ есть, и къ его жизни, какъ она должна быть. Западные писатели начинаютъ понимать, что подъ громкимъ вращеніемъ общественныхъ колесъ таится неслышное движеніе нравственной пружины, отъ которой зависитъ все, и потому въ мысленной заботѣ своей стараются перейти отъ явленія къ причинѣ, отъ формальныхъ внѣшнихъ вопросовъ хотятъ возвыситься къ тому объему идеи общества, гдѣ и минутпыя событія дня, и вѣчныя условія жизни, и политика, и философія, и наука, и ремесло, и промышленность, и сама редигія, и вмѣстѣ съ ними словесность народа, сливаются въ одну необозымую задачу: усовершенствованіе человѣка и его жизненныхъ отношеній.— Москвитили 1885 г. № 1.

отношенія тоже, приложенія науки къ жизни-тоже, и за что ни возьмись-то же самое: всв отрасли знанія (исключая чистую математику и астрономію, которыя уже достигли очень высокой степени совершенства) всф сферы жизни находятся еще въ первыхъ періодахъ развитія, быстро развиваются и черезъ сто, даже черезъ нятьдесять леть далеко уйдуть впередь по пути развитія. Однимь словомъ, Западъ — не человъкъ преклонныхъ лътъ, который говоритъ: «карьера моя уже сдълана, и сдълана неудовлетворительно: увы! жизнь моя шла по ложному пути; а начинать новую жизнь мив уже не подъ силу... увы, увы!» Нътъ, — Западъ юноша, и юноша еще очень молодой и свіжій, который (устами своихъ «передовыхъ мыслителей») говорить: «кое-что (и довольно много (я знаю; но очень многому мить еще остается учиться, я еще горю жаждою большаго знанія и учусь довольно успѣшно. Я не совершенно неопытенъ; но мнѣ еще нужно пріобрѣсть гораздо болѣе опытности. Моя карьера только что еще начинается, я едва еще только вачинаю отгадывать, что такое жизнь и какъ устроится моя жизнь. Мий еще остается много трудиться, чтобы обезпечить себъ прочное, безбъдное существование; но трудиться я готовъ: силы у меня довольно, и, пожалуйста, не отчанвайтесь за мою будущность: я уже имъю нъкоторые върные залоги того, что моя будущность мало по малу устроится довольно хорошо». - Воть что говоритъ Западъ устами своихъ «передовыхъ мыслителей». Возьмите французскаго, нъмецкаго, англійскаго ученаго, все равно, лишь бы только онъ быль человекь умный и дельный: каждый изъ нихъ скажетъ вамъ то же самое.

Откуда же взялась у насъ (да и у нѣкоторой части западной публики) мысль, или, лучше сказать, не мысль, а мелодраматическая фраза, о томъ, что Западъ дряхлый старецъ, который извлекъ изъ жизни уже все, что могъ извлечь, который истощился жизнью, и т. д.? Да все изъ разныхъ западныхъ же пустенькихъ или тупо-умненькихъ книжонокъ и статеекъ, потому что, нечего грѣха таить, и на Западъ много сочиняется пустыхъ книжекъ и статеекъ, по крайней мъръ, по десяти на одну дѣльную, все равно, какъ и у насъ, на одну умиую статью г. И. Киръевскаго приходится по крайней мъръ десятокъ жалкихъ статей, написанныхъ на ту же, повидимому, тему, по написанныхъ педантами или людьми ограниченными. По преимуществу эти унылыя книжки и статейки пишутся

на французскомъ діалектъ; главныя богадъльни для этихъ беззубыхъ воздыханій—раздичныя Revue des deux Mondes, Revue Contemporaine, Revue de Paris и газеты съ фельетонами. Пишутся они отчасти французскими Маниловыми, отчасти французскими Чичиковыми, потому что, опять нечего гръха таить, во Франціи, какъ и повсюду, есть свои Маниловы и Чичиковы, отчасти людьми илутоватыми, отчасти добродушными, но вообще людьми отсталыми. Основаніе для вздоховъ и оховъ о б'єдной европейской цивилизаціи, о погибшей Европъ-то, что они, по поверхностному простодушію, не могутъ или по разсчету не хотятъ понять строгихъ, но благихъ идей современной науки, выраженныхъ «передовыми мыслителями». Для низшихъ слоевъ публики, упивающихся переводами дюмасовскихъ романовъ, эти книжки и статейки въ огромномъ количествъ переводятся и на намецкій языкъ. Впрочемъ, и намецкіе Маниловы фабрикують подобныя книжки и статейки въ изрядномъ количествъ и качествъ, потому что Германія, довольно скудная Чичиковыми, преизобилуетъ Маниловыми. Переводятся и передёлываются онъ также и въ Англін, но въ меньшемъ количествъ, потому что англичане мало расположены къ маниловщинъ, какъ народъ сухой, а Чичиковы тамъ заняты биржевыми и фабричными продълками. Читая воздыханія людей, поневоль впадешь въ тоску объ участи европейской литературы, науки, цивилизаціп и т. д., все равно, какъ, перечитывая въ старомъ «Москвитянинъ» статьи г. М. Дмитріева, г. А. Студитскаго, г. Шевырева и т. д., мы впадали въ совершенную тоску объ участи русской науки, литературы и и т. д. Но мы извиняемся, по крайней мёрё, необходимостью пересмотрёть старый «Москвитянинъ» для дёла, которымъ теперь занимаемся; а кому какая необходимость читать произведенія Сентъ-Бева, Филарета Шаля, Сенъ-Рене-Тальяндье, Лун Ребо, Мишеля Шевалье и т. д. и т. д.? Тутъ ужь совершается чисто произвольный гръхъ. Зато и наказаніе за этоть грёхъ посылается тяжкое: оплакивать скоропостижную дряхлость и безнадежную погибель целой части свъта! Чтобы составить себъ справедливое понятіе о современномъ состояніи европейской науки и цивилизаціи, надобно, действительно, изучать его въ произведеніяхъ «передовыхъ мыслителей» Запада. И кто пойметь значение ихъ трудовъ, тому общій вопросъ о Европ'я и объ отношенін Россін къ западной Европ'я представится столь же простымъ, какъ представлялся, по мивнію автора, тридцать лёть тому назадь. А въ частности онъ будеть думать о старинной Руси точно такъ же, какъ думалъ о ней Петръ Великій, который очень близко, кажется, зналъ ее по собственному опыту. Относительно понятій о различіи основныхъ элементовъ старинной русской жизни отъ элементовъ жизни западной онъ также будеть судить очень скромно, потому что современная европейская наука хотя и не занималась спеціальною разработкою русской старины но достаточно уяснила вопросы объ исторической жизни многихъ другихъ народовъ, которые находились или находятся въ положеніи, очень похожемъ на состояніе до-петровской Руси, или им'єди на старинную нашу жизнь вліяніе. Результаты изледованій нашихъ собственныхъ ученыхъ о нашей старинъ совершенно подтверждаютъ справедливость общихъ понятій современной науки о техъ спеціальныхъ элементахъ, присутствіе которыхъ въ старинной Руси кажется автору столь важнымъ и оригинальнымъ. Кстати, невозможно сомнъваться въ томъ, что славянофилы говорять объ этихъ элементахъ безъ непосредственнаго знакомства съ объясненіями и взглядами лучшихъ спеціалистовъ нашихъ и европейскихъ. По всему очевидно, что они представляють себѣ эти элементы не въ томъ истинномъ видъ, какъ они излагаются въ спеціальныхъ сочиненіяхъ, а сообразно своимъ личнымъ понятіямъ, --понятіямъ диллетантовъ, не углублявшихся въ тяжелыя спеціальныя сочиненія, а узнавшихъ о содержаніи этихъ сочиненій изь рецензій, писанныхъ людьми отсталыми.

Кром'є главной мысли объ односторонности западной цивилизаціи и неспособности ея къ дальнъйшему развитію — мысли, нав'янной журналами въ род'є Revue des deux Mondes, есть еще другая основная мысль въ систем'є славянофиловъ—одностороннее пристрастіе къ своему. Чувство любви къ своему хорошо: но оно должно быть пов'єряемо анализомъ фактовъ. Мы долго придумывали, какъ бы объяснить это удовлетворительнымъ образомъ, но вспомнили, что очень удовлетворительно объясненъ этотъ вопросъ въ стихотвореніи г. Хомякова («Московскій Сборникъ» 1852 г. стр. 141):

«Мы родъ избранный», говорили Сіона дёти въ старину, «Намъ божьи громы осушили «Морей волиистыхъ глубину. «Для насъ Синай одёлся въ пламя, «Дрожала горъ кремнистыхъ грудь, «И дымъ и огнь, какъ Болье знамя, «Въ пустыняхъ намъ казали путь.

«Намъ камень лилъ воды потоки, «Дождили манной небеса, «Для насъ законъ, у насъ пророки, «Въ насъ Божьей силы чудеса».

Не терпить Богь дюдской гордыни; Не съ тъми онъ, кто говорить: «Мы соль земли, мы столбъ святыни, «Мы Божій мечь, мы Божій щить»!

Не съ тѣми Онъ, кто звуки слова Лепечетъ рабскимъ языкомъ И, мертвенный сосудъ живаго Душею мертвъ и спитъ умомъ.

Онъ съ тёмъ, кто гордости лукавой Въ слова смиренья не рядилъ... и т. д.

Вообще должно сказать, что славянофильство навъяно къ намъ съ Запада: нътъ ни одной существенной мысли въ немъ (ръшительно ни одной), которая не была бы заимствована изъ нъкоторыхъ второстепенныхъ французскихъ и немецкихъ писателей, преимущественно изъ писателей, недовольныхъ темъ, что ихъ различныя отсталыя понятія или наивныя ожиданія не подтверждаются наукою. Но извъстно, что многое уже ненужное въ одной странъ еще можетъ приносить нъкоторую пользу въ нъкоторыхъ другихъ странахъ. Многія понятія, сдёлавшіяся въ своемъ отечествъ уже совершенно отсталыми, нимало не основательными, въ другихъ странахъ еще могутъ получить достоинство относительной свёжести и основательности, потому что противопоставляются мыслямь, еще болье отсталымь, еще менье основательнымь, могуть иметь интересъ живости и новости, и въ этомъ качестве возбуждать дъятельность ума, направлять его къ дальнъйшимъ успъхамъ, -- однимъ словомъ, приноситъ пользу. Объяснимся примъромъ. Для Германіи уже устарели системы Канта и Шеллинга, когда, Кузенъ передълалъ ихъ для Франціи; но во Франціи онъ были еще новостью и, несмотря на то, что искажены были въ цередълкъ

принесли довольно значительную пользу. И наобороть, многія сочиненія, уже устарѣлыя для Франціи, приносили свою пользу въ Германіи, будучи переводимы или передѣлываемы на нѣмецкій языкъ. Такъ надобно смотрѣть и на наше славянофильство. Оно основано на заимствованіи мыслей, устарѣвшихъ на ихъ родинѣ; но у насъ эти мысли могутъ еще для очень многихъ имѣть новизну, возбуждать дѣятельность ума, приносить пользу. Не говоримъ уже о томъ, что онѣ живительно дѣйствують на развитіе въ нашей литературѣ дѣйствительно современныхъ мыслей, вызывая противодѣйствіе.

Но мало сказать въ оправдание славянофильства, что оно приносить относительную, или отрицательную пользу. Есть въ немъ накоторыя стороны и безусловно хорошія. Посредственные французскіе или нѣменкіе писатели, которыми они навѣяно, конечно, сами не могли бы придумать ничего особенно хорошаго; зато они мало и придумали своего: почти все у нихъ взято изъ писателей действительно хорошихъ. Правда, многія изъ книгъ, откуда они почерпали, слишкомъ заплесневъли отъ ветхости; но кое-что, и даже довольно многое (преимущественно критика всёхъ пережитыхъ современною наукою и жизнью ступеней развитія), заимствовано изъ современныхъ геніальныхъ писателей. Правда, они иногда порядочно искажають заимствуемыя геніальныя мысли, но все-таки не все живое стерли съ нихъ. Правда, эти свежія мысли вплетены въ систему, сущность которой довольно ветха; по новыя заплаты на ветхомъ платъв твмъ ярче блещутъ свежестью своихъ красокъ, — онъ безобразять самое платье, но сами по себъ еще больше выигрывають отъ его безобразія. Если бы въ посредственную повъсть какого-нибудь дюжиннаго белдетриста была вставлена глава изъ «Мертвыхъ Душъ», повъсть въ цъломъ стала бы вдвое безобразнье, но прелесть отрывка изъ «Мертвыхъ Душъ» была бы--хотя бы онъ быль даже отчасти передылань къ худшему-вдвое поразительнье въ этой повъсти, нежели въ самыхъ «Мертвыхъ Душахъ». И скажите, развѣ было бы безполезно прочитать эту повѣсть человѣку, который еще не имѣлъ (и, быть можеть долго не будеть имѣть) случая прочитать «Мертвыя Души»? И не бойтесь продолжительности его заблужденія: такъ или иначе, но онъ услышить, что отрывокь, ему понравившійся, заимствовань изъ Гоголя, и тогда никто его не удержить отъ чтенія самого Гоголя. Есть

люди требовательные, неуступчивые, которые говорять: «все или ничего, клочки и обрывки никуда не годятся»; но иногда самый требовательный человъкъ видитъ себя въ необходимости съ благоразумною уступчивостью говорить: «лучше хлъбъ съ мякиной, нежели совершенно ничего».

Это о положительномъ содержаніи славянофильства. Что же касается его стремленій, нельзя не отдать ему полной справедливости. Въ извлеченіи статьи г. И. Кирѣевскаго: «О характерѣ просвѣщенія Европы», послѣднія строки, отмѣченныя у насъ вносными знаками, выписаны нами безъ всякихъ перемѣнъ и составляютъ заключеніе въ самомъ подлинникѣ: истязуйте эти строки, какъ хотите, но вы не можете найти въ нихъ вражды къ просвѣщенію, напротивъ, онѣ внушены горячею ревностью къ просвѣщенію и къ улучшенію русской жизни. Можно и должно не соглашаться съ почтеннымъ авторомъ въ средствахъ къ достиженію, но нельзя не признаться: цѣль его—цѣль всѣхъ благомыслящихъ людей.

Можно отыскать и много другихъ хорошихъ сторонъ въ славянофильствь: но мы боимся, что уже утомили читателей слишкомь длиннымъ отступленіемъ. Потому скажемъ только, что для развитія той части русской публики, которая имъ увлекается, эти уб'яжденія гораздо болье полезны, нежели вредны, служа переходною ступенью отъ умственной дремоты, отъ индифферентизма или даже вражды противъ просвещенія къ совершенно современному взгляду на вещи, къ совершенному разрыву съ нашей старинной бездъйственностью и холодностью въ деле общемъ. /Потому-то люди, которыхъ въ насмъшку называли «западниками», и славянофилы, несмотря на жаркіе споры между собою, были сподвижники въ одномъ общемъ стремленіи, которое тёмъ и другимъ было въ сущности дороже всего остальнаго, что ихъ разделяло. Что же касается этихъ пунктовъ несогласія, мы изложили о нихъ мивніе, которое кажется намъ справедливо, и можемъ прибавить только, что довольно было бы выставить на видъ основныя мысли, напримеръ, изъ приведеннаго нами въ выноски начала статън самого г. И. Кирвевскаго «Обозрвніе современнаго состоянія словесности», —и эти его собственныя понятія обличили бы несправедливость его выводовъ относительно дряхлости западной цивилизаціи. Но къ чему это? лучше будеть окончить нашь эпизодь о славянофилахъ превосходнымъ заключеніемъ, которое далъ г. Кирѣевскій своей статьѣ о современномъ состояніи словесности:

Мы думаемъ, что всё споры о превосходстве Запада или Россіи, о досточнстве исторіи европейской или нашей и тому подобныя разсужденія принадлежать къ числу самыхъ безполезныхъ, самыхъ пустыхъ вопросовъ, какіе только можетъ придумать празднолюбіе мыслящаго человіка. И что, въ самомъ ділів, за польза намъ отвергать или порочить то, что было или есть добраго въ жизни Запада? Не есть ли она, напротивъ, выраженіе нашего же начала, если наше начало истинное? Вслідствіе его господства надъ нами (то есть господства этого истиннаго начала) все прекрасное, благородное, по необходимости намъ свое, хотя бы оно было европейское, хотя бы африканское. Голосъ истины не слабієть, но усиливается своимъ созвучіемъ со всімъ, что является истиннаго, гді бы то ни было («Москвитянинъ» 1845, № 2).

Теперь, хотя въ общихъ чертахъ опредёливъ наше понятіе о славянофилахъ, мы можемъ перейти къ характеристикъ критической деятельности г. Шевырева. Г. Шевыревъ многими быль считаемъ за славянофила, и онъ самъ отчасти подавалъ къ тому поводъ, очень часто, или, лучше сказать, постоянно въ каждой стать в своей, развивая три или четыре темы, повидимому, только въ томъ, что г. Шевыревъ выражалъ эти мичнія гораздо краснорфчивъе, и такъ какъ красноръчіе состоить въ употребленіи различныхъ фигуръ, какъ то: усугубленія, нарощенія, напряженія и тому подобныхъ, то, по необходимости, мысли эти выражались у него гораздо сильнее, нежели у г. Аксакова, г. Киревскаго или г. Хомякова. Мы сказали бы даже: выражение этихъ мыслей было у него отчасти доведено до излишней утрировки, если бы могло быть излишество въ столь пріятной вещи, какъ краснорфчіе. Изъ этихъ трехъ, четырехъ темъ самою любимою было такъ называемое на языкъ г. Шевырева «гніеніе Запада». Самые ревностные славянофилы не выражались объ этомъ предметь и въ десятую долю такъ сильно и картинно, какъ г. Шевыревъ. Приводимъ одинъ только примёръ:

"Въ нашихъ искреннихъ, дружескихъ, тъсныхъ сношенияхъ съ Западомъ, мы имъемъ дъло съ человъкомъ, носящимъ въ себъ злой, заразительный недугъ, окруженнымъ атмосферою опаснаго дыхания. Мы цалуемся съ нимъ, обнимается, дълмъ трапезу мысли, пьемъ чашу чувства—и не замъчаемъ скрытаго яда въ безпечномъ общени нашемъ, не чуемъ въ потъхъ пира будущаго

трупа, которымъ онъ уже пахнетъ. Онъ увлекъ насъ роскошью своей образованности; онъ возитъ насъ на своихъ окриленныхъ пароходахъ, катаетъ по желѣзнымъ дорогамъ, угождаетъ безъ нашего труда всѣмъ прихотямъ нашей чувственности, расточаетъ передъ нами остроуміе мысли, наслажденіе искусства. Мы рады, что попали на пиръ къ такому богатому хозяину. Мы упоены, памъ весело такъ дешево вкуситъ то, что такъ дорого стоило. Но мы не замѣчаемъ, что въ этихъ яствахъ таится сокъ, котораго не вынесетъ свѣжая природа наша; мы не предвидимъ, что пресыщенный хозяинъ, обольстивъ насъ всѣми прелестями великолѣпнаго пира, развратитъ умъ и сердце наше; что мы выйдемъ отъ него опьянѣлые не по лѣтамъ, съ тяжкимъ впечатлѣніемъ отъ оргіи, намъ непонятной. ("Москвитянинъ" 1841. № 1, стр. 247—8. "Взглядъ русскаго на образованіе Европы").

Ужасная картина! Вообразите только: «мы дёлимъ трапезу мысли и пьемъ чашу чувства съ трупомъ!» Если мы не ошибаемся, истинные славянофилы назовуть эти выраженія бол'є поэтическими, нежели точными; вероятно, прибавять даже, что отъ подобнаго взгляда на западную цивилизацію они столь же далеки, какъ и отъ безусловнаго поклоненія Западу. Впрочемъ, если мы не имфемъ прямых указаній на то, какъ думають славянофилы о мевніяхъ г. Шевырева, зато г. Шевыревъ достаточно определилъ свои понятія о славянофилахъ, — наприм'єръ, хотя бы въ следующихъ строкахъ, заимствованныхъ изъ его статьи объ «Одиссев», переведенной Жуковскимъ. Въ пояснение этого отрывка предварительно замътимъ, что понятіе о преобладаніи «міра», общины надъ отдъльною личностью въ древней Руси-одно изъ самыхъ дорогихъ убъжденій для славянофиловъ, и подчиненіе личнаго произвола въ отдёльномъ человъкъ общественной воль — едва ли не существеннъйшая черта ихъ идеала въ будущемъ. Мы не подозръваемъ себя въ пристрастін славянофильскому образу мыслей, но должны сказать, что ученіе объ отношеніи личности къ обществу — здоровая часть ихъ системы и вообще достойно всякаго уваженія по своей справедливости. Г. Шевыревъ выразился объ этомъ предметь сльдующимъ образомъ, разсуждая о циклопахъ:

Главный источникь ихъ дикости (т. е. дикости циклоповъ) — отсутствіе вёры въ боговъ. Когда Одиссей вздумаль убёждать циклопа именемъ Зевса, бога гостелюбца и заступника странниковъ, тотъ отвёчаль ему:

Видно, что ты издалека, иль вовсе безуменъ пришелецъ, Если могъ вздумать, что я побоюсь иль уважу безсмертныхъ. Намъ, циклопамъ, нётъ нужды ни въ боге Зевесе, ни въ прочихъ Вашихъ блаженныхъ богахъ; мы породой ихъ всёхъ знаменитёй. Страхъ громовержда Зевеса разгиёвать меня не принудить Васъ пощадить; поступлю я, какъ миё самому то угодно.

Такое безвъріе соединено въ циклопъ съ отсутствіемъ всякаго понятія о личности человьческой. Человькъ ему ни почемъ. Онъ считаетъ его наравнъ съ бараномъ. Такое безуміе объясняетъ намъ, почему циклопъ, правда, пьяный, новърялъ тому, что человькъ можетъ называться Никто и не имѣтъ никакого личнаго имени. Разумная хитрость Одиссея здѣсь вполнѣ торжествуетъ надъ грубою дикостью людоѣда, не признающаго личности человъческой. При этомъ кстати недъзя не вспомнить, что въкоторые мнимые мыслители наши, увлекшись нъмецкою философіею, вздумали было навязать такія циклопическія понятія объ личности человьческой народу древней Руси, иные умышленно, съ неуваженіемъ къ ея значенію, другіе же съ добродушнымъ отсутствіемъ всякаго умысла, а принося отъ чистой русской души безсознательную жертву русскою же непонятою ими народностію въ пользу германскаго любомудрія».

(Москвитянинъ 1849. № 3. Критика, стр. 109).

Послъ этого, конечно, никто не будетъ смъшивать г. Шевырева съ славянофилами; а внимательное разсмотрение статей ученаго автора приведеть каждаго къ решительному убеждению, что если г. Шевыревъ находитъ нъкоторыя отдъльныя ихъ мысли полезными, но слишкомъ недостаточно развитыми и слишкомъ слабо выраженными у самихъ славянофиловъ, и потому старается повторять эти мысли какъ можно чаще, въ самыхъ энергическихъ выраженіяхъ, сообщая имъ самое всеобъемлющее значеніе, прилагая ихъ ко всякому данному предмету, -если, говоримъ мы, онъ дълаетъ это, то дълаетъ какъ мыслитель своеобразный. Опредълить его образъ мыслей было бы очень затруднительно, потому мы и не беремся за это, предоставляя каждому читателю выводить изъ фактовъ, представляемыхъ нами на следующихъ страницахъ этой статьи, такія заключенія, какія ему покажутся естественными. Мы можемъ сказать только одно: г. Шевыревъ мыслитель своеобразный. Считаемъ также не безполезнымъ замътить, что писатели, вступавшіе въ учено-литературныя пренія съ г. Шевыревымъ, конечно, напрасно жаловались, будто онъ, въ возраженіяхъ своимъ противникамъ, переступалъ иногда границы чисто ученаго или литературнаго пренія, вовлекая въ сферу спора предметы и понятія, которыхъ у насъ ни въ какой полемикъ не должно касаться; что несправедливо утверждали также, будто бы иногда онъ увлекался даже въ нѣкоторыя опасенія противъ просвѣщенія. Несправедливость всѣхъ этихъ упрековъ до очевидности изобличается тѣмъ, что, разбирая сочиненіе князя Вяземскаго «Фонъ-Визинъ», ученый критикъ выписываетъ изъ этой книги слѣдующія благородныя и прекрасныя строки:

"Немного такихъ истинъ несомнительныхъ, немного такихъ правилъ непреложныхъ, коихъ святость должна пребыть несомнанною и тогда, когда противоречать имъ последствія частныя, случайныя и независимыя отъ воли люлей. Но, посвятивъ себя на служение одной изъ сихъ истинъ, должно пребыть ей вернымъ безъ изъятія применяя къ себе рыцарское восклицаніе французскихъ роялистовъ: Vive le Roi quand même! Польза просвъщенія есть одна изъ малаго числа сихъ исключительныхъ истинъ. Почитая его единымъ, прочнымъ основаніемъ благосостоянія общаго и частнаго, совъстью правительствъ и лицъ, простительно ли, напримёрь, пугаться малодушно нёкоторыхъ прискорбныхъ явленій, приписываемых просвіщенію, или, положимъ, и влекущихся за нимъ по неисповедимымъ законамъ Провиденія, которое отказало въ совершенстве всему, что ни есть на земль? Писатель, который, по званію своему, обязань быть проповедникомъ просвещения, а вмёсто того бываетъ доносчикомъ на него, подобенъ врачу, который, призванъ будучи къ больному, пугаетъ его невърностію своей науки и раскрываетъ передъ нимъ гибельныя ошибки врачеванія. Пусть каждый остается въ духѣ своего званія. Довольно и безъ писателей найдется людей, которые готовы остерегать отъ властолюбивыхъ посяганій разума и даже клеветать на него при удобномъ случав".

И не только выписываеть г. Шевыревь эти строки, но и положительно называеть «прекрасными». (Москвитянинъ, 1848 г. № 7, стр. 18).

Будучи извёстень, какъ одинь изъ нашихъ почетнъйщихъ критиковъ, г. Шевыревъ столько же извёстенъ, какъ поэтъ и знаменить, какъ ученый. Здёсь насъ занимаетъ исключительно его критическая дъятельность; поэтическихъ и ученыхъ его произведеній мы должны коснуться только мимоходомъ, на сколько то нужно для дополненія общаго понятія объ ученомъ критикъ.

«Теорія поэзіи въ историческомъ развитіи у древнихъ и новыхъ народовъ» до сихъ поръ остается изъ ученыхъ сочиненій г. Шевырева лучшимъ въ научномъ отношеніи. Это — полезная компиляція, въ которой своеобразная мыслительность автора еще едва проглядываетъ, по достаточно — и не во вредъ компиляціи — обнаруживается порядочная начитанность. «Исторія поэзіи у всѣхъ народовъ» началась и окончилась первымъ томомъ. «содержащимъ

(какъ сказано въ заглавін) исторію поэзін индъйцевь и евреевь, съ присовокупленіемъ двухъ вступительныхъ чтеній о характеръ образованія и поэзіи главныхъ народовъ западной Европы».—Этотъ единственный изъ многихъ предполагавшихся томовъ былъ поводомъ къ полемикъ, знаменитой въ льтописяхъ нашей журналистики. Накоторые эпизоды ея могли бы быть занимательны, но отвлекали бы насъ отъ предмета. Летъ черезъ десять после того явились первыя двѣ части «Исторія русской словесности, преимущественно древней». Это самое ученое и самое важное сочинение г. Шевырева. Хорошую сторону его составляеть то, что факты, относящіеся къ исторіи литературы, собраны довольно полно: слабая сторона-то, что они переплетены съ гипотезами и мечтами, не выдерживающими самой снисходительной критики. Это было бы еще не очень вредно для книги, если бы авторъ делаль хотя какое нибудь различіе между положительными фактами и созданіями своего поэтическаго воображенія: почему же и не пофантазировать? Но ученое достоинство сочиненія теряеть оттого, что всв эти гинотезы и фантазіи высказаны догматически, что ничемъ не отличены оне отъ достовърныхъ фактовъ: авторъ совершенно одинаковымъ тономъ говоритъ и о томъ, что Владиміръ Мономахъ написалъ поученіе своимъ дітямъ, и о томъ, что гегелева философія возникла изъ мыслей, изложенныхъ въ носланіи Никифора къ Мономаху; и о томъ, что «Слово о полку Игоревъ» проникнуто грустью о междоусобицахъ, и о темъ, что Москва возвысилась благодаря не другому кому, какъ именно Даніилу Паломнику. Какая связь между Гегелемъ и Никифоромъ, Даніиломъ Паломникомъ и Москвою, этого ужь мы не беремся объяснить: надобно было бы выписывать поддинныя слова; а у насъ и безъ того слишкомъ много выписокъ. О мелкихъ ошибкахъ въ изложении фактовъ мы не говоримъ, -- не говоримъ и о томъ, справедливо ли воззрѣніе г. Шевырсва на исторію русской литературы: невольную ошибку легко извинить; но произвольность фантазій, два примъра которыхъ мы представили, должна быть очевидна каждому, каковы бы ни были его понятія о старинной русской литературь. Ньть сомньнія, что всь эти пылкія мечты должно объяснять желаніемъ ученаго автора сообщить своему сочинению художественныя достоинства: извъстно, что въ художественномъ созданін форма, т. е. краснор'вчіе, важна не менве содержанія. Авторь очень успішно достигь этой цівли.

Его сочиненіе отличаєтся вдохновеннымъ краснорѣчіемъ; но, какъ ученымъ пособіемъ, пользоваться имъ затруднительно. «Поѣздка въ Кирилло-Бѣлозерскій монастырь» имѣетъ въ двухъ томахъ двѣ интересныя страницы: одна изъ нихъ представляетъ не лишенную цѣны для науки выписку изъ «Паисіевскаго Сборника» о языческихъ суевѣріяхъ; другая страница содержитъ знаменитое размышленіе о томъ, что «не жаденъ русскій человѣкъ, не завистливъ: летаетъ вокругъ его птица—онъ не бъетъ ее, плаваетъ рыба—онъ не ловитъ ее, а довольствуется скудною и неудобоваримою пищею», зная, что пища и питье—суета, заботясь только о неземныхъ благахъ. Все остальное въ «Поѣздкѣ» не имѣетъ особенной важности.

Переходя къ чисто-поэтическимъ созданіямъ г. Шевырева, мы не будемъ произносить сужденія о ихъ достоинствъ: достоинства эти очевидны. Немногіе изъ знаменитыхъ критиковъ писали стихи; но если кто изъ нихъ писалъ, то стихи всегда бывали такого рода, что доставляли ему славу лучшаго поэта своей эпохи. Иначе и быть не могло: критикъ долженъ быть одаренъ тонкимъ вкусомъ и плохихъ стиховъ не почтетъ достойными печати, хотя бы они были его собственные. Вспомнимъ Буало, Попе: будучи хорошими критиками, они были и лучшими поэтами своего времени. То же и у насъ-вспомнимъ Карамзина и Мерзлякова: судите, какъ хотите о ихъ поэтическомъ талантъ, плохихъ стиховъ вы у нихъ не найдете. Изъ всего этого очевидно, что стихи г. Шевырева должны также быть хороши. Это мивніе некоторымь читателямь можеть показаться довольно смёло. Но мы докажемъ его фактами. Жалвемъ, что недостатокъ мвста не позволяетъ намъ украсить этихъ страницъ гармоническими октавами ученаго поэта; ограничимся двумя другими, небольшими отрывками. По случаю начала постройки Московской желёзной дороги г. Шевыревъ написаль стихотвореніе, изъ котораго мы приводимъ только одну строфу:

"Что-то будеть?"—православный Думу думаеть народь:
"Аль Москей перводержавной Позабыть свои семьсоть? Загудівъ колоколами Золотой своей главы, Двинуть всёми сороками, Да пти на брегъ Невы?"

Этотъ энергитескій порывъ мысли къ дивнымъ картинамъ не есть въ его таланть черта временная или случайная: до послъдняго времени она сохранилась во всякой живости. Такъ, напримъръ, одно изъ стихотвореній, писанныхъ г. Шевыревымъ въ 1853 г., начинается слъдующимъ образомъ:

Пушкинъ! встань, проснись изъ гробу! Гдб твой голосъ и языкъ? Поражай враговъ и злобу, Зачинай побёдный крикъ: Но ты синшь; умолкъ Жуковскій! Міръ вашъ нёмъ, какъ стихшій громъ, Будто колоколъ кремлевскій Съ отлетёвшимъ языкомъ. Если вёстники къ вамъ гости Прилетаютъ съ нашихъ странъ, — О! твои играютъ кости, Словно радостный органъ!... и т., д.

Самые завистники поэта согласятся, что въ этихъ смѣлыхъ образахъ выразилась титаническая сила фантазіи.—Мы упоминали о стихахъ г. Шевырева собственно потому, что увѣрены въ ихъ достоинствъ: хорошій критикъ можетъ писать плохіе стихи, но не будетъ печатать ихъ,—по крайней мѣрѣ, не будетъ печатать ихъ впродолженіе тридцати лѣтъ.

Мы уже отказались отъ слишкомъ трудной задачи положительнымь образомъ опредълить мнѣнія г. Шевырева. Приступая теперь къ изложенію его критической дѣятельности, сообразно своему рѣшенію, мы не будемъ отыскивать принциповъ его критики, вовсе даже не будемъ касаться ихъ. Пусть они будутъ справедливы, — тѣмъ лучше; нусть они будутъ неудовлетворительны, — это не помѣшаетъ намъ отдать полную честь вѣрности его сужденій объ отдѣльныхъ фактахъ, тонкости и проницательности его вкуса. Вѣдь теоретическіе принципы Буало, Лагариа, Попе, Карамзина, Мерзлякова были неудовлетворительны въ научномъ отношеніи, а между тѣмъ, эти критики, благодаря своему уму и вкусу, объ отдѣльныхъ произведеніяхъ литературы судили очень здраво, хорошими называли дѣйствительно лучшихъ писателей своего времени, восхищались именно тѣмъ, что было у этихъ писателей лучшаго. Возьмемъ примѣры еще ближе: Пушкинъ не былъ отличнымъ те-

оретикомъ, а его сужденія объ отдѣльныхъ писателяхъ и произведеніяхъ литературы удивительно вѣрны и мѣтки. Гоголь былъ абсолютно илохимъ теоретикомъ, а судилъ о литературныхъ произведеніяхъ тоже съ изумительною вѣрностью и проницательностью. Иначе и быть не могло, потому что у этихъ людей не было недостатка ни въ здравомъ умѣ, ни въ эстетическомъ вкусѣ. Чтобы вѣрно дѣлать общіе выводы, или вѣрно прилагать къ фактамъ общіе принципы, нужны и особенная привычка и спеціальная способность къ тому. Но чтобы отличить г. Бенедиктова отъ Лермонтова, или Гоголя отъ Аріоста, вовсе не требуется быть мыслителемъ.

Г. Шевыревъ пріобрать извастность, какъ критикъ, задолго до основанія «Москвитянина». Не говоря ужь о «Московскомъ Візстникъ» и «Телескопъ» съ «Молвою», въ которыхъ онъ еще не играль первой роли, упомянемь только, что при основаніи «Московскаго Наблюдателя» онъ явился главнымъ лицомъ въ этомъ журналь, первая книжка котораго начиналась статьею г. Шевырева «Словесность и торговля», — статьею, которая въ свое время подала новодъ ко многимъ насмъщкамъ, потому мы оставимъ ее въ поков; заметимъ только, что Гоголь (въ статье о движеніи журнальной литературы) справедливо удивляется тому, какъ автору удалось, заговоривъ объ отношеніяхъ (денежныя отношенія литераторовъ), представляющихъ столь много сторонъ, достойныхъ порицанія, выбрать для своихъ нападеній какъ будто нарочно единственную хорошую сторону этихъ отношеній (именно то, что литературный трудъ началь у насъ въ Россіи хотя нъсколько вознаграждаться, какъ и всякій другой трудь, въ томъчисль и ученый). Не будемъ припоминать и другихъ его статей въ «Московскомъ Наблюдатель», даже знаменитаго въ свое время разбора стихотвореній г. Бенедиктова, въ которомъ было доказано, что г. Бенедиктовъ есть «поэтъ мысли», и съ нимъ въ первый разъ является въ русской литературъ мысль, — оставимъ все это въ покоъ: въ то время г. Шевыревъ только еще начиналъ развивать своеобразность своихъ понятій, и участіе въ «Московскомъ Наблюдатель» еще не было блестящею эпохою его даятельности. Мы хотимъ ограничиться изученіемъ его критики во времена поливійшаго ея развитія: прочную известность г. Шевыревь, какъ критикъ, пріобрель только уже тогда, когда «Москвитянинъ» сдвлался его органомъ. Займемся же изученіемъ этихъ статей.

Общій взглядь свой на всю русскую словесность г. Шевыревь выразиль, или об'вщаль выразить, въ статьяхъ, подъ заглавіемъ: «Взглядь на современное направленіе русской литературы». Изъ нихъ первая, «Темная сторона», явилась въ первой книжкѣ «Москвитянина» за 1842 годъ. Она очень замѣчательна, и мы должны дать подробный отчетъ въ ея содержаніи.

Статья начинается размышленіемъ объ огромности пространства, занимаемаго Россією, и о томъ, что все въ ней имѣетъ громадные размѣры. — Въ разсужденіи объ этомъ авторъ доходитъ до поэтическаго предположенія, которое въ свое время поразило ужасомъ объдныхъ итальянцевъ:

"Разгульно текутъ многоводныя наши ръки; невольно подумаещь что если бы: Волгу, Днепръ да Уралъ скатить въ три потока съ Альповъ на Италію, куда бы делись отъ нихъ итальянцы? развъ спаслись бы на высотахъ аппенинскихъ".

И не только итальянцы, даже русскіе были смущены этимъ ужаснымъ и новымъ предположениемъ, этимъ неслыханнымъ бъдствиемъ, угрожающимъ цёлой странв. До 1842 года только однажды было высказано столь роковое опасеніе *). Но, не останавливаясь на участи итальянцевъ, авторъ удивляется особенно тому, что въ Россіи двѣ столицы **), и подробно описываеть одну изънихъ, Петербургъ. О върности этого описанія можно судить изътого, что авторъ хвалить чистоту здёшнихъ каналовъ. «Каналы, какь чистыя реки, голубыми лентами переплели городъ». Эта черта замъчена была до 1842 года опять только однимъ Гоголемъ, въ описании Невскаго проспекта. Рано поутру, говорить Гоголь, на Невскомъ видны только рабочіе люди, наприміть, «русскіе мужики, спінащіе на работу, въ «сапогахъ, запачканныхъ известью, которыхъ и Екатерининскій «каналь, извъстный своею чистотою, не въ состояніи быль бы об-«мыть». Послѣ того авторъ совѣтуеть читателю «посмотрѣть на чудо-городъ» — то есть Иетербургъ — съ вершины Александровской

^{*) &}quot;Меня чрезвычайно огорчило событіє, имінощее быть завтра. Завтра въ семь часовъ совершится странное явленіє: земля сядеть на луну. Объ этомъ и знаменитый англійскій химикъ Велингтонъ пишетъ. Признаюсь, я ощутиль сердечное безнокойство, когда вообразиль себів необыкновенную пінковать и непрочность луны...." (Соч. Гоголя, ч. 3, стр. 348).

^{**)} Но вёдь въ Яповіи тоже двё: Іеддо и Міако; въ Великобританіи съ Ирландією даже три: Лондонъ, Эдинбургъ, Дублиць,

колонны, в фроятно, предполагая, что внутри ея существуетъ витая лъстница, какъ въ траяновой колоннъ — смъщение неудивительное потому что г. Шевыревъ очень хорошо знаетъ Италію. Когда вы взберетесь на вершину Александровской колонны и посмотрите внизъ, то, отгадайте, что представится вашимъ глазамъ? Втроятно, величественныя зданія, окружающія площадь, гдв поставлена колонна? Н'втъ! «необыкновенная, безобразная куча, въ родъ мура-«вынной», въ которой «безъименныя насткомыя работають надъ «ничтожною кучею безполезнаго сора». Эта куча — петербургская журнальная литература, «Какъ могла появиться эта безобразная куча на томъ мъстъ, гдъ недавно работалъ плотникъ и зодчій исторін государства россійскаго, то есть Карамзинь? Въ отвять на это излагается вся исторія нашей литературы, и результать обзора-важная истина, что труды Ломоносова, Карамзина и Пушкина пробудили у насъ охоту къ чтенію, и петербургскіе журналы удовлетворяють этой пробужденной потребности. Повидимому, тутъ нътъ ничего ужаснаго. Но авторъ приходитъ въ негодованіе, которое изливается следующею аллегоріею.

"Весело стоитъ на полъ и тяжелымъ колосомъ гнется книзу поспълая нива: честные земледъльцы положили въ нее трудъ свой; благосклонное небо ее поливало и гръло; осталось одно легкое, послъднее дъло—снять и потребить ео. Но вотъ—смотрите—что это тамъ за съран туча на небосклонъ? Какъ будто изъ мелкихъ точекъ вся соткана и летитъ быстро, жадно на чужой плодъ. Это саранча—настоящій потребитель приготовленной жатвы. Нагло предоставляєть она себъ послъднее, легкое дъло, бросается на ниву и встъ ее".

По прямому смыслу аллегоріи должно бы казаться, что саранчею, потребляющею жатву, г. Шевыревъ называетъ читателей; но опъ объясняеть самъ, что хочетъ разумѣть не читателей, а тогдашнихъ (1842) журналистовъ. Въ такомъ случаѣ, аллегорія составлена неправильно. Читатели извинятъ насъ, если мы подвергнемъ «мертвящему анализу разсудочной науки» поэтически-живую филиппику ученаго и почтеннаго автора по правиламъ, предписываемымъ для аллегорій теоріями краснорѣчія и піитики. Ученость необходимо разбирать ученымъ образомъ. Итакъ, первое правило аллегоріи, по ученію пінтикъ: каждый избранный символь долженъ сохранять одно и то же значеніе во все продолженіе аллегоріи. Примѣнимъ это правило къ филиппикѣ ученаго автора. Въ началѣ

приведенной нами тирады «спёлая жатва» означаеть плоды наукъ, просвещение; «пожать эту жатву», значить посредствомъ чтенія сдълаться просвъщеннымь человъкомъ; люди, для которыхъ она эрветь — читатели; сообразно тому — «саранча пожрала жатву», должно значить «неразборчивые читатели или злонамъренные читатели поглотили, съ жадностью прочли все»; но г. Шевыревъ хочетъ выразить этою фразою: «нынъшніе (1842) журналисты пользуются тёмъ, что приготовили Карамзинъ и Пушкинъ, и портятъ вкусъ публики» — воля ваша, аллегорія составлена неправильно. Понять ее въ смыслѣ ученаго автора, значить погрѣшить противъ реторики. Но согласимся понимать ее, какъ то угодно г. Шевыреву. Что же следуеть изъ нея и въ этомъ случав? Въ чемъ обвиняль г. Шевыревъ петербургскихъ журналистовъ? По смыслу его собственной ржчи, въ томъ что въ 1842 году въ нетербургскихъ журналахъ не помъщали своихъ статей ни Ломоносовъ, ни Карамзинъ, ни Пушкинъ, но что же делать, если эти великіе писатели не дожили до 1842 года? Ни журналисты, ни г. Шевыревъ не виноваты въ этомъ. Второе правило аллегорій—выбирать символы, дъйствительно соотвътствующие по своему значению тъмъ понятіямъ, о которыхъ должны напоминать. Если литература, просвіщеніе — жатва, то саранча, истребляющая жатву, никакъ не можетъ обозначать какихъ бы то ни было читателей или литераторовъ, хотя бы самыхъ плохихъ: саранча въ этомъ случав можетъ означать только враговъ литературы и просвъщенія, обскурантовъ. Воля ваша, а аллегорія составлена не по правиламъ пінтики и реторики. Впрочемъ, это не мѣшаетъ намъ восхищаться ея высоколирическимъ пареніемъ.

Кстати, замѣтимъ, что правила, предписываемыя реторикой для аллегорій, никогда не соблюдаются ученымъ авторомъ. Такъ, напримѣръ, въ другой своей капитальной статьѣ о положеніи нашей словесности: «Очерки современной русской литературы» («Москвитянинъ», 1848 г. № 1), онъ даетъ слѣдующій — конечно, прекрасный—совѣтъ нашимъ (тогдашнимъ) молодымъ беллетристамъ, особенно гг. Гончарову, Григоровичу и Тургеневу.

"Наши писатели должны бы были поминть миеъ объ Антев. Когда онъ боролся съ Геркулесомъ, то земля придавала ему силы, лишь только онъ касался ея. Чтобы обезсилить его, Геркулесъ долженъ быль отвлечь его отъ

земли и задушить на воздухі. Таковъ и поэтъ и писатель вообще. Большая же часть нашихъ писателей современныхъ, развивающихъ свою личность въ какой-то отвлеченной сферь, чуждой основнымъ началамъ народной жизни, похожи на Антея, но въ ту самую минуту, когда онъ поднятъ былъ Геркулесомъ ногами на воздухъ и тамъ въ отвлеченной пустотъ дрягалъ ими, отчаявшись въ возможности коснуться родной земли, которая даетъ силу" (стр. 42).

Совътъ прекрасенъ; но аллегорическая одежда для него сшита не по правиламъ. Припомнимъ, что символы должны соотвътствовать предметамъ, символами которыхъ служатъ. Въдь Антей былъ гиганть; а г. Шевыревъ, во все продолжение своей статьи, доказываеть, что вышеноименованные молодые писатели, которымь онъ даеть совыть, очень мелкій народь, какь же послы этого начинать аллегорію объ Антев? И притомъ, каждый символь долженъ въ аллегоріи имъть опредъленное значеніе. Спрашивается теперь, кто же этотъ Геркулесъ, который отрываеть Антея (то есть ничтожныхъ писателей, каковы гг. Гончаровъ, Григоровичъ, Тургеневъ) отъ матери-земли? Рашительно, не придумаемъ; кажется, никто никогда не думалъ совътовать имъ писать повъсти не изъ русскаго быта. И хотя на одной страниць какой бы то ни было своей повъсти отрывался ли хотя одинь изъ нихъ отъ изображеній роднаго быта? Какимъ же образомъ и когда они «дрягали ногами въ отвлеченной пустотъ?» Воля ваша, ничего нельзя понять. А не оттого непонятно, чтобы сов'єть быль нехорошь: н'єть! просто оттого, что выраженъ онъ неудачно; да развъ еще оттого, что нимало не прилагается къ данному случаю: въдь согласитесь, что гг. Гончарову, Григоровичу и Тургеневу совершенно излишне читать назиданія о томъ, чтобы они вёрно изображали русскій быть: другаго ничего никогда и не делали они. Насъ очень занимають вопросы о реторическихъ красотахъ ученаго автора потому, что краснорьчие есть существенныйшее достоинство его ученыхъ и критическихъ произведеній. Но возвратимся къ стать о темной сторонъ русской литературы.

Послѣ притчи о жатвѣ и саранчѣ, г. Шевыревъ довольно подробными чертами и самыми темными красками рисуетъ портреты петербургскихъ журналистовъ и рецензентовъ, людей, возбуждающихъ его неудовольствіе,—въ этихъ картинахъ опять восхитителенъ піптическій колоритъ; но опять насъ приводитъ въ недоумѣніе невыдержанность характеровъ; смѣшеніе нѣсколькихъ физіономій въ одинъ портретъ, раздробленіе одного лица на нізсколько портретовъ, такъ что въ цъломъ галлерея портретовъ представляетъ страшный и смутный хаосъ. Стралы, направленныя противъ одного, напримёръ, противъ «Русскаго Вестника», летятъ въ другаго, кажутся направленными, напримёръ противъ «Библіотеки», «Сына Отечества» или «Эконома» и не попадають ни въ кого. Видно, что авторъ руководился болье навосомъ, нежели наблюдательностью. Исключение остается за однимъ портретомъ, который обработанъ съ особенною подробностью: это «рыцарь безъ имени, на щить котораго громадными кривыми буквами написано «убъжdenie». Туть уже неть смешенія: всё собранныя авторомь черты должны, по искоторымъ вибшинимъ признакамъ, относиться къ одному человъку, писавшему въ «Отечественных» Запискахъ». Нельзя претендовать на чрезвычайную жесткость выраженій въ этомъ очеркъ: если въ полемикъ сохраняется прямота, она всегда жестка, и, во всякомъ случав, прямота лучше косвенныхъ намековъ; дурно только то, когда жесткость формы сопровождается разными намеками. Но странно то, какъ неудачно выбранъ г. Шевыревымъ пунктъ нападеній. Вообразите, какой существенный порокъ изобличаеть онъ въ «рыцарѣ безъ имени?»--перемѣнчивость и отсутствіе убѣжденій-Это рёшительно невёроятно, этого никакъ невозможно было бы ожидать. Но вотъ слова ученаго автора:

"Всякое странное мифніе, всякая недфпость, сказанная рфшительно и громко, прикрываются всегда щитомъ и яркимъ его девизомъ, который бросается въ глаза, особенно неопытной молодежи, легко увлекающейся благороднымъ значеніемъ самаго слова. Но если бы это убъжденіе было постоянно и върно, —будь оно убъжденіемъ хотя младенца или соннаго человъка, —еще можно было бы его уважить. А когда видишь, что оно такъ часто мфияется и падаетъ иногда на предметы, совершенно того недостойные, что рыцарь сегодня скажетъ одно, а завтра другое, и всъ противоръчія прикрываетъ однимъ и тъмъ же щитомъ своимъ, то подъ конецъ еще болье отвращаешься отъ такой маски, на которую употреблено чувство совъсти, чувство внутреннее и священное".

Rem acu tetigisti, какъ разъ попали вы въ цѣль! Только этою ученою фразою и можно выразить удивленіе, возбуждаемое столь удачнымъ выборомъ слабой сторопы въ противникъ. Обвинять его за измѣнчивость и отсутствіе убѣжденій то же самое, что обвинять Пушкина за недостатокъ поэтическаго элемента въ его сти-

хахъ или г. Шевырева за недостатокъ ученыхъ цитатъ въ его ученыхъ статьяхъ. «Но», восклицаетъ съ негодованіемъ г. Шевыревъ, «мимо этихъ дрязгъ, отъ которыхъ отвращаемъ глаза съ чувствомъ стѣсненнымъ!» Взглянемъ на свѣтлую сторону русской литературы, противоположную характеру петербургской журналистики. Тутъ опять овладѣваетъ наеосъ:

«Но что же сталось съ тъми писателями, которые не могутъ сочувствовать направленію современному? Гдѣ они? гдѣ наши таланты? Ужели ими оскудѣла Россія? О, нѣтъ! они есть! Но, смотрите, они тамъ, укрылись въ тѣни. Чувствуя свое истинное призваніе и питая уваженіе къ дѣлу литературы, они отошли въ сторону отъ торжища, по невольному движенію благороднаго стыда и приличія. Не сознавая въ себѣ достаточныхъ силъ, чтобы противодѣйствовать толиѣ, которая кричитъ зажмуря глаза, зная, что наглость дѣятельна, они не выходятъ на сцену. Видъ прежняго ихъ поприща, занятаго теперь рынкомъ, наводитъ даже какое-то оцѣпенѣніе на ихъ производительность, которая прежде была живѣе. Словно боятся они имени литератора, опасаются, чтобы не смѣшали ихъ съ тѣми, которыхъ не презирать они не могутъ. Взгляните на ихъ почти онѣмѣлыя группы!...

«Между тімъ, капиталы русскаго ума, воображенія, сокровища мыслей знаній языка, находятся въ рукахъ талантовъ по большей части бездійственныхъ. Довольствуясь мирными бесідами пріятельскими, расточая въ нихъ по мелочи игру живыхъ способностей, боліве и боліве отвыкая отъ труда и частыми отказами отъучая отъ себя вдохновеніе, они почти не пускаютъ капитала своихъ дарованій въ обороть всенародный.

«Грустно, грустно дойти до такого заключенія»...

Въ самомъ деле, какъ грустно!

- «Гив наши таланты?

- «Смотрите, они тамь (гди же это «тамь?»), укрылись въ тви!»

Прискороный разговоръ! Но если бы фразы г. Шевырева были справедливы, не слишкомъ выгодное заключеніе надобно бы вывести о силѣ дарованій въ ихъ талантливыхъ людяхъ, «которые не чувствуютъ въ себѣ достотачно силъ», чтобы «выйти на сцену прежняго своего поприща», и въ «безсиліи стоятъ (гдѣ-то «талъ») въ тѣни опѣпенѣлыми, ночти онѣмѣлыми группами». Г. Шевыревъ неостороженъ въ выборѣ выраженій: онъ болѣе заботится о ихъ силѣ или картинности, нежели о томъ, къ какимъ заключеніямъ подаютъ они поводъ. Но дѣло въ томъ, что изъ его словъ не надобно выводить никакихъ заключеній: цѣль всѣхъ этихъ картинныхъ изображеній—въ нихъ самихъ; они—прекрасныя поэтическія украшенія рѣчи, пмѣющія своимъ назначеніемъ не выраженіе фак-

товъ дёйствительности, а осуществление идеальныхъ воззрений творческой фантазін поэта. Въ самомъ діль, ужели около 1841—1842 годовъ тв писатели, которыхъ г. Шевыревъ, подобно другимъ журналистамъ, признавалъ лучшими нашими талантами, стояли «вдали отъ торжища литературы онвивлыми группами?» Вовсе нътъ: Жуковскій трудился надъ переводомъ «Одиссеи», переводилъ «Рустема и Зораба», Гоголь печаталъ «Римъ», приготовлялъ къ изданію первый томъ «Мертвыхъ Душъ» и четыре части своихъ сочиненій, — все это было изв'єстно г. Шевыреву; г. Вельтманъ быстро издаваль одинъ романь за другимъ; Загоскинъ тоже, и въ той самой книжке «Москвитянина», где выражена эта жалоба, помъщенъ отрывокъ изъ его «Мирошева»; г. Хомяковъ писалъ новыхъ стихотвореній, правда, немного, но не менте, нежели когда нибудь: Г-жа Павлова писала болье, нежели когда нибудь; г-жа Ростоичина тоже; казакъ Луганскій тоже. А ихъ г. Шевыревъ признаваль во второй своей стать хорошими писателями. О петербургскихъ молодыхъ писателяхъ, которыхъ не признавалъ г. Шевыревъ, мы не говоримъ. Неутомимо писали и г. М. Дмитріевъ и дъвица Зражевская, въ которыхъ ученый критикъ спеціально признаваль таланть. Вся патетическая тирада, которою заключается нервая его статья; скорбе принадлежить области поэзін, нежели прозы.

Однимъ словомъ сожалѣніе о томъ, что въ 1841—1842 годахъ наши лучшіе таланты ничего не писали, и скорбь о печальномъ положеніи нашей литературы не могуть быть, по своей основательности, сравнены ни съ чѣмъ инымъ, какъ съ слѣдующею элегіею г. М. Дмитріева о грустномъ положеніи русскихъ дѣвицъ въ томъ же 1842 году. Кстати, эта элегія съ эпиграфомъ изъ Кольриджа:

O, my brethrem! I have told Most bitter, truth, but without bitterness *).

напечатана тотчасъ вслъдъ за статьею г. Шевырева, какъ бы составляя продолжение ея. Потому считаемъ необходимостью выписать первые куплеты:

^{*)} О, братья мон! горьчайшую правду, по безъ горечи сказана я.

жаль мнъ васъ.

Жаль мий васъ младыя дёвы, Что родились вы въ нашъ вёкъ, Какъ молчатъ любви напёвы И туманенъ человёкъ!

Ваши матери весною Дней безоблачныхъ своихъ Для любви цвёли красою И для пёсенъ золотыхъ.

Вы цвітете безъ привіта; Въ вашихъ пляскахъ—скуки слідь; На любовь вамъ ніть отвіта, На красу вамъ пісень ніть! и т. д.

Вотъ удивительное было время! Вообразите себъ: въ 1842 году по Р. Х. молодые люди не влюблялись въ дъвицъ, даже не писали имъ сладенькихъ стиховъ («на красу вамъ пѣсенъ нѣтъ»), даже не говорили имъ комилиментовъ («вы цвѣтете безъ привѣта»); а дѣвицы съ своей стороны не пѣли романсовъ («молчатъ любви напѣвы») и скучали танцами, не любили танцовать («въ вашихъ пляскахъ скуки слъдъ»). Странное было время въ 1842 году, по словамъ г. Шевырева и М. Дмитріева.

Начало второй статьи г. Шевырева («Свытлая сторона». «Моск.», 1842 г. № 2) патетичностью тона соотвытствуеть окончанию первой

"Прочь, прочь, неспосная плъсень, которая подъ обманчивою личиною весенией зелени скрывала отъ насъ ясный потокъ современной русской литературы! Прочь, прочь ея тяжкій наплывъ! Сметемъ, счистимъ его въ нашемъ воображеніи! Удалимъ прежнее непріятное внечатлъніе и, освъжившись очами, взглянемъ теперь на свътлую, желанную сторону нашего предмета".

Свътлую, желанную сторону предмета ученый авторъ предполагалъ обозръть съ нъсколькихъ различныхъ точекъ зрънія и описать, сообразно тому, въ нъсколькихъ статьяхъ: въ первой онъ котълъ «изобразить современное состояніе русскаго языка и слова»; во второй—«дъятельность нашихъ стихотворцевъ», въ третьей—«картину нашихъ прозаиковъ», въ четвертой—«вліяніе иностранныхъ литературъ на нашу отечественную», въ пятой наконецъ—«общую картину образованія русскаго, развитія науки въ

нашемъ отечествъ и въ особенности познанія Россіи».-- Исполненіе этой «трудной задачи, которую онь задаваль себь», казалось ему «необходимымъ и полезнымъ» дъломъ, казалось даже «нравственнымъ подвигомъ». Однако же, это «необходимое дело» не было совершено, этотъ «нравственный подвигь» не быль исполненъ,потому ли, что охота совершать нравственные подвиги можетъ охлаждаться, или нотому, что иногда, норазмысливъ, нерестаешь считать полезнымь то, что показалось на первый взглядь необходимымъ. Почему бы то ни было, но изъ объщанныхъ многочисленныхъ «картинъ» была напечатана ученымъ авторомъ только одна, изображающая состояніе языка и слога; ни «діятельность нашихъ стихотворцевъ», ни «картина» нашихъ прозаиковъ», ни всв дальнъйшіе интересные предметы не были обсуждены ученымъ авторомъ. Какая причина лишила русскую литературу этихъ интересныхъ разсужденій, неизв'єстно намъ, въ чемъ мы ужь и признались; можно поручиться только за одно: виною остановки не было сомнение почтеннаго автора въ собственныхъ силахъ, -- этого сомненія никогда не обнаруживаль г. Шевыревь. Впрочемь, вообще мы должны замётить, что ученыя занятія, какъ уведомляеть во многихъ мъстахъ «Москвитянина» самъ почтенный авторъ, часто отрывали его отъ журнальной работы. Этому скорте всего надобно приписать то, что вообще онъ не сделаль для «Москвитянина» многаго изъ того, что первоначально предполагалъ сделать. Напримъръ, въ одномъ 2 нумеръ «Москвитянина» за первый годъ изданія (1841) мы находимъ два подобныя предположенія. Въ своей стать в «Вивсто введенія», служащей предисловіемь къ его критикв, г. Шевыревъ объщалъ «предлагать читателямъ теоретическія статьи по эстетикъ». Исполнениемъ этого намърения можно считать только небольшое разсуждение, «О смёшномь», явившееся черезъ двёналиать лъть (въ 1853 г.). На страницъ 538-й той же 2-й книжки онъ говорить, что «далъ объщаніе г. издателю «Москвитянина» заниматься въ его журналь разборомъ замьчательныхъ произведеній литературы отечественной и иностранной» -- ни одного разбора замечательных твореній «иностранной литературы» ученый авторъ, кажется, не помъстиль въ «Москвитянинъ».- Отчасти уже и теперь могуть судить читатели, незнакомые съ старымъ «Москвитяниномъ», а еще точнее увидять изъ всего продолженія нашей характеристики, до какой степени оправдалось исполнениемъ предположеніе ученаго критика, выраженное въ слідующихъ строкахъ его «Вмісто введенія»:

"Мы вывнимъ себв въ особенную обязанность подмъчать движение общественной жизни въ нашей словесности, мы употребимъ всв усилія, необходимыя для разрышения вопроса жизненнаго: въ какой степени словесность наша отражаеть жизнь нашего общества? Что береть она у жизни и что отдаеть ей? какими вопросами съ нею связана?—Разрышение всего этого можеть привести насъ къ нѣкоторому сознанію настоящей минуты нашего отечественнаго быта, можеть указать намъ на наши недостатки и достоинства, можеть опредышть наше положение въ настоящемъ и надежду на будущее". (Стр. 509).

Въ свое время петербургские журналы чрезвычайно огорчались тъмъ, что судьба не даетъ осуществиться въ надлежащемъ размъръ ни одному изъ интересныхъ объщаній автора, и каждый изъ его трактатовъ, объщавшихъ разъяснить очень важные и, по мнънію г. Шевырева, худо понимаемые другими журналами вопросы, всегда останавливается на введеніи, которое содержитъ только нъкоторыя обличенія петербургскимъ журналамъ на нъсколько замъчаній о слогь, каррарскомъ мраморъ и галлерет Доріа, съ которыми мы скоро встрътимся. Мы упоминаемъ объ этомъ потому, что раздъляемъ огорченіе тогдашнихъ петербургскихъ журналовъ; но «горемъ дълу не поможешь», и мы должны тъмъ внимательные изучать ехогдішты которые одни дано намъ читать. Возвратимся же къ продолженію неоконченныхъ статей ученаго автора.

Вмѣсто любонытной характеристики русской литературы по ея духу и художественнымъ достоинствамъ, господинъ Шевыревъ далъ своимъ читателямъ только трактатъ изъ реторики — «О языкѣ и слогѣ». Впрочемъ, разсуждая объ этомъ предметѣ, повидимому, исчерпанномъ и потерявшемъ интересъ послѣ трактата почтеннаго Шишкова «О старомъ и новомъ слогѣ», ученый авторъ высказалъ столько поразительно вѣрныхъ сужденій, что, при самомъ высокомъ понятіи объ оригинальности воображенія и взглядовъ глубокомысленнаго критика, трудно рѣшить, могли ли бы его статьи о содержаніи и художественной формѣ въ нашей литературѣ быть интереснѣе его статьи о языкѣ и слогѣ. Перечисляя писателей, которые отличаются хорошимъ слогомъ, авторъ сначала хвалитъ Карамзина, Жуковскаго, князя Вяземскаго, Пушкина, Лермонтова и нѣкоторыхъ другихъ. Тутъ нѣтъ еще ничего особеннаго; должно только сказать, что онъ ноступилъ справедливо, начавъ свой перечень ихъ

именами; но въ продолжени списка лучшихъ литераторовъ встръчаются сужденія болье интересныя. Такъ, напримъръ, о г. Ө. Глинкъ ученый авторъ говоритъ, что «слогъ его осыпается яркими искрами». и желаеть, чтобы онъ больше писаль «своимъ пылкимъ перомъ»; слогъ г. Греча прежде былъ очень хорошъ, но «испортился» отъ подражанія слогу барона Брамбеуса. Къ числу замічательнійшихъ явленій нашей литературы, вм'яст'я съ господиномъ О. Глинкою, принадлежатъ госножа Шишкина и дъвица Зражевская: первая «придала особенную прелесть вкуса простонародному слогу, какой онъ не имълъ до нея», а «ръзвое перо г-жи Зражевской отличается непринужденной разговорчивостью». Къ замъчательнъйшимъ писателямъ принадлежатъ, между прочимъ, гг. Масальскій и Каменскій: слогъ нерваго «отличается какою-то благородною чистотою», а въ последнемъ главная черта-«пылкая живость». — Это все наши лучшіе писатели; ихъ произведенія составляють светлую сторону нашей литературы. Напротивъ того, Полевой, баронъ Брамбеусъ п г. Кукольникъ очень плохо владыють русскимъ языкомъ они подвергаются подробнымъ выговорамъ за то, что не умъютъ писать такъ хорошо, какъ г-жа Шишкина и двища Зражевская, какъ гг. Масальскій и Каменскій. Но всё эти частности незначительны въ сравнении съ главною, общею мыслью всей статьи: г. Шевыревъ доказываетъ, что всъ хорошіе прозанки по 1842 годъ включительно писали «слогомъ Карамзина»; даже Пушкинъ, Лермонтовъ и Гоголь не сообщили своей прозаической рѣчи оригинальнаго характера: всё они писали «слогомъ Карамзина». Ученый авторъ, въроятно, не признавалъ справедливымъ, что у каждаго хорошаго писателя бываеть свой собственный слогь, или, быть можеть, это какая нибудь аллегорія.

Оть этихъ своеобразныхъ взглядовъ на темную и свътлую стороны нашей литературы перейдемъ къ другой капитальной статъй о русской литературъ вообще, именно къ «Очеркамъ современной русской словесности», помъщеннымъ въ І книжкъ «Москвитянина» за 1848 годъ. Существенное содержаніе этихъ «очерковъ» — объясненіе того, что всъ молодые (т. е. бывшіе тогда молодыми) беллетристы, которыхъ петербургскіе журналы, въ особенности «Отеч. Записки» и «Современникъ», называютъ талантливыми людьми, пишутъ очень плохо. Положимъ на минуту, что это митніе справедливо: въдь мы уже сказали, что не будемъ спорить съ г. Шевы-

ревымъ относительно того, что худо, что хорошо, а будемъ только изучать своеобразный способъ развитія его возгріній и оригинальную методу его доказывать справедливость своихъ понятій. Положимъ, что всъ эти беллетристы писали дурно; но какимъ же способомъ доказываетъ это ученый авторъ? Слёдующимъ: всё лучшіе нетербургские молодые беллетристы составляють одну школу, которая тогда была называема натуральною; глава этой школы-г. Никитенко. Докажемъ же, что г. Никитенко ошибается въ своихъ теоріяхь, — и діло будеть рішено. Вслідствіе этого, большая половина «очерковъ» посвящена изобличенію ошибочной теоріи г. Никитенко. Что сказать объ этомъ умозаключения? Никому не запрещается искать ошибокъ у г. Никитенко, какъ и у всякаго другаго нисателя; но какое дело г. Никитенко до всей петербургской беллетристики? Когда онъ объявляль себя или какой поводъ подаваль онъ считать себя ея представителемь? Вѣдь каждому извѣстно что г. Никитенко всегда стояль вив всякихъ партій и школь, въ журнальныя пренія не пускался и никогда не имълъ мысли образовать вокругъ себя какую бы то ни было школу. Съ другой стороны, какое дьло беллетристамъ натуральной школы до справедливости или несправедливости теорій г. Никитенко? Развѣ они объявляли себя, или кто нибудь считалъ ихъ учениками г. Никитенко? Въдь каждому, кто имълъ въ рукахъ хотя одну книжку «Отеч. Зан.» или «Современника», было въ то время извъстно, что теорія г. Никитенко и натуральная школа-предметы, нимало другь отъ друга независимые. Какимъ же образомъ можно было вообразить, что, опровергая теорію г. Никитенко, можно поразить натуральную школу, а для пораженія натуральной школы необходимо нападать на теорію г. Никитенко? «Да, много такого пишется на земль, другъ Горадіо, чего не понять мудрецамь», невольно скажещь примвняя къ этому непостижимому случаю слова Гамлета. Но вотъ, за длинными опроверженіями теоріи г. Никитенко, следують въ самомъ концъ статьи, краткіе выговоры, уже прямо обращенные къ натуральной школь: она уничтожена критикою теоріи г. Никитенко, следовательно много толковать съ нею не для чего. Дело рвшено: искусство въ Россіи погибаеть оть теоріи г. Никитенко. Остается только указать признаки упадка. Признаки эти, отысканные преимущественно у г. Григоровича и г. Тургенева, слъдующіе:

"Укажемъ на признаки этого паденія искусства въ школь, которая всёхъ дъятельнье участвуеть въ современной словесности. Первый признакъ отсутствіе художественной совъсти въ большей части ея произведеній. Ръдко замътите вы свободу личнаго чувства, которое совершенно увлекалось бы искусствомъ и служило бы ему по призванію. Ръдко коснется васъ творчество вдохновенія, ръдко повъеть свежестью дара; все большею частью сочиненія дъланныя, прошедшія иногда черезъ скуку усилій, которая отзывается даже и въ лучшихъ произведеніяхъ школы.

"Второй признакь—эфемерность рождающихся талантовъ. Прежде у насъ быль моръ и дарованія. Какой-то тапиственный рокъ ихъ преслідоваль,— в мы оплакивали преждевременную ихъ кончину. Теперь таланты умирають заживо. Первая пов'єсть пробудить въ васъ надежду, вторая ослабить ее, третья

приведеть въ отчаяние, а четвертой вы уже и не читаете.

"Третій признакъ—какое-то совершенное отрицаніе коренныхъ началь народной жизни, той основной сущности, той живой истины, которая глубоко лежить въ народь... Всего болье нападають па низшіе слои народа и клевещуть на его дьйствительность въ дурную сторону. Народь нашъ, главными свойствами своего большинства, конечно, не заслужиль такихъ навътовъ со стороны литературы отечественной... Какую же цьль имбеть наша литература, возбуждая въ образованномъ обществъ почти отвращеніе къ народу своими литературными доносами? Иные, читая все это, пожалуй, подумають, что народь нашъ едва ли достоинъ какого нибудь улучшенія своей участи. Мы ръпительно не понимаемъ здъсь цьли нашихъ писателей".

("Москвитянинъ" 1848, № 1, стр. 49).

Мы опять говоримъ: насъ занимаетъ не то, хвалить или осуждаеть г. Шевыревъ, а то, какъ и за что хвалить или осуждаеть онъ. Почему не искать недостатковъ и у лучшихъ тогдашнихъ (и нын вшнихъ) беллетристовъ? Но странно находить, что у нихъ недостаетъ именно того, чемъ они особенно богаты. Какъ понять первый признакъ упадка, мы не придумаемъ: кто заставлялъ или что заставляло г. Григоровича и г. Тургенева насиловать дарованіе? Ужели теорія г. Никитенко? По ходу річи, должно быть или онъ, или, скоръе, тотъ загадочный Геркулесъ, который, какъ мы выше видели, подымалъ ихъ въ отвлеченную пустоту, где они дрягали ногами? Должно быть, онъ, потому что онъ выведенъ на сцену именно въ этой статъв. Но кто онъ? Этого не разрвшили бы ни Конфуцій, ни Лао-дзы. Какъ блистательно оправдывается второй признакъ — эфемерность талантовъ, мы постоянно видимъ, было очень хорошо видно и въ то время. Дъйствительно, г. Григоровить послѣ своей «Деревни», а г. Тургеневъ, послѣ перваго изъ «Разсказовъ Охотника»—«Хорь и Калинычъ» — не написали уже ничего сноснаго, и въ настоящее время имена ихъ уже давно забыты публикою. Мы готовы держать пари, что изъ тысячи читателей едва ли одинъ приномнитъ теперь, что существовали когда-то г. Григоровичъ и г. Тургеневъ. Но удачнъе всего выбранъ третій признакъ. Можно говорить противъ писателей нами названныхъ, что угодно; но упрекать ихъ въ недостаткъ любви къ народу, упрекать въ томъ, что ихъ произведенія возбуждають отвращеніе къ народу,—да въдь это все равно, что упрекать огонь въ холодности, Говарда въ эгоизмъ, Вильберфорса въ жестокости.

Кромъ всъхъ исчисленныхъ причинъ, погибель русской литературѣ предстояла въ наискорѣйшемъ времени отъ порчи языка въ петербургскихъ журналахъ неправильными и чудовищными выраженіями. Г. Шевыревъ быль такъ возмущень этой страшной опасностью, что рішился для спасенія русскаго языка составлять и печатать въ «Москвитянинъ» словарь «барбаризмовъ», солецизмовъ и прочихъ измовъ». Необходимость и пользу его онъ объясняеть слѣдующимъ образомъ: «Съ некоторыхъ поръ русскій языкъ до того началь страдать оть нововведеній, что становится и больно и страшно за родное слово всякому, кто его любить и уважаеть». Для противодействія этой погибели роднаго слова, онъ объщается поостоянно выдавать словарь всёхъ чудовищныхъ выраженій, которыми такъ особенно богата наша періодическая словесность». Этотъ словарь принесетъ пользу литературъ, «производя въ публикъ тотъ комическій хохотъ, который будеть весьма спасителенъ для русскаго слова». Объщаніе «выдавать постоянно» столь полезный трудъ, конечно, не состоялось: за первымъ, довольно большимъ, отрывкомъ явился въ следующей книжке «Москвитянина» второй, гораздо меньшій отрывокъ словаря. Темъ дело и кончилось. Но интересно познакомить читателя съ нъкоторыми образцами тьхъ «чудовищныхъ выраженій», которыя угрожали погибелью родному слову и которыя, по мнинію почтеннаго автора, должны были «произвести въ публикъ комическій хохоть». Воть какого рода эти «чудовишныя выраженія»:

[«]Изъ-подъ салфетки, покрывавшей столг, высовывалась голова пягавой собаки.—Онъ началъ подымать взоры.—Толстый, рослый мужчина, который посль проръзыванія зубовь, ни разу не былъ болент.—Миньятюрная старушка, съ повисшими бровями и топенькими блюдными губами.—Люди хилые, разбитые, параличемъ», и т. д. и т. д.

«Комическій хохоть» должны возбуждать преимущественно слова, напечатанныя курсивомъ.

Читатели, можеть быть, еще номнять, что въ этомъ благомъ дълъ ученый составитель словаря имълъ столь же искуснаго но болъе неутомимаго преемника—г. И. Покровскаго, который, года два или три тому назадъ, постоянно обогащалъ каждую книжку «Москвитянина» своимъ превосходнымъ. «Памятнымъ листкомъ ошибокъ противъ русскаго языка», Пріятно намъ замѣтить, что г. Шевыревъ имълъ и достойнаго предшественника, именно извѣстнаго нашего журналиста князя Шаликова, который украсилъ одну изъкнижекъ «Москвитянина» за 1841 годъ небольшою, но очень полезною статью подъ заглавіемъ, столь же остроумнымъ, какъ заглавіе, данное ученымъ авторомъ своему словарю,—именно статьею «О литературномъ размежеваніи». Вотъ небольшой отрывокъ изъ этого прекраснаго труда, послужившаго образцомъ для г. Шевырова:

"Подражать въ прозв Карамзину, а въ стихахъ Пушкину значить избрать лучшіе образцы. Повиноваться же номонетамъ бездарнымъ единственно потому, что размножилось ихъ число-смешная и жалкая слабость, которая наконецъ можеть проникнуть во всю суставы нашей литературы, ныпю, кажется болье нежели когда нибудь похожей на энееву ладію, не управляемую рулемъ усерднаго, ревностнаго Палинура, инзвергнутаго коварнымъ Морфеемъ въ морскія бездны, и бросаемую во всъ стороны мятежными воднами не подчиненными въ залисахъ нашей литературы спасательному трезубцу Нептуна, за неиманиемъ сего божества -- Кто, напримаръ, оспорить насъ, если скажемъ видимую истину, что къ намъ изъ младенчества русской словесности возвратились самые грубые галлицизмы, солецизмы, барбаризмы, изгнанные великимъ ся законодателемъ? И кому же она обязана сею пагубною амнистіею? Тімъ первокласнымь (какъ очевидно они думають о себь) современнымь писателямь, которые заменили предлогь о предлогомъ про и пишутъ про Римъ, про балъ, про родину, -- нисколько вмёсто нимало, разъ вм. однажды, надо вм. надобно, да вмёсто такъ... О, времена! Князь Шаминовъ".

("Москвитянинъ" 1841 г., № VII, стр. 236—238).

Заметимъ, однако, что въ одномъ пункте (только въ одномъ) мнения князя Шаликова и г. Шевырева расходились. Издатель «Дамскаго Журнала» былъ, какъ известно, ревностнымъ последователемъ Карамзина, а г. Шевыревъ блистательнымъ образомъ защищалъ понятия Шишкова. Ученый адмиралъ и ученый профессоръ одинаково утверждали, что славянския слова чрезвычайно возвышаютъ и украшаютъ русскую речь. Оба они были непреклонны

въ борьбѣ противъ людей, думавшихъ, что по русски надобно писать на русскомъ, а не на славянскомъ языкѣ, и приводили въ примъръ нашимъ поэтамъ выраженіе:

Соблещетъ молнія мечу *).

Но г. Шевыревъ шелъ гораздо далъе Шишкова, который хотель только, чтобы въ слоге подражали Ломоносову, между темъ, какъ для г. Шевырева учителемъ русскаго современнаго языка быль Кирилль Туровскій, жившій за 600 леть до Ломоносова и совершенно чистый отъ галлицизмовъ. Г. Шевыревъ совътовалъ нашимъ поэтамъ возстановить употребленіе містоименія иже, яже, еже и дательнаго самостоятельнаго падежа, именно писать такимъ образомъ: «волнующемуся морю (то есть при морскомъ волнении, отъ морскаго волненія) корабль, иже входиль въ гавань, нодвергался опасности, а лодкѣ, яже была выслана къ нему на встрѣчу. потонувшей (когда лодка, высланная къ нему на встрычу, потонула), гибель стала неизбежна». Желающіе могуть видёть примеры и доказательства красоты такого слога въ «Исторіи русской словесности» г. Шевырева и въ его ответь на разборъ этой книги, пом'єщенный въ «Сын'є Отечества». Шишковъ, кажется, не предподагаль возможности возстановить дательный самостоятельный.

Кстати о слоге самого г. Шевырева. Ученый критикъ писалъ, безъ сомненія, очень цвётисто и патетично; но, къ сожаленію, слогь его вообще растянуть и напыщенъ, а языкъ неточенъ и неправиленъ. Никто изъ русскихъ журналистовъ, со времени Свиньина, прославившагося дивнымъ слогомъ своего романа «Якубъ Скупаловъ», не владёлъ языкомъ такъ дурно, какъ г. Шевыревъ. Мы конечно, не упомянули бы объ этомъ дёлё, если бы самъ г. Шевыревъ не толковалъ такъ много о языкъ и слогъ. Ошибки противъ языка или логики режутъ глаза почти въ каждой его фразъ, нотому и не нужно приводить примёровъ: желающій найдетъ ихъ десятки въ каждой пашей выпискъ изъ статей г. Шевырева. На всякій случай, разберемъ хотя первую фразу въ первомъ изъ помёщенныхъ у насъ сужденій его о Гоголъ. Оно принадлежитъ еще 1835 году; впослёдствіи г. Шевыревъ писалъ гораздо хуже, и мы нарочно указываемъ лучшую по слогу изъ его статей. «Авторъ Ве-

^{*)} Мосавитянинъ 1854 г., № 7, статья г. Шевырева о Фонвизинъ.

черовъ Диканьки» (то есть Вечеровъ на Диканькъ, или на хуторь близь Диканьки) имбеть отъ природы чудный даръ схватывать безсмыслицу въ жизни человъческой и обращать ее (жизнь или безсмыслицу)? въ неизъясняемую (то есть неизъяснимую) поэзію смѣха». На двухъ строкахъ двѣ ошибки противъ языка и одна неточность. Такъ писалъ г. Шевыревъ въ «Московскомъ Наблюдатель». Въ «Москвитянинъ» онъ писалъ еще неправильнъе. О на пыщенности и натянутости слога мы ужь и не говоримъ.

Читатели, быть можеть, думають, что достаточно познакомились съ критическими статьями г. Шевырева? Нёть, тысячу разъ нътъ! Въдь опредълительнъе всего характеризируетъ человъкъ нравственную или умственную сторону своей личности сужденіями объ отдёльныхъ фактахъ: общія сужденія, какъ бы ни были ярки, всегда бываютъ безцевтны въ сравнении съ приговорами объ индивидуальныхъ явленіямъ. Скажемъ, наприміть: вообще литература вздоръ, побасенки, — это будетъ мысль удивительная, но если мы въ частности скажемъ: Шекспиръ писалъ вздоръ, блескъ этого сужденія будеть уже превышать всякую міру изумительности. Возьмемъ другой примъръ: «Гоголь есть Гомеръ»--мысль довольно поразительная; но скажите: «Чичиковъ есть Ахиллесъ» — и мысль сдълается еще въ тысячу разъ поразительнъе. Все это мы говоримъ только къ примеру, что способность каждаго критика съ наибольшимъ блескомъ выказывается именно въ сужденіяхъ его объ отдёльныхъ писателяхъ и объ отдёльныхъ произведеніяхъ литературы.

Перейдемъ же къ статьямъ г. Шевырева объ отдёльныхъ русскихъ писателяхъ. Посмотримъ, напримъръ, какія мысли высказаны имъ въ критическомъ разборѣ сочиненій Пушкина («Москви-

тянинъ» 1841, № IX).

Прежде всего и болъе всего занимаетъ ученаго критика вопросъ о томъ, не ошибочно ли поступалъ Пушкинъ въ томъ, что одни произведенія написаль прозою, а другія стихами. Отвёть: онъ поступиль хорошо. Удовлетворительно разрёшивъ эту важнёйшую задачу, онъ уже совершенно исполниль все, что въ правъ ожидать читатель отъ критической оценки Пушкина. Остается только сказать по нѣскольку словъ о разныхъ мелочахъ — отношенія Пушкина къ предшествовавшимъ ему поэтамъ и о значени его произ-

веденій. Первое обстоятельство излагается такъ: до Пушкина были двѣ школы въ нашей поэзін-пластическая и музыкальная; главою иластической быль Державинь, -у него недоставало мелодичности: корифеями музыкальной — Батюшковъ и Жуковскій; у нихъ мало было пластики. Пушкинъ соединяль оба эти направленія. Какъ же могло случиться, что въ стих Батюшкова оказалось мало пластичности? Ведь каждому извёстно, что онъ въ особенности знаменить этимъ качествомъ. Но къ чему наши вопросы? Лучше послушаемъ, что составляетъ существенную черту въ поэзін Пушкина. что такое вообще произведенія Пушкина. «Главная черта Пушкина — эскизность». Въ «Москвитянинъ» это опредъление поэзіи Пушкина указано только краткимъ намекомъ, потому что прежде уже было подробно развито въ «Московскомъ Наблюдатель» (часть XII, стр. 316). «Пушкинъ, столько прилежный и рачительный въ исполнении, почти всегда довольствовался однимъ эскизомъ въ изобрътенін. Эскизъ былъ стихіею неудержнаго Пушкина» и т. п. Примъромъ этому служитъ «Мъдный Всадникъ», продолжаетъ статья «Москвитянина». Если взглянуть «мыслящимъ взоромъ внутрь этого произведенія», то мы найдемъ, что сюжеть «Мѣднаго Всалника»... вы думаете, знаменитое наводнение, вы думаете, апотеозъ Цетра Великаго, какъ творца Петербурга? Нътъ, «соотвътствіе между хаосомъ природы и между хаосомъ ума, пораженнаго утратою. Здѣсь, по нашему мнѣнію, главная мысль, зерно и единство художественнаго созданія. Жаль только, что этотъ основный мотивъ не довольно развить»; но его неразвитостью именно и доказывается, что основная черта поэзін Пушкина-эскизность. Прекрасно! Теперь мы узнали существенную черту поэзін Пушкина. Интересно узнать, что такое «произведенія Пушкина, разсматриваемыя въ ихъ совокупности». Этотъ вопросъ предложенъ въ самомъ конце статьи, и на него данъ очень удовлетворительный отвётъ строками, исполненными высокой картинности:

"Произведенія Пушкина, разсматриваемыя въ ихъ совокупности—чудныя массы, готовыя колонны, или стоящія на мѣстѣ, или ждущія руки воздвигающей, доконченные архитравы, выдѣланныя рѣзцомъ украшенія и при этомъ богатый запасъ готоваго дивнаго матеріала. Да, да, вся поэзія Пушкина представляетъ чудный, богатый эскизъ недовершеннаго зданія, которое русскому народу и многимъ вѣкамъ его жизни предназначено долго, еще долго строитъ и славно докончить".

Точка. Конецъ. Мы нарочно напечатали эти слова мелкимъ шрифтомъ, чтобы читатели видъли, что мы не прибавили и не убавили въ нихъ ни одной буквы. Кромф этой прекрасной, въ живописномъ отношения, тирады, вы ничего не найдете въ статъв г. Шевырева о содержаніи поэзіи Пушкина, ся значеніи въ нашей литературъ, ея отношеніяхъ къ обществу. Зато очень много говорится объ Италіи. Наприм'тръ, скажеть ли г. Шевыревъ, что у Пушкина былъ «русскій глазъ» тотчасъ же прибавить: «подъ име-«немъ русскаго глаза мы разумъемъ тотъ върный глазъ, который «подмѣчаеть точно и подробно всь образы внѣшняго міра. Онъ «имъетъ много сходства съ итальянскимъ». Говоритъ ли онъ, что трудно писать такіе прекрасные стихи, какіе писаль Пушкинъ, тотчасъ же пояснить дело: «Въ Италін есть ноговорка о Рафаэле, «что онъ унесъ съ собою въ могилу тайну своихъ красокъ. У насъ «то же самое можно сказать о Пушкинѣ, что онъ взяль съ собою «тайну своего стиха». Черезъ нёсколько страницъ еще больше разъясненъ вопросъ о р'взп'я Пушкина: «Это р'взецъ Кановы или «Тенерани, покорившій себѣ до конпа всю звонкую твердость на-«шего мрамора. Мы желали бы расположить сочиненія Пушкина «по эпохамъ стиля, какъ располагаютъ стиль Рафаэля или Гвидо-Рени». Что такое «нашъ звонкій мраморь», доскажеть г. Шевыревъ черезъ нъсколько страницъ. Вообще «русскій языкъ-каррар-«скій мраморъ лучшаго сорта», а «русскій стихъ у Нушкина до-«стигь до прозрачности алебастра восточнаго, возделаннаго резцомъ фидіевымъ». Какъ «расположенъ стиль Рафаэля», онъ вамъ разъяснить въ другомъ мъстъ: «въ Перуджін есть зала, которую «можно назвать пеленки и колыбель живописца Рафаэля», и т. д. Но объ Италіи довольно. Много другаго интереснаго могли бы мы заимствовать изъ разбора сочиненій Пушкина: но пора перейти къ мивніямъ г. Шевырева о Лермонтовь: они еще интереснье. Замытимъ только, что ученый критикъ, справедливо находя, что изданіе Пушкина 1835—1841 годовъ наполнено опечатками, очень удачно поправляеть ихъ. Между прочимъ, въ одномъ изъ лицейскихъ стихотвореній есть выраженіе:

> Бранной забавы Любить нельзя.

Пушкинъ-лиценстъ не могъ такъ написать, по мненю г. Шевырева. Г. Шевыревъ не знаетъ, какъ именно была написана эта фраза въ автографъ Пушкина; но онъ «увъренъ», что ее надлежитъ возстановить слъдующимъ образомъ:

Бранной забавы Любить не л.

Не подуманте, что у насъ вкралась опечатка. Ивтъ, именно такъ; «Любитъ не я». «Этой поправки хвалить не я», и потому скорће «переходитъ мы» къ разбору «Героя Нашего Времени» и «Стихотвореній Лермонтова». Кстати прибавимь: неудивительно, если критикъ, столь проницательно отгадывающій ошибки и столь в'єрно понимающій условія грамматической правильности, находить, что языкъ Лермонтова неправиленъ и что этотъ поэтъ «вообще не умъль совладъть съ грамматическимъ смысломъ», хотя каждому извъстно, что ръшительно ни одинъ изъ нашихъ поэтовъ до 1841 года включительно (когда была написана эта статья) не писаль стиховъ такимъ безукоризненнымъ языкомъ, какъ Лермонтовъ; у самого Пушкина неправильныхъ и натянутыхъ оборотовъ болье, нежели у Лермонтова. Лермонтовъ вообще не пользовался особенною благосилонностью со стороны г. Шевырева, утверждавшаго, что онъ только подавалъ хорошія надежды, но еще не оправдаль ихъ. Мы не будемъ останавливаться на этомъ: насъ интересуеть не сущность мивній г. Шевырева, а ихъ развитіе. Итакъ что же говоритъ г. Шевыревъ, напримеръ, о характерахъ, изображенныхъ въ «Геров Нашего Времени»? Во первыхъ, опъ желадъ бы, чтобъ Лермонтовъ сделалъ изъ княжны Мери и Бэлы одно лицо: тогда это была бы хорошая женщина или девица. «Если «бы можно было слить Бэлу и Мери въ одно лицо, воть быль бы «идеалъ женщины!» Впрочемъ, характеръ княжны Мери заимствованъ у какого-то русскаго пов'єствователя, у какого, мы не можемъ придумать. На всякій случай, воть подлинныя слова ученаго критика: «Въ княжнъ Мери есть черты, взятыя съ другой княжны»-не отгадаеть ли кто этой загадки? Вера, характеръ которой очерченъ Пермонтовымъ съ такою нежною любовью,---«Въра есть лицо непривлекательное ничъмъ». Въ характеръ Печорина есть двъ важныя ошибки: во первыхъ, такой человъкъ не можеть любить природу. Ученому критику было легко решить это, потему что ему неизвъстно, что люди, утомленные жизнью. скучающіе съ людьми, съ двойною силою привязываются къ природь. Во вторыхъ, г. Шевыревъ «никакъ не думаетъ, чтобы прошедшее сильно действовало на Печорина», и потому неправдоподобно, чтобы онъ вель дневникъ. Да ведь онъ скучаетъ: почему жь отъ скуки не вести ему дневника? Настоящее наводитъ на него тоску; будущее безотрадно: какже ему не возвращаться мыслью къ прошеднему? И въдь эгоизмъ силенъ въ Печоринъ; а чъмъ болье развить эгоизмъ въ человъкъ, тыть больше думаеть онь о своей личности и о всемъ, что до нея касается. Кажется, это очень просто; да притомъ и самъ Печоринъ объясняеть это. Но главный недостатокъ въ характеръ Печорина: «онъ не имъетъ въ себъ ни-«чего существеннаго относительно къ чисто русской жизны, кото-«рая изъ своего прощедшаго не могла извергнуть такого харак-«тера»: потому онъ «призракъ». Послѣ этого не нужно говорить, до какой степени понятень для г. Шевырева и до какой степени нравится ему «Герой Нашего Времени». Но интересно заметить, чёмъ более всего занимается онъ въ своей стать объ этомъ романь-никакъ не угадаете... защитою Москвы. Да гдъ же Лермонтовъ нападаеть на Москву въ своемъ романъ? Кажется, нигдъ. Какъ ниглъ? Вы забыли, что княгиня Лиговская, которая любитъ поговорить, какъ и вев почти пожилыя женщины въ Россіи и во Францін, въ Китав и въ Каффраріи, жила несколько леть въ Москвъ: въдь это кровная, по мнънію г. Шевырева, обида Москвъ. И на нъсколькихъ страницахъ онъ доказываетъ, что напрасно Лермонтовъ взвелъ такую клевету на Москву. Вотъ это именно и значить, по выраженію Гоголя, «какъ разъ смекнуть, въ чемъ дёло». Замётимъ также, что по поводу Кавказа опять является на сценъ Италія. Еще любопытнъе разборъ «Стихотвореній» Лермонтова. Знаете ли, какое отличительное свойство въ талантъ Лермонтова? «Протеизмъ», безхарактерность, отсутствие определенной физіономіи. Помилуйте! можно было бы назвать стихотворенія Лермонтова монотонными, однообразными; но какже говорить, что они не имъють одного оригинального характера, ръзко обозначавшагося на каждомъ-мало того, стихотворенін-на каждомъ стихъ? Скоръе можно было назвать «протеемъ» кого угодно изъ нашихъ поэтовъ, только-воля ваща-никто, кромф г. Шевырева не могь бы заметить у Лермонтова безхарактерности или протеизма. Но вы еще не знаете, что «въ галлереяхъ живописи отгадывають безь каталога, чья картина», а стихотворенія Лермонтова

не носять на себъ такихъ характерныхъ примътъ; г. Шевыревъ. не видевь подписи имени на пьесе, отгадаеть стихъ Жуковскаго. Ватюшкова, Пушкина, кн. Вяземскаго, г. О. Глинки, а не можеть сказать этого о стихъ Лермонтова. Публика, скажете вы, говоритъ, что именно стихъ Лермонтова угадать легче всего; но это она говорить только по незнанію важнаго обстоятельства: Лермонтовъ быль не болье, какъ подражатель Пушкина и Жуковскаго, и не только этихъ двухъ великихъ поэтовъ, но также г. Бенедиктова. «Когда вы внимательно прислушиваетесь къ звукамъ новой лиры, «вамъ слышатся поперечённо звуки то Жуковскаго, то Пушкина, «то Кирши Данилова, то Бенедиктова, иногда мелькають обороты «Баратынскаго, Дениса Давыдова». Удивительно тонкій слухъ, изумительно зоркій глазъ! Каждому изв'єстно, что н'екоторыя изъ наименъе зрълыхъ стихотвореній Лермонтова по внъшней формъ подражанія пьесамъ Пушкина, но только по формѣ, а не по мысли: потому что идея и въ нихъ чисто-лермонтовская, самобытная, выходящая изъ круга пушкинскихъ плей. Но въдь такихъ пьесъ у Лермонтова немного: онъ очень скоро совершенно освободился отъ внѣшняго подчиненія Пушкину и сдѣлался оригинальнъйшимъ изъ ветхъ бывшихъ у насъ до него поэтовъ, не исключая и Пушкина. Въдь это извъстно каждому. Но дъло не въ томъ, подражатель онъ, или самобытный поэть: интересно знать, какъ развиваеть г. Шевыревъ свою мысль. Въ какихъ пьесахъ, напримёръ, видно вліяніе Жуковскаго? Вы, быть можеть, ожидаете, что ученый критикъ укажеть на единственное изъ всёхъ стихотвореній Лермонтова, хотя самымъ отдаленнымъ образомъ напоминающее Жуковскаго, укажетъ на пьесу «Вѣтка Палестины», въ которой можно видѣть нѣкоторое сходство съ пьесою Жуковскаго:

Онъ былъ весной своей Въ земль Обътованной...

хотя, собственно говоря, и «Вѣтка Палестины» подражаніе не Жуковскому, а Пушкнну «(Цвѣтокъ засохшій, безуханный)». Нѣть, не то, вы недогадливы: Лермонтовъ подражаль Жуковскому въ «Русалкѣ» (!); «Мцыри» тоже подражаніе Жуковскому (!); «Три Пальмы» тоже, хотя каждому извѣстно, что это чрезвычайно близкое подражаніе стихотворенію Пушкина, «И путникъ усталый на Бога ропталь», откуда не только размѣръ, но едва ли не половина стиховъ

почти цъликомъ заимствованы Лермонтовымъ. Нужды нътъ, пусть будутъ «Три Пальмы» подражаніемъ Жуковскому, у котораго нътъ ничего похожаго: въдь заимствовалъ же у него Лермонтовъ «Мцыри». Но гдъ же подражанія Бенедиктову? Ужели вы не знаете?—» «Молитва» (Я, Матерь Божія, нынъ съ молитвою) и «Тучи» дотого отзываются звуками, оборотами, выраженіемъ лиры Бенедиктова, что могли бы быть перенесены въ собраніе его стихотвореній.— Читая эти стихи, кто не припомнить Поларную Зензду и Пезабенную Бенедиктова?» Далье уже не такъ интересно. «Бородино»— подражаніе Денису Давыдову (!); «Не върь, не върь себъ мечтатель молодой!» и «Печально я гляжу на наше покольные»—подражаніе Баратынскому (!); «Демонъ»— подражаніе Марлинскому; «Казачья Колыбельная Пъсня»— подражаніе Вальтеру-Скотту. Мы отъ себя можемъ прибавить только, что стихи:

Есть рачи, значенье Темно иль ничтожно...

должны быть подражаніемъ г. Шевыреву: только авторская скроиность помішала ему это замітить. Но довольно о частностяхъ. Вросимъ вмісті съ г. Шевыревымъ еще разъ общій взглядъ на Лермонтова. Хороши ли грустныя стихотворенія Лермонтова? И какъ вы думаете, быль ли грустный тонъ этихъ пьесъ (т. е. рішительно всіхъ пьесъ, потому что пьесъ другаго тона нітъ у него) существенной чертой поэзіи Лермонтова? Нітъ, не быль, по мнітью г. Шевырева: грустныя стихотворенія у Лермонтова «только мгновенные плоды какой-то мрачной хандры, посіщающей повременамъ поэта», и не просто плохи они: они не заслуживали бы чести быть напечатанными—«лучше было бы таить ихъ про себя и не повіть рять взыскательному світу». Правда. Правда. Правда.

Но вѣдь Лермонтовъ, хотя и писалъ очень плохо, все заслуживалъ нѣкотораго сочувствія, по своей, правда, жалкой страсти къ стихоплетенію. Г. Шевыревъ совѣтуетъ Лермонтову писать не такъ, какъ онъ писалъ прежде; вотъ заключеніе его статьи:

«Поэты русской лиры! если вы сознаете въ себв высокое призваніе, прозрѣвайте же отъ Бога даннымъ вамъ предчувствіемъ въ великое будущее Россіи; передавайте намъ видѣнія ваши и созидайте міръ русской мечты изъ всего того, что есть свѣтлаго и прекраснаго въ небѣ и природѣ, святаго, великаго и благороднаго въ душѣ человѣческой!»

Ну, теперь вздохнемъ свободне: исторія о некоемъ стихокронатель Лермонтовь, который напрасно печаталь свои стихотворенія, кончилась. А тяжело намъ было присутствовать при его истязанін, тяжело было вид'ять, какъ одно за другимъ обрывають чужія перыя съ этой нарядившейся въ павлины перыя вороны, то есть съ Лермонтова. Видимъ, что строгій критикъ справедливъ; но по человичеству жаль, по человичеству! Кончилась исторія!.. Какъ бы не такъ! По разсвянности-проклятая разсвянность!-мы едва не забыли чрезвычайно тонкаго зам'вчанія о характер'в таланта Лермонтова. «Нътъ ли въ немъ-замъчаетъ ученый критикъ-признаковъ того, что Жанъ-Поль въ своей эстетикъ такъ прекрасно назваль женственнымь геніемь?» Это предположеніе, впрочемь, едва ли принадлежитъ самому г. Шевыреву. Такъ мы думаемъ, основываясь на словахъ Пигасова (въ повъсти г. Тургенева: «Рудинь»): «Мужчина можеть ошибаться. Но, знаете ли, какая разница между ошибкою нашего брата и ошибкою женщины? Не знаете? Вотъ какая: мужчина можетъ, напримъръ, сказать, что дваждыдва не четыре, а иять или три съ половиною, а женщина скажеть, что дважды-два — стеариновая свъчка». Поэтому мы думаемъ, что г. Шевыревъ заимствовалъ иногда свои критическія зам'ячанія изъ разговоровъ съ дамами.

Много другихъ замъчательныхъ сужденій о г. Каменскомъ, г. Вельтманъ, Кольцовъ (пъсни котораго далеко хуже русскихъ пъсенъ Дельвига), Баратынскомъ (котораго губило отсутствіе мысли), г. Навловъ (который выдвинулъ всъ ящики въ бюро женскаго сердца и котораго г. Шевыревъ долго предпочиталъ Гоголю), Языковъ, г. Хомяковъ, г. Майковъ и вообще почти о каждомъ изърусскихъ писателей могли бы мы привести изъ критическихъ статей г. Шевырева; но если, какъ онъ самъ выразился,

Что въ морь купаться, что Данта читать,

то хотыть исчернать все замычательное въ критическихъ статьяхъ ученаго автора — все равно, что хотыть вычернать море: трудъ рышнтельно невозможный; потому мы не возьмемся за дыло, столь необозримо-великое.

Мы затруднялись и теперь затрудняемся высказать наше мивніе о г. Шевыревв, какъ критикв, но не можемь не сказать, что чтеніе его статей должно доставить высокое наслажденіе каждому, кто способенъ слъдить за смълыми полетами мысли глубокомысленнаго критика. Неожиданность выводовъ и замъчаній превышаетъ въ нихъ самыя смълыя надежды. Впечатльніе, которое производятъ онь, когда перечитываеть ихъ подъ-рядъ, можно сравнить только съ темъ, какъ если бы смотреть картины несколько расшатавшейся въ пружинахъ народной нашей нанорамы, то есть такъ называемаго въ просторъчіи «райка». Приложишь глазъ къ стеклу-видна широкая ріка, на берегу стоять пирамиды — «видь итальянскаго города Неаполя», поясняеть народный нашъ чичероне; повертывается ручка — являются Тюильри, Аувръ, вдали Notre-Dame de Paris—«Морская викторія при Гангуть, одержанная Петромъ Великимъ надъ шведами», поясняетъ народный чичероне; опять повертывается ручка — является храмъ св. Петра въ Римѣ — «вотъ это самая и есть Москва здатогдавая», поясняеть чичероне, и т. д., и т. д. Вы недоумъваете, но не можете оторваться отъ панорамы съ интересными поясненіями чичероне. А онъ стоить серьезно поглаживая бороду, и думаетъ: «ногоди, еще не такія штуки покажемъ».

Мы сказали, что отказываемся выражать свое мивнее о томъ, ошпбочны или справедливы мнинія г. Шевырева, но видили, что ученый авторъ не долженъ быть причисляемъ къ славянофиламъ. Теперь, познакомивъ читателя съ нъкоторыми фактами его ученокритической деятельности, мы полагаемъ деломъ, не подлежащимъ спору, что г. Шевыревъ долженъ быть считаетъ, какъ мыслитель въ высочайшей степени своеобразный, главою особенной школы въ нашей литературф. Важнфишими изъ второстепенныхъ писателей этой школы надобно считать г. М. Дмитріева, г. А. Стурдзу, г. Н. Иванчина-Писарева, г. А. Студитского. Первыхъ трехъ читатели, безъ сомнънія, знають; но необходимо имъ познакомиться съ г. А. Студитскимъ, котораго они, въроятно, не знають и который быль деятельнейшимъ сподвижникомъ г. Шевырева въ старомъ «Москвитянинъ». Его осужденія также отличались диктаторскимъ тономъ; онъ, подобно г. Шевыреву, обо всемъ мыслилъ совершенно своеобразно и, о какомъ бы предметъ ни заговорилъ, ни въ чемъ не раздълялъ мнъній суемудрствующаго Запада. Онъ показалъ ничтожность санскритскаго языка, опровергъ Боппа и Гримма, не говоря уже о всяхъ нашихъ филологахъ отъ г. Востокова до г. Буслаева, и положилъ новыя основанія филологіи; онъ опровергь

Кеплера и Ньютона-уступкою съ его стороны должно считать, что онъ принималъ систему Коперника, и то, конечно, только въ уважение его славянскаго происхождения-и положиль новыя основанія астрономін (понимайте все это буквально, безъ малфинаго преуведиченія); онъ опровергь всёхъ философовъ отъ Канта до Гегеля и положиль новыя основанія психологіи, метафизики и проч.; опровергь Либиха, Кювье, Гумбольдта и Араго и положиль новыя основанія физіологіи, геологіи, метеорологіи, химін, — дійствительно, положиль, потому что это быль умь по преимуществу творческій, неограничивавшійся критикою, но занимавшійся и возсозданіемъ разрушеннаго. Девизъ его быль, подобно девизу г. Шевырева, «Destruam et aedificabo» — «раззорю и созижду». Для убъжденія читателей въ томъ, что мы ничего не преувеличиваемъ, приводимъ въ выноскъ небольшой отрывокъ изъ его критики на гипотезу Гумбольдта объ аэролитахъ *). Какая смълость, оригинальность и твердость мысли! Все это мы говоримъ, желая показать, что у г. Шевырева были достойные сподвижники и что его надобно считать главою совершенно особенной школы. которая принадлежала исключительно Москве, но мненія которой имѣли большое родство съ ученіями петербургскаго журнала «Маякъ».

Посять всёхъ фактовъ, приведенныхъ выше, естественно родиться недоумению: какимъ же образомъ г. Шевыревъ, столь свособразно мысливший и о Лермонтовъ, и о писателяхъ, бывшихъ

^{*)} Главная мысль Гумбольдта состоить въ томъ, что аэролиты—обломки малыхъ небесныхъ тёлъ, блуждающихъ въ пространствв и случайно попадающихъ въ предвлы нашей атмосферы. Съ перваго взгляда на эту мысль, видно, что она обязава своимъ происхожденіемъ не ученому сознанію, а недостатку ученаго сознанія.—"Въ пространствв, гдй ивтъ ничего, плаваютъ малыя тёла"—не правда ли, это очень замысловато?—"Эти твла, заблудившись, попадаются въ предвлы земной атмосферы"—еще замысловатве.—"Самыя эти твла не падаютъ, а падаютъ только ихъ обломки"—еще замысловатве.—Вообще говоря, мы не находимъ, чтобы:

¹⁾ Были достаточныя причины для построенія такой гипотезы.

²⁾ Было достаточное оправдание ея въ наблюденияхъ.

³⁾ Не было возможности объяснить ее иначе и гораздо проще.

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что неорганическая химія въ нашемъ столѣтіи сдѣлала огромные успѣхи; по чтобы она рѣшила все, что ей должно рѣшить, въ этомъ мы не повѣримъ ни Дэви, ни Берцеліусу, пи Гумбольдту" и т. д.

^{(&}quot;Москвитянинъ" 1846, № 3, стр. 206).

учениками Гоголя, — г. Шевыревъ, отвергавшій всякій грустный тонъ въ литературѣ, совѣтовавшій писателямъ заниматься исключительно возведеніемъ къ улыбающемуся идеалу свѣтлыхъ сторонъ жизни, — какимъ образомъ могъ онъ сочувствовать «Мертвымъ Душамъ»? Какимъ образомъ онъ могъ быть поклонникомъ Гоголя, и какъ онъ могъ понимать его, — онъ, столь глубоко понимавшій содержаніе и столь занимавшійся жизненными вопросами въ произведеніяхъ каждаго изъ нашихъ писателей? А вѣдъ существуетъ у многихъ восноминаніе, что г. Шевыревъ былъ поклонникомъ Гоголя и понималь его. Изученіе статей его о Гоголѣ разрушитъ всѣ недоумѣнія.

Вотъ существенныя мѣста изъ его статьи о «Миргородѣ». Мы оставили въ сторонѣ только колонны, фронтисинсы, архитравы, рѣзцы и картинныя галлерен, но не опустили ни одной фразы, относящейся къ дѣлу. Правда, отъ этого изъ довольно большой статьи вышло въ нашей выпискѣ менѣе одной страницы, но, повторяемъ, остальныя страницы разбора наполнены архитравами.

"Авторъ Вечеровъ Диканьки имбеть отъ природы чудный даръ схватывать безсмыслицу въ жизни человъческой и обращать ее въ неизъясняемую поэзію сміха. Въ этомъ дарі его мы видимъ зародынъ истиннаго комическаго таланта. Но желательно бы было, чтобъ онъ обратиль свой наблюдательный взоръ и мёткую кисть на общество, насъ окружающее. До сихъ поръ, за этимъ смёхомъ онъ водиль насъ или въ Миргородъ, или въ лавку жестяныхъ дёлъ мастера Шиллера, или въ сумасшедшій домъ. Мы охотно за нимъ следовали всюду, потому что вездѣ и надъ всемъ пріятно посменться. Но столица уже довольно сменлась надъ провинцією и деревеніциной, хотя никто такъ не смешиль ими, какъ авторъ "Миргорода": высшій и образованный классъ общества всегда смъется надъ низшимъ: потому и немудрено разсмъщить и жестяныхъ дёль мастеромъ. Но какъ бы хотёлось, чтобы авторъ, который, кажется, какимъ-то магнитомъ притягиваетъ къ себв все смешное, разсмещидъ насъ нами же самими, чтобы онъ открылъ эту безсмыслицу въ нашей собственной жизни, въ кругу такъ называемомъ образованномъ, въ нашей гостиной, среди модныхъ фраковъ и галстуховъ, подъ модными головными уборами. Вотъ что ожидаетъ его кисти! Какъ ни рисуйте намъ върно провинцію; все она покажется каррикатурой, потому что она не въ нашихъ нравахъ. Я увъренъ, что Иванъ Ивановичъ и Иванъ Никифоровичъ существовали. Такъ они живо написаны. Но общество наше не можеть поверить въ ихъ существованіе. Для него это или прошлое стольтіе, или смешная мечта автора. Конечно, авторъ началъ свой дебють въ комическомъ съ того, что ярче наразалось въ его намяти — съ своихъ малороссійскихъ преданій; но должно над'яться, что онь собереть намь впечатльнія и сь той общественной жизни, вь которой

живеть теперь и разовьеть блистательно свой комическій таланть въ томъ высшемъ кругу, который есть средоточіе русской образованности".

("Московскій Наблюдатель", томъ І).

Кажется въ «Старосвътскихъ Помъщикахъ», въ «Тарасъ Бульбѣ», въ «Повѣсти о ссорѣ Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ» есть нечто, кроме смешнаго и веселаго; кажется, что каждая изъ этихъ повъстей въ своемъ цъломъ производить впечатленіе нимало не водевильное: «Тарасъ Бульба» — чисто трагическое, остальныя-глубоко-грустное. Ученый критикъ нимало не заметиль этого. Гоголь въ «Миргороде» - беззаботный весельчакъ, который для столичныхъ свътскихъ людей рисуетъ преуморительныя каррикатуры провинціи, не имьющей понятія о модныхъ галстухахъ. Очень удовлетворительное понятіе. Еще лучше мивніе, что лица, изображенныя Гоголемъ, едва ли существуютъ въ дъйствительности. Оно хорошо и тъмъ, что критикъ откровенно высказываетъ, что вовсе не знаетъ провинціальной жизни. Но всего лучше совътъперестать о провинціи и описывать высшее свътское общество: этоть совъть восхитителень. Воть, если бы Гоголь послушался нечего сказать, одолжиль бы нась, людей въ модныхъ галстухахъ! Съ тою же меткостью, которая помогла критику открыть у Лермонтова заимствованія изъ Марлинскаго и Бенедиктова, онъ замъчаетъ, что Гоголь-подражатель Тика и Гофмана:

"Нельзя не замѣтить, что въ новыхъ повѣстяхъ, которыя мы читаемъ въ "Арабескахъ", этотъ юморъ малороссійскій не устоялъ противъ западныхъ искуненій и покорился въ своихъ фантастическахъ созданіяхъ вліяпію Гофмана и Тика. И мнѣ это досадно. Ужели ничто оригвнально русское не можетъ устоять противъ нѣмецкаго? Можетъ быть, это есть вліяніе Петербурга на автора".

Да вёдь нужно было бы спросить, слыхиваль ли Гоголь въ 1835 году о Гофманё и Тикё? о Гофманё—безъ сомнёнія, потому что въ «Невскомъ Проспектё» сапожникъ, помогавшій своему пріятелю Шиллеру въ совершеніи неучтиваго поступка надъ поручикомъ Пироговымъ, называется Гофманомъ; и писатель Гофмань быль тогда уже нёсколько извёстенъ русской публикъ. Но какимъ бы образомъ Гоголь могъ подчиняться вліянію Тика, котораго едва ли хоть сколько нибудь зналъ? Считаемъ ненужнымъ замёчать, что съ Гофманомъ у Гоголя нётъ ни малёйшаго сходства: одинъ самъ придумываетъ, самостоятельно изобрётаетъ фантасти-

ческія похожденія изъ чисто нѣмецкой жизни, другой буквально пересказываеть малорусскія преданія («Вій») или общензвѣстные анекдоты («Нось»): какое же туть сходство? Ужь послѣ этого «Иѣсня о Калашниковѣ» не есть ли подражаніе «Гёцу фонъ-Берлихенгену?» вѣдь у Гете тоже изображено владычество «кулачнаго права», Faustrecht; съ Тикомъ, этимъ празднымъ фантазеромъ, у Гоголя еще меньше сходства. Но довольно для г. Шевырева заглавія «фантастическая повѣсть»—и дѣло рѣшено, подражаніе открыто. Удивительно!

Замътимъ еще, что критикъ и у Гоголя, какъ у Пушкина, главною чертою всёхъ произведеній нашель эскизность. Видите ли, слогъ Гоголя нехорошъ, какъ и слъдовало ожидать: «Виною этому, кажется, скоронись, которою увлекается повёствователь. Онъ слишкомъ эскизуетъ свои прекрасныя созданія. Даже самый «Тарасъ Бульба» отзывается скоростью эскиза».— «Миргородъ», какъ мы видъли, собраніе водевильныхъ повъстей; но проницательный критикъ замътилъ въ немъ одинъ эпизодъ грустный — только одинъ небольшой эпизодъ, — именно въ «Старосвътскихъ Помъщикахъ» теплое, страстное размышление о силъ привычки (въ новомъ изданін, стр. 35-36). Этотъ эпизодъ принадлежить къ числу самыхъ лучшихъ, самыхъ глубоко-прочувствованныхъ страницъ, когда либо написанныхъ Гоголемъ; г. Шевыревъ ужасно имъ недоволенъ и хочеть вычеркнуть его, какъ совътоваль Лермонтову «скрывать отъ взыскательнаго свъта» свои стихотворенія: «Мив не нравится тутъ (въ «Старосв. Помъщ.») одна только мысль, — убійственная мысль о «привычки, которая какъ будто разрушаети нравственное впечатавніе цізлой картины. Я бы вымараль эти строки». Прекрасно! Разрушаетъ впечатление целой картины». А въ этихъ строкахъ и высказанъ существенный мотивъ всего разсказа.

Оть «Миргорода» перейдемъ прямо къ «Мертвымъ Душамъ», минуя «Ревизора»: митніе г. Шевырева объ этой комедіи увидимъ послъ. Критическая статья о «Мертвыхъ Душахъ» помѣщена г. Щевыревымъ въ VII и VIII книжкахъ «Москвитянина» за 1842 годъ.

Въ разборъ «Миргорода» г. Шевыревъ не дълаетъ ни малъйшаго намека на то, что можно считать Гоголя великимъ писателемъ; онъ кажется ему не болье какъ хорошимъ беллетристомъ шутливаго характера. Мы видъли, что за «Миргородъ» и «Арабески», нъкоторый другой критикъ уже назвалъ Гоголя главою

русскихъ писателей, преемникомъ Пушкина. Г. Шевыревъ не только не видитъ, но и не предчувствуетъ этого: для него многіе изъ тогдашнихъ, нынъ полузабытыхъ, беллетристовъ продолжаютъ стоять выше Гоголя. Въ «Тарасѣ Бульбѣ», «Невскомъ Проспектѣ», «Ссорѣ Ивана Иванонича съ Иваномъ Никифоровичемъ», какъ мы видёли, г. Шевыревъ находилъ еще только «зародышъ таланта». Возвысился ли Гоголь въ глазахъ его изданіемъ «Ревизора», увидимъ послѣ; но еще въ «Москвитянинѣ» 1841 года мы могли бы найти доказательства, что г. Шевыревъ продолжалъ ставить Гоголя ниже нёкоторых в изъ второстепенных в тогдашних в писателей. Но «Мертвыя Души» онъ уже разбираеть какъ высоко-художественное произведеніе; о значенін Гоголя въ русской литературь онъ говорить, правда, очень уклончиво, о значеній его для развитія общества, о смыслѣ «Мертвыхъ Душъ» не говоритъ ровно ничего, но все-таки осмеливается отчасти обнаруживать, что ставить Гоголя очень высоко, хотя не дерзаеть рашительно поставить на ряду съ Жуковскимъ или Пушкинымъ и вообще смотритъ на него еще свысока, не оставляя его благими поученіями. Все-таки похвально ужь и то, что онъ считаетъ «Мертвыя Души» высокими гожественнымъ произведеніемъ. Разборъ написанъ съ точки зрінія веключительно художественной. Мысль, руководящая критикомъ, та, что въ художественномъ произведении все развитие плана и всй подробности пеобходимо вытекають изъ общей иден созданія. Правда, какъ ни высоки художественныя достоинства «Мертвыхъ Душъ но видѣть въ Гоголф только художественныя достопиства значить вовсе не нонимать Гоголя; но не будемъ подражать «взыскательному свёту», будемъ рады и тому, что хотя художественная сторона, если не содержаніе «Мертвыхъ Душъ», кажется ученому критику достойною похвалы. И прежде всего намъ очень пріятно замѣтить слѣдующее справедливое объяснение закона прогрессивности, по которому расположены различныя главы «Мертвыхъ Душъ»:

[«]Взгляните на разстановку характеровъ: даромъ ли они выведены въ такой перспективъ? Сначала вы смъетесь надъ Маниловымъ, смъетесь надъ Коробочкою, пъсколько серьезнъе езгляпете на Ноздрева и Собакевича, но уведъвъ Плюшкина, вы уже вовсе задумаетесь: вамъ будетъ грустно при видъ этой развалины человъка.

[«]А герой поэмы? Много смёшить онъ васъ, отважно двигая впередъ свой странный замысель и заводя всю эту кутерьму между помёщиками и въ го-

родѣ: но когда вы прочли всю исторію его жизни и воспитанія, когда поэтъ разоблачиль передъ вами всю внутренность человѣка, не правда ди, что вы глубоко задумались?

«Наконець представимъ себѣ весь городъ N. Здѣсь, кажется, ужь донельзя разъигрался комическій юморъ поэта, какъ будто къ концу тома сосредоточивъ всѣ свои силы... Но и тутъ даже, гдѣ смѣшное достигло своихъ крайнихъ предъловъ, гдѣ авторъ, увлеченный своимъ юморомъ, отрѣшилъ мѣстами фантазію отъ существенной жизни и нарушилъ тѣмъ ея характеръ,—и здѣсь смѣхъ при концѣ смѣняется задумчивостью, когда, среди этой праздной суматохи, внезанно умираетъ прокуроръ и всю тревогу заключаютъ похороны. Невольно припоминаются слова автора о томъ, какъ въ жизни веселое мигомъ обращается въ печальное».

Чтобы выставить на первый илант все хорошее въ статът г. Шевырева о «Мертвыхъ Душахъ», приведемъ здъсь и замъчанія его о томъ, что въ двухъ или трехъ мъстахъ авторъ едва ли не нарушаетъ строгой объективности своихъ лицъ, заставляя ихъ говорить вещи, которыя удобите могъ бы сказать прямо отъ себя:

«Комическій демонъ шутки яногда увлекаеть до того фантазію поэта, что характеры иногда выходять изъ границъ своей истины; правда, что это бываеть очень радко. Такъ, напримъръ, неестественно намъ кажется, чтобы Собакевичь, человекь положительный и солидный, сталь выхваливать свои мертвыя души и пустился въ такую фантазію. Даже самое краснорачіе, этоть дарь слова, который онъ внезапно по какому-то особенному наитію обпаружиль въ своемъ нанегирикъ каретнику Михееву, плотнику Пробкъ и другимъ мертвымъ душамъ, кажутся противны его обыкновенному слову, которое кратко и все рубить топоромь, какъ его самого обрубила природа. Авторъ самъ это чувствоваль и оговорился словами: "откуда взялись рысь и даръ слова въ Собакевичь». - То же самое можно замьтить о Чичиковъ: прекрасны его думы о мертвыхъ душахъ, имъ купленныхъ, но напрасно принисаны онв самому Чичикову, которому, какъ человъку положительному, едва ли могли бы прійти въ голову такія чудныя поэтическія были о Степань Пробкь, о Максимь Телятниковь - сапожниковь, и особенно о грамотев Поповь безпашпортномъ, да объ Өыровь Абакумь, гуляющемъ съ бурдаками. Мы не понимаемъ, почему всь эти размышленія поэть не предложиль оть себя. Неестественно также намъ показалось, чтобы Чичнковъ ужь до того напился пьянъ, что Селифану ведёль сдёлать всёмъ мертвымъ душамъ поголовную перекличку. Чичиковъ человікь солидный и едва ли напьется до того, чтобы впасть въ подобное мечтавіе».

Быть можеть, этимъ не нарушается объективность характера ни Чичикова, который любилъ пофантазировать въ чувствительномъ родѣ, какъ всѣ положительные и илутоватые люди, и который, дѣй-

ствительно, во многихъ мъстахъ ноэмы фантазируетъ (напримъръ, при встрѣчѣ на дорогѣ съ губернаторскою дочкою), ни Собакевича, который не любитъ говорить попусту, а для своихъ выгодъ не поскупится на слова — удивительно, въ самомъ дъль, какъ самые холодные, дубовые люди оживляются и делаются красноречивы при продажт и покупкт, — однако же, справедливо или несправедливо замечание г. Шевырева объ этихъ случаяхъ, все-таки оно не заключаеть въ себт ничего нелъпаго, скорте даже можетъ быть названо остроумнымъ; но, къ сожалению; только и можетъ быть найдено хорошаго въ его статьяхъ. Вообще говоря, критикъ слишкомъ далеко заходитъ, желая рёшительно о каждой мелочи доказать, что она решительно необходима именно на томъ самомъ местъ, гдъ помъщена Гоголемъ: онъ совершенно упускаетъ изъ виду, что, выражаясь ученымъ образомъ: «необходимость облекается въ искусств'в формою случайности», то есть, напримерь, Чичиковъ могь бы встратить на дорога къ Манилову не одного, а двухъ или трехъ мужиковъ, деревня Манилова могла бы лежать налёво, а не направо отъ большой дороги, Собакевичъ могъ бы назвать единственнымъ порядочнымъ человекомъ въ городе не прокурора, а председателя гражданской палаты или вице-губернатора, и такъ далѣе, и художественное достониство «Мертвыхъ Душъ» нимало не потеряло бы и не выиграло бы отъ этого. А г. Шевыреву кажетсячто все это решительно такъ же существенно неизменяемо, такъ же вытекаетъ изъ иден «Мертвыхъ Душъ», какъ, напримёръ, характеръ Чичикова или общая физіономія губерискаго города N, гдв происходить действіе поэмы. Ограничимся однимъ примеромъ: излагая главу о Коробочкѣ, критикъ говоритъ:

"Вся птица, какъ замѣтно, ужь такъ пріучена заботливою хозяйкою, составляеть съ нею какъ будто одно семейство и близко подходитъ къ окнамъ ея дома: воть отчего у Коробочки только могла произойти не совсѣмъ учтивая встрѣча между индѣйскимъ иѣтухомъ и Чичиковымъ... Вы замѣтили, что мужики Коробочки отличаются оть другихъ помѣщичьихъ мужиковъ все какимито необыкновенными прозвищами: знаете ли, почему это? Коробочка себѣ на умѣ: ужь у ней что ея, то крѣпко ея, и мужики такъ же помѣчены особыми именами, какъ птица помѣчается у аккуратныхъ хозяевъ, чтобы не сбѣжала. Вотъ почему такъ трудно было Чичикову уладить съ нею дѣло: она хоть и любить продать и продаетъ всякій продуктъ хозяйственный, но зато и на мертвыя души смотритъ такъ же, какъ на свиное сало, на пеньку или на мель, полагая, что и онѣ въ хозяйствѣ могутъ спонадобиться".

Ужели Коробочка не продаеть мертвыхъ душъ по разсчетливости? напротивъ, просто по глупости: тупоумная старуха никакъ не можетъ понять предложеній Чичикова. И почему у нея именно крестьяне имъютъ длинныя прозвища? Почему не имъютъ этихъ прозвишъ крестьяне Собакевича, который занимается хозяйствомъ дучие Коробочки? Просто, Гоголю нужно было дать чьимъ нибудь крестьянамъ длинныя прозвища, какія встр'вчаются въ иныхъ околоткахъ; а чьихъ именно крестьянъ окрестить длинными именами, было решительно все равно. И почему индюкъ могъ закудахтать только подъ окномъ у Коробочки, а не у Собакевича или Ноздрева, или не подъ окномъ городской гостиницы? Критикъ думаеть, что только Коробочка, кормившая птицу изъ своихъ рукъ, могла пріучить птицу бродить подъ окнами; но в'єдь домовитыя хозяйки бросають кормъ птицы не сидя подъ окномъ, а съ крыльца. Изъ окна, чувствительно и романически, могли скоръе кормить птицу Маниловы. Сору и крошекъ изъ оконъ выбрасывалось въ гостинниць больше, нежели у Коробочки, и птица чаще нежели гдв нибудь бродила нодъ окнами гостинницы. Однимъ словомъ, той необходимости, которую видить критикь, неть въ незначительныхъ мелочахъ «Мертвыхъ Душъ», какъ и вообще не бываеть въ художественныхъ произведеніяхъ. Объ этомъ подробно и основательно говорится, напримъръ, въ эстетикъ Гегеля (чтобы и намъ блеснуть ученостью). Но критикъ механически, а не по внушенію собственнаго вкуса, развивая заимствованную и не вполнъ понятую мысль о необходимости выводить подробности художественнаго произведенія изъ его идеи, подробно излагаетъ все содержаніе «Мертвыхъ Душъ». при каждой фраз'в безъ всякаго разбора повторяя «такъ! иначе и не могло быть!» Это изложение занимаетъ большую половину его критики. Частью держится онъ въ немъ словъ самого. Гоголя и туть, конечно, рисуеть характеры и событія безь особенныхъ промаховъ; но иногда дополняетъ слова автора собственными соображеніями, и тутъ-то надобно подивиться своеобразности его взгляда! Приведемъ одинъ примѣръ-понятіе критика о главномъ дъйствующемъ лиць, Чичиковь:

"Изъ всёхъ пріобрётателей, Чичиковъ отличился необыкновеннымъ поэтическимъ даромъ въ вымысле средства къ пріобретенію. Не правда ли, что въ этомъ замысле (покупать мертвыя души) есть какая то геніальная бой кость, какая-то удаль илутовства, фантазія и иронія, соединенныя вмість. Чичиковъ въ самомъ діль, герой между мошенниками, поэть своего діла: посмотрите, затівая свой подвигь, какою мыслью онъ увлекается: "А главное то хорошо, что предметь-то покажется всімъ невіроятнымъ—никто не повірить". Онъ веселится своему необычайному изобрітенію, радуется будущему изумленію міра, который до него не могь выдумать такого діла, и почти не заботится о послідствіяхь, въ порыві своей предпріничивости. Самопожертвованіе мошенничества доведено въ немъ до крайней степени: онъ закалень въ него какъ Ахиль въ свое безсмертіе".

Изумительно! Да въдь, кажется, ясно, что Чичиковъ восхищается необыкновенностью задуманнаго плутовства потому, что легко будетъ его исполнить; никто не догадается, не повъритъ. Онъ восхишенъ тъмъ, что впередъ увъренъ въ удачъ. Чичиковъ— Ахиллъ самоножертвованія! изумительно!

Но, конечно, не изумить читателей, что въ разборѣ «Мертвыхъ Душъ» Италія не сходить со сцены. Говорить ли критикь о Плюшкинъ, опъ объясняетъ: «Плюшкинъ такъ живо видится намъ, какъ будто бы мы его припоминаемъ на картинъ Альберта Дюрера въ галлерев Доріа»; описываеть ли Гоголь свроватыми красками русскую дорогу-это оттого, видите ли, что «нышная Италія дивами своего искусства и природы затмила все, что и могло бы на однообразной дорогъ русской сказаться сердцу поэта»; случится ли Гоголю поэтически очерчивать различие русскаго языка отъ немецкаго, англійскаго, французскаго, —опять-таки «замівчательно что поэть въ числе языковъ не отметиль резкимъ карандашомъ свонмъ итальянскаго слова, хотя, конечно, имълъ всъ данныя передъ собою, чтобы судить о немъ: это не потому ли, что русскій народъ въ мёткости и живучести слова сходится съ художникомъ-итальянцемъ, такъ какъ и во многомъ другомъ, несмотря на то, что жаръ и морозъ раздѣлили оба народа?»

Вы скажете: да какимъ же образомъ и зачёмъ тутъ Италія? а я скажу: да развѣ можно объяснить, почему припоминаешь то или другое? Иногда это бываетъ и совершенно безъ причины. Напримѣръ, осудите ли вы меня, если мнѣ совершенно не кстати припоминаются слова Гоголя о начальникъ Чичикова: «Начальникъ быль такого рода человѣкъ, котораго хотя и водили за носъ (впрочемъ, безъ его вѣдома), но зато уже, если въ голову ему западала какая нибудь мысль, то она была тамъ все равно, что желѣзный гвоздъ: ничѣмъ нельзя было ее оттуда вытеребить». («Мертвыя

Души», 3 изд., стр. 445). Осудите ли вы меня, если мив вздумается даже замвнить туть слова: «котораго водили за нось», словами: «который подъ носомъ у себя ничего не видвлъ?» ввдь это моя фантазія, а въ фантазіяхъ всякій воленъ.

Все это, какъ мы сказали, не покажется читателю удивительно; но удивительно покажется то, что на «Мертвыхъ Душахъ», по мнѣнію критика, ярко отразились итальянскія краски, что талантъ Гоголя воспитанъ не русскою жизнью, а итальянскою природою и картинами Рафаеля, не бесѣдою съ русскими людьми, а обращеніемъ съ итальянскими живописцами. Читайте и убѣждайтесь:

"Только близорукій не зам'єтить, что небо Италіи, прозрачный ся воздухь. ясность каждаго оттынка и каждаго очерка въ предметь, картинныя галлереи, мастерскія художниковъ и частое обращеніе съ ними, наконецъ поэзія Италіи воспитали въ Гоголъ фантазію тою стороною, которою обращена она ко всему вибинему міру, и дали ей такое живописное направленіе, такую полноту и оконченность.—Говоря объ этомъ, нельзя не обратить вниманія на симпатію Гогодя къ Италіи, на душевное влеченіе его къ странв изящнаго. Откуда объяснить это? Изъ того только, что истинный художникъ, что искусство -- его призваніе. Если такъ, то какая же другая сфера могла удовлетворить ему кромѣ Италіи, и въ самой Италіи какой городъ могь онъ избрать, если не Римъ, гдъ минувшее величіе, природа и искусство сочетались въ одно и образовали для всякаго современнаго художника чудный пріють, волшебное окруженіе?—Яркій отпечатокъ природы, живописи, поэзім изящнаго полудня Европы лежить на колорить "Мертвыхъ Душъ" и на всемъ, что составляеть вившнюю сторону изображаемаго въ нехъ міра. Содержаніе, разумбется, дано Россією, и поэть всегда ему верень; но ясновидение и сила фантазін, съ какими возсоздаеть онъ далекій міръ отчизны, воспитаны въ Гоголь итальянскимъ окруженіемъ. Въ одномъ мість видно даже, что Италія невольно бросила нісколько жаркихъ красокъ на самое содержаніе картины, а именно въ описаніи сада Плюшкина, гдв зеленыя облака и трепетолистные куполы деревьевъ, лежащихъ на небесномъ горизонть, напоминають дандшафты юга.-Говоря объ этой полуденной стихін въ поэм' Гоголь, какъ забыть чудныя сравненія, встрічаюпіяся нерьдко въ "Мертвыхъ Душахъ"! Ихъ полную художественную красоту можеть постигнуть только тоть, кто изучаль сравненія Гоголя и итальянскихь эпиковъ, Аріоста и особенно Данта".

Тутъ слъдуетъ очень подробное пояснение послъдней мысли, именно, что сравнения у Гоголя заимствованы изъ Гомера, Аріоста и Данта. Эта счастливая мысль критика была въ свое время по достоинству превознесена петербургскими журналами, потому оставляемъ ее безъ объяснений; да и вообще объяснения на статьи г. Шевырева писать гораздо трудне, нежели комментаріи на самого Данта. Читаємъ далеє:

"Все, къ чему ни првиасается волшебная кисть Гоголя, все живеть въ его яркомъ словь и каждый предметь сквозить изъ него и выдается своимъ видомъ и цвътомъ. И это свойство своей фантазіи русскій поэтъ могъ возвести на такую степень искусства только тамъ, гдь творилъ Дантъ, гдь Аріостъ дружился съ Рафаэлемъ и въ его мастерской, созерцая безсмертную кисть, переносилъ живыя ея краски въ итальянское жаркое слово. Кто не понимаетъ сочувствія Гоголя къ Италіи, тотъ не пойметъ и всей крассты въ пластическомъ внѣшнемъ элементь его фантазіи. Мы объяснили внѣшнюю сторону ясновидящей фантазіи поэта, показали ея воспитаніе (т. е. въ Италіи) и отношеніи къ сторонъ внутренней; перейдемъ теперь къ сей послъдней. Подъ именемъ ея мы разумѣемъ ясное созерцаніе всего внутренняго человѣка въ различныхъ его видахъ. Въ этомъ отношеніи Гоголь является достойнызъ ученикомъ поэзіи сѣвера, и особенно Шекспира и Вальтера Скотта".

Положимъ, что Гоголь былъ ученикъ Шекспира, хотя въ томъ смыслѣ, въ какомъ и Лермонтовъ, и г. Григоровичъ, и г. Гончаровъ, и г. Тургеневъ, и всѣ хорошіе писатели, настоящіе и будущіе,—ученики этого великаго человѣка: вѣдъ особеннаго вліянія Шекспира на Гоголя не замѣтно; положимъ, что онъ ученикъ и Вальтера Скотта, хотя онъ вовсе не былъ ученикомъ его; но что жь изъ того? Какъ что! развѣ вы не предчувствуете:

"Заключимъ же: учители юга и сѣвера, Италія и Шекспиръ, положили печать свою на внѣшней и внутренней сторонѣ фантазіи поэта въ отношеніи къ ясновидѣнію жизни. Такое сочетаніе двухъ элементовъ, замѣтное у насъ и въ другихъ поэтахъ, особенно же въ Пушкинѣ, обѣщаетъ въ будущемъ для русской фантазіи и для русскаго искусства развитіе многостороннее и совершенно полное. О, если бы мы могли совмѣстить въ себѣ внѣшній югъ съ внутреннимъ сѣверомъ, изящную пластику и форму перваго и глубокую идею втораго, мы достигли бы идеала въ искусствѣ. Пріятно мечтать о томъ и еще пріятнѣе видѣть, что наша мечта начала осуществляться".

А! воть къ чему шло дёло! т. е. воть къ чему: Данть писатель великій, но односторонній: у него мысль подавлена формою; Шекспиръ тоже великій писатель, но опять односторонній: у него мысль подавила форму. Иначе и быть не могло: вёдь Западъ погрязаеть въ односторонностяхъ. А воть у насъ такъ будуть, а отчасти ужь и есть писатели получше вашихъ Шекспировъ. Соглашаемся, соглашаемся: вёдь мы уже увидёли себя внё возможности возражать ученому критику. Но если «Мертвыя Души» вну-

шають вамъ столь высокое ожидание и отчасти уже оправдывають его, то, по крайней мара, хорошая ли вещь эти «Мертвыя Луши»? Мы хотимъ слышать о нихъ отъ васъ не комплименты и художественныя фразы, -- нътъ, намъ нуженъ прямой отвътъ: правда или вздорная фантазія «Мертвыя Души», пустая выдумка празднаго воображенія или картина дъйствительнаго быта? и, во всякомъ случав, хороша ли основная идея этого созданія?—Увы! по мивнію г. Шевырева: «нѣтъ!» Онъ говоритъ, что общество, которое изображено въ «Мертвыхъ Душахъ», не существуетъ, не можетъ существовать на самомъ деле: создавая городъ N (куда является Чичиковъ), «фантазія поэта разънгралась въ волю и почти отрѣши-«лась отъ существенной жизни» (№ VII, стр. 220). Эта фраза повторяется нъсколько разъ. Но «городъ N придуманъ сообразно характеру героя», стало быть, и Чичиковъ лицо болве фантастическое, нежели действительное.—А каковы характеры другихъ лицъ? И хотя фантастическимъ образомъ, но удовлетворительно ли изображена жизнь общества, которое состоить изъ этихълиць? Нътъ, нътъ! и характеры изображены неудовлетворительно, и жизнь также всюду у Гоголя односторонность:

"Великъ талантъ Гоголя въ созданіи характеровъ; но мы искренно выскажемъ и тотъ недостатокъ, который замѣчаемъ въ отношеніи къ полноть ихъ изображенія или произведенія въ дѣйствіе. Комическій юморъ, подъ условіємъ коего поэтъ созерцаетъ всѣ эти лица, и комизмъ самаго событія, куда они замѣшаны, препятствуютъ тому, чтобы они предстали всѣми своими сторонами и раскрыли всю полноту жизни въ своихъ дѣйствіяхъ. Мы догадываемся, что кромѣ свойствъ, въ нихъ теперь видимыхъ, должны быть еще другія добрыя черты, которыя раскрылись бы при иныхъ обстоятельствахъ: такъ, напримѣръ, Маниловъ, при всей своей пустой мечтательности, долженъ быть весьма добрымъ человѣкомъ, милостивымъ и кроткимъ господиномъ съ своими людьми и честнымъ въ житейскомъ отношеніи; Коробочка съ виду крохоборка, погружена въ одни матеріальные интересы своего хозяйства, но она непремѣнно будетъ набожна и милостива къ нищимъ и т. д.".

"То, что сказали мы о характерахъ, должно повторить и о возсоздания всей русской жизни въ поэме Гоголя... И здесь будетъ та же самая оговорка со стороны нашей, что комическій юморъ автора мышаетъ иногда ему обхватывать жизнь во своей ея полноте и широкомъ объеме. Это особенно ясно вътехъ яркихъ заметкахъ о русскомъ быте и русскомъ человеке, которыми устяна поэма. По большей части мы видимъ въ нихъ одну отрицательную, смешную сторону, пол-обхвата, а не весь обхватъ русскаго міра".

Итакъ, характеры и жизнь у Гоголя односторонни, невърны,

фантастичны. Тутъ ужь не помогутъ художественныя совершенства плана и подробностей: въдь форма безъ содержанія ничтожна, форма съ фальшивымъ содержаніемъ фальшива; следовательно, все похвалы ей также обращаются въ ничтожество и фальшь. Сравнимъ эту последнюю, и единственную существенную выписку-потому что она одна касается сущности дела, всё предъидущія толкують еще объ архитравахъ и колоннахъ, о резцахъ и картинныхъ галлереяхъ-сравнимъ ее съ рецензіями Н. А. Полеваго: вёдь она вся цёликомъ какъ будто взята изъ нихъ; но Полевой имълъ твердость высказать свое мизніе и, такъ какъ содержаніе «Мертвыхъ Душь» ему казалось неправдою, имъть прямоту сказать, что «Мертвыя Души» — произведение фальшивое. Почему же г. Шевыревъ, въ сущности думая объ изображеніи характеровъ и жизни въ «Мертвыхъ Душахъ» тоже самое, что Н. А. Полевой, осыпаетъ, однако же, похвалами это произведение? Причинъ много; изъ нихъ первую объясняеть самъ же г. Шевыревъ на первой же страницъ своей критики: видите ли, лишь только явились «Мертвыя Луши», какъ тотчасъ же

"Изъ тъсныхъ рядовъ толкучаго рынка литературы (мы знаемъ уже, что это прозвище дано было петербургских журналамъ) выскочило наглое само-хвальство въ видъ крикливаго пигмея, съ мъднымъ лбомъ и размашистою рукою (то есть выскочилъ рыцаръ безъ имени, на щитъ котораго кривыми буквами написанъ былъ девизъ: "убъждене"); обрадовавшись случаю изъ-за похвалы Гоголю похвалить самого себя, оно, ставши передъ произведеніемъ, иялитъ на немъ свою тощую фигуру, силится прикрыть его собою, и потомъ показать вамъ, и увърить васъ, что точно оно вамъ его показало, а безъ того вамъ бы его не увидъть".

Воть это-то хвастливое невъжество такъ громко кричало о высокомъ значени «Мертвыхъ душъ», что, подъ опасеніемъ прослыть отстальмъ человѣкомъ, нельзя было не служить эхомъ хвастливому писателю. Другая причина: Гоголь самъ не задолго передъ изданіемъ «Мертвыхъ Душъ» объяснилъ значеніе своихъ произведеній въ пьесѣ «Разъѣздъ»; третья причина: голосъ публики въ пользу Гоголя сталъ слишкомъ громокъ; четвертая причина—надежды на исправленіе Гоголя, поданныя нѣкоторыми мѣстами перваго тома «Мертвыхъ Душъ», гдѣ авторъ объщается представить добродѣтельнаго русскаго человѣка, добродѣтельную русскую дѣвипу, передъ которыми плохи покажутся всѣ добродѣтельные люди всѣхъ

другихъ странъ—«наглое невѣжество рыцаря безъ имени» предвидъло въ этихъ объщаніяхъ сильную опасность для таланта Гоголя; а г. Шевыревъ получилъ надежду, что за легкомысленнымъ и пустымъ первымъ томомъ «Мертвыхъ Душъ» послѣдуютъ произведенія болѣе удовлетворительныя и серьезныя, и рѣшился ради этихъ слѣдующихъ благихъ дѣлъ похвалитъ и начало ихъ: во второй части Гоголь искупитъ односторонность перваго тома, докажетъ, что талантъ его неодностороненъ:

«Да не подумають читатели, чтобь мы признавали таланть Гоголя одностороннимь, способнымь созерцать только отрицательную половину человыческой и русской души. О, конечно, мы такъ не думаемъ. Если въ первомь томъ его поэмы мы видимъ русскую жизнь и русскаго человыка по большей части отрицательною ихъ стороною, то отсюда никакъ не слъдуетъ, чтобы фантазія Гоголя не могла вознествсь до полнаго объема всыхъ сторонъ русской жизни. Онъ самъ обыщаетъ намъ далье представить «все несмътное богатство русскаго духа», и мы увърены заранъе, что онъ славно сдержить свое слово. Къ тому же и въ этой части онъ чувствовалъ необходимость восполнить недостатокъ другой половины жизни, и потому въ частыхъ отступленіямъ, въ яркихъ замъткахъ брошенныхъ эпизодически, далъ намъ предчувствовать и другую сторону русской жизни, которую современемъ раскроетъ во всей полноть ел».

Ради этихъ немногихъ отступленій и преимущественно ради этого благаго об'єщанія, прощаются пустота и легкомысліе перваго тома.— Какъ, разв'є первый томъ «Мертвыхъ Душъ» не только одностороннее и фальшивое, но и пустое, легкомысленное произведеніе?— А вы думали, н'єтъ? Воть вамъ доказательство:

«Взгляните на вихорь: въ началь бури легко и низко проносится онь сперва; взметаетъ пыль и всякую дрянь съ земли; перья, листья, лоскутки летятъ вверхъ и выются, — и скоро весь воздухъ наполняется его своенравнымъ круженіемъ. Легокъ и незначителенъ кажется онъ сначала; но въ этомъ вихръ скрываются слезы природы и страшная буря. Таковъ точно и комическій юморь Гоголя, По вотъ налетьли тучи. Сверкнула молнія. Громъ раскатился по небу. Дождь хлынулъ потоками. Земля и небо смѣшались вмѣстѣ. Не такова ли будетъ вторая часть его поэмы, въ которой обѣщаетъ онъ вамъ лиричесное меченіе, горизонтъ раздающійся и величавый громъ другихъ рѣчей?»

Кажется, ясно, что первая часть «Мертвыхъ Душъ», гдѣ нѣтъ «лирическаго теченія»—вихорь, который «легокъ и незначителенъ», который самъ по себѣ ничтоженъ и будеть заслуживать нѣкотораго вниманія только тогда, когда «раздастся громъ другихъ рѣчей», иначе сказать, пустота прощается первой части «Мертвыхъ

Душъ» только съ условіемъ и только въ надеждѣ, что вторая часть не будетъ нимало походить на первую.

«Прощается», сказали мы, первый томъ Гоголю, ради следующихъ... да, именно прощается, потому что онъ былъ действительно преступленіемъ со стороны Гоголя. Вамъ угодно доказательство? Оно въ статьт г. Шевырева, написанной по поводу «Переписки съ Друзьями». Цель этой статьи-опровергнуть упреки, со всёхъ сторонъ раздавшіеся противъ этой книги. Намъ нёть нужды говорить, какъ г. Шевыревъ оправдываетъ Гоголя. Боле страннаго оправданія никто никогда не читываль: всб главивйшіе упреки повторяеть онь оть своего лица и думаеть, что говорить похвалы Гоголю. А если вникнуть въ сущность статьи, то оказывается, что дъло въ ней идетъ вовсе не о Гоголь, а собственно о самомъ г. Шевыревъ. Не обращая никакого вниманія на истинный смысль словъ «Переписки», онъ старается только доказать ею справедливость различныхъ своихъ теорій, хотя и этого не достигаетъ, потому что, каковы бы ни были мненія, запутавшія мысль Гоголя въ эпоху «Переписки съ Друзьями», но, во всякомъ случав, они существенно различны отъ мижній г. Шевырева. Вёдь очень сходныя слова им'ьють различное значеніе, если произносятся по различнымъ побужденіямъ, если произносятся людьми различныхъ натуръ. «Я не доволенъ прежнею своею жизнью», говорить Фаустъ. «И я не доволенъ прежнею твоею жизнью», говорить ему Вагнеръ. Согласитесь, что Фаустъ говоритъ вовсе не о томъ, о чемъ говоритъ Вагнеръ. Одинъ недоволенъ собою потому, что не столько пользы принесъ людямъ, сколько хотвлъ бы; другой не доволенъ потому, что Фаусть думаль прежде о такомъ вздоръ, какъ грубая жизнь глупаго — то есть, неученаго — народа. Но какое намъ дъло до Фауста и Вагнера? Мы хотили сказать, что васъ интересуеть не то, что говорилъ г. Шевыревъ о «Перепискъ съ Друзьями», а ть откровенности насчеть его мниній о прежнихь сочиненіяхь Гоголя, на которыя даеть ему отвату «Переписка съ Друзьями». Въ разборъ «Мертвыхъ Душъ» правда засыпана комплиментами; въ статьъ по поводу «Переписки» она высказана безъ обиняковъ. Тамъ г. Шевыревъ имелъ передъ глазами «наглое невежество», которому противорфчить страшно, голосу котораго подчиняются иногда мивнія самыхъ ученыхъ людей; здёсь онъ былъ безопасенъ подъ щитомъ, на которомъ, -- кривыми или прямыми буквами -- не знаемъ, было

написано: «вѣдь самъ Гоголь осуждаетъ свои прежнія сочиненія». Посмотримъ же, какъ онъ говорилъ въ это счастливое для откровенности время. Выписка длинна, но очень интересна и должна имѣть для читателя ту прелесть, что она послѣдняя выписка наша изъ статей г. Шевырева. — Гоголь дурно дѣлалъ, что писалъ сочиненія, подобныя «Ревизору» и «Мертвымъ Душамъ», говоритъ г. Шевыревъ, и нельзя не считать ихъ важными проступками съ его стороны:

«Виновать ты художникь. Будь уверень, что мы съумемь оправдать тебя сами въ твоемъ комизмъ и въ твоемъ хохоть, на сколько ты достоинъ и заслуживаешь оправданія, на сколько ты самъ остаешься неволень въ своемъ сміжі, и на сколько въ немъ виновна жизнь, тебя окружающая. Но сознайся въ томъ, что ты часто находилъ самоуслаждение въ этомъ хохоть, черезъ мъру заливался своимъ смёхомъ, въ чемъ мы тебя и прежде попрекали, слишкомъ тышился своимъ даромъ смышить другихъ и забываль иногда о тыхъ глубокихъ слезахъ, которыя тяготъли у тебя на душъ, и забвение которыхъ отнимало у твоего смеха глубину и силу, и отзывался онъ тогда чемъ-то пустымъ и даже. приторнымъ. Отчего же, чуя въ себв другую, высшую сторону русскаго человъка, не даваль ты ей простора въ широкихъ предылахъ твоей фантазіи? Отчего изменяль другой, лучшей половинь своей мысли? Мы не обвинили бы тебя, если бы ты самъ не обвиниль себя въ этомъ своими же словами, которыя невольно сорвались съ пера твоего, какъ бы въ собственное твое обличеніе: «мні хотплось попробовать, говоришь ты, что скажеть вообще русскій человъкъ, если его попотичеть его же собственною пошлостью. Въ искусствъ никогда не должно хотиться пробовать: искусство должно быть свободно отъ всякихъ преднамъреній личности. Стало, ты не всегда смъялся свободно и искренно, по призыву вдохновенія? И чёмъ же захотёлось тебі попотчивать русскаго человъка? — его же пошлостью! Хорошо подчиванье, хорошо гостепріимство художника! Для того, чтобы лучше это выподнить, ты сталь свою собственную дрянь, какъ говорищь, навадивать на героевъ своихъ. Для тебя хорошо, если ты такимъ способомъ очистилъ душу свою, но хорошо ли ная искусства, которое черезъ твою дрянь могло впасть въ односторонность особливо лишенное комическаго дара, принадлежащаго лицу твоему?»

«Но продолжать ди намъ свои обвиненія? Художникъ наказанъ двояко за злоунотребленіе своего дара въ одну сторону и за свои увлеченія. Если отъ высокаго до смішнаго одинъ шагъ, то, наобороть, отъ смішнаго до высокаго ніть пути: между ними бездна. Когда вся пошлость дійствительной жизни поднята была хохотомъ въ міръ поэзіи, тогда хохоть одоліль все; и когда поэть захотіль обратить глаза на другой міръ, на другую высокую сторону жизни, ему показалось страшно: онъ побоялся уже за своихъ исполиновъ, чтобы они не пали передъ Собакевичами и Ноздревыми, — и пенель втораго тома «Мертвыхъ Душь» быль первымь ему же наказаніемь. Другое наказаніе въ той школі, которую онь произвель, самъ, конечно, не воображая, что она родится

и выведеть отъ него свою родословную. Смышно быть отцомъ дѣтей, которыхъ не знаешь и которыя навязываются къ тебѣ съ нѣжнымъ наименованіемъ папеньки... Гоголь самъ испугался той школы, которую нехотя произвель, и въ этомъ испугѣ объявилъ прежнія созданія свои безполезными». («Москв.». 1848 г. № 1, Критика, стр. 26—29).

Вотъ, что правда, съ тѣмъ нельзя не согласиться. Гоголь напрасно говорилъ, что подъ его смѣхомъ скрываются горькія слезы: смѣхъ его былъ безъ всякой глубины, отзывался чѣмъ-то пустымъ и притворнымъ. Онъ виноватъ не только передъ русскою жизнью, но и передъ исскуствомъ, съ которымъ обращался эгоистически, наваливая на него свою дрянь. Зато онъ и наказанъ: ему никогда не создать высокихъ произведеній искуства: «отъ смѣшнаго до высокаго нѣтъ пути».

Воть это мы называемъ прямотою, вѣрностью своимъ убѣжденіямъ, непреклонная чистота которыхъ только на время была возмущена восторгомъ неученой толпы и криками «наглаго невѣжества», восторженными криками «рыцаря безъ имени».—«Переписка съ Друзьями» дала г. Шевыреву силу высказать то, что онъ давно ужь думалъ о Гоголѣ; а свидѣтельство о томъ, какъ онъ думалъ о Гоголѣ, сохранено въ «Отечественныхъ Запискахъ». Однажды «Москвитянинъ» намекнулъ о томъ, что «Московскій Наблюдатель», въ которомъ г. Шевыревъ былъ главнымъ критикомъ и вообще главнымъ лицомъ, первый оцѣнилъ Гоголя, и что статья, оцѣнившая Гоголя, была написана г. Шевыревымъ. На это «Отечественны Записки отвѣчали:

"Изъ журналовъ первый оценить Гоголя "Телескопъ" (въ стапът "О рус ской повисти и повистяхъ г. Гоголя", какъ мы говорили въ начале нашихъ "Очерковъ"), а совсемъ не тотъ, другой московский журналъ, который отказался принять повесть Гоголя "Носъ" по причине ея пошлости и тривіальности, и не тотъ именитый критикъ, который отказался писать о "Ревизоре", какъ опять о тривіальномъ и грязномъ произведенін". ("Отечественныя Записки", томъ XXV, Смёсь, стр. 107).

Мы сделали обзоръ мненій техъ журналовъ, которые не хотели понимать Гоголя. Теперь переходимъ къ мненіямъ людей, которые понимали и ценили его.

Отрадно вспомнить, что первый оцениль Гоголя, первый заговориль о немъ печатно тотъ самый человекъ, который до Гоголя

быль величайшимь изъ нашихъ писателей. Радушнымъ привътомъ встрътилъ, благословеніемъ своимъ напуствовалъ Пушкинъ двадцатильтняго одинокаго юношу, который сдълался преемникомъ его славы. И не только какъ писатель писателя встрътилъ и ободрилъ онъ его, и какъ человъкъ для человъка сдълалъ онъ для него все, что могъ. Радостно и тепло становится душъ при подобныхъ восноминаніяхъ.

Вотъ первая статья изъ всёхъ явившихся о Гоголё въ русскихъ періодическихъ изданіяхъ. Она прислана была Пушкинымъ въ «Литературныя Прибавленія къ Русскому Инвалиду», и напечатана въ этой газете въ 79 нумере 1831 года.

"Сейчасъ прочелъ "Вечера близъ Диканъки". Они изумили меня. Вотъ настоящая веселость, искренняя, непринужденная, безъ жеманства, безъ чопорности. А мъстами какая поэзія, какая чувствительность! Все это такъ необыкновенно въ нашей литературь, что я досель не образумился. Мнъ сказываль, что когда издатель вошелъ въ типографію, гдѣ печатались "Вечера", то наборщики начали прыскать и фыркать, зажимая ротъ рукою. Факторъ объяснить ихъ веселость, признавшись ему, что наборщики помирали со смъху, набирая его книгу. Мольеръ и Фильдингъ, въроятно, были бы рады разсмышть своихъ наборщиковъ. Поздравляю публику съ истинно веселою книгою, а автору сердечно желаю дальнѣйшихъ успѣховъ".

"Ради Бога, возьмите его сторону, если журналисты, по своему обыкновеню, нападуть на неприличе его выраженій, на дурной тонъ и проч. Пора, пора намь осміять les prècieuses ridicules нашей словесности, людей, толкующихь вічно о прекрасныхъ читательницахь, которыхъ у нихъ не бывало, о высшемъ обществі, куда ихъ не просять, и все это слогомъ камердинера профессора Тредьяковскаго".

Какою задущевною радостью о новомъ необыкновенномъ талантъ проникнута эта статья! И какъ въ ней много сказано, несмотря на ея краткость! И какъ върно и мътко все въ ней сказанное! Не укрылась отъ Пушкина и та грусть, которая послъ стала существеннъйшею чертою гоголевскихъ созданій, но которая такъ немногими замъчается въ его первыхъ, еще такъ ярко озаренныхъ радостью жизни произведеніяхъ.

Другую статью о Гоголь, помыщенную въ первой книжкы пушкинскаго «Современника», мы уже привели въ предъидущей нашей статью.

По смерти Пушкина, друзья его продолжали быть и друзьями Гоголя, какъ человъка, и почитателями его таланта. Изъ зтихъ лю-

дей, двое, князь Вяземскій и г. Плетневъ, были журналистами, и оба они очень върно понимали произведенія Гоголя. Все написанное ими о немъ принадлежить къ числу лучшаго, что только было написано о Гоголъ.

Князь Вяземскій занимаєть нын'є такое высокое положеніе, что мы отважились бы на характеристику его критической д'ятельности только въ такомъ случать, еслибъ обязанность историка требовала обнаружить въ ней какія нибудь ошибки. Читатели поймутъ чувство, которое заставляеть насъ уклониться отъ полной характеристики критической д'ятельности этого писателя и ограничиться зам'ячаніемъ, что онъ былъ достойный сподвижникъ Пушкина, достойный другъ Жуковскаго, Пушкина и Гоголя.

Потому мы просто безъ всякихъ эпитетовъ представимъ только краткое извлечение изъ статьи князя Вяземскаго о «Ревизоръ». Она помъщена въ пушкинскомъ «Современникъ». Да и это мы дълаемъ только потому, что статья князя Вяземскаго слишкомъ важный фактъ въ исторіи распространенія справедливыхъ сужденій о Гоголъ.

Разборъ этотъ начинается замѣчаніями о томъ, что въ нашей литературѣ рѣдки «событія», рѣдки книги заслуживающія вниманія, возбуждающія интересъ въ публикѣ—«Ревизоръ»—такое событіє; это первая русская комедія, какая появилась со времени «Горя отъ Ума». Ълистательный успѣхъ его на сценѣ доказалъ то. Въ чтеніи комедія Гоголя доставляетъ едва ли не болѣе наслажденія, нежели даже на сценѣ, какъ и всегда бываеть, когда пьеса написана съ умомъ и талантомъ, съ заботою не столько о сценическихъ эффектахъ, сколько объ истинномъ комизмѣ. Но какъ ни блистателенъ успѣхъ «Ревизора», эта комедія подверглась нѣкоторымъ оговоркамъ и осужденіямъ. Они могутъ быть раздѣлены на три разряда: замѣчанія литературныя, нравственныя и общественныя.

«Накоторые говорять, что «Ревизорь» не комедія, а фарсь. Діло не въ пазваніи: можно написать геніальный фарсь, и пошлую комедію. Къ тому же, въ «Ревизорь» ніть ни одной сцены въ роді «Скапановыхь обмановь» «Доктора по Неволі», «Пурсоньяка» или расиновыхь Les Plaideurs; ніть нигді вымышленной каррикатуры, переодіваній. За исключеніемъ паденія Бобчинскаго, ніть ни одной минуты, сбивающейся на фарсь. Въ «Ревизорі» есть каррикатурная природа,—это діло другое. Въ природі не все изящно; но въ подражаніи природі неизящной можеть быть изящность въ художественномъ

отношенін. Смотрите на картины Теньера, на корову Поля Потера *) и спросите после: какъ могло возвышенное искусство посвятить кисть свою на подобные предметы?... Говорять, что языкь (комедія Гоголя) низокь. Высокое и низкое высоко и низко по сравненію и отношенію! низкое, когда оно на м'єсть, не низко, -оно въ пору и въ мфру... Ваши требованія доказывають, что вы придерживаетесь традицій классическаго віка... Это въ глазахъ нашихъ не безделица, вопреки мненію техе, которые ставять ни во что аристократическія традиціи гостиныхъ в'єка Людовика XIV или Екатерины II. Но именно по сей же самой терпимости, которую мы исповедуемъ какъ законъ истинной образованности... мы въ искусствъ любимъ просторъ. Мы полагаемъ, что гдъ есть природа и истина, тамъ вездъ можетъ быть и изящное подражание оной. А тамъ уже дело вкуса или правильнее, вкусовъ, избирать любое для подражанія и въ подражаніяхъ. Между тімь, не излишнимъ будеть замітить, что Фонвизинъ читалъ своего «Бригадира» и своего «Недоросля» при просвъщенномъ и великольпномъ дворь Екатерины П .-- Такъ; но въ этихъ комедіяхъ встрічаются Добролюбовы, Стародумы, Милоны, а въ «Ревизорі» нізть ни одного Добролюбова, хоть для приміра. - Согласны, но воть маленькая оговорка: когда играли «Недоросля» при Императриць, то немилосердно сокращали благородныя роди Стародума и Милона, потому что онъ скучны и неумъстны; сохранялись же въ неотъемлемой цьлости низкія роди Скотинина. Простаковыхъ, Кутейкина. При однихъ добродетельныхъ лицахъ своихъ, Фонвизинъ остался бы незамъченнымъ писателемъ, не читалъ бы своихъ комедій Екатеринь Великой и не быль бы и по нынь типомъ русской комической оригинальности. Вывезли его къ безсмертію лица, которыя не выражають ни одного благороднаго чувства, ни одной свътлой мысли, ни одного въ человъческомъ отношени отраднаго слова. А не въ отсутстви ли всего этого обвиняете вы лица, представленныя г. Гоголемъ?»

«Другіе говорять... что коренная основа «Ревизора» неправдоподобна, что городничій не могь такь легковърно вдаваться въ обмань, а должень быль потребовать подорожную и проч. Конечно такь, — но авторь въ этомъ случав помниль болье психологическую пословицу, чъмь полицейскій порядокь, и для комика, кажется, не ошибся. Онь помниль, что у страха глаза велики. Къ тому же, и минуя пословицу, въ самой сущности дѣла нѣть ни малѣйшаго насилія правдоподобію. Извѣстно, что ревнзорь пріѣдеть инкогнито, слѣдовательно, можеть пріѣхать подъ чужимь именемь. Извѣстіе о пребываніи въ гостинниць неизвѣстнаго человѣка падаеть на городивчаго и сотоварищей его въ критическую минуту паническаго страха, по прочтеніи роковаго письма. Далѣе почему не думать городничему, что у Хлестакова двѣ подорожныя, два вида, изъ коихъ настоящій будеть предъявлень, когда нужно? Туть нѣть никакой натяжки, все натурально... Въ одной изъ нашихъ губерній быль, дѣйствительно, случай, подобный описанному въ «Ревизорѣ»: по сходству фамилій, приняли одного молодаго пріѣзжаго за извѣстнаго государственнаго чинов

^{*)} Критикъ говорить о знаменитой картинъ Поля Потера "Vache qui pisse", составляющей одно изъ драгоцънъйшихъ украшеній Эрмитажа.

ника. Все городское начальство засуетилось и пріёхало къ молодому челов'єку являться. Не знаемъ, случилось ли ему тогда нужда въ деньгахъ, какъ прошгравшемуся Хлестакову, но в'єроятно нашлись бы заимодавцы. Все это въ порядкі вещей, не только въ порядкі комедіи».

Нѣкоторые критики, —предолжаеть защитникъ Гоголя, —не довольны простонародностью языка въ «Ревизорѣ», не понимая, что выведенныя лица не могутъ говорить другимъ языкомъ. Они находять у Гоголя слова, по ихъ мнѣнію, неупотребительныя въ высшемъ обществѣ. Это показываетъ только, что подобные «жеманные словоловы» стараются показаться людьми хорошаго тона, котораго не знаютъ: хорошій тонъ состоить въ непринужденности, натуральности, и лучшее общество доказываетъ, что вовсе не оскорбляется естественностью языка въ «Ревизорѣ»: «лучшее общество сидитъ въ ложахъ и креслахъ, когда его играютъ; брошюрка «Ревизора» лежитъ на модныхъ столикахъ работы Гамбса».

"Говорять, что "Ревизоръ"-комедія безнравственная, потому что въ ней выведены одни пороки и глупости дюдскія, что уму и сердцу не на комъ отдохнуть отъ негодованія и отвращенія; нёть свътлой стороны человічества для примиренія зрителей съ человічествомъ, для назиданія ихъ... Мы признаемь безиравственнымь сочинениемь только то, которое вводить вы соблазнь и въ искушение. Безпристрастное изложение самаго соблазна не можетъ быть безиравственно. Авторъ, следуя въ этомъ случав Провидению, допускаетъ зло, предоставляя воль и совысти читателя и зрителя пользоваться представленнымъ урокомъ по своимъ чувствамъ и правиламъ. Не должно забывать, что есть литература взрослыхъ людей и литература малольтнихъ: конечно, между людьми взрослыми бывають и такіе, которые любять до старости быть подъ указкою учителя; говорите имъ внятно: вотъ это делайте! а того не делайте, за это скажуть вамь: "пай, дитя", погладять по головкь и дадуть сахарцу! за другое: "фи, дитя", выдеруть за ухо и поставять въ уголь. Но какъ же требовать, чтобы каждый художникъ носвятиль себя на должность школьнаго учителя или дядьки? На что вамъ честные люди въ комедін, если они не входили въ планъ комическаго писателя? Живописецъ представилъ вамъ сцену разбойниковъ; вамъ этого недовольно: для нравственной симметрін, вы требуете, чтобы на первомъ же плань быль изображень человькь, который отдаеть полный кошелекъ свой нищему, иначе зрёлище слишкомъ прискорбно и тяжело дъйствуетъ на нервы ваши. Вы и въ театрь не можете просидьть двухъ часовъ безъ того, чтобы не явился вамъ хотя одинъ честный человькъ, одинъ герой добродътели, -- именно герой: ибо въ представлении просто добраго человека не было бы никакой цели: неть нужна сопротивная сила для отпора и сокрушенія порочныхъ, — однимъ словомъ "барыня требуеть весь туалеть!" Да помилуйте! въ жизни и въ свете не два часа просидишь иногда безъ благороднаго, утышительнаго сочувствія. Кто изъ зрителей "Ревизора" пожелаль бы быть Хлестаковымъ, Земляникою или даже и невинными Петрами Ивановичами Добчинскимъ и Бобчинскимъ? Върно, никто! Савдовательно, въ дъйствіи, производимомъ комедією, нътъ ничего безнравственнаго, —можетъ быть впечатльніе непріятное, какъ во всякой сатирь, изображающей недуги обществаюто дьло другое. Но это непріятное дъйствіе умърено сміхомъ. Слідовательно, условія искусства выдержаны, комикъ правъ.

"Сущность общественных замічаній сбивается во многомъ на вышеприведенныя замічанія. Говорять, что эта комедія поклепь на русское общество, перебирають въ Зябловскомъ и Арсеньеві всі уізды великороссійскихь, малороссійскихь, западныхъ и восточныхъ губерній и заключають, что такого города ність и въ государстві. Да есть ли на біломъ світі люди, похожіе на тіхъ, которые выведены въ комедіи? Безспорно, есть! Довольно этого".

И возможно ли упрекать Гоголя въ томъ, что онъ употребляетъ слишкомъ черныя краски? Въ «Ябедѣ» Капниста злоупотребленія изображаются гораздо безпощаднъйшимъ языкомъ.

"Всь возможных сатурналіи и вакханаліи Оемиды, во всей наготь, во всемь безчинствь своемь раскрываются туть на сцень гласно и торжественно. Гражданская палата засъдаеть, слушаеть и судить дыла вь той же комнать, гдь за нъсколько часовь передь тымь бушевала оргія; вчерашнія бутылки валяются подъ присутственнымь столомь, прикрытымъ краснымъ сукномь, которое, по мнанію повытчика,

множество привыкло прикрывать И не такихъ грѣховъ!

"Деньги туть даются не въ займы, а въ явный подкупъ. Предсъдатель гражданской палаты, члены, прокуроръ поють хоромъ:

Бери, —большой туть нёть науки, — Бери, что только можно взять! На что жь привёшены намъ руки, Какъ не на то, чтобъ брать, брать, брать?"

Конечно, (продолжаетъ критикъ) и тогда находились многіе, называвшіе комедію Капниста клеветою на общество, какъ нынъ говорять то же о комедін Гоголя. Но благородныя чувства поэта были оцънены Императоромъ Павломъ Петровичемъ, который разръшилъ посвятить пьесу Капниста своему имени. Разборъ заключается прекрасными словами:

"Конечно, чувство патріотической щекотливости благородно: народное достоинство есть святыня, оскорбляющаяся малійшимъ прикосновеніемъ. Но при этихъ чувствахъ не должно быть одностороннимъ въ понятіяхъ своихъ. При взлишней щекотливости вы стісняете талантъ и искусство, стісняете самое правственное дійствіе благонаміренной литературы. Комедія, сатира, романъ

нравовъ исключаются изъ нея при допущении подобнаго чувства въ безусловное и непреложное правило. После того ни одно злоупотребление не можетъ поллежать кисти или клейму писателя, не одинъ писатель не можеть быть по миров силь споспышникомь общаго блага, по выражению Капниста *). Личность, званіе, національность, а наконець и человічество будуть ограждать злоупотребителей опасеніемъ нарушить уликою въ злоупотребленіи уваженіе къ тому, что подъ нимъ скрывается достойнаго уваженія и неприкосновеннаго. Но міръ нравственный и міръ гражданскій иміють свои противорічія, свои прискорбныя уклоненія отъ законовъ общаго благоустройства. Совершенство-ціль недостижимая; но совершенствование есть, не менте того, обязанность и свойство природы человъческой. Говорять, что въ комедін Гоголя не видно не одного умнаго человька; неправда: умень авторь. Говорять, что въ комедіи Гоголя не видно ни одного честнаго и благомыслящаго лица; неправда: честное и благомыслящее лецо есть правительство, которое, силою закона поражая злоупотребленія, позволяеть и таланту исправлять ихъ оружіемъ насмёшки. Въ 1783 году оно допустило представление "Недоросля", въ 1799—"Ябеды", а въ 1836—"Ревизора".

И, можно прибавить теперь, въ 1842 году—печатаніе первой, а въ 1855 году—второй части «Мертвыхъ Душъ».

Влагородна ли эта статья, справедлива ли она, давно уже ръшено и публикою и признано лучшимъ нашимъ критикомъ, который очень часто на нее ссылался.

Мы не будемъ также говорить подробно о критической дѣятельности г. Плетнева. Опять скажемъ только, что его имя неразрывно связано съ именами Жуковскаго, Пушкина и Гоголя. Приномнимъ еще, что «Вечера на хуторѣ близъ Диканьки» изданы были по совѣту г. Плетнева, да и самое заглавіе этой книгѣ дано по его же совѣту. (Віографія Пушкина, г. Анненкова, въ І томѣ «Сочиненій А. С. Пушкина», стр. 366). Считая неловкимъ говорить о г. Плетневѣ болѣе, мы ограничимся тѣмъ, что представимъ — также безъ всякихъ эпитетовъ—извлеченіе изъ статьи о «Мертвыхъ Душахъ», которую онъ, подъ псевдонимомъ С. III., напечаталъ въ ХХVІІ томѣ издававшагося тогда имъ «Современника».

Цель этого разбора, такъ же, какъ статьи князя Вяземскаго о «Ревизоре» — доказать нелепость обвинений и упрековъ противъ

^{*)} Слова Капниста въ посвященін "Ябеды" Императору Павлу І: Подъ Павловымъ щитомъ почію невредимъ, Но, бывъ по мъръ силъ спосившникомъ Твоимъ, Сей слабый трудъ Тебъ я посвятить дерзаю. Да Именемъ Твоимъ успъхъ его вънчаю.

Гоголя. Критикъ сначала объясняетъ, почему произведенія Гоголя въ художественномъ смыслѣ неизмѣримо выше всего остальнаго въ тогдашней русской литературь: они-созданія живаго, геніальнаго творчества. Сюжетъ «Мертвыхъ Душъ» немногосложенъ и превосходно развить. Жизнь и характеры изображены съ поразительною живописью, съ изумительною полнотою, въ высшей степени объективно. Въ самыхъ спокойныхъ сценахъ обнаруживаетъ авторъ геніальную проницательность, знаніе жизни и человіческаго сердна. обнаруживаетъ безъ всякихъ усилій, самымъ непринужденнымъ и естественнымъ образомъ. Это доказывается примърами, между прочимъ разговоромъ Чичикова съ Коробочкою (эта сцена, вовсе неблистательная для новерхностнаго читателя, действительно, принадлежить къ числу самыхъ геніальныхъ въ художественномъ отношеніи). Гоголь не только не впадаеть въ каррикатуру или фарсь: онъ даже не намеренъ ни одного слова сказать съ темъ, чтобы раземѣшить васъ. Онъ заботится только о вѣрности съ жизнью, объ истинь; а если эта жизнь кажется вамъ нельпа и смышна, это уже ея качество, а не его намърение. И ошибочно было бы думать, что сильнъйшее впечатлъніе, производимое «Мертвыми Душами» -- смъхъ: напротивъ эта книга очень серьезная и грустная. Всё лица въ ней живыя, всё имёютъ глубокій смыслъ для того, кто хочеть постичь нашу жизнь. При этомъ г. Плетневъ, по нашему мивнію, очень справедливо и тонко, замвчаеть, что типы Манилова и Плюшкина ифсколько уступають въ значеніи для нашей жизни остальнымъ лицамъ «Мертвыхъ Душъ», хотя и они очень важны. Тесная связь съ жизнью, серьезное значение для жизнивысочайшее качество художественнаго сознанія. Въ этомъ отношеніи ніть въ нашей литературів ничего равнаго «Мертвымъ Душамъ». Однако же, хотя и ивтъ ничего имъ равнаго, «Мертвыя Души» не совсемъ удовлетворяють критика въ этомъ существеннъйшемъ смыслъ-мысль чрезвычайно замъчательная; мы просимъ читателей обратить на нее особенное внимание и, выписывая вполнъ все это мѣсто изъ разбора г. Плетнева, не можемъ желать лучшаго, болье върнаго и значительнаго заключенія для нашей статьи:

[«]При всёхъ достоинствахъ поэма, конечно, поразить каждаго недостаткомъ важнымъ. Въ ней пётъ того, чего мы еще не встрёчаемъ въ нашей жизни—серьезнаго общественнаго интереса. Я не умёлъ придумать другаго

названія тому качеству нашихъ разговоровъ, мыслей и поступковъ, которое не отнимая у нихъ обязанностей національности, придаеть имъ ценность обшую и вводить ихъ въ соприкосновение съ интересами другихъ народовъ. Самыя поразительныя мёста, отъ которыхъ приходищь въ восхищеніе, не выносять души на тоть горизонть, откуда она обозрѣваеть подобныя явленія иностранныхъ писателей. Во всемъ чувствуешь мелочность и ограниченность. Для иностранца, который не въ состояніи трепетать отъ художественнаго мастерства автора, вся предесть исчезаеть, за недостаткомъ жизни болье цвиной и болье общенонятной. Это все нисколько не говорить противь Гоголя, напротивъ, еще оправдываетъ его. Авторъ безъ такта, привыкнувшій сбманываться въ своихъ ощущеніяхъ, легко подымающійся на ходули, когда не на чемъ болье показаться высокимь, обыкновенно поддылывается подь какой нибудь извъстный ему тонъ и, такимъ образомъ, все рисуетъ ложно. Гоголь возвратилъ обществу то, что оно могло дать ему само. Какъ прежняя, такъ и нынешняя наща общежительность хранить въ своей исторіи любопытныя доказательства въ оправдание того, что и у всёхъ, самыхъ великихъ писателей русскихъ, степень развитія общественныхъ интересовъ всегда была ниже, пежели у писателей другихъ народовъ. («Соврем.» 1842 г., часть XXVII, стр. 55-56).

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Въ критическихъ статьяхъ, или, лучше сказать, замъчаніяхъ Пушкина (замъчаніяхъ, говоримъ мы, потому что его рецензін почти вст очень невелики по объему и набросаны, кажется, наскоро, подъ вліяніемъ перваго впечатлівнія) почти всегда блещеть тонкій и вёрный вкусъ нашего великаго поэта. Иначе и быть не могло, какъ ни важно участіе безсознательной творческой силы въ созданіп поэтических в произведеній, какъ ни достов рна всеми нынё признаваемая истина, что безъ этого элемента непосредственности, составляющей существенныйшее качество таланта, невозможно быть не только великимъ, но и порядочнымъ поэтомъ,---но равно достовърно и то, что, при самомъ сильномъ даръ безсознательнаго творчества, поэтъ не создастъ ничего великаго, если не одаренъ также замъчательнымъ умомъ, сильнымъ здравымъ смысломъ и тонкимъ вкусомъ. То же самое, что о критическихъ статьяхъ Пушкина, надобно сказать и о журнальной деятельности людей, составлявшихъ его литературную партію. Всв эти двятели нашей критики отличались, полобно своему корифею, тонкимъ вкусомъ, какъ и вообще походили на него многими прекрасными чертами своего литературнаго характера, - напримъръ, готовностью съ нелицепріятнымъ благородствомъ отдавать каждому должное. Такимъ образомъ, Пушкинъ и его сподвижники обладали многими изъ качествъ, необходимыхъ для того, чтобы оказывать сильное вліяніе на митнія читающей публики, -и, однако же, ихъ мивнія имвли и на публику и на развитіе литературы менёе вліянія, нежели какъ должно было бы ожидать: и большинство читателей и новое покольніе писателей поддавались преимущественно вліянію других литературных мифній. Каковы были эти мивнія, мы старались показать подробными характеристиками критическихъ направленій, которыя преобладали

въ нашей литературъ до той эпохи, когда пріобръла въ ней ръшительное господство критика «Отеч. Записокъ», или усиливались бороться противъ литературныхъ мивній этого журнала. Не можетъ быть сомивнія въ томъ, что Пушкинъ и его сподвижники высказывали очень много вернаго и прекраснаго. Почему жь ихъ мненія не имели более значительнаго вліянія на литературу п массу публики? Ответъ готовъ у каждаго читателя: журналъ, бывшій органомъ пушкинскаго направленія критики, не проникаль въ массу публики, какъ не проникала въ публику и «Литературная Газета» Дельвига, предшествовавшая этому журналу, «Современнику» 1836—1846 годовъ. Подробное объяснение этого явления, принадлежащее исторіи пушкинскаго періода русской литературы, лежить вив предвловь нашей задачи. Потому изъ многихъ причинъ малоизвёстности кратко укажемъ только одну, спеціально касающуюся формальной стороны пушкинскаго направленія критики: указывать причины, лежащія въ самомъ содержаніи, въ самомъ духв этой критики, мы не будемъ, потому что это завлекло бы насъ слишкомъ далеко. Для распространенія въ публикъ какихъ бы то ни было, хотя бы самыхъ простыхъ и справедливыхъ, мивній необходимо высказывать ихъ очень настойчиво, упорно, съ энтузіазмомъ страстнаго увлеченія, не утомляющагося скучными для самого критика, но нужными для массы повтореніями, не пренебрегающаго подробнымъ разборомъ книгъ и сужденій, которыя важны только по своему внъшнему значеню — по вліянію на публику, а не по внутреннему интересу для искусства, наконецъ не отвращающагося, ради интересовъ публики, даже отъ споровъ съ людьми, вступать въ споръ съ которыми вовсе не пріятно и не почетно. Однимъ словомъ, критическая дѣятельность, подобно всякой другой общественной деятельности, иметь много сторонь, темь более полезныхъ для публики, чёмъ непріятнёе онё для самого деятеля. Критикъ, который хочетъ говорить только о томъ, о чемъ интересно говорить для него самого, который хочеть сохранить въ своей дінтельности столько же гордаго спокойствія и достоинства, сколько сохраняеть поэть или ученый, - такой критикь пишеть для немногихъ. Пушкинъ и его литературные друзья знали это; дъйствуя на поприщѣ критики, они и не хотѣли подчиняться условіямъ, несовивстимымъ съ ихъ понятіями о собственномъ достоинствъ; они знали, что чрезъ это отказываются отъ средствъ достичь

тоснодства надъ массою публики,—да они и не стремились къ такому госнодству: они поставили себъ цълью довольствоваться спокойнымъ сочувствіемъ немногихъ читателей, которыхъ считали избранными, и гордо думали, что качества ихъ слушателей вознаграждаютъ за количество. Это было положительно ими высказываемо много разъ. Ограничиваемся указаніемъ этого принципа ихъ критической дъятельности, потому что и его было бы достаточно для объясненія незначительности ея вліянія на публику, если бы даже не было другихъ причинъ, еще болье важныхъ, разборъ которыхъ завлекъ бы насъ слишкомъ далеко за предълы нашей запачи.

Такимъ образомъ, несмотря на многія несомивнимя достопиства критики пушкинскаго направленія, она не имёла обширнаго вліянія, — отчасти, какъ мы сказали, оттого, что и не хотела иметь его. Кто вздумаль бы писать исторію развитія литературныхъ мивній не въ русскомъ обществе, а въ кругу дилетантовъ, довольствовавшемся замкнутою для остальной массы публики жизнью, тотъ нашель бы много матеріаловь для свётлаго изображенія критической дъятельности этого тъснаго избраннаго круга, — нашелъ бы, что многія истины, введеніе которых въ сознаніе большинства совершено (другими людьми) только послѣ жестокой борьбы, всегда признавались школою Пушкина. Насъ теперь занимаетъ другая задача: собрать матеріалы для исторіи распространенія справедливыхъ литературныхъ идей въ массъ публики. Потому, ограничиваясь тёми краткими указаніями на характеръ критики пушкинскаго направленія, которыя нашли себ'є м'єсто въ начал'є этой и въ концъ предъидущей нашей статьи, мы должны обратить все наше вниманіе на тоть журналь, который быль распространителемъ господствующихъ нынъ литературныхъ понятій въ огромномъ большинствъ публики, и на его достойныхъ предшественниковъ.

Читателямъ извъстно, что эта заслуга принадлежитъ критикъ, которая, образовавшись въ «Телескопъ» и явившись совершенно самостоятельною въ «Московскомъ Наблюдателъ» второй редакціи (1838 — 1839 г.), достигла полнаго своего развитія въ «Отечественныхъ Запискахъ», бывшихъ ея органомъ втеченіе семи лътъ (1840—1846 г.), потомъ около года одушевляла нашъ журналъ. Итакъ, показавъ ея зародыши въ «Телескопъ», предшественницами котораго были статън Надоумко (покойнаго Н. И. Надеждина) въ

«Втетникт Европы», вторую эпоху ея развитія въ «Московскомъ Наблюдатель», мы должны будемъ говорить преимущественно объ «Отечественныхъ Запискахъ». Читателямъ извъстно, что отношенія между «Отечественными Записками» и нашимъ журналомъ были не всегда дружелюбны, или, върнъе сказать, почти всегда недружелюбны; они также знають, которому журналу принадлежала постоянно роль наступательная и которому оборонительная. Но читатели, конечно, должны ожидать, что въ томъ отдёлё «Очерковъ», къ которому мы теперь приступаемъ, не найдуть они ни малъйшаго отголоска этихъ отношеній. Мы пишемъ исторію не журнальной полемики, а литературныхъ мнвній; следовательно совершенно неумъстно обращать здъсь внимание на то, что происходило отъ причинъ чисто внёшнихъ и случайныхъ. Притомъ же, мы не имњемъ не только охоты, но и хронологической возможности обращать здёсь какое бы то ни было внимание на эту полемику, относящуюся къ поздивинему времени: мы ограничиваемся теперь какъ сказали, блестящею эпохою «Отечественныхъ Записокъ», когда въ этомъ журналь дыйствовали всь ть люди, которые отдылились отъ него при основаніи нашего журнала. Посл'є 1847 года русская критика вообще замѣтно ослабѣла: она уже не шла впереди общественнаго мивнія, -- она была счастлива, если успъвала быть хотя поздиниъ и хотя слабымъ отголоскомъ его; иногда и это счастіе не доставалось ей на долю; она не имъла вліянія, она сама подвергалась вліянію: оттого вовсе не имфеть той важности для исторін литературы, какъ предшествовавшая ей критика 1840—1847 годовъ, которая одна доселѣ сохранила свою жизненность. Вообще, въ критикъ послъднихъ лътъ только то и было здороваго, что сохранилось отъ прежней критики. Всф остальныя направленія были тунеядными, пустоцевтными растеніями. Потому одна критика 1840—1847 годовъ заслуживаетъ нашего вниманія, она одна достойна того, чтобы называться «критикою гоголевскаго періода нашей литературы»: пусть же, за отсутствіемъ собственнаго имени. это название будеть для нея собственнымъ именемъ.

Литературныя стремленія, одушевлявшія критику 1840—1847 годовъ, или, какъ мы согласились называть, критику гоголевскаго періода, кажутся намъ, какъ и всёмъ здравомыслящимъ людямъ настоящаго времени, вполнё справедливыми; мы всё привязаны къ ней горячею любовью преданныхъ и благодарныхъ учениковъ. И

если у каждаго изъ насъ есть предметы, столь близкіе и дорогіе сердцу, что, говоря о нихъ, онъ старается наложить на себя холодность и спокойствіе, старается избѣжать выраженій, въ которыхъ бы слышалась его слишкомъ сильная любовь, напередъ увѣренний, что, при соблюденіи всей возможной для него холодности, рѣчь его будеть очень горяча,— если, говоримъ мы, у каждаго изъ насъ есть такіе дорогіе сердцу предметы, то критика гоголевскаго періода занимаетъ между ними одно изъ первыхъ мѣстъ, наравнѣ съ самимъ Гоголемъ. Каждый любящій свою литературу и слѣдивній за ея развитіемъ признаеть, что это «мы» относится и къ нему. Потому-то будемъ говорить о критикѣ гоголевскаго періода какъ можно холоднѣе; въ настоящемъ случаѣ, намъ не нужны и противны громкія фразы: есть такая степень уваженія и сочувствія, когда всякія похвалы отвергаются, какъ нѣчто не выражающее всей полноты чувства.

Много было достоинствъ у критики гоголевскаго періода; но всф они пріобратали жизнь, смыслъ и силу отъ одной одушевлявшей ихъ страсти-отъ пламеннаго патріотизма. Какъ всё высокія слова, какъ любовь, добродътель, слава, истина, слово патріотизмъ иногда употребляется во зло непонимающими его людьми для обозначенія вещей, не иміющихъ ничего общаго съ истиннымъ патріотизмомъ; нотому, употребляя священное слово «патріотизмъ», часто бываеть необходимо опредёлять, что именно мы хотимъ разумёть подъ нимъ. Для насъ идеалъ патріота—Петръ Великій; высочайшій патріотизмъ-страстное, безпредальное желание блага родина, одушевлявшее всю жизнь, направлявшее всю деятельность этого великаго человека. Понимая патріотизмъ въ этомъ единственномъ истинномъ смысль, мы замьчаемь, что судьба Россіи въ отношеніи къ задушевнымъ чувствамъ, руководившимъ деятельностью людей, которыми наша родина можеть гордиться, досель отличалась оть того, что представляетъ исторія многихъ другихъ странъ. Многіе изъ великихъ людей Германіи, Франціи, Англіи заслуживаютъ свою славу, стремясь къ цёлямъ, не имёющимъ прямой связи съ благомъ ихъ родины; напримфръ (чтобы ограничиться сферою двятельности, доступной частнымъ людямъ), многіе изъ величайшихъ ученыхъ, поэтовъ, художниковъ имъли въ виду служение чистой наукъ или чистому искусству, а не какимъ нибудь исключительнымъ потребностямъ своей родины. Бэконъ, Декартъ, Галилей, Лейоницъ,

Ньютонъ, нынъ Гумбольдтъ и Либихъ, Кювье и Фареде трудились и трудятся, думая о пользахъ науки вообще, а не о томъ, что именно въ данное время нужно для блага извёстной страны, бывшей ихъ родиною. Мы не знаемъ и не спрашиваемъ себя, любили ли они родину: такъ далеко ихъ слава отъ связи съ натріотическими заслугами. Они, какъ деятели умственнаго міра, космополиты. То же надобно сказать о многихъ великихъ ноэтахъ западной Европы. Укажемъ въ примъръ на величайшаго изъ нихъ-Шекспира. Неизмъримо велики его заслуги для развитія чистаго искусства: по своему художественному совершенству и исихологическому глубокомыслію, его произведенія имѣли огромное и благодътельное дъйствіе на судьбу искусства и, чрезъ то, косвеннымъ образомъ, вообще на развитие человъчества, - и въ Англіи конечно, какъ въ Германіи, Франціи, Россіи. Но что хотель онъ сделать спеціально для современной ему Англіи? Въ какомъ отношеніи быль онь къ вопросамъ ея тогдашней исторической жизни? Онь, какъ поэтъ, не думалъ объ этомъ: онъ служилъ искусству, а не родинѣ; не натріотическія стремленія, а только художественнопсихологические вопросы были двинуты впередъ Макбетомъ и Лиромъ, Ромео и Отелло. Изъ другихъ великихъ поэтовъ о многихъ надобно сказать тоже самое. Назовемъ Аріосто, Корнеля, Гёте. О художественныхъ заслугахъ передъ искусствомъ, а не особенныхъ, преимущественныхъ стремленіяхъ дъйствовать во благо родины, напоминаютъ ихъ имена. У насъ не то: историческое значеніе каждаго русскаго великаго человіка изміряется его заслугами родинъ, его человъческое достоинство-силою его натріотизма. Ломоносовъ, Державинъ, Карамзинъ, Пушкинъ справедливо считаются великими писателями,-но почему? «Потому что оказали великія услуги просвёщению или эстетическому воспитанию своего народа». Ломоносовъ страстно любилъ науку, но думалъ и заботился исключительно о томъ, что нужно было для блага его родины. Онъ хотель служить не чистой науке, а только отечеству. Державинь даже считаль себя имѣющимъ право на уваженіе не столько за поэтическую деятельность, сколько за благія свои стремленія въ государственной службъ. Да и въ своей поэзіп что цъниль онъ? Служеніе на пользу общую. То же думаль и Пушкинь. Любопытно въ этомъ отношении сравнить, какъ они видоизмѣняютъ существенную мысль гораціевой оды «Памятникъ», выставляя свои права на

безсмертіе. Горацій говорить: «я считаю себя достойнымь славы за то, что хорошо писаль стихи»; Державинь замёняеть это другимь: «я считаю себя достойнымь славы за то, что говориль правду и народу и царямь»; Пушкинь—«за то, что я благодётельно дёйствоваль на общество и защищаль страдальцевь»:

Всякь будеть помнить то,
Что первый я дерзнуль...
О добродьтеляхь Фелицы возгласить...
И истину царямь сь улыбкой говорить. (Д.)

И долго буду я народу тёмъ любезенъ, Что чувства добрыя я лирой пробуждалъ, Что прелестью живой стиховъ я былъ полезенъ И милость къ падшимъ призывалъ. (И.).

Но ни въ комъ изъ нашихъ великихъ писателей не выражалось такъ живо и ясно создание своего патріотическаго значенія, какъ въ Гоголѣ. Онъ прямо себя считалъ человѣкомъ, призваннымъ служить не искусству, а отечеству; онъ думалъ о себѣ:

"Я не поэтъ, я гражданинъ".

Невозможно, чтобы наши великіе поэты ошибались въ этой мысли о своемъ призваніи и діятельности, которая руководила всеми ими. Невозможно, чтобъ все отечество ошибалось втечени слишкомъ ста летъ, о каждомъ изъ своихъ замечательныхъ писателей, ученыхъ и поэтовъ одинаково говоря: «онъ великъ потому, что деятельность его была направлена къ общей пользе». Действительно, до сихъ поръ для русскаго человъка единственная возможная заслуга передъ высокими пдеями правды, искусства, наукисодъйствіе распространенія ихъ въ его родинъ. Современемъ будуть и у насъ, какъ у другихъ народовъ, мыслители и художники. дъйствующіе чисто только въ интересахъ науки или искусства; но, пока мы не станемъ по своему образованию наравнъ съ наиболъе успѣвшими націями, есть у каждаго изъ насъ другое дѣло, болье близкое къ сердцу-содъйствіе, по мъръ силъ, дальнъйшему развитію того, что начато Петромъ Великимъ. Это дело до сихъ поръ требуеть и, въроятно, еще долго будеть требовать всёхъ умственныхъ и нравственныхъ силъ, какими обладаютъ наиболъе одаренные сыны нашей родины. Русскій у кого есть здравый умъ и живое сердце, до сихъ поръ не могъ и не можеть быть ничёмъ инымъ, какъ патріотомъ, въ смыслё Петра Великаго, — дёятелемъ въ великой задачё просвещенія русской земли. Всё остальные интересы его дёятельности—служеніе чистой наукв, если онъ ученый, чистому искусству, если онъ художникъ, даже пдев общечеловеческой правды, если онъ юристъ — подчиняются у русскаго ученаго, художника, юриста великой идев служенія на пользу своего отечества.

Въ этомъ смыслѣ, не много найдется въ нашей литературной исторіи явленій, вызванныхъ такимъ чистымъ натріотизмомъ, какъ критика гоголевскаго періода. Любовь къ благу родины была единственною страстью, которая руководила ею: каждый фактъ искусства цѣнила она по мѣрѣ того, какое значеніе онъ имѣетъ для русской жизни. Эта идея —паеосъ всей ея дѣятельности. Въ этомъ паеосѣ и тайна ея собственнаго могущества.

Но если дъятельность человъка безплодна и ничтожна, когда не одушевлена высокою идеею, то идея получаетъ цънность въ дъйствительности только тогда, когда въ человъкъ, посвящающемъ себя служенію высокой идеъ, есть достаточныя силы для ея удовлетворительнаго осуществленія. Посмотримъ же, какими силами располагала критика гоголевскаго періода.

Челов'вка, который быль органомь этой критики, невозможно не признать геніальнымъ. Мы не слишкомъ щедры въ употребленіп этого эпитета: геніальныхъ людей очень мало. Въ людяхъ съ самыми, повидимому, блестящими силами ума оказываются большею частью признаки некоторой ограниченности, не въ томъ, такъ въ другомъ отношении. Исключений очень мало, и въ новой русской литературъ ихъ не болье двухъ: кромъ указаннаго нами человъка, Гоголь, - и только. Быть можеть, Кольцовъ быль бы третьимъ въ этомъ ряду, если бы прожиль долже или обстоятельства позволили его уму развиться ранте. Геніальный человікъ производить на насъ впечатлъніе совершенно особеннаго рода, какого не производять самые умные, самые даровитые изъ другихъ людей: вы видите въ немъ такой умъ, которому ясны самые трудные вопросы, который даже не понимаетъ, что въ нихъ труднаго; когда онъ говорить, и для васъ становится ясно и просто все, — вы дивитесь не тому, что онъ разръшилъ вопросъ, а только тому, что вы сами не разрѣшили этого вопроса безъ всякаго труда: вѣдь стоило только

взглянуть на дёло простыми, вовсе не мудрыми глазами. Вёдь камень летить къ землѣ, -- ясно, что земля притягиваеть его къ себъ. Вѣдь поставить яйцо на остромъ концѣ—самая простая вещь, надъ которой и думать нечего. Вёдь каждый глупець, кажется, могъ бы знать не хуже Наполеона, что решение войны зависить отъ сосредоточенія всёхъ силь въ главномъ пунктё. Вёдь каждый глупецъ могъ бы, кажется, догадаться, что жизнь есть рядъ перемвнъ, что все въ мірѣ измѣняется и что одна крайность влечетъ за собою другую; а въ открытіи этихъ истинъ заключается едва ли не главная тайна гегелевской философіи. Необычайная простота, необычайная ясность — удивительнъйшее качество геніальнаго ума. Но дело въ томъ, что онъ берется за существенную сторону вопроса, отъ решенія которой все зависить, а изъ всехъ вопросовъ онять берется за существеннайшій въ даль, отъ рашенія котораго зависить понимание остальныхъ вопросовъ, потому-то и ясенъ для него каждый вопросъ, каждое дъло. Удивительно, подумаешь, какъ и мив и вамъ не случается каждый день двлать геніальных роткрытій: вёдь, кажется, будь каждый изъ насъ на мёстё Колумба, Ньютона, или Наполеона, у каждаго достало бы ума догадаться о томъ, о чемъ они догадались и за что называютъ ихъ геніальными людьми? Просто, они были люди не безъ здраваго смысла.

И, если хотите, это такъ: геній—просто человѣкъ, который говорить и дѣйствуетъ такъ, какъ должно на его мѣстѣ говорить и дѣйствовать человѣку съ здравымъ смысломъ; геній—умъ, развившійся совершенно здоровымъ образомъ, какъ высочайшая красота—форма, развившаяся совершенно здоровымъ образомъ. Если хотите, красотѣ и генію не нужно удивляться; скорѣе надобно было бы дивиться только тому, что совершенная красота и геній такъ рѣдко встрѣчаются между людьми: вѣдь для этого человѣку нужно только развиться, какъ бы ему всегда слѣдовало развиваться. Ненонятно и мудрено заблужденіе и тупоуміе, потому что они неестественны, а геній простъ и понятенъ, какъ истина: вѣдь естественно человѣку видѣть вещи въ ихъ истинномъ видѣ.

Такое впечативніе совершенной простоты и ясности производить критика гоголевскаго періода. Она провела въ наше литературное сознаніе самыя простыя истины, нынв ясныя, какъ светлый день, для каждаго здравомыслящаго человека, значеніе которыхъ очень велико. Итакъ, мы дошли до вопроса о системв литератур-

ныхь воззрвній въ критикъ гоголевскаго періода и постараемся изложить, по возможности, ясно и точно этотъ предметь, важнъйшій въ исторіи нашей литературы: только Гоголь равняется свомиъ значеніемъ для общества и литературы значенію автора статей о Пушкинъ.

Фактъ, столь значительный, какъ критика гоголевскаго періода, не могъ возникнуть внезапно, въ одно прекрасное утро: такъ являются только литературные грибы; не могъ возрости изъ ничего: такъ надуваются собственною пустотою только литературные мыльные пузыри, которыхъ мы видывали довольно, и которые лопались въ глазахъ насмъшливо улыбающейся публики, не смотря на всъ крики своихъ записныхъ поклонниковъ, которые, впрочемъ, на другой же день забывали о ихъ эфемерномъ существованіи. Критика гоголевскаго періода росла долго, прежде нежели достигла своего полнаго развитія: предшественникомъ «Отечественныхъ Записокъ» былъ «Телескопъ», образователемъ автора статей о Пушкинѣ — покойный Надеждинъ, одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ людей въ исторіп нашей литературы, человѣкъ замѣчательнаго ума и учености.

До последняго времени, не было у насъ отдаваемо должной справедливости заслугамъ Надеждина въ наукъ и литературъ. Впна эта равно падаетъ и на журналы, по преимуществу называемые литературными, и на спеціалистовъ. Спеціалисты слишкомъ мало обращали вниманія на его труды по различнымъ отраслямъ науки; отчасти, быть можеть, потому, что они были разсвяны въ различныхъ періодическихъ изданіяхъ, такъ что трудно было собрать и обозрѣть, какъ одно цѣлое, его статьи, напримъръ, по русской исторіи или этнографіи, отчасти, потому, что он'в въ свое время едва ли могли быть поняты и прошли мало замвченными по тому самому, что были глубокомысленнее, того, что требовалось двадцать леть назадь. Только тё спеціалисты, которые лично знали Надеждина, всегда думали о немъ, какъ объ ученомъ, у котораго каждый изъ нихъ можеть учиться, но только думали, а не писали. Въ журналахъ имя Надеждина упоминалось очень редко, да и то развѣ вскользь, и всегда эти бѣглые отзывы были неблагопріятны ему: его считали какимъ-то зоиломъ, бранившимъ дивныя созданія нашей поэзіи, которыхъ не могъ онъ ценнть по своему безвкусію. Въ прошедшемъ году, нашъ журналъ заговорилъ о немъ иначе.

Излагая исторію, развитія понятій о значеніи Пушкина, мы объясняли основанія, по которымъ Надеждинъ, писавшій въ 1828— 1831 годахъ подъ псевдонимомъ эксъ-студента Надоумко, произносилъ строгій приговоръ всей тогдашней нашей литературѣ. Это быль едва ли не первый голось въ защиту энергического критика, многими забытаго, всёми другими осуждаемаго. Тогда мы не нашли себъ товарищей въ дълъ возстановленія доброй славы этого имени. И когда, назадъ тому всего три мъсяца, во второй статъв нашихъ «Очерковъ», мы упоминали о немъ, нашъ голосъ по прежнему оставался единственнымъ, возвышавшимся въ его защиту. Теперь нѣтъ нужды защищать его: смерть явилась печальной возстановительницей общаго уваженія къ нему въ нашей литературь: всь соединились въ похвалахъ умершему, котораго не чтили при жизни. Прекрасная статья г. Савельева, напечатанная въ № 5-мъ «Русскаго Въстника», встръчена общимъ одобреніемъ и сочувствіемъ... Жаль только, что хвалы не проникають въ могилы.

Теперь не нужно защищать Надеждина; но похвалы общими фразами недостаточны: надобно опредёлить его значение въ русской литературъ, показать мъру заслугъ его наукъ и изящной словесности. Если бы здёсь должно было представить полную оцёнку всей его ученой діятельности, мы отказались бы отъ такой задачи, превышающей силы наши. По многимъ и разнородивишимъ отраслямъ науки, особенно касающимся Россіи, онъ былъ первымъ нашимъ спеціалистомъ; по многимъ другимъ, общимъ намъ съ западною Европою, равнялся съ лучшими нъмецкими или французскими спеціалистами. Всв отрасли нравственно-исторических наукъ, отъ философіи до этнографіи, были такъ глубоко изучены имъ, какъ ръдкому спеціалисту удается изучить одну свою частную науку. Этимъ страшнымъ запасомъ знанія располагаль умъ необыкновенно сильный, свытлый и проницательный, и потому, о чемъ бы онъ ни писаль, онъ проливаль новый свёть на предметь, какой бы науки ни касался, двигалъ ее впередъ. А писалъ онъ обо всемъ, отъ богословія до русской исторіи и этнографіи, отъ философіи до археологіп. Такой многосторонней ученой діятельности не можеть вполив оценить одинь человекь. Когда исполнится высказанное многими желаніе, чтобы издано было полное собраніе сочиненій Надеждина, почти каждый изъ нашихъ ученыхъ, чёмъ бы ни занимался онъ, найдеть, что многіе важные вопросы его спеціальной науки лучше, нежели къмъ нибудь у насъ, объяснены Надеждинымъ, и будетъ изучать его труды: тогда одинъ ученый объяснитъ намъ важность его услугъ богословскихъ наукъ въ Россіи; другой оцънитъ его важные труды по русской исторіи, третій—по археологіи, четвертый—по филологіи, и изъ десяти-двадцати частныхъ характеристикъ составится достойный памятникъ его заслугамъ наукъ въ Россіи.

Мы должны показать значеніе только одной изъ различныхъ сторонъ его ученой дёятельности, разсмотрёть, какое вліяніе имѣлъ онъ, какъ критикъ, на развитіе у насъ здравыхъ литературныхъ понятій.

Едва ли кому изъ критиковъ удавалось начать свою литературную карьеру такимъ блестящимъ образомъ, какъ Надеждину. Первая его критическая статья, помѣщенная въ №№ 21-мъ и 22-мъ «Въстника Европы» 1828 года, произвела чрезвычайно сильное виечатленіе на весь тогдашній литературный міръ. Это были знаменитыя «Литературныя опасенія за будущій годь». Все вь ней было необычайно, все показалось странно и дико: и греческій эпиграфъ изъ Софокла, и подпись: «Эксъ-студентъ Никодимъ Надоумко. Писано между студенства и поступленія на службу. Ноября 22, 1828. На патріаршихъ Прудахъ», — и діалогическая форма: статья начинается довольно длиннымъ вступленіемъ въ пов'єствовательномъ родь, разсказомъ, какъ эксъ-студентъ Никодимъ Аристарховичъ Надоумко, въ своей одинокой каморкъ, на Патріаршихъ Прудахъ, размышляль о наступающемь новомь годь, какъ влетыль въ эту каморку его знакомець, записной поэть Тленскій, осыпавь его брызгами съ опущеннаго снъгомъ воротника шубы и какъ завязался между Тлёнскимъ и эксъ-студентомъ разговоръ о литературё. На вопросъ о здоровьт, хозяннъ шутливо отвтнать: «Слава Эскулапу!»—Тленскій не зналь, кто такой Эскулапь и, узнавь, что это «эпидаврскій грекъ», началь упрекать эксъ-студента, что онъ все бредить греками, перетряхаеть старинную труху, не обращая вниманія «на новый міръ дивныхъ чудесъ нашей поэзіи», на что хозяинъ отвѣчаетъ, что эти чудеса ему кажутся просто «озорными чудищами», но выраженію Тредьяковскаго. Необычайна была и вся внішность статьи, наполненной датинскими фразами, датинскими, н вмецкими и англійскими стихами, усвянной упоминаніями объ извъстныхъ и малоизвъстныхъ историческихъ именахъ и фактахъ,

проникнутой стремленіемъ къ невѣдомому тогда у насъ юмору. Но нелѣпѣе всего показалось самое направленіе статьи: въ ней доказывалось, что блестящая, повидимому, тогдашняя литература наша въ сущности представляеть очень мало утѣшительнаго; что лучшіе наши тогдашніе поэты не выдерживають критики, потому что таланты ихъ не развиты ни образованіемъ, ни жизнью, такъ что сами они не знають, какъ, что, зачѣмъ и почему они пишуть: доказывалось, что ихъ прославленныя поэмы состоять изъ безсвязныхъ, сшитыхъ бѣлыми нитками клочковъ; что ихъ содержаніе не прочувствовано, потому фальшиво и пусто; что поэты наши не понимаютъ Байрона, которому подражаютъ, уродуютъ заимствованные изъ него мысли и характеры, и т. д. Все это было высказано чрезвычайно рѣзко, съ безчисленными, самыми ясными и очень дерзкими намеками на поэмы Пушкина и критическіе панегирики имъ въ «Телеграфѣ» Полеваго.

Намъ, привыкщимъ видёть въ печати самые рёзкіе отзывы о наиболье уважаемыхъ нами писателяхъ, привыкшимъ хотя до нькоторой степени къ терпимости относительно мивній, несходныхъ съ нашими, трудно себѣ вообразить, какъ великъ былъ скандалъ, наделанный этою статьею. Крики негодованія раздались противъ нея отвсюду; она была осыпана бранью, еще боле резкою, нежели сама статья. Никодимъ Надоумко былъ не такой человекъ, котораго легко было запугать или переспорить: на выходки противъ его статьи отвечаль онь въ томъ же тоне и продолжаль печатать въ «Въстникъ Европы» одну статью за другой: въ первыхъ же книжкахъ 1829 года явились разборы поэмы Баратынскаго «Балъ» и Пушкина «Графъ Нулинъ» и статья «Сонмище Нигилистовъ» (Полевой, Пушкинъ и проч.), потомъ разборъ поэмы Подолинскаго «Борскій», «Полтавы» Пушкина, и рядъ этихъ частныхъ нападеній въ 1829 году завершился общею атакою въ стать в «Всвиъ сестрамъ по серьгамъ». Въ 1830 году продолжалась битва статъями «О настоящемъ злоупотреблении и искажении романтической поэзіи», о русской исторін Полеваго, о поэмѣ Подолинскаго «Нищій», о VII-й главь «Евгенія Оньгина» *). Всь онь (кромь послыдней,

^{*)} Кром'й полемических, въ "В'встник'й Европы" есть еще чисто ученый статьи Надеждина "О Высокомъ" и "Платонъ" Мы называемъ только важнайшия и обширнайшия статьи взъ помащенныхъ Надеждинымъ въ

писанной въ защиту Пушкина отъ нелъпыхъ нападеній со стороны прежнихъ его льстецовъ), и по внъшней формъ, и по тону, и по духу, точно таковы же, какъ «Литературныя Опасенія«: Надеждинъ, опираясь на эстетическія начала, ищетъ, есть ли высшія художественныя достоинства въ разбираемыхъ имъ поэмахъ, и находитъ, что въ нихъ нътъ пи тыни художественнаго единства, нътъ идеи, нътъ лицъ, которыя были бы ясно поняты самимъ авторомъ, нътъ выдержанныхъ характеровъ, наконецъ нътъ и дъйствія,—все безсвязно, наполнено промахами противъ природы и условій искусства, все вяло, блъдно, натянуто и холодно, не смотря на кажущійся блескъ и жаръ: этотъ блескъ и жаръ искусственный, поддъльный и потому фальшивъ. Чтобы дать читателямъ понятіе объ этихъ замъчательныхъ статьяхъ, отъ которыхъ, по выраженію Надоумко, сыры боры загорълись въ нашей литературъ, приведемъ нъсколько отрывковъ изъ двухъ или трехъ.

Главныя мѣста изъ первой статьи Надоумко «Литературныя Опасенія» были уже приведены въ нашемъ журналѣ («Совр.» 1855 г., № VII, Критика). Смыслъ ихъ мы представили выше; потому перейдемъ къ слѣдующимъ разборамъ знаменитыхъ тогда поэмъ и, не желая безъ крайней необходимости касаться нападеній на Пушкина, уважаемаго нами не менѣе, нежели кѣмъ бы то ни было, взглянемъ на разборы поэмъ Баратынскаго «Балъ» и Подолинскаго «Борскій». Первый начинается такъ:

«Напрасно восклицають брюзгливые старики, что мірь старьется. Они судять по себь и думають, что когда сами подвигаются впередь, то п все туда же за ними движется. Ничего не бывало! Мірь идеть совершенно обратною дорогою: чѣмь долье онь живеть, тѣмь болье молодится. Оглянитесь хоть на минутку назадь: что вы тамь увидите? Съдую древность, коей старушечье чело изрыто глубокими браздами суроваго размышленія и строгой отчетливости. Это

[&]quot;Въстникъ Европы", не упоминая о многихъ другихъ, отчасти не отмъченныхъ его подписью. Если бы кому нибудь вздумалось напечатать полный списокъ всего, что помъщено было Надеждинымъ въ этомъ и другихъ журналахъ до 1831 года, когда начался "Телескопъ", мы могли бы сообщить нъкоторыя соображенія относительно анонимныхъ статей Надеждина. Что касается статей, писанныхъ имъдля "Телескопа", сомивиія, остающіяся у насъ отпосительно многихъ рецензій, особенно въ первыхъ трехъ годахъ этого изданія, въроятно, могли бы быть разрішены положательными указаніями лицъ, бывшихъ тогда близкими къ этому журналу или его издателю; изъ нихъ назовечъ М. П. Погодина.

страшилище, коимъ можно только пугать настоящее цвѣтущее время дѣтской шаловливости! У насъ нынѣ живуть, дѣйствують, абонируются на славу и безсмертіе, не потѣя, по старинному, въ тяжелыхъ и безполезныхъ трудахъ *), а попросту, припѣваючи. Оттого и произведенія настоящаго времени отличаются не стародавною грубостью, прочностью и полновѣсностью, а эеирною дегкостью и миніатюрностью. Посмотрите на настоящія явленія книжнаго міра: это не книги, а книжечки, или, дучше сказать, книжоночки, въ собственнѣйшемъ смыслѣ слова! Печать, чернила, бумага, обертка—заглядѣнье! Форматъ умѣстится въ самомъ маленькомъ дамскомъ работномъ ящичкѣ; толщина не утомитъ самыхъ нѣжненькихъ, бѣленькихъ ручекъ; содержаніе—не затруднитъ ни одною мыслію самой вѣтренной и рѣзвой головки»!

Въ старину—продолжаетъ Надоумко—разборы начинались опредъленіемъ, къ какому роду относится произведеніе. Это нынѣ было бы совершенно неумѣстнымъ педантизмомъ: наши геніи пустились въ погоню за славой, какъ рьяный конь въ баснѣ Крылова, закусивъ узду,

Не взвидя свъта, ни дорогъ,

и смішно измірять циркулемь бурный біть ихъ. «Произведенія подобныхъ геніевъ всегда бывають вы ряду вонъ». Также смёшно было бъ искать въ нихъ «идеи, которая составляла бы ихъ эстетическую душу; это значило бы искать порожняго мѣста. Сотни Пигмаліоновъ самыми жарчайшими лобзаніями не могли бы пробудить мальйшей жизненной искорки въ этихъ разряженныхъ куколкахъ». Да и къ чему искать въ нашихъ поэмахъ идеи? «Статочное ли налагать на поэта тяжкую обязанность говорить о чемъ нибудь?>у насъ говорять ни о чемь. «У насъ главный законъ: пиши, пока пашется, не размышляя о томъ, что пишется. Чемъ мене холоднаго смысла, тъмъ огненные поэзія». Можно вообразить, каково продолжение разбора, начинающатося подобнымъ образомъ. Язвительно восхищаясь въ поэмъ всъмъ; Надоумко обнаруживаетъ, что все въ ней фальшиво, натянуто и неправдоподобно и сцепление событій, и характеры, и разговоры. Воть одинъ приміръ: повість состоить въ томъ, что княгиня Нина, женщина страстная до наглости, до совершеннаго презрѣнія къ мнѣнію свѣта, съ улыбкою меняющая своихъ любовниковъ, которую поэтъ изображаетъ такъ:

Въ ней жаръ упившейся вакханки,

любитъ Арсенія, который, «нося на чель»

^{*)} Т. е. не трудясь падъ собственнымъ образованіемъ и не думая о томъ что поэтъ долженъ глубоко изучать жизнь и людей.

Слёды мучительныхъ страстей, Слёды печальныхъ размышленій,

любить, въ свою очередь, Олиньку, которая описывается имъ саминь такъ:

.... Жеманная дівчонка, Со сладкой глупостью въ глазахъ.

Нина адски ревнуетъ Арсенія и отравляетъ себя ядомъ, когда онъ женится на Олинькъ. Кто не видитъ, какое широкое полѣ насмѣшкѣ дается этимъ сцѣпленіемъ неправдоподобныхъ событій и каррикатурныхъ снимковъ съ непонятыхъ героевъ и героинъ Байрона?

Вотъ какъ разсказываетъ Надоумко содержаніе «Борскаго». Народныя сказки, созданныя простодушными нашими прадѣдами— говорить онъ, — отличаются въ разсказѣ событій спокойствіемъ и обыкновенно кончаются поговоркою: «Стали жить да поживать, да добра наживать». Нынѣшнія такъ называемыя романтическія поэмы не таковы:

"Нъть ни одной изъ нихъ, которая бы не гремъла проклятіями, не корчилась судорожно, не заговаривалась во снъ и наяву и кончилась бы не смертоубійствомъ. Душегубство есть любимая тема нынёшней поэзіц, разъигрываемая въ безчисленныхъ варіаціяхъ: рѣзанья, стрѣлянья, утопленничества, давки, замороженья. Самый изобрѣтательнѣйшій инквизиторъ вѣка Филиппа II подивился бы неистощимому разнообразію убійствъ и самоубійствъ, измышляемыхъ настоящими геніями въ услажденіе и назиданіе наше. Сей поэтической кровожадности не чуждъ и "Борскій". Содержаніе его есть слідующее: Владиміръ Борскій любить Елену, происходящую изъ рода, враждебнаго и ненавистнаго Ворскимъ. Отецъ Владиміровъ не благославляетъ страсти сей, и несчастный три года скитается по Европъ съ безнадежно болящей душой. Возвратясь домой, онь не застаеть въ живыхъ отца, но получаеть изъ рукъ священника, присутствовавшаго при его кончинъ, завъщаніе, заключающее въ себъ прощеніе Владиміру, если онъ не будетъ мыслить объ Елень, п-проклятіе, если последняя воля отца не будеть для него священна. Владимірь не можеть противиться искушенію любви, распаленной уверенностью въ ненарушемой Елениной върности. Онъ женится; но въ самый часъ вънчанія совъсть пробуждается въ груди виновнаго. Онъ смущается, трепещетъ, съ мрачнымъ безчувствіемъ отвъчаетъ на первое лобзаніе юной супруги, и-Елена съ перваго дня брака разочарована. Она преследуеть своими подозреніями Владиміра, и въ омраченпомъ сердив его на подозрвнія откликаются подозрвнія. Въ одну несчастную почь, когда сонъ бъжаль отъ возмущеннаго ревностью Владиміра, Едена

> вдругъ встаетъ, Какъ призракъ въ сумракъ проходитъ

И тихо стала у окна.
Все видитъ Борскій; онъ не сводитъ Съ нея дозорливыхъ очей,
Онъ пританлся, онъ чуть дышитъ,—Вотъ слышитъ шопотъ—и яснъй;
Потомъ Елены голосъ слышитъ:
"Мой другь! постой! постой! побудь
"Со мной еще одно мгновенье!
"Позволь прижать уста и грудь
"Въ послёдній разъ!.. Мое моленье
"Ты отвергаешь... ты молчишь!
"Жестокій! стой! куда бъжишь?
"Я за тобой готова всюду;
"Какая бъ ни была страна,
"Тебя преслёдовать я буду!"

Владимірь, изступленный, бросается на свою жертву. По несчастію, місяць освітиль висяцій надь нимъ кинжаль:

"Стой!" грянуль голось.—Стой! не даль!" И воть сверкнуло лезвее, И кровь Елены на кинжаль, И рана въ сердив у нее!

Убійца вторгается въ хижину священника, прерываетъ его благочестивыя размышленія на мирномъ ложѣ и получаеть отъ него изъясненіе ужаснѣйшей тайны:

..... Твоя жена Невинна! знай: она была Лунатикъ!

Всѣ, конечно, ахнутъ, всѣ воскликнутъ вмѣстѣ съ Борскимъ:

..... Лунатикъ!..

И мы должны будемъ, пожавъ плечами, повторить отвётъ священника:

..... Знаемъ, Ударъ жестокій совершаемъ; Но мы не лжемъ—свидѣтель Богъ!

Мудрено ли послѣ того, что Владиміра нашли подъ снѣгомъ, замерзшаго у могилы Елены?... У кого не застынетъ и среди жаркаго лѣта кровь въ жилахъ при столь ужасной катастрофѣ? Зарѣзать добрую жену — ни ва что, ни про что!...

Мы потому приводимъ содержаніе этихъ поэмъ, что нынѣ онѣ забыты: немногія нынѣ перечитывають «Эду», «Балъ», «Налож-

ницу», «Чернеца», «Наталью Долгорукую», «Борскаго», «Нищаго». Авторъ статей о Пушкинь, льть уже двынадцать тому назадь, утверждаль, будто бы нёть возможности безь крайней необходимости перечитать даже «Руслана», «Кавказскаго Пленника» и проч. А, между темъ, до сихъ поръ о Надоумке говорили, какъ о скиет, какъ вандаль, безъ вкуса, безъ совъсти, даже безъ таланта писать умно, и взвадили на него всё эти обвиненія за то, что не говориль съ благоговъніемъ о художественныхъ красотахъ «Ворскаго», «Нищаго», «Наложницы» и т. д., и т. д. После приведенныхъ нами выписокъ, большая часть изъ нашихъ читателей, въроятно, не будутъ сомнъваться, что Надоумко зналъ, за что и почему онъ осуждаеть эти поэмы, зналь, на какія стороны поэтическаго произведенія надобно обращать вниманіе, чтобы ръшить, выдерживаеть ли оно эстетическую критику, понималь, въ чемъ состоить художественная красота. На всякій случай, пом'ящаемь въ приложении существенныя мъста изъ статей о «Борскомъ». Намъ нора хладнокровно судить о делахъ, отъ которыхъ мы отделены двадцатью-семью годами, и о столкновеніяхъ между людьми, митнія которыхъ давно примирены, споры давно кончены. Величіе Пушкина не въ томъ, что онъ былъ равенъ Вайрону или похожъ на этого мизантропа, страдающаго отъ любви къ людямъ; мы знаемъ теперь, что Вайронъ былъ бы у насъ тогда невозможенъ и безполезенъ, потому что не быль бы понять ни публикою, ни даже даровитейшими литераторами. У Пушкина есть другія качества, другія великія заслуги. И, кажется, давно пора намъ прекратить свое негодование на Надеждина за то, что онъ зам'ятилъ рашительное несходство между этими великими поэтами, въ самомъ деле нимало не похожими другъ на друга. Пора намъ перестать негодовать на Падеждина и за то, что онъ разоблачилъ обдность нашей тогдашней литературы: во-первыхъ, теперь литература у насъ достигла большаго развитія, отчасти благодаря его справедливымъ указаніямь на лживость того, чёмъ такъ обольщались, — следовательно, намъ нечего обижаться его словами, которыя теперь уже не прилагаются къ намъ вполнъ, какъ прилагались тогда; во-вторыхъ, и это всего важите, въ сущности высказываль онъ правду. Говоря просто и коротко, Надеждинъ слъдать относительно пушкинскаго періода нашей литературы то же, что критики романтическаго направленія, изъ которыхъ последнимъ и важнейшимъ быль

Полевой, сдёлали относительно предъидущаго періода: подверть его строгой критикі и тімь приготовиль возможность дальнійшаго литературнаго развитія для нашей публики. То и другое діло были одинаково законны и необходимы; то и другое равно дають право на нашу признательность тімь людямь, силами которыхь были они совершены. То и другое одинаково возбудило воили негодованія со стороны людей, которые не могли возвыситься до пониманія новыхь идей.

Но зачёмъ Надоумко говорилъ такимъ жесткимъ тономъ? Развѣ не могъ онъ высказать то же самое въ мягкихъ формахъ? Удивительное дёло — наши литературныя да и всякія другія понятія. Вѣчно предлагаются вопросы, почему земледѣлецъ пашетъ поле грубымъ желѣзнымъ плугомъ или сошникомъ! Да чѣмъ же иначе можно вспахать илодородную, но тяжелую на подъемъ почву? Ужели можно не понимать, что безъ войны не рѣшается ни одинъ важный вопросъ, а война ведется огнемъ и мечемъ, а не дипломатическими фразами, которыя умѣстны только тогда, когда цѣль борьбы, веденной оружіемъ, достигнута? Беззаконно нападать только на безоружнаго и беззащитнаго, на старцевъ и калѣкъ; а поэты и литераторы, противъ которыхъ выступилъ Надеждинъ, были не таковы: они были люди сильные и умѣвшіе владѣть оружіемъ. За нападенія ему заплатять нападеніями, по крайней мѣрѣ, не менѣе жесткими.

Полемика, возбужденная статьями Надоумко, составляеть едва ли не важныйшій эпизодь этого рода въ исторіи всего пушкинскаго періода. Всё журналы, кромё «Атенея», не посёщаемаго никёмъ, почти всё альманахи единодушно ополчились противъ «В'єстника Европы». Всё затронутые Надеждинымъ литераторы соединились противъ его статей, «Московскій Телеграфъ» и «С'єверные Цвёты» были главными д'єйствователями въ этой борьбів за собственную честь и жизнь. Пушкинъ и Полевой были предводителями нападающихъ. Оставляя безъ вниманія многихъ бойцевъ, не достойныхъ памяти, сосредоточимъ вниманіе на подвигахъ, совершенныхъ этими главными и ихъ сподвижниками.

Первымъ, какъ и слѣдовало ожидать, вышелъ на дерзкій вызовъ Полевой. На него Надоумко нападалъ съ перваго раза еще прямѣе и жесточе, нежели на Пушкина. Всѣ насмѣшки надъ тѣмъ, что у насъ не понимаютъ пустоты и бѣдности нашей литературы, напротивъ,

называютъ нашихъ поэтовъ Байронами, относились прямо къ нему, главъ тогдашней журналистики. Онъ не замедлилъ отвътомъ: въ первомъ же нумерѣ «Телеграфа», вышедшемъ послѣ той книжки «Въстника Европы», гдъ находилось начало первой статьи Надежлина («Литературныя Опасенія за будущій годъ), онъ пом'єстиль очень корошо и едко написанную тираду, въ которой, впрочемъ, говорилось болье о редакторь «Выстника Европы», Каченовскомъ, нежели о стать Надоумко или ея автор Надеждинъ отв на его возраженія также бдко. Онъ могъ отвідать, потому что сознаваль свою силу. Но Каченовскій вздумаль для своей защиты прибъгнуть не къ обыкновенному литературному оружію, а къ странному и вовсе непохвальному средству и объявиль объ этомъ въ примъчании къ возражениямъ Надоумки на статейку «Телеграфа». Разумъется, дъло кончилось къ его собственному стыду, ръшительною неудачею. Тогда то градомъ посыпались на него, и справедливо, насмъшки и упреки со всъхъ сторонъ. Полевой напечаталъ длинную статью «Литературныя Опасенія за кое-что», въ которой была подробно просмотрвна вся его литературная и ученая двятельность, и доказано, что его произведенія, до той поры (1829) напечатанныя, ни числомъ своимъ, ни темъ более качествами, вовсе не оправдывають громкой извъстности, которою онъ пользуется. Самъ Пушкинъ помъстиль въ «Съверныхъ Цвътахъ» превосходно написанную статью, въ которой изложиль приключение Каченовскаго въ самомъ смъшномъ видъ. Такъ какъ эта статья не вошла ни въ изданіе Пушкина, сділанное г. Анненковымъ, ни въ прежнее изданіе, то мы въ приложенін II сообщаемъ ее читателямъ, окруживъ, для большей ясности, другими отрывками, касающимися этого случая. Эпиграммы, Едкія статьи и статейки сыпались на «В'єстникъ Европы» со всёхъ сторонъ, сначала преимущественно падая на редактора, но вскор'в еще въ гораздо большемъ количеств'в и на автора статей, когда всъ увидели, что Надоумко не просто прислужникъ Каченовскаго, а самостоятельное лицо, которому нельзя зажать роть, нападая на Каченовскаго. Всв знаменитыйшія эпиграммы Пушкина написаны по этому случаю. Изъ нихъ большая часть еще направлены на Каченовскаго и вообще на его журналь, прямо не касаясь эксъ-студента, потому что, когда другіе обратили на него главное вниманіе, Пушкинъ уже пересталъ писать эпиграммы по поводу статей Надоумки, увидевъ своего сильнейшаго

защитника въ томъ, кого считалъ злѣйшимъ врагомъ. —По случаю статей Надоумки явилось и «Собраніе Насѣкомыхъ», въ которомъ стихъ:

Вотъ **** злой паукъ,

надобно читать:

Вотъ Каченовскій, злой паукъ.

и «Литературное Извѣстіе» (въ самомъ заглавіи показано отношеніе къ «Литературнымъ Опасеніямъ»).

Въ Элизіи Василій Тредьяковскій (Преострый мужъ, достойный много хвалъ) Съ усердіемъ принялся за журналъ. Въ сотрудники самъ вызвался Поповскій, Свои статьи Елагинъ объщалъ; Кургановъ самъ надъ критикой хлопочетъ: Блеснуть умомъ «Письмовникъ» снова хочетъ, И, говорять, на дняхъ они начнутъ, Влагословясь, сей преполезный трудъ,— И только ждетъ Василій Тредьяковскій, Чтобъ подосиъль Михайло **** (Каченовскій).

Къ нему относится также эпиграмма, написанная по поводу того что въ одной изъ статей «Русскаго Въстника» было упомянуто о предъидущихъ эпиграммахъ, какъ о «камешкахъ, которыми Пушкинъ бросаетъ въ людей, говорящихъ ему правду».

Какъ сатирой безъимянной Ликъ Зоила я пятналъ, Признаюсь, на вызовъ бранный Возраженій я не ждалъ. Справедливы ль эти слухи? Отвъчалъ онъ? Точно ль такъ? Въ полученьи оплеухи Расписался мой дуракъ?

Кромѣ того, еще одна приведена нами въ приложеніи ІІ. Къ этимъ четыремъ, вошедшимъ въ «Полное Собраніе Сочиненій Пушкина», прибавимъ пятую, не вошедшую въ него и уже приведенную нами въ № VII «Современника» прошедшаго года:

Тамъ, гдѣ древній Кочерговскій Подъ Ролленомъ опочнлъ, Дней новѣйшихъ Тредьяковскій Колдовалъ и ворожилъ: Дурень къ солнцу ставъ спиною, Подъ холодный "Вѣстникъ" свой Прыскалъ мертвою водою, Прыскалъ ужицу живой.

Читателю извѣстно, что Каченовскій вздумаль попробовать, нельзя ли русскую ореографію пріучить къ соблюденію въ греческихъ словахъ буквъ греческой ореографіи, какъ соблюдается она въ западныхъ языкахъ; потому онъ писалъ въ «Вѣстникѣ Европы»: енеусіасмъ, Еугеній, політіка и проч. Противъ самого Надоумки написана «Притча»:

Картину разъ высматриваль сапожникь и т. д. имѣющая въ рукописи, по замѣчанію г. Анненкова, эпиграфъ: «По всему видно, что онъ семинаристъ» (не приводимъ ея вполнѣ, потому что напечатана была она ужь много лѣтъ спустя послѣ того, какъ написана), и другая:

Мальчишка Фебу гимнъ поднесъ. «Охота есть, да мало мозгу. А сколько лёть ему?» вопросъ. — Пятнадцать. «Только-то? Эй, розгу!» За симъ принесъ семинаристь Тетрадь лакейскихъ диссертацій, И Фебу вслухъ прочель Горацій, Кусал губы, первый листь. Отяжелёвъ, какъ отъ дурмана, Сердито Фебъ его прерваль И тотчасъ взрослаго болвана Поставить въ палки приказаль.

Горацій, а не кто другой, читаетъ «лакейскія диссертаціи болвана-семинариста» не для одной риомы, а потому, что Надоумко очень часто цитовалъ Горація. А самая эпиграмма возникла изъ изв'єстной эпиграммы Василья Львовича, дяди Пушкина:

Какой-то стихотворъ (довольно ихъ у насъ), и проч.

по тому случаю, что въ первой статъв Надоумки о «Полтавв» есть следующее мъсто: Флюгеровскій (романтикъ) говоритъ, что Пушкинъ—геній. Незнакомецъ-старикъ, въ словахъ котораго излагаются собственныя мысли автора, говоритъ, что признаетъ Пушкина геніемъ тогда, когда онъ создаетъ что нибудь истинно великое, а теперь въ немъ виденъ только огромный талантъ. Недоумко спрашиваетъ его: неужели же ошибается «Сынъ Отечества»:

...Тамъ напечатано, помнится такъ: "Сомнѣваюсь, чтобы между явными противниками Пушкина были такіе которые бы не сознались, что онъ геній. Пушкинъ началь писать въ такихъ лѣтахъ, когда невозможно дѣлать усилій, чтобъ быть стихотворцемъ". Что вы на это скажете?

Незнакомеца. То, что сей наборъ словъ едва ли понятенъ самому тому, съ чьего пера онъ стекъ. Начать писать слишкомъ рано — еще не признакъ генія. Въ противномъ случай, пятнадцатильтній юноша, котораго исторію разсказаль такъ забавно почтенньйшій дядюшка обсуживаемаго нами теперь поэта (въ примъчаніи прибавлено: Незнакомецъ, выроятно, разумыть прекрасную басню В. Л. Пушкина, къ коей Аполлонъ вершить судь свой надъ однимъ пятнадцатильтнимъ поэтомъ), быль бы, по всымъ признакамъ—геній.

Это самая грубая изъ всёхъ выходокъ Надоумки, относящихся къ Пушкину, и мы вовсе не хотимъ доказывать, что она деликатна. Мы хотимъ только дать читателю сравнить, въ чыхъ словахъ больше жесткости—въ словахъ ли критика, или въ словахъ поэта. Но другой такой выходки на Пушкина мы не найдемъ у Надоумки, и едва ли можно сказать, чтобы въ полемикъ своей противъ Пушкина онъ, кромъ этого случая, переступалъ границы, возлагаемыя—не говоримъ: тогдашними, но и нынъшними понятими о литературныхъ приличіяхъ.

Всѣ были душевно возмущены статьями Надоумки, какъ мы сказали, и даже «почтеннѣйшій дядюшка» Василій Львовичъ почелъ своею обязанностью написать, по случаю, о которомъ мы упоминали, стихотвореніе, въ оправданіе себя отъ возведеннаго на него соумышленничества съ Надоумкою и въ защиту обижаемаго племянника.

Посмотримъ теперь, какъ возставалъ противъ Надеждина другой, сильнъйшій тогда посль Пушкина человькъ, Н. А. Полевой, журналъ котораго былъ единственнымъ, имъвшимъ серьезное вліяніе на публику.

Въ приложеніи II у насъ вполнѣ приведены изъ статъи «Телеграфа» по поводу «Литературныхъ Опасеній» всѣ замѣчанія, прямо относящіяся къ Надоумкѣ. Онъ опровергъ ихъ совершенно, наговоривъ новыхъ колкостей и разоблачивъ нѣсколько промаховъ «Телеграфа». «Телеграфъ» обѣщалъ дать о «Литературныхъ Опасеніяхъ за будущій годъ» особенную подробную статью; но она не являлась. Только во второй, подробнѣйшей статъѣ «Телеграфа» противъ Каченовскаго, которой, въ насмѣшку надъ статьею Надоумки, дано было заглавіе «Литературныя Опасенія за кое-что» (то-есть за уче-

ную славу редактора «Въстника Европы»), выведенъ былъ «Желтякъ» (житель желтаго дома, сумасшедшій), который усиливался защищать ученые труды Каченовскаго и говориль фразами Надоумки, но принуждень быль соглашаться, что Каченовскій-самый плохой ученый. Греческій эпиграфъ къ этой стать быль также насмышкою надъ Надоумкой. Но темъ и ограничились опроверженія, которыми ему грозили. Долго после того, несмотря на множество жестокихъ нападеній отъ него на Полеваго, полемикъ противъ него не было посвящено и нёсколькихъ строкъ къ ряду. Всё возраженія ему ограничивались тёмъ, что довольно часто имя Надоумки презрительно упоминалось кстати, когда дело шло о какихъ нибудь бездарныхъ писакахъ или оскорбителяхъ, которые не достойны отвъта. Чему приписать такую скромность? Во-первыхъ, скажемъ къ великой чести Н. А. Полеваго, тому, что онъ не любилъ полемики: онъ прибъгалъ къ ней только въ ръдкихъ случаяхъ и только по необходимости. Другою причиною было дъйствительное презръніе къ такому безсильному врагу, какъ «Въстникъ Европы»: этотъ журналь имъль самую жалкую репутацію въ публикъ и едва ли имьль читателей на быломь свыть. Мы сдылаемь читателю вопрось можно ли предполагать еще третью причину того, что Полевой такъ долго не возражалъ Надеждину, когда увидимъ характеръ возраженій, сділанныхъ ему «Телеграфомъ» впослідствін времени. Волже полугода прошло такимъ образомъ безъ отвъта Надоумкъ. Наконецъ явилось замъчание о стихахъ, помъщенныхъ Надеждинымъ въ «Русскомъ Зрителѣ» *) съ полной подписью его имени. Кто такой этотъ Н. И. Надеждинъ? — спрашивала рецензія. Никому не извъстно, чтобы существовалъ такой писатель. Мы спрашивали о немъ-никто не могъ отвъчать. «Одинъ литераторъ утверждалъ что имя Н. И. Надеждинъ должно быть псевдонимическое, и стихи, въроятно, заимствованы изъ ненапечатанныхъ до нынь бумагь покойнаго профессора элоквенціи В. К. Тредьяковскаго, а не сочинены въ наше время. Кто когда либо кромъ Тредьяковскаго писалъ такіе стихи? Кто, особенно въ наше время, станетъ писать такіе стихи?» Потомъ опять встрѣчаются только бѣглыя уномина-

^{*)} Въ первые два или три года своей литературной дъятельности Надеждинъ печаталъ довольно много стиховъ. Направленіе въ нихъ было шилдеровское; художественная сторона, дъйствительно, слаба.

нія о жалкомъ зоплѣ Надоумкѣ. Еще черезъ полгода былъ помѣщень довольно большой разборь отрывка изь его готовившейся къ изданію диссертаціп о романтической поэзім. Разборъ носиль заглавіе «Литературные Прінски» и объявляль, что вск основныя мысли диссертаціи похищены у Аста и Штуцмана, что было подтверждаемо обширною выпискою изъ последняго философа. Наконецъ явилась самая диссертація (на латинскомъ языкѣ), и Н. А. Полевой написаль ея разборь, памятный въ исторіп нашей полемики по остроумію и чрезвычайной різкости. Латинская диссертація Надеждина разбирается вмісті съ полуграмотною книжкою: «О трагедін грековъ, французовъ и романтиковъ. Сочиненіе белебъевскаго уъзднаго землемъра Виктора-Оомы Товарницкаго», и начинается благодарностью Товарницкому «за его шутку, весьма милую и острую»,--Полевой называеть книжку Товарницкаго пародією на сочиненіе Надеждина, котораго считають защитникомъ классицизма; но, говоритъ Полевой, въ пародін остроумнаго белебъевскаго землемъра упущена изъ виду отличительная черта русскихъ классиковъ: она состоитъ въ томъ, что «все прильнуло къ нимъ снаружи, что ихъ мнвнія, будучи не следствіемъ внутренняго убъжденія, не собственной (хотя неправильно развитой) мысли, представляють нелѣпую смѣсь, разнородную, странную сложность противоръчій, лишенную всякой формы и всякихъ приличій».

"Русскій классикъ долженъ, во-первыхъ, украсть что нибудь у немцевъ французовъ, англичанъ, переврать это и потомъ утверждать что нибудь самое нельное, самое пошлое, передъ чемъ лагарновы, баттёвы, бауръ-лорміановы сужденія казались бы солицемъ світозарнымъ, во-вторыхъ, онъ долженъ цитоваться, особенно латинью (если же можно, по гречески: это еще лучше) и засыпать свои доказательства фразами, нахватанными изъ Горація, Лукана, Буало, Блера и проч.; третье — и самое важитищее — онъ долженъ громко вопіять о разврать, о погибели, вкуса, долженъ искусно соединять съ этимъ мысль, что романтизмъ есть то же, что атензмъ, шеллингизмъ, либерализмъ, терроризмъ, чадо безвърія и революціи; долженъ сильно вопить о славъ Державина, Ломоносова, Хераскова, Поповскаго, Кострова, Петрова, Майкова. Къ этому надобно съ горечью прибавить, что ныпі пишуть разбойничьи поэмы, а не гремять торжественными одами. Туть должно исчислить наши побъды въ которыхъ, разумбется, классикъ столько же участвовалъ душою и тёломъ, сколько онъ понимаеть что гоборить. Въ заключение, четвертое, надобно какъ можно надутте заговорить о славт Россіи вообще, о возвышенін нашемъ надъ всими народами, о величи предковъ, о просвищении России при Ярослави в

Мономахѣ, о Баявѣ, о Петрѣ Могилѣ, "Словѣ о Полку Игоревомъ", Сильвестрѣ Кулябкѣ, яко доводахъ нашев славы".

«Если бы г. увздный белебвевскій землемврь написаль свою пародію по этой программв (продолжаеть Полевой), она еще ближе подходила бы къ нашимъ классическимъ диссертаціямъ. И пусть не думають читатели, что на классиковъ взводится небывальщина: диссертація Надеждина—сввжее доказательство, что разсужденія ихъ двйствительно таковы, какъ предписываеть эта программа. Опровергать Надеждина не стоить: что смышно, то неопасно.

"Вотъ оспованіе этой диссертацін, годной въ кунсткамеру литературныхъ рёдкостей: г. Надеждинь начиталь гдё-то, что донынё поэзія бывала первобытная, классическая и романтическая; начиталь онь еще, что классическая поэзія кончилась съ греками; узналь въ добавокъ, что поэзія, начавшаяся въ новомъ мірѣ, среднихъ временъ, названа романтическою. Тутъ началъ г. Надеждинъ мыслить-и что же вымыслиль? что и романтическая поэзія ръшительно кончилась. Что же такое творенія Гёте, Байроновъ, Муровъ, Пушкиныхъ? Положимъ, что вы правы; но чего же вы хотите? Признаемся, мы инчего не поняди. Кажется, что г. Надеждинъ хочеть какого-то соединенія романтизма съ классицизмомъ; но какъ, для чего-пусть это разгадывають другіе. Видимъ, что мысль въ основаніи нельна; но, за всьмъ тьмъ, лучше сознаться, что мы худо ее понимаемъ. Гдв натъ ни логическаго, ни грамматическаго смысла, тамъ не стыдно сознаться въ незнаніи. Одно только весьма ясно замітно у г. Надеждина: сліды школьной ферулы, и подъ эту ферулу хочется ему подвести всёхъ. Неудачный опыть ея надъ г. Надеждинымъ едва ли можеть быть доказательствомъ справедливости его словъ.

"Изученіе древности добывается *пе безь проваваю пота"*. Ясно, что кровавый поть намекаеть на ферулу и скамейку, вразумляющія бурсаковь. Но кто еще сомнівается, пусть читаеть далье:

«Сей флейтщикъ, пѣснями плѣняющій собранье,

«Учился и терпыть старыйших» наказаные.

«Итакъ, прежде нежели приниматься за письмо, должно учиться, учиться, не премѣнно учиться». Очень рады и совѣтуемъ; только надобно доучиться, а иначе будемъ походить на какого нибудь недоумку, который, что слово скажетъ, то и видно, что онъ въ бурсѣ и не досѣченъ и не доученъ!

Стонть ли такое разсуждение опровержений? продолжаеть Иолевой.— Нѣтъ! пародія г. Товарницкаго «померкаеть передъ этимъ оригиналомъ», который вполнь осуществляеть «представленный нами выше сего планъ для русской классической диссертаціи, ибо:

«1) Основныя мысли въ ней чужія, взятыя у Штуцмана и Аста (ссылка на Литературные Иріиски, о которых говорили мы выше). 2) Сін мысли не поняты г. Надеждинымъ, и выводъ изъ нихъ есть этому доказательство. 3) Ненужныхъ разноязычныхъ цитатъ въ диссертаціи конца нѣтъ. 4) Романтизмъ

представляется исчадіемъ безбожія и революціи. 5) Говорено вкривь и вкось о всѣхъ европейцахъ, всѣ обруганы, и указано на Россію, на упадокъ патріотизма въ Россіи, на Баяна, Петрова, Кострова, Ломоносова, Румянцова. Этотъ приторный патріотизмъ есть вѣнецъ теоріи г. Надеждина. И такое созданіе осмѣлился онъ представить на судъ почтенныхъ профессоровъ Московскаго Университета! Изъ этого созданія помѣстили отрывки два почтенные профессора въ издаваемыхъ ими журналахъ!... Стыдимся за почтенныхъ издателей «Вѣстника Европы» и «Атенея», и предоставляемъ диссертацію г. Надеждина ученикамъ латинскаго класса въ уѣздныхъ училищахъ».

Разборъ этотъ былъ написанъ съ большимъ умомъ, не только съ чрезвычайною ѣдкостью. Онъ убилъ диссертацію во мнѣніи публики. И, однако же, на какихъ основаніяхъ идеи Надеждина были объявлены нелѣпыми? Полевой самъ объяснилъ это: когда впослѣдствіи между «Телеграфомъ» и «Телескопомъ» велась жаркая полемика, Полевой напомнилъ публикѣ о «нелѣпой» диссертаціи Надеждина слѣдующимъ объявленіемъ:

Въ книжной давкѣ Амоса Курносова принимается подписка на новую книгу, подъ названіемъ: "Сорванная маска съ философа-самозванца, или Кузенъ передъ судомъ Аристарха Николаевича Надоумки, филологико-критико-историческо-ирритабильно-сатирическое изслѣдованіе, сочиненное Иваномъ Бѣлоомутовымъ, съ эпиграфомъ изъ повѣсти М. П. Погодина: "Гдѣ я? въ вертепѣ нищихъ, воровъ, площадныхъ мошенниковъ! И вотъ какія происшествія, другъ мой, не производять во мнѣ никакого бользненнаго ощущенія! Удивительное явленіе"! ("Телескопъ" 1872 г., № 7, стр. 362). Въ семъ новомъ, достойномъ особеннаго вниманія творенія г. Бѣлоомутова доказывается явно, что Кузенъ есть шарлатанъ и обманщикъ, что онъ обокраль нѣмецкихъ философовъ, не поняль ихъ, перевраль и только гнуснымъ краснорѣчіемъ свочить заставиль Европу думать, будто и онъ не послѣдняя спица въ колесницѣ современнаго мышленія. Ясно также доказывается и подтверждается тутъ, что, каждый русскій студентъ смыслить философію больше Кузена" *).

^{*)} Бъломутовъ—потому, что подъ нъкоторыми статьями Недоумки выставлено, для обозначенія мъста, откуда онъ присланы, "Бълый Омутъ" (имя села, въ которомъ родился Надеждинь). Эпиграфъ взять изъ повъсти г. Погодина, въроятно, потому, что однимъ изъ первыхъ поводовъ къ полемикъ была статья г. Погодина "о Московской Выставкъ". Филологико-критико и т. д.—пародія многосложнаго заглавія диссертація Надеждина: Dissertatio historico-critico-elencrica (историко-критико-полемическая); но дъло въ томъ, что, по обычаю новыхъ латинистовъ, подобная многосложность требуется для изящности латинскаго слога. Не нужно прибавлять, что "обокралъ, перевралъ" и проч.—буквальное повтореніе выраженій, употребленныхъ Полевымъ въ разборъ диссертаціи Надеждина.

Итакъ, вотъ почему мысли Надеждина показались нелѣпы Полевому: онѣ были несогласны съ философіею Кузена; а основная ошибка Надеждина, какъ видимъ, состояла, по мнѣнію Полеваго, въ томъ, что онъ предпочиталъ нѣмецкихъ философовъ Кузену, философію котораго осмѣливался признавать не заслуживающею вниманія.

Послѣ этого «Телеграфъ» чаще прежняго упоминаетъ о Надоумкъ и Надеждинъ, но по прежнему всегда только въ нъсколькихъ словахъ. Когда Надеждинъ сталъ издавать «Телескопъ». Полевой мало по малу вовлеченъ быль въ болье обширную полемику съ нимъ и иногда по нъскольку мъсяцевъ не выпускалъ ни одной книжки «Телеграфа» безъ статей и статеекъ противъ Надеждина. Надобно признаться, что онъ быль вынуждаемъ къ тому безпрестанными нападеніями. Но, между темь, какь нападенія «Телескона» очень часто касались предметовъ серьезныхъ, изобличали важные промахи въ «Телеграфъ», чемъ отвечаль на это «Телеграфъ»? Онъ нападаль на слогъ, на непонятность различнихъ философскихъ терминовъ. Однажды; когда въ «Телескопъ» была напечатана статья Гульянова, переведенная съ французскаго, съ приложеніемъ къ русскому переводу и французскаго текста, «Телеграфъ» началъ доказывать, что въ переводъ есть грубыя ошибки, что, следовательно, Надеждинъ не знаетъ по-французски. Улики въ незнаніи были такого рода: вмѣсто «овальныя рамки соприкасаются» надобно было перевести «продолговатые ободочки соединяются между собою», и т. п. Но и въ этомъ потерпълъ «Телеграфъ» неудачу: оказалось, что русскій переводъ статьи Гульянова быль сдёланъ самимъ же Гульяновымъ. Потомъ, когда Надеждинъ, въ 1832 году, сталъ печатать обертку своего журнала безъ знаковъ препинанія въ строкахъ крупнаго шрифта (какъ это и вошло теперь въ обычай), «Телеграфъ» сталъ сменться надъ «1832-рымъ Телескопомъ», доказывая, что «Телескопъ» не знаетъ правиль объ употребленін точки: видите ли, грамматика требуеть, чтобы было напечатано такъ:

1832.

телескопъ.

а не просто (безъ точки):

1833

ТЕЛЕСКОПЪ

Когда «Телескопъ» шутливо отвъчалъ на это, что несчастная точка въ заглавін есть пунктъ, на которомъ запнулся «Телеграфъ», журналъ Полеваго, не понимая, что противникъ въ этомъ случав играеть словами, серьёзно началь доказывать, что «Телескопь» не знаетъ, что «точка» и «пунктъ»-одно и то же слово, и не понимаетъ смысла слова «пунктъ». Въ третій разъ, по случаю того, что Надеждинъ, въ насмешку надъ романами одного тогдашняго писателя, сталъ пронически увфрять, что произведенія Александра Анфимовича Орлова лучше этихъ романовъ, и Пушкинъ, вздумавъ продолжить эту шутку, напечаталь въ «Телескопъ» свои знаменитыя статейки, подписанныя псевдонимомъ Өеофилакта Косичкина, «Телеграфъ» серьезно началь увърять, что Надеждинъ хвалить А. А. Орлова, и доказывать тёмъ безвкусіе Надеждина. Не будемъ продолжать этого исчисленія: намъ ни мало не пріятно говорить о неудачахъ «Телеграфа», которому такъ много обязана русская литература. Мы не стали бы приводить и этихъ примеровъ, если бы увърены были, что безъ всякихъ доказательствъ читатели повърятъ основательности нашего мевнія. Оно состоить въ томъ, что Н. А. Полевой могь играть только жалкую роль въ спорахъ съ своимъ противникомъ. Впрочемъ, ошибся бы тотъ, кто вздумалъ бы выводить изъ этого слёдствія, неблагопріятныя именно для Н. А. Полеваго: не онъ одинъ, а ръшительно никто въ тогдашней нашей литературь не могь быть достойнымъ противникомъ Надеждину. Въ этомъ согласится каждый, кто знаетъ нашу тогдашнюю литературу. Мы избавляемъ читателя отъ подробнейшихъ доказательствъ, предполагая, что они нужны развѣ для немногихъ. Мы боимся, что утомили читателя выписками, да и статья наша приняла уже объемъ болве обширный, нежели мы того хотвли бы.

Мы останавливались такъ долго на полемикъ, возбужденной статъями Надоумки, и сдъланномъ Полевымъ разборъ диссертаціи Надеждина потому, что эти факты имъли ръшительное вліяніе на мнѣніе огромнаго большинства публики и литераторовъ о Надеждинъ, какъ критикъ. Тогда всъ ахнули и возопили: «зоилъ, педантъ, шарлатанъ!» и до послъдняго времени, не вникая въ сущность дъла, повторяли: «Надеждинъ былъ хулителемъ Пушкина—о, варваръ безъ вкуса и стыда! Надеждинъ выдавалъ мысли, взятыя изъ Аста и Штуцмана, за свои собственныя—о, шарлатанъ! Надеждинъ го-

ворилъ школьною латынью, шпиговалъ свои статьи греческими цитатами—о, педантъ!»

🖊 На самомъ дълъ такъ много горячиться намъ не изъ чего. Если Надеждинъ былъ чёмъ неправъ, то разве темъ, что съ жаромъ увыеченія заговориль о предметахь, которые не стоили того, чтобы серьезно ими заниматься. Онъ и самъ очень хорошо понималь это: оттого у него часто среди горькихъ или пламенныхъ тирадъ вырывается невольная улыбка, — вдругъ онъ вспомнитъ: «да надъ чёмъ я хлопочу? да стоить ли горячиться? Да не смёшонъ ли я, говоря съ любовью и гитвомъ»? -- и все-таки онъ не могъ удержаться: привязанность къ самому родному брала верхъ надъ шопотомъ разсудка: «не стоитъ объ этомъ говорить!» -- и онъ опять бился съ жаромъ, достойнымъ болье крупнаго предмета страсти, нежели наша тогдашняя литература. Простимъ ему увлеченіе: вѣдь онъ тогда былъ молодъ; притомъ же, и всѣ другіе, увлекавшіеся потомъ подобно ему, ошибались подобно ему: игра не стоила свёчъ. Ну, что они выиграли? То, что мы съ вами, читатель; всиоминаемъ о нихъ съ признательностью? Да стоило ли убиваться для пріобретенія признательности той маленькой горсти людей, которая составляеть у насъ такъ-называемую публику? Ну, какую пользу принесли они? Ту, что мы отъ нихъ научились чему нибудь доброму? Да многому ли мы научились? Многому, очень многому, нечего сказать! Стоило портить свою грудь, пренебрегать другими, лучшими карьерами, для того, чтобы образовать умъ и сердце няти съ половиной человъкъ, которые, къ довершению счастия, забыли почти все, о чемъ толковали имъ съ такою горячностью! Нёть, здравый разсудокъ говорить, что лучше было бы покачать головой и не поднимать гласа вопіющаго въ пустынъ.

Однакожь, такъ какъ они уже сделали ту ошибку, что любили насъ съ вами, читатель, и хотели намъ добра, то постараемся же припомнить хотя часть того, чему они желали научить насъ. Теперь речь зашла у насъ о Надеждине: посмотримъ же, чего, хотелъ онъ, какъ критикъ.

Въ то время, какъ онъ готовился выступить на литературное поприще, литература наша страдала чрезвычайною поверхностностью. Литератору нѣтъ необходимости быть особенно ученымъ; но онъ пе долженъ быть человѣкомъ легкомысленнымъ и поверхностнымъ. А тогда почти всѣ лучшіе люди были таковы. Самъ Н. А. Полевой,

серьезнѣйшій изъ нихъ, такъ пылко желалъ осуществленія того, чего желаль для русской литературы, что воображаемое принималь уже за осуществленное и раздѣляль общее упоеніе нашими дивными подвигами въ области литературы. Къ чему вело это самообольщеніе? ровно ни къ чему хорошему. Никто не понималь того, чѣмъ онъ восхищался; никто не понималь, что радоваться, собственно говоря, было еще нечему. А всѣ радовались и восхищались. Сами не могли въ прозѣ написать ни о чемъ порядочной статейки, въ двадцать страничекъ, не говоримъ: книги,—въ поэзіи имѣли только иѣсколько лирическихъ пьесъ истинно прекрасныхъ, а больше ничего выдерживающаго критику,—не имѣли ни одной сносной прозаической повѣсти, не говоримъ ужь: романа,—ни одной поэмы въ стихахъ, которая была бы прочувствована, а не пропѣта съ чужого голоса, — а ужь воображали, что постигли всю мудрость земную, что имѣютъ довольно хорошую литературу; то были невинныя,

Златыя игры первыхъ дней!

Юныя мечты, сладкія мечты, какъ наивно прекрасны вы были!

Есть законная пора самообольщеній. Но всякое самообольщеніе, должно имѣть свой срокъ, или оно станетъ вреднымъ. Срокъ этотъ приближался. Новое поколѣніе подростало, съ новыми требованіями, съ болѣе глубокими стремленіями. Веневитиновъ былъ раннимъ провозвѣстникомъ этого поколѣнія; но онъ умеръ, едва сказавъ первое свое слово, еще ничего не успѣвъ совершить...

Все продолжалось, повидимому, прежнимъ порядкомъ. И опять явился человъкъ, все еще нъсколькими годами опередивъ поколъніе, которое должно было понять его. Онъ не погибъ такъ рано какъ Веневитиновъ, не успъвъ подать руку новому пеколънію; но когда онъ явился, никто еще не могъ ему сочувствовать, и долго онъ былъ предметомъ общаго изумленія. И самъ онъ не могъ еще указать ни на кого, кто былъ бы человъкомъ, какихъ желалъ онъ. Все, что видълъ онъ вокругъ себя, было достойно только разрушенія и отрицанія. И онъ явился какимъ-то злымъ духомъ отрицанія и разрушенія. Таково было положеніе Надоумки въ нашей литературъ.

Онъ одинъ тогда понималь вещи въ ихъ истинномъ видѣ. Его не понялъ никто: и потому, что онъ высказывалъ истину очень горькую для тѣхъ, кому говорилъ ее, и потому, что высказывалъ ее горько, и, болье всего, потому, что основанія, на которыхь опирались его приговоры, были незнакомы никому. Німецкая философія, питомцемъ которой онъ быль, неизвістна была никому. Всів видівли только, что онъ противорічить французскимъ книжкамъ, изъ которыхъ была почерпнута вся наша тогдашняя мудрость — и его объявили безумцемъ. Чего онъ хочетъ, не понималъ никто, потому что у насъ не было ничего подобнаго тому, чего хотіль онъ, — и всівмъ показалось, что онъ только хочетъ бранить и унижать нашу литературу.

И, однако же, чемъ онъ былъ недоволенъ въ литературе? Теми поэтами, надъ сочиненіемъ которыхъ тратились всё наши силы, восхищение которыми отнимало всякую мысль о возможности чего нибудь лучшаго. Нынъ кто не называетъ этихъ поэмъ дътскими произведеніями? Онъ возставаль противъ Пушкина; но извъстны ли были тогда созданія Пушкина, передъ которыми мы теперь преклоняемся? «Бориса Годунова», «Каменнаго Гостя», «М'вднаго Всадника», повъстей въ прозъ,--ничего этого еще не было. Были только поэмы въ байроновскомъ родъ, надъ которыми потомъ смъялся самъ Пушкинъ, — поэмы не прочувствованныя, странныя подражанія байроновской формъ, безъ всякаго пониманія байроновскаго духа. И развѣ потому возставалъ онъ противъ этихъ поэмъ, что хотыль унизить таланть Пушкина? Напротивъ, никто такъ ртзко не замѣчалъ безграничной разницы между Пушкинымъ и другими тогдашними знаменитостями; а вёдь тогда никто, кром'в его, не замѣчалъ этой разницы. И развѣ онъ унижалъ въ поэмахъ Пушкина то, что въ нихъ есть хорошаго? Напротивъ, онъ безусловно хвалиль въ нихъ отдёльныя картины природы и граціозныя сцены изъ современнаго быта, единственное, что мы теперь находимъ въ нихъ прекраснымъ. Онъ такъ хорошо понималь это, что «Графа Нулина» ставиль выше «Бахчисарайскаго Фонтана». Но онъ все-таки осужданъ Пушкина? Однако, за что же? за то, что предполагаль, будто Пушкинь удовлетворяется своими прежними произведеніями и не думаеть о томъ, что еще не создаль произведеній, вполнѣ достойныхъ своего великаго таланта. Вѣдь это недовольство, котораго источникъ — очень высокое мийніе о талантъ Пушкина. А когда Пушкинъ издалъ «Бориса Годунова», онъ одинъ оценилъ это произведение, въ последней статье, подписанной именемъ Надоумки. И, наконецъ, развъ онъ возставалъ

именно противъ Пушкина? Онъ доказывалъ только, что вся наша тогдашняя литература вовсе не такъ богата, какъ тогда всѣ были увърены. И если мы вникнемъ въ сущность его статей, мы увидимъ, что если никто не судилъ о нашей литературѣ такъ строго, какъ онъ, то и никто не превозносилъ такъ Пушкина, какъ онъ. Онъ первый высказалъ о характерѣ и силахъ его таланта тѣ понятія, которыя господствуютъ до сихъ поръ. Кажется, этого довольно, чтобы не считать его зоиломъ.

Статьи Надоумки были печальны — онъ ли виновать въ томь? Но онъ содъйствовали приготовленію лучшей будущности. Развъ онъ отчаявался въ лучшей будущности, развъ не призываль ее? Прочтите хотя окончаніе его мрачной, жолчной статьи: «Сонмище Нигилистовъ». На Васильевъ вечеръ, наканунь того дня, когда солнце поворачиваетъ на лъто, въ тотъ вечеръ, когда на Руси гадаютъ о будущемъ, выходитъ Надоумко изъ безпорядочнаго сонмища, гдъ всъ кричатъ, подъ хлопанье пробокъ, о талантахъ другъ друга, всъ упоены чадомъ взаимныхъ похвалъ своимъ дивнымъ произведеніямъ, всъ толкуютъ о пустякахъ, всъ кричатъ о томъ, чего не понимаютъ; онъ идетъ домой, грустно думая объ общемъ ничтожествъ всей этой превозносимой литературы. Нътъ ей выхода изъ безсильнаго и шумнаго хаоса... «Какъ нътъ? вдругъ спрашиваетъ онъ себя: ужели, въ самомъ дъль, нътъ»?

"Неужели для бъдной нашей литературы не будеть возврата съ зимы на лъто? неужели ей въчно мыкаться въ мрачной преисподней губительнаго пигализма?—Иътъ, подумалъ я: нътъ, это невозможно:

> ...Какъ бы ночь Ни длилася и неба ни темнила, А все разсвёта намъ не миновать!

Будетъ время, когда слово, наилучшее произведение наилучшаго создания Божия, проливаться будеть отъ избытка сердца чистаго, раствореннаго святою любовью ко всему доброму, истинному и прекрасному!

Еще дежить на небѣ тѣнь, Еще далеко свѣтлый день! Но живъ Господь! Онъ знаеть срокъ! Онъ вышлеть утро на востокъ!

"Это будеть, это будеть, непремѣнно!"—повторяль я самь вы себѣ, взбираясь домой по высокой лѣстниць."—Но—прибавиль я съ горестнымъ вздохомъ, отворяя двери передней—

...Но когда жь тому случиться?"

Тутъ раздались изъ соседней компаты звонкіе голоса девушекъ, певшихъ подблюдныя песни:

Кому вынется, тому сбудется, Тому сбудется, не минуется!

Дай Богь, чтобы сбылось поскорые! вскричаль я, довершая остальное путешествіе до своей каморки.—Между тымь, дремать нечего! Можеть быть, если я разь-другой подамь голось,—

> И пѣтухи начнутъ мнѣ откликаться, И воздухъ утренній начиеть въ лицо мнѣ дуть!"

Безпристрастный читатель, ввроятно, согласится съ нами, что Надоумку нельзя считать зоиломъ, бросавшимъ грязью въ знаменитыхъ людей, изъ одного тщеславнаго желанія надвлать шуму. Остается сказать нёсколько словъ о его диссертаціи.

Къ сожальнію, она у насъ очень мало извъстна, потому что написана на латинскомъ языкъ. Его называли за то педантомъ; но латинской диссертаціи требовали правила докторскаго экзамена,следовательно, Надеждинъ не виноватъ въ томъ, что написалъ свое разсуждение не по русски. Зная, что латынь не найдеть у насъ мпого читателей, онъ перевель любопытнейшие отрывки своего изследованія на русскій языкъ и пом'єстиль въ журналахъ: чего же требовать больше? Только эти отрывки и были прочитаны людьми, которые такъ решительно судили о его диссертации. Это беда была, вирочемъ, не главная: хуже всего было то, что ни Н. А. Полевой, ни другіе противники Надеждина не знали п не могли понять нѣмецкой философіи. А если бы знали, не пришло бы имъ въ голову говорить, что онъ выдаль чужія мысли за свои и исказиль ихъ. Основная идея у Надеждина, конечно, та же, что и во всей нѣмецкой философіи, отъ Фихте до нашего времени. И то правда, что ближайшимъ образомъ онъ былъ последователемъ Шеллинга. Но дёло въ томъ, что онъ пошель далее Шеллинга и приблизился, силою самостоятельнаго мышленія, къ Гегелю, котораго, какъ по всему видно, не изучалъ. Развивать эту мысль было бы здъсь неумѣстно. Но кто сличитъ диссертацію Надеждина съ «Эстетикою» Гегеля (изданною черезъ пять лётъ после диссертаціи Надеждина), тоть увидить, какъ близко къ нему подошель Надеждинъ. Это факть.

Узнавъ его, нечего говорить объ Астахъ и Штуцманахъ *). Надеждинъ, тогда двадцати-иятилѣтній юноша, стоялъ уже выше этихъ людей, не очень значительныхъ въ исторіи философіи. Это былъ умъ глубокій — вотъ все, что мы можемъ сказать по его первому философскому сочиненію, оставшемуся единственнымъ. И Полевой, думая сказать насмѣшку, сказалъ чистую правду: этотъ «русскій студентъ смыслилъ въ философіи больше Кузена», и не только Кузена, а многихъ мыслителей, которые и въ Германіи успѣли пріобрѣсть себѣ извѣстность, какъ самостоятельные ученики того или другаго великаго философа.

И вотъ этотъ человъкъ, не только хорошо знакомый съ нъмецкою эстетикою, но имъвшій силу двигать эту науку впередь, занялся критикою: могъ ли онъ не произвесть ръшительно новой эпохи въ нашей критикъ, которая до него знала только поверхностные французскіе пріемы? И дъйствительно, онъ заговориль о такихъ вещахъ, о которыхъ до него и не слыхивали: объ идеъ, какъ душъ художественнаго созданія, о художественности, какъ сообразности формы съ идеею, и т. д., и т. д. Мудрость неслыханная тогдашними нашими писателями и непостижимая для нихъ. О, наивныя времена, когда все это было новостью! Всъ слушали, соображали, изумлялись, оскорблялись, махнули наконецъ рукою и ръшили, что все это нельпость, порожденная педантизмомъ. Это было истинное «Горе отъ Ума».

Статьями Надоумки была решена судьба Надеждина въ литературномъ міре. Онъ возсталь противъ всей литературы, — вся литература возстала противъ него. Онъ явился слишкомъ рано и оставался одинокъ, пока не выступпло на сцену новое поколеніе, предшественникомъ котораго былъ онъ. Когда онъ сталъ издавать «Телескопъ», публика знала его только по презрительнымъ отзывамъ «Телеграфа», «Сына Отечества», «Северныхъ Цветовъ» и всехъ остальныхъ журналовъ, газетъ и альманаховъ. Очень естественно, что «Телескопъ», лишенный всякой помощи со стороны

^{*)} Впрочемъ, Астъ и Штуцманъ сдъланы въ "Телеграфъ" учителями Надеждина явно по незнанію. Это очевидно каждому, имъющему понятіе объ исторіи новой философіи. Доказывать это и не стоитъ. Отъ уликъ въ похищеніяхъ Надеждина изъ Аста Полевой самъ скоро отказался; а книги Штуцмана Надеждинъ и не видывалъ, потому что не считалъ его заслуживающимъ вниманія, въ чемъ и не ошибался.

литераторовъ, имѣлъ только ограниченный успѣхъ. Критика его, продолжавшая развивать идеи, выраженныя Надеждинымъ прежде, долгое время не могла достичь до публики. Но вотъ начало выступать на сцену молодое поколѣніе: Надеждинъ въ немъ нашелъ себѣ помощниковъ. «Телескопу» предстояла, по всей вѣроятности блистательная будущность. Но онъ пересталъ существовать.

Едва ли теперь надобно объяснять, почему критика Надеждина не имфла, въ свое время, особеннаго вліянія на публику. Она явилась слишкомъ рано. Публика еще не была настолько развита, чтобы сочувствовать ей. И, притомъ, «Вѣстникъ Европы», въ которомъ Надеждинъ помѣстилъ значительныхъ статей гораздо болѣе, нежели потомъ въ собственномъ журналѣ, былъ почти совершенно неизвѣстенъ публикѣ. Онъ и заслуживалъ этой судьбы, потому что былъ очень плохъ. А если кому и попадалась въ руки книжка этого журнала, едва ли изъ десяти читателей одинъ могъ безъ смѣха читать ея страницы, изукрашенныя, по замысловатой ореографіи Каченовскаго, онтами и ижицами. Мы упоминали объ эпиграммѣ, написанной на Каченовскаго Баратынскимъ, по случаю статей Надоумки. Вотъ она, съ сохраненіемъ того правописанія, которое придавало ей соль въ «Телеграфѣ»:

УСТОРІЧЕСКАЯ ЕПИРАММА.

Хвала, мастутый нашь Зоіль!
Когда-то Дмітріевь бѣсіль
Тебя счастлівымі струнамі;
Бѣсіль Жуковскій въ слѣдь за німь;
Воть бѣсіть Пушкінь: какъ любімъ
Ты дальновіднымі Судьбамі!
Трі поколѣнія пѣвдовь
Тебя, красой своіхъ вѣнцовь,
Въ негодованье пріводілі:
Пекісь о здравіі своемъ,
Чтобы, подобно первымъ тремъ,
Другіе трі тебя бѣсілі.

Многіе ли могли безъ смѣха взять въ руки журналь, самая ореографія котораго подаетъ поводъ къ подобнымъ пародіямъ?

Но вредъ Надеждину оттого, что онъ первое и самое дѣятельное время своей критики отдалъ «Вѣстнику Европы», состоялъ не только въ томъ, что статьи его остались почти никъмъ не прочитаны или возбуждали своею нельною внышностью улыбку въ тъхъ немногихъ, которымъ попадались на глаза: былъ нанесенъ ему участіемъ въ «Въстникъ Европы» и другой вредъ, еще болье важный. Этотъ журналъ считался защитникомъ всего устарвлаго и бездарнаго въ литературъ, врагомъ всего современнаго и даровитаго. Статьи Надеждина, существенный смыслъ которыхъ такъ трудно было угадать неприготовленной публикъ, получали самый невыгодный смыслъ ужь отъ одного того, что являлись въ такомъ журналъ. Да и самъ Надеждинъ подавалъ еще новый поводъ къ недоразумъніямъ: чтобы кольнуть тогдашнихъ писателей, онъ иногда иронически превозносилъ старыхъ писателей. Для насъ пронія очень понятна,—въ то время она многими не была понята.

Но все это только внёшнія причины неуспёха. Были и внутреннія. Одну изъ нихъ мы уже видёли: Надеждинъ явился слишкомъ рано для публики и литературы. Теперь прибавимъ другую: онъ явился слишкомъ рано и для себя. Образъ мыслей его не совершенно еще установился въ то время, когда онъ началъ свою литературную двятельность. Основныя воззрёнія его были тверды и справедливы; но много осталось еще въ немъ слёдовъ прежняго образованія, и почти вся его послёдующая журнальная дёятельность представляется, какъ исторія постепеннаго его освобожденія отъ различныхъ остатковъ той «старой трухи» (по его выраженію), которая такъ связываеть движенія мысли. Въ началё, онъ часто, самъ того не замёчая, выражалъ понятія, несообразныя съ его истиннымъ образомъ мыслей, съ его основными пдеями.

Это придавало еще больше двусмысленности многимъ страницамъ его статей, и безъ того уже бывшимъ слишкомъ трудными для разумѣнія тѣхъ наивныхъ людей, съ которыми онъ говорилъ. Но если это было вредно для его первыхъ статей, то мы видимъ новое доказательство силы его въ быстромъ и неудержимомъ стремленіи впередъ. Немногимъ, и только самымъ сильнымъ изъ насъ, возможно совершенно перевоспитать себя. Надеждину было дано это. Силою мысли и знанія достигъ онъ того, что, бывъ въ двадцать лѣтъ человѣкомъ XVII вѣка, въ двадцать-пять лѣтъ, при началѣ своей литературной дѣятельности, бывъ человѣкомъ XIX вѣка въ одеждѣ XVII вѣка, въ тридцать лѣтъ сталъ вполнѣ человѣкомъ XIX вѣка. Кто знаетъ, какъ трудно это перерожденіе, тотъ пой-

меть сколько душевной силы нужно, чтобы пройти этоть путь и стать у цёли свёжимь и бодрымь, безъ подчиненія прошедшему, съ однимь нераздёльнымь стремленіемь къ будущему.

Чтобы указать определенные на характеръ этого перевоспитанія, обратимь вниманіе хотя на внышность. Нельзя не согласиться, что мысли Надеждина, по сущности своей чуждыя схоластики, выражались иногда въ первыхъ его статьяхъ подъ формою схоластическою. Въ последнихъ его статьяхъ вы не найдете никакихъ следовъ схоластики; а какъ трудно достичь этого! Скажите, много ли найдется въ исторіи литературы людей, которые успевали бы совершенно сбросить съ себя иго схоластики, если когда нибудь носили его?

Въ своемъ журналѣ Надеждинъ помѣщалъ значительныя статьи гораздо рѣже, нежели прежде, въ «Вѣстникѣ Европы». Конечно, тому мѣшали мелочные труды по редижированію журнала, занятія по званію профессора и, вѣроятно, различныя случайныя обстоятельства. Но вобще онъ писалъ для журнала много, и, какъ видно но всему, энергія его не ослабѣла,—напротивъ, въ послѣднее время, онъ и значительныхъ статей началъ печатать болѣе, нежели когда нибудь. Видно, что участіе молодаго поколѣнія придало новыя силы этому замѣчательному человѣку, который, впрочемъ, и самъ только еще вступалъ въ періодъ полнѣйшаго развитія силъ: въ тридцатьдва года, для большей части людей, только еще начинается истинная дѣятельность, для Надеждина — время литературной дѣятельности кончилось.

«Телескопь» не пользовался особеннымъ успѣхомъ, хотя и не былъ журналомъ совершенно безъ читателей; онъ пользовался нѣкоторымъ, но не очень значительнымъ, вліяніемъ на публику. Но вліяніе Надеждина на литературный нашъ кругъ было очень значительно. Всв возставали противъ него — и, однако же, противъ воли, подчинялись его мнѣнію, на сколько могли понимать его. Чтобы не обременять статьи нашей множествомъ примъровъ, укажемъ только на «Телеграфъ», который, до самаго конца своего существованія, пользовался предпочтительною любовью публики: черезъ годъ или полтора послѣ того, какъ Надеждинъ началь писать свои статьи, въ журналѣ Полеваго стала ощутительна значительная перемѣна. Прежде почти не бывало критическихъ статей большаго объема; о самыхъ значительныхъ писателяхъ, по случаю

изданія собранія ихъ сочиненій, высказывалось лишь нісколько краткихъ замъчаній; теперь чаще и чаще начали являться большія статьи о томъ или другомъ писателъ, и разборы значительныхъ книгъ не ограничивались, какъ прежде, двумя-тремя страницами. Развитіе критики «Телеграфа» не ограничивалось расширеніемъ объема: самые пріемы ея сділались основательніве. Самое направденіе ея изм'єнилось: Полевой видимо учился многому у своего противника. Такъ напримъръ, «Телеграфъ» началъ говорить, что мы не романтики и не классики, что въ наше время романтизмъ и классицизмъ должны соединиться, изъ ихъ сліянія должна возникнуть новая литература, и т. д. Все это чисто мысли Надеждина. Исчезло и прежнее самообольщение въ богатствъ нашей литературы: начались толки о томъ, что она скудна. «Телеграфъ», прежде восхищавшійся «гигантскими шагами, которые делають нашь векь и наша литература», началь подсмёнваться надь медленнымь и часто попятнымъ ходомъ этого развитія, быстротою котораго еще недавно восхищался; началъ отдавать справедливость тому, что было хорошаго въ старой литературъ; началъ говорить, что литературъ нашей всего нужнъе солидное образование и привычка къ серьезному образу мыслей въ писателяхъ, что нынъшніе писатели не удовлетворяють этимъ условіямъ, потому, не смотря на свои таланты, не могутъ произвесть ничего великаго, и т. д., и т. д. всего нельзя и перечесть — и вст эти понятія были навтяны Надеждинымъ. Едва ли можно найти хотя одну мысль его, которая не была бы повторена въ «Телеграфъ». Какъ любопытный примёръ, приводимъ въ приложенія III извлеченіе изъ той статьи, которая служить заключеніемъ «Новаго Живописца Общества и Литературы». Полевой, конечно, хотъль завершить эти очерки изложеніемъ своихъ общихъ выводовъ, своихъ существенныхъ понятій о литературт, — и что же? онъ буквально повториль то, что за три или четыре года говорилъ Надоумко. Но конечно, всъ эти навѣянныя мысли остались въ «Телеграфѣ» только навѣянными мысдями. Сущность свою онъ изменить уже не могь, и нодъ новою одеждою онъ остался старымъ.

Вполнѣ привились основныя идеи критики Надеждина только къ дѣятелямъ новаго поколѣнія, важнѣйшій изъ которыхъ образовался подъ его непосредственнымъ руководствомъ и чрезъ «Оте-

чественныя Записки» влиль новую жизнь въ нашу литературу и въ нашу публику.

Если за Н. А. Полевымъ неоспоримо остается та заслуга, что онъ первый сдёлалъ критику существенною и важною частью нашей журналистики, то Надеждину принадлежить заслуга, еще боле важная: онт первый даль прочныя основанія нашей критикъ. До него повторились у насъ непрочувствованныя, непрожитыя мысли, и повторялись съ голоса учителей очень поверхностныхъ, которые сами не понимали хорошенько и себя, не только другихъ. Эти учители были французские романтики. Надеждинъ первый прочно ввелъ въ нашу мыслительность глубокій философскій взглядъ. Онъ даль нашей критикъ глубокіе всеобъемлющіе принципы, открытые для эстетики нъмецкою наукою. Онъ первый объясниль нашей критикъ. что такое поэзія, что такое художественное произведеніе. Отъ него узнали у насъ, что поэзія есть воплощеніе идеи, что идея есть зерно, изъ котораго выростаетъ художественное произведеніе, есть душа, его оживдяющая; что красота формы состоить въ соотвътствій ея съ идеею. Онъ первый началъ строго и верно разсматривать, понята ли и прочувствована ли идея, выраженная въ произведенін, есть ли въ немъ художественное единство, выдержаны ли и в'єрны ли челов'єческой природ'є, условіямъ времени и народности характеры действующихъ лицъ, истекаютъ ли подробности произведения изъ его идеи, естественно ли, по закону поэтической необходимости, развивается весь ходъ событій, воплощающихъ идею автора, изъ данныхъ характеровъ и положеній, - словомъ, онъ первый даль русской критикъ всъ эстетическія основанія, на которыхъ должна была она развиться, и показалъ примеры, какъ придагать эти принципы къ сужденію о поэтическомъ произведеніи. Это первая, общая заслуга его критики, Вторая, частная, состоитъ въ томъ, что онъ подвергъ этой критикъ, которой научилъ насъ, всю нашу литературу тридцатыхъ годовъ, высказалъ свои выводы громко и, объяснивъ, чёмъ была наша литература до появленія Гоголя и другихъ великихъ талантовъ, ознаменовавшихъ своимъ появленіемъ начало гоголевскаго періода, приготовиль послідующую критику къ справедливой опфик того развитія, которое дано пашей литературт этими новыми писателями.

Но онъ дъйствовалъ въ самое неблагопріятное для нашей поэзін время—во время перехода отъ прежняго направленія къ новому. Ему дано было только призывать новое время, но не быть его действователемъ. Его критическая деятельность прекратилась въ то самое время, когда геній Гоголя началь выражаться произведеніями, составившими эпоху въ нашей литературь, въ то самое время, когда начиналась деятельность Кольцова и Лермонтова. Потому его критика произносила почти исключительно приговоры только отринательные. Она доказала, что прежнее наше богатство ложно; она не могла еще воодушевить нашу публику указаніемъ и объясненіемъ новыхъ пріобрітеній. Онъ явился слишкомъ рано и потому не могъ нивть непосредственнаго вліянія на мивнія публики, еще не приготовленной къ тому, чтобы сочувствовать ему. Онъ кончиль тогда, когда только еще начиналась истинная пора для критики того направленія, которое ввель онь въ нее. Потому существенное значение его критической деятельности состоить только въ томъ, что она была приготовительницею последующей критики,и главивишая заслуга Надеждина-критика въ нашей литературъ состоить въ томъ, что онъ былъ образователемъ автора статей о Пушкинь. Выражаясь любимымь его языкомъ классической поэзіи, онъ незабвененъ для насъ, какъ Хронъ, воспитатель Ахиллеса.

Критика была только одна изъ многихъ сторонъ его, разнообразной литературной дъятельности. Она принесла уже свой плодъ-Другіе, быть можетъ, еще значительнъйшіе труды его по другимъ отраслямъ науки до сихъ поръ остаются еще неоцъненными. Прійдетъ время, будугъ оцънены и они.

приложенія.

I.

ОТРЫВОКЪ ИЗЪ СТАТЬИ ЭКС-СТУДЕНТА НИКОДИМА НАДОУМКИ.

Къ стр. 179.

Ворскій, сочиненіе А. Подолинскаго. Спо. 1829.

(Статья 2. "Вѣстникъ Европы" 1829 г., № 7. Стр. 200-220).

Прежде всего замѣтимъ, что Подолинскій возбуждаль въ то время самыя блестящія ожиданія. Многіе думали, что въ немъ является достойный сопершикъ Пушкина. Потому-то Надоумко и обращаетъ вниманіе на его поэму, которую превозносили до небесъ.

Эпиграфъ разбора, взятый изъ горацієвой "Науки Стихотворства":

Nunc satis est dixisse: ego mira poëmata pungo,-

по обыкновенію опять заключаєть въ себѣ двусмысленную колкость. Проще всего его надобно перевести: "Теперь довольствуются словами: я пишу удивительныя поэмы"; но, по смыслу статей Надоумко, должно перевесть его такъ: "Просто скажу: объ удивительныхъ поэмахъ пишу я", — т. е. Надоумко. Это еще болѣе язвительно, потому что относится уже не къ одному Подолинскому, а ко всѣмъ тогдашнимъ знаменитымъ поэтамъ.

Нервая статья начинается общими размышленіями о тогдашней нашей поэзін и оканчивается, какъ мы виділи, разсказомъ содержанія поэмы Подолинскаго, посліг чего Надоумко начинаеть вторую статью такъ.

"Спрашивается: что за удовольствіе представлять подобныя кровавыя зрівлища?... Ужасныя картины кровопролитія и убійствъ весьма рідки въ общественной нашей жизни: какъ же могуть онь обратиться во всеобщую прихоть вкуса? Справедливье бы, кажется, можно было упрекнуть насъ въ недостаткъ вкуса, чемъ въ подобномъ развращени онаге. У насъ досель, несмотря на пеослабно распространяющиеся успахи просвещения, господствуеть еще какалто мудреная анатія къ истинно изящнымъ наслажденіямъ. Наши театры полны бывають только при представленіяхъ Кіарини (фокусника) и изъ нашихъ періодическихъ изданій больше всёхъ расходятся — "Московскія Вёдомости". Не эта ли слишкомъ замътная скудость чувствительности вынуждаеть нашихъ поэтовъ прибегать къ насильственнымъ средствамъ для пробуждения въ нашихъ непросыпныхъ душахъ привътнаго отклика?... Но отчего бы нашимъ поэтамъ не попытаться прибегнуть въ другому, мене шумному, но более надежному средству возбуждать эстетическое участіе?... Отчего бы не допуствть имъ въ поэтическій механизмъ свой, кромѣ кинжала и яда, другихъ пружинъ, меньше смертоносныхъ, но не меньше дъйствительныхъ?... Не могло ли бы съ избыткомъ заменить всю эту романтическую стукотню и резню-существенное достоинство и величіе изображаемыхъ предметовъ, наставительная знаменательность драпировки, не сслепительная для умственнаго взора светлость мыслей, не удушительная теплота ошущеній?... А этого-то, по несчастію, и недостаеть въ нашихъ новыхъ поэтическихъ произведеніяхъ! — Они обращаются около предметовъ совершенно ничтожныхъ: одъваются въ маскарадные костюмы, представляющие уродливое смёшение этнографическихъ и хронологическихъ противорвчій; блестять пошлыми двуличневыми остротами; дышать чадными и перыдко смрадными чувствами. Отъ двухъ первыхъ обвинительныхъ пунктовъ не оправдается и Борскій. Что за предметъ для поэмы?... Ревнивый мужъ убиваеть жену-лунатика и замерзаеть самь на ея могиль... Что туть интереснаго?... И въ психологическомъ отношени -- это не великое дело, и въ эстетическомъ-не весьма занимательное зрѣлище! Будь это событіе историческое или по крайней мъръ основанное на народномъ преданіи, -- тогда бъ оно могло имьть для насъ важность истины или прелесть наследственной собственностипредесть роднаго... Но-сочинять нарочно такія исторіи значить изнурять воображение надъ пустяками!-- Недостатокъ сей можно было бы, однако же, искупить счастливымь выборомь, живописною поднотою, изящною отделкой поэтическаго костюма. Мы разумбемъ здъсь подъ костюмомъ всъ тъ многочисленныя, многоразличныя черты и картины, кон сообщають поэтическую индивидуальность повествованію, опредыяя мисто и время, къ кониъ оно относится. Происшествіе, само по себъ ничтожное, можеть служить генію канвою для поэтическаго изображенія цілой эпохи, цілой страны, цілаго народа: и тогда ничтожность его совершенно теряется изъ виду. Такъ ли поступлено въ Борскомъ?... Владиміръ Борскій и весь причть лиць, составляющихъ историческое бытіе сей поэмы, суть, какъ видно по именамъ и прозваніямъ, люди русскіе. Перемёните сіи имена и прозванія—кто узнаеть въ нихъ русскихъ?.. Ни одной мальйшей черты народнаго характера русскаго! Переименуйте Владиміра въ Адольфа-это будеть французь во всехъ статьяхъ! О прекрасной Елень и говорить нечего: она отлита въ обыкновенной формь прасавиць, заказываемыхъ для историческихъ романовъ à la Madame Genlis. А добрый деревенскій священникт !... Его дружеское отношение къ Владимиру у насъ, на святой Руси, есть совершенный анахронизмъ, взятый изъ будущаго, можетъ быть ХХ въка!-Но пусть историческая живопись Борскаго слаба, неопредёленна, бездвётна: не заменяеть и онъ ее живописью ландшафтиой?... Кажись бы, такъ и следовало! Дъйствіе совершается на цвътущихъ берегахъ широкаго Дивира, подъ благословеннымъ малороссійскимъ небомъ. Какая богатая сцена! какая неистощимая жатва для генія!... Сколько поэтическихъ красоть могло бы представить живописное изображение величественнаго Дивпра, носившаго на зыблющемся хребтв своемъ младенчествующую Русь въ колыбели! Сін маститые холмы, на которыхъ возмегаетъ древняя матерь градовъ русскихъ; сін сыпучіе пески, разстилающіеся перловою бахромою вскрай водъ дніпровскихъ, не освящены ли на каждомъ шагу воспоминаніями, драгоціннійшими для каждаго русскаго сердца?... И что же?... Величественнаго Днъпра какъ будто-бъ и не было. А мирная, идиллическая жизнь добрыхъ нашихъ малороссіянь, о ней и вовсе ни слуху, ни духу!-Такъ ли надобно поступать поэтамъ, провозглашающимъ себя поборниками романтизма? Романтизмъ, въчиствишемъ своемъ знаменованіи, твиъ преимущественно и отличается отъ классицизма, что исчернываетъ мощное лоно природы всеобъемлющимъ окомъ, со всёхъ точекъ, во всёхъ направленіяхъ. Посмотрите на творенія чуднаго Байрона!... Его "Чайльдъ-Гарольдъ" есть богатьйшая ткань идеализированной исторіи человъчества, убранная драгоцінній шими воспоминаніями, собранными изъ всіхъ віковъ, подъ всіми земными поясами. Его "Джауръ" дышетъ палящимъ зноемъ Востока; въ его "Мазень" кипить буйная кровь сарматская; его "Каинъ" предстоить во всей суровой наготь первобытнаго міра. Отчего бы и Борекому не окостюмироваться равно полнымъ, равно върнымъ, равно занимательнымъ образомъ?... Это. право, сообщило бы ему больше романтической прелести и произвело бы жив в йшій и прочнийший эффекть, чимъ подобныя эвменидистическия сцены:

Нёть жертвы боль!

Недвиженъ взоръ, ужасенъ видъ— Въ его рукъ окровавленной Рука Елены, но она Уже недвижна и хладна И костенъетъ постепенно....

Отчего бы... Но увы!—это легко сказать, но легко ли сдылать?... Чтобы дать полную, определенную, выразительную физіономію поэтической картині, не довольно одного юнаго, свіжаго и мощнаго таланта: нужно еще — yuenie... проклятов yuenie!... Безъ него не обогнать ни на шагъ сильнаго, могучаго богатыря «Илью Муромца!»...

Искусство мыслить-къ искусству сочинять.

Такъ учивалъ въ старину Горацій! А у насъ теперь?

Не знавшій грамоть стихи кропаеть смьло!... «И для чего не такь?... Я вольностью дышу! Я знатень, я богать, я баринъ.... и пишу!»

Повторимъ снова приведенный нами эпиграфъ:

Nunc satis est dixisse; «ego mira poëmata pungo!»... Мудрецъ нашъ мыслитъ такъ: «предъ смёдымъ награжденье! Погибни всякій трудъ: могу и безъ него Казаться знатокомъ, не зная ничего!»

«Но, говорять, поэтическій инстинкть можеть замінить для генія всю школьную пыль учености!-Природа-де познается не изъ кпигъ и не за скамьями: сердце свое можно изучать самому, безъ указки профессорской; посему живописцемъ природы, исторіографомъ сердца легко сділаться, не прошедши ни физики Страхова, ни исторіи Шрекка. В'єдь Гомерз и Шекспира не учились въ университетахъ!»-- Просемъ извиненія, мм. гг.! Гомеръ учился всю жизнь свою: его «Иліада» и «Одиссея» написаны не по однимъ слухамъ, а съ собственныхъ долговременныхъ наблюденій надъ обычаями различныхъ странъ и народовъ. Что до Шекспира, то пора бы также перестать ссылаться на него какъ на образецъ генія-неуча. Шекспиру не совсимь была чужда классическая древность, составлявшая издавна родовое наслёдіе всёхъ европейскихъ націй, и едва ли кому изъ нашихъ автодидактическихъ всезнаекъ удалось смести столько пыли со старинныхъ отечественныхъ льтописей, какъ творцу Генрика IV и двухъ Ричардовг; Гомерт и Шекспирт знали, следовательно, природу и сердце не по одному только инстипкту. Оттого-то ихъ творенія дышать поэтической истиною и составляють наследственное богатство всего человечества. А наши молодые поэты? Они знають природу и сердце лишь по наслышкь: вотъ почему и творенія ихъ представляють не исторію природы и сердца, а различныя исторіи о природі и о сердць. Неестественность и нелітость составляють ихъ отличительное качество. Возьмемся за Ворскаго: какъ неудачно

состеганы кусочки, изъ которыхъ синта сія поэмка; рука художника не умѣла даже прикрыть швовъ, которые вездѣ въ глаза мечутся. Владимірт есть единственный герой, или лучше единственное живое лицо поэмы: ибо всѣ прочія суть восковил финуры. Его характеръ долженъ, слѣдовательно, быть средоточіемъ, изъ котораго должна развиваться вся поэма. Спрашивается: что это за характеръ?... Господь одинъ знаетъ. Въ первой главѣ первой части Владимірт представляется состарѣвшимся юношею: по крайней мѣрѣ онъ такъ говоритъ самъ о себѣ:

Едва довёрчивую младость До половины ожиль я, Ужь знаю тягость бытія і И сердиу чуждо слово: радость!

Непонятно, отчего онъ такъ скоро состарътся. Его любовь не была любовь обманутая, разочарованная, безнадежная. Правда, онъ преслъдуемъ былъ гнъвомъ раздраженнаго отца; но сей гнъвъ не разражался еще надъ нимъ въ убійственномъ проклятіи. Это доказываютъ собственныя чувства его при вскрытіи роковаго письма, заключающаго послъднюю волю отца его:

. долго онъ, Въ волненьи страха перемѣнномъ, Не смѣетъ робкою рукой Раскрыть бумаги роковой. Отца таинственныя строки Его тревожатъ и страшатъ: Черты завѣтныя хранятъ, Быть можетъ, горькіе упреки!

Упреки!—слышите ли: не болье?... Это все, что только могь онъ представить себь ужаснышаго при видь таинственнаго завыщанія. До того—онь и о нихъмало думаль. Его тревожили только одни любовническія сомнынія о вырности Елены.

Не разъ, сомнёньямъ предана, Моя душа изнемогла: Теперь.... опять.... по нётъ, не знала Притворства хитраго *ona*!...

«Статочное ли діло, чтобы подобныя сомнінія, которыя, по свидітельству опытных знатоковь любви, не разрушають, а питають блаженство любящих сердець, могли «разоблачить до ужасной наготы всю жизнь» для Владиміра? ... И если бы это была правда, если, по собственному сознанію Владиміра, въ крови его уже не было.

... Жара первыхъ впечатльній,

то какъ бы онъ, угрожаемый проклятіемъ скончавшагося отца, могъ сказать въ ту же пору:

Но если долго такъ она (Елена) Объту пребыла върна, Ее отвергнуть я не смъю! Я на преступную главу Ироклятий новыхъ не сзову!

НЕТЬ! ЭТО НЕ ИСТОРІЯ СЕРДЦА! КАКЪ бЫ, ОДНАКО, ТО НИ бЫЛО, ПРИ ОКОНЧАНІИ первой части поэмы Владиміръ женится. — Замѣтимъ, что сія первая, седмимавая, часть есть не болье, какъ длинные съни съ переходами ко второй, камилавой, части составляющей главный корпусъ всего поэтическаго зданія Борекаю. И что же сія вторая часть? Тѣ же противорьчія, та же невъроятность, та же невозможность!... Бракъ для Елепы есть источникъ несчастія: она не можетъ изгнать изъ своей памяти того страшнаго міновенія, когда.

.... озаренъ свъчей вънчальной, Ея супругъ, у олтаря, Стоялъ недвижный, думы полный, И принялъ, блъдный и безмолвный, Лобзанья жаркія ея.

Разстерзанное сердке ея предается подозрѣніямъ ревности. Это очень естественно. Не возможно также было и Владиміру, коего несчастная подозрительность уже извѣстна, отозваться подобнымъ чувствомъ на неизъяснимую тоску Елены. Но естественно ли, вѣроятно ли, возможно ли по законамъ самаго необузданнаго поэтическаго своеволія, чтобы послѣдышащаго истиннымъ огнемъ страсти разговора Елены съ Владиміромъ, составляющаго содержаніе второй главы второй части Борскаго, сей послѣдній могь предаться столь страшному, столь несправедливому, столь неблагоразумному гнѣву:

- . . . "Въ чемъ еще сомићнье? Я ей наскучиль-мало ей И дружбы и любви моей! Быть можеть, страстію позорной Давно душа ея горить, Но мыслить: мужа усыпить Она любовію притворной.... Да, это върно! мив она Не даромъ Римъ напоминала! Она мечтала-та страна Меня давно очаровала И ублечеть опять меня.... Ошиблась!-Здѣсь останусь я! Я вижу замысель коварной-Еще открытие одно-И пусть я гибну-все равно,-Я не щажу неблагодарной!...

И это *открытіе*?... Это *открытіе*, отъ котораго зависвла жизнь или смерть сколь ничтожно!... Бредъ *лунатика*.... бредъ безсвязный, безмысленный, безжизненный —и...,

И вотъ сверкнуло лезвее И кровь *Елены* на кинжалѣ— И рана въ сердцѣ у нее!

Не всякъ ли видить, что поэту хотьдось только довести *Владиміра* до убійства и до самоубійства, во что бы то ни стало!... Онь и успыль въ томъ! Но какимъ новымъ фактомъ, какимъ новымъ открытіемъ можетъ все это обогатить исторію сердиа?... Какъ вамъ угодно, гг. романтики, а намъ, слынымъ людямъ кажется, что ежели инстинктуальное знаніе природы и сердиа разрождается подобными слыдствіями, то оно—никуда не годится!

И. Къ стр. 184.

первыя послъдствія первой статьи эксь-студента надочико.

№ 21 «Въстника Европы» 1828 г., въ которомъ было помъщено начало статъи «Литературныя опасенія», вышель 14 ноября; первымъ вышедшимъ послѣ того нумеромъ «Телеграфа» былъ 20-й, явившійся 28 ноября, въ одинъ день съ № 22 «Въстника Европы», въ которомъ было окончаніе статъи Надоумко. Полевой спышилъ съ перваго же разу оборвать выскочку, ръшившагося заговорить такъ дерзко, и хотълъ внушить ему надлежащій страхъ, не ожидая, какъ видимъ, окончанія его «Опасеній».

Тирада «Телеграфа» составляла эпизодь въ общемъ обозрѣніи журналовъ. Полевой не считаль нужнымъ входить въ подробныя объясненія съ писателемъ, еще не имѣющимъ извѣстности, и, упомянувъ о немъ кратко и презрительно, главныя свои нападенія обратилъ на Каченовскаго, котораго, какъ видно, считалъ и главнымъ виновникомъ «Литературныхъ опасеній». Каченовскій, какъ извѣстно, былъ главнымъ врагомъ романтиковъ, и Полевому естественно было предполагать, что онъ подъучилъ или заставилъ Надоумко написать дерзкую статью. Вотъ тирада «Телеграфа», очень интересная по своей ѣдкости:

("Телеграфъ" 1828 г. № 20. Стр, 490-493).

Извѣстно, что съ давняго времени "Вѣстникъ Европы" упадалъ, валился, и нынѣшній годъ, въ куньихъ мордкахъ и ученическихъ изслѣдованіяхъ объ исторіи русской, всѣ думали слышать послѣдній вздохъ "Вѣстника Европы"... Но духъ перемѣнъ грянулъ и надъ нимъ, и 16 доля № 18 занята объявленіемъ: "Желаю еще потрудиться, беру па свою отвѣтственность составленіе и печа-

таніе"... Все это возбуждаеть какое то умилительное чувство при мысли, что макт говорить издатель журнала, 26 льть издающагося и—падающаго. Издатель увърдеть, что въ неизмърнмой области исторіи едва проложены тропы; "съ другой стороны видимь безпомощное состояніе литературы, усилія партій водрузить свои знамена на земль, которая не была воздѣлываема ихъ трудами. Законы словесности модчать при звукахъ журнальной полемики. Надобно, чтобы голосъ ихъ доходиль до слуха любознательнаго, который не услаждается звуками кимвала бряцающаго и мѣди звенящей". Слѣдують обѣщанія, какія всегда даеть и не исполняеть издатель" Вѣстника Европы". Но до обѣщаній его дѣло читателямь, а не намъ. Мы напоминаемъ только "Вѣстнику Европы", что не такъ должно ему браться за законы словесности. Если бы онъ, старецъ по лѣтамъ, признался въ незнаніи своемъ, принялся за дѣло скромно, поучился, бросилъ свои смѣшные предразсудки, заговорилъ голосомъ безпристрастія, мы всѣ охотно уважили бы его сознаніе въ слабости, желаніе учиться и познавать истину, всѣ охотно стали бы слушать его.

Но что сділаль до сихь поръ издатель "Вістника Европы"? гді его права и на какой возділанной его трудами землі онь водрузить свои знамена? гді, за какимъ океаномъ эта обітованная земля? Юноши, обогнавшіе издателя "Вістника Европы", не виноваты, что они шли впередъ, когда издатель "Вістника Европы" засіль на одномъ місті и неподвижно просиділь боліве 20 літь. Дивиться ли, что теперь "Вістнику Европы" видятся чудныя распри, грезятся кимвалы бряцающіе и мідь звенящая?

Съ 1805 года нынѣшній издатель "Вѣстника Европы" началь свое дѣло и—теперь только вздумаль, что уже время трудиться самому. Оспаривая у другихъ право литературнаго суда, онъ даетъ поводъ у него потребовать доказательствъ на *его* права: гдѣ они?

Журнальныя статейки, выходки на Карамзиныхъ, Жуковскихъ, Буле, Калайдовичей, полдюжины диссертацій изъ чужихъ матеріаловъ, передълка статей Баузе, переводъ вздорнаго романа ("Тереза и Фальдони"), перекроеніе съ польскаго "Хрестоматіи" Якобса, смѣшные споры, коими пестрился иногда "Вѣстникъ Европы"—вотъ все чѣмъ устилалъ себѣ издатель "Вѣстникъ Европы" дорогу въ храмъ литературнаго безсмертія, въ теченіе 25 лѣть! Ни одной книги, достойной вниманія, ни одной самобытной замѣчательной статьи въ 25 лѣть—и г. издатель говорить о кимвалахъ бряцающихъ и мѣдв звенящей!

Впрочемъ, посмотримъ: можетъ быть, и въ самомъ дѣлѣ "Вѣстникъ Европы" вдругъ оживится, возстанетъ... Но нѣтъ! кажется, это уже невозможно. Въ № 21 сего года едва ли не начато преобразованіе, и—безъ смѣха нельзя читатъ испещренной греческими, латинскими, французскими, нѣмецкими цитатами, статъи о литературѣ русской. Въ греческомъ эпиграфѣ въ трехъ строкахъ иятъ ошибокъ (самъ издатель "Вѣстника Европы" знаетъ по гречески очень илохо: на это естъ вѣрныя доказательства; а г. Надоумко, сочинитель статъи, какъ студентъ, разумѣется, не большой знатокъ греческихъ трагиковъ), и самое лучшее въ статъв есть то, что говоритъ сочинителю разговаривающее съ нимъ лицо: "не стыдно ли тебѣ такъ далеко отстать отъ своего вѣка и перетряхивать на бездѣлье старинную труху!" Впрочемъ, эта драгоцѣнная статъя стоитъ особливаго разбора.

Статья «Телеграфа» подписана была псевдонимомъ «Бенигна». Каченовскій имѣлъ слабость отвѣчать на нее слѣдующимъ курьезнымъ примѣчаніемъ къ статьѣ Надоумко «Откликъ съ Патріаршихъ Прудовъ».

Здась приличнымъ почитаю объенть, что препираться съ Бенигною я не имью охоты, отказавшись навсегда отъ безплодной полемики; а теперь не имью на то и права, предпринявъ другія мьры къ охраненію своей личности отъ вгриваго производа сего Бенигны и всьхъ прочихъ. Я даже не читалъ бы статьи Телеграфической, еслибъ не былъ увлеченъ слъдствіями неблагонамъренности, прикосновенными къ чести службы и къ достоинству мьста, при которомъ имью счастье продолжать оную. $P\partial p_{\partial x}$.

Черезъ нѣсколько времени послѣ того, какъ жалкая попытка Каченовскаго оградиться тѣмъ, чѣмъ не слѣдуетъ и невозможно ограждаться въ спорахъ чисто литературныхъ, получила рѣшеніе какого заслуживала: Пушкинъ напечаталь въ «Сѣверныхъ Цвѣтахъ» 1830 года свою превосходно написанную статью, которую приводимъ здѣсь вполнѣ, съ нѣкоторыми поясненіями. Вотъ первая половина ея:

отрывокъ изъ литературныхъ льтописей.

Распря между двумя извъстными журналистами надълала шуму. Постараемся изложить исторически все дъло, sine ira et studio.

Въ концъ минувшаго года, редакторъ "Въстника Европы" желая въ слъдующемъ 1829 году потрудиться еще и въ качествъ издателя, объявиль о томъ публикъ, все еще худо понимающей различіе между сими двумя учеными званіями. Убідившись единогласнымъ мнініемъ критиковъ въ односторонности и скудости "Въстника Европы", сверхъ того, "движимый глубокимъ чувствомъ состраданія, при видь безпомощнаго состоянія литературы", онъ объщаль, употребить наконецъ свои старанія, чтобы сділать журналь сей общирніе и разеообразнъе". Опъ надъялся "отнынъ далъе видъть, свободнъе соображать и ръшительные дыйствовать». Онъ собирался "пуститься въ неизмыримую область бытописанія", по которой Карамзинь, какъ всімь извістно, "проложиль тро-"пинку, теряющуюся въ тундрахъ безплодныхъ". — "Предполагаю, работать "самъ-говорилъ почтенный редакторъ-не отказывая, однакожь, и другимъ "литераторамъ участвовать въ трудахъ моихъ". Сін позднія, но тімъ не менію благія наміренія, сія великодушная снисходительность къ соотрудникамъ тронули и обрадовали насъ чрезвычайно. Пріятно было бы намъ привітствовать первые успахи знаменитаго редактора "Вастника Европы". Его глубокія познанія (думали мы), столь извістныя намъ по слуху, далугь плодъ во время свое (въ нынашнемъ 1829 году). Сватильникъ исторической его критики озарить вышеупомянутыя тундры области бытописаній, а законы словесности. "умолкийе при звукахъ журнальной полемики", заговорять устами ученаго редактора. Онъ не ограничить своихъ глубокомысленныхъ изследованій замечаніями о заглавномъ листь "Исторіи Государства Россійскаго" или даже разсужденіями о куньихъ мордкахъ, но върнымъ взоромъ обниметь наконецъ твореніе Карамзина, оцьнитъ истину его разъисканій, укажеть источники новыхъ соображеній, дополнитъ недосказанное. Въ критикахъ собственно литературныхъ мы не будемъ слышать то брюзгливаго ворчанья какого нибудь стараго педанта, то непристойныхъ криковъ пьянаго семинариста. Критики г. Каченовскаго должны будутъ имѣть рѣшительное вліяніе на словесность. Молодые писатели не будутъ ими забавляться, какъ пошлыми шуточками журнальнаго гаера. Писатели извъстные не будутъ ими презирать, ибо услышатъ окончательный судъ своимъ произведеніямъ, оцѣненнымъ ученостью, вкусомъ и хладнокровіемъ.

Можемъ смѣло сказать, что мы ни единой минуты не усомнились въ исполненіи плановъ г. Каченовскаго, изложенныхъ поэтическимъ слогомъ въ газетномъ объявленіи о подпискъ на "Вѣстникъ Европы". Но г. Полевой, долгое время наблюдавшій литературное поведеніе своихъ товарищей - журналистовъ, худо повѣрилъ новымъ обѣщаніямъ "Вѣстника". Не ограничиваясь безмольными сомнѣніями, онъ напечаталъ во 2-й книжкѣ "Московскаго Телеграфа" прошедшаго года статью, въ которой сильно напалъ на почтеннаго редактора "Вѣстника Европы". Давъ замѣтить неприличіе нѣкоторыхъ выраженій употребленныхъ, вѣроятно, неумышленно, г. Каченовскимъ, онъ говорить:

"Если бы онъ ("Въстнякъ Европы"), старецъ по лътамъ, признадся въ "незнаніи своемъ, принядся за дъло скромно, поучился, бросидъ свои смъшные "предразсудки, заговорилъ голосомъ безпристрастія, мы всъ охотно уважили бы "его сознаніе въ слабости, желаніе учиться и познавать истину, всъ охотно "стали бы слушать его".

Странныя требованія! Въ лётахъ "Вѣстника Европы" уже не учатся и не бросаютъ предразсудковъ закоренѣлыхъ. Скромность, украшеніе сѣдинъ, не есть необходимость литературная; а если сознанія, требуемыя г. Полевымъ, и заслуживаютъ какого нибудь уваженія, то можно ли намъ оныя сдушать изъ усть почтеннаго старца безъ болѣзненнаго чувства стыда и состраданія?

"Но что сділаль до сихь поръ издатель "Вістника Европы?"—продолжа-"стъ г. Полевой.—Гді его права и на какой возділанной его трудами землі, "онъ водрузить свои знамена? гді, за какимъ океаномъ эта обітованная "земля? Юноши, обогнавшіе издатель "Вістника Европы", не виноваты, что "они шли впередь, когда издатель "Вістника Европы" засіль на одномъ міз-"сті и неподвижно просиділь боліе 20 літъ. Дивиться ли, что теперь "Віст-"нику Европы" видятся чудныя распри, грезятся кимвалы бряцающіе и міздь "звенящая?"

На сіе отвітствуемъ:

Если г. Каченовскій, не написавъ ни одной книги, достойной нькотораго вниманія, не напечатавъ, втеченіе 26 льтъ, ни одной замьчательной статьи снискалъ, однакожь, себь безсмертную славу, то чего же должно намъ ожидать отъ него, когда наконецъ онъ примется за дъло не на шутку? Г. Каченовскій просидълъ 26 льтъ на одномъ мъсть,—согласенъ; но какъ могли юноши обогнать его, если онъ ни зачьмъ и не гнался? Г. Каченовскій ошибочно су-

диль о музыкѣ Верстовскаго, но развѣ онъ виноватъ? Г. Каченовскій перевель "Терезу и Фальдони"—что за бѣда?

Досель казалось намъ, что г. Полевой неправъ, нбо обнаруживаетъ какое-то пристрастіе въ замѣчаніяхъ, которыя съ перваго взгляда являются довольно основательными. Мы ожидали отъ г. Каченовскаго возраженій неоспоримыхъ или благороднаго молчанія, каковымъ нѣкоторые извѣстные писатели всегда отвѣтствовали на неприличныя и пристрастныя выходки нѣкоторыхъ журналистовъ. Но сколь изумились мы, прочитавъ въ № 24-мъ "Вѣстника Европы" слѣдующее примѣчаніе редактора къ статъѣ своего почтеннаго сотрудника, г. Надоумки (одного изъ великихъ писателей, приносящихъ истинную честь и своему вѣку и журналу, въ коемъ они участвуютъ):

(Выписано примъчаніе Каченовскаго къ отвъту Надеждина на статью Бенигны, приведенное нами выше, на стр. 212).

Сіе загадочное примѣчаніе привело насъ въ большое безпокойство. Какія "мѣры къ охраненію своей личности отъ игриваго произвола г. Бенигны" предприняль почтенный редакторъ? Что значить, "игривый произволь г. Бенигны?" что такое: "быль увлеченъ слѣдствіями неблагонамѣренности, прикосновенными къ чести службы и достоинству мѣста?" (Впрочемъ, смыслъ послѣдней фразы донынѣ остается теменъ, какъ въ логическомъ, такъ и въ грамматическомъ отношеніи).

Многочисленныя почитатели "Въстника Европы" затрепетали, прочитавъсіи мрачныя, грозныя, безпощадныя строки. Не смѣли вообразить, на что могло ръшиться рыцарское негодованіе Міханла Трофімовича. Къ счастію, скоро все объяснилось...

Какимъ образомъ объяснилось дёло, и въ чемъ оно состояло, статья Пушкина не говоритъ. Полевой (въ разборѣ "Сѣверныхъ Цвѣтовъ") намекаетъ, что въ этомъ мѣстѣ статьи есть довольно значительный пропускъ. Въ чемъ состояла сущность дёла, изложено было статейкою одной петербургской газеты о ссорю нѣкоего китайскаго журналиста-мандарина съ другимъ журналистомъ, который не быль мандариномъ. Статейку эту перепечаталь въ свое время "Телеграфъ". (1829 г. № 5). Ея содержаніе таково: китайскій журналисть Гай-Чань жаловался на другаго кнтайскаго же журналиста Чуна за то, что Чунъ доказалъ въ своемъ журналъ, что онъ, Гай-Чанъ, "ничего не знаетъ и ничего хорошаго не сочиниль"; въ доказательство своихъ знаній, Гай-Чанъ представиль Хань-Линю, ученому собранію южной столицы Небесной имперіи, членомъ котораго онъ служить, "золотой шарикъ своей мандаринской шляпы, четыре жалованныя ему павлины пера и дванадцать больших пуговиць съ изображениемъ дракона"; ученое собраніе Хань-Линь уб'ядившись этими доказательствами учености решило, что Чунъ своей критикою "обидель личную честь мандаринажурналиста Гай-Чана и достоинство его золотыхъ шариковъ, павлиньихъ перьевъ и большихъ позолоченныхъ пуговицъ, и темъ нарушилъ правила пяти добродътелей, шести обязанностей и семи приличій", потому ученое сословіе Хань-Линь за оскорбленіе своего сочлена Гай-Чана жаловалось палаті стиховъ и прозы южной столицы; но въ палать стиховъ и прозы метнія объ этомъ

дълъ были разногласны; потому палата стиховъ и прозы южной столицы представила затруднительный вопросъ на разръшеніе палаты церемоній съверной столицы; палата церемоній нашла справедливымъ сужденіе тѣхъ членовъ палаты стиховъ и прозы, которые полагали, что мнѣніе ученаго сословія Ханьлин неосновательно, и что "можно быть набитымъ невѣждою, нося золотые шарики не только на верхушкѣ шляпы, но и на концѣ носа и на оконечностяхъ всѣхъ двадцати пальцевъ, и имѣя сверхъ того все тѣло покрытое павлиньями перьями", и что журналистъ Чунъ, говорившій исключительно о литературныхъ занятіяхъ журналиста-мандарина Гай-Чана, нимало не оскорбилъ ни личной его чести, ни его шариковъ, перьевъ и пуговицъ, а потому и не подлежитъ осужденію.—Короче и еще яснѣе дѣло изложено възнаменнтой эпиграмѣ Пушкина, которая помѣщена была въ "Телеграфѣ" 1829 года:

Обиженный журналами жестоко, Зоиль Пахомъ печалился глубоко, Вотъ подаль онъ на ценсора донось; Но ценсорь правъ. Намъ смѣхь—Зовлу носъ. Иная брань, конечно, неприличность. Нельзя писать: такой-то де старикъ козель въ очкахъ, плюгавий клеветникъ, И золъ, и подлъ—все это будетъ личность; Но можете печатать, напримѣръ, Что "господинъ парпасскій старовиръ (Въ своихъ статьяхъ) безмыслицы ораторъ, Отмѣнно вялъ, отмѣнно скучноватъ, Тяжеловатъ и даже глуповатъ":

Зоиломъ назывался Каченовскій собственно потому, что осм'ялился говорить. будто бы "Исторія Государства Россійскаго" Карамзина не есть твореніе идеальнаго совершенства, а имфетъ въ ученомъ отношении, ифкоторые недостатки. Долго лежала за то на Каченовскомъ ученая опала, какъ до сихъ поръ лежить за то же на Полевомъ, который черезъ нѣсколько лѣть рѣшился сказать то самое, за что прежде укоряль Каченовскаго. Съ Каченовскаго теперь опала та снята, благодаря прекрасному заступничеству последователей новаго возэрвнія на русскую исторію, развитаго гг. Соловьевымъ, Кавелинымъ и другими. Заслуги Каченовскаго въ русской исторіи признаны. Не пора ли сказать, что и въ "Исторіи Русскаго Народа" Полеваго есть свои хорошія, и даже очень хорошія, стороны? Этого требовала бы справедливость. Здёсь, впрочемъ, должны мы о Каченовскомъ заметить, что его важивищие труды явились после того, какъ написана статья о немъ въ "Телеграфь", и потому, признавая важность ихъ, мы находимъ статью Полеваго въ сущности справедливою. Сдёлавъ эти замічанія, казавшіяся намъ нужными, поміщаемъ вторую половину статьи Пушкина.

Успокоившись насчеть ужаснаго смысла вышепомянутаго примѣчанія, мы сожалѣли о безполезномъ дѣйствіи почтеннаго редактора. Всѣ предвидѣли послѣдствія онаго. Въ статьѣ г. Полеваго личная честь г. Каченовскаго не была оскорблена. Говоря съ неуваженіемъ о его занятіяхъ литературныхъ, издатель "Московскаго Телеграфа" не упомянуль ня о его службѣ, ни о тайнахъ домашней жизни, ни о качествахъ его души.

Между темъ ожесточенный издатель "Московскаго Телеграфа" напечаталъ другую статью, въ коей дерзновенно подтвердилъ и оправдалъ первыя свои показанія. Вся литературная жизнь г. Каченовскаго была разобрана погодамъ, всв занятія опвнены, всв простодушныя обмольки выведены на позоръ. Г. Иолевой доказалъ, что почтенный редакторъ пользуется славою ученаго мужа, такъ сказать, на честное слово, а донынь, кромь переводовъ съ переводовъ и кой-какихъ заимствованныхъ кое-гдѣ статеекъ, ничего не произвель. Скудость, болье достойная сожальнія, нежели укоризны! Но что всего важнье, г. Полевой доказаль, что Міханль Трофімовичь песколько разъ дозволяль себь личности въ своихъ критическихъ статейкахъ, что онъ упрекалъ издателя "Московскаго Телеграфа" виннымъ его заводомъ (пятномъ ужаснымъ, какъ извъстно всему нашему дворянству!), что онъ неоднократно съ упрекомъ повторяль г. Полевому, что сей последній-купець (другое, столь же ужасное обвиненіе!), и все сіе въ непристойныхъ, оскорбительныхъ выраженіяхъ. Туть уже мы приняли совершенно сторону г. Полеваго. Никто, болье нашего, не уважаеть истиннаго, родоваго дворянства, коего существование столь важно въ смыслѣ государственномъ: но въ мірной республикѣ наукъ какое намъ дѣло до гербовъ и пыльныхъ грамотъ? Потомки Трувора или Гостомысла, трудолюбивый профессоръ, честный аудиторъ и странствующій купецъ равны передъ законами критики. Князь Вяземскій уже даль однажды замітить неприличность сихъ аристократическикъ выходокъ; но не худо повторять полезныя истины.

Однакожь, таково дъйствіе долговременнаго уваженія! И туть мы укоряли г. Полеваго въ запальчивости и неумъренности. Мы съ умиленіемъ взирали на почтеннаго старца, разстроеннаго до такой степени что для поддержанія ученой своей славы принужденъ онъ былъ обратиться къ русскому букварю и преобразовать оный удивительнымъ образомъ. Утышительно для насъ, по крайней мъръ, то, что свъдънія Міханла Трофімовича въ греческой азбукь не подлежать уже никакому сомньнію.

Съ нетеривніемь ожидали мы развязки діла. Наконець водворилось спокойствіе вь области словесности и прекратилась междоусобная война міромь, равно выгоднымъ для побідителей и побіжденныхъ... Ш.

Къ стр. 202.

НЗВЛЕЧЕНІЕ ИЗЪ «НОВАГО ЖИВОПИСЦА ОВЩЕСТВА И ЛИТЕ-РАТУРЫ» (ПРИ «ТЕЛЕГРАФЪ»).

(«Телеграфъ» 1832 г. «Нов. Живописецъ», № 24).

Заключительная статья "Новаго Живописца" состоить изъ трехь отділеній. "Бесіда у стараго литератора", "Бесіда у молодого литератора", "Разговорь послі бесідь съ литераторами". ("Новый Живописець", №№ 17, 21 в 24). Самая форма—совершенное подражаніе статьямъ Надоумки. Два друга, Леонидъ и Филовей, отправляются сначала на литературный вечерь къ Родосову, у котораго собираются старыя литераторы. Тамъ читаютъ оды, посланія мадригалы, говорятъ о лагарповыхъ правилахъ и проч., — все это скучно, но совершенно прилично и чинно, совершенно безвредно и отчасти даже хорошо по своей усыпительности. Оттуда друзья идутъ къ одному изъ своихъ пріятелей, молодому литератору Сплетнину. Они предполагали застать его дома одного; но у него также собралось общество. Это повергаетъ въ ужасъ разсудительнаго Филовея.

"Уйдемъ отсюда назадъ!" говорить онъ, когда, едва вошедши въ залъ услышалъ шумъ гостей, собравшихся въ другой комнать.--Какой вздоръ! возражаетъ добродушный Леонидъ: "ты слышишь по голосамъ, что здёсь собрался сокъ лучшей молодежи. Выдь здысь общество не хуже Родосова".-"Хуже, отвичаеть Филовей:-- тамъ только скучно, а здёсь несносно; тамъ только смѣешься, а здѣсь невольно разсердишься". Но выходить Сплетнинъ и начинаетъ разсказывать литературные слухи; выходять гости, Талантинъ и другіе, кричать, что Пушкинь выше Байрона, что философія, эстетика и вообще наука-вздоръ, лишняя тягость для поэта, что поэтъ не подчиненъ въ своемъ творчествь никакимъ законамъ, кромъ собственной необузданной фантазін, называють Талантина геніемъ, и т. д., однимъ словомъ, повторяють почти то же самое, что у Надоумки говорили Тленскій, Флюгеровскій, Чадскій; толкують, что люди прежнихь покольній ничто предъ ними, людьми новаго покольнія, что Державинь писаль дрянь, что литература наша громадными шагами бежить къ высочайшему совершенству. Все эти шумные толки происходять подъ звонъ стакановъ, подъ хлопанье пробокъ шампанскаго. Вся эта бесёда точнёйшій сколокъ съ "Сонмища Нигилистовъ" Надоумки. Разстроенные дикою безтолковостью, буйною пустотою молодыхъ литераторовъ друзья возвращаются домой. Леонидъ въ отчаяніи отъ жалкаго положенія нашей бідной литературы. "Да, это грустно, это нестериимо!" съ горестью восклицаеть онъ. - Филовей улыбается и насмёшливо говорить:

"Ф. Послушай Леонидъ, не спросить ли у тебя:

Скажи, что сделалось съ тобой?

Л. Право, твои шутки совсёмъ не кстати, и воть, позволь мнѣ сказать, одна изъ главныхъ причинъ жалкаго положенія литературы русской: съ нею всегда и всѣ шутать.

- Ф. Я готовъ доказывать противное. Мнё кажется, главная бёда въ томъ, что на нее слишкомъ важно смотрятъ.
- Л. Но какъ же иначе? Литература—это важная часть общественной жизни, это голосъ общества,—и ты хочешь, чтобы мы не уважали литературы?
- Ф. Пусть же это уваженіе походить на сознаніе собственных достоинствь, какое всегда должно таиться въ душь человъка умнаго и образованнаго. Но что такое литература и литераторы въ русской земль? Наши литераторы, какъ дъти, вздять на налочкахъ верхомъ и высоко задирають головы, думая, что они рыцари и великіе паладины.
- Л. Мнё досадно слышать отъ тебя такую холодную насмёшку насчетъ предмета собственныхъ нашихъ занятій. Можемъ ли мы надёяться создать что нибудь хорошее, если не будемъ уважать предмета трудовъ своихъ? И можно ли съ такимъ убійственнымъ хладнокровіемъ говорить о томъ поприщѣ на которомъ являлися Державины, Ломоносовы, Фонвизины, Крыловы, Грибобдовы?
- Ф. Продолжай; не забудь еще кого нибудь изъ этихъ залетныхъ лебедей, по которымъ ты думаешь, что літо литературы нашей настало... Эти случайности, эти преждевременныя искры волкана, изрідка вылетавшія изъ могучей души русскаго народа и предвіщающіе намъ, что будетъ нікогда литература русская, почитаемъ мы уже страшнымъ изверженіемъ... Какая тутъ литература? Всі эти люди были ть слідствія общаго образованія и стремленія? Нітъ это мимолетныя явленія людей,—геніальныхъ, если угодно, но они не образуютъ собою литературы, а потому...
 - Л. Не хочешь ли ты сказать, что литературы русской натъ?
- Ф. Этого я не хочу сказать. Въ самомъ младенчествъ народовъ, даже когда они не знаютъ грамотъ, начала литературъ у нихъ уже существуютъ.
 - Л. Следственно, и у насъ есть литература!
 - Ф. Нать, есть начало литератури, опыты, а не полныя явленія.
 - Л. Чемь ты докажень это?
- Ф. И обществомъ нашимъ, и самими литераторами, и такъ называемою русской литературою.... Тогда только назову я литературу голосомъ общества, когда литература будетъ необходимою потребностью общества. Нашему обществу... право, мало дъла до литературы. Донынъ книга для русскаго человъка такая же вещь, какъ игрушки дътскія, или такое же занятіе, какъ гулянье подъ Новинскимъ. Такъ же хотятъ почитать, какъ покупаютъ дътямъ коньковъ и куколокъ, и ъздятъ смотръть паядовъ.
 - Л. Ну, пусть такъ. Обратимся къ литераторамъ.
- Ф. Да гдѣ они? Я не вижу, не знаю литераторовъ. Я вижу ученыхъ по званію, то есть учителей, въ высшемъ или низшемъ значеніи этого слова; свѣтскихъ людей, которые мимоходомъ пишутъ въ альбомы и альманахи какъ играютъ въ вистъ; людей, добывающихъ писаньемъ деньгу, и которые охотно примутся за карты, за ножницы, если только это будетъ имъ прибыльнѣе пера; чиновниковъ военныхъ и гражданскихъ, которые отъ скуки, для забавы, для денегъ, кое-что пописываютъ. Послѣ этого, ты позволишь мнѣ смѣяться надъ

литературною нашею спёсью и надъ твоею литературною іереміадою..... Все идеть своимь чередомъ. Литературё у насъ время еще не пришло.

Л. Время, время! Да время и никогда не прійдеть....

Ф. Какая нелѣпица! Придеть оно, милый другь, и его ничто не остановить... И оно идеть, движется незамѣтно, безпрерывно, движеть и нась съ собою. Посмотри на то, что сдѣлано въ литературѣ съ 1732 по 1832 годъ.... Все это мало, недостаточно; но начало сдѣлано, и Дмитрій Донской стоить въ такомъ же великомъ разстояніи отъ Семиры, въ какомъ отъ него находится Борисъ Годуновъ; Грибоѣдовъ съ своимъ Горе отъ Ума такъ же выше Фонвизина съ его Недорослемъ, какъ Фонвизинъ былъ выше Сумарокова съ его Чудовищами.

Мы уже не доживемъ, милый другъ, до того времени, когда въ Россіи литература займетъ важную степень между общественными отношеніями, когда общество поставитъ литературу въ число необходимостей жизни... Теперь намъ еще некогда и думать объ этомъ. У насъ столько другихъ дѣлъ и занятій. Не смѣшно ли требовать литературы, когда мы едва грамотѣ знаемъ? или созданій великихъ, когда образованіе и просвѣщеніе не даютъ къ тому средствъ?

....Взгляни на общество, опредвли степень нашего образованія и просвъщенія, ожидай въ будущемъ, двлай самъ что можещь, въ надежді: не мию, макъ внукамъ пригодится, а между тімъ не требуй, чтобы дитя въ пеленкахъ плясало минуэтъ. Я нимало не дивлюсь, замічая у насъ мелкость литературную и находя повсюду безцвітность, холодность, подражательность. Отъ этихъ ли пестрыхъ куколъ, отъ этихъ ли человічковъ на восковыхъ ножкахъ ждать высокихъ сильныхъ порывовъ души, глубокаго восторга, самобытныхъ созданій! У вихъ всіз дітскіе пороки! Самохвальство, горделивость, подражательность, все это найдешь ты въ литературі нашей, и ни одной добродітели, даже ни одного порока взрослаго человіка.... Да что я заговориль такимъ языкомъ? Съ литературою русскою надо шутить и смінться, потому что на дітей сердиться смішно и грішно. Пусть критика ставить иногда русскихъ литераторовь въ уголъ, за шалости; пусть публика иногда дарить вниманіемъ ихъ стишки и твореньща, какъ дарять дітей обновками къ празднику, — и только!"

— Все это буквальное повтореніе того, что говорилось въ статьяхъ Надоумко.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Критикою «Телескона» было положено основание критикѣ гоголевскаго неріода. Это внутреннее родство мысли выразилось н внёшнимъ образомъ въ первоначальныхъ отношеніяхъ людей, изъ которыхъ одному досталось на долю начать, а другому --совершить діло водворенія у насъ справедливых литературных понятій. Но какъ впоследствии времени эти люди стали чужды другь другу, такъ и мысль, черезъ нихъ выражавшаяся, достигнувъ полнаго развитія въ словѣ бывшаго ученика, раскрыла въ себѣ содержаніе, существенно различное отъ того, что обнаруживала въ первыхъ, еще несовершенныхъ своихъ проявленіяхъ у бывшаго учителя. Коренныя черты родства между этими двумя ен фазисами указать очень легко: стоить только припомнить общую точку зранія критики Надеждина. Существеннымъ основаніемъ всёхъ его воззрёній служили идеи, выработывавшіеся германскою философіею. Сообразно духу этой философіи, онъ разсматриваль литературу, какъ одно изъ частныхъ проявленій общей народной жизни, въ связи съ другими сторонами жизни; требовалъ, чтобъ она сознала свое назначеніе-быть не праздною игрою личной фантазіп поэта, а выразительницею народнаго самосознанія и одною изъ могущественнъйшихъ силъ, движущихъ народъ по пути историческаго развитія. Вследствіе такихъ высокихъ понятій о назначеніи литературы, нъмецкая философія поставляла необходимостію, чтобы въ ея произведеніяхъ значительность идеи, безъ которой форма пуста, соединялась съ художественностью формы, осуществляющей идею. Отъ этихъ эстетическихъ аксіомъ критика гоголевскаго періода никогда не отступала. Напротивъ, чемъ более она развивалась, темъ глубже, поливе и сильнее понимала и выражала эти иден. Сходство,

какъ видимъ, заключалось въ особенности общаго начала. Оно очень значительно; его можно назвать настоящимъ кровнымъ родствомъ. Различіе было еще гораздо болье важно. Оно зависьло отъ степени развитія этого общаго начала; оно состояло въ глубинъ и цёлости воззрёнія, въ послёдовательности его приложеній и въ важности выводовъ, какіе давало его приміненіе къ фактамъ, представляемымъ литературою. Чтобы видеть, какое огромное разстояніе, уже по необходимости, дежавшей въ дух'в времени, не говоря о причинахъ различія, зависвинихъ отъ личнаго характера критиковъ, отделяло критику гоголевскаго періода отъ критики «Телескона», надобно сообразить, какому изм'вненію подверглись въ своемъ прогрессивномъ движенін тѣ элементы нашей умственной жизни, изъ взаимнаго проникновенія которыхъ слагается критика, съ той поры, когда кончилась журнальная деятельность Надеждина (1834—1836), до той эпохи, когда критика гоголевского періода достигла (1844—1847) крайнихъ пределовъ развитія, положенныхъ ей не столько границами силь и слишкомъ кратковременной жизни человъка, бывшаго главнымъ ея представителемъ (силы эти были огромны и раскрывались передъ нами далеко не во всей полнотъ), сколько границами потребностей и требованій нашей публики. Надобно припомнить ходъ постепеннаго развитія у насъ научныхъ понятій и литературы въ этотъ періодъ времени, очень непродолжительный, обнимающій всего какихъ нибудь двінадцать літь, но ознаменованный въ нашей умственной жизни многими очень важными фактами.

Надеждинъ ввелъ въ наше литературное сознаніе иден, выработанныя нѣмецкою философіею *). Это заслуга очень важная. Но

[&]quot;) Задолго до Надеждина, немецкая философія имела последователей между русскими учеными. Особеннаго вниманія заслуживаеть то, что ею съ любовью занимались въ нашихъ духовныхъ академіяхъ. По случаю изданія "Логики" Бахмана въ русскомъ переводь Надеждинъ говоритъ ("Молва" 1832, № 20), что въ одной изъ духовныхъ академій давно ужь переведены сочиненія Канта, Шеллинга, Фихте, Якоби. Поздиве въ Кієвской Духовной Академіи, исторія философіи отъ Канта до Регеля преподавалась по изв'єстному сочиненію Мишелета (берлинскаго). Имена высокопреосвященнаго Филарета, митрополита московскаго, и преосвященнаго Иннокентія одесскаго должны ванимать въ исторіи философіи у насъ такое же м'єсто, какъ и въ исторіи богословія. Протоієрей Г. П. Павскій, оказавшій незабвенныя услуги богословскимъ наукамъ въ Россів, заслуживаетъ величайшаго нажего уваже-

Надеждинъ былъ последователемъ Шеллинга, и если принадлежалъ, какъ мы говорили, къ темъ изъ учениковъ этого философа, которые развивали его понятія сообразно духу времени, то все, однако же. въ сущности оставался ученикомъ Шеллинга. Но система этого мыслителя сама по себъ неудовлетворительна, и главное значение ея состоить только въ томъ, что она была зародышемъ, изъ котораго развилась система Гегеля. Этого философа Надеждинъ, какъ по всему видно, никогда не признавалъ своимъ руководителемъ, считая его не болве, какъ даровитымъ последователемъ Шеллинга. Понять Гегеля, который даль истинный смысль и настоящую цену неопределеннымъ и отрывочнымъ мыслямъ Шеллинга, было предоставлено уже следующему поколенію, обратившемуся къ изученію ньмецкой философіи отчасти по самостоятельному стремленію, отчасти, конечно, благодаря деятельности Надеждина и Павлова. Нъсколько времени эти юноши абсолютною истиною считали ученіе Гегеля въ такомъ видь, какъ излагаль его этоть мыслитель. Но скоро познакомились они съ сочиненіями учениковъ Гегеля, которые, съ строгою последовательностію развивая существенныя идеи учителя, отвергли все, что въ его системъ противоръчило этимъ основнымъ принципамъ, и наконецъ преобразовали его систему такъ, какъ прежде онъ преобразоваль систему Шеллинга. Безъ всякаго преувеличенія, надобно сказать, что такъ называемою школою Гегеля образовано было совершенно новое философское

нія и какъ мыслитель; въ последнее время, очень много было говорено о его трудахъ по русской филологіи чрезвычайную важность которыхъ вей признають. Но филологія послужила ему только развлеченіемъ оть занятій богословіемъ и философією, дающихъ ему еще гораздо болѣе правъ на сдаву между нашими учеными. Всемь известны заслуги протојерея Ө. А. Голубинскаго, знаменитаго профессора философіи въ Московской Духовной Академіи. Наконецъ назовемъ Ө. А. Сидонскаго. Изъ свётскихъ ученыхъ, до Надеждина, нельзя не вспомнить о Феселеръ, Велланскомъ и въ особенности И. Я. Кронебергъ и М. Г. Павловъ. Послъдній имълъ даже значительное вліяніе на молодое покольніе, воспитывавшееся въ Московскомъ Университеть, и ему быть можеть, даже болье, нежели Надеждину, принадлежить слава распространенія любви къ философіи между молодыми литераторами, о которыхъ мы будемъ говорить. Тёмъ не менёе, когда выступилъ Надеждинъ, немецкая философія не только для большинства нублики, но и для большей части образованнъйшихъ писателей нашихъ оставалась еще предметомъ неслыханнымъ и непостижимымъ.

ученіе, которому система самого Гегеля служила не болье, какъ предшественницею, только въ этомъ ученіи получившею свой смыслъ и оправданіе. Тъмъ завершилось развитіе нъмецкой философіи, которая, теперь въ первый разъ достигнувъ положительныхъ рашеній, сбросила свою прежнюю схоластическую форму метафизической трансцендентальности и, признавъ тожество своихъ результатовъ съ ученіемъ естественныхъ наукъ, слилась съ общей теоріею естествовъдънія и антропологіею.

Тогда и увлеченіе системою Гегеля, которому навремя совершенно подчинялись молодые русскіе приверженцы німецкой философіи, уступило місто новымъ воззрініямъ, высказаннымъ его учениками. Предметь этотъ имість высокую важность для исторіи нашей литературы, потому что изъ тіснаго дружескаго кружка, о которомъ мы говоримъ и душою котораго былъ Н. В. Станкевичъ, скончавшійся въ первой поріз молодости, вышли или впослідствіи примкнули къ нему почти всі тіз замічательные люди, которыхъ имена составляють честь нашей новой словесности, отъ Кольцова до г. Тургенева. Безъ сомнінія, когда нибудь, этоть благороднійшій и чистійшій эпизодъ исторіи русской литературы будеть разсказанъ публикъ достойнымъ образомъ. Въ настоящую минуту еще не пришла пора для того.

Такимъ образомъ, втечение семи или восьми лѣтъ, научныя понятія, на которыхъ должна основываться критика, прошли два великіе фазиса развитія и достигли той окончательной ясности, полноты и последовательности, которой недоставало имъ въ системе самого Гегеля, не только въ системѣ Шеллинга. И если Шеллингъ въ настоящее время имфетъ значение только какъ непосредственный учитель Гегеля, то и самъ Гегель, въ свою очередь, имъетъ значение только какъ предшественникъ стройнаго и полнаго учения, выработаннаго его школою изъ техъ принциповъ, которые въ его системъ высказывались не болье, какъ въ видъ темныхъ предчувствій, оставались безъ приложеній и даже были подавляемы противоръчащими ихъ существенному смыслу трансцендентальными понятіями, наслёдіемъ односторонняго идеализма. Только трудами новъйшихъ нъмецкихъ мыслителей философія получила содержаніе, соответствующее требованіямь точныхь наукь, и основалась, нодобно естествов вденію, на строгом в анализ фактовъ.

Но немецкая философія занималась по преимуществу только

самыми общими и отвлеченными научными вопросами. Принципы общей системы возграній на міръ были наконець найдены ею и приложены къ разъяснению нравственныхъ и отчасти историческихъ вопросовъ; зато другія части науки, не менте важныя. оставляемы были въ Германіи безъ особенцаго вниманія, - преимущественно должно сказать это о практических вопросахъ, порождаемых матеріальною стороною человіческой жизни. Французскихъ мыслителей занимали всегда эти предметы болье, нежели нъмецкихъ, но очень долго не постигались ими во всей глубинъ и разръщались или поверхностнымъ, или фантастическимъ образомъ. Наконецъ, когда результаты нъмецкой философіи пропикли во Францію, а наблюденія, собранныя французами, въ Германію, пришло время искать положительных в чточных в рыченій. Тогла односторонность науки исчезла; ея содержание было уяснено относительно всёхъ ея существенныхъ задачъ. Матеріальныя и нравственныя условія человіческой жизни и экономическіе законы, управляющіе общественнымъ бытомъ, были изслёдованы съ цёлью опредълить степень ихъ соотвътственности съ требованіями человъческой природы и найти выходъ изъ житейскихъ противоръчій, встръчаемыхъ на каждомъ шагу, и получены довольно точныя рфшенія важнічних вопросовь жизни. Этоть новый элементь также вошель въ наше умственное развитие; критика воспользовалась имъ, и ея основныя возэрфнія во многихъ случаяхъ получили большую определенность и жизненность.

Таковъ былъ ходъ науки вообще. Мы, на сколько то было возможно, слѣдовали развитію общечеловѣческихъ понятій, которыя подъ конець періода, здѣсь обозрѣваемаго, ни мало уже не походили на то, что было намъ извѣстно въ его началѣ. Тѣ отрасли науки, которыя, имѣя предметомъ русскій міръ, должны быть обработываемы силами русскихъ ученыхъ, также сдѣлали въ этотъ промежутокъ времени очень значительные успѣхи, преимущественно русская исторія, отъ истинныхъ понятій о которой такъ много зависить и справедливое пониманіе историческаго хода нашей литературы. Около 1835 года, мы, подлѣ безусловнаго поклоненія Карамзину, встрѣчаемъ, съ одной стороны скептическую школу, заслуживающую великаго уваженія за то, что первая стала хлопотать о разрѣшеніи вопросовъ внутренняго быта, по разрѣшавшую ихъ безъ надлежащей основательности; съ другой—«высшіе

взгляды» Полеваго на русскую исторію, — черезъ десять лѣть, ни о высшихъ взглядахъ, ни о скептицизмѣ нѣтъ уже и рѣчи: виѣсто этихъ слабыхъ и новерхностныхъ попытокъ, мы встръчаемъ строго ученый взглядъ новой исторической школы, главными представителями которой были гг. Соловьевь и Кавелинь: туть въ первый разъ намъ объясняется смыслъ событій и развитіе нашей государственной жизни. Около того же времени, или нъсколько раньше, подвергается основательному изследованию вопрось о значения важньйшаго явленія нашей исторіи-реформы Петра Великаго, о которой до того времени повторялись только наивныя сужденія Голикова или Карамзина. Неть надобности объяснять, какъ тесно связана съ этимъ дёломъ участь общаго взгляда на нашу литературу. Изданія Археографической Комиссіи дали каждому возможность изучать русскую исторію по источникамъ. Самые упорные противники всего новаго соглашаются, что изучение русской исторіи сділало значительные успіхи втеченіе десяти или двінадцати льть, о которыхъ мы говоримъ.

Но ближайшій предметь критики, русская литература, изм'єнилась еще значительне. Пушкинь явился въ совершенно новомъ св'єт'є, когда по смерти его обнародованы были произведенія, въ художественномъ отношеніи превышающія все, что было имъ напечатано при жизни. Гоголь напечаталь «Ревизора». Явились Кольцовъ и Лермонтовъ. Вс'є прежнія знаменитости померкли передъ этими новыми. Явилась новая школа писателей, образовавшихся подъ вліяніемъ Гоголя. Гоголь издаль «Мертвыя души». Почти въ одно время явились «Кто виновать?», «Б'єдные люди», «Записки охотника», «Обыкновенная исторія», первыя пов'єсти т. Григоровича. Перевороть быль совершенный. Литература наша въ 1847 году была такъ же мало похожа на литературу 1835 года, какъ эпоха Пушкина на эпоху Карамзина.

Въ литературахъ западной Европы также совершались великія перемфы. Виктора Гюго, Ламартина и Шатобріана, которыхъ прежде считали величайшими поэтами нашего вѣка, стали находить слишкомъ фальшивыми, приторными или натянутыми, ихъ не только перестали превозносить, перестали даже бранить. Вмѣсто ихъ, первою славою французской литературы явилась Жоржъ Сандъ, съ которой началась совершенно новая эпоха. Въ англійской литературт, вмѣсто историческихъ романовъ Вальтера Скотта,

этнографическихъ романовъ Купера и фешенэбльныхъ издѣлій Бульвера, общее вниманіе привлекли романы Диккенса. Въ нѣмецкой литературѣ не нашлось преемниковъ не только Гете, но даже и Гофману. Въ тридцатыхъ годахъ славу нѣмецкой поэзіи отчасти поддерживалъ Гейне; но скоро и онъ оказался человѣкомъ отсталымъ отъ своего времени; о нѣмецкой беллетристикѣ въ сороковыхъ годахъ не было и слуховъ за границами нѣмецкой земли. Эти факты должны были оказать сильное вліяніе на понятія объ искусствѣ: кто прочиталъ и умѣлъ оцѣнить Диккенса и Жоржа Санда, тотъ не такъ будетъ понимать литературу, какъ поклонникъ Вальтера Скотта и Купера, не говоря уже о Ламартинѣ и Викторѣ Гюго.

Словомъ, все кругомъ совершенно перемѣнилось, и болѣе всего перемѣнились именно тѣ элементы нашей умственной жизни, отъ которыхъ непосредственно зависятъ характеръ и содержаніе критики: научныя понятія, служащія ей основаніемъ, и отечественная литература.

Условія, въ которыхъ дѣйствовала критика гоголевскаго періода, были, какъ видимъ, столь новы, что, по необходимости, возлагаемой самою сущностью дѣла, она должна была раскрывать собою для нашего литературнаго сознанія совершенно новое содержаніе. Понятія, на которыхъ она должна была опираться, факты, о которыхъ должна была судить, до такой степени превышали своею глубиною и значительностью все, о чемъ прежде могла говорить русская критика, что всѣ предшествовавшіе ей періоды нашей критики должны были померкнуть въ нашихъ глазахъ, какъ маловажные въ сравненіи съ нею.

Главнымъ дѣятелемъ критики гоголевскаго періода былъ Бѣлинскій. Читатели, быть можеть, извинять насъ, что въ настоящей статьѣ мы не даемъ ни біографическихъ свѣдѣній объ этомъ писателѣ, ни даже его характеристики, потому что сообщеніе біографическихъ подробностей не входить въ планъ нашихъ «Очерковъ», ограничивающихся только разсмотрѣніемъ произведеній и не вдающихся въ изслѣдованія о частной жизни и личномъ характерѣ писателей. Мы сами первые чувствуемъ неполноту и, такъ сказать, отвлеченность этого плана и утѣшаемся только тѣмъ, что и неполный и сухой разборъ все-таки имѣетъ нѣкоторое, хотя временное, значеніе, пока не являются труды болѣе живые и пол-

ные.—Впрочемъ, при изложении развитія и смысла критики гоголевскаго періода, быть можетъ, менѣе, нежели въ какомъ бы то ни было другомъ случаѣ, чувствуется потребность въ біографическихъ соображеніяхъ: въ дѣлахъ, имѣющихъ истинно важное значеніе, сущность не зависитъ отъ воли, или характера, или житейскихъ обстоятельствъ дѣйствующаго лица; ихъ исполненіе не объусловливается даже ничьей личностью. Личность тутъ является только служительницею времени и исторической необходимости.

Кто вникнеть въ обстоятельства, среди которыхъ должна была дъйствовать критика гоголевскаго періода, ясно пойметь, что характеръ ея совершенно зависьль отъ историческаго нашего положенія; и если представителемь критики въ это время быль Бълинскій, то потому только, что его личность была именно такова, какой требовала историческая необходимость. Будь онъ не таковъ, эта непреклонная историческая необходимость нашла бы себъ другаго служителя, съ другою фамиліею, съ другими чертами лица, но не съ другимъ характеромъ: историческая потребность вызываетъ къ дъятельности людей и даетъ силу ихъ дъятельности, а сама не подчиняется никому, не измъняется никому въ угоду. «Время требуетъ слуги своего», по глубокому изреченію одного изъ такихъ слугъ.

Итакъ, оставимъ въ сторовѣ личность Бѣлинскаго: онъ былъ только слугою исторической потребности, и съ нашей отвлеченной точки зрѣнія насъ интересуетъ только развитіе содержанія русской критики, во всемъ существенно важномъ съ необходимостью опредѣлявшееся обстоятельствами, созданными исторією. И если мы будемъ иногда упоминать имя Бѣлинскаго, говоря о той или другой идеѣ, то вовсе не потому, чтобы собственно отъ его личности зависѣло выраженіе этой идеи: напротивъ, въ томъ, что есть существеннаго въ его критикѣ, лично ему, какъ отдѣльному человѣку, принадлежатъ только тѣ или другія слова, употребленіе того или другого оборота рѣчи, но вовсе не самая мысль: мысль всецѣло принадлежитъ его времени; отъ его личности зависѣло только то, удачно-ли, сильно-ли высказывалась мысль.

Бѣлинскій явился на литературное поприще сотрудникомъ Надеждина, какъ его ученикъ и подражатель. Началь онъ съ того самаго, на чемъ остановился Надеждинъ—съ чрезвычайно рѣзкаго и горькаго отрицанія всей нашей литературы, до самого Гоголя, который и самъ тогда еще не доказаль, что его дѣятельность положитъ конецъ этому отрицанію. Первая значительная статья новаго критика—«Литературныя мечтанія. Элегія въ прозѣ»—помѣщенная въ «Молвѣ» 1834 года, имѣетъ самый мрачный и безпощадный тонъ. Уже заглавіе указываетъ на ея прямое происхожденіе отъ «Литературныхъ опасеній» Надеждина, намекаетъ, что наша такъ называемая литература не болѣе, какъ мечта, и говоритъ, что думать о ней значитъ наводить на себя тоску. Еще рѣзче высказываютъ общее направленіе статьи эпиграфы, выставленные надъ нею. Ихъ два:

> Я правду о тебѣ поразскажу такую, Что хуже всякой лжи.

> > Грибопдовъ. "Горе отъ ума".

«Есть-ли у васъ хорошія книги?»—Н'єть; но у насъ есть ве-«ликіе писатели.—«Такъ, по крайней м'єр'є, у васъ есть словесность?—Н'єть, у насъ есть только книжная торговля». Баронг Брамбеусъ».

Статья, объявляющая о своемъ содержанін такимъ заглавіемъ и такими эпиграфами, заключаетъ обзоръ всей исторіи нашей литературы отъ ея начала до 1834 года. Нужно-ли говорить, что она совершенно уничтожаеть ее? Вообще, только четыре писателя по мнёнію автора, имёють право называться русскими писателями: Державинъ, Пушкинъ, Крыловъ и Грибовдовъ. Да и тв-что такое успъли сдълать? Державина спасло отъ совершенной пустоты только его невѣжество, - а невѣжество можетъ-ли создать что-нибудь хорошее? Пушкинъ показалъ, что у него есть великій таланть, но не произвель ничего, достойнаго своихъ силъ, а теперь 1832—1834) не печатаеть ничего хорошаго: «теперь онъ умеръ, или, быть можеть, только обмеръ на время, -- судя по «Анджело» и сказкамъ, умеръ». Крыловъ хорошъ въ басняхъ-важное богатство для литературы! Грибойдовъ написалъ одну комедію, въ которой главное достоинство- Едкость, а не художественность. Итакъ, у насъ еще нътъ литературы. Могутъ-ли четыре человъка составлять литературу, особенно, если явились, какъ то было у насъ. случайно, безъ предшественниковъ и продолжателей? Литература явится у насъ тогда, когда просвещение укоренится на нашей почет; а теперь намъ рано и думать о такой роскоши. «Теперь намъ нужно ученіе! ученіе! а не литература». Тёмъ же духомъ проникнуто и другое обозрвніе, явившееся въ «Телескопв» черезъ полтора года (1836). Существенная мысль его достаточно выражается самымъ заглавіемъ: «Ничто о ничемъ, или отчеть г. издателю «Телескопа» за послъднее полугодіе (1835) русской литературы». Но Гоголь и Кольцовъ («Миргородъ», «Арабески» и «Стихотворенія Кольцова» явились въ 1835 году), уже вынуждають у автора нъкоторыя уступки въ пользу надежды на близость лучшей будущности. Обоихъ онъ приватствоваль съ восторгомъ, н съ самаго начала, когда самые проницательные изъ другихъ цвнителей еще не замвчали Кольцова и отзывались о Гоголъ съ благосклонною снисходительностью, какъ о человеке, который пишеть очень порядочно, онъ уже оцениль ихъ вполне, увидель въ ихъ первыхъ произведеніяхъ начало новой эпохи для русской литературы и предсказаль, какое высокое мъсто они займуть въ ней. А, между темъ, Кольцовъ тогда напечаталъ только маленькую тетрадку съ восемнадцатью пьесами, изъ числа которыхъ развъ шесть или семь были удачны, а Гоголь издаль только «Миргородъ» и «Арабески», ни «Ревизора», ни большей половины его повъстей, ни драматическихъ сценъ еще не было,-и, однако же, молодой критикъ не усомнился и тогда назвать его «главою нашей литературы». Эта проницательность, впрочемъ, покажется намъ совершенно естественною, если мы захотимъ сообразить, что молодому сотруднику Надеждина были даны природою силы сделаться главою нашей критики въ начинавшемся тогда новомъ неріодь: само собою разумъется, что онъ только потому и исполнилъ свое назначение, что быль готовъ къ нему, что носиль въ своей душт идеаль будущаго, истолкователемъ котораго быль, когда оно осуществилось: трудно-ли человъку, наполненному предчувствіемъ, узнать и оцфиить съ перваго же взгляда то, чего онъ ждалъ, о чемъ мечталъ? Вообще, человъкъ очень легко понимаетъ все сродное съ его собственною натурою *).

^{*)} Вотъ существенныя мѣста изъ замѣчательной статьи «О русской по-

Въ этомъ открываются уже рѣшительные признаки самостоятельности Бѣлинскаго, при самомъ началѣ его дѣятельности, когда онъ, повидимому, еще совершенно слѣдовалъ вліянію своего учителя. На Кольцова Надеждинъ не обратилъ вниманія; а что касается первыхъ повѣстей Гоголя, онъ понималъ, что «Вечера на Хуторѣ» и «Миргородъ»—произведенія прекрасныя, но всей важности этихъ явленій не замѣчалъ: находилъ ихъ автора замѣчательнымъ писателемъ, отъ котораго надобно ожидать много прекраснаго, но и не предполагалъ въ немъ корифея совершенно новой будущности. Эта разница объясняется тѣмъ, что одинъ въ душѣ совершенно былъ человѣкомъ новаго періода, въ умѣ другаго стремленіе къ будущему боролось съ привычками прошедшаго и если побѣждало ихъ, то послѣ борьбы, помощью умозаключеній и соображеній, а не мгновеннымъ инстинктивнымъ влеченіемъ родственной натуры.

вѣсти и повѣстяхъ г. Гоголя»: «Арабески и Миргородъ». («Телескопъ», томъ XXVII).

«Романъ и повъсть суть единственные роды, которые появились въ нашей литературъ не столько по духу подражательности, сколько вслъдствіе потребности... Романъ все поглотиль, а повъсть, пришедшая вмъстъ съ нимъ изгладила даже и слъды всего этого, и самъ романъ съ почтеніемъ посторонился и даль ей дорогу впереди себя. Въ русской литературъ повъсть еще гостья, но гостья, которая вытъсняетъ давнишнихъ хозяевъ изъ жилища...

«У насъ еще нъть повъсти, въ собственномъ смыслъ этого слова... Первенство поэта-повътствователя остается за г. Полевымъ. Но въ его повъстяхъ есть одинъ важный недостатокъ: въ нихъ замътно большое участіе ума, для котораго самая фантазія есть какъ бы средство (т. е. они сочинены, а не созданы, въ нихъ нъть поэтическаго творчества). Посмотримъ, нътъ-ли между нашими писателями такого, который былъ бы поэтъ по призванію... Миъ кажется, что изъ современныхъ писателей—я не включаю въ это число Пушкина, который уже свершилъ кругъ своей художнической дъятельности (такъ тогда думали, потому что послъ "Бориса Годунова" Иушкинъ втеченіе пяти или четырехъ лътъ печаталъ мало замъчательного)—никого не можно назвать поэтомъ съ большею увъренностью и ни мало не задумывансь, какъ г. Гоголя...

«Способность творчества есть великій дарь природы. Творчество безь цёльно съ цёлью, безсознательно съ сознаніемъ, свободно съ зависимостью. Воть его основные законы. (Излагается эстетическая теорія ивмецкой философіи, введенная къ намъ Надеждинымъ).

«Очень нетрудно къ этому приложить сочиненія г. Гоголя, какъ факты

Сотрудничество съ Надеждинымъ оставило навсегда довольно рѣзкій отпечатокъ на нѣкоторыхъ привычкахъ критики гоголевскаго періода. Самою существенною изъ этихъ принятыхъ по наслѣдству особенностей была безпощадная и непрерывная полемика противъ романтизма. У Надеждина она была едва ли не самою главною задачею всей критики и, очевидно, проистекала изъ самаго положенія нашей литературы. Съ перваго взгляда можетъ показаться, что черезъ десять лѣтъ въ этихъ непрерывныхъ филиппикахъ уже не было настоящей надобности. Романтизмъ, повидимому, уже пересталъ быть опаснымъ, его пора было бы оставить въ покоѣ, и несправедливо было бить лежачаго врага. Но это заключеніе окажется ошибочно, если мы пристальнѣе вникнемъ въ сущность дѣла. Во первыхъ, романтизмъ сдѣлалъ только наружныя уступки: отказался отъ своего имени, не болѣе, но вовсе не исчезъ

къ теорін. Скажите, какое впечатитніе прежде всего производить на васъ повъсть г. Гоголя? Не заставляетъ-ли она васъ говорить: Какъ все это просто, обыкновенно, естественно и върпо и, вместе съ темъ, какъ оригинально и ново!» Не удивляетесь-ли вы и тому, что вамъ самимъ не пришла въ голову та же самая идея, почему вы сами не могли выдумать этихъ же самыхъ лицъ, такъ обыкновенныхъ, такъ знакомыхъ вамъ, и окружить ихъ этими самыми обстоятельствами, такъ повседневными? Вотъ первый признакъ истинно-художественнаго произведенія? Потомъ не знакомитесь-ли вы съ каждымъ персонажемъ его повъсти такъ коротко, какъ будто вы давно знали его, долго жили съ нимъ вмъстъ? Не върите-ли вы на слово, не готовы-ли вы побожиться, что все разсказанное авторомъ есть чистая правда безъ всякой примъси вымысла? Какая этому причина? Та, что эти созданія ознаменованы печатью истиннаго таланта. Эта простота вымысла, эта нагота дъйствія—върные признаки творчества. Эта поэзія реальная, поэзія жизни дъйствительной... И возьмите почти всъ повъсти г. Гоголя: какой отличительный характерь ихъ? Что почти каждая изъ его повъстей? Смъщная комедія, которая начинается глупостями, продолжается глупостями и оканчивается слезами, и которая, наконецъ, называется жизнью. И таковы вей его пов'єсти: сначала см'вшно, потомъ грустно. И такова жизнь наша сначала смешно, потомъ грустно! Сколько тутъ поэзіп, сколько философіи сколько истины!

«Въ художественных» произведенияхь должно различать характеръ творчества, общій всёмъ изящнымъ произведениямъ, и характеръ колорита, сообщенный индивидуальностью автора. Я уже сказалъ, что отличительныя черты характера произведеній г. Гоголя суть простота вымысла, совершенная истина жизни, народность, оригинальность,—все это черты общія; потомъ комическое одушевленіе, побъждаемое глубокимъ чувствомъ грусти и унынія—черта индивидуальная.

и очень долго старался оспаривать побъду у новаго направленія; онъ имѣлъ еще многихъ послѣдователей въ литературѣ и многихъ приверженцевъ въ публикѣ. Чтобы указать на фактъ, относящійся уже къ самому послѣднему времени критики гоголевскаго періода, припомнимъ, какою ожесточенною и всеобщею враждою встрѣчена была отъ всѣхъ журналовъ (кромѣ «Отечественныхъ Записокъ» и потомъ «Современника») натуральная школа, которая на самомъ дѣлѣ, а не только на словахъ, отказалась отъ романтическихъ прикрасъ: всѣ возмущались тѣмъ, что она описываетъ дѣйствительную жизнь въ ея истинномъ видѣ, а не повѣствуетъ о небывалыхъ въ мірѣ злодѣяхъ и герояхъ и невиданныхъ красотахъ природы,—всѣ эти нападенія проистекали изъ привязанности къ преданіямъ романтизма. Да и до сихъ поръ романтизмъ еще живетъ во всѣхъ тѣхъ, которые, по добродушной робости или по любви къ ми-

«Комизмъ, или юморъ, г. Гоголя имъетъ свой особенный характеръ: это юморъ чисто русскій, спокойный, простодушный, спокойный въ самомъ своемъ негодованіи, добродушный въ самомъ своемъ лукавствъ...

«Портретъ» есть неудачная попытка г. Гоголя въ фантастическомъ родъ. Здъсь его талантъ падаетъ; но онъ и въ самомъ паденіи остается талантомъ. Вообще надобно сказать, что фантастическое какъ-то не совсѣмъ дается г. Гоголю.

«Какой же общій результать выведу я изъ всего сказаннаго мною? Если я сказаль, что г. Гоголь поэть, я уже все сказаль, я уже лишиль себя права дёлать ему судейскіе приговоры. У нась много писателей, нѣкоторые даже сь дарованіемь, но нѣть поэтовь (Пушкина асторъ исключиль, какъ мы видыли, изъ числа дыйствовавшихъ тогда писателей). Поэть—высокое и святое слово: въ немъ заключается неумирающая слава! .. Задача критики: опредёлить степень, занимаемую художникомъ въ кругу своихъ собратій. Но г. Гоголь только еще началь свое поприще: слёдовательно, наше дёло высказать свое мнѣніе о его дебютъ и о надеждахъ въ будущемъ, которыя подаетъ этотъ дебютъ. Эти надежды велики, ибо г. Гоголь владѣетъ талантомъ необыкновеннымъ и высокимъ. По крайней мѣрѣ, въ настоящее время, онъ является главою литературы, главою поэтовъ; онъ становится на мѣсто, оставленное Пушкинымъ...

«Поэты бывають двухь родовь: одни только доступны поэзіи, у другихь дарь поэзіи есть нѣчто составляющее нераздѣльную часть ихъ бытія. Первые иногда одинь разь въ цѣлую жизнь выскажуть какую-нибудь прекрасную поэтическую грёзу и ослабѣвають въ послѣдующихъ своихъ произведеніяхъ. Другіе съ каждымъ новымъ произведеніемъ возвышаются и крѣпнутъ. Г. Гоголь принадлежитъ къ числу этихъ послѣднихъ поэтовъ: этого довольно».

шуръ, не любятъ правды, высказываемой безъ прикрасъ, и находять, что какъ поле красно рожью, такъ рфчь-ложью, что отрицаніе безплодно, что, впрочемъ, оно ужь сділало свое діло, что пора намъ обратиться къ болъе благосклонному взгляду на жизнь, и т. д.,-т. е. тоскують по блаженной поръ Греминыхъ и Лириныхъ, съ прочими аркадскими принадлежностями. Если вы хотите испытать, на самомъ ли дёлё много еще осталось у насъ романтиковъ, есть для того средство очень легкое: пробный камень для романтизма-критика гоголевскаго періода; кто не доволенъ ея мнимою излишнею суровостью (разумфется, не по какимъ нибудь личнымъ разсчетамъ или лицемфрію-о подобныхъ людяхъ нечего и говорить—а по искреннему убъжденію), въ томъ не умеръ романтизмъ. А такихъ людей еще набирается довольно много. Нынъ можно не обращать на нихъ вниманія: для большинства публики ихъ мифнія забавны и только, а никакъ неопасны. Пятнадцать лътъ тому назадъ было не то: митнія, которыя нынт составляють лишь забаву, утъщающую отдельныхъ людей, не имъющихъ вліянія на публику, были очень сильны въ литературѣ. Стоитъ припомнить, какъ одинъ изъ тогдашнихъ критиковъ не хотель печатать повъстей Гоголя въ журналь, которому даваль направленіе, и не хотыль даже писать разбора его комедін, считая эту пьесу низкимъ фарсомъ. Основаніемъ его наивныхъ понятій были, конечно, романтическія требованія возвышенныхъ страстей и пдеальныхъ личностей въ искусствъ. А этотъ критикъ въ то время считался представителемъ современной науки. Каковы же были понятія другихъ литературныхъ судей, даже и не подозрѣвавшихъ въ искусствѣ ничего, кромѣ французскихъ мелодраматическихъ издёлій? «Отечественныя Записки» одић боролись противъ всёхъ журналовъ въ этомъ случай, продолжая діло «Телескопа».

Но борьба съ романтизмомъ, которая въ критикъ гоголевскаго періода болъе всего остальнаго могла бы казаться простымъ продоженіемъ мысли Надеждина, сохранила только наружное сходство съ его филиппиками, получивъ мало-по-малу совершенно новое содержаніе. Надеждинъ возставалъ противъ романтизма съ учено-литературной точки зрѣнія, доказывая только, что французскій новъйшій романтизмъ такъ же мало похожъ на романтизмъ среднихъ въковъ, какъ псевдо-классическая литература на греческую, и потому, подобно ей, присванваетъ себъ ложное имя, а соб-

ственно должень считаться не болье, какъ псевдо-романтизмомъ, жалкой подделкой подъ истинный романтизмъ, невозможный въ наше время, и потому прославленныя псевдо-романтическія произведенія нельпы въ эстетическомъ отношеніи. Этою отвлеченною точкою зрвнія ограничивалась его полемика. Критика гоголевскаго періода смотрёда на вопросъ шире: она возставала на романтизмъ какъ на выражение натянутыхъ, экзальтированныхъ, лживыхъ понятій о жизни, какъ на извращеніе умственныхъ и нравственныхъ силъ человека, ведущее къ фантазерству и пошлости, самообольщеніямъ и кичливости. Надеждинъ и не предчувствоваль, что сущность исевдо-романтизма заключается не въ нарушении эстетическихъ условій, а въ искаженномъ понятіи объ условіяхъ человіческой жизни; онъ самъ не быль свободень въ этомъ отношени отъ заблужденій, которыя ничьмь не отличались отъ основной ошибки романтиковъ, считавшихъ только колоссальныя страсти и эффектныя явленія достойными вниманія поэта. Хорошо понимая мелочность того, что романтики воображали себъ титаническимъ, Надеждинъ слишкомъ наклоненъ былъ искать поэзію въ одномъ только возвышенномъ, далеко превышающемъ явленія обыкновенной действительности. Не нужно говорить о томъ, какъ мало могли подходить подъ этотъ идеаль писатели, подобные Диккенсу или Гоголю, изображающіе повседневную жизнь, -- да и не было такихъ поэтовъ во времена Надеждина. Всъ были тогда экзальтированы или старались прикинуться экзальтированными, разочарованность была только особеннымъ и едва ли не самымъ натянутымъ родомъ экзальтаціи, —никто не догадывался о лживости экзальтированнаго взгляда на жизнь. Потому то и недовольство романтизмомъ возбуждалось более формальными недостатками его произведеній, нежели фальшивостью основнаго его взгляда на жизнь. Только следующему покольнію, воспитанному болье положительною философіею и наслаждавшемуся болѣе здоровыми созданіями искусства, предоставлено было возстать противъ романтическихъ фантазій не съ одной литературной, но и съ житейской точки зренія. Словомъ, Надеждинъ имътъ дъло съ романтизмомъ, какъ противу-эстетическимъ явленіемъ въ литературь; критика гоголевскаго періода, раздъляя этотъ взглядъ, обращала главное свое вниманіе на романтиковъ, какъ людей, губящихъ жалкимъ образомъ свои силы, какъ на людей, по заблужденію дізлающихся вредными для самих себя и смѣшными. Она заклеймила осмѣяннымъ именемъ романтизма всякую аффектацію, натянутость, бользненную апатію, величающую себя гордымъ разочарованіемъ, всякую пошлость, прикрывающую себя пышными фразами, всякую реторику въ словахъ и дёлахъ, въ чувствахъ и поступкахъ. Борьба съ этимъ романтизмомъ должна быть вмёнена въ заслугу исключительно ей. Въ этомъ дёлё критика гоголевскаго періода не имъла предшественниковъ и своими вдкими насмѣшками оказала несомнѣнную услугу не только литературѣ, но и самой жизни; въ немъ доселѣ имѣеть она и долго будетъ имѣть ревностнымъ своимъ послъдователемъ каждаго здравомыслящаго писателя, потому что борьба противъ болъзненнаго романтическаго направленія въ жизни досель необходима и будеть еще необходима и тогда, когда совершенно забудется имя литературнаго романтизма. Борьба эта продолжится до той поры, когда люди совершенно отвыкнуть обольщаться аффектаціею въ жизни, когда они привыкнуть сменться надъ всемь неестественнымь, какъ пошлымь, какими бы выгодными фразами и формами ни прикрывалась его внутренняя пошлость.

Малосвъдующіе или увлеченные горячностью споровъ противники съ дикимъ негодованіемъ вопіяли, что критика гоголевскаго періода святотатственно посягаеть на славу знаменитыхъ людей нашей литературы, что она разрушаеть пьедесталы, на которыхъ стоять ихъ величественныя статуи, топчеть въ грязь все, чёмъ должна гордиться наша прошедшая литература, и т. д., и т. д. Если-бъ эти крики были справедливы, мы имели бы другую точку очень близкаго сходства между деятельностью Надеждина и его бывшаго ученика. Къ сожаленію, они основаны только на незнаніи или безпамятности. Дело уничтоженія литературных авторитетовъ вовсе нельзя причислять къ новымъ и существенно-важнымъ цълямъ, достигнуть которыхъ хотёла критика гоголевскаго періода, и если она когда дёлала что нибудь въ этомъ родё, то разве относительно авторитетовъ, далеко не первостепенныхъ и нимало не освященныхъ древностью летъ, -- напр., относительно Марлинскаго и Полеваго. Конечно, для иныхъ и это непріятно, но ужь ръшительно никому не можеть казаться важнымь преступленіемъ, по незначительности самаго предмета. Что же касается до святотатственнаго, по мненію некоторыхъ, посягательства на Ломоносова, Державина и другихъ дъйствительно первоклассныхъ писателей,

критика гоголевскаго періода совершенно лишена была возможности придумать что нибудь въ уменьшение ихъ славы, по очень простой причинь: все. что можно было сказать въ этомъ смысле давно ужь было высказано или Полевымъ, или Надеждинымъ. Обвинять въ этомъ критику гоголевскаго періода значить принисывать ей заслугу, вовсе не ей принадлежащую *). Ей предстояло дело совершенно другаго рода: не увлекаясь ни старымъ отрицаніемъ, ни еще бол'ве старыми панегириками, показать историческое значение различныхъ періодовъ нашей литературы и замѣчательнъйшихъ ел двятелей, дать намъ исторію нашей литературы, чего еще не было сдълано никъмъ изъ предшествовавшихъ критиковъ. Взглядъ на литературу, предшествовавшую Пушкину, у критики гоголевскаго періода быль умфреннье и снисходительнье, нежели у критики романтическаго періода; а что касается Пушкина и его сподвижниковъ, критика гоголевскаго періода почти постоянно должна была противорфчить резкимъ приговорамъ Надеждина. Словомъ, она не разрушала, а напротивъ, возсозидала все, что въ прошедшемъ заслу-

«По твоемь отъйздё перечель и Державина всего. Воть мое окончательное мейніе: этоть чудакь не зналь ни русской грамоты, ни духа русскаго языка. У Державина должно будеть сохранить одъ восемь да ийсколько отрывковь, а прочее сжечь. Жаль, что нашь поэть слишкомь часто кричаль ийтухомь». (Отрывока иза письма ка Дельвигу, изд. 1855 г. часть І, стр. 56).

Кажется, ръзие этого трудно придумать что нибудь, и, навърное, въ «Телеграфъ» не найдется ни одного выраженія, которое бы хотя сколько нибудь подходило къ словамъ Пушкина своею жосткостью. А кто знаетъ «Телеграфъ» и «Телескопъ», тотъ знаетъ, что критика гоголевскаго періода вообще отзывалась о прежнихъ нашихъ писателяхъ съ гораздо большею умъренностью, нежели Полевой и Надеждинъ.

^{*)} Вообще надобно замътить, что отрицаніе, выражающееся печатнымъ образомъ, принимаетъ формы, гораздо менье жосткія, нежели тъ, которыми облекается оно въ разговорахъ и частной перепискъ. Литература и въ этомъ случаъ, какъ и во многихъ другихъ, продагаетъ путь къ примиренію, какъ скоро даетъ просторъ выраженію чувства, которое, оставаясь безвыходнымъ не знало бы границъ своей враждебности. Напрасно было бы воображатъ что, напримъръ, Полевой, разрушитель устаръвшихъ литературныхъ авторитетовъ, цѣнилъ писателей, предшествовавшихъ Пушкину, менѣе, нежели всякій другой изъ его современниковъ, имѣвшихъ хотя нѣкоторое литературное образованіе и не лишенныхъ вкуса. Напротивъ, надобно признаться, что каждый изъ нихъ втихомолку выражался гораздо рѣзче нежели говорилъ Полевой. Вотъ какъ, напримъръ, думалъ о Державинѣ еще въ 1825 году самъ Пушкинъ, великій поклонникъ старины:

живало уваженія. Иначе и быть не могло: нападать на Ломоносова и Державина, на Карамзина и Пушкина уже было не нужно и неумъстно; если когда-то ихъ и превозносили безотчетными панегириками, то это слъпое поклоненіе въ образованной части публики давно уже было уничтожено «Телеграфомъ» и «Телескопомъ», и когда явился Гоголь, наступило время говорить о прошедшемъ съ уваженіемъ, потому что развившееся изъ него настоящее стало заслуживать уваженія. Такъ съ уваженіемъ начинають говорить объ отцахъ, когда потомки ихъ заслужать славу.

Откуда же взялось мивніе, что однимь изъ двлъ критики гоголевскаго періода было уничтоженіе прежнихъ авторитетовъ? Не будемъ говорить о побужденіяхъ, проистекавшихъ изъ самолюбія многихъ раздраженныхъ ею тогдашнихъ писателей, которые находили удобнымъ кричать: «вы не верьте, читатели, тому, что говорить этотъ человъкъ о моихъ сочиненіяхъ; онъ бранить не только меня, онъ бранить и Державина и Лемоносова, онъ всёхъ великихъ писателей (въ томъ числе и меня) хочеть унизить»; не будемъ также указывать другихъ подобныхъ разсчетовъ, какіе внушаемы были завистью или враждою: всв эти жалкіе факты незаслуживають того, чтобы вспоминать о нихъ. Обратимъ вниманіе только на законныя, такъ сказать, причины, отъ которыхъ происходило ошибочное мнвніе, будго уничтоженіе прежнихъ литературныхъ авторитетовъ было однимъ изъ существенныхъ дълъ критики гоголевскаго періода. «Отечественныя Записки» имѣли гораздо болбе обширный кругъ читателей, нежели «Телескопъ» или «Телеграфъ»; потому даже изъ старыхъ читателей многіе, не знавшіе прежнихъ журналовъ, изъ «Отечественныхъ Записокъ» въ первый разъ вычитали сужденія о нашей старой литературъ, непохожія на безотчетныя и нел'єпыя похвалы, какія долго повторялись въ разныхъ книжкахъ, называвшихъ себя исторіями русской слевесности, пінтиками и т. п. Сюда надобно причислить и большую часть молодаго покольнія, не просматривавшаго старыхъ журналовъ и видъвшаго, что изъ новыхъ только «Отечественныя Записки» говорять о Ломоносовъ и т. д. безпристрастно, между твит, какъ всв остальные нападають за то на этотъ журналъ. Молодое покольніе, конечно, не ставило этого въ вину «Отечественнымъ Запискамъ», напротивъ; зато иные сердечно негодовали на молодое поколеніе, восхищающееся «Отечественными Записками», и на «Отечественныя Записки», поселяющія въ молодыхъ люляхъ непочтительность къ Ломоносову и т. д. Эти добряки должны были бы помнить, что во время ихъ молодости «Телеграфъ» говориль о старой литературь безъ подобострастія, котораго они требовали, впрочемъ, сами не зная, чего требуютъ; они должны были бы помнить, что уничтожение авторитетовъ, существующихъ до Пушкина, было дёломъ «Телеграфа», а существовавшихъ при Пушкинъ-дъломъ Надеждина. Что однажды исполнено, того не было уже надобности, да и не могло быть охоты дёлать во второй разъ. Когла явились Гоголь, Лермонтовъ и писатели такъ называемой натуральной школы, возвышать или унижать предшествовавшихъ писателей было уже поздно: надобно было только показать ходь постепеннаго развитія русской литературы, въ существованіи которой до того времени сомнъвались, и определить отношенія между различными ея періодами— воть что, действительно, было деломь новымъ и необходимымъ. И оно было исполнено Вълинскимъ. До него существовала критика, но исторіи литературы у насъ еще не было. Ему обязаны мы темъ, что имфемъ о ней вфрныя и точныя понятія.

Но русская литература до Гоголя находилась еще въ первыхъ періодахъ своего развитія, изъ которыхъ каждый предъидущій имѣетъ значеніе не столько по безусловному совершенству ознаменовавшихъ его явленій, сколько потому, что служилъ приготовленіемъ къ слѣдующему, болѣе высокому развитію *). Сущность понятій критики гоголевскаго періода объ исторіи русской литературы состояла въ приведеніи этого основнаго взгляда чрезъ всѣ факты. Это послужило для людей, не знавшихъ рѣзкаго тона предъ-

^{*)} Чтобы не подать повода къ недоразумѣнію, будто мы безъ мѣры превозносимъ новое насчетъ стараго, скажемъ здѣсь кстати, что и настоящій періодъ русской литературы, несмотря на всѣ свои неотъемлемыя достоинства, имѣетъ существенное значеніе болѣе всего только потому, что служитъ приготовленіемъ къ дальнѣйшему будущему развитію нашей словесности. Мы на столько вѣримъ въ будущее лучшее, что даже о Гоголѣ не сомнѣвалсь говоримъ: будутъ у насъ писатели, которые станутъ на столько же выше его, насколько выше своихъ предшествениковъ сталъ онъ. Вопросъ только въ томъ, скоро ли прійдетъ это время. Хорошо было бы, еслибъ нашему поколѣнію суждено было дождаться этого лучшаго будущаго. Если мы будемъ говорить о школѣ Гоголя, то постараемся объяснить причины такого мнѣнія подробнѣе.

ндущей критики, новою причиною предполагать, будто бы критика гоголевскаго періода уничтожаеть прежніе авторитеты: она, видите ли, доказывала, что Державинъ имфетъ огромное историческое значеніе, какъ представитель екатерининскаго въка въ литературъ и какъ одинъ изъ предшественниковъ и учителей Пушкина, а не говорила-какое преступленіе!-что Державинъ имфетъ болфе эстетическихъ достоинствъ, нежели Пушкинъ. Добрые люди, находившіе такія слова дерзкими и унижающими Державина, не догадывались, что этимъ сужденіемъ возвращалось Державину право на славу, которую прежняя критика совершенно отнимала у него, потому что, отрицая эстетическія достоинства его произведеній, не замѣчала и исторической ихъ цѣны. Эти добрые люди не знали того, какъ судили о Державинъ писатели пушкинскаго періода. Тогда безъ дальнихъ разсужденій решали, что Державинъ «кричаль пътухомъ», и потому его сочиненія «должно сжечь». Посль такихъ решеній, критика, доказывавшая, что Державинъ имеетъ большое историческое значение, уничтожала или возстановляла его славу? Когда утверждали, что она стремилась уничтожить прежніе авторитеты, ей приписывали чужую заслугу, -- заслугу, говоримъ мы, потому что уничтожение слепаго поклонения кумирамъ (кумирами называемъ старые литературные авторитеты не мы: это опять выраженіе Пушкина о Державинь) всегда бываеть великою заслугою для умственной жизни общества. Но у критики гоголевскаго періода такъ много своихъ собственныхъ правъ на высокое мъсто въ исторіи литературы, что она не нуждается въ присвоеніи чужихъ. Кромъ безпамятности или незнакомства съ прежнею критикою, была, впрочемъ, еще причина считать Б'ёлинскаго первымъ человъкомъ, заговорившимъ у насъ, что періодъ Пушкина безконечно выше всей предшествовавшей нашей литературы: онъ излагаль свой взглядь на исторію русской литературы ясно, опредёлительно и подкрапляль его доказательствами, а романтическая критика ни о чемъ не могла говорить безъ громкихъ фразъ и доказательствъ не представляла, а вмёсто того скрашивала свои жестокіе приговоры разсужденіями о брильянтахъ и изумрудахъ, о потомкахъ Багрима и яркихъ искрахъ, вылетающихъ изъ могущественной груди русскаго волкана.

Есть также мивніе, будто бы критика гоголевскаго періода простерла свои отрицанія до того, что подвергла сомивнію существо-

ваніе русской литературы до Гоголя. Это опять было вовсе не ея дело. Известно, что романтические критики прямо утверждали, что русская литература не существуеть. Это говориль, еще до появленія «Телеграфа», Марлинскій. Поздиве то же самое еще сильнъе высказывалъ Надеждинъ. Словомъ, это была общая тема всей нашей критики до самаго того времени, когда русская литература получила новое направленіе, благодаря діятельности Гоголя. Білинскій сначала разділяль это мивніе, потому что въ немъ было, для тридцатыхъ годовъ, очень много справедливаго. Но заслуга-ли, или преступленіе изобръсть мысль: «русская литература досель не существуетъ», ни мало не принадлежить это изобретение Белинскому. Напротивъ, ему принадлежитъ та заслуга, что, когда черезъ несколько летъ положение русской литературы изменилось, онъ первый понялъ важность этого измёненія и сказаль: до сихъ поръ надобно было сомневаться въ существовании русской литературы; теперь должно положительно сказать, что она существуетъ. Ему, а не кому-нибудь другому досталось на долю высказать это отрадное убъждение потому, что ему, изъ нашихъ замъчательныхъ критиковъ, первому судьба назначила действовать въ такое время, когда безусловное отрицание всего въ нашей литературъ снълалось уже несправедливо. Вмъсто обыкновенной фразы, что онъбыль въ нашей критикъ органомъ отрицанія, надобно сказать, напротивъ, что онъ первый, сообразно измѣнившемуся положенію нашей литературы, положиль границы отрицанію, которое у Надеждина не имѣло границъ.

Когда литература наша втеченіе гоголевскаго періода начала становиться тімь, чімь должна быть—выраженіемь народнаго самосознанія и, такимь образомь, достигла, хотя до нікоторой степени, ціли, къ которой стремилась, тогда и предъидущее развитіе ея получило смысль, котораго нельзя было замітить въ немь прежде; только тогда можно было замітить, что одни явленія сміннямись въ ней другими не напрасно и не случайно, что она имінеть свою исторію. Критика гоголевскаго періода замітила и высказала это. Она первая начала утверждать, что наша литература постоянно развивалась, что ея періоды иміноть между собою связь, что Державинь и Пушкинь явились не случайно, какъ то казалось прежде, и, какъ мы замітили, Білинскій быль первымь исто-

рикомъ нашей литературы *). Недаромъ его первая значительная статья, отрицая существование русской литературы, содержаниемъ своимъ имъла подробный обзоръ ея фактовъ отъ Ломоносова до Пушкина.

Но если мы говоримъ о томъ, что критика гоголевскаго періода положила границы отрицанію и дала намъ въ первый разъ исторію русской литературы, считавшейся до того времени не боліве, какъ случайнымъ, безжизненнымъ и почти всегда безсмысленнымъ отраженіемъ различныхъ явленій иноземныхъ литературъ, то мы говоримъ это о позднівшей порів развитія критики гоголевскаго періода, когда она достигла уже полной самостоятельности и когда положеніе русской литературы существенно измінилось вліяніемъ Гоголя, дізтельностью Лермонтова и многочисленныхъ писателей новаго поколінія, воспитанныхъ отчасти Пушкинымъ и Лермонтовымъ, а боліве всего твореніями Гоголя и критикою Бізлинскаго. Но въ 1834—1836 г. это будущее едва можно было неопреділеннымъ образомъ только предвидіть, и почти все оставалось въ настоящемъ неподвижно. Не было еще достаточныхъ при-

^{*)} Интересно прослёдить, по статьямъ Бёлинскаго, какъ измёняющееся положеніе нашей литературы постепенно приводило критику отъ надеждинскаго отрицанія, справедливаго въ свое время (1834), къ убёжденію, сдёлавшемуся столь же справедливымъ черезъ десять лётъ: «есть у насъ, наконецъ, нѣчто достойное называться литературою; она получила, наконецъ, значеніе, какого не имѣла прежде, и мы теперь можемъ видёть, къ какому результату вели, какой смыслъ имѣли тѣ литературныя явленія, которыя прежде казались безплодными и случайными». Вотъ нѣкоторыя выписки приблизительно обозначающія эпохи этого движенія:

^{1834. (}До Гоголя). «У насъ нътъ литературы». Литературния мечтанія. "Молва" 1834 г., № 39, стр. 190.

^{1840. (}Гоголь издалт свои повысти и "Ревизора", но еще не имыеть рышительнаго вліянія на литературу). У насъ ність литературы въ точномъ значеній этого слова, какъ выраженія духа и жизни народной, но у насъ есть уже начало литературы». Русская литература въ 1840 г. "Отечественния Записки" 1841 г., томъ XIV, стр. 33).

^{1843. (}Няданы "Мертвыя Душий; школа Гоголя начинает занимать видное мисто). Несмотря на б'ядность пашей янтературы, въ ней есть жизненное движеніе и органическое развитіе; сл'ядственно, у нея есть исторія. Мы жедаеть хоть намекнуть на это развитіе и проложить другимъ дорогу тамъ, гдѣ еще не протоптано и тропинки. Первая статья о Пушкиять. «Отгиственныя Записки» 1843 г., томъ XXVIII, стр. 24).

^{1847. (}Вліяніе Гоголя рышительно торожествуєть). Было время, когда во-

чинъ существеннымъ образомъ измѣнять мнѣній, представителемъ которыхъ былъ Надеждинъ, и авторъ статей о Пушкинѣ началъ, какъ мы замѣтили, иочти тѣмъ же самымъ, что говорилъ Надеждинъ. Какъ то всегда бываетъ, если человѣкъ молодаго поколѣнія принимаетъ мысль, выраженную его учителемъ, онъ придалъ этой мысли еще больше опредѣлительности, нежели она имѣла у самого Надеждина.

Однако, по исторической необходимости, это скоро должно было измѣниться: новый періодъ для русской литературы уже начинался. Мы видѣли, какъ быстро и вѣрно предугадывалъ ученикъ Надеждина, по «Миргороду» и «Арабескамъ», какого писателя мы будемъ имѣть въ Гоголѣ; скоро «Ревизоръ» долженъ былъ оправдать это предчувствіе. Кольцовъ уже явился, Лермонтовъ скоро долженъ былъ явиться. Мы видѣли, какое существенное различіе между учителемъ и ученикомъ выказалось во взглядѣ на значеніе Гоголя и достоинства первыхъ стихотвореній Кольцова: одинъ еще не замѣчалъ фактовъ, на которыхъ другой уже основывалъ свои понятія о русской литературѣ.

Но коренное различіе между понятіями ученика и учителя о русской литературѣ заключалось тогда (1835—1836) не только въ томъ, что одинъ замѣчалъ необыкновенную важность новыхъ фактовъ, на которые другой медлилъ обратить надлежащее вниманіе: и тѣ коренныя воззрѣнія, на основаніи которыхъ произносится сужденіе о фактахъ, были уже не одинаковы. Сотрудникъ «Телескопа» сдѣлался приверженцемъ Гоголя, между тѣмъ, какъ изда-

просъ: есть-ли у насъ литература? не казался парадоксомъ и многими разръшенъ быль въ отрицательномъ смыслъ... Одинъ изъ величайшихъ умственныхъ усиъховъ нашего времени въ томъ и состоитъ, что мы открыли, что у Россіи была своя исторія. То же и въ отношеніи къ исторіи русской литературы... Литература наша дошла до такого положенія, что усиъхи ея въ будущемъ, ея движеніе впередъ зависятъ больше отъ объема и количества предметовъ, доступныхъ ея завъдыванію, нежели отъ нея самой. Чъмъ шире будуть границы ея содержанія, чъмъ больше будетъ пищи для ея двятельности, тъмъ быстръе и плодовитъе будетъ ея развитіе. Какъ бы то ни было, но если она еще не достигла своей врълости, то уже нашла, нащупала, такъ сказать, прямую дорогу къ ней; а это великій успъхъ съ ея стороны». Взглядъ на русскую литературу. "Современникъ" 1847 г., № 1, Критика, стр. 4 и 28.

тель, не будучи враждебенъ этому новому фазису развитія німецкой науки, оставался, однакожь, въ сущности ученикомъ Шеллинга.

Біографическія монографін, необходимость которыхъ въ настоящее время чувствуется живъе, нежели когда-нибудь, должны объяснить намъ, когда и какъ начались тесныя дружескія отношенія между Н. В. Станкевичемъ и Бълинскимъ. Мы теперь можемъ положительно сказать только, что они начались очень рано; что первымъ распространителемъ энтузіазма къ Гегелю между молодымъ покольніемъ въ Москвъ былъ Станкевичъ; что онъ былъ другомъ Кольцова; что когда Надеждинъ, въ 1835 году, уфхалъ заграницу и завѣдываніе «Телескопомъ» поручилъ Бѣлинскому, тотчасъ появились въ этомъ журналъ стихотворенія Кольцова, передъ тьмъ самымъ временемъ отъисканнаго Станкевичемъ въ Воронежѣ, и чаще прежняго стали являться упоминанія о Гегель, а скоро было напечатано и обширное изложение системъ этого мыслителя. Накопецъ, самое содержаніе статей, писанныхъ въ 1835-1836 годахъ молодымъ сотрудникомъ Надеждина, обнаруживаетъ, что онъ тогда уже находился подъ сильнымъ вліяніемъ этой новой у насъ философіи. Вообще, нельзя не видіть, что, въ это время, если сохранялись еще въ образв возэрвній Велинскаго многія черты непосредственнаго родства съ понятіями, собственно принадлежащими Надеждину, то еще гораздо болье находилось тождественнаго съ твии идеями, которыя потомъ съ такою пылкостью излагались людьми молодаго нокольнія въ «Московскомъ Наблюдатель», и, во многихъ частностяхъ продолжая быть ученикомъ Надеждина, его сотрудникъ совершенно принадлежалъ всеми стремленіями своими новымъ идеямъ, тогда проникавшимъ въ молодое поколвніе.

Различіе въ характеръ книжекъ «Телескопа», изданныхъ въ отсутствіе Надеждина его сотрудникомъ, отъ предъидущихъ нумеровъ бросается въ глаза. Оно такъ рѣзко, что если бы издатель быль человѣкъ неподвижный въ умственной жизни, то, по возвращеніи, остался бы рѣшительно недоволенъ направленіемъ, приданнымъ его журналу. Но, сколько то видно изъ фактовъ, представляемыхъ самимъ журналомъ, этого не было. Напротивъ, оправдывая передъ публикою неисправность выхода журнала въ свое отсутствіе непредвидѣнными обстоятельствами, Надеждинъ указывалъ на достоинство содержанія изданныхъ безъ него нумеровъ, какъ на доказательство того, что передъ отъѣздомъ имъ были приняты

всё мёры, чтобы читатели ничего не потеряли отъ его поёздки за границу. Сотрудникъ, издавшій эти нумера, сохранилъ свое положеніе въ журналё, даже пріобрёлъ на его направленіе болёе вліянія, нежели имёлъ до поёздки Надеждина. Критика, относящаяся къ произведеніямъ изящной словесности и литературнымъ журналамъ, перешла совершенно въ руки Бёлинскаго и получила большее развитіе. Себё Надеждинъ оставилъ только критическіе разборы ученыхъ сочиненій. Все, что начато было Бёлинскимъ въ отсутствіе редактора, продолжалось и при редакторъ, до конца «Телескопа». Молодые сотрудники, введенные въ журналъ Бёлинскимъ, продолжали помёщать свои статьи въ немъ и увлекали журналь впередъ; Надеждинъ отдался молодому поколёнію. Разногласія отъ литературныхъ причинъ не было и, сколько можно судить по самому журналу, не предвидёлось *).

«Что было бы, если бы не случилось того, что случилось?» Что было бы, если бы «Телескопъ» не прекратился? Вопросы подобнаго рода не пользуются репутацією особеннаго глубокомыслія, и отвъты на нихъ не принимаются въ особенное уваженіе, хотя очень часто такіе вопросы сами собою навязываются воображенію, и отвъты на нихъ иногда очень легко подсказываются здравымъ смысломъ. Признаемся, намъ хотълось бы, подобно Кифъ Мокіевичу, «обратиться къ умозрительной сторонъ» и поразмыслить о «философическомъ», по его выраженію, вопросъ, который намъ представился. Но мы вспомнили одно изъ основныхъ положеній гегелевой философіи, къ которой приводить насъ «Московскій Наблюдатель»: «все дъйствительное разумно и все разумное дъйствительно», и заключили, что продолженіе существованія «Теле-

^{*)} Эти выводы основываются на матеріалахъ, представляемыхъ содержаніемъ "Телескона" и "Молвы". Мы очень хорошо понимаемъ, что одинъ этотъ источникъ недостаточенъ и долженъ быть дополненъ восноминаніями лицъ, бывшихъ тогда близкими къ "Телескопу", и мы были бы очень рады, если бы такія восноминанія явились въ печати, хотя бы и обнаружилось ими, что въ томъ или другомъ случав мы ошиблись. Впрочемъ, каковы бы ни были отношеній редактора "Телескопа" съ его главнымъ сотрудникомъ и молодыми друзьями послъдняго, литературная сторона этихъ отношеній, которая здѣсь исключительно важна для насъ, съ удовлетворительною точностью характеризуется данными, находимыми въ самомъ журпалъ, и выводы, представленные выше, едва-ли могутъ быть существенно измѣнены біографическими воспоминаніями.

скопа» было бы неразумно. Потому, оставляя умозрѣнія, будемъ продолжать исторію «разумной» дѣйствительности, въ «Московскомъ Наблюдателѣ»—рѣдкій случай!—являвшейся на самомъ дѣлѣ разумною.

Въ «Телескопъ» молодое покольніе пользовалось очень значительнымъ вліяніемъ, получило наконецъ рішительный перевісь, но все еще не было и не могло быть полнымъ хозяиномъ. По прекращеніи этого журнала, оно нісколько времени не пміло органа въ литературѣ, но въ 1838 году получило въ полное свое распоряженіе «Московскій Наблюдатель». Матеріальныя средства этого журнала были въ то время совершенно истощены жалкимъ трехлътнимъ существованіемъ. Молодое покольніе располагало богатымъ запасомъ энтузіазма и дарованій, но не капиталами; потому «Московскій Наблюдатель» скоро прекратился. Но его кратковременная жизнь при второй редакціи была блистательна. Онъ быль препраснымь выражениемь стремлений молодежи, нылкой и благородной. Главными сотрудниками Бѣлинскаго были въ этомъ журналѣ: г. К. Аксаковъ, г. Боткинъ, г. Катковъ. Ключниковъ ($-\theta$), Красовъ и г. Кудрявцевъ. Нбвозможно отказать въ уваженіи и сочувствін кружку, состоявшему изъ такихъ людей. А мы еще пропустили нъкоторыя имена, еще болье выразительныя *). Душею ихъ круга былъ Станкевичъ. Заведываніе журналомъ принадлежало Велинскому. Всё эти люди были тогда еще юношами. Всё были исполнены въры въ свои благородныя стремленія, надеждъ на близость прекраснаго будущаго. Мудрость устами Гегеля, все разгадавшаго, какъ имъ казалось, все примирившаго Гегеля, раскрыла передъ ними тайны дотоль непостижимыя людямъ. Поэзіею упоены были ихъ сердца; слава готовила имъ вънцы за благую въсть, провозглащаемую отъ нихъ людямъ, и, увлекаемые силою энтузіазма, стремились они впередь:

> Какъ смѣло, съ бодрою охотой, Мечты надѣясь досягнуть, Еще не связанный заботой, Пускался юноша въ свой путь! Какъ онъ легко впередъ стремился! Что для счастливца тяжело?

^{*)} Напримфръ, Кольцова.

Какой воздушный рой тёснился Вкругъ свётлаго пути его! Любовь съ улыбкой благосклонной И счастье съ золотымъ вёнцомъ, И слава съ звёздною короной И въ свётё истина живомъ.... *).

Могучая сила
Въ душѣ ихъ кипитъ;
На блѣдныхъ ланитахъ
Румянецъ горитъ;
Ихъ очи, какъ звѣзды
По небу, блестятъ;
Ихъ думы—какъ тучи;
Ихъ рѣчи горятъ.
И съ неба, и съ время
Покровы сняты...
Шумна ихъ бесѣда
Разумно идетъ;
Роскошпая младость
Здоровьемъ цвѣтетъ... **)

И кто хочеть перенестись на нѣсколько минуть въ ихъ благородное общество, пусть перечитаеть въ «Рудинѣ» разсказъ Лежнева о временахъ его молодости и удивительный эпилогъ повѣсти г. Тургенева.

^{*) &}quot;Идеалы" Шиллера, переводъ К. Аксакова. "Московскій Наблюдатель", томъ XVI. стр. 543.

^{**)} Изъ стихотворенія Кольцова въ намять Станкевича.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

«Московскій Наблюдатель» быль передань въ распоряженіе друзей Станкевича уже тогда, когда матеріальныя средства къ продолженію изданія были совершенно истощены, и только безкорыстная энергія новыхъ сотрудниковъ могла продлить еще на голь существование журнала, доведеннаго до гибели прежнею редакциею. Но этоть последній, слишкомь краткій, періодь жизни «Московскаго Наблюдателя» быль таковь, что никогда еще ничего подобнаго за исключеніемъ развѣ послѣднихъ книжекъ «Телескопа», не бывало въ русской журналистикв. Даже «Телеграфъ» въ свое лучшее время не быль такъ проникнуть единствомъ задушевной мысли, не быль одушевлень такимь иламеннымь стремленіемь служить истинъ и искусству; и если бывали у насъ до того времени альманахи и журналы, имфвшіе гораздо большее число сотрудниковъ, уже пользовавшихся громкою знаменитостью, какъ напримъръ, «Вибліотека для Чтенія» въ 1834, пушкинскій «Современникъ» въ 1836 году, то никогда еще не соединялись въ русскомъ журналь столько истиню замьчательных дарованій, столько истиннаго знанія и неподдільной поэзін, какъ въ «Московскомъ Наблюдатель» второй редакцін (томы XVI, XVII и XVIII прежней нумераціи и томы I и II новой). Въ 1838—1839 годахъ новые сотрудники «Наблюдателя» были юношами, еще почти совершенно безв'єстными; но почти всё они оказались людьми сильными и даровитыми, почти каждому изъ нихъ суждено было составить себъ прочную, благородную, безукоризненную изв'єстность въ нашей литературь, а нькоторымъ и пріобрьсти блестящую славу; будущность принадлежала имъ, какъ и теперь настоящее принадлежитъ имъ и темъ людямъ, которые впоследствін примкнули къ нимъ.

«Московскій Наблюдатель» менёе извёстень, нежели «Телеграфъ» и «Телескопъ»; потому не излишне будеть, прежде нежели говорить подробно объ его учено-критическихъ воззрёніяхъ, сказать два-три слова объ общей физіономіи послёднихъ томовь журнала, изданныхъ людьми новаго поколёнія, дёятельность которыхъ теперь занимаетъ насъ.

До того времени, когда ръшительное вліяніе Гоголя на молодые таланты обратило большинство даровитыхъ писателей къ предпочтенію прозаической формы разсказа, стихотворенія были блестящею стороною нашей изящной литературы. «Московскій Наблюдатель» не имёль между своими сотрудниками Пушкина, какъ альманахи 1823—1833 годовъ или первые годы «Библіотеки» и (нушкинскаго) «Современника». Но если взять поэтическій отділь «Наблюдателя» весь вмёстё и сравнить его съ тёмъ, что представляла наша поэзія въ прежнихъ столь знаменитыхъ ею альманахахъ и въ самомъ пушкинскомъ «Современникѣ» (не говоря уже о «Библіотекъ», далеко уступавшей въ этомъ отношеніи «Современнику», «Сѣвернымъ цвѣтамъ» и проч.), то нельзя не признать, что по отделу поэзін «Московскій Наблюдатель» быль гораздо выше всёхъ прежнихъ нашихъ журналовъ и альманаховъ, гдѣ, кромф произведеній Пушкина и переводовь Жуковскаго, только немногія стихотворенія возвышаются надъ уровнемъ безцветной и пустой посредственности, между тёмъ, какъ въ «Московскомъ Наблюдателѣ» мы почти не найдемъ стихотвореній, которыхъ нельзя было бы съ удовольствіемъ прочитать и нынь, а напротивъ, кромъ дивныхъ созданій Кольцова, многія другія пьесы остаются до сихъ поръ замъчательны и прекрасны *),

на озеръ.

Какъ освъжается душа И кровь течетъ быстръй!

^{*)} Кромъ стихотвореній Кольцова, въ "Московскомъ Наблюдателъ" помъщались:

Переводъ изъ Гёте и Шиллера, г. К. А. Аксакова, котораго надобно назвать однимъ изъ лучшихъ нашихъ поэтовъ переводчиковъ. Мибніе, иногда высказываемое нынѣ, будто стихъ этихъ переводовъ былъ тяжелъ, не совершенно основательно; намъ кажется, напротивъ, что мало найдется такихъ прекрасныхъ и поэтическихъ переводовъ, какъ, напримъръ, спъдующая пьеса изъ Гёте ("М. Н." XVI, 92):

Мало того, что изъ многочисленныхъ стихотвореній, помѣщенныхъ въ «Московскомъ Наблюдатель» второй редакціи, только развѣ немногія могутъ быть названы слабыми, —достоинство, которымъ не могъ похвалиться до того времени ни одинъ изъ нашихъ журналовъ, —есть въ этой массѣ пьесъ другое качество, еще болѣе новое для того времени: иустыхъ стихотвореній въ ней не найдется рѣшительно ни одного, каждая лирическая пьеса дѣйствительно проникнута чувствомъ и мыслью, такъ что стихотворный отдѣлъ «Московскаго Наблюдателя» не можетъ быть и сравниваемъ съ тѣмъ, что встрѣчаемъ въ другихъ тогдашнихъ журналахъ.

О, какъ природа хороша! Я на груди у ней! Качаетъ нашъ челнокъ волна, Въ ладъ съ нею весла бъютъ, И горы въ мишстыхъ пеленахъ Навстръчу намъ встаютъ.

Что же, мой взоръ, опускаеться ты? Вы ли опять, золотыя мечты? О, прочь, мечтанье, хоть сладко оно! Здёсь все такъ любовью и жизнью полно!

Свётлою толною
Звёзды въ волнажь гиядятся.
Туманы грядою
На дальнихъ высяхъ ложатся;
Вётеръ утра качаетъ
Деревья надъ веркаломъ водъ;
Тихо отражаетъ
Озеро спёющій плодъ.

Приводя это стихотвореніе, мы имѣемъ цѣлью не только представить доказательство, что не напрасно причисляемъ переводы г. К. Аксакова въ «М. Н.» къ произведеніямъ, имѣющимъ положительное достоинство: для насъ «На озерѣ» служитъ поэтическимъ выраженіемъ самой характеристической особенности того міросозерцанія, которое господствовало въ «Московскомъ Паблюдателѣ».

Переводы г. Каткова изъ Гейне и отрывки изъ его прекраснаго перевода «Ромео и Джульетта» Шекспира;

Стихотворенія Ключникова ($-\theta-$) и нізскольких других болів или меніве замічательных талантовь,

Стихотворенія Красова, который быль едва ли не лучшимъ изъ нашихъ второстепенныхъ поэтовъ въ эпоху дъятельности Кольцова и Лермонтова. Его пьесы давно надобно было бы собрать и издать: онъ очень заслуживаютъ того, и напрасно мы забываемъ объ этомъ замъчательномъ поэтъ.

Беллетристикою журналы не могли тогда похвалиться: хорошихъ повъстей писалось очень мало, потому что всего три-четыре человъка умъли тогда писать прозою такъ, что ихъ произведенія можно теперь перечитывать безъ улыбки. Но и по отдёлу беллетристики «Московскій Наблюдатель» быль едва-ли не выше всёхъ остальных своих собратій, печатая пов'єсти Нестроева (г. Кудрявцева), за которыми должно остаться одно изъ самыхъ первыхъ мѣстъ въ исторіи возникновенія нашей изящной прозаической литературы. Въ настоящей стать не мъсто оцънивать талантъ Нестроева: это мы надвемся сделать впоследствии; но въ томъ нетъ сомнънія, что повъсти его по своему художественному достоинству должны были занять въ исторіи русской прозы почетное м'єсто. Нестроевъ-писатель съ дарованіемъ самостоятельнымъ и сильнымъ, какихъ тогда было очень немного, или, лучше сказать, почти вовсе не было, кромъ такихъ колоссальныхъ талантовъ, какъ Пушкинъ, Гоголь и Лермонтовъ.

Такимъ образомъ, изящная словесность въ «Московскомъ Наблюдатель» замычательна по художественному достоинству; но еще гораздо интересние она въ томъ отношении, что служитъ вообще върнымъ и полнымъ отражениемъ принциповъ, одущевлявшихъ общество молодыхъ людей, которые собрались вокругъ Станкевича. До того времени только очень немногіе изъ нашихъ поэтовъ и нувеллистовъ умёли приводить смыслъ своихъ произведеній въ гармонію съ идеями, которыя казались имъ справедливы: обыкновенно, повъсти или стихотворенія им'єди очень мало отношенія съ такъ называемымъ «міросозерцаніемъ» автора, если только авторъ имълъ какое-нибудь «міросозерцаніе». Въ примъръ, укажемъ на повъсти Марлинскаго, въ которыхъ самый внимательный розъискъ не откроетъ ни малейшихъ следовъ принциповъ, которые, безъ сомнънія, были дороги ихъ автору, какъ человъку. Обыкновенно жизнь и возбуждаемыя ею убъжденія были сами по себъ, а поэзія сама по себъ: связь между писателемъ и человъкомъ была очень слаба, и самые живые люди, когда принимались за перо въ качествѣ литераторовъ, часто заботились только о теоріяхъ изящнаго, а вовсе не о смыслъ своихъ произведеній, не о томъ, чтобы «провести живую идею» въ художественномъ созданіи (какъ любила выражаться критика гоголевского періода). Этимъ недостаткомъотсутстіемъ связи между жизненными уб'яжденіями автора и его

произведеніями — страдала вся наша литература до того временикогда вліяніе Гоголя и Бълинскаго преобразовало ее. Литературный отдёль «Московскаго Наблюдателя» является едва-ли не первымъ зародышемъ постоянной гармоніи уб'єжденій челов'єка со смысломъ. его художественныхъ произведеній, — той гармоніи, которая нынѣ владычествуеть въ нашей литературъ и придаеть ей силу и жизнь. Молодые поэты и беллетристы, участвовавшіе въ этомъ журналь, писали именно о томъ, что ихъ занимало, а не о какихъ нибудь сюжетахъ, навъянныхъ другими ноэтами, смыслъ которыхъ оставался, бывало, совершенно непонятенъ для подражателей, очень усердно копировавшихъ вившнюю сторону иностранныхъ произведеній: они понимали то, что писали-качество, которое очень рѣдко замвчается у прежнихъ нащихъ литераторовъ. Изъ этого общаго правила писать произведенія, или не им'єющія живаго смысла, или произведенія, смысль которыхь остается непостижимою тайною для самого автора, исключеній бывало очень мало и «Московскій Наблю датель» — первый журналь, въ которомъ мысль и поэзія гармонирують между собою, и въ литературномъ отдель котораго постоянно отражаются сознательныя стремленія. Это первый въ ряду такихъ журналовъ, какіе имвемъ мы теперь, въ которыхъ поэзія, беллетристика и критика согласно идутъ къ одной цели, поддерживая другь друга. Глубокая потребность истины и добра съ одной стороны, съ другой — свъжая и здоровая готовность любить все, что дъйствительная жизнь представляеть удовлетворительнаго, — предпочтеніе д'ыйствительной жизни отвлеченному фантазированію съ одной стороны, съ другой-чрезвычайное сочувствие тому, что въ стремленіяхъ фантазіи является здоровымъ отраженіемъ истинной потребности поднаго наслажденія д'яйствительною жизнью, — этн основныя черты критической мысли «Московскаго Наблюдателя» составляють существенный характерь и литературнаго отдёла въ этомъ журналь. Стремленіе, одушевляющія его поэзію и беллетристику, видимо проникнуты философскою мыслыю, которая владычествуетъ надъ всемъ.

Дъйствительно, философское міросозерцаніе нераздільно владычествовала надъ умами въ томъ дружескомъ кружкі, органомъ котораго были послідніе томы «Московскаго Наблюдателя». Эти люди рішительно жили только философіею, день и ночь толковали о ней, когда сходились вмісті, на все смотріли, все рішали съ философ-

ской точки зрѣніи. То была первая пора знакомства нашего съ Гегелемъ, и энтузіазмъ, возбужденный новыми для насъ, глубокими истинами, съ изумительною силою діалектики развитыми въ системѣ этого мыслителя, на нѣкоторое время натурально долженъ былъ взять верхъ надъ всѣми остальными стремленіями людей молодаго поколѣнія, сознавшихъ на себѣ обязанность быть провозвѣстниками невѣдомой у насъ истины, все озаряющей, какъ имъ казалось въ пылу перваго увлеченія, все примиряющей, дающей человѣку и невозмутимый внутренній міръ и бодрую силу для внѣшней дѣятельности. Главное значеніе «Московскаго Наблюдателя» состоить въ томъ, что онъ быль органомъ гегелевской философіи.

Философскія стремленія теперь почти забыты нашею литературою н критикою. Мы не хотимъ решать, на сколько литература и критика выиграли отъ этой забывчивости, -- кажется, не выиграли ровно ничего, потерявъ очень много; но какъ бы ни рѣшалъ кто вопросъ о значеніи философскаго міросозерцанія для настоящаго времени каждый согласится, что господство философіи надъ всею умственною нашею д'вятельностью въ начал'в настоящаго періода нашей литературы есть замёчательный историческій факть, заслуживающій внимательнаго изученія. «Московскій Наблюдатель» представляеть первую эпоху этого владычества философіи, когда непогръщительнымъ истолкователемъ ея представлялся Гегель, когда каждое слово Гегеля являлось несомивнною истиною и каждое изречение великаго учителя принималось его новыми учениками въ буквальномъ смыслъ, когда не было еще ни заботы о повъркъ этихъ истинъ, ни предчувствія, что Гегель быль непоследователень, противоречиль самъ себъ на каждомъ шагу, что, принимая его принципы, послъдовательному мыслителю надобно придти къ выводамъ совершенно различнымъ отъ выставленныхъ имъ выводовъ. Позднее, когда это было замічено, фальщивые выводы были отвергнуты лучшими изъ бывшихъ последователей Гегеля у насъ, и немецкая философія явилась совершенно въ другомъ свътъ. Но то быда уже другая эцоха-эпоха «Отечественныхъ Записокъ», и мы будемъ говорить о ней въ следующей статье, а теперь посмотримъ, какова была гегелева система, пламеннымъ проповъдникомъ которой былъ «Московскій Наблюдатель».

Программою журнала была первая статья его—предисловіе къ переводу «Гимназическихъ ръчей Гегеля» («М. Н.», XVI, стр. 5—20).

Мы приводимъ въ выноскѣ существенныя мѣста изъ этого предисловія, присоединяя къ нимъ объясненіе техническихъ терминовъ гегелевскаго языка, которые могли бы затруднить тѣхъ читателей, которые не привыкли къ этой терминологіи: они, надѣемся, увидятъ, что дѣло было очень просто и понятно, и что различные толки о мнимой темнотѣ гегелевой философіи—чистый предразсудокъ: нужно только знать смыслъ нѣсколькихъ техническихъ словъ, и трансцендентальная философія становится для людей нашего времени ясна и проста *).

^{*)} Умъ — только одна изъ способностей человъка; знаніе — только одно изъ его стремленій; потому одно умствованіе объ отвлеченныхъ вопросахъ не удовлетворяеть человъка: онъ хочеть также любить и жить, не только знать, но и наслаждаться, не только мыслить, но и действовать. Ныне это понятно каждому — таковъ духъ въка, такова сила времени, все объясняющаго. Но въ XVII въкъ наука была дъломъ кабинетныхъ тружениковъ, которые знали только книги, думали только объ ученыхъ вопросахъ, чуждаясь жизни и не понимая житейскихъ дёлъ. Когда жизнь, въ XVIII веке, предъявила свои права съ такою силою, что пробудила даже ивмецкихъ ученыхъ, они увидёли недостаточность прежней философской методы, основывавшей все на умозаключеніяхъ, принимавшей мірою всему отвлеченныя понятія. Но не могли они однимъ шагомъ перейти изъ пыльнаго кабинета на форумъ жизни; они были еще слишкомъ далеки отъ мысли, что ест естественныя способности и стремленія человіка должны дійствовать, должны помогать другъ другу въ разрѣшеніи вопросовъ науки и жизни. Имъ показалось, что довольно будеть измёнить методу умозаключеній, оставляя по прежнему п сердца и тило человика безъ вниманія. Они думали, что умъ не обнималь живую истину во всей ея полнотъ не потому, что одной головы, безъ груди и рукъ, безъ сердца и осязанія недостаточно человъку: они вздумали попробовать, не удастся ли головъ обойтись безъ помощи остальныхъ членовъ живаго организма, если только голова возьмется за дъла, которыя принадлежать сердцу, желудку и рукамъ,-и голова, дъйствительно, придумала "спекулятивное мышленіе". Сущность этой попытки состояла въ томъ, что умъ старадся, отвергая отвлеченныя попятія, мыслять по такъ-называемымъ "конкретнымъ" понятіямъ, — напримёръ, думая о человёкъ, основывать свои заключенія не на прежней фразъ: "человъкъ есть существо, одаренное разумомъ", но на понятіяхъ о действительномъ человеке, съ руками и ногами, съ сердцемъ и желудкомъ. Это былъ большой шагъ впередъ. Гегель является последнимъ и важивншимъ изъ мыслителей, остановившихся на этомъ первомъ фазисъ превращенія кабинетнаго ученаго въживаго человъка. Конечно, система, основанная на этомъ способъ замъненія прежнихъ отвлеченныхъ понятій более живыми возгреніями, была гораздо свежеве и поливе прежнихъ. совершенно отвлеченныхъ системъ, занимавшихся не людьми, каковы люди въ

Содержаніе гегелевой философіи, въ томъ видь, какъ изложена она у самого Гегеля, и какъ до мельчайшихъ подробностей принималась за безспорную истину друзьями Станкевича въ 1838—1839 годахъ, кажется совершенною противоположностью тому образу мыслей, который съ такимъ жаромъ и усиѣхомъ излагался потомъ критикою гоголевскаго періода въ «Отечественныхъ Запискахъ» (1840—1846) и нашемъ журналѣ (1847—1848); оттого и статьи «Московскаго Наблюдателя», написанныя Бѣлинскимъ и его товарищами по убѣжденіямъ подъ исключительнымъ вліяніемъ сочиненій Гегеля, представляются на первый взглядъ совершенно противорѣчащими статьямъ, которыя тотъ же самый Бѣлинскій писалъ черезъ нѣсколько лѣтъ. Это разнорѣчіе зависитъ, какъ мы сказали, отъ двойственности самой системы Гегеля, отъ разнорѣчія между

д'виствительности, а призраками, которые созданы прежнею методою мышленія, отвергавшею въ человъкъ всякія способности и стремленія, кромъ ума, и изъ всёхъ органовъ человёческаго существа признававшею достойнымъ своего вниманія только мозгъ. Потому "трансцендентальное", или "спекулятивное" мышленіе (стремящееся основывать свои умозаключенія на попятіи о дійствительныхъ предметахъ) справедливо гордилось твиъ, что оно гораздо живъе прежней сколастической методы, и старинный методъ основывать все на отвлеченныхъ понятіяхъ былъ заклейменъ прозваніемъ "призрачнаго мышленія", принадлежащаго "отвлеченному уму, или разсудку" (Verstand). Вей понятія и выводы, составленные на основаніи этого "отвлеченнаго призрачнаго мышленія", были оповорены именемъ "призрачныхъ понятій", "приврачныхъ выводовъ", и ученики Гегеля съ презрѣніемъ говорили о всѣхъ тъхъ философахъ, которые строили свои системы не на основании, "спекулятивнаго мышленія": эти люди, по мнівнію Гегеля и его послідователей, не заслуживають даже имени философовъ, а ихъ системы-,призрачныя построенія", въ которыхъ вийсто живой истины даются "ствлеченные призраки". Особенному негодованію подвергалась французская философія, которая, совершивъ свое дъло, перестала занимать сильные умы, стала занятіемъ фантазеровъ и болтуновъ и, дъйствительно, жалкимъ образомъ измельчала и опошлилась при Наполеонъ и во время Реставраціи. Тогда во Франціи, дъйствительно, каждый подъ философією понималь всякій вздорь, какой только приходиль въ голову, и, по произволу перемъщивая этотъ вздоръ съ торопливо набранными чужими мыслями, провозглащаль себя геніемъ и творцомъ новой философской системы. Противъ этихъ-то фантазій, чуждыхъ научнаго достоинства, преимущественно и направлено предисловіе къ ръчамъ Гегеля, служащее программою "Московскому Наблюдателю". Вотъ существенныя мъста изъ этой программы:

"Кто не воображаетъ себя нынче философомъ, кто не говоритъ теперь

ея принципами и ея выводами, духомъ и содержаніемъ. Принципы Гегеля были чрезвычайно мощны и широки, выводы — узки и ничтожны: несмотря на всю колоссальность его генія, у великаго мыслителя достало силы только на то, чтобы высказать общія иден, но недостало уже силы неуклонно держаться этихъ основаній и логически развить изъ нихъ всё необходимыя слёдствія. Онъ провидёль истину, но только въ самыхъ общихъ, отвлеченныхъ, вовсе неопредёлительныхъ очертаніяхъ; увидёть ее лицомъ къ лицу досталось на долю только уже слёдующему поколёнію. И не только выводовъ изъ своихъ принциповъ не могъ онъ сдёлать — самые принципы представлялись ему еще не во всей своей ясности, были

съ утвердительностью о томъ, что такое истина и въ чемъ заключается истина? Всякій хочеть имъть свою собственную, партикулярную систему; кто не думаеть по своему, по своему личному произволу, тотъ не имътъ самостоятельнаго духа, тотъ бездвътный человъкъ; кто не выдумалъ своей собственной идейки, тотъ не геній, въ томъ ивтъ глубокомыслія, а нынче куда вы ни обернетесь, вездъ встръчаете геніевъ. И что же выдумали эти геніи-самозванцы, какой плодъ ихъ глубокомысленныхъ идеекъ и взглядовъ, что двинули они впередъ, что сдълали они дъйствительнаго?

«Шумимъ, братецъ, шумимъ», -- отвъчаетъ за нихъ Репетиловъ, въ комедіи Грибовдова. Да, шумь, пустая болтовня — воть единственный результать этой ужасной, безсмысленной анархіи умовь, которая составляеть главную бользнь нашего поваго покольнія, отвлеченнаго, призрачнаго, чуждаго всякой действительности; и весь этоть шумь, вся эта болтовия происходить во имя философіи. И мудрено-ли, что умный, д'яйствительный русскій народъ не позволяеть осивилять себя этимъ фейерверочнымъ огнемъ словъ безъ содержанія и мыслей безъ смысла? мудрено-ли, что онъ не довърметъ философіи, представленной ему съ такой невыгодной, призрачной стороны? До сихъ поръ философія и отвлеченность, призрачность и отсутствіе всякой дъйствительности были тождественны: кто занимается философіею, тотъ необходимо простился съ дъйствительностью и бродить въ этомъ бользненномъ стчуждени отъ всякой естественной и духовной действительности, въ какихъ-то фантастическихъ, произвольныхъ, небывалыхъ мірахъ, или вооружается противъ дъйствительнаго міра и мнить, что своими призрачными силами онъ можетъ разрушить его мощное существованіе, мнить, что въ осуществленін конечныхъ (ограниченныхъ, одностороннихъ) положеній (сужденій) его конечнаго (ограниченнаго, односторонняго, отвлеченнаго) разсудка и конечныхъ цёлей его конечнаго произвола заключается все благо человёчества, и не знаеть, бъдный, что дъйствительный мірь выше его жалкой и безсильной индивидуальности (личности)... Жизнь его есть рядъ безпрестанныхъ мученій, безпрестанныхъ разочарованій, борьба безъ выхода и конца,и это внутрениее распадение, эта внутренияя разорванность есть необходидля него туманны. Следующее поколеніе мыслителей сделало еще шагь впередь, и принципы, неопределенно, односторонне и отвлеченно высказанные Гегелемь, явились во всей своей полноте и ясности: тогда колебаніямь не осталось места, двойственность исчезла, фальшивые выводы, внесенные въ науку непоследовательностью Гегеля въ развитіи основныхь положеній, были отстранены, и содержаніе приведено въ гармонію съ основными истинами. Таковь быль ходь дела въ Германіи, таковь же быль онь и у нась. Развитіе последовательныхь воззрёній изъ двусмысленныхь и лишенныхъ всякаго примененія намековъ Гегеля совершилось у насъ отчасти вліяніемъ немецкихъ мыслителей, явившихся после Гегеля, отчасти—мы съ гордостью можемъ сказать это—собственными си-

мое слъдствіе отвлеченности и призрачности конечнаго разсудка, для котораго нътъ ничего конкретнаго и который превращаетъ всякую жизнь въ смерть. И еще разъ повторяю: общая недовърчивость къ философіи весьма основательна, потому что то, что намъ выдавали до сихъ поръ за философію, разрушаетъ человъка, вмъсто того, чтобы оживлять его, вмъсто того, чтобы образовать изъ него полезнаго и дъйствительнаго члена общества.

«Начало этого зла скрывается въ реформаціи. Когда назначеніе папизмазамънить недостатокъ внутренняго центра вившнимъ центромъ -- кончилось... реформація потрясла его авторитеть.. пробужденный умъ, освободившись оть педеновъ авторитета, отдёлившись отъ действительнаго міра и погрузившись съ самого себя, захотълъ вывести все изъ самого себя, найти начало и основу знанія въ самомъ себъ... Но умъ человъческій, только что пробудившійся отъ долгаго сна, не могъ вдругъ познать истину: дъйствительный міръ истины быль не по силамъ ему, онъ еще не дорось до него и долженъ былъ необходимо пройти чрезъ долгій путь испытаній, борьбы и страданій, прежде чёмъ достигь своей возмужалости; истина не дается даромъ: пътъ! она есть плодъ тяжкихъ страданій, долгаго мучительнаго стремленія... Результатомъ философіи разсудка было (въ Германіи, у Фихте) разрушение всякой объективности, всякой действительности и погружение отвлеченнаго пустаго Я въ самолюбивое эгоистическое самосозерцание, разрушение всякой любви, а следовательно и всякой жизни и всякой возможности блаженства... Но германскій народъ слишкомъ силенъ, слишкомъ действитеденъ для того, чтобы сдёлаться жертвою призрака... Система Гегеля вёнчала долгое стремленіе ума къ дійствительности:

Что дъйствительно, то разумно; *и* Что разумно, то дъйствительно,—

Вотъ основа философіи Гегеля.

«Обратимся теперь къ Франціи и посмотримъ, какимъ образомъ проявидось въ ней это разъединеніе Я съ дъйствительностью... Разсудокъ человъка, лами. Туть въ нервый разъ русскій умъ ноказалъ свою способность быть участникомъ въ развитіи общечеловъческой науки.

Пересмотримъ же теперь тѣ принципы гегелевой философіи, которые могуществомъ и истинностью своею увлекли людей «Московскаго Наблюдателя» до такой степени, что, въ пылу энтузіазма, возбужденнаго этими высокими стремленіями, были забыты на время всѣ остальныя требованія разума и жизни, было принято все со-

неспособный проникнуть въ глубокое и святое таинство жизни, отвергнуль все, что было ему недоступно; а ему недоступно все истинное и все дъйствительное. Вся жизнь Франціи есть ничто иное, какъ сознаніе своей пустоты и мучительное стремленіе наполнить ее чёмъ бы то ни было, и всё средства, употребляемыя ею для наполненія себя, призрачны и безплодны... Французы (когда принимаются философствовать) превращаютъ всякую истину въ пустыя, безсмысленныя фразы, въ произвольность и анархію мышленія и въ стряпаніе новыхъ идеекъ...

Эта бользиь распространилась, къ несчастію, и у насъ... Пустота нашего воспитанія есть главная причина призрачности нашего новаго покольнія. Вмісто того, чтобы разжигать въ молодомъ человікі искру Божію... вмісто того, чтобы образовывать въ немъ глубокое эстетическое чувство, которое спасаеть человіка оть всіхъ грязныхъ сторонъ живни,—вмісто всего этого, его наполняють пустыми, безсмысленными французскими фразами... Вмісто того, чтобы пріучать молодой умъ къ дійствительному труду, вмісто того, чтобы разжигать въ немъ любовь къ знанію... его пріучають къ пренебреженію трудомъ... Вотъ источникъ нашей общей болізни, нашей призрачности! Разверните какое вамъ угодно собраніе русскихъ стихотвореній и посмотрите, что составляєть пищу для ежедневнаго вдохновенія нашихъ самозванцевъ поэтовъ... Одинъ объявляєть, что онъ не віритъ въ жизнь, что онъ разочаровань; другой, что онъ не вірить дружбі; третій, что онъ не вірить любви...

Счастіе не въ призражь, не въ отвлеченномъ снь, а въ живой дъйствиттельности; возставать противъ дъйствительности и убивать въ себъ всякій
источникъ жизни—одно и тоже; примиреніе съ дъйствительностью во всъхъ
отношеніяхъ и во всъхъ сферахъ жизни есть главная задача нашего времени, и Гегель и Гёте—главы этого примиренія, этого возвращенія изъ смерти
въ жизнь. Вудемъ надъяться, что наше новое покольніе также выйдеть изъ
призрачности, что оно оставитъ пустую и беземысленную болтовию, что оно
сознаетъ, что истинное знаніе и анархія умовъ и произвольность въ мифніяхъ совершенно противоположны; что въ знаніи царствуетъ строгая дисциплина, и что безъ этой дисциплины нътъ знанія. Будемъ надъяться, что
новое покольніе сроднится наконецъ съ нашею прекрасною русскою дъйствительностью, и что, оставивъ всъ пустыя претензіи на геніальность, оно
ощутитъ, наконецъ, въ себъ законную потребность быть дъйствительными
русскими людьми.

держаніе системы, хвалившейся тёмъ, что она основана на этихъ глубокихъ истинахъ.

Мы столь же мало послѣдователи Гегеля, какъ и Декарта или Аристотеля. Гегель нынѣ уже принадлежить исторіи, настоящее время имѣетъ другую философію и хорошо видить недостатки гегелевой системы; но должно согласиться, что принципы, выставленые Гегелемъ, дѣйствительно, были очень близки къ истинѣ, и нѣкоторыя стороны истины были выставлены на видъ этимъ мыслителемъ съ истинно поразительною силою. Изъ этихъ истинъ, открытіе иныхъ составляетъ личную заслугу Гегеля; другія, хотя и принадлежатъ не исключительно его системѣ, а всей нѣмецкой философіи со временъ Канта и Фихте, но никѣмъ до Гегеля не были формулированы такъ ясно и высказываемы такъ сильно, какъ въ его системѣ.

Прежде всего укажемъ на плодотворнъйшее начало всякаго прогресса, которымъ столь рёзко и блистательно отличается нёмецкая философія вообще и въ особенности гегелева система отъ тьхъ лицемърныхъ и трусливыхъ воззрвній, какія господствовали въ тѣ времена (начало XIX вѣка) у французовъ и англичанъ: «истина — верховная цёль мышленія; ищите истины, потому что въ истинъ благо; какова бы ни была истина, она лучше всего, что неистинно; первый долгъ мыслителя: не отступать ни передъ какими результатами; онъ должень быть готовъ жертвовать истинъ самыми любимыми своими мивніями. Заблужденіе-источникъ всякой нагубы; истина-верховное благо и источникъ всёхъ другихъ благъ». Чтобы оцвнить чрезвычайную важность этого требованія. общаго всей немецкой философіи со времени Канта, но особенно энергически высказаннаго Гегелемъ, надобно вспомнить, какими странными и узкими условіями ограничивали истину мыслители другихъ тогдашнихъ школъ: они принимались философствовать не иначе, какъ за тъмъ, чтобы «оправдать дорогія для нихъ убъжденія», т. е. искали не истины, а поддержки своимъ предуб'єжденіямь; каждый браль изъ истины только то, что ему нравилось, а всякую непріятную для него истину отвергаль, безь перемоніи признаваясь, что пріятное заблужденіе кажется ему гораздо лучше безиристрастной правды. Эту манеру заботиться не объ истинь, а о подтвержденіи пріятныхъ предуб'єжденій, німецкіе философы (особенно Гегель) прозвали «субъективнымъ мышленіемъ», фило-

софствованьемъ для личнаго удовольствія, а не ради живой потребности истины. Гегель жестоко изобличаль эту пустую и вредную забаву. Какъ необходимое предохранительное средство противъ поползновеній уклониться отъ истины въ угожденіе личнымъ желаніямъ и предразсудкамъ, былъ выставленъ Гегелемъ внаменитый «діалектическій методъ мышленія». Сущность его состоить въ томъ, что мыслитель не долженъ успокоиваться ни на какомъ положительномъ выводъ, а долженъ искать, нъть-ли въ предметъ, о которомъ онъ мыслитъ, качествъ и силъ, противоположныхъ тому, что представляется этимъ предметомъ на первый взглядъ: такимъ образомъ, мыслитель былъ принужденъ обозрѣвать предметъ со всёхъ сторонъ, и истина являлась ему не иначе, какъ следствіемъ борьбы всевозможныхъ противоположныхъ мнвній. Этимъ способомъ, вмѣсто прежнихъ одностороннихъ понятій о предметѣ, малопо-малу являлось полное, всестороннее изследование и составлялось живое понятіе о всёхъ действительныхъ качествахъ предмета. Объяснить действительность стало существенною обязанностью философскаго мышленія. Отсюда явилось чрезвычайное вниманіе къ дъйствительности, надъ которою прежде не задумывались, безъ всякой церемоніи искажая ее въ угодность собственнымъ одностороннимъ предубъжденіямъ. Такимъ образомъ, добросовъстное, неутомимое изъискание истины стало на мъстъ прежнихъ произвольныхъ толкованій. Но, въ дійствительности, все зависить отъ обстоятельствь, отъ условій м'вста и времени. — и потому Гегель призналь, что прежнія общія фразы, которыми судили о добрѣ и злѣ, не разсматривая обстоятельствъ и причинъ, по которымъ возникало данное явленіе, - что эти общія, отвлеченныя израченія не удовлетворительны: каждый предметь, каждое явленіе имбеть свое собственное значеніе, и судить о немъ должно по соображенію той обстановки, среди которой оно существуеть: это правило выражалось формулою: «отвлеченной истины нать; истина конкретна», т. е. опредълительное суждение можно произносить только объ определенномъ факте, разсмотревъ все обстоятельства, отъ которыхъ онъ зависитъ *).

^{*)} Напримъръ: «благо или вло дождь?»—это вопросъ отвлеченный; опредълительно отвъчать на него нельзя: иногда дождь приноситъ пользу, иногда хотя ръже, приноситъ вредъ; надобно спрашивать опредълительно: «послътого, какъ посъвъ хлъба оконченъ, впродолжение ияти часовъ шелъ сильный

Само собою разумѣется, что это бъглое исчисление нѣкоторыхъ принциповъ гегелевой философіи не можеть дать понятія о поразительномъ впечативніи, которое производять творенія великаго философа, который въ свое время увлекалъ самыхъ недовърчивыхъ учениковъ необыкновенною силою и возвышенностью мысли, покоряющей своему владычеству всё области бытія, открывающей въ каждой сферѣ жизни тождество законовъ природы и исторіи съ своимъ собственнымъ закономъ діалектическаго развитія, обнимающей всъ факты религи, искусства, точныхъ наукъ, государственнаго и частнаго права, исторіи и психологін сѣтью систематическаго единства, такъ что все является объясненнымъ и примиреннымъ. Время той философіи, послёднимъ и величайшимъ представителемъ которой былъ Гегель, прошло для Германін. При помощи результатовъ, выбранныхъ ею, наука сделала, какъ мы сказали, шагъ впередъ; но новая наука эта явилась только какъ дальнъйшее развитіе гегелевой системы, которая навсегда сохраняеть историческое значеніе, какъ переходъ отъ отвлеченной науки къ наукъ жизни.

Таково было значеніе гегелевой философін у насъ: она послужила переходомъ отъ безплодныхъ схоластическихъ умствованій, граничившихъ съ апатією, къ простому и свётлому взгляду на литературу и жизнь, потому что въ ея принципахъ заключались,

дождь, — полезенъ-ли былъ онъ для хакба?» — только туть отвъть ясенъ и имъетъ смысяъ; «этотъ дождь былъ очень полезенъ». - «Но въ то же лъто, когда настала пора уборки хатоа, цълую недълю шелъ проливной дождь, хорошо-ли было это для хлъба?» Отвътъ также ясенъ и также справедливъ «нътъ, этотъ дождь быль вреденъ». Точно также ръшаются въ гегелевой философіи вст вопросы. «Пагубна или благотворна война?» Вообще, нельзя отвъчать на это ръшительнымъ образомъ: надобно знать, о какой войнъ идеть дёло, все зависить отъ обстоятельствъ, времени и мёста. Для дикихъ народовъ вредъ войны менъе чувствителенъ, польза ощутительнъе; для образованныхъ народовъ война приносить обыкновенно менте пользы и болте вреда. Но, напримъръ, война 1812 года была спасительна для русскаго народа; маравонская битва быда благодётельнёйшимъ событіемъ въ исторіи человъчества. Таковъ смыслъ аксіомы: отвлеченной истины нътъ; истина конкретна»-конкретно понятіе о предметь тогда, когда онъ представляется со всёми качествами и особенностями и въ той обстановке, среди которой существуетъ, а не въ отвлечени отъ этой обстановки и живыхъ своихъ особенностей (какъ представляетъ его отвлеченное мышленіе, сужденія котораго поэтому не имъютъ смысла для дъйствительной жизни).

какъ мы старались показать, зародыши этого взгляда. Пылкіе и рѣшительные умы, какъ Бѣлинскій и нѣкоторые другіе, не могли долго удовлетворяться тѣми узкими выводами, которыми ограничивалось приложеніе этихъ принциповъ въ системѣ самого Гегеля; скоро замѣтили они недостаточность и самыхъ принциповъ этого мыслителя. Тогда, отказавшись отъ прежней безусловной вѣры въ ему систему, они пошли впередъ, не останавливалсь, какъ остановился Гегель, на половинѣ дороги. Но навсегда сохранили они уваженіе къ его философіи, которой, въ самомъ дѣлѣ, были обязаны очень многимъ.

Но мы уже говорили, что содержание системы Гегеля соверщенно не соответствуетъ темъ принципамъ, которые провозглашались ею, и которые мы указали. Въ пылу перваго увлеченія, Бълинскій и его друзья не зам'ятили этого внутренняго противорфчія, и ненатурально было бы, еслибы оно было замечено ими съ перваго же раза: оно чрезвычайно хорошо прикрыто необычайною силою гегелевой діалектики, такъ что въ самой Германіи только самые зрълые и сильные умы и только послъ долгаго изученія замѣтили это внутреннее несогласіе основныхъ идей Гегеля съ его выводами. Величайшіе изъ современныхъ німецкихъ мыслителей, не уступающіе самому Гегелю геніальностью, долго были безусловными приверженцами всёхъ его мнаній, и много времени прошло, пока они успёли возвратить себ' самостоятельность, и открывъ ошноки Гегеля, положить основание новому направлению въ наукъ. Такъ всегда бываетъ: самъ Гегель долго былъ безусловнымъ поклонникомъ Шеллинга, Шеллингъ-поклонникомъ Фихте, Фихте-Канта; Спиноза, далеко превосходившій геніальностью Декарта, очень долго считаль себя его вфрибишимъ ученикомъ. «

Мы все это говоримъ къ тому, чтобы показать естественность и необходимость безусловной приверженности къ Гегелю, на нѣкоторое время овладѣвшей Бѣлинскимъ и его друзьями. Они въ этомъ случаѣ раздѣляли общую участь величайшихъ мыслителей нашего времени. И если потомъ Бѣлинскій негодоваль на себя за прежнее безусловное увлеченіе Гегелемъ, то и въ этомъ случаѣ имѣетъ онъ товарищей, не уступающихъ силою ума ни ему, ни Гегелю *).

^{*)} Одинъ изъ современныхъ мыслителей говоритъ о своихъ прежнихъ сочиненіяхъ, написанныхъ въ духъ Гегеля: "этой путаницы теперь не могу

Всв ивмецкіе философы, отъ Канта до Гегеля, страдають твмъ же самымъ недостаткомъ, какой мы указали въ системѣ Гегеля: выводы, дёлаемые ими изъ полагаемыхъ ими принциповъ, совершенно не соответствують принципамъ. Общія иден у нихъ глубоки, плодотворны, величественны, выводы мелки и отчасти даже пошловаты. Но ни у кого изъ нихъ эта противоположность не доходить до такого колоссальнаго противорьчія, какъ у Гегеля, который, превосходя всёхъ своихъ предшественниковъ возвышенностью началь, оказывается едва-ли не слабе всехь въ своихъ выводахъ. И въ Германіи, и у насъ, люди ограниченные и апатичные успокоились на выводахъ, забывая о принципахъ; но и у насъ, какъ въ Германіи, эти ученики, слишкомъ върные буквъ и потому невърные духу, нашлись только между людьми второстепенными, лишенными силъ на историческую деятельность и не могшими иметь никакого вліянія. Напротивъ, и у насъ, какъ въ Германіи, всё истинно даровитые и сильные люди, когда прошло первое увлеченіе, отбросили фальшивые выводы, радостно жертвуя ошибками учителя требованіямъ науки, и бодро пошли впередъ. Потому ошибки Гегеля, подобно ошибкамъ Канта, не имъли важ-

я никакъ распутать; остается одно: или совершенно зачеркнуть ее, или оставить въ прежнемъ видъ—предпочитаю послёднее: мпогіе до сихъ поръ еще считають мудростью то, что и мнё казалось мудростью, когда я писаль эти сочиненія,—пусть же они, перечитывая ихъ, видять путь, которымъ я дошель до своихъ настоящихъ убъжденій—по моимъ слёдамъ, этимъ людямъ легче будетъ дойти до истины". Точно также и мы должны думать о статьяхъ, писанныхъ Бёлинскимъ въ 1838—1839 годахъ: кто не въ состояніи раздёлять зрёлыхъ и самостоятельныхъ убъжденій Бёлинскаго, какін выражалъ онъ въ послёднее время, тому принесетъ пользу чтеніе его статей въ хронологическомъ порядкё, начиная съ тёхъ, которыми самъ Бёлинскій впослёдствіи былъ недоволенъ: кто стоитъ еще слишкомъ низко, тому необходимы лёстницы, чтобы стать въ уровень съ своимъ вёкомъ.

Кстати, вамътимъ, что въ настоящей статъв мы пользовались восноминаніями, которыя сообщиль намъ одинъ изъ ближайшихъ друзей Бълинскаго, г. А., и потому ручаемся за совершенную точность фактовъ, о которыхъ упоминаемъ. Мы надъемся, что интересныя восноминанія г. А—а современемъ сдълаются извъстны нашей публикъ и спъшимъ предупредить читателей, что тогда наши слова окажутся не болъе, какъ развитіемъ его мыслей. За ту помощь, какую оказали намъ его воспоминанія при составленіи настоящей статьи, мы обязаны принести здъсь искреннъйшую благодарность глубокоуважаемому нами г. А—у.

ныхъ последствій, между темъ, какъ здоровая часть его ученія действовала очень плодотворно.

Мы нарушили бы законъ исторической перспективы, если бы стали говорить о предметь, не имышемъ исторической важности, каковы ошибки Гегеля, съ такою же подробностью, какъ о тыхъ его идеяхъ, которыя оказали сильное вліяніе на ходъ умственнаго развитія. Но такъ какъ эти ошибки все-таки историческій фактъ, хотя и маловажный, то мы не можемъ совершенно умолчать о нихъ. Ниже читатели увидять, въ одной изъ приводимыхъ нами выписокъ, въ чемъ состояла сущность этихъ ошибокъ. Здысь мы должны только повторить, что друзья Станкевича раздыляли заблужденіе со всыми замычательныйшими нымецкими мыслителями современнаго имъ покольнія: на ныкоторое время, геніальная діалектика Гегеля ослыпила всыхъ, такъ что выводы, противорычившіе принципамъ, всыми принципамъ, всыми принципамъ, всыми принципамъ, будто необходимое ихъ слыдствіе.

Нельзя не признаться, что и въ Германіп и у насълюди, принимавшіе все содержаніе гегелевой системы за чистую истину, вовлекались этимъ авторитетомъ во многія и очень важныя заблужденія. Инмало не защищая того, что действительно было дурнаго въ этихъ ошибкахъ, надобно, однакожъ, заметить, что двадцать льть назадь не все то было дъйствительно вреднымь заблуждениемь, что нынѣ было бы непростительнымъ ослѣпленіемъ: для многихъ мненій, которыя въ наше время были бы решительно несправедливыми предубъжденіями, тогда еще существовали дъльныя основанія, быть можеть, одностороннія, быть можеть, нізсколько устарввшія, но все-таки заключавшія въ себв много справедливаго. Укажемъ одинъ примъръ. Строгіе приверженцы намецкой философін со временъ Канта, особенно строгіе гегеліанцы, презирали п отчасти даже ненавидёли все французское. Друзья Станкевича разділяли это отвращеніе, и «Московскій Наблюдатель» весь проникнуть «французовдствомъ» (Franzosenfresserei), какъ выражались нъмцы. Францувоъдству посвящены многія страницы предисловія къ гегелевымъ ръчамъ, служащаго, какъ вы видъли, программою журнала. Въ примъчаніи мы приводимъ одну изъ такихъ страницъ *). И нельзя не сказать, что «Московскій Наблюдатель», рев-

^{*) «}Французы никогда не выходили изъ области произвольныхъ разсуж-

ностно выполняя всё другіе пункты своей программы, не мен'є ревностно выполняль и этоть пункть. Онъ пользовался каждымъ случаемъ, каждымъ предлогомъ, чтобы произнесть грозную филиппику или вставить презрительную выходку противъ французовъ. Говорить ли онъ, наприм'ъръ, въ разборъ «Современника» о статъ В Пушкина «Мильтонъ», — главное вниманіе онъ обращаеть на тъ эпизоды, въ которыхъ Пушкинъ подсмъивается надъ французами, — тотчасъ же выписываются насмъшки надъ Альфредомъ де-Виньи п

деній, и все святое, великое и благородное въ жизви упало подъ ударами сленаго мертваго разсудка. Результатомъ французскаго философизма былъ матеріализмъ, торжество неодухотворенной плоти. Во французскомъ народів исчезда послъдняя искра откровенія. Христіанство, это въчное и непроходящее доказательство любви Творца къ творенію, сдёлалось предметомъ общихъ насмъщекъ, общаго презрънія, и бъдный разсудокъ человька, неспособный проникнуть въ глубокое и святое таинство жизни, отвергнулъ все, что только было ему недоступно, а ему недоступно все истипное и все дъйствительное. Онъ требовалъ ясности, -- но какой ясности! -- не той, которая лежить въ глубинъ предмета: нъть, - а на поверхности его; онъ взду--малъ объяснить религію-и религія, недоступная для конечныхъ усилій его, исчезла и упесла съ собою счастіе и спокойствіе Франціи; онъ вздумаль превратить святилище науки въ общенародное знаніе — и таинственный смысль истиннаго знанія скрылся, и остались одни пошлыя, безплодныя, призрачныя разсужденія, — и Жанъ-Жакъ Руссо объявиль, что просвъщенный человъкъ есть развращенное животное, и революція была необходимымъ последствіемъ этого духовнаго развращенія. Где неть религін, тамъ не можеть быть государства, и революція была отрицаніемъ всякаго государства, всякаго законнаго порядка, и гильотина провела кровавый уровень свой и казнила все, что только хоть насколько возвышалось надъ безсмысленною толпою».

Въ «Последнемъ Новоселье» Лермонтовъ буквально переложилъ эти снова въ стихи:

Негодованію и чувству давъ свободу

Мив кочется сказать великому народу
 «Ты жалкій и пустой народъ!
Ты жалокъ потому, что въра, слава, геній,
Все, все великое, священное земли,
Съ насмъщкой глупою ребяческихъ сомивній
 Тобой растоптано въ пыли.
Изъ славы сдълалъ ты игрушку лицемърья,
Изъ вольности — орудье палача,
И всъ завътныя отцовскія повърья
Ты имъ рубилъ, рубилъ съ плеча...

Викторомъ Гюго, замѣчанія о недостаткахъ мольеровыхъ комедій, и т. д.,—за то прибавляетъ «Московскій Наблюдатель», что у Пушкина быль вѣрный взглядъ на искусство и безконечное эстетичеческое чувство». Разбирается ли другой томъ «Современника», въ которомъ есть отрывокъ изъ «Хроники русскаго въ Парижѣ»,—почти вся рецензія состоитъ изъ выписокъ тѣхъ страницъ Хроники, которыя особенно неблагопріятны для французовъ. Разбирается ли романъ г. Вельтмана «Виргинія»—оказывается, что этотъ романъ можно похвалить только за одно: «многія черты французскаго верхоглядства схвачены въ немъ превѣрно»; говорится ли о «Сборникѣ на 1838 годъ»—въ этомъ сборникѣ очень много стиховъ, и отчасти даже хорошихъ стиховъ, но интереснѣе всего въ немъ переводъ эпиграммы Шиллера, въ которой французы называются вандалами. Выписавъ это стихотвореніе и похваливъ за него Шиллера, критикъ торжественно восклицаетъ, обращаясь къ читателямъ:

«Французы вандалы!!!--слышите ли?»

Для большей знаменательности, это восклицание напечатано даже отдёльною строкою, что и соблюли мы. Говорится ли о возвращенін молодыхъ профессоровъ нашихъ изъ-за границы-пріятиве всего «Московскому Наблюдателю» то, что они слушали декціи въ Берлинъ, а не въ Парижъ. Нечего и говорить, пользуется ли «Московскій Наблюдатель» случаемъ изобличить французское фразерство и легкомысліе, когда является переводъ «Исторіи Франціи» Мишле... тутъ филиппика достигаетъ страшной безпощадности: едва нъкоторые спеціальные ученые получають за свои спеціальные труды прощеніе въ томъ, что они французы, --- но французскіе литераторы, поэты, мыслители, всё казнятся безъ всякой милости, отъ дъвицы Скюдери до Мишле, отъ Ронсара до Лерминье. Общаго приговора избёгаетъ только Беранже, «гуляка праздный»: праздная гульба-французское дело, объ этомъ они умеють складывать веселенькія п'єсенки-лучшаго у нихъ не нужно и искать. Однимъ словомъ, о чемъ бы рвчь ни шла, «Московскій Наблюдатель» таки найдетъ предлогъ поразить или кольнуть французовъ, и общимъ выводомъ изъ всей этой неутомимой полемики выставляется заключеніе, что, между тімъ, какъ «вліяніе німцевъ на насъ благодівтельно во многихъ отношеніяхъ, и со стороны науки и со стороны искусства, и со стороны духовно-нравственной, съ французами мы находимся въ обратномъ отношении: мы враждебно противоположны съ ними по сущности нашего національнаго духа» («Моск. Набл.» томъ XVIII, стр. 200).

Нынь, когда лучшіе изъ французовъ отказываются отъ заносчивыхъ претензій, отъ презрінія къ другимъ народамъ, когда вся нація оставляєть свое прежнее легкомысліе, оставляєть даже фразерство, которымъ такъ долго жила, когда національная жизнь обратилась къ разрешенію истинно-глубокихъ вопросовъ, подобная вражда противъ французовъ была бы совершенно неосновательна. Но тогда настроеніе умовъ во Францін было совершенно не таково. Тъ направленія мысли, которыя нын' пріобр'тають Франціи сочувствіе серьезных людей, едва только начинали еще обнаруживаться, и, притомъ, въ странныхъ, еще не определившихся формахъ, не оказывали еще никакого вліянія на жизнь націи, напротивъ, были осмвиваемы литературою, презираемы государственною жизнью. Все, чёмъ блистала Франція временъ первой Имперіи и Реставрацін, было фальшиво и поверхностно или противоржчило истиннымъ потребностямъ нравственной и общественной жизни; все основывалось на недоразумёніи съ одной стороны, на обман' или насиліи съ пругой. Въ литературъ, напримъръ, господствовали двъ школы, равно фальшивыя: одна, — въ дух в Шатобріана и Ламартина, накидывала на себя маску искусственныхъ восторговъ ученіями, которыхъ не понимала и о которыхъ въ сущности очень мало заботилась; другая накидывала на себя маску утонченной развращенности и мелкаго сатанинства (école satanique). Тъ, которые не были лицемфрами идеализма или цинизма, болтали о пустякахъ. Только Беранже составляль исключение, но Беранже не понимали, считая его не болье, какъ пъвцомъ гризетокъ. Въ наукъ понятія страшно измельчали, --- ученыя знаменитости тогдашняго времени были шарлатаны и фразёры, хлопотавшіе о примиреніи непримиримаго, объ оправданіи наукою предразсудковь, о сочетанін научной истины съ произвольными фантазіями. Время теперь обнаружило, что за люди были и чего хотъли Кузенъ, Гизо, Тьеръ; а они были еще самыми лучшими изъ тогдашнихъ знаменитостей.

Кстати припомнимъ, что такое былъ знаменитый тогда «либерализмъ, за который особенно прославлялись эти знаменитости. Событія обнаружили пустоту и ръшительную безполезность этого либерализма, хлопотавшаго только объ отвлеченныхъ правахъ, а не о благъ народа, самое понятіе о которомъ оставалось ему чуждо. У лучшихъ проповъдниковъ его это было легкомысленное заблужденіе относительно истинныхъ потребностей націи; другіе пользовались этимъ такъ называемымъ либерализмомъ, какъ приманкою для привлеченія націи въ свою удочку, — а для чего нужно было имъ привлечь націю, оказалось потомъ, когда они успъли захватить власть: они искали власти для того, чтобы набить себъ карманы.

Таково было положеніе Франціи и во время Реставраціи и въ первые годы орлеанской династіи. Повсюду гремѣли фразы, лишенныя смысла, во всемъ владычествовали легкомысліе и обманъ. Но болѣе всего должны были возмущаться люди съ горячими убѣжденіями и высокими принципами тѣмъ, что у тогдашнихъ французскихъ знаменитостей не было ни рѣшительныхъ принциповъ, ни строгой послѣдовательности въ образѣ мыслей: всему, чему они вѣрили, вѣрили они только на половину, робко и церемонно, все, что отрицали, отрицали также только на половину, все это были люди въ родѣ тѣхъ, которыхъ изображалъ у насъ Пушкинъ въ своихъ герояхъ,—въ родѣ тѣхъ, которыхъ Лермонтовъ заставляетъ говорить:

Вогаты мы, едва изъ колыбели
Ошьбками отцовъ и позднимъ ихъ умомъ....
Къ добру и злу постыдно равнодушны,
Въ началѣ поприща мы вянемъ безъ борьбы....
Тая завистливо отъ ближнихъ и друзей
Надежды лучшія и голосъ благородный
Невѣріемъ осмѣянныхъ страстей.
Едва касались мы до чаши наслажденья,
Но юныхъ силъ мы тѣмъ не сберегли;
Изъ каждой радости, бояся пресыщенья,
Мы лучшій сокъ на вѣки извлекли....
И ненавидимъ мы и любимъ мы случайно,
Ничѣмъ не жертвуя ни злобѣ, ни любви,
И царствуетъ въ душѣ какоѣ-то холодъ тайный....

Отъ этихъ безсильныхъ въ своемъ узкомъ и пресыщенномъ этоизмѣ людей, конечно, нельзя было надѣяться ничего хорошаго; отъ этихъ выродковъ, оставшихся послѣ великой внутренней борьбы, которая поглотила всѣ благороднѣйшія силы французскаго народа, конечно, нельзя было ожидать, чтобъ они влили новую жизнь въ

свой народь; они не должны были служить идеалами для насъ, чувствовавшихъ въ себѣ избытокъ свѣжихъ, еще нетронутыхъ силъ. Къ такимъ людямъ, конечно, не могло лежать сердце иламенныхъ юношей, готовыхъ и любить до самоотверженія и ненавидѣть смертельно, жаждавшихъ дѣятельности и блага. Вражда усиливалась особенно тѣмъ, что эти разочарованные, блазированные, проѣденные эгоизмомъ люди считались у насъ оракулами: всѣ у насъ кричали о французахъ, всѣ восхищались французами,—а ни для себя, ни тѣмъ болѣе для насъ французы такого разбора не были ровно ни на что годны. Намъ нуженъ былъ энтузіазмъ, передъ нами было широкое поле дѣятельности: какъ же не возненавидѣть было этихъ людей, которые могли передать намъ только свое безсиліе, разочарованіе и бездѣйствіе?

Нелюбовь, заслуженная французами временъ первой Имперіи и Реставраціи, незаслуженнымъ образомъ распространялась и на ихъ предковъ, и столь же незаслуженнымъ образомъ подвергались общему осужденію свіжія направленія мысли, возникавшія въ молодомъ поколівніи мыслителей, не имівшихъ ничего общаго съ прежними знаменитостями, людей съ твердыми и возвышенными убіжденіями, со свіжими силами. Виною этой несправедливости былъ отчасти недостатокъ знакомства съ возникавшими во французской литературів новыми стремленіями, отчасти также и предубіжденіе, составившееся противъ всіхъ вообще французовъ, — а боліве всего—безусловное поклоненіе гегелевой системів, какъ верховной и единственной истинів, внів которой ничто не заслуживаетъ вниманія.

Поклоненіе Гегелю въ кругу друзей Станкевича доходило, какъ мы сказали, до крайности, въ которой люди талантливые, одаренные самостоятельнымъ умомъ и стремившіеся впередъ, не могли долго оставаться. Признаки безсознательнаго недовольства системою, которою продолжали восхищаться, обнаружились въ даровитѣйшихъ членахъ дружескаго круга тѣмъ, что они говорили въ гегелевскомъ смыслѣ рѣшительнѣе и безпощаднѣе, нежели самъ Гегель, сдѣлались, какъ говорится, ревностнѣйшими гегеліанцами, нежели самъ Гегель. Особенно отличался этимъ Бѣлинскій, который вообще былъ не таковъ, чтобы отказываться отъ логическихъ выводовъ изъ боязни уклониться отъ точныхъ словъ какого бы то ни было авторитета. Это свидѣтельство людей, знавшихъ его лично,

подтверждается многими его страницами, написанными совершенно въ духѣ Гегеля, но съ такою рѣшительностью, которой не одобрилъ бы самъ Гегель. Да и вообще Гегель, говорящій обо всемъ съ безпристрастіемъ посѣдѣвшаго мудреца, смотрящій на все исключительно глазами кабинетнаго ученаго, чуждаго волненіямъ жизни, не могъ долго удержать въ безусловной покорности такого пламеннаго, проникнутаго жизненными стремленіями двадцатипятильтняго человѣка, какъ Бѣлинскій. Натуры учителя и ученика, потребности двухъ различныхъ обществъ, среди которыхъ они дѣйствовали, были слишкомъ несогласны. Бѣлинскій скоро отбросилъ все, что въ ученіи Гегеля могло стѣснять его мысль, и вскорѣ послѣ пере- взда въ Петербургъ является уже дѣйствователемъ совершенно самостоятельнымъ.

Два обстоятельства помогли этому переходу, необходимому по натур' самого Бълинскаго, совершиться быстре, нежели совершился бы онъ безъ этихъ обстоятельствъ: сближение друзей Станкевича съ г. Огаревымъ и его друзьями и переъздъ Бълинскаго изъ Москвы въ Петербургъ.

Первоначальныя вліянія, подъ которыми совершалось развитіе г. Огарева и его друзей, были совершенно различны отъ вліяній, которымъ подчинялся кружокъ Станкевича. Нѣмецкая философія мало ихъ занимала, какъ предметъ слишкомъ отвлеченный. Ихъ внимание было устремлено на тѣ науки, которыя имъютъ непосредственное отношение къ жизни націй. Въ то время во Франціи возникали, какъ противоръчіе бездушному и убійственному ученію экономистовъ, новыя теоріи національнаго благосостоянія. Иден, одушевлявшія новую науку, высказывались еще въ фантастическихъ формахъ, и предубъжденнымъ или руководившимся своекорыстными побужденіями противникамъ легко было, оставляя безъ вниманія здравыя и высокія основныя идеи новыхъ теоретиковъ и выставляя въ утрированномъ видъ мечтательныя увлеченія, которыхъ въ началь не избъгаетъ ни одна новая наука, осмънвать системы, имъ ненавистныя. Но подъ видимыми странностями и подъ фантастическими увлеченіями скрывались въ этихъ системахъ истины и глубокія и благодітельныя. Огромное большинство и ученыхъ людей и европейской публики, пов ривъ пристрастнымъ и поверхностнымъ отзывамъ экономистовъ, не хотели понять смысла новой науки, всё смёнлись надъ несбыточными утопіями, и почти никто не считаль нужнымъ основательно и безпристрастно изучать ихъ. Г. Огаревъ и его друзья занялись этими вопросами, понимая чрезвычайную ихъ важность для жизни. Съ тѣмъ вмѣстѣ вниманіе г. Огарева и его друзей было занято исторіею, особенно новѣйшею, то-есть именно важнѣйшею для жизни частью ея; и такъ какъ въ послѣднее время главнымъ театромъ историческаго развитія была Франція, то они интересовались преимущественно ея исторіею. Въ литературѣ они также не отдавали безусловнаго предпочтенія нѣмцамъ, зная и цѣня французскихъ новыхъ писателей, которые тогда еще не господствовали въ литературѣ, но уже доказали, что будутъ господствовать надъ нею. Подъ вліяніемъ этихъ занятій составились у нихъ твердыя и послѣдовательныя ученолитературныя убѣжденія.

Такимъ образомъ, дѣятели молодого поколѣнія въ Москвѣ были разделены на два кружка, съ двумя различными направленіями: въ одномъ господствовала гегелева философія, въ другомъ — занятія современными вопросами исторической жизни. Много было нунктовъ, въ которыхъ два эти направленія могли сталкиваться враждебно; но подъ видимою противоположностью таилось существенное тождество стремленій, несогласныхъ между собою только въ томъ, что было у каждаго изъ нихъ односторонностью, недостаткомъ, но одинаково ставившихъ себъ цълью дъятельность, плодотворную для развитія русскаго общества, одинаково считавшихъ единственнымъ средствомъ для достиженія этой цёли оживленіе нашей литературы и возбуждение нашей мыслительной двятельности, одинаково имъвшихъ свой идеалъ въ будущемъ, а не въ прошедшемъ, относившихся между собою, какъ теорія и практика, которыя должны служить взаимнымъ дополненіемъ. Важный вопросъ: побъдитъ-ли чувство существеннаго единства, или противоръчіе во второстепенныхъ, но, однакожь, очень важныхъ вопросахъ, долженъ быль разрышиться такъ или иначе, смотря по тому, дыйствительно ли люди, служившіе представителями этихъ различныхъ направленій, достойны были сдёлаться замічательными діятелями въ исторіи развитія русскаго общества, и действительно-ди принципы, ихъ воодушевляющіе, были плодотворны. Исторія говорить намъ, что обыкновенное явленіе при паденіи принципа—непримиримая вражда между его приверженцами изъ-за второстепенныхъ вопросовъ, а при развитіи принципа — дружное дійствованіе людей, согласныхъ въ главномъ, какъ бы ни были важны второстепенные вопросы, ихъ раздѣляющіе. Отверженіе узкаго самолюбія, готовность признать правду, которой не замѣчалъ прежде, и сдѣлать эту указанную другимъ правду своимъ задушевнымъ дѣломъ—таково существенное качество истинно замѣчательныхъ историческихъ дѣятелей.

Люди, о которыхъ мы говорили, были призваны играть действительно важную роль въ развитіи нашего общества; принципы, ихъ одушевлявшіе, действительно были живы и плодотворны,—потому эти принципы необходимо должны были слиться, эти люди соединиться. И действительно, люди соединились съ такою благородною искренностью и самоотреченіемъ отъ своихъ односторонностей, принципы слились въ одно общее направленіе съ такою совершенною гармоніею, что фактъ этотъ принадлежитъ къ числу самыхъ редкихъ и возвышающихъ душу примеровъ совершеннаго торжества общей правды надъ частными недоразуменіями, общаго стремленія служить истине надъ личными столкновеніями.

Первыя чувства были, натурально, недружелюбны: обоюдная исключительность мивній возбуждала взаимную непріязнь. Тв и другіе были недовольны другь другомъ и долго удерживались отъ сношеній между собою. Друзья Станкевича осуждали г. Огарева п его друзей за то, что они не предаются изученію намецкой философін и не признають, что вся истина заключена въ системѣ Гегеля. Друзья г. Огарева осуждали кругъ Станкевича за то, что въ немъ всв мысли направлены исключительно къ слишкомъ отвлеченнымъ вопросамъ и вопросы жизни или оставляются безъ всякаго вниманія, или рёшаются въ томъ апатическомъ смыслё, какъ велить рышать ихъ Гегель. Одни говорили про другихъ: «они пренебрегаютъ истинными принципами»; эти говорили про первыхъ: «они проповѣдуютъ апатію въ жизни и примиряются со всѣми недостатками дъйствительности, восхищаясь тъмъ, что ихъ система оправдываеть все на свете». Различныя внешнія обстоятельства содъйствовали тому, что личныхъ сношеній-которыхъ не желала сначала ни та, ни другая партія-очень долго не существовало между людьми того и другаго направленія.

Станкевича уже не было въ Москвѣ, когда г. Огаревъ вошелъ въ кругъ, душою котораго прежде былъ Станкевичъ, и ввелъ за собою своихъ друзей. Если бы Станкевичъ, кроткій и любящій, былъ

еще между своихъ друзей, вѣроятно, сближеніе произощло бы тогда же. Теперь посредникомъ и примирителемъ былъ только г. Огаревъ. Онъ одинъ, не имѣя ни въ комъ помощниковъ, не успѣлъ переселить противниковъ, каждое свиданіе которыхъ было жаркимъ споромъ. Вслѣдствіе одного изъ такихъ споровъ, когда Бѣлинскій, на всѣ вопросы, имѣвшіе цѣлью вынудить у него признаніе, что не все въ дѣйствительности можетъ быть оправдано разумомъ, отвѣчалъ, съ обычною своею неумолимою послѣдовательностью, признаніемъ разумности всѣхъ тѣхъ явленій, на которыя ему было указано,— вслѣдствіе этого спора, доказавшаго невозможность поколебать его убѣжденія, попытки примпренія кончились— на время, какъ увидимъ, и на очень короткое время.

Между тымъ, нонытки эти не остались безплодны, хотя повидимому, привели къ полному разрыву. Люди, спорившіе съ Балинскимъ и его друзьями, были изумлены тою непоколебимостью, съ какою встръчаются послъдователями Гегеля самыя, повидимому, неопровержимыя возраженія противъ системы Гегеля, тою легкостью, съ какою последователи Гегеля находять вполнъ удовлетворительный для себя ответь на все, что, новидимому, должно бы, смутить и затруднять ихъ. Противники результатовъ, до которыхъ доходить гелелева система, увидёли, что Гегеля можно нобёдить только его собственнымъ оружіемъ, и принялись за глубокое изученіе этого мыслителя. Они приступили къ нему съ силами ума, совершенно зрълаго, съ проницательностью, изощренною привычкою къ самостоятельному мышленію и богатымъ опытомъ жизни, наполненной всевозможными столкновеніями, — съ запасомъ твердыхъ убъжденій, данныхъ жизнью и строгою наукою. И, какъ ни трудно устоять противъ діалектики исполина немецкой философіи, -- этой изумительно сильной діалектики, облекающей всю его систему бронею неразрушимаго, повидимому, единства, -- эти люди открыли пробёлы и непоследовательности системы Гегеля, увидели погрёшности въ ея выводахъ, несогласіе принциповъ ея съ результатами, основныхъ идей съ применениями, постигли и односторонность принциповъ, -и могли наконецъ сказать: «теперь мы постигаемъ все, что постигалъ Гегель, но постигаемъ яснъе и полнъе, нежели онъ». Такимъ образомъ, была, по выраженію нёмецкой философіи, превзойдена (überwunden), очищена отъ односторонности по смыслу собственныхъ своихъ осповныхъ началъ, подвергнута критикъ и возведена къ высшей истинѣ философія Гегеля сильнѣйшими послѣдователями одного изъ направленій, между которыми до того времени преградою была система Гегеля. Но глубина и странность нѣмецкихъ философскихъ системъ произвела сильное впечатлѣніе на умы тѣхъ, которые взялись за изученіе философіи не столько по расположенію къ ней, сколько по необходимости открыть слабыя ея стороны; сильнѣйшіе изъ друзей г. Огарева сами получили философское направленіе; не покидая своихъ прежнихъ стремленій, напротивъ, еще болѣе утвердившись въ нихъ, они возвели свои убѣжденія къ общимъ философскимъ принципамъ и, увидѣвъ, какъ много выигрываютъ оттого ихъ идеи и въ прочности и въ стройности, сдѣлались ревностными приверженцами нѣмецкой философіи,—конечно, уже не системы Гегеля, на которой не могли они остановится, а новой философіи, послѣднимъ переходомъ къ которой была система Гегеля.

Съ другой стороны, подобное расширение умственнаго горизонта совершилось около того же времени и въ сильнъйшихъ изъ друзей Станкевича. До сихъ поръ они, какъ мы говорили, были связаны между собою совершенною одинаковостью понятій и стремленій, такъ что особенности отдъльныхъ личностей исчезали въ единствъ общаго настроенія. Характеризуя «Московскій Наблюдатель», дізтельнейшимъ участникомъ и распорядителемъ котораго былъ Белинскій, мы большую часть нашихъ выписокъ заимствовали изъ предисловія къ р'вчамъ Гегеля, писаннаго не Б'елинскимъ, а однимъ изъ тогдашнихъ его друзей, потому что тогда всв эти люди писали совершенно въ одномъ и томъ же духъ: разница была только въ томъ, что одни умѣли писать лучше другихъ, но все, что говорилъ Бѣлинскій, говорили всѣ друзья Станкевича, и, наоборотъ, Бѣлинскій высказываль только то, въ чемъ одинаково были уб'яждены всь. Такъ продолжалось до прівзда Бълинскаго въ Петербургъ. Тутъ вскоръ онъ сдълался совершенно самобытенъ, и теперь мы должны говорить уже не объ общей дъятельности прежняго кружка, котораго Бѣлинскій быль только представителемь, а о личной дъятельности Бълинскаго, ставшаго во главъ нашего литературнаго движенія и управлявшаго этимъ движеніемъ, въ союзѣ съ новыми сподвижниками, присоединившимися къ нему не по духу какогонибудь кружка, а по самобытному стремленію къ одинаковымъ цѣлямъ, съ сохраненіемъ личныхъ особенностей натуры каждаго изъ союзниковъ.

Въ Москвъ Бълинскій, подобно своимъ друзьямъ, былъ совершенно погруженъ въ теоретическія умствованія и обращаль очень мало вниманія на то, что д'влается въ д'вйствительной жизни. Онъ твердиль, что действительность значительные всёхь мечтаній, ноподобно своимъ друзьямъ, смотрелъ на действительность глазами пдеалиста, не столько изучаль ее, сколько персносиль въ нее свой идеаль, и въриль, что идеаль этоть имъеть себъ соотвътствие въ нашей действительности, что, по крайней мере, важнейшие элементы действительности сходны съ теми идеалами, какіе найдены для нихъ въ системъ Гегеля. Петербургъ, какъ извъстно всемъ, пережившимъ идеалистическій періодъ возгріній, нимало не удобенъ для сохраненія такихъ мечтаній. Въ Петербург'я д'яйствительная жизнь настолько шумна, безпокойна и неотвязна, что трудно обманываться относительно ея сущности, трудно не разубъдиться въ томъ, что она движется вовсе не по идеальному плану гегелевской системы, трудно остаться идеалистомь. Петербургъ, съ обычною своею готовностью услужить новому жителю всёми возможными разочарованіями, не замедлиль доставить Белинскому обильные матеріалы для поверки благосклонныхь къ действительности выводовъ гегелевской системы и внушить ему, что филистерскіе нъмецкіе идеалы не имъютъ ровно никакого сходства съ русскою жизнью. Пришлось отказаться отъ увъренности, что гегелевы построенія — върныя изображенія дійствительной жизни, пришлось критически посмотръть и на дъйствительность и на гегелеву систему *). Результатомъ этой повёрки было, для теоретическихъ

^{*) «}Москвичь очень скоро свыкается съ Нетербургомъ, если перевдетъ въ него житъ. Куда дъваются высокопарныя мечты, идеалы, теоріи, фантазіи! Петербургъ, въ этомъ отношеніи, пробный камень человъка: кто, живя въ немъ, не увлекся водоворотомъ призрачной жизни, умѣлъ сберечь и душу и сердце не на счетъ здраваго смысла, сохранить свое человъческое достоинство, не предаваясь донкихотству,—тому смѣло можете вы протинуть руку, какъ человъку. Петербургъ имъетъ на нѣкоторыя натуры отрезвляющее свойство: сначала, кажется вамъ, что отъ его атмосферы, словно листья съ дерева, спадаютъ съ васъ самыя дорогія убъжденія; по скоро замѣчаете вы, что то не убъжденія, а мечты, порожденныя праздною жизнію и ръшительнымъ незнапіемъ дъйствительности, — и вы остаетесь, можетъ быть, съ тяжелою грустью, но въ этой грусти такъ много святаго, человъческаго... Что

убѣжленій-очищеніе принциповъ Гегеля оть ихъ односторонности, отвержение фальшиваго содержанія, прилітиленнаго къ нимъ, и выводъ новыхъ слёдствій, въ духё строгой современной науки; для жизненных стремленій — отверженіе прежняго квістизма разрушаемаго действительностью, сохранению высокаго убъждения, что разумъ и правды должны и будутъ владычествовать въ жизни, хотя мы далеки еще отъ этого времени. Бёлинскій убёдился, что дъйствительность заключаетъ въ себъ очень много ложныхъ и вредныхъ элементовъ, и, посвятивъ всю свою деятельность водворенію въ жизни владычества ума и правды, началъ неутомимую, безпощадную борьбу со всемь, что препятствовало достижению этой цъли. Для такой живой натуры, какъ Бълинскій, переходь отъ абстрактной идеальности, доводившей до квіэтизма и апатіи, къ живому понятію о д'виствительности быль естествень и легокь. Система Гегеля на нѣкоторое время увлекла его своимъ величіемъ, и мы старались показать, что увлечение оправдывалось новостью и глубиною истинъ, заключавшихся въ ея основныхъ идеяхъ; но никогда не удовлетворяла она его своимъ положительнымъ содержаніемъ, онъ всегда рвался впередъ, негодуя на стеснительное безстрастіе Гегеля, всегда вносиль въ это холодное созерцаніе патетическій жарь своей живой натуры. Таково же было отношеніе къ Гегелю и другихъ сильныхъ людей между друзьями Станкевича. Изъ записокъ, нами приведенныхъ, можно видъть, чъмъ особенно увлекались они въ системѣ Гегеля, почему особенно дорожили ею. Въ каждомъ теоретическомъ ученін соединяются двѣ стороны: отвлеченное понятіе объ истинів и отношеніе этого знанія къ живой дъятельности. Гегель ставить знаніе первою, почти исключительною целью своей системы; следствія этого знанія для жизни стоять у него на второмъ планъ. Этотъ порядокъ, съ самаго же начала быль изм'єнень сильнівйшими изъ друзей Станкевича; они съ самаго начала говорили: «философія Гегеля благотворна для жизни, потому надобно изучать истины, ею открываемыя > -- ясно, что дъйствительная жизнь стоить для нихъ на первомъ планъ, отвле-

мечты! самын обольстительным изъ нихъ не стоять въ глазахъ дольнаго (въ разумномъ вначеніи этого слова) человѣка самой горькой истины, потому что счастіе глупца—есть ложь, тогда какъ страданіе дѣльнаго человѣка— есть истина, и притомъ плодотворная въ будущемъ... («Статья Бълинскаго «Москва и Петербурга» въ «Физіологіи Петербурга»).

ченное знаніе имѣетъ уже только второстепенную важность. Люди съ такими натурами не могли долго удовлетворяться системою Гегеля: тѣмъ или другимъ путемъ, они должны были выйти изъ зависимости отъ нея,—и, дѣйствительно, вышли, кто тѣмъ, кто другимъ путемъ. Насъ здѣсъ занимаетъ Бѣлинскій, и мы видѣли, что его вывело изъ безусловнаго поклоненія Гегелю ближайшее знакомство съ дѣйствительностью, быть двигателемъ которой всегда стремился и былъ назначенъ онъ.

Прежніе споры въ Москвѣ съ друзьями г. Огарева также имѣли свою долю участія въ расширеніи взглядовъ Бѣлинскаго. Правла, во время самыхъ споровъ никакія возраженія не могли ни мало поколебать его втры въ безусловную справедливость выводовъ, представляемыхъ системою Гегеля; напротивъ, какъ то всегда бываеть съ людьми сильными и безстрашными въ своей последовательности, споры только утвердили его въ прежнемъ образѣ мньній, заставили его быть еще последовательнее и строже въ своихъ понятіяхъ, внушили ему сильнъйшее желаніе настаивать на нихъ и доказывать неосновательность всёхъ сомнений въ томъ, что казалось ему истиною. Некоторыя изъ статей, напечатанныхъ Белинскимъ тотчасъ по перевздв въ Петербургъ, написаны подъ вліяніемъ этого полемическаго одушевленія, и мивнія принадлежавшія всёмъ сотрудникамъ «Московскаго Наблюдателя», доведены въ этихъ статьяхъ, которыя помѣщены были въ «Отечественныхъ Запискахъ», до крайности, возбудившей изумление и объясняемой только ихъ полемическимъ происхождениемъ. Но важно было уже то, что возраженія, предложенныя Белинскому его московскими противниками, сильно занимали его, не были имъ забыты. Когла первые порывы полемики миновались, когда сближение съ действительною жизнью начало изобличать односторонность прежняго отвлеченнаго идеализма, Бълинскій должень быль безпристрастнье взглянуть на мивнія своихъ бывшихъ противниковъ, еще такъ недавно отвергнутыя ими съ высоты идеалистическихъ воззрѣній. Онъ увидълъ, что эти понятія, казавшіяся безусловному послъдователю системы Гегеля узкими и поверхностными, гораздо лучше выдерживають повёрку фактами, нежели выводы, предлагаемые гегелевою философіею, и что мыслящій челов'якъ ничего иного, кромъ этихъ понятій, не можеть вывести изъ жизни. Дъятели умственнаго міра раздёляются на два класса; однимъ истина не-

пріятна, если она прежде ихъ высказана кѣмъ-нибудь другимъ,они готовы брать привилегію на свои мысли, въроятно, по сознанію того, что производительность ихъ въ этомъ отношеніи слаба,другіе заботятся только объ истинів, не считая нужнымь заботиться о привилегіяхъ, -- въроятно, потому, что чужды опасенія оскудьть умомъ и обеднеть мыслями, одни не любять отказываться отъ своихъ ошибокъ, -- въроятно, по сознанію того, что всь ихъ претензін-самолюбивая ошибка; другіе чужды этой щепетильности, потому что истина всегда лежала въ основаніи ихъ стремленій. Велинскій принадлежаль ко вторымь. Онъ при первомъ же случав, съ обычною своею прямотою признался, что Петербургъ научиль его ценить воззрёнія на действительность, о которыхъ прежде онъ не хотель знать, и что въ техь вопросахь о которыхъ шли некогда споры, правда была на стороне людей, отвергавшихъ выводы гегелевой системы, какъ несообразные съ фактами дъйствительной жизни.

Такимъ образомъ, исчезли причины раздёленія, еще незадолго до того времени бывшія препятствіемъ дружному дійствованію лучшихъ людей молодаго поколънія. Одни, прежде не обращавшіе вниманія на німецкую философію, сділались теперь ревностными последователями ея, найдя въ ея принципахъ твердое основание для убіжденій, которые были пріобрітены изученіемъ новой исторін и современнаго быта. Представитель другаго направленія вт литературномъ движеніи, Бълинскій, былъ приведенъ наблюденіемъ дъйствительности къ различению справедливыхъ началъ гегелевой философіи отъ ея одностороннихъ выводовъ, увидёлъ чрезвычайную важность тёхъ вопросовъ, на которые въ кругу Станкевича обращали слишкомъ мало вниманія, и удержалъ изъ гегелевой системы только тѣ убѣжденія, которыя выдержали повѣрку живыми явленіями дъйствительности. Всь даровитьйшіе изъ бывшаго круга Станкевича последовали за нимъ, если не вышли на ту же дорогу самостоятельно *). Односторонность обоихъ направленій совершенно сгладилась,

^{*)} Читатель понимаеть, что, говоря здёсь исключительно о литературномъ движеніи, мы не имбемъ права упоминать о людяхъ иначе, какъ по отношеніямъ ихъ къ литературів. Безъ сомивнія, въ тогдашнемъ русскомъ обществі на различныхъ поприщахъ діятельности было много людей, замівчательныхъ не менте Бълинскаго; положимъ, что были такіе люди и въ

При такомъ единствъ понятій и стремленій, должны были сблизиться и люди. Около этого времени возвратился изъ-за границы Грановскій. Чѣмъ Станкевичъ быль для своего круга, тѣмъ онъ сталъ равно для друзей Станкевича и г. Огарева. Грановскаго невозможно было не полюбить всею душою каждому благородному человѣку. Все, что было въ Москвѣ благороднѣйшаго между людьми молодаго поколѣнія, соединилось вокругъ него. Гдѣ былъ Грановскій тамъ могло быть только одно чувство—чувство братства. Номощникомъ его въ этомъ дѣлѣ былъ г. Огаревъ. Скоро ихъ вліянію подчинились и тѣ, которые жили въ Петербургѣ и провинціяхъ.

Вліяніемъ Грановскаго, Бёлинскаго и другихъ присоединились къ ихъ литературному кругу почти всё даровитые люди молодаго поколенія, уже действовавшіе въ литературе или выступавшіе на этотъ путь.

Такимъ образомъ, изъ прежнихъ дружескихъ круговъ Станкевича и г. Огарева, съ присоединениемъ новыхъ деятелей, составилось одно большое литературное общество, главнымъ дрганомъ котораго въ литературъ, до начала нашего журнала, были «Отечественныя Заински» (съ 1840, особенно 1841 до 1846 года); главнымъ лъйствователемъ въ «Отечественныхъ Запискахъ» того времени быль Бълинскій. Съ нимъ достойнымъ образомъ раздёляли съ самаго начала честь быть распространителями новыхъ и здравыхъ идей въ русской публикъ нъкоторые другіе люди, о которыхъ мы отчасти уже упомянули, отчасти надбемся сказать, -- именно, кромъ Грановскаго, г. Галаховъ, г. Катковъ, г. Кетчеръ, г. Коршъ, г. Кудрявцевъ, г. Огаревъ и другіе. Станкевичъ умеръ еще до начала этого сліянія, Ключниковъ и Кольцовъ пережили Станкевича лишь немногими годами, какъ и Лермонтовъ, который самостоятельными симпатіями своими принадлежаль новому направленію, и только потому, что последнее время своей жизни провель на Кавказе, не могъ раздълять дружескихъ бесъдъ Бълинскаго и его друзей. Потери эти были вознаграждены присоединениемъ новыхъ людей, которые или примкнули къ Вълинскому, Грановскому, г. Огареву, или были воспитаны ихъ вліяніемъ. Изъ нихъ надобно назвать, между про-

кругу Станкевича. Но читатель согласится, что мы можемъ называть представителемъ этого круга только Вёлинскаго. Мы вовсе не имѣемъ охоты возвышать Бёлинскаго насчетъ кого бы то ни было—онъ въ томъ вовсе не нуждается—а только излагаемъ его литературную дѣятельность.

чимъ, г. Анненкова, г. Григоровича, г. Кавелина, покойныхъ Кронеберга и В. Милютина, г. Некрасова, г. Панаева и г. Тургенева. Болье или менье примыкали къ тому же кругу или воспитывались вліяніемъ Бълинскаго или Грановскаго почти вст безъ исключенія даровитые люди новаго покольнія. Г. Краевскій, какъ редакторъ журнала, служившаго органомъ дъятельности Бълинскаго, Грановскаго, г. Огарева и ихъ друзей, занялъ очень почетное мъсто въ русской литературъ, которая, мы съ удовольствіемъ можемъ сказать это, многимъ обязана ему была въ это время, за то, что онъ предоставилъ Бълинскому въ своемъ журналъ положеніе сообразное, въ литературномъ отношеніи, съ преобладающею важностью этого лица для журнала.

Около того же самаго времени, когда произошло у насъ соединеніе одностороннихъ направленій въ одну общую, всеобъемлющую систему воззрѣній, подобное явленіе происходило и въ Европѣ. Нфмецкіе ученые начали сознавать, что жизнь имфеть свои права не только надъ дъятельностью, но и надъ наукою; французскіе ученые и литераторы стали понимать необходимость глубоко изследовать общія нонятія, о которыхъ до того времени мало заботились. Въ той и другой страни прежнія одностороннія ученія стали уступать мъсто новымъ идеямъ, которыя уже не принадлежали исключительно тому или другому народу, а равно были собственностью каждаго истинно-современнаго человъка, въ какой бы странъ онъ ни родился, на какомъ бы языкт ни писалъ. Такое направление умовъ во всёхъ странахъ образованнаго міра къ одинаковымъ возэрвніямъ на всв существенные вопросы служило сильною поддержкою единства стремленій у всёхъ истинно современныхъ людей въ каждой странь. Такъ и у насъ, изученіемъ новыхъ явленій, возникавшихъ въ умственной жизни главныхъ народовъ западной Европы, и при всемъ различіи своего происхожденія и формы, проникнутыхъ совершенно однимъ и темъ же духомъ, укреилялось единство понятій, которыми связывались люди съ современнымъ образомъ мыслей.

Но единство понятій и людей у насъ только укрыплялось, а не рождено было внышними вліяніями. Д'ятели, стоявшіе тогда во глав'я нашего умственнаго движенія, конечно, ободрялись тымь, что согласіе съ ними всёхъ современныхъ мыслителей Европы подтверждало справедливость ихъ понятій; но эти люди уже не за-

висёли ни отъ какихъ постороннихъ авторитетовъ въ своихъ понятіяхъ. Мы уже говорили, что тотъ прогрессъ въ понятіяхъ, который сгладилъ прежнюю разрозненность, совершился у насъ самостоятельнымъ образомъ. Тутъ въ первый разъ умственная жизнь нашего отечества произвела людей, которые шли на ряду съ мыслителями Европы, а не въ свитъ ихъ учениковъ, какъ бывало прежде. Прежде каждый у насъ имълъ между европейскими писателями оракула или оракуловъ; одни находили ихъ во французской, другіе—въ нъмецкой литературъ. Съ того времени, какъ представители нашего умственнаго движенія самостоятельно подвергли критикъ гегелеву систему, оно уже не подчинялось никакому чужому авторитету.

Бѣлинскій и главнѣйшіе изъ его сподвижниковъ стали людьми вполнѣ самостоятельными въ умственномъ отношеніп.

Этотъ фактъ — самостоятельность, которой достигла русская мысль въ Белинскомъ и главныхъ его сподвижникахъ, интересенъ не потому только, что пріятенъ для нашей народной гордости: онъ важенъ въ исторіи нашихъ литературныхъ мнёній потому, что имъ объясняются некоторыя отличительныя качества трудовъ Белинскаго и его союзниковъ, — качества, которыхъ прежде не имёла наша критика; имъ отчасти объясняется и быстрое распространеніе литературныхъ мнёній Белинскаго въ нашей публикъ.

Человекъ, мысль котораго достигла самостоятельности, определительностью своихъ понятій и вёрностью ихъ приложенія всегда превосходить тёхъ людей, которые слёдують чужимъ понятіямъ, не будучи въ состоянии подвергнуть критикъ принципы, которыхъ держатся. До Бълинскаго наша критика была отраженіемъ то французскихъ; то немецкихъ теорій, потому вовсе не имела ясности и определительности въ своихъ основныхъ воззренияхъ, а при оценке существеннаго смысла и достоинства литературныхъ явленій, если высказывала много вернаго, то почти всегда или оставляла многое недосказаннымъ, или примъщивала къ върнымъ замъчаніямъ странныя недоразумёнія. Вообще, мнёнія лучшихъ критиковъ, предшествовавшихъ Велинскому, очень скоро, втечение какихъ нибудь пяти-шести лётъ, оказывались устаръвшими, неосновательными или односторонними. Такъ, «Телеграфъ» быль основанъ въ 1825 году, а въ 1829 году человъкъ, читавшій статьи Надеждина въ «Въстникъ Европы», уже не могъ безъ улыбки думать о «высшихъ взгля-

дахъ» Полеваго, не могъ не убъдиться, что Полевой слишкомъ неудовлетворительно понималь значение важнъйшихъ явлений въ современной ему русской литературь. Сужденія самого Надеждина представляютъ странный хаосъ, ужасную смёсь чрезвычайно вёрныхъ и умныхъ замъчаній съ мнініями, которыхъ невозможно защищать, такъ что часто одна половина статьи разрушается другою половиною. Напротивъ, сужденія Белинскаго до сихъ поръ сохраняють всю свою цену, и верность ихъ вообще такова, что люди, возстававние противъ него, почти всегда правы были только въ томъ, что заимствовали у него же самого. Въ носледние годы, у насъ много говорили о неудовлетворительности понятій Білинскаго; въ числѣ этихъ эпигоновъ, воображавшихъ, что пошли дале Бълинскаго, были люди умные и даровитые; но нужно только сличить ихъ статьи съ статьями Белинскаго, и каждый убедится, что все эти люди живутъ только твмъ, чего наслушались отъ Белинскаго: они толкують вёчно только о томъ же самомъ, что говориль Бёлинскій, и если толкують иначе, такъ это потому, что вдаются или въ односторонность, или въ очевидное пристрастіе. Со времени Бълинскаго матеріалы для исторіи литературы діятельно разрабатываются; но вообще каждое новое изследование ведеть только къ новому подтвержденію сужденій, высказанныхъ имъ.

Самостоятельность его мысли была также одною изъ главныхъ причинъ сочувствія, съ которымъ принимались его мненія. Слабая сторона людей, повторяющихъ чужія мысли, состоитъ въ томъ, что большею частію они толкують о предметахъ не возбуждающихъ интереса въ публикъ. Правда всегда правда, но не всякая правда вездъ и всегда равно важна и равно способна возбудить вниманіе: у каждаго віка, у каждаго народа есть свои потребности; то, что интересно немцу, часто бываетъ вовсе не интересно французу или русскому, потому что не имбеть прямаго отношенія къ потребностямъ его жизни. Надобно говорить о томъ, что нужно нашей публикъ въ наше время. Прежде, наша литература слишкомъ часто говорила о предметахъ, имфющихъ для насъ слишкомъ мало интереса, служа не столько выразительницею нашихъ собственныхъ мыслей, не столько разр'вшительницею нашихъ собственныхъ недоум'вній, сколько отголоскомъ чужихъ сужденій о чуждыхъ намъ ділахъ. Бълинскій всегда говориль о томь, что слышать нужно и интересно было именно той публикъ, которой онъ говорилъ.

Въ слѣдующей главѣ намъ должно будетъ пзлагать его дѣятельность въ порѣ зрѣлаго развитія. Характеризуя литературныя воззрѣнія Бѣлинскаго, мы будемъ обращать главное наше вниманіе на его позднѣйшія статьи, потому что до самой смерти своей этотъ человѣкъ шелъ впередъ, и чѣмъ далѣе, тѣмъ полнѣе и точнѣе выражались его мысли; и, конечно, мы должны будемъ принимать въ основаніе своихъ соображеній самое зрѣлое ихъ выраженіе. Но прежде намъ остается обозначить путь, которымъ шло развитіе его воззрѣній съ того времени, какъ начали появляться его статьи въ «Отечественныхъ Запискахъ», до той высоты, на которой застигнутъ онъ былъ смертью. Въ нѣсколькихъ словахъ, существеннѣйшая черта развитія критики Бѣлинскаго съ 1840 года можетъ быть опредѣлена такъ:

Критика Бёлинскаго все болёе и болёе проникалась живыми интересами нашей жизни, все лучше и лучше постигала явленія этой жизни, все рёшительнёе и рёшительнёе стремилась къ тому, чтобы объяснить публике значеніе литературы для жизни, а литературё тё отношенія, въ которыхъ она должна стоять къ жизни, какъ одна изъ главныхъ силъ, управляющихъ ея развитіемъ.

Съ каждымъ годомъ въ статьяхъ Единскаго мы находимъ все менте и менте разсужденій объ отвлеченныхъ предметахъ или хотя о живыхъ предметахъ, но съ отвлеченной точки зртнія; все решительнте и решительнте становится преобладаніе элементовъ, данныхъ жизнью.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Путь развитія, которымъ шла критика Бѣлинскаго въ «Отечественныхъ Запискахъ» и «Современникѣ», опредѣляется тою существенною чертою, что она все болѣе и болѣе проникалась живыми интересами нашей дѣйствительности и вслѣдствіе того становилась все болѣе и болѣе положительною. Въ примѣчаніи мы приводимъ нѣсколько мѣстъ изъ послѣднихъ статей Бѣлинскаго, выражающихъ самыя зрѣлыя и точныя понятія его о томъ, какую преобладающую важность должна имѣть дѣйствительность въ умственной и нравственной жизни, главнымъ органомъ которой до послѣдняго времени была (и до сихъ поръ остается) у насъ литература, а здѣсь скажемъ нѣсколько о томъ, какъ надобно понимать «дѣйствительность» и «положительность», которымъ, по современнымъ понятіямъ, должно принадлежать такое важное значеніе во всѣхъ отрасляхъ и умственной и нравственной дѣятельности *).

^{*) «}Если бы насъ спросили, въ чемъ состоитъ отличительный характеръ современной русской литературы, мы отвъчали бы: въ болье и въ болье тъсномъ сближени съ жизнью, съ дъйствительностью, въ большей и большей близости къ зрълости и возмужалости». («Взглядъ на русскую литературу въ 1846 г.». «Современникъ» 1847 г., № 1, Критика, стр. 1).—Итакъ, зрълость измъряется степенью близости къ дъйствительности.

[«]Все движеніе русской литературы (до Пушкина) заключалось въ стремленіи сблизиться съ жизнью, съ дъйствительностью". (Тамъ же, стр. 4).— Итакъ, цъль литературнаго движенія есть дъйствительность.

[«]Въ отношени къ искусству, позги, творчеству литература наша всего ближе къ той зрёлости и возмужалости, рёчью о которыхъ начали мы эту статью. Такъ называемую натуральную школу нельзя упрекнуть въ реторикъ, разумън подъ этимъ словомъ вольное или невольное искажение дъйствительности, фальшивое иделизирование жизни... Пе въ талантахъ, не въ

«Понятіе о д'вйствительности совершенно новое», — говоритъ Б'єлинскій («Современникъ» 1847 г., № 1. Критика, стр. 18), — и, въ самомъ дѣлѣ, оно опредѣлилось и вошло въ науку опять недавно, именно съ того времени, какъ объяснены были современными намъ мыслителями темные намеки трансцендентальной философіи, признававшей истину только въ конкретномъ осуществленіи. Какъ и всѣ верховныя истины современной науки, этотъ взглядъ на дѣйствительность очень простъ, но чрезвычайно плодотворенъ.

Были времена, когда мечты фантазіи ставились гораздо выше того, что представляеть жизнь, и когда сила фантазіи считалась безпредёльною. Но современные мыслители внимательное прежняго размотрёли этоть вопрось и дошли до результатовь, совершенно противоположных прежнимь мнаніямь, которыя оказались рашительно не выдерживающими критики. Сила нашей фантазіи чрезвычайно ограничена, и созданія ея очень бладны и слабы въ сравненіи съ тамь, что представляеть дайствительность. Самое пылкое воображеніе подавляется представленіемь о милліонахымиль, отдаляющихь землю оть солнца, о чрезвычайной быстрота свата и электрическаго тока; самыя идеальныя фигуры Рафаэля оказались портретами съ живыхь людей; самыя уродливыя созданія миеологіи и народныхь суеварій оказались далеко не столь

писле ихъ мы видимъ собственно прогрессъ литературы, а въ ихъ направлени, ихъ манере писать. Таланты были всегда, но прежде они украшали природу, идеализировали действительность, т. е. изображали несуществующее, разсказывали о небываломъ; а теперь они воспроизводятъ жизнь и действительность въ ихъ истинъ. Отъ этого литература получила важное значене въ глазахъ общества». (Тамъ же, стр. 10).—Итакъ, положительности противно фальшивое идеализированіе; искусство достигаетъ зрёлости тогда, когда воспроизводитъ жизнь и действительность въ ихъ истинъ.

«Вмѣсто того, чтобы думать о невозможномъ, гораздо лучше, признавъ неотразимую и неизмѣнную (т. е. не подчиняющуюся фантазіям») дѣйствительность существующаго, дѣйствовать на его основаніи, руководясь разумомъ и здравымъ смысломъ, а не маниловскими фантазіями». (Тамъ же, стр. 14).

«Важность теоретических» вопросовь зависить отъ ихъ отношеній къ дъйствительности... У себя, въ себь, вокругь себя—вотъ гдъ мы должны искать и вопросовъ, и ихъ ръшенія. Это направленіе будеть плодотворно». (Тамъ же, стр. 28).

«Жаль, что источникъ вдохновенія этого таланта (одного изт поэтовт, котораю стихотворенія были изданы вт 1846 г.) не живнь, а мечта, и что понепохожими на окружающихъ насъ животныхъ, какъ чудовища, открытыя естествоиспытателями; исторіею и внимательнымъ наблюденіемъ современнаго быта доказано было, что живые люди, даже вовсе не принадлежащіе къ числу отъявленныхъ изверговъ или героевъ добродѣтели, совершаютъ преступленія, гораздо ужаснѣйшія, и подвиги, гораздо болѣе возвышенные, нежели все, что было выдумано поэтами. Фантазія должна была смириться передъ дѣйствительностію; мало того: принуждена была сознаться, что мнимыя созданія ея только копіи съ того, что представляется явленіями дѣйствительности.

Но явленія дійствительности чрезвычайно разнородны и разнообразны. Она представляеть много такого, что сообразно съ желаніями потребностями человіка, и много такого, что рішительно противорічить имъ. Прежде, когда пренебрегали дійствительностью, слишкомъ гордясь фантастическими богатствами, полагали, что передівлать дійствительность по фантастическимъ мечтамъ очень легко. Но, когда фантастическая гордость смирилась, ученые и поэты должны были уб'єдиться въ томъ, что всегда было ясно въ практической жизни для людей, одаренныхъ здравымъ смысломъ. Самъ но себ'є, челов'єкъ очень слабъ; всю свою силу заимствуеть онъ

этому опъ не имѣетъ никакого отношенія къ жизни и бѣденъ повзіею... На высотѣ, куда ему такъ хочется, и пусто, и холодно, и пѣтъ воздуха для дыханія. То ли дѣло земля! па ней намъ и свѣтло и тепло, на ней все наше и понятно намъ, па ней наша жизнь и наша поззія. За то кто отворачивается отъ нея, не умѣя понимать ее, тотъ не можетъ быть поэтомъ и можетъ ловить въ холодной пустотѣ однѣ холодныя и пустыя фразы». (Тамъже, стр. 31).

«Литература наша... постоянно стремилась изъ реторической сдълаться естественною, натуральною. Это стремленіе, ознаменованное замѣтными и постоянными успъхами, и составляеть смыслъ и душу исторіи нашей литературы. И мы не обинуясь скажемъ, что ни въ одномъ русскомъ писателѣ это стремленіе не достигло такого успѣха, какъ въ Гоголѣ. Это могло совершиться только черезъ исключительное обращеніе искусства къ дѣйствительности, помимо всякихъ идеаловъ. Это великая заслуга со стороны Гоголя, этимъ онъ совершенно измѣнилъ взглядъ на самое искусство. Къ сочиненіямъ каждаго изъ (прежнихъ) русскихъ поэтовъ можно, хотя и съ натяжкою, приложить старое и ветхое опредѣленіе поэзіп, какъ «украшенной природы»; но въ отношеніи къ сочиненіямъ Гоголя этого уже невозможно сдѣлать. Къ нимъ идетъ другое опредѣленіе искусства—какъ воспроизведеніе дѣйствительности во всей ен истинѣ». («Взгзядъ на русскую литературу 1847 г.»—«Современникъ» 1848 г., № 1. Критика, стр. 17).

только отъ знанія д'віствительной жизни и ум'вны пользоваться силами неразумной природы и врожденными, независимыми отъ челов'єка качествами челов'єческой натуры. Д'віствуя сообразно съ законами природы и души и при помощи ихъ, челов'єкъ можетъ постепенно видоизм'єнять тіз явленія д'віствительности, которыя несообразны съ его стремленіями, и, такимъ образомъ, постепенно достигать очень значительныхъ уситховъ въ д'єл'є улучшенія своей жизни и исполненія своихъ желаній.

Но не всякія желанія находять себѣ пособіе въ дѣйствительности. Многія противорѣчатъ законамъ природы и человѣческой натуры; ни философскаго камня, который бы обращаль всѣ металы въ золото, ни жизненнаго эликсира, который бы на вѣки сохранялъ намъ юность, невозможно добыть изъ природы; напрасны и всѣ наши требованія, чтобы люди отказались отъ эгоизма, отъ страстей: человѣческая натура не подчиняется такимъ, повидимому, превосходнымъ требованіямъ.

Это обстоятельство, полагающее очевидную разницу между нашими желаніями, заставило пристальнье всмотрыться въ тъ изъ нихъ, достижению которыхъ отказываются служить природа и люди съ здравымъ смысломъ — въ самомъ ли дёлё необходимо для человѣка исполненіе такихъ желаній? Очевидно, нѣтъ, потому что онъ, какъ мы видимъ, и живетъ и даже, при благопріятныхъ обстоятельствахъ, бываетъ очень счастливъ, не обладая ни философскимъ камнемъ, ни жизненнымъ эликсиромъ, ни теми очаровательными благами и качествами, какими манить его волшебство фантазін, заносящейся за облака. А если человікь можеть обходиться, какъ показываетъ жизнь, безъ этихъ благъ, которыя выставляются фантазіею, будто необходимыя для него, — если обнаружилось уже, что она обманула человека въ отношении необходимости, то нельзя было не заподозрить ея и съ другой стороны: дъйствительно-ли пріятно было бы челов'єку исполненіе тіхть мечтаній, которыя противорвчать законамъ внашней природы и его собственной натуры? и при внимательномъ наблюдении оказалось, что исполненіе такихъ желаній не вело бы ни къ чему, кром'є недовольства или мученій; оказалось, что все ненатуральное вредно и тяжело для человъка, и что нравственно здоровый человъкъ, инстинктивно чувствуя это, вовсе не желаеть въ дъйствительности осуществленія тіхть мечтаній, которыми забавляется праздная фантазія.

Какъ найдено было, что мечты фантазіи не имѣютъ цѣнности для жизни, точно также найдено было, что не имѣютъ значенія для жизни многія надежды, внушаемыя фантазіею.

Прочное наслаждение дается человѣку только дѣйствительностью; серьезное значение имѣютъ только тѣ желанія, которыя основаніемъ своимъ имѣютъ дѣйствительность; усиѣха можно ожидать только въ тѣхъ надеждахъ, которыя возбуждаются дѣйствительностью, и только въ тѣхъ дѣлахъ, которыя совершаются при помощи силъ и обстоятельствъ, представляемыхъ ею.

Достичь до такого уб'єжденія и д'єйствовать сообразно съ нимъ значитъ сд'єлаться челов'єкомъ положительнымъ.

Но часто тѣ самые, которые воображають себя людьми положительными, заблуждаются въ этомъ высокомъ мнѣніи о себѣ самымъ жестокимъ и постыднымъ образомъ, впадая въ особеннаго рода фантазёрство именно по узкости своихъ понятій о дѣйствительности.

Напримъръ, несправедливо было бы считать положительнымъ челов комъ холоднаго эгоиста. Любовь и доброжелательство (способность радоваться счастію окружающих в насъ людей и огорчаться ихъ страданіями) такъ же врождены человѣку, какъ и эгоизмъ. Кто действуеть исключительно по разсчетамъ эгоизма, тотъ действуеть наперекорь человёческой природё, подавляеть въ себё врожденныя и неискоренимыя потребности. Онъ въ своемъ родъ такой же фантазеръ, какъ и тотъ, кто мечтаетъ о заоблачныхъ самоотверженіяхъ; разница только въ томъ, что одинъ-злой фантазеръ, другой-приторный фантазеръ, но оба они сходны въ томъ, что счастіе для нихъ недостижимо, что они вредны и для себя и для другихъ. Голодный человекъ, конечно, не можетъ чувствовать себя хорошо; но и сытый человъкъ не чувствуетъ себя хорошо, когда вокругъ него раздаются несносные для человъческаго сердца стоны голодныхъ. Искать счастія въ эгонзмі - ненатурально, н участь эгоиста нимало не завидна: онъ уродъ, а быть уродомъ неудобно и непріятно.

Точно также вовсе нельзя назвать положительнымъ и того человъка, который, понявъ, что силы придаются человъку только дъйствительностью и прочным наслажденія доставляются только

ею, вздумаль бы объявлять, что неть въ действительности такихъ явленій, которыя нужно и возможно человеку изменить, что въ действительности, все пріятно и хорошо для человека, и что онъ совершенно безсилень передъ каждымь фактомь: это опять своего рода фантазерство, столь же нельпое, какъ и мечты о воздушныхъ замкахъ. Равно ошибаются человекъ, который хлопочетъ о заменени обыкновенной здоровой пищи амвросіею и нектаромъ, и тотъ, который утверждаетъ, что всякая пища вкусна и здорова для человека, что въ природе неть ядовитыхъ растеній, что пустыя щи съ лебедою хороши, что невозможно очищать полей отъ камней и бурьяна, чтобы засевать пшеницею, что не должно и певозможно очищать пшеницу оть плевель.

Всв эти люди — одинаковы фантазеры, потому что одинаково увлекаются одностороннею крайностью, одинаково отвергають очевидлые факты, одинаково хотять нарушать законы природы и человической жизни. Неронь, Калигула, Тиверій были такъ же близки къ сумасшествію, какъ рыцарь Тоггенбургъ и индейскій факиръ. Вителлій, который объёдался до того, что каждый день долженъ быль прибъгать къ номощи рвотнаго, теривлъ отъ желудка не меньше мученій, нежели терпить человікь, не иміющій сытнаго объда. Развратникъ точно такъ же лишенъ лучшихъ наслажденій жизни, какъ и кастратъ. Положительнаго въ жизни всехъ этихъ людей очень мало. Положителенъ только тоть, кто хочеть быть внолнъ челов вкомъ: заботясь о собственномъ благосостоянии, любитъ и другихъ людей (потому что одинокаго счастья нътъ); отказываясь отъ мечтаній, несообразныхъ съ законами природы, не отказывается оть полезной двятельности; находя многое въ дъйствительности прекраснымъ, не отрицаетъ также, что многое въ ней дурно, и стремится, при номощи благопріятных челов ку силь и обстоятельствъ, бороться противъ того, что неблагопріятно человіческому счастью. Положительнымъ человъкомъ въ истинномъ смыслъ слова можеть быть только человакь любящій и благородный. Въ комъ оть природы нъть любви и благородства, тотъ жалкій уродъ, шекспировъ Калибанъ, недостойный имени человъческаго, -- но такихъ людей очень мало, можетъ быть, вовсе нътъ; въ комъ обстоятельства убивають любовь и благородство, тоть человекь жалкій, несчастный, нравственно больной; кто преднамфренно подавляеть



въ себъ эти чувства, тотъ фантазеръ, чуждый положительности и противоръчащій законамъ дъйствительной жизни.

По отверженіи фантазерства, требованія и надежды челов'єка дълаются очень умфренными; онъ становится снисходителенъ и отличается тернимостью, потому что излишняя взыскательность и фанатизмъ-порожденія бользненной фантазіи. Но изъ этого вовсе не следуеть, чтобы ноложительность ослабляла силу чувства и энергію требованій, -- напротивъ, тѣ чувства и требованія, которыя вызываются и поддерживаются действительностью, гораздо сильные всыхъ фантастическихъ стремленій и надеждъ: человыкъ, мечтающій о воздушныхъ замкахъ, и въ сотую долю не такъ сильно занять своими слишкомъ радужными мечтами, какъ человѣкъ, заботящійся о постройк' для себя скромнаго (лишь бы только уютнаго) домика, занять мыслью объ этомъ домикв. О томъ ужь нечего и говорить, что мечтатель обыкновенно проводить время лежа на боку; а человъкъ, одущевленный разсудительнымъ желаніемъ, трудится безъ отдыха для его осуществленія. Чёмъ дёйствительнёе и положительные стремленія человыка, тымь энергичные борется онъ съ обстоятельствами, препятствующими ихъ осуществленію. И любовь и ненависть даются и возбуждаются въ высшей степени тъми предметами, которые принадлежатъ къ области дъйствительной жизни. Фантастическая Елена, при всей своей невообразимой красоть, не возбуждаеть въ здоровомъ человькь и слабой тыни того чувства, которое возбуждается действительною женщиною, даже не принадлежащею къ числу блистательныхъ красавицъ. Съ другой стороны, зверства каннибаловъ, о которыхъ мы, къ счастію, знаемъ только по слухамъ, далеко не въ такой степени волнують насъ, какъ довольно невинные въ сравненіи съ ними подвиги Сквозниковъ-Дмухановскихъ и Чичиковыхъ, совершаемые въ нашихъ глазахъ.

Бѣлинскій быль человѣкъ сильный и рѣшительный; онъ говориль очень энергически, съ чрезвычайнымъ одушевленіемъ, но нелѣною ошибкою было бы называть его, какъ то дѣлали, бывало, иные, человѣкомъ неумѣреннымъ въ требованіяхъ или надеждахъ. Тѣ и другія имѣли у него основаніе въ потребностяхъ и обстоятельствахъ нашей дѣятельности, потому, при всей своей силѣ, были очень умѣренны. Насъ здѣсь занимаетъ русская литература, потому будемъ говорить о ней. Бѣлинскій восхищался «Ревизоромъ» и

«Мертвыми Душами». Подумаемъ хорошенько, могь ли бы восхищаться этими произведеніями человікь неуміренный въ своихъ желаніяхь? Неужели, въ самомъ дёль, сарказмъ Гоголя не знаетъ никакихъ границъ? Напротивъ, стоитъ вспомнить хотя о Диккенсъ, не говоря уже о французскихъ писателяхъ прошлаго въка, и мы должны будемъ признаться, что сарказмъ Гоголя очень скроменъ и ограниченъ. Бълинскій желалъ развитія нашей литературъ, -- но какими предълами ограничивались его требованія и надежды? Требовалъ ли онъ, чтобъ наша литература при нашихъ глазахъ стала такъ же глубока и богата, какъ напримъръ, современная французская или англійская (хотя и та и другая далеки отъ совершенства)? Вовсе нътъ: онъ прямо говорилъ, что въ настоящее время нечего объ этомъ думать, какъ о вещи невозможной; очень хорошо, по его мивнію, было ужь и то, что наша литература становится сколько нибудь похожа въ самомъ деле на литературу; успъхи, ею совершаемые, были, по его мивнію, очень быстры и похвальны; онъ постоянно радовался этой быстроть нашего развитія, а вёдь, по правдё говоря, быстрота эта была таки довольно медленная: и въ 1846 и 1856 году мы еще далеки отъ этой «зрвлости», къ которой стремимся. Да, Велинскій быль человекь очень терпаливый и умаренный. Примаровь тому можно найти множество: они на каждой страницъ его статей. Напрасно также было бы воображать его критикомъ слишкомъ строгимъ; напротивъ, онъ быль очень снисходителень. Правда, онъ быль одарень чрезвычайно върнымъ и тонкимъ вкусомъ, не могъ не замъчать недостатковъ и высказывалъ о нихъ свое мивне оезъ всякихъ пустыхъ прикрасъ; но если хотя какое нибудь положительное достоинство находилось въ разбираемомъ произведении, онъ готовъ былъ за это достоинство извинять ему всв недостатки, для которыхъ существуеть хотя какое нибудь извинение. Едва ли у кого изъ русскихъ критиковъ было и столько терпимости къ чужимъ мивніямъ, какъ у него: лишь бы только убъжденія не были совершенно нельны, онъ всегда говориль о нихъ съ уважениемъ, какъ бы ни разнились они отъ его собственныхъ убъжденій. Примъровъ тому множество. Укажемъ на одинъ, о которомъ придется намъ говорить-на полемику его съ славянофилами, въ которой со стороны Вълинскаго постоянно было гораздо больше доброжелательства, нежели со стороны его противниковъ. Онъ даже виделъ утешитель-

ное явленіе въ томъ, что число приверженцевь этой школы увеличивается. (Бълинскій, вирочемъ, ошибся въ этомъ случать: нынъ оказалось, что славянофильство лишено способности привлекать послёдователей). Точно также онъ съ полною готовностью признавалъ всй достоинства произведеній словесности, которыя были написаны не въ томъ духв, какой казался ему сообразнъйшимъ съ потребностью нашей литературы, лишь бы только эти произведенія имѣли положительное достоинство. Для примѣра, напомнимъ его отзывъ о романъ г. Гончарова «Обыкновенная Исторія». Въ приложеніи къ настоящей стать мы поместили отрывокь изъ последняго обзора русской литературы, написаннаго Бѣлинскимъ. Онъ приномнить читателямь, что Бълинскій не признаваль «чистаго искусства» и поставлялъ обязанностью искусства служение интересамъ жизни. А, между твмъ, онъ въ томъ же самомъ разборв съ равнымъ благорасположениемъ говоритъ о романъ г. Гончарова, въ которомъ видитъ исключительное стремленіе къ такъ называемому чистому искусству, и о другомъ романъ, явившемся около того времени, написанномъ въ духъ, который наиболье правился Бълинскому; онъ даже болве снисходителенъ къ «Обыкновенной Исторіи». Можно также припомнить, съ какимъ чрезвычайнымъ сочувствіемъ говорилъ всегда Балинскій о Пушкина, хотя совершенно не раздёляль его понятій. Но безполезно увеличивать число этихъ примёровъ, которыхъ множество представляется каждому, сохранившему отчетливое воспоминание о статьяхъ Бѣлинскаго.

Митне, будто бы Бтлинскій не быль очень умтрень въ своихъ понятіяхъ или сурово преследоваль всякій образъ мыслей, несогласный съ его собственнымъ ртшительно несправедливо. Въ этомъ каждому легко убтдиться, просмотртвъ нтсколько его статей. Фанатиковъ у насъ въ литературт было довольно много; но Бтлинскій не только не имтл никакого сходства съ ними, а, напротивъ, постоянно велъ съ ними самую упорную борьбу, какого бы цвта ни быль ихъ фанатизмъ, къ какой бы партіи ни принадлежали они,—даже фанатиковъ такъ называемой «тенденціи» онъ осуждалъ такъ же строго, какъ и фанатиковъ противоположнаго направленія *).

^{*)} Мы говоримъ объ умъренности Бълинскаго не для того, чтобы хвалить или осуждать его, а просто потому, что умъренность эта фактъ, очень важный и неоспоримый, а между тъмъ, слишкомъ часто опускаемый изъвиду при сужденияхъ о Бълинскомъ.

Отчего же могло возникнуть мивніе, будто Белинскій не быль человекомь очень умеренныхь мыслей о нашей литературе и связанныхь съ нею вопросахь, между темь, какъ чтеніе его статей неопровержимо убедить каждаго, что онь понималь вещи не иначе какъ ихъ вообще понимають почти всё здравомыслящія люди въ наше время? Туть надобно многое приписать неосновательнымь обвиненіямь, какія взводились на него личными его противниками, которыхь самолюбіе было оскорблено его критикою: его называли они человекомь неумереннымь по темь же самымь побужденіямь и точно съ такою же основательностью, какъ и твердили о немь, будто бы онь нападаль на старыхь нашихь писателей, тогда какъ, напротивь, онь возстановляль ихъ, славу. Но этими личными и мелочными разсчетами нельзя ограничить поводовъ, по которымь возникло мивніе, признаваемое нами несправедливымь.

Требованія Бѣлинскаго были очень умѣренны, но тверды и последовательны, высказывались съ одушевлениемъ, энергически. Нетъ надобности говорить, что самыя рёзкія сужденія могуть быть прикрываемы цвътистыми фразами. Вълинскій, человъкъ прямаго и рвшительнаго характера, пренебрегаль этою хитростью. Онъ писаль такъ, какъ думалъ, заботясь только о правде и употребляя именно тъ слова, которыя точнъе выражали его мысль. Дурное онъ прямо называлъ дурнымъ, не прикрывая своего сужденія дипломатическими оговорками и двусмысленными намеками. Потому людямъ. которымъ всякое правдивое кажется жесткимъ, какъ бы ни было оно умъренно, мивнія Вълинскаго казались ръзкими: что делать многіе прямоту считають всегда різкостью. Но ті, которые понимають смысль читаемаго, очень хорошо всегда понимали, что желанія и надежды Бълинскаго были очень скромны. Вообще, онъ не требоваль ничего такого, что не казалось бы совершенною необходимостью для каждаго человека съ развитымъ умомъ. Этимъ и объясняется сильное сочувствие ему въ публикѣ, которая у насъ вообще очень 'скромна въ своихъ желаніяхъ.

Въ спорахъ съ противниками Бълинскій не имъть привычки уступать, и въ полемикъ, которую онъ велъ, не было ни одного случая, когда споръ не кончался бы совершеннымъ пораженіемъ противника во всъхъ пунктахъ; ни одинъ литературный споръ не оканчивался безъ того, чтобы противникъ Бълинскаго не терялъ совершенно уваженія лучшей части публики. Но должно только

припомнить, съ какими мнвніями вель онъ борьбу, и надобно будеть признаться, что иначе споръ не могь кончаться. Бълинскій спориль только противъ мивній, цоложительно вредныхъ и рішительно ошибочныхъ: нельзя указать ни одного случая, когда бы онь считаль нужнымь возставать противь убъжденій, которыя были безвредны или не нелѣны. Стало быть, вовсе не онъ, а его противники были виноваты въ томъ, если полемика (обыкновенно начинаемая не Белинскимъ) кончалась совершеннымъ ихъ пораженіемъ: зачемъ они защищали мивнія, которыхъ невозможно защищать и не должно защищать? Зачемъ они возставали противъ очевидныхъ истинъ? зачемъ они литературные вопросы такъ часто старались переносить въ область юридическихъ обвиненій? Всв случан, когда Вълинскій велъ упорную полемику, подводятся подъ одно опредъленіе: Вѣлинскій говорить, что 2×2=4; его за это обвиняють въ невъжествъ, безвкусіи и неблагонамъренности, намекая, что изъ провозглащаемаго имъ парадокса-парадоксъ состоитъ въ томъ, что 2×2=4-напримфръ, въ томъ, что произведенія Пушкина по художественному достоинству выше произведеній Державина, а «Герой Нашего Времени» выше «Брынскаго Лѣса» или «Симеона Кирдяны», что изъ этого страшнаго нарадокса произойдутъ самыя нагубныя последствія для русскаго языка, для отечественной литературы, и что-чего добраго!-всему міру грозить смертельная опасность отъ такой неосновательной и злонамфренной выдумки. При защить отъ такихъ нападеній, конечно, невозможно было признавать, что на сторон нападающих в есть хотя какая нибудь частица справедливости. Если бы предметомъ ихъ негодованія выбиралось что нибудь сомнительное, если бы замвчались Ввлинскому какіе нибудь односторонности или недосмотры, дело могло бы быть ведено иначе: Велинскій, соглашаясь или не соглашаясь на зам'вчанія противниковъ, охотно признавался бы, что ихъ слова не совершенно лишены здраваго смысла, что межнія ихъ заслуживають уваженія: когда онъ замечаль свои ошибки, онъ не колебался самъ первый обнаруживать ихъ. Но что оставалось ему дёлать, когда, напримъръ, одинъ изъ его противниковъ возмущался отсутствіемъ всякихъ убъжденій въ статьяхъ Бълинскаго, когда тотъ же самый противникъ утверждалъ, что Белинскій пишетъ самъ не понимая смысла своихъ словъ, — потомъ твердилъ, что Велинскій заимствуетъ у него свои понятія (когда дёло было совершенно наоборотъ, что очевидно каждому при сличеніи стараго «Москвитянина» съ «Отечественными Записками»), — когда другіе возставали на Бълинскаго за мнимое неуважение къ Державину и Карамзину (которыхъ онъ первый оценилъ), и т. д., тутъ, при всей готовности быть уступчивымъ, невозможно было увидеть въ замечаніяхъ противниковъ ни искры правды, и невозможно было не сказать, что они совершенно ошибочны. Таково же бывало положение двла, когда Бълинскій, въ свою очередь, начиналь полемику: могь ли онъ не говорить, что мивнія, противъ которыхъ онъ возстаетъ, совершенно лишены всякаго основанія, когда эти мивнія были такого рода: «Гоголь писатель безъ всякаго таланта, -- лучшее лицо въ «Мертвыхъ Душахъ» кучеръ Чичикова Селифанъ, — гегелева философія заимствована изъ «Зав'вщанія» Владиміра Мономаха, писатели, подобные г. Тургеневу и г. Григоровичу, достойны сожальнія потому, что беруть содержаніе своихъ произведеній не изъ русскаго быта, - Лермонтовъ былъ подражателемъ г. Бенедиктова и плохо владель стихомъ, — романы Диккенса произведенія уродливой бездарности-Пушкинъ былъ плохой писатель, - величайшіе поэты нашего въка Викторъ Гюго и г. Хомяковъ-г. Соловьевъ не имъетъ понятія о русской исторіи — нъмцы должны быть истреблены-VII глава «Евгенія Он'єгина» есть рабское подражаніе одной изъ главъ «Ивана Выжигина»—лучшее произведеніе Гоголя его «Вечера на Хуторъ» (по мнінію однихъ) или «Переписка съ друзьями» (по мижнію другихъ), остальныя же гораздо слабее-Англія погибла около 1827 года, такъ что не осталось и следовъ ен существованія, какъ не осталось следовъ платоновой Атлантиды — Англія единственоое живое государство въ западной Европъ (мнъніе того же писателя, который открыль, что она погибла)-лукавый западъ гність, и мы должны поскорве обновить его мудростью Сковороды — Византія должна быть нашимъ идеаломъ-просвъщение приносить вредъ»-и т. д., и т. д. .-Можно ли найти хотя какую нибудь частицу правды въ такихъ сужденіяхъ? Можно ли дёлать имъ уступки? Возставать противъ нихъ значить ли обнаруживать духъ нетерпимости? Когда одному изъ людей, воображающихъ себя учеными, и пользовавшемуся сильнымъ вліяніемъ въ журпаль, который имъль своею спеціальностью борьбу противъ Бълинскаго и «Отечественныхъ Записокъ», вздумалось утверждать, что Галилей и Ньютонъ поставили астрономію на ложный путь,

неужели можно было бы вести съ нимъ споръ такимъ образомъ: «Въ нашихъ словахъ есть много справедливаго; мы должны сознаться, что въ прежнихъ нашихъ понятіяхъ объ астрономическихъ законахъ были ошибки; но, соглащаясь съ вами въ главномъ, мы должны сказать, что некоторыя подробности въ вашихъ замечаніяхъ кажутся намъ не совсёмъ ясны»: говорить такимъ образомъ значило бы измёнять очевидной истине и дёлать себя предметомъ общей насмёшки. Возможно ли было говорить такимъ тономъ и о тъхъ сужденіяхъ, образцы которыхъ представили мы выше, и которыя въ своемъ родъ ничуть не хуже опроверженія ньютоновой теоріи? Ніть, туть невозможно соединять отрицаніе съ уступчивостью, потому что нъть ни малъйшей возможности открыть въ словахъ противника что нибудь похожее на правду. Относительно такихъ мевній нетъ средины: или надобно молчать о нихъ, или прямо, безъ малейшихъ уступокъ высказывать, что они лишены всякаго основанія. Разумфется, нападенія на Галилея и Ньютона можно было оставить безъ вниманія — не было опасности, чтобы кто нибудь введенъ быль ими въ заблужденіе. Но другія сужденія не были такъ невинны — обнаружить ихъ неосновательность было необходимо. Изъ того, что Бълинскій не видъль возможности соглашаться, что Гоголь бездарный писатель, и пьянаго Селифана должно считать представителемъ русской народности, следуетъ ли заключать, что онъ не имълъ терпимости?

Люди, которые возставали противъ Бѣлинскаго, нападали на истины слишкомъ очевидныя и важныя; самъ онъ возставалъ только противъ того, что было рѣшительно нелѣпо-и вредно; будучи человѣкомъ твердыхъ убѣжденій и прямаго характера, онъ высказывалъ свои мнѣнія сильно.

Но кто смёшиваеть эти качества съ неумеренностью мненій, тотъ совершенно ошибается. Напротивъ, мненія Белинскаго высказывались съ особенною силою именно потому, что въ сущности были очень умеренны.

Сделавъ это необходимое замечание о характере общихъ воззрений Велинскаго, мы должны были бы теперь заняться вопросомъ о томъ, какъ онъ смотритъ на отношения литературы къ обществу и занимающимъ его интересамъ. Но въ одной изъ последнихъ статей своихъ самъ Велинский высказалъ свои мнения объ этомъ предмете съ такою полнотою и точностью, что лучше всего будетъ представить въ приложении къ нашей статъв его собственныя слова. А здъсь остается намъ сдълать только нъсколько замъчаній, которыя послужатъ объясненіемъ къ предлагаемому отрывку изъ статьи Бълинскаго.

Мнѣнія, которыя такъ сильно и убѣдительно выражены Бѣлинскимъ въ этомъ отрывкъ, совершенно противоположны идеямъ трансцендентальной философія, въ особенности системы Гегеля, основывавшей все свое эстетическое ученіе на томъ принципъ, что искусство имѣетъ исключительнымъ предметомъ своимъ осуществленіе идеи прекраснаго; искусство, по этимъ идеалистическимъ понятіямъ, должно было сохранять совершенную независимость отъ всѣхъ другихъ стремленій человѣка, кромѣ стремленія къ прекрасному. Такое искусство называлось чистымъ искусствомъ.

И въ этомъ случав, какъ почти во всвхъ другихъ, гегелева система останавливалась на половинъ пути и, отказываясь отъ строгаго вывода послёдствій изъ своихъ коренныхъ положеній, допускала въ себя устаръвшія мысли, противоръчившія этимъ положеніямъ. Такъ, она говорила, что истина существуеть только въ конкретныхъ явленіяхъ, а, между тымъ, въ эстетикъ своей ставила верховною истиною идею прекраснаго, какъ будто идея эта существуеть сама по себь, а не въ живомъ дъйствительномъ человъкъ. Это внутреннее противоржчие, повторявшееся почти во всёхъ другихъ частяхъ гегелевой системы, и послужило причиною ея неудовлетворительности. Дъйствительно, существуеть человъкъ, а идея прекраснаго есть только отвлеченное понятіе объ одномъ изъ его стремленій. А такъ какъ въ человікі, живомъ органическомъ существь, всь части и стремленія неразрывно связаны другь съ другомъ, то изъ этого и следуетъ, что основывать теорію искусства на одной исключительной идев прекраснаго, значить впадать въ односторонность и строить теорію, несообразную съ действительностью. Въ каждомъ человъческомъ дъйствіи принимаютъ участіе всв стремленія человіческой натуры, хотя бы одно изъ нихъ и являлось преимущественно заинтересованнымъ въ этомъ дълъ. Потому и искусство производится не отвлеченнымъ стремленіемъ къ прекрасному (идеею прекраснаго), а совокупнымъ действіемъ всёхъ силь и способностей живаго человека. А такъ какъ, въ человеческой жизни, потребности, напримъръ, правды, любви и улучшения быта гораздо сильнее, нежели стремление къ изящному, то искус-

ство не только всегда служить до некоторой степени выражениемъ этихъ потребностей (а не одной идеи прекраснаго), но почти всегда произведенія его (произведенія человіческой жизни, этого нельзя забывать), создаются подъ преобладающими вліяніями потребностей правды (теоретической или практической), любви и улучшенія быта. такъ что стремление къ прекрасному, по натуральному закону челов ческаго дъйствованія, является служителемъ этихъ и другихъ сильныхъ потребностей человъческой натуры. Такъ всегда производились всё созданія искусства, замёчательныя по своему достоинству. Стремленія, отвлеченныя отъ дійствительной жизни, безсильны; потому, если когда стремленіе къ прекрасному и усиливалось действовать отвлеченнымъ образомъ (разрывая свою связь съ другими стремленіями человіческой природы), то не могло произвесть ничего замъчательнаго даже и въ художественномъ отношенін. Исторія не знаеть произведеній искусства, которыя были бы созданы исключительно идеею прекраснаго: если и бывають или бывали такія произведенія, то не обращають на себя никакого вниманія современниковъ и забываются исторією, какъ слишкомъ слабыя, -- слабыя даже и въ художественномъ отношении. --

Таковъ взглядъ положительной науки, почернающей свои понятія изъ дъйствительности. Отрывокъ, представляемый нами въ приложеніи, доказываетъ, что окончательный взглядъ Бълинскаго на искусство и литературу былъ совершенно таковъ. Онъ былъ уже совершенно чистъ отъ всякой фантастичности и отвлеченности.

По мы видѣли, что сначала Бѣлинскій былъ страстнымъ послѣдователемъ гегелевой системы, сильную сторону которой составляетъ стремленіе къ дѣйствительности и положительности (чѣмъ преимущественно и очаровывала она Бѣлинскаго, какъ и всѣхъ сильныхъ людей тогдашняго молодаго поколѣнія въ Германіи и отчасти у насъ), а слабую сторону то, что это стремленіе остается неосуіцествленнымъ, такъ что почти все содержаніе системы отвлеченно и недѣйствительно. Вскорѣ послѣ переѣзда своего въ Петербургъ Бѣлинскій освободился отъ безусловнаго поклоненія Тегелю; но мысль и исполненіе, принципъ и выводъ слѣдствій—два различные фазиса, всегда отдѣленные другъ отъ друга долгимъ періодомъ развитія. «Сказать: «я понимаю, что дѣйствительность, должна быть источникомъ и мѣриломъ нашихъ понятій», и пересоздать всѣ свои понятія на основаніи дѣйствительности — двѣ

вещи, совершенно различныя. Вторая задача, быть можеть, еще важнье первой и достигается только посредствомъ продолжительнаго труда.

Въ петербургскихъ журналахъ Бълинскій дъйствоваль около восьми льть. Следить за всеми постепенностями и подробностями развитія его въ это время значило бы анализировать всв его статьи, — по крайней мёрё, сто или полторасто важнёйшихъ. Но и того еще недостаточно: нужно было бы прибъгать къ помощи соображеній, которыя могуть быть доставлены только подробною біографією. А наши статьи приняли уже и безъ того объемъ, гораздо обширнѣйшій, нежели мы предполагали, начиная ихъ; собираніемъ біографическихъ свёдёній замедлилось бы ихъ окончаніе на неопредёленное время; разсмотрение всего написаннаго Белинскимъ потребовало бы сотни и сотни страницъ. Потому мы только въ общихъ чертахъ обозначимъ главные два періода петербургской деятельности Белинскаго: въ первой половине, отвлеченный элементъ въ его статьяхъ еще довольно силенъ; во второй ноловинъ онъ почти совершенно и подъ конецъ этой половины совершенно исчезаетъ, и система положительныхъ воззреній становится совершенно последовательною. Матеріалы для характеристики перваго періода будуть намъ доставлены обозрѣніемъ содержанія нѣсколькихъ статей Бълинскаго, написанныхъ въ первое время по прівздв въ Петербургъ; подробное разсмотрвніе последнихъ его статей послужить средствомъ сдёлать, по возможности, полный очеркъ окончательныхъ его понятій о русской литературъ; годичные обзоры русской литературы, являвшіяся постоянно съ 1841 года, и статьи о Пушкинъ, которые писались впродолжение трехъ лёть (1843-1846), будуть соединительными звеньями между первымъ и вторымъ очеркомъ. Такимъ образомъ, мы, не опустивъ изъ виду важивнимъ точекъ зрвнія, окончимъ первую часть нашихъ «Очерковъ» до конца нынѣшняго дня.

Для первой книжки «Отечественных Записокъ» 1840 года Бѣлинскій написаль разборъ комедін Грибоѣдова, около того времени вышедшей вторымъ изданіемъ. Статья эта принадлежитъ къ числу самыхъ удачныхъ и блестящихъ. Она начинается изложеніемъ теоріи искусства, написаннымъ исключительно съ отвлеченной, ученой точки зрѣнія, хотя весь онъ проникнутъ стремленіемъ къ дъйствительности и сильными нападеніями на фантазерство, пре-

зирающее дъйствительность. Воть для примъра отрывокъ, слъдующій за объясненіемъ (совершенно еще въ духъ Гегеля), что «произведенія поэзіи суть высочайшая дъйствительность»:

"Есть люди, которые отъ всей души убъждены, что поэзія есть мечта, а не дъйствительность, и что въ нашъ въкъ, какъ положительный и индюстріальный, поэзія невозможна. Образцовое невъжество! нельпость первой величины! Что такое мечта? Призракъ, форма безъ содержанія, порожденіе разстроеннаго воображенія, праздной головы, колобродствующаго сердца! И такая мечтательность нашла поэтовъ въ Ламартинахъ и свои поэтическія произведенія въ идеально-чувствительныхъ романахъ, въ родъ "Аббаддонны"; Но развъ Ламартинъ поэтъ, а не мечта, и развъ "Аббаддонна" поэтическое произведение, а не мечта?... И что за жалкая, что за устарилая мысль о положительности и индостріальности нашего въка, будто бы враждебныхъ искусству? Развъ не въ нашемъ веке явились Байронъ, Вальтеръ Скоттъ, Куперъ, Томасъ Муръ, Уордсвортъ, Пушкинъ, Гоголь, Мицкевичъ, Гейне, Беранже, Эленшлегеръ, Тегнеръ и другіе? Развѣ не въ нашемъ вѣкѣ дѣйствовали Шиллеръ и Гёте? Развѣ не нашъ вѣкъ оцѣнилъ и понялъ созданія классическаго искусства и Шекспира? Неужели это еще не факты? Индюстріальность есть только одна сторона многосторонняго XIX въка, и она не помѣшала ни дойти поэзіи до своего высочайшаго развитія въ ляцѣ поименованныхъ нами поэтовъ, ни музыкъ въ лицъ ея Шекспира-Бетховена, ни философіи въ лицъ Фихте, Шеллинга и Гегеля. Правда, нашъ въкъ врагъ мечты и мечтательности, но потомуто онъ и великій вікъ! Мечтательность въ XIX вікі такъ же смішна, пошла и приторна, какъ и саптиментальность. Дийствительность-вотъ пароль и позунгъ нашего въка, дъйствительность во всемъ-и въ върованіяхъ, и въ наукъ, и въ искусствъ, и въ жизни. Могучій, мужественный въкъ, онъ не терпитъ пичего ложнаго, поддельнаго, слабаго, расплывающагося, но любить одно мощное, крыпкое, существенное. Онъ смыло и безтрепетно выслушаль безотрадныя пъсни Вайрона и, вивств съ ихъ мрачнымъ певиомъ, лучше решился отречься отъ всякой радости и всякой надежды, нежели удовольствоваться нищенскими радостями и надеждами прошлаго въка. Онъ выдержалъ разсудочный критицизмъ Канта, разсудочное положение Фихте; онъ перестрадалъ съ Шиллеромъ вст болтани внутренняго, субъективнаго духа, порывающагося къ дтиствительности путемъ отрицанія. И зато въ Шеллингь онъ увидель зарю безконечной действительности, которая въ учении Гегеля осіяла міръ роскошнымъ и великольпнымъ днемъ, и которая, еще прежде обоихъ великихъ мыслителей, непонятая, явилась непосредственно въ созданіяхъ Гете.... ("Отечественныя Записки", томъ VIII. Критика, стр. 11-12).

Хотя и говорится въ этой стать в постоянно, что поэзія нашего времени есть «поэзія двиствительности, поэзія жизни»; но главною задачею нов вишаго искусства поставляется, однако же, задача, совершенно отвлеченная отъ жизни: «примиреніе романтическаго съ



классическимъ», потому что и вообще нашъ въкъ ость «въкъ примиренія» во всёхъ сферахъ. Самая действительность понимается еще одностороннимъ образомъ: она обнимаетъ собою только духовную жизнь человека, между тёмъ, какъ вся матеріальная сторона жизни признается «призрачною»: «человькъ встъ, пьетъ, одваетсяэто міръ призраковъ; потому что въ этомъ нисколько не участвуеть духъ его; человъкъ «чувствуеть, мыслить, сознаеть себя органомъ, сосудомъ духа, конечною частностью общаго и безконечнаго-это міръ д'виствительности», все это чистый гегелизмъ. Но въ объяснение теоріи надобно дать примінение ея къ произведеніямъ искусства; Бѣлинскій выбираеть образцами истиню поэтическаго эпоса повъсти Гоголя и потомъ подробно разбираетъ «Ревизора», какъ лучшій образецъ художественнаго произведенія въ драматической формъ. Этотъ разборъ занимаетъ большую половину статьи-около 30 страницъ. Видно, что Вълинскому нетеривливо хотвлось говорить о Гоголв, и это одно уже служить достаточнымъ свидътельствомъ за направленіе, еще тогда преобладавшее въ немъ. Разборъ этотъ написанъ превосходно, и трудно найти что-нибудь лучше его въ своемъ родъ. Но комедія Гоголя, которая такъ непреодолимо вызываетъ живыя мысли, разсматривается исключительно въ художественномъ отношеніи. Бѣлинскій объясняеть, какъ одна сцена вытекаеть изъ другой, почему каждан изъ нихъ необходима на своемъ мёсть, показываетъ, что характеры действующихъ лицъ выдержаны, верны самимъ себе, вполнъ обрисованы самимъ дъйствіемъ безъ всякихъ натяжекъ со стороны Гоголя, что комедія полна живаго драматизма, и т. д. Объяснивъ примъромъ «Ревизора» качества художественнаго произведенія, Белинскій уже очень легко доказываеть, что «Горе отъ ума» не можетъ быть названо художественнымъ созданіемъ, онъ обнаруживаеть, что сцены этой комедіи часто не связаны одна съ другою, положенія и характеры действующихь лиць не выдержаны, и т. д., - словомъ, критика опять ограничивается исключительно художественною точкою зрвнія. На то, какое значеніе для жизни имћетъ «Ревизоръ» и имћло «Горе отъ ума», не обращено почти никакого вниманія.

Во второй книгѣ «Отечественныхъ Записокъ» того же года помѣщенъ разборъ сочиненій Марлинскаго, надѣлавшій въ свое время чрезвычайно много шуму. Онъ написанъ также исключительно съ художественной точки зрѣнія.

Точно также почти исключительно съ художественной точки эртнія разсматривается и «Герой нашего времени» Лермонтова (въ книжкахъ 7 и 8-й 1840 года). Вълинскій замічаеть, что Печоринь порожденъ отношеніями, въ которыхъ совершается развитіе его характера, что онъ дитя нашего общества; но этимъ сказаннымъ вскользь замічаніемъ и ограничивается онь, не вдаваясь въ объясненіе вопроса о томъ, почему именно такой, а не другой типъ людей производится нашею действительностью. Онь говорить только съ общей исторической точки зрвнія, равно прилагающейся ко всякому европейскому обществу, о томъ, что Печорины принадлежатъ періоду рефлексін, періоду внутренняго распаденія человѣка, когда гармонія, влагаемая въ человіка природою, уже разрушена сознаніемъ, но сознаніе не достигло еще полной власти надъ жизнью, чтобы дать ей новое, разумное единство, новую, высшую гармонію. Бълинскій прекрасно понимаеть характеръ Печорина, но только съ отвлеченной точки зрвнія, какъ характерь европейца вообще, дошедшаго до извъстной поры духовнаго развитія, и не отыскиваеть въ немъ особенностей, принадлежащихъ ему, какъ члену нашего русскаго общества. Воть важнъйшее изъ того, что говоритъ онъ о Печоринъ, - выписавъ то мъсто изъ дневника Печорина, въ которомъ онъ размышляеть о прелести обладанія молодою душою, о томъ, какое развлечение для его скуки и какую отраду для его гордости доставляють отношенія къ княжнѣ Мери, о томъ, что нужно же имъть занятіе для силъ, требующихъ дъятельности, Белинскій восклицаеть:

"Какой страшный человькъ этотъ Печоринъ! Потому что его безпокойный духъ требуетъ движенія, двятельность ищетъ пищи, сердце жаждетъ интересовъ жизни, потому должна страдать бъдная дврушка! "Эгоисть, злодьй, извергъ, безнравственный человъкъ!.."—хоромъ закричатъ, можетъ быть, строгіе моралисты. Ваша правда, господа; но вы-то изъ чего хлопочете? за что сердитесь? Право, намъ кажется, вы пришли не въ свое мъсто, съли за столъ, за которымъ вамъ не поставлено прибора... Не подходите слишкомъ близко къ этому человъку, не нападайте на него съ такою запальчивою храбростью: онъ на васъ взглянетъ, улыбнется, и вы будете осуждены, и на смущенныхъ лицахъ вашихъ всѣ прочтутъ судъ вашъ. Вы предаете его анавемѣ не за пороки—въ васъ ихъ больше, и въ васъ они чернѣе и позорнѣе—но за ту смѣлую свободу, за ту жолчную откровенность, съ которою онъ говоритъ о нихъ.

Вы позволяете человъку дълать все, что ему угодно, быть встмъ, чтмъ онъ хочеть, вы охотно прощаете ему и безуміе, и низость, и разврать, но, какъ пошлину за право торговли, требуете отъ него моральных сентений о томъ какъ долженъ человекъ думать и действовать, и какъ онъ въ самомъ деле и не думаеть и не действуеть... И зато ваше инквизиторское ауто-да-фе готово для всякаго, кто имфеть благородную привычку смотрыть действительности прямо въ глаза, не опуская своихъ глазъ, называть вещи настоящими ихъ именами и показывать другимъ себя не въ бальномъ костюмъ, не въ мундиръ, а въ халать, въ своей комнать, въ уединенной бесьдь съ самимъ собою, въ домашнемъ разсчеть съ своею совъстью. И вы правы: покажитесь передъ люльми хоть разъ въ своемъ позорномъ пеглиже, въ своихъ засаленыхъ ночныхъ колнакахъ, въ своихъ оборванныхъ халатахъ, люди съ отвращениемъ отвернутся отъ васъ и общество извергнетъ васъ изъ себя. Но этому человъку нечего бояться: въ немъ есть тайное сознаніе, что онъ не то, чёмъ самому себь кажется, и что онъ есть только въ настоящую минуту. Да, въ этомъ человькь есть сила духа и могущество воли, которыхь въ васъ ньть; въ самыхъ порокахъ его проблескиваетъ что-то великое, какъ молнія въ черныхъ тучахъ, и онъ прекрасенъ, полонъ поэзіи даже и въ тѣ минуты, когда человъческое чувство возстаетъ на него. Ему другое назначение, другой путь, чъмъ вамъ. Его страсти-бури, очищающія сферу духа; его заблужденія, какъ ни страшны они, острыя болезни въ молодомъ теле, укрепляющия его на долгую и здоровую жизнь. Это лихорадки и горячки, а не подагра, не ревматизмъ и геморрой, которыми вы, бъдные, такъ безплодно страдаете. Пусть онъ клевещеть на вѣчные законы разума, поставляя высшее счастье въ насыщенной гордости: пусть онъ клевещетъ на человаческую природу, видя въ ней одинъ эгонзмъ; пусть клевещетъ на самого себя, принимая моменты своего духа за его полное развитіе и смішивая юность съ возмужалостію, — пусть!... Настанетъ торжественная минута, и противорачіе разрашится, борьба кончится, и разрозненные звуки души сольются въ одинъ гармоническій аккордъ". ("Отеч-Зап.", томъ XI, Критика, стр. 9-10.)

Досказавъ содержание романа, онъ прибавляетъ:

"Вольшая часть читателей, навърное, воскликнеть: "Хорошъ же герой!"— А чьмъ же онъ дуренъ?—смъемъ васъ спросить.

Зачёмъ же такъ неблагосклонно
Вы отзываетесь о немъ?
За то-ль, что мы неугомонно
Хлопочемъ, судимъ обо всемъ,
Что пылкихъ думъ неосторожность
Себялюбивую ничтожность
Иль оскорбляетъ, иль смёшитъ,
Что умъ, любя просторъ, тёснитъ,
Что слишкомъ часто разговоры
Принять мы рады за дёла.

Что глупость вътрена и зда, Что важнымъ людямъ важны вздоры, И что посредственность одна Намъ по плечу и не странна?

"Вы говорите противъ него, что въ немъ нётъ вёры. Прекрасно! но вёдь это то же самое, что обвинять нищаго за то, что у него неть золота: онь бы и радъ имъть его, да не дается оно ему. И, притомъ, развъ Печоринъ радъ своему безеврію? развів онъ гордится имъ? развів онъ не страдаль отъ него? развѣ онъ не готовъ цѣною жизни и счастія купить эту вѣру, для которой еще не насталь чась его?.. Вы говорите, что онь эгоисть?- Но развъонь не презираеть и не ненавидить себя за это? развъ сердце его не жаждеть любви чистой и безкорыстной? Нътъ, это не эгоизмъ: эгоизмъ не страдаетъ, не обвиняеть себя, но доволень собою, радь себь. Эгонамь не знаеть мученія: страданіе есть уділь одной любви. Душа Печорина не каменистая почва, но засохшая отъ зноя пламенной жизни земля: нусть взрыхлить ее страданіе и оросить благодатный дождь, - и она произростить изь себя пышные роскошные цвіты небесной любви... Этому человіку стало больно и грустно, что его всь не любять, и кто же эти "всь?" пустые, ничтожные люди, которые не могуть простить ему его превосходства надъ ними. А его готовность задушать въ себь ложный стыдь, голосъ свытской чести и оскорбленнаго самолюбія, когда онъ за признаніе въ клеветь готовъ былъ простить Грушницкому, человъку, сейчасъ только выстрълившему въ него пулею и безстыдно ожидающему отъ него холостаго выстрвла? А его слезы и рыданія въ пустынной степи, у тъла издохшаго коня? - нътъ, все это не эгонзмъ? Но его - скажете вы-холодная разчетливость, систематическая разсчитанность, съ которою онъ обольщаеть бідную дівушку, не любя ее, и только для того, чтобы посмінться надъ нею и чемъ-нибудь занять свою праздность?—Такъ; но мы и не думаемъ оправдывать его въ такихъ поступкахъ, ни выставлять его образцомъ и высокимъ идеаломъ чистъйшей нравственности: мы только хотимъ сказать, что въ человъкъ должно видъть человъка и что идеалы нравственности существують въ однихъ классическихъ трагедіяхъ и морально-сантиментальныхъ романахъ прошлаго въка. Судя о человъкъ, должно брать въ разсмотръніе обстоятельства его развитія и сферу жизни, въ которую онъ поставленъ судьбою. Въ идеяхъ Печорина много ложнаго, въ ощущенияхъ его есть искажение; но все это выкупается его богатою натурою. Его, во многихъ отнощеніяхъ, дурное настоящее объщаеть прекрасное будущее. Вы восхищаетесь быстрымъ движеніемъ парохода, видите въ немъ великое торжество духа надъ природою?- и хотите потомъ отрицать въ немъ всякое достоинство, когда онъ сокрушаеть, какь зерно жорновь, неосторожныхь, попавшихь подь его колеса: не значить ли это противорёчить самимъ себё? опасность отъ нарохода есть результать его чрезмёрной быстроты; слёдовательно, порокъ его выходить изъ его достоинства". ("Отечественныя Записки", томъ XI, Критика, стр. 33—34).

Точка зрвнія все еще слишкомъ отвлеченна; она вполнѣ прилагается къ русской жизни, но только ровно на столько же, нисколько не болье, какъ и къ англійской, французской и т. д. жизни. Но уже одни эти мьста могли бы служить достаточнымъ ручательствомъ, что Бълинскій никогда не любилъ останавливаться на половинь пути, изъ боязни, что съ развитіемъ соединены свои опасности, какъ соединены онь со всьми вещами на свъть: все-таки эти опасности, по его мньнію, вовсе не такъ страшны, какъ та нравственная порча, которая бываетъ необходимымъ слъдствіемъ неподвижности; притомъ же, онь съ неизмъримымъ избыткомъ вознаграждаются положительными благами, какія даетъ развитіе.

Точка зрвнія, съ которой Белинскій разсматриваль въ 1840 году произведенія нашей поэзіи, должна, какъ видимъ, назваться отвлеченною. Но мы ошиблись бы, если бы вывели изъ этого заключеніе, что заботы объ отношеніяхъ литературы къ обществу не преобладали уже и тогда въ Белинскомъ. Въ третьей книги «Отечественныхъ Записокъ» того же года онъ посвящаетъ большую критическую статью разбору двухъ дётскихъ книгъ: съ жаромъ онъ объясняетъ, каково должно быть истинное воспитаніе, обличаетъ результаты неразумнаго воспитанія, какое обыкновенно дается дётямъ и показываетъ, какъ велики обязанности родителей въ отношеніи къ дётямъ. Пе надобно говорить, что все это проникнуто самыми гуманными и плодотворными для нашей жидни понятіями. Вотъ отрывокъ, по которому можно судить о тонъ и содержаніи статьи:

"Воспитаніе! Оно везді, куда ни посмотри, и его ніть нигді, куда ни посмотрите. Конечно, вы его можете увидіть даже во всіхь слояхь общества, отъ самаго высшаго до самаго низшаго, но какъ рідкость, какъ исключеніе изъ общаго правила. Отчего же это? Да оттого, что на світі бездна родителей, множество рарая et mamans, но мало отцовъ и матерей. "Вотъ прекрасно!"—восклицаете вы: "какая же разница между родителями и отцомъ и матерью?"—Какъ какая?—взгляните літомъ на мухъ: какая бездна родителей, но гді же отцы и матери? Грибоїдовъ давно уже сказаль:

Чтобъ имъть дътей, Кому ума не доставало!

"Право рожденія—священное право на священное имя отца и матери—противъ этого никто и не споритъ; но не этимъ еще все оканчивается: тутъ человъкъ еще не выше животнаго; есть высшее право — родительской любви "Да какой же отецъ или какая мать не любитъ своихъ дътей!"—товорите вы. Такъ; но позвольте васъ спросить, что вы называете любовью? какъ вы понимаете любовь?—Въдь и овца любитъ своего ягневка: она кормитъ его своимъ

молокомъ и облизываетъ языкомъ; но какъ скоро онъ мѣняетъ ея молоко на злакъ полей-ихъ родственныя отношенія оканчиваются. Відь и г-жа Простакова любила своего Митрофанушку: она нещадно била по щекамъ старую Еремћевну и за то, что дитя много кушало, и за то, что дитя мало кушало; она любила его такъ, что если бы онъ вздумалъ ее бить но щекамъ, она стала бы горько шлакать, что милое, ненаглядное датище только обколотить объ нее свои рученки. Итакъ, развѣ чувство овцы, которая кормитъ своимъ молокомъ ягненка, чувство г-жи Простаковой, которая, бывъ и овцою и коровою, готова еще сділаться и лошадкой, чтобы возить въ колясочкі свое двалцатилітнее дитя, - развъ все это не любовь? - Да, любовь, но какая? - любовь чувственная, животная, которая въ овий, какъ въ животномъ, отличающемся и животною фигурою, имьеть свою истинную, разумную, прекрасную и восхищающую сторону, но которая въ г-жѣ Простаковой, какъ въ животномъ, отличающемся человаческою фигурою, вмасто овечьей, — безсмысленна, безобразна и отвратительна. Далье: выдь и Павель Афонасьевичь Фамусовь дюбиль свою лочь. Софью Павловну: посмотрите, какъ онъ хлопочеть, чтобы повыгоднъе сбыть ее съ рукъ, подороже продать... Продать? - какое ужасное слово!... отецъ продаетъ свою дочь, торгуетъ ею, конечно, не по мелочи, но одинъ разъ навсегда, и не больше, какъ для одного человека, который будеть называться ея мужемъ!.. Но въдь это онъ дълаетъ не для себя, а для ея же счастія? -- скажуть многіе. Прекрасно! Но послі этого и разбойникъ, который для приданаго дочери заржжеть передъ ея свадьбою нъсколькихъ человькь, будеть правъ, потому что сдёлаеть это изъ любви къ лочери?... Послё этого и иная матушка. которая, не желая видьть въ нищеть свою ньжно любимую дочь, научить или принудить ее сдёлать выгодный промысель изъ своей красоты, -- тоже будеть права, потому что поступить такь изъ любви къ дочери?... И развѣ этого не бываеть въ самомъ ділія? Разві старый подъячій, закоренівшій въ лихоимствъ и казнокрадствъ, не поставлялъ первымъ и священнымъ долгомъ своего родительскаго званія передать свое подлое ремесло н'яжно любимому сынку? Мы опять соглашаемся, что источникь всего этого любовь, но какая — вотъ вопросъ"! ("Отечественныя Записки", томъ ІХ, Критика, стр. 4-5)

Вся статья о дётскихъ книгахъ имёстъ самое живое отношеніе къ нашей дёйствительности. И такихъ статей найдется у Бёлинскаго очень много уже и въ то время.

Нѣтъ надобности говорить, что и взглядъ Бѣлинскаго въ 1840 году на произведенія беллетристики и поэзіи мы называемъ отвлеченнымъ только по сравненію съ тѣмъ, что дано было намъ его послѣдующимъ развитіемъ. Если же сравнимъ его тогдашнія статьи съ предшествовавшею ему критикою, то найдемъ, что до того времени никто еще не проникался элементами нашей дѣйствительности такъ глубоко и живо, какъ и въ то время была уже проникнута ими критика Бѣлинскаго. Если онъ еще не останавливался исключи-

тельно на фактахъ, свойственныхъ именно нашему, а не какому нибудь другому быту, то постоянно онъ касался ихъ и на каждой страницъ затрогивалъ частные вопросы нашей жизни. Доказательства тому постоянно встрвчаются даже въ сделанныхъ нами выпискахъ, которыя приводятся у насъ въ примъръ отвлеченности. Укажемъ, для примъра, и на то, что, желая показать подробнымъ разборомъ качества художественнаго произведенія, Белинскій выбираеть не драму Шекспира, какъ сделаль бы всякій другой на его мъстъ, а комедію русскаго писателя. Изъ этого одного/уже ясно было бы, что явленія нашей жизни занимають его болье, нежели что бы то ни было другое. Но - и это главное-не будемъ сами судить отвлеченнымъ образомъ, а сообразимъ положение нашей литературы и публики въ то время, когда Бълинскій началь писать въ «Отечественныхъ Запискахъ»; мы должны будемъ признаться, что вопросы, которые для настоящаго времени представляются отвлеченными, тогда были действительными и живыми, какъ и теперь для русской публики самый живой и важный интересъ им вотъ еще вопросы, которые въ другихъ странахъ давно уже считаются или отвлеченными, или мелкими, напримъръ, хотя бы литературные вопросы, за которыми всё мы слёдимъ съ такимъ живымъ интересомъ, и которые у другихъ народовъ не имѣютъ силы возбуждать такого напряженнаго участія. Въ каждой странъ, у каждаго времени свои интересы. Мы, напримъръ, радуемся, и справедливо радуемся, тому, что наши молодые люди, избирающіе ученое поприще, снова начинають посъщать Европу для довершенія своего образованія—явленіе, напоминающее времена Петра Великаго; а французамъ, англичанамъ ровно нътъ никакого дъла до того, вздять ли заграницу ихъ молодые ученые, или не вздять. Правда, у нихъ число такихъ путешественниковъ во сто разъ больше, нежели у насъ, - и, однако же, это нисколько не обращаетъ на себя ихъ вниманія. Мы, напримѣръ, восхищаемся и поучаемся «Горемъ отъ ума», «Ревизоромъ», «Мертвыми Душами», какъ произведеніями, въ которыхъ очень полно и верно отразилась наша жизнь; а французы, англичане, немцы о произведенияхъ своей литературы, въ которыхъ жизнь общества была бы воспроизведена въ техъ границахъ, какъ въ «Ревизоръ» и «Мертвыхъ Душахъ». сказали бы, что они отражають жизнь очень неполно и отрывочно,-они сказали бы даже, что это произведенія очень отвлеченныя отъ жизни: вѣдь находять же нѣмцы, что «Коварство и Любовь» Шиллера произведеніе довольно отвлеченное, а въ немъ нѣмецкая жизнь изображена полнѣе, нежели русская у Гоголя и Грибоѣдова *). О французахъ и англичанахъ мы уже не говоримъ. Для нихъ поэтическія произведенія имѣютъ нынѣ вообще меньше живаго значенія, нежели для нѣмцевъ.

Потребность стать по своимъ понятіямъ въ уровень съ образованною Европою и теперь у насъ составляеть одинъ изъ важнъйнихъ вопросовъ жизни. Темъ живе была она пятнадцать летъ тому назадъ. Нынъ романъ Диккенса или Теккерея далеко не возбуждаеть того интереса у насъ, какой бы возбуждаль иятнадцать лёть тому назадъ. Ныне, вёроятно, никто не въ состояни быль бы осилить «Витторію Аккоромо́ону» Тика, — а пятнадцать леть тому назадъ и этотъ романъ казался живымъ и интереснымъ чтеніемъ. Переворотъ этотъ произведенъ Гоголемъ, Бѣлинскимъ и писателями, образовавшимися подъ ихъ вдіяніемъ. Но само собою разумъется что начало не бываетъ подобно концу, и Бълинскій полженъ быль необходимо начать съ того, чтобы знакомить нашу публику и литературу съ современными понятіями объ искусствъ: должень быль начать съ того, чтобы толковать, что такое «художественное произведение», въ чемъ состоятъ истинныя достоинства романа, драмы, и т. д., и т. д., --въдь въ то время, какъ онъ началъ писать въ «Отечественныхъ Запискахъ», публика еще и не слыхивала объ этихъ вещахъ. «Телескопъ» читался мало; и, притомъ, въ немъ все еще было спутано въ самомъ поэтическомъ безпорядка: современныя понятія съ отсталыми, восторженныя похвалы Гоголю со статьями г. А. Хиджеу о малороссійскомъ философѣ Сковородъ. «Московскаго Наблюдателя» не читалъ почти никто, по словамъ самого Вълинскаго. Для исторіи литературы эти журналы являются предшественниками «Отечественныхъ Записокъ»; но для публики «Отечественныя Записки» были первымъ журналомъ, заговорившимъ о вещахъ, до того времени неслыханныхъ: о прекрасномъ, объ идеѣ, о различіи разумнаго и непосредственнаго существованія, о действительности въ поэзіи, и т. д., и т. д.

^{*)} Читатели видять, конечно, что мы говоримь единственно о полноть, а не о художественныхь совершенствахь воспроизведенія жизни. Быть можеть, по формъ «Ревизоръ» живъе, нежели «Коварство и Любовь»: объ этомъ каждый можеть думать, какъ ему угодно.

Бълинскій по необходимости долженъ быль начать дёло съ самаго начала-съ потопа и раздёленія языкъ, съ объясненія того, что называется литературою, что такое называется поэтомъ, съ подробныхъ разсужденій о томъ, чёмъ литературное произведеніе отличается отъ нельной сказки или вздорнаго пустословія: все это намъ нужно еще было узнать, все это возбуждало сомнинія и нелоумвнія, все приводило однихъ читателей въ восторгь, другихъ въ гиввъ; эти разсужденія, кажущіяся нынь отвлеченными, были въ то время самою живою, насущною потребностью публики. Но да не возгордимся мы своими успахами: гордость нагубный грахъ нодумаемъ лучше о томъ, какими вопросами до сихъ поръ мы сами интересуемся, будто важнайшими и живайшими: вадь книжка журнала составляеть для самыхь живыхь изь насъ самое живое явленіе-да и то хорошо, потому что для многихъ изъ насъ чуть ли не интереснъйшая въ газетахъ статьи-номенилатура новыхъ коллежскихъ и надворныхъ совътниковъ-да и то хорошо: все-таки привыкають къ печатной грамоть, все таки убъждаются, что типографскій станокъ хотя для чего нибудь нуженъ.

Бълинскій должень быль начать свое дело съ самаго начала, какъ начиналь свое дёло Ломоносовъ-съ разсужденій о томъ, что называется стихотворнымъ размеромъ и каковъ долженъ быть стихотворный размёръ; онъ долженъ былъ прежде всего объяснить намъ, что такое литература, что такое критика, что такое журналъ, что такое поэзія и т. д.-Спору нѣтъ, что азбука-вещь отвлеченная: живаго смысла еще нътъ въ ея буквахъ; но для того, кто еще не знаетъ ихъ, настоятельнъйшая потребность состоитъ въ ихъ изучении, и оно составляеть самый живой и действительный вопросъ его жизни. Такъ, для нашей публики было чрезвычайно хорошо то, что Бѣлинскій началь свои критическіе разборы въ «Отечественныхъ Запискахъ» не прямо съ полнаго погруженія въ нашу дъйствительность, а съ общихъ разсужденій, которыя по сравненію съ характеромъ его последующихъ статей могутъ назваться отвлеченными, но могуть назваться такимъ именемъ также только по отвлеченному понятію о качествахъ критики вообще, а не по соображенію дійствительных обстоятельствь, которыя, напротивь, придавали имъ самое живое значение. Стоитъ только припомнить, какое сильное и живое дъйствіе производили они на публику и

литературу, и мы убъдимся, что именно то было нужно, что дълаль онъ.

Да и для самой критики Белинскаго нужно было, чтобы она довольно долго сосредоточивала свое внимание на теоретическихъ вопросахъ: именно тъмъ, что непоколебимо утвердилась въ общечеловъческихъ понятіяхъ, она пріобръла силу проницательно и върно смотръть на явленія нашей дъйствительности. Въ одной изъ последнихъ своихъ статей Белинскій отвечаеть на вопросъ, возбужденный исключительными поклонниками нашей народной поэзіи: не лучше ли было бы для нашей литературы, еслибъ она началась прямо въ духф народности, а не была сначала простымъ отраженіемъ западной европейской поэзіп? Не лучше ли было бы, еслибъ Ломоносовъ, вивсто того, чтобъ изучать оды Гюнтера, изучаль наши народныя пъсни? Изъ этого не произошло бы ровно никакихъ последствій, не только полезныхъ, но и ровно никакихъ. Въ томъ именно и состоитъ заслуга Ломоносова, что онъ познакомилъ насъ съ литературою; а еслибъ онъ вздумалъ писать въ духъ народныхъ пъсенъ (кромъ того, что это было для него чистою невозможностью), онъ не даль бы намъ ровно ничего новаго и интереснаго, и его произведенія остались бы такъ же чужды историческому развитію нашей литературы, какъ пёсни сибирскихъ казаковъ о битвахъ съ силами богдойскими (богдыханскими), сочиненныя въ духѣ пѣсенъ о Владимірѣ: онъ ровно ничего къ нимъ не прибавили и ни на шагъ не подвинули нашего развитія. Только потому и могъ впоследствии Лермонтовъ написать песню о куппр Калашниковъ, что Ломоносовъ писалъ оды въ родъ Гюнтера, Карамзинъ повъсти въ родъ Мармонтеля, Пушкинъ поэмы въ родъ Байрона. Конецъ именно потому и конецъ, что онъ не похожъ на начало, — стало быть, начало должно же отличаться отъ конца, иначе не было бы ни целей, ни стремленій, ни исторін *).

^{*)} Но какимъ же чудомъ—спросять насъ—внъшнее, абстрактиое заимствованіе чужаго и искусственное перепесеніе его на родную почву, —какимъ чудомъ могло породить оно живой, органическій плодъ?—Въ отвѣтъ на это скажемъ: рѣшеніе этого вопроса, безъ сомпѣнія, интересно; по намъ пѣтъ дѣла до пего: для насъ довольно сказать, что такъ, именно такъ было, что это историческій фактъ, достовърности котораго не можетъ и подумать опровергать тотъ, у кого есть глаза, чтобы видѣть, и уши, чтобъ слышать. Писатели, въ которыхъ выразилось прогрессивное движеніе черезъ освобожденіе

Въ критикъ Вълинскаго какъ бы повторилась вся исторія русской литературы. Полевой, Надеждинъ были представителями каждый только одного фазиса развитія. Критика Вълинскаго прошла, какъ мы видимъ, нъсколько фазисовъ, и, начавъ съ отвлеченныхъ понятій, доведенныхъ до крайности вслъдствіе споровъ съ друзьями г. Огарева, она достигла совершенной положительности. Если сравнить статью объ «Очеркахъ Бородинскаго сраженія», напечатанную Бълинскимъ въ послъдней книжкъ «Отечественныхъ Записокъ» 1839 года, съ статьею о «Выбранныхъ мъстахъ изъ переписки съ друзьями», напечатанною во 2-ой книжкъ «Современника» за 1847

литературы русской отъ ломоносовскаго вліянія, нисколько не думали объ этомъ; это дълалось у нихъ безсовнательно; за нихъ работалъ духъ времени, котораго они были органами. Они высоко уважали Ломоносова, какъ поэта, благоговъли передъ его геніемъ, старались подражать ему-и все-таки больше и больше отходили отъ него. Разительный примъръ этого - Державинь. Но въ томъ-то и состоитъ жизненность европейскаго начала, привитаго къ нашей народности Петромъ Великимъ, что оно не коснъетъ въ мертвой стоячести, но движется, идетъ впередъ, развивается. Если бы Ломоносовъ не вздумалъ писать одъ по образцу современныхъ ему нѣмецкихъ поэтовъ и французскаго лирика Жанъ-Батиста Руссо, не вздумалъ писать своей «Петріады» по образцу виргилієвой «Энеиды», гді, вмісті съ Петромъ Великимъ, героемъ своей поэмы, сдълалъ дъйствующимъ лицомъ и Нептуна, засадивъ его съ тритонами и наядами на дно прохладнаго Бълаго моря; если бы, говоримъ мы, вместо всехъ этихъ книжныхъ, школярныхъ несообразностей, онъ обратился бы къ источникамъ нашей народной поззін-къ «Слову о Полку Игоревомъ», къ русскимъ сказкамъ (извёстнымъ теперь по сборнику Кирши Данилова), къ народнымъ пъснямъ, и, вдохновленный, проникнутый ими, на ихъ чисто народномъ основаніи, решился бы построить вданіе новой русской литературы: что бы тогда вышло?-Вопросъ, повидимому, важный, но въ сущности препустой, похожій на вопросы въ род'в сл'вдующихъ: что было бы, если бы Петръ Великій родился во Франціи, а Наполеонъ-въ Россіи, или: что было бы, если бы за зимою следовала не весна, а прямо лъто? и т. п. Мы можемъ знать, что было и что есть, но какъ намъ внать, чего не было, или чего нъть? Разумъется, и въ сферъ исторіи все мелкое, ничтожное, случайное могло бъ быть и не такъ, какъ было; но ен великія событія, им'єющія вліяніе на будущность народовъ, не могуть быть иначе, какъ именно такъ, какъ они бываютъ, разумиется, въ отношении къ главному ихъ смыслу, а не къ подробностямъ проявленія. Петръ Великій могъ построить Петербургъ, пожалуй, тамъ, гдв теперь Шлиссельбургъ, или по крайней мъръ, хоть немного выше, т. е. дальше отъ моря, чъмъ теперь; могъ сделать новою столицею Ревель или Ригу; во всемъ этомъ играла большую роль случайность, разныя обстоятельства; но сущность дёла была не

годъ, насъ удивитъ безмърное разстояніе, отдаляющее первую отъ последней: мы не найдемъ между ними ничего общаго, кроме того, что объ написаны съ жаромъ задушевнаго убъжденія, и написаны человъкомъ очень даровитымъ; но духъ и все содержание одной совершенно противоположны духу другой, какъ «Песня о Калашникова» составляеть совершенную противоположность «Ола на взятіе Хотина»; но какъ между Ломоносовымъ и Лермонтовымъ найдется связь, если мы будемъ изучать писателей, бывшихъ имъ посредниками: нттъ нигдт перерыва или пробела, всякій новый шагь впередъ основывается на предъидущемъ, такъ и критика Вълинскаго развивалась совершенно послъдовательно и постепенно: статья объ «Очеркахъ Бородинскаго сраженія» противоположна стать в о «Выбранных мастахь», потому что она составляють два крайнія точки пути, пройденнаго критикою Белинскаго; но если мы будемъ перечитывать его статьи въ хронологическомъ порядкѣ, мы нигде не заметимъ крутаго перелома или перерыва: каждан последующая статья очень тесно примыкаеть къ предъидущей, и прогрессъ соверщается, при всей своей огромности, постепенно и совершенно логически *).

въ томъ, а въ необходимости новой столицы на берегу моря, которая дала бы намъ средство легко и удобно сноситься съ Европою. Въ этой мысли уже не было ничего случайнаго, ничего такого, что могло бы равно и быть и не быть, или быть иначе, нежели какъ было. Но для твхъ, для кого не существуетъ разумной необходимости великихъ историческихъ событій, мы, пожалуй, готовы признать важность вопроса: что было бы, еслибъ Ломоносовъ основаль новую русскую литературу на народномъ началѣ?-и отвътимъ имъ, что изъ этого ровно ничего не вышло бы. Однообразныя формы нашей народной поэзіи были достаточны для выраженія ограниченнаго содержанія племенной, естественной, непосредственной, полупатріархальной жизни старой Руси; но новое содержание не шло къ нимъ, не удегалось въ нихъ; для него необходимы были и новыя формы. Тогда опасение наше зависило не отъ народности, а отъ европеизма; ради нашего спасенія, тогда необходимо было не вадушить, не истребить (дело или невозможное, или гибельное, если возможное) нашу народность, а, такъ сказать, задержать на время ея ходъ и развитіе, чтобы привить къ ея почвъ новые элементы. Пока эти элементы относились къ нашимъ роднымт, какъ масло къ водъ, у насъ, естественно, все было реторикою: и правы и-ихъ выраженіе-литература. Но туть было живое начало органическаго срощенія, черезъ процессъ усвоиванія, и потому литература отъ абстрактнаго начала мертвой подражательности двигалась все къ живому началу самобытности».—(«Соврем.» 1847 г., № 1, стр. 7-9).

^{*) «}Чужое, извић взятое содержаніе никогда не можетъ замінить, ни

Годичные обзоры русской литературы, которые постоянно дівлаль Бізлинскій, могуть служить для насъ соединительными звеньмин между первыми статьями и статьями, выразившими зрізлыя и окончательныя его убіжденія.

Обозрѣніе за 1840 годъ («Отеч. Зап.» 1841 г., № 1) начинается размышленіемъ о чрезвычайной бедности нашей литературы — мысль, которою внушена была первая изъ большихъ статей Бълинскаго—«Литературныя Мечтанія», напечатанная въ «Молвѣ». Но сознаніе этой б'єдности уже не вселяеть въ Б'єдинскаго безнадежности: сознаніе недостатка есть уже залогь его исправленія. Белинскій вспоминаеть о томь, какъ «леть шесть тому назадь» было высказано сомнение въ существовании русской литературы, и, кратко пересказавъ содержание своихъ «Литературныхъ Мечтаній» (что и было нужно, потому что статья оставалась мало извъстна, а въ исторіи развитія понятій о литературь была очень важнымь фактомь), останавливается на объясненіи того, что называется литературою, и доходить до заключенія, что у насъ есть только начало литературы. Для существованія литературы необходима публика. Онъ опять объясняеть, что такое публика: это масса людей развитыхъ, сильно сочувствующихъ литературф, которая вы-

въ литературъ, ни въ жизни, отсутствія своего собственнаго, національнаго содержанія: но оно можеть переродиться въ него современемь, какъ пища, пзвив принимаемая челов комъ, перерождается въ его кровь и плоть и поддерживаетъ въ немъ силу, здоровье и жизнь. Не будемъ распространяться, какимъ образомъ это сдъдадось съ Россією, созданною Петромъ, и русскою литературою, созданною Ломоносовымъ; но что это действительно сделалось и двлается съ ними--это историческій факть, истина фактически-очевидная. Сравните басни Крылова, комедію Грибовдова, произведенія Пушкина, Лермонтова в, въ особенности, Гоголя, -- сравните ихъ съ произведеними Ломоносова и писателей его школы, и вы не увидите между ними ничего общаго, пикакой связи. Между писателями, которыхъ мы поименовали выше, и между Ломоносовымъ и его школою, дъйствительно, нътъ ничего общаго, никакой связи, если сравнить ихъ, какъ двъ крайности; но между ними сейчасъ же явится передъ вами живая кровная связь, какъ скоро вы будете изучать, въ хронологическомъ порядкъ, всъхъ русскихъ писателей отъ Ломоносова до Гоголя. Тогда вы увидите, что до Пушкина все движение русской литературы заключалось въ стремленіи, хотя и безсознательномъ освободиться отъ вліннія Ломоносова и сблизиться съ жизнію, съ действительностію, следовательно, сдёлаться самобытною, національною русскою». -(«Соврем.» 1847, № 1, Брит., стр. 3—4).

ражаеть ихъ твердыя убъжденія. У насъ нѣтъ еще и такой публики, но есть уже начало ея въ немногочисленныхъ образованныхъ людяхъ, которые разсѣяны по Россіи; теперь они еще заслоняются массою людей неразвитыхъ, но скоро ихъ голосъ пріобрѣтетъ уваженіе въ толиѣ, число ихъ увеличится. Далѣе онъ объясняетъ, что такое критика и почему критика «Отеч. Записокъ» возбуждаетъ недоумѣніе другихъ журналовъ, которые, впрочемъ, мало похожи на журналы. Развитіе этихъ элементарныхъ понятій занимаетъ почти всю статью; въ концѣ ея, не болѣе пяти страницъ удѣлены перечисленію замѣчательныхъ произведеній прошедшаго года.

Въ слѣдующемъ годичномъ обзорѣ (1841 года. «Отеч. Зап.» за 1842 г., № 1) двѣ трети страницъ посвящены обширному очерку исторіи русской литературы отъ Кантемира до Гоголя. Очеркъ этотъ имѣетъ форму разговора г. А. и г. В.; г. А., выражающій мнѣнія автора, говоритъ много новаго сравнительно съ «Литературными Мечтаніями». Бѣлинскій уже видитъ внутреннюю историческую послѣдовательность въ явленіяхъ нашей литературы; но все-таки содержаніе очерка имѣетъ очень тѣсное родство съ «Литературными Мечтаніями», и общая тема выражается эпиграфомъ, взятымъ изъ Пушкина:

Сокровища роднаго слова, (Замѣтятъ важные умы) Для лепетанія чужаго, Пренебрегли безумно мы, Мы любимъ музъ чужихъ игрушки, Чужихъ нарѣчій погремушки, А не читаемъ книгъ своихъ. — Да гдь жъ опъ? Давайте ихъ!

Съ обзоромъ предъидущаго года очеркъ этотъ имъетъ еще болье близости, такъ что можетъ назваться подробнымъ развитемъ нъкоторыхъ страницъ его, которыя кратко исчисляли прежнихъ нашихъ писателей, и заключение очерка совершенно могло бы быть заключениемъ и прошлогодней статьи:

"Вы госорите, что я нашель въ нашей литературь даже внутреннюю историческую последовательность: правда, но все это еще не составляеть литературы въ полномъ смысле слова. Литература есть народное сознане, выражене

внутреннихъ, духовныхъ интересовъ общества, которыми мы пока еще очень небогаты. Нъсколько человъкъ еще не составляетъ общества, а нъсколько идей пріобрітенных знакомством съ Европою, еще менье можеть назваться напіональнымъ сознаніемъ. Наша публика безъ литературы: потому что въ годъ иять-шесть хорошихъ сочиненій на нісколько сотень дурныхъ-еще не литература; наша литература безъ публики, потому что наша публика что-то загадочное: одинъ читалъ Пушкина, другой въ восторгъ отъ г. Бенедиктова, а третій быль безь ума оть мистерій г. Тимофвева; одинь понимаеть Гоголя, другой еще въ полномъ удовольствіи отъ Марлинскаго, а третій не знаетъ ничего лунше романовъ гг. Зотова и Воскресенскаго... Театральные судьи равно хлопають и "Гамлету", и водевилямъ г. Коровкина, и "Паращъ" г. Полеваго И не думайте, чтобъ это были люди разныхъ сферъ и классовъ общества,-ньть, они всв перемешаны и перетасованы, какъ колода карть... Историческій ходъ свой наша литература совершила въ самой же себъ: ея настоящею публикою быль самъ пинущій классь, и только самыя великія явленія въ литературь находили болье или менье разумный отзывъ во всей массь грамотнаго общества... Но будемъ смотръть на литературу просто какъ на постоянный предметь занятія публики, слёдовательно, какъ на безпрерывный рядь литературныхъ новостей: что жь это за литература! Да занимайте вы десять должностей, утопайте въ практической дъятельности, а на чтеніе посвятите время между обедомъ и кофе, — и тогда не на одинъ день останетесь вы безъ чтенія. Въ журналахъ все-переводы, а оригинальнаго разва три-четыре порядочныя повъсти въ годъ, да нъсколько стихотвореній, да книгъ съ полдюжины, включая сюда и ученыя-вотъ и все. Тогда, читая въ журналахъ статьи о процвътаніи русской литературы, по неволь восклицаете, протяжно зывая: "Да гді жы онь?-давайте ихъ!" (Отеч. Зап." 1842 г. № 1. Крит., стр. 37-38).

Но надежды на будущее высказываются решительнее, нежели въ прошлогоднемъ году:

"Въ нашей грустной эпохъ много утышительнаго. Пора лътскихъ очарованій теперь миновалась безъ возврата и если теперь огромные авторитеты составляются иногда въ одинъ день, за то они часто и пропадають безъ въсти на следующий же день... Теперь очень трудно стало прослыть за человека съ дарованіемъ: такъ много писано во всёхъ родахъ, столько было опытовъ и попытокъ, удачныхъ и неудачныхъ, во всёхъ родахъ, что, действительно, надо что нибудь получить отъ природы, чтобъ обратить на себя общее внимание.... Пушкинъ и Гоголь дали намъ такіе критеріумы для сужденія объ изящномъ, съ которыми трудно отъ чего нибудь разъахаться... Хорошую сторону современной литературы составляеть и обращение ея къ жизни, къ дъйствительности: теперь уже всякое, даже посредственное, дарование силится изображать и описывать не то, что приснится ему во сне, а то, что есть или бываеть въ обществъ, въ дъйствительности. Такое направление много объщаетъ въ будущемъ. Но современная литература теряетъ оттого, что у ней нётъ головы; даже яркіе таланты поставлены въ какое то неловкое положеніе: ни одинъ изъ нихъ не можетъ стать первымъ и по необходимости теряется въ числъ,

каково бы оно ни было. Гоголь давно ничего не печатаетъ; .1ермонтова уже нътъ".

Произведеніямъ минувшаго года посвящено въ три или четыре раза болье мыста, нежели въ прошлый разъ. Журналы оцыниваются подробно; тонъ, которымъ говорится о нихъ, гораздо живые, нежели прежде: тогда Былинскій въ общихъ чертахъ излагалъ свои понятія о недостаткахъ русской журналистики вообще, теперь касается частныхъ достоинствъ и недостатковъ каждаго журнала. О многихъ изъ вышедшихъ въ прошломъ году сочиненіяхъ говорится уже довольно подробно.

Изложивъ въ первыхъ двухъ отчетахъ свой общій взглядъ на русскую литературу, въ третьемъ, за 1842 годъ, («Отечественныя Записки» 1843 г., № 1) Бѣлинскій подробно говоритъ о русской критикѣ и почти исключительно занимается послѣднимъ (стало быть, имѣющимъ наиболѣе живаго интереса) періодомъ ея—романтическою критикою. До какой степени понятія его близки къ тѣмъ, которыя выражалъ онъ въ предъидущемъ году, можно убѣдиться, сличивъ съ послѣднею изъ приведенныхъ нами выписокъ слѣдующее мѣсто изъ третьяго отчета, заключающее въ себѣ характеристику новой литературы сравнительно съ литературою романтической эпохи:

"Последній періодъ русской литературы, періодъ прозаическій, резко отличается отъ романтического какою-то мужественною зрелостію. Если хотите, онъ не богать числомъ произведеній, но зато все, что явилось въ немъ посредственнаго и обыкновеннаго, все это или не пользовалось никакимъ успахомъ, или имьло только усивхъ миновенный; а все то немногое, что выходило изъ ряда обыкновеннаго, ознаменовано печатью зредой и мужественной силы, осталось навсегда и въ своемъ торжественномъ, побъдоносномъ ходъ, постепенно пріобретая вліяніе, прорезывало на почве литературы и общества глубокіе сліды. Сближеніе съ жизнію, съ дійствительностію есть прямая причина мужественной эрелости последняго періода нашей литературы. Слово "идеаль" тодько теперь получило свое истинное значеніе. Прежде подъ этимъ словомъ разумёли что-то въ роде не любо не слушай, лать не мышай-какое-то соединеніе въ одномъ предметь всевозможныхъ добродьтелей или всевозможныхъ пороковъ. Если герой романа, такъ ужь и собой-то красавецъ, и на гитаръ играетъ чудесно, и поетъ отлично, и стихи сочиняетъ, и дерется на всякомъ оружін, и силу имьеть необыкновенную:

> Когда жь о честности высокой говорить, Какимъ-то демономъ внушаемъ— Глаза въ крови, лицо горить, Самъ плачетъ, а мы всё рыдаемъ!

Если же злодьй, то не подходите близко: съвстъ, непремвино съвстъ васъ живаго, извергъ такой, какого не увидишь и на сцень Александринскаго Театра, въ драмахъ нашихъ доморощенныхъ трагиковъ... Теперь подъ "идеаломъ" разумъютъ не преувеличеніе, не ложь, не ребяческую фантазію, а фактъ дъйствительности, такой, какъ она естъ; но фактъ, не списанный съ дъйствительности, а проведенный черезъ фантазію поэта, озаренный свътомъ общаго (а не исключительнаго, частнаго и случайнаго) значенія, возведенный самому себь, нежели самая рабская копія съ дъйствительности върна своему оригиналу. Такъ, на портреть, сдъланномъ великимъ живописцемъ, человькъ болье похожъ на самого себя, чѣмъ даже на свое отраженіе въ дагерротипь, ибо великій живописецъ ръзкими чертами вывель наружу все, что таится внутри того человька и что, можетъ быть, составляетъ тайну для самого этого человька. Теперь дъйствительность относится къ искусству и литературь, какъ почва къ растеніямъ, которыя она возращаетъ на своемъ лонь.

Литературнымъ явленіямъ минувшаго года посвящена уже половина статьи. О «Мертвыхъ Душахъ» Бѣлинскій но хочетъ говорить подробно, готовясь писать о нихъ отдѣльную статью; но то, что говоритъ онъ о нихъ, написано съ точки зрѣнія, очень сильно напоминающей разборъ «Ревизора», сдѣланный за три года:

Какъ мивніе публики, такъ и мивніе журналовъ о "Мертвыхъ Дущахъ" раздълились на три стороны: одни видять въ этомъ твореніи произведеніе, котораго хуже еще не писывалось ни на одномъ языкъ человъческомъ; другіе, наобороть, думають, что только Гомерь да Шекспирь являются, въ своихъ произведеніяхь, столь великими, какимъ явился Гоголь въ "Мертвыхъ Душахъ"; третьи (самъ Вълинскій) думають, что это произведеніе дъйствительно великое явленіе въ русской литературѣ, хотя и не идущее, по своему содержанію, ни въ какое сравнение съ въковыми всемірно-историческими твореніями древнихъ и новыхъ литературъ Западной Европы. Кто эти-одни, другіе и третьи, публика знаеть, и потому мы не имбемъ нужды никого называть по имени. Всъ три мивнія равно заслуживають большаго вниманія и равно должны подвергаться раземотранію, ибо каждое изъ нихъ явилось не случайно, а по необходимымъ причинамъ. Какъ въ числе изступленныхъ хвалителей "Мертвыхъ Душъ" есть люди, и не подозравающие въ простота своего детскаго энтузіазма истиннаго значенія, следовательно, и истиннаго величія этого произведенія, такъ и въ числѣ ожесточенныхъ хулителей "Мертвыхъ Душъ" есть люди, которые очень и очень хорошо смекають всю огромность поэтическаго достоинства этого творенія. Но отсюда-то и выходить ихъ ожесточеніе. Нікоторые сами когда-то тянулись въ храмъ поэтическаго безсмертія; за новостію и дітствомъ нашей литературы, они имѣли свою долю успѣха, даже могли радоваться и хвалиться, что имеють поклонниковъ, и вдругъ является, неожиданно, непредвиденно, совершенно новая сфера творчества, особенный характеръ искусства, всл'ядствіе

чего идеальныя и чувствительныя произведенія нашихъ поэтовъ вдругь оказываются ребяческою болтовнею, детскими невинными фантазіями... Согласитесь, что такое паденіе, безъ натиска критики, безъ недоброжелательства журналовъ, очень и очень горько?... Другіе подвизались на сатирическомъ поприщѣ, если не съ славою, то не безъ выгодъ иного рода; сатиру они считали своей монополіей, смёхъ-исключительно имъ принадлежащимъ орудіемъ, и вдругъ остроты ихъ не смѣшны, картины ни на что не похожи, у ихъ сатиры какъ будто повыпали зубы, охрипъ голосъ, ихъ уже не читаютъ, на нихъ не сердятся, они уже стали употребляться вмёсто какого-то аршина для измёренія бездарности... Что туть дёлать? перечинить перья, начать писать на новый ладъ?-но въдь для этого нуженъ талантъ, а его не купишь, какъ пучекъ перьевъ... Какъ хотите, а осталось одно: не признавать талантомъ виновника этого крутаго поворота въ ходъ литературы и во вкусъ публики, увърять публику что все написанное имъ-вздоръ, нельность, пошлость.... Но это не помогаеть; время уже рышило страшный вопрось-новый таланть торжествуеть, модча, не отвъчая на брани, не благодаря за хвалы.

"Твореніе, которое возбудило столько толковь и споровь, разділило на котеріи и литераторовь и публику, пріобріло себі и жаркихь поклонниковь и ожесточенныхь враговь, на долгое время сділалось предметомь сужденій и споровь общества, — твореніе, которое прочтено и перечтено не только тіми людьми, которые читають всякую новую книгу или всякое новое произведеніе, сколько нибудь возбудившее общее вниманіе, но и такими лицами, у которыхъ ніть ни времени, ни охоты читать стишки и сказочки, гді несчастные любовники соединяются законными узами брака, по претерпініи разныхъ бідствій, и въ довольстві, почеть и счастій проводять остальное время жизни,—твореніе, которое, въ числі почти 3,000 экземпляровь, все разошлось въ какіе нибудь полгода;—такое твореніе не можеть не быть неизміримо выше всего, что въ состояніи представить современная литература, не можеть не произвести важнаго вліянія на литературу". ("Отеч. Зап. 1843 г., № 1. Крит. стр. 13—15).

Бѣлинскаго, какъ видимъ, еще занимаетъ болѣе всего эстетическій вопросъ: дѣйствительно ли Гоголь выше всѣхъ нашихъ писателей, и каковы отношенія его къ искусству. Главными причинами вражды отсталыхъ писателей противъ Гоголя онъ находитъ литературные разсчеты и, очевидно, еще полагаетъ, что отношенія Гоголя къ нашей жизни не такъ сильно возбуждаютъ ненависть отсталыхъ критиковъ, какъ эти разсчеты. Однако же, онъ уже замѣчаетъ, что по поводу «Мертвыхъ Душъ» не только писатели, но публика раздѣлилась на враждебныя партіи, говоритъ, что «Мертвыя Души» вовсе не то, что «сказочки, въ которыхъ несчастные любовники соединяются законными узами брака».

Отвлеченный элементь кажется все еще силень; но прямо за мньніемь о «Мертвыхъ Душахъ» следуеть (стр. 15) отзывь о со-

браніи стихотвореній одного изъ нашихъ поэтовъ, который прежними опытами ноказалъ способность нисать прекрасныя антологическія стихотворенія. Бѣлинскій въ этомъ отзывѣ уже прямо говоритъ, что безъ «живаго, кровнаго сочувствія къ современному міру» нельзя быть въ наше время замѣчательнымъ поэтомъ.

Очерки исторіи русской литературы, представленные Бѣлинскимъ въ первыхъ двухъ его годичныхъ обозрвніяхъ, останавливались на поэтахъ эпохи Пушкина. Въ четвертомъ обозрѣнія («Русская литература за 1843 годъ». — «Отечественныя Записки» 1844 г., № 1) онъ даетъ очеркъ дъятельности нашихъ прозапковъ, явившихся въ последнюю половину пушкинскаго періода, потому четвертый отчеть его является какъ бы продолжениемъ втораго. Сравнивая ихъ, можно найти много параллельныхъ мъстъ; отъ третьяго отчета четвертый отличается еще меньше, по своему духу. Мы не будемъ представлять примфровъ тожества въ направлени того и другаго, довольно того, что мы уже делали это два раза, и каждый желающій легко можеть къ выпискамъ, приведеннымъ у насъ въ доказательство близости каждаго следующаго отчета съ предъидущимъ, отъискать десятки подобныхъ мёсть. Но Гоголь занимаеть въ четвертомъ обзоръ болье мъста, нежели все общее обозрѣніе прошедшаго періода прозаической литературы. Мнѣніе, высказанное о немъ Белинскимъ въ предъидущемъ году, сохраняется совершенно; но особенное развитие получають прежнія краткія замічанія о томъ, что «Мертвыя Души» должны иміть рішительное вліяніе на литературу и публику; слово «должны им'єть», конечно, уже заменяется словомъ «именотъ», и къ прежнимъ объясненіямъ негодованія, во многихъ возбужденнаго Гоголемъ, присоединяется новая, на которую въ прошедшемъ году былъ сдёланъ только легкій намекъ, теперь же она является на первомъ планъ. Эта причина-живость и мъткость гоголева комизма:

"Прежде сатира смёло разгуливала между народомъ, середи бёлаго дня и даже не заботились объ инкогнито, но прямо и открыто называлась своимъ собственнымъ именемъ, т. е. сатирою,—и никто не сердился на нее, никто даже не замѣчалъ ея гримасъ и кривляній. Отчего это? — оттого, что никто не узнавалъ себя въ ней; оттого, что она нападала на пороки общіе, которыхъ всякій имѣетъ полное право не принять на свой счетъ; оттого, что она была книгою, печатною бумагою, невиннымъ школьнымъ упражненіемъ по классу реторики... И давно-ли нравоописательные, нравственно-сатирическіе романы, юмористическія статьи и статейки являлись

стаями, какъ вороны на крышахъ домовъ, каркая на проходящихъ во все воронье гордо?--и на нихъ никто не сердился, даже какъ сердятся лътомъ на докучныхъ мухъ. Сочинитель гордо называлъ себя сатирикомъ, гонителемъ людскихъ пороковъд-и гонимые люди безъ боязни подходили къ своему гонителю, къ дряхлому, беззубому бульдогу, гладили его по толстой и лоснящейся шей и охотно кормили его набыткомъ своей трапезы. Отчего это?-оттого, что пороки, которые гналъ сатирикъ, были совсемъ не пороки, а разве отвлеченныя иден о порокахъ, реторическія тропы и фигуры. Это были своего рода бараны и мельницы, съ которыми храбро и отважно сражался сатирическій донъ-йихотъ, -такъ же, какъ добродътель, за которую онъ ратовалъ, была дли него воображаемою Дульцинеею, а для другихъ-толстою, безобразною коровницею. Теперь нётъ сатиры, и только разві какой-нибудь старый сочинитель рышится ведичаться вышедшимъ изъ моды именемъ "сатирика": теперь пишутся романы и повёсти, безъ всякихъ сатприческихъ намёреній и цілей,-а, между тъмъ, всъ на нихъ сердятся. Отчего же это?-оттого, что теперь и великіе и малые таланты, и посредственность и бездарность - всё стремятся изображать действительныхь, не воображаемыхь людей; но такъ какъ действительные люди обитають на земль и въ обществь, а не на воздухь, не въ облакахъ, гдф живутъ призраки, то, естественно, писатели нашего времени, вмфсть съ людьми изображають и общество. Общество также - ньчто дъйствительное, а не воображаемое, и потому его сущность составляють не одни костюмы и прически, но и нравы, обычан, понятія, отношенія и т. д. Человікь, живущій въ обществъ, зависить отъ него и въ образь мыслей и въ образь его дъйствованія. Писатели нашего времени не могуть не понимать этой простой, очевидной истины, и потому, изображая человька, они стараются вникать въ причины, отчего опъ таковъ или не таковъ, и т. д. Вследствіе этого, естественно, они изображають не частныя достоинства или недостатки; свойственные тому или другому лицу, отдёльно взятому, но явленія общія. Большинство же публики именно тамъ-то и видить личности, гдв ихъ нетъ и быть не можеть. Прежніе такъ называемые сатирики вменно списывали съ изв'єстныхъ имь лиць и казались въ глазахъ всьхъ не подлежащими упреку къ личностямъ. И это очень понятно: сами оригиналы не узнавали себя въ снятыхъ съ нихъ копіяхъ, потому что сатирики не могли печатно касаться обстоятельствъ того или другого лица и ограничивались общими чертами пороковъ, слабостей и странностей, которыя, будуми отвлечены отъ живой личности, превращались въ образы безъ лицъ. Притомъ же, эти сатирики смотрвли на пороки и слабости людей, какъ на что-то принадлежащее тому или другому индивидуальному лицу, какъ на что-то произвольное, что это лицо могло вийть и не иметь но своей воле и что пріобрести или отчего избавиться оно легко могло по прочтенін уб'єдительной сатиры, гдв ясно, по пальцамъ, доказана выгода и сдадость добродетели и опасныя, пагубныя следствія порока. Воть почему эти добрые сатирики брали человъка, не обращая вниманія на его воспитаніе, на его отношенія къ обществу, и тормошели на досугѣ это созданное ихъ воображениемъ чучело. Въ основание своего сатирическаго донъкихотства они положили общественную нравственность, добродушно не подозравая того, что ихъ сатиры, опирающіяся на общественность; ужасно проти-

воръчили этой нравственности. Такъ, напримъръ, въ числъ первыхъ добродътелей они полагали безусловное повиновение родительской власти и въ то же время толковали юношеству, что бракъ по разсчету - дёло безиравственное, что назконоклонство, лесть изъ выгодъ, взяточничество и казнокрадство-тоже діла безиравственныя. Очень хорошо; но что же иному юноші ділать, если онъ съ малолътства, почти съ материнскимъ молокомъ, всосалъ въ себя мистическое благоговение къ доходнымъ должностямъ, теплымъ мёстамъ, къ значительности въ обществъ, къ богатству, къ хорошей нартін, блестящей карьерь; если его младенческій слухь быль оглушень не словами любви, чести самоотверженія, истины, а словами: взяль, получиль, пріобрыль, надуль и т. п.? Положимъ, что такому юношт природа не отказала въ человъческихъ чувствахъ и стремленіяхъ; положимъ, что въ немъ пробудилась любовь къ достойной, но бедной, простаго званія цевушке, побовь, запрещающая ему соединиться съ противною ему богатою дурою, на которой, по разсчетамъ, приказывають ему жениться; положимь, что въ юношь пробудилось человыческое достоинство, запрещающее ему кланяться богатому илуту или чиновному негодяю; положимъ, что въ немъ пробудилась совъсть, запрещающая употреблять во зло ввъренные ему высшею властію въсы правосудія и расхищать ввъренныя его безкорыстію общественныя суммы: что ему тутъ ділать? Сатирикъ не затруднится отъ такого вопроса н, не задумавшись, отвётить: "жениться на предметт любви своей, служить честно и втрно отечеству..." Прекрасно; но гдѣ же повиновеніе родительской власти, гдѣ уваженіе къ родительскому благословенію, на въки нерушимому, гдъ страхъ тяжкаго отцовскаго проклятія?... И потомъ, гдъ уважение къ общественному митнію, къ общественной нравственности? Вѣдь общество не спрашиваетъ васъ, по любви или не по любви женились вы, а спрашиваеть, сколько вы взяли за женою, и приличная ди она вамъ партія, общество не спрашиваеть васъ, какимъ образомъ сдідались вы богачемъ, когда ему извёстно, что вашъ батюшка не оставилъ вамъ ни копъйки, а за супругою вы взяли не Богъ знаетъ что, или и вовсе ничего не взяли: общество знаетъ только, что вы богачъ, и потому считаетъ васъ очень хорошимъ-"благонамъреннымъ" человъкомъ... Послущайся нашъ юноша сатирика, чтобы вышло? -- отецъ его бросиль бы, жалуясь на неповиновение п презрѣніе къ его власти, потомъ онъ прошель бы, съ женою и дѣтьми, черезъ всё мытарства, черезъ всё униженія голодной, неопрятной, оборванной бёдности; виділь бы къ себі презрініе общества, а за свою правоту, за свое безкорыстіе быль бы заклеймень оть всіхъ страшными названіями безпокойнаго, опаснаго и "неблагонам вреннаго" челов ка, вольнодумца, и проч., и проч. И неужели вы, "благонамфренные" сатирики, бросите въ него камень осужденія, если, истощась и обезсилівь въ тяжелой и безплодной борьбі, онъ дойдеть до страшнаго убъжденія, что его бідность, его несчастія-необходимыя слёдствія отцовскаго гива, заслуженная кара за презрвніе общественнаго мнвнія и общественной правственности?... Но, къ счастію или къ несчастію,не знаемъ, право-такіе случам весьма рядки, какъ исключенія изъ общаго правила. По большей части бываеть такъ: юноша не долго колеблется между любовью и выгодною женитьбою, между "завиральными идеями" о безкорыстіи и правоть и уваженіемъ общества: онъ женится на комъ прикажутъ дражай-

шіе родители, живеть съ женою, какь всё, т. е. предично содержить ее, воспитываеть детей своихъ, какъ все, т. е. прилично кормитъ и одеваетъ ихъ, учить по французски и танцовать, а после этого перваго и важивайшаго періода воспитанія отдаеть въ учебное заведеніе, потомъ выгодно пристроиваеть въ службу, выгодно женить (или выдаетъ замужъ) и, умирая, отказываетъ имъ "благопріобрѣтенное" по службѣ имѣніе. И что же? Въ началѣ его поприща все превозносять его, какъ почтительнаго сына, въ конце поприща — какъ нёжнаго супруга, примёрнаго отца, "благонамёреннаго" чиновника и заключають такь: "воть что значить уважение къ общественной нравственности! вотъ что значитъ родительское благословеніе, навѣки нерушимое"! Итакъ, нашъ "благонамеренный" сатирикъ, бичъ пороковъ, самымъ нелепымъ образомъ противорачиль самому себа: поставивь выше всахь добродателей повиновение не Богу, не истинь, а этоистическимъ разсчетамъ, онъ въ то же время училъ юношу следовать свободному выбору сердца, какъ знаменію благословенія Божія, и запрещаль ему торговать священныйшими склонностями своей души; поставивъ выше всякой награды любовь и уважение общества, онъ въ то же время училь юношу оскорблять основныя правила этого самаго общества... Впрочемъ, онъ это делалъ, самъ не зная, что делаетъ и потому его сатиры не производили никакихъ следствій.

Надобно обратить внимание особенно на последнюю половину этого отрывка: она написана въ духе совершенной положительности.

Общая часть пятаго обозрѣнія («Отечественныя Записки» 1845 г., № 1) представляетъ сводъ того, что было говорено во второмъ и четвертомъ. Она можетъ казаться чистымъ повтореніемъ сказаннаго Бѣлинскимъ въ первыхъ трехъ обозрѣніяхъ; но кто внимательные всмотрится въ эти очень сходныя мысли, замѣтитъ значительную разницу между понятіями, какія имѣлъ Бѣлинскій въ 1842, и какія имѣлъ онъ въ 1845. Труднѣе замѣтитъ различіе между 1844 и 1845 годами; но и тутъ есть движеніе впередъ. Чтобы показать его въ примѣрѣ, взятомъ на удачу, приводимъ самое начало пятаго обозрѣнія:

"Воть уже иятое обозрѣніе годоваго бюджета русской литературы представляемь мы нашимь читателямь. Обязавшись передь публикою быть вѣрнымъ зеркаломъ русской литературы, постоянно отдавая отчеть во всякой вновь выходящей въ Россіи книгѣ, во всякомъ литературномъ явленіи, "Отечественныя Записки" не вполнѣ выполнили бы свое назначеніе—быть полною и подробною лѣтописью движенія русскаго слова, еслабъ не вмѣнили себѣ въ обязанность этихъ годичныхъ обозрѣній, въ которыхъ обо всемъ, о чемъ впродолженіе цѣлаго года говорилось, какъ о настоящемъ, говорится какъ о про-

шедшемъ, и въ которыхъ вск отдельныя и разнообразныя явленія пелаго гола подводятся подъ одну точку зрвнія. Не ставимъ себь этого въ особенную заслугу, потому что видимъ въ этомъ только должное выполнение добровольно принятой на себя обязанности; но не можемъ не замътить, что подобная обязанность довольно тяжела. Читатели наши знають, что большая часть этихъ годичныхъ обозръній постоянно наполнялась разсужденіями вообще о русской литературь и, следовательно, о всехъ русскихъ писателяхъ, отъ Кантемира и Ломоносова до настоящей минуты; а взглядъ на прошлогоднюю литературуглавный предметь статьи, всегда занималь ей меньшую часть. Подобныя отступленія отъ главнаго предмета необходимы по двумъ причинамъ: во первыхъ, потому, что настоящее объясняется только прошедшимъ, и потому, что но поводу целой русской литературы еще можно написать не одно, а даже и ньсколько статей, болье или менье интересныхь; но о русской литературь за тотъ или другой годъ, право, не о чемъ слишкомъ много или слишкомъ интересно разговориться. И это-то составляеть особенную трудность подобныхъ статей. Легко пересчитывать богатства истинныя или мнимыя, много можно говорить о нихъ; но что сказать о бёдности, близкой къ нищете? Да, о совершенной нищеть, потому что теперь ньть уже и мнимыхь, воображаемыхь богатствъ. А, между тамъ, о чемъ же говорить журналу, если ему уже нечего говорить о литературь? Выдь у насъ литература составляеть единственный интересъ, доступный публикъ, если не упоминать о преферансъ, говоря о немногихъ, исключительныхъ и какъ бы случайныхъ ел интересахъ. Итакъ, будемъ же говорить о литературь, — и если, читатели, этотъ предметь уже кажется вамъ несколько истощеннымъ и слишкомъ часто истощаемымъ, если толки о немъ уже доставляють вамъ только то магнитическое удовольствіе, которое такъ близко къ усыпленію, -- поздравляемъ васъ съ прогрессомъ и пользуемся случаемъ увтрить васъ, что мы, въ свою очередь, совстмъ не чужды этого прогресса, и что, въ этомъ отношенія, вы не правы, если вздумаете упрекнуть насъ въ отсталости отъ духа времени и въ наивной запоздалости касательно его интересовъ... Еще разъ: будемъ разсуждать о русской литературь-предметь и новый и любопытный ... ("Отечественныя Записки" 1845 г., № 1, crp. 1—2).

Эта пронія, съ которою говорить Бѣлинскій о своихъ обозрѣніяхъ, о своей обязанности критика—чувство, совершенно различное отъ сарказма, съ которымъ онъ говорилъ въ 1841 году о русской литературѣ, самъ будучи совершенно доволенъ тѣмъ, что изобличаетъ эту бѣдность. Теперь онъ груститъ уже не о бѣдности русской литературы: ему грустно, что надобно разсуждать объ этой литературѣ; онъ чувствуетъ, что границы литературныхъ вопросовъ тѣсны, онъ тоскуетъ въ своемъ кабинетѣ, подобно Фаусту: ему тѣсно въ этихъ стѣнахъ, уставленныхъ книгами, — все равно, хорошими или дурными; ему нужна жизнь, а не толки о достоин-

ствахъ поэмъ Пушкина или недостаткахъ повъстей Марлинскаго и Полеваго.

И дъйствительно: главный предметь его статьи—стихотворенія Языкова и г. Хомякова, которыя привлекли его вниманіе вовсе не по эстетическимь соображеніямь: нельзя же было, въ самомъ дъль, опасаться, что наши поэты стануть образцы художественности видьть не въ произведеніяхъ Пушкина и Лермонтова, а въ стихотвореніяхъ Языкова и г. Хомякова, и начнуть подражать ихъ манеръ; этой опасности вовсе не предвидълось, но важно было отношеніе стихотвореній Языкова и г. Хомякова къ нашей жизни.

Неудовлетворительность литературныхъ вопросовъ для Бѣлинскаго отразилась въ слѣдующемъ году и на самомъ объемѣ его обзора: шестой отчетъ его («Отечественныя Записки» 1846 г., № 1) очень коротокъ въ сравненіи съ предъидущими. Въ главныхъ частяхъ своихъ, онъ представляетъ развитіе нѣкоторыхъ страницъ предъидущаго обозрѣнія, говорившихъ, что только та мысль можетъ назваться мыслью, которая имѣетъ тѣсное родство съ жизнью. Вотъ, напримѣръ, отрывокъ, тѣсную связь котораго съ предъидущимъ обозрѣніемъ дегко замѣтитъ каждый читатель.

«Въ наше время, — говоритъ Бълинскій, — особенно много людей мечтающихъ и разсуждающихъ, о которыхъ, впрочемъ, не всегда можно сказать, чтобы они были въ то же время и мыслящими людьми. Не жить, но мечтать и разсуждать о жизни—вотъ въ чемъ заключается ихъ жизнь,—

"Между этими "романтиками" бывають люди умные, даже очень, хотя и безплодно умные. Они толкують не о чувствахь и не о себь только: они разсуждають вообще о жизни. Стремленіе весьма похвальное, когда оно имьеть прочную основу, практическій характерь! Но романтики вообще враги всего практическаго, которое они съ презрвніемъ отдали на долю "толыы", не понимая въ своемъ осльпеніи, что всякій геній, всякій великій дьятель есть человькъ практическій, котя бы онъ дьйствоваль даже въ сферъ отвлеченнаго мышленія. Разладъ съ дьйствительностью—бользиь этихъ людей. Въ дни кинучей, полной силами юности, когда надо жить, надо спышить жить, они, вмысто этого, только разсуждають о жизни. Нъкоторые изъ нихъ спохватываются, но поздно: именно въ то время, когда человькъ не годится уже ни на что лучшее, какъ только на то, чтобъ разсуждать о жизни, которой онъ никогда не зналъ, никогда не извъдалъ. Толпа живетъ не мысля и оттого живетъ пошло; по мыслить, не живя—развъ это лучше? развъ это не такая же или даже еще не большая уродливость?.

"Но теперь всё заговорили о действительности. У всёхъ на языке одна и та же фраза: "надо делать"! И, между темъ, все-таки никто ничего не делаетъ! Это показываетъ, что во что бы ни нарядился романтикъ, онъ все останется романтикомъ. Не понимая этого, романтики обемии руками начали хвататься за маски и костюмы,—и вышелъ пестрый маскарадъ, где на одинъ вечеръ такъ легко быть чемъ угодпо — и туркомъ, и жидомъ, и рыцаремъ. Некоторые, говорятъ, не шутя надёли на себя терликъ, охабень и шапку мурмолку; более благоразумные довольствуются только темъ, что ходятъ дома вътатарской ермолке, татарскомъ халате и желтыхъ сафьянныхъ сапожкахъ—все же историческій костюмъ! Назвались они "партіями" и думаютъ, что делать значитъ—разсуждать на пріятельскихъ вечерахъ о томъ, что только они—удивительные люди, и что кто думаетъ не по ихъ, тотъ бродить во тьмѣ.

"Во всемъ этомъ видно одно: стремленіе жить мимо жизни, глубокій внутренній разладъ съ дійствительностью". ("Отечественныя Записки 1846 г.) $\frac{1}{2}$ 1. Критика, стр. 3—4).

«Взглядъ на русскую литературу 1846 года» былъ помѣщенъ уже не въ «Отечественныхъ Запискахъ», какъ первые шесть годичныхъ обзоровъ, а въ «Современникъ». На этомъ внѣшнемъ раздѣлѣ дѣятельности Бѣлинскаго мы и остановимся теперь, потому что въ развитіи его съ 1841 года нельзя найти внутреннихъ крутыхъ поворотовъ, по которымъ можно было бы точно опредѣлить границы между двумя періодами его самостоятельной дѣятельности, указанными въ началѣ нашей статьи.

ПРИЛОЖЕНІЕ.

Отрывки изъ последней статьи Белинскаго: «Взглядъ на русскую литературу 1847 года». («Современникъ» 1848 г., №№ 1 и 3).

"Остается упомянуть еще о нападкахъ на современную литературу и на натурализмъ вообще съ эстетической точки зрвнія, во имя чистаго искусства, которое само себь цыль и вны себя не признаеть никакихь цылей. Вы этой мысли есть основаніе; но ея преувеличенность замётна съ перваго взгляда. Мысль эта чисто немецкаго происхожденія; она могла родиться только у народа созерцательнаго, мыслящаго и мечтающаго, и никакъ не могла бы явиться у народа практическаго, общественность котораго для всехъ и каждаго представляеть широкое поле для живой діятельности. Что такое чистое искусство, этого хорошо не знають сами поборники его, и оттого оно является у нихъ какимъ-то идеаломъ, а не существуетъ фактически. Оно въ сущности есть дурная крайность другой дурной крайности, т. е. искусства дидактического, поучительнаго, холоднаго, сухаго, мертваго, котораго произведенія не иное что, какъ реторическія упражненія на заданныя темы. Везъ всякаго сомнінія, искусство прежде всего должно быть искусствомъ, а потомъ уже оно можеть быть выражениемъ духа и направления общества въ известную эпоху. Какима бы прекрасными мыслями ни было наполнено стихотвореніе, какъ бы ни сильно отзывалось оно современными вопросами, но если въ немъ нать поэзіи, въ немъ не можетъ быть ни прекрасныхъ мыслей и никакихъ вопросовъ, и все, что можно замітить въ немъ, это разві прекрасное наміреніе, дурно выполненное. Когда въ романъ или повъсти нътъ образовъ и лицъ, нътъ характеровъ, нътъ ничего типическаго, -- какъ бы върно и тщательно ни было списано съ натуры все, что въ немъ разсказывается, читатель не найдетъ туть никакой натуральности, не заметить ничего верно подмеченного, ловко схвачеццаго. Лица будуть перемішиваться между собою въ его глазахь; въ разсказь онъ увидить путаницу непонятныхъ происшествій. Невозможно безнаказанно нарушать законы искусства. Чтобы списывать вёрно съ натуры, мало умёть писать, т. е. владеть искусствомъ писца или писаря: надооно уметь явленія дъйствительности провести черезъ свою фантазію, дать имъ новую жизнь. Хорошо и върно изложенное следственное дело, имеющее романический интересъ, не есть романь, и можеть служить развѣ только матеріаломь для романа, т. е. подать поэту поводъ написать романъ. Но для этого онъ долженъ проникнуть мыслію во внутреннюю сущность дела, отгадать тайныя душевныя побужденія, заставившія эти дица дійствовать такъ, схватить ту точку этого діла, которая составляеть центрь круга этихь событій, даеть имъ смысль чегото единаго, ноднаго, целаго, замкнутаго въ самомъ себе. А это можетъ сделать только поэтъ. Кажется, чего бы легче было върно списать портретъ человька? И иной цылый выкь упражимется въ этомъ родь живописи, а все не можеть списать знакомаго ему лица такъ, чтобы и другіе узнали, чей это пор-

третъ. Умъть списать върно портретъ есть уже своего рода талантъ; но этимъне оканчивается все. Обыкновенный живописецъ сделаль очень сходно портретъ вашего знакомаго; сходство не подвергается ни малъйшему сомнънію въ томъ смысят, что вы не можете не узнать съ разу, чей это портреть, а все какъ-то недовольны вмъ, вамъ кажется, будто онъ и похожъ на свой оригиналъ и не похожъ на него. Но пусть съ него же сниметь портреть Тырановъ или Брюловъ — и вамъ покажется, что зеркало далеко не такъ върно повторяеть образь вашего знакомаго, какъ этоть портреть, потому что это будеть уже не только портретъ, но и художественное произведеніе, въ которомъ схвачено не одно внишнее сходство, но вся душа оригинала. Итакъ, вирно списывать съ действительности можетъ только талантъ, и какъ бы ни ничтожно было произведение въ другихъ отношенияхъ, но чёмъ более оно поражаетъ верностію натурі, тімь несомнічніе таланть его автора. Что не все должно оканчиваться вёрностію натурё, особенно въ поэзін, — это другой вопросъ. Въ жи- (вописи, по свойству и сущности этого искусства, одно умёнье вёрно писать съ натуры можетъ служить часто признакомъ необыкновеннаго таланта. Въ поэзін это не совсьмь такъ: не умья вырно писать съ натуры, нельзя быть поэтомъ, но и одного этого умънья тоже мало, чтобъ быть поэтомъ, по крайней мфрф, замфчательнымъ.

"Но, вполнѣ признавая, что искусство прежде всего должно быть искусствомъ, мы темъ не менее думаемъ, что мысль о какомъ-то чистомъ, отрешенномъ искусствъ, живущемъ въ своей собственной сферъ, не имъющей инчего общаго съ другими сторонами жизни, есть мысль отвлеченная, мечтательная. Такого искусства никогда и нигдъ не бывало. Безъ всякаго сомивнія, жизнь раздыляется и подраздыляется на множество сторонь, имьющихь свою самостоятельность; но эти стороны сливаются одна съ другою живымъ образомъ, и нътъ между ними ръзкой раздъляющей ихъ черты. Какъ ни дробите жизнь, она всегда едина и цъльна. Говорять: для науки нуженъ умъ и разсудокъ, для творчества — фантазія, и думають, что этимъ порешили дело начисто, такъ что хоть сдавай его въ архивъ. А для искусства не нужно ума и разсудка? А ученый можеть обойтись безь фантазіи? Неправда! Истина въ томъ. что въ искусствъ фантазія играеть самую дъятельную и первенствуюшую роль: а въ наукъ – умъ и разсудокъ. Бывають, конечно, произведенія поэзін, въ которыхъ ничего не видно, кромі сильной блестящей фантазін; но это вовсе не общее правило для художественныхъ произведеній. Въ твореніяхъ Шекспира не знаешь, чему больше дивиться-богатству ли творческой фантазін, или богатству всеобъемляющаго ума. Есть роды учености, которые не только не требують фантазіи, въ которыхь эта способность могла бы только вредить; но никакъ этого недьзя сказать объ учености вообще. Искусство есть воспроизведение дъйствительности, повторенный, какъ бы вновь созданный міръ; можеть ли же оно быть какою-то одинскою, изолированною отъ всехъ чуждыхъ ему явленій діятельностію? Можеть ли поэть не отразиться въ своемъ произведеніи, какъ человікъ, какъ характеръ, какъ натура, — словомъ, какъ личность? Разумбется, нетъ, потому что и самая способность изображать явленія дійствительности безь всякаго отношенія къ самому себі-есть опятьтаки выражение натуры поэта. Но и эта способность имъетъ свои границы. Личность Шекспира просвічиваеть сквозь его творенія, хотя и кажется, что онъ такъ же равнодушенъ къ изображаемому имъ міру, какъ и судьба, спасающая или губящая его героевъ. Въ романахъ Вальтера Скотта невозможно не увидьть въ авторе человека более замечательного талантомъ, нежели сознательно-широкимъ пониманіемъ жизни, тори, консерватора и аристократа по убъжденію и привычкамъ: Личность поэта не есть что нибудь безусловное, особо стоящее, внъ всякихъ явленій извнъ. Поэтъ прежде всего — человъкъ, потомъ гражданинъ своей земли, сынъ своего времени. Духъ народа и времени на него не могутъ дъйствовать менье, чьмъ на другихъ. Шекспиръ былъ поэтомъ старой и веселой Англіи, которая, впродолженіе немногихъ лёть, вдругъ сделалась суровою, строгою, фанатическою. Пуританское движение имёло сильное вдіяніе на его последнія произведенія, наложивь на нихь отпечатокъ мрачной грусти. Изъ этого видно, что родись онъ десятильтіями двумя позже, геній его остался бы тоть же, но характерь его произведеній быль бы другой. Поэзія Мильтона явно произведеніе его эпохи: самъ того не подозрівая, онъ въ лицъ своего гордаго и мрачнаго сатаны написалъ апонеозу возстанія противъ авторитета, хотя и думалъ сделать совершенно другое, Такъ сильно действуетъ на поэзію историческое движеніе обществъ.

"Въ наше время, искусство и литература больше, чемъ когда либо прежде сділались выраженіемъ общественныхъ вопросовъ, потому что въ наше время эти вопросы стали общее, доступные всымь, ясные, сдылались для всыхы интересомъ первой степени, стали во главъ всехъ другихъ вопросовъ. Это разумьется, не могло не измънить общаго направленія искусства во вредъ ему. Такъ самые геніальные поэты, увлекаясь рішеніемъ общественныхъ вопросовъ, удивляють иногда теперь публику сочиненіями, которыхъ художественное достоинство нисколько не соотвътствуетъ ихъ таланту или, по крайней мърь, обнаруживается только въ частностяхъ, а целое произведение слабо, растянуто, вяло, скучно. Вспомните романы Жоржа Санда: Le Meunier d'Angibault, Le Pêché de Monsieur Antoine, Isidore. Но и здѣсь бѣда произошла собственно не отъ вдіянія современныхъ общественныхъ вопросовъ, а оттого, что авторъ существующую действительность хотель заменить утопією, и вследствіе этого заставиль искусство изображать мірь, существующій только въ его воображеніи. Такимъ образомъ, вмёстё съ характерами возможными, съ лицами, всёмъ знакомыми, онъ вывель характеры фантастическіе, лица небывалыя, и романъ у него, смёщался со сказкою, натуральное заслонилось неестественнымъ, поэзія смѣшалась съ реторикою. Но изъ этого еще нътъ причины вонить о паденія искусства: тоть же Жоржь Сандь посл'в Le Meunier d'Angibault написаль Teверино, а послъ Изидоры и Le Pêché de Monsieur Antoine - Лукрецію Флоріани. Порча вскусства вслідствіе вліянія современных общественных вопросовъ могла бы скорье обнаружиться на талантахъ низшей степени; но и туть она обнаруживается только въ неумвніи отличать существующее отъ небывалаго, возможное отъ невозможнаго, и еще болбе-въ страсти къ мелодрамъ, къ натянутымъ эффектамъ. Что особенно хорошо въ романахъ Евгенія Сю?-върныя картины современнаго общества, въ которыхъ больше всего видно

вліяніе современныхъ вопросовъ. А что составляеть ихъ слабую сторону, портить ихъ до того, что отбиваеть всякую охоту читать ихъ? — Преувеличенія, мелодрама, эффекты, небывалые характеры въ родь принца Родольфа, — словомъ, все ложное, неестественное, ненатуральное, — а все это выходить отнюдь не изъ вліянія современныхъ вопросовъ, а изъ недостатка таланта, котораго хватаетъ только на частности, и никогда на целое произведеніе. Съ другой стороны, мы можемъ указать на романы Диккенса, которые такъ глубоко преникнуты задушевными симпатіями нашего времени, и которымъ это нисколько пе мёшаетъ быть превосходными художественными произведеніями.

"Мы сказали, что чистаго, отръшеннаго, безусловно, или, какъ говорятъ философы, абсолютного искусства никогда и нигдъ не бывало. Если нъчто подобное можно допустить, такъ это развѣ художественныя произведенія тѣхъ эпохъ, въ которыя искусство было главнымъ интересомъ, исключительно занимавшимъ образованнѣйшую часть общества. Таковы, напримъръ, произведенія живописи итальянскихъ школъ въ XVI столетін. Ихъ содержаніе, повидимому, преимущественно религіозное; но это большею частію миражъ, и на самомъ діль предметь этой живописи-красота какъ красота, больше въ пластическомъ или классическомъ, нежели въ романическомъ смыслѣ этого слова. Возьмемъ, напримёръ, мадонну Рафаэля, этоть chef d ocuvre итальянской жизни XVI века. Кто не помнить статьи Жуковскаго объ этомъ дивномъ произведении, кто съ мододыхъ дътъ не составидъ себь о немъ понятія по этой статьь? Кто, стало быть, не быль увтрень, какь въ несомнтной истинт, что это произведение по превосходству романическое, что лицо мадонны-высочайшій идеаль той неземной красоты, которой таинство открывается только внутреннему созерцанію и то въ радкія миновенія чистаго восторженнаго вдохновенія?... Авторъ предлагаемой статьи недавно видёль эту картину. Не будучи знатокомъ живописи, онъ не позволилъ бы себѣ говорить объ этой удивительной картинѣ съ цѣлію опредълить ея значение и степень ея достоинства; но какъ діло идетъ только о его личномъ впечатлъніи и о романическомъ или не романическомъ характерь картины, то снъ думаеть, что можеть позволить себь на этотъ счеть насколько словъ. Статьи Жуковскаго онъ не читаль уже давно, можеть быть больше десяти лёть, но какъ до того времени онъ читалъ и перечитываль ее со всёмъ страстнымъ увлеченіемъ, со всею верою молодости, и зналь ее почти наизусть, то и подошель къ знаменитой картинь съ ожиданиемъ уже извъстнаго впечатичнія. Долго смотрыть онъ на нее, оставлять, обращался къ другимъ картинамъ и снова подходилъ къ ней. Какъ ни мало знаетъ онъ толку въ живописи, но первое впечатажние его было рашительно и опредаленно въ одномъ отношении: онъ тотчасъ же почувствоваль, что после этой картины трудно понять достоинства другихъ и заинтересоваться ими. Два раза былъ онъ въ Дрезденской Галлерев и въ оба виделъ только оту картину, даже когда смотрелъ на другія и когда ни на что не смотрелъ. И теперь, когда ни вспомнить онь о ней, она словно стоить передъ его глазами, и память почти замыняеть дыйствительность. Но чемь дольше и пристальные всматривался онъ въ эту картину, чёмъ больше думалъ тогда и послё, тёмъ больше убёждался, что мадонна Рафаэля и мадонна, описанная Жуковскимъ подъ именемъ рафаэлевой, -- двъ совершенно различныя картины, не имъющія между собою ничего общаго, ничего сходнаго. Мадонна Рафаэля-фигура строго классическая и нисколько не романическая. Лицо ея выражаеть ту красоту, которая существуеть самостоятельно, не заимствуя своего очарованія отъ какого нибудь нравственнаго выраженія въ лиць. На этомъ лиць, напротивъ, ничего нельзя прочесть. Лицо мадонны, равно и вся ея фигура, исполнены невыразимаго благородства и достоинства. Это дочь даря, проникнутая сознаніемъ и своего высокаго сана и своего личнаго достоинства. Въ ея взоре есть что-то строгое, сдержанное, нътъ благости и милости, но нътъ гордости, презрънія, а вмъсто всего этого какое-то незабывающее своего величія снисхожденіе. Это какъ бы сказать -idéal sublime du comme il faut. Но ни тъни неуловимаго, таинственнаго, туманнаго, мерцающаго, -- словомъ, романическаго, напротивъ, во всемъ такая отчетливая, ясная определенность, оконченность, такая строгая правильность и върность очертаній и вмёсть съ этимъ такое благородство, изящество кисти! Религіозное созерцаніе выразилось въ этой картині только въ лиці божественнаго младенца, но созерцаніе, исключительно свойственное только католицизму того времени. Въ положении младенца, въ протянутыхъ къ предстоящимъ (разумью зрителей картины) рукахъ, въ расширенныхъ зрачкахъ глазъ его видны гнёвъ и угроза, а въ приподнятой нижней губе горделивое презрѣніе. Это не Богъ прощенія и милости, не искупительный агнецъ за грѣхи міра, — это Богь судящій и карающій... Изъ этого видно, что и въ фигурь младенца нётъ ничего романическаго; папротивъ, его выраженіе такъ просто и определенно, такъ уловимо, что сразу понимаешь отчетливо, что вядишь. Разва только въ лицахъ ангеловъ, отличающихся необыкновеннымъ выраженіемъ разумности и задумчиво созерпающихъ явленіе Божества, можно найти что нибудь романическое.

"Всего естественные искать такъ называемаго чистаго искусства у грековъ. Дъйствительно, красота, составляющая существенный элементъ искусства, была едва-ли не преобладающимъ элементомъ жизни этого народа. Оттого нскусство его ближе всякаго другаго къ вдеалу такъ называемаго чистаго искусства. Но, темъ не менье, красота въ немъ была больше существенною формою всякаго содержанія, нежели самимъ содержаніемъ. Содержаніе же ему давали и религіи и гражданская жизнь, но только всегда подъ очевиднымъ преобладаніемъ красоты. Стало быть, и самое греческое искусство только бижже другихъ къ идеалу абсолютнаго искусства, но нельзя назвать его абсолютнымъ, т. е. независимымъ отъ другихъ сторонъ національной жизни. Обыкновенно ссылаются на Шекспира и особенно на Гёте, какъ на представителей свободнаго, чистаго искусства; но это одно изъ самыхъ неудачныхъ указаній. Что Шекспиръ величайшій творческій геній, поэть по преимуществу, въ этомъ нътъ никакого сомнънія; но тъ плохо понимають его, кто изъ-за его поэзіи не видить богатаго содержанія, неистощимаго рудника уроковь и фактовь для нсихолога, философа, историка, государственнаго человъка и т. д. Шексииръ все передаеть черезъ поэзію, но передаваемое далеко отъ того, чтобы принадлежать одной поэзіп. Вообще характеръ новаго пскусства-перевісь важности содержанія надъ важностью формы, тогда какъ характеръ древняго искусства-

равновѣсіе содержанія и формы. Ссылка на Гёте еще неудачиѣе, нежели ссылка на Шекспира. Мы докажемъ это двумя примърами. Въ "Современникъ" прошлаго года напечатанъ быль переводь гетевскаго романа "Wahlverwandschaften", о которомъ и на Руси было иногда толковано печатно; въ Германіи же онъ пользуется страшнымъ почетомъ, о немъ написаны тамъ горы статей и цёлыя книги. Не знаемъ, до какой степени понравился онъ русской публикѣ, и даже понравился-ли онъ ей: наше діло было познакомить ее съ замічательнымъ произведеніемъ великаго поэта. Мы даже думаемъ, что романъ этотъ больше удивилъ нашу публику, нежели понравился ей. Въ самомъ дълъ, тутъ многому можно удавиться! Дівушка переписываеть отчеты по управленію имініемь; герой романа замічаеть, что въ ея копін, чімь дальше, тімь больше почеркъ ея становится похожъ на его почеркъ. "Ты любишь меня!" восклицаетъ онъ бросаясь ей на шею. Повторяемъ: такая черта не одной нашей, но и всякой другой публикт не можеть не показаться странною. Но для нъмцевъ она нисколько ни странна, потому что это черта памецкой жизни, варно схваченная. Такихъ чертъ въ этомъ романѣ найдется довольно; многіе сочтутъ, пожалуй в весь романъ не за что иное, какъ за такую черту... Не значитъ ли это, что романъ Гёте написанъ до того подъ вліяніемъ німецкой общественности, что вив Германіи онъ кажется чёмъ-то странно-необыкновеннымъ? Но Фаустъ Гёте, конечно, вездъ-великое создание. На него въ особенности любятъ указывать какъ на образецъ чистаго искусства, не подчиняющагося ничему, кромѣ собственныхъ одному ему свойственныхъ законовъ. И, однакожъ – не еъ осудъ будь сказано почтеннымъ рыцарямъ чистаго искусства $-\Phi ayem$ ъ есть полное отражение всей жизни современнаго ему нъмецкаго общества. Въ немъ выразвлось все философское движение Германіи въ концѣ прошлаго и началѣ настоящаго стольтія. Недаромъ посльдователи школы Гегеля цитовали безпрестанно въ своихъ лекціяхъ и философскихъ трактатахъ стихи изъ Фауста. Не даромъ также, во второй части Фауста, Гёте безпрестанно впадаль въ аллегорію, часто темную и непонятную по отвлеченности идей. Гдв жь тутъ чистое искусство?

"Мы виділи, что и греческое искусство только ближе всякаго другого кі идеалу такъ называемаго чистаго искусства, но не осуществляеть его вполнічию же касается до новійшаго искусства, оно всегда было далеко отъ этого вдеала, а въ настоящее время еще больше отдалилось отъ него; но это-то и составляеть его силу. Собственно художественный интересь не могь не уступить міста другимъ важнійшимъ для человічества интересамъ, и искусство благородно взялось служить имъ, въ качестві ихъ органа. Но отъ этого оно нисколько не перестало быть искусствомъ, а только получило новый характерь. Отнимать у искусства право служить общественнымъ интересамъ, значить не возвышать, а унижать его, потому что это значить липать его самой живой силы. т. е. мысля, ділать его предметомъ какого-то сибаритскаго наслажденія игрушкою праздныхъ лінивцевъ. Это значить даже убивать его, чему доказательствомъ можеть служить жалкое положеніе живописи нашего времени. Какъ будто не замічая кинящей вокругь него жизни, съ закрытыми глазами на все живое, современное, дійствительное, это искусство ищеть вдохновенія въ от-

жившемъ прошедшемъ, беретъ оттуда готовые идеалы, къ которымъ люди давно уже охладъли, которые никого уже не интересуютъ, не гръютъ, ни въ комъ не пробуждаютъ живаго сочувствія.

"Платонъ считалъ униженіемъ, профанацією науки приложеніе геометріи къ ремесламъ. Это понятно въ такомъ восторженномъ идеалистъ и романтикъ, гражданин маленькой республики, гд общественная жизнь была такъ проста и немногосложна; но въ наше время она не имбетъ даже оригинальности милой нельности. Говорять, Диккенсь своими романами сильно способствоваль въ Англін улучшенію учебныхъ заведеній, въ которыхъ все основано было на безпощадномъ дрань врозгами и варварскомъ обращении съ детьми. Что жь туть дурнаго, спросимъ мы, если Диккенсъ действоваль въ этомъ случае какъ поэть? Развѣ отъ этого романы его хуже въ эстетическомъ отношенія? Здѣсь явное недоразумѣніе: видять, что искусство и наука не одно и то же, а не видять, что ихъ различие вовсе не въ содержании, а только въ способъ обработывать данное содержаніе. Философъ говорить силлогизмами, поэть-образами и картинами, а говорять оба они одно и то же. Политико-экономъ, вооружась) статистическими числами, доказываеть, дъйствуя на умъ своихъ читателей или слушателей, что положение такого-то класса въ обществъ много улучши. лось или много ухуднилось, вследствіе такихъ-то и такихъ-то причинъ. Поэтъ, вооружась живымъ и яркимъ изображеніемъ дійствительности, показываеть, въ върной картинъ, дъйствуя на фантазію своихъ читателей, что положеніе такого-то класса въ обществъ, дъйствительно, много улучшилось или ухудшидось, отъ такихъ-то и такихъ-то причинъ. Одинъ доказываеть, другой показы ваеть, оба убъждають, только одинь логическими доводами, другой-картинами. Но перваго слушають и понимають немногіе, другаго — всё. Высочайшій и священнъйшій интересъ общества есть его собственное благосостояніе, равно простертое на каждаго изъ его членовъ. Путь къ этому благосостоянію-сознаніе, а сознанію искусство можеть способствовать не меньше пауки. Туть и наука и искусство равно необходимы, и ни наука не можеть замъчить искусства, ни искусство науки.

"Дурное, ошибочное пониманіе истины не уничтожаеть самой истины. Если мы видимь иногда людей, даже умныхь и благонамъренныхь, которые берутся за изложеніе общественныхь вопросовь въ поэтической формъ, не имѣя оть природы ни искры поэтическаго дарованія, изъ этого вовсе не слѣдуеть, что такіе вопросы чужды искусству и губять его. Если бы эти люди вздумали служить чистому искусству, ихъ паденіе было бы еще разительнѣе. Плохъ, напримѣръ, быль забытый теперь романъ Напъ Подетоличъ, вышедшій назадь тому больше десяти лѣтъ и написанный съ похвальною цѣлю—представить картину состоянія бѣлорусскихъ крестьянъ; но все же онъ быль не совсѣмь безполезенъ, и хоть съ страшною скукою, но прочли же иные. Конечно, авторъ лучше достигъ бы своей благородной цѣли, если бы содержаніе своего романа изложилъ въ формѣ записокъ или замѣтокъ наблюдателя, не спускаясь въ поэзію; но если бы онъ взялся написать романъ чисто-поэтическій, онъ еще меньше достигъ бы своей цѣли.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Бывають писатели, пользующіеся незавиднымъ счастьемъ ни въ комъ не возбуждать неудовольствія своими сочиненіями, не вызывать никого на противоречіе себе, не иметь противниковъ. Незавидно это счастіе, потому что оно достается только людямъ пустымъ, занимающимся единственно реторическими распространеніями банальныхъ фразъ. Истина только потому и называется истиною, что противоположна заблужденію, лжи; а если существуетъ заблужденіе, то люди, его разділяющіе, стануть, конечно, возражать противъ истины; если есть ложь, то люди, ее поддерживающіе, стануть вооружаться противъ человіка, ее разрушающаго. Не только въ искусствъ, не только въ нравственныхъ, философскихъ, общественныхъ вопросахъ ни одна дёльная мысль не можетъ быть высказана, не подавая повода къ возраженіямъ, даже въ математическихъ наукахъ, столь точныхъ и доказательныхъ, истина никогда не принималась безъ противорвчій со стороны многихъ. Ньютоновъ законъ тяготенія долго казался неленостью большинству астрономовъ. «Небесная Механика» Лапласа до сихъ поръ возбуждаетъ споры. Только учебники ариометики не находятъ противоръчія, потому что все ихъ содержаніе ограничивается осязательными истинами. Только писатели безъ уб'яжденій, безъ образа мыслей, безъ содержанія и смысла уміноть говорить такъ, что ни въ комъ не пробуждають желанія спорить противъ ихъ пустословія.

Евлинскій, человікь сь твердыми убіжденіями,—человікь, высказывавшій много важныхь и новыхь въ нашей литературів истинъ, не могъ не имътъ многихъ противниковъ. Онъ касался живыхъ вопросовъ; потому во многихъ людяхъ, интересы которыхъ основывались на господствующихъ заблужденіяхъ, вражда противъ него доходила до непримиримаго ожесточенія. Не широки размѣры русской литературы, но горы бумаги были исписаны возраженіями и обвиненіями противъ Бѣлинскаго.

Каждый человекъ имеетъ свои недостатки, каждый можетъ ошибаться; у всякаго писателя есть свои слабыя стороны. Надобно было бы предполагать, что въ сотняхъ обвиненій, въ тысячахъ возраженій противъ Бёлинскаго найдутся нёкоторыя справедливыя указанія на его недостатки и ошибки: вёдь, натурально не быль же онъ изъять отъ общей человъческой участи не быть непограшительнымъ. Между противниками Вълинскаго были люди очень умные, напр., Н. А. Полевой, были люди, считавшиеся учеными (которыхъ не исчисляемъ, потому что людямъ, считающимся учеными, нътъ числа: ихъ у насъ едва ли не больше, нежели людей грамотныхъ). Много лътъ, со всевозможною старательностію, они искали у Бълинскаго ошибокъ, чтобъ имъть случай побранить его. Какъ бы, казалось, не найти? И находили. Но удивительны были эти находки. О нъкоторыхъ обвиненіяхъ мы уже говорили: это чистыя выдумки, — наприм'връ, фраза, будто бы онъ возстаетъ противъ славныхъ нашихъ писателей, когда, напротивъ, онъ упрочилъ за ними въ исторіи литературы почетное, можетъ быть, даже слишкомъ почетное мъсто; другая фраза, будто бы его требованія были слишкомъ велики, когда напротивъ, они были чрезвычайно умфренны *) — странно и вспомнить о такихъ несообразныхъ съ фактами обвиненіяхъ. А это были едва ли еще не самыя лучшія; другія еще гораздо боле странны. Неудачность всехъ нападеній на Бълинскаго объясняется, впрочемъ, очень просто: во первыхъ, во всемъ существенномъ правда была на его сторонъ, какъ то всегда бываеть въ двятельности, служащей двиствительному прогрессу; а

^{*)} Нѣтъ сомнѣнія, что если теперь желанія образованнѣйшей части публики таковы, что могуть быть удовлетворены очень легко (доказательства тому были даны публикою въ послѣднее время очень осязательнымъ образомъ), за это надо много благодарить Вѣлинскаго, всѣми силами старавшагося пріучить насъ предпочитать дѣйствительное, хотя бъ и скромное удовлетвореніе фантаверскимъ желаніямъ, и положительно указавшаго намъ мѣру разумныхъ требованій.

мелочныхъ недостатковъ не могли его противники открыть у него, потому что были люди отсталые или непроницательные и вообще не понимали дъйствительнаго положенія ученыхъ вопросовъ, о которыхъ шла рѣчь, а жизненные вопросы понимали превратнымъ или пристрастнымъ образомъ. Оттого-то обвиненія, которыя высказывались ими, были направлены совершенно неудачно. Два-три примѣра мы уже видѣли. Не менѣе забавно то обвиненіе, которое относилось къ предмету, изложенному нами во второй половинѣ предъидущей статьи.

Каждый, кто перечитываеть статьи Белинскаго въ хронологискомъ порядкъ, видитъ, что онъ тъсно связаны между собою, что въ развитіи его мивній ивть ни перерыва, ни внезапныхъ поворотовъ, что это развитие совершалось правильно и совершенно постепенно, почти неуловимымъ образомъ; а, между тъмъ, находились люди, съ удивительною мъткостію обвинявшіе Белинскаго въ томъ, что «нынъ онъ самъ противоръчитъ тому, что говорилъ за мъсяцъ». Какъ могло возникнуть мнвніе, столь очевидно противорёчившее всемъ известной твердости и последовательности убежденій Бѣлинскаго? Дѣло въ томъ, что люди, не одаренные излишнею проницательностію, вѣчно останавливаются на отдѣльныхъ фразахъ, не вникая въ связь и смыслъ ръчи, и потому имъ постоянно грезятся противоречія. Въ одной стать велинскаго говорилось, наприм връ, что, по сравнению съ англійскою, французскою, немецкою литературами, русская все еще очень быдна; въ другой статъъ говорилось, что нын'в стала она богаче содержаниемъ, нежели была прежде. Вотъ и найдено противорѣчіе: Бълинскій иногда говоритъ, что наша литература бъдна, иногда, что она богата. Таковы-то всегда были противоръчія, въ которыхъ упрекали Бълинскаго. Иногда онъ и самъ наводилъ своихъ обвинителей на подобныя открытія: замётивъ какую нибудь ошибку въ той или другой изъ прежнихъ своихъ статей, онъ безъ всякой ложной робости самъ указываль эту ошибку. Особенную радость доставиль его противникамъ следующій случай. Когда вышелъ «Тарантась» гр. Соллогуба, Бълинскому сначала показалось, что авторъ въритъ въ разумность тёхъ преобразованій въ нравахъ, предположенія о которыхъ излагаются въ его книгв, и въ краткомъ извъщении о выходъ «Тарантаса» мнъніе о книгъ произносится съ этой точки зрънія. Когда Б'єлинскій внимательніе вдумался въ идею «Тарантаса»,

ему показалось, что во многихъ странныхъ мнѣніяхъ можно оправдать автора, предположивъ, что онъ высказываетъ ихъ иронически; потому въ большой критической статьф о «Тарантасф» (которая помѣщена въ слѣдующей книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ») было сказано: «беремъ назадъ свои слова» — какой превосходный случай кричать о шаткости убѣжденій Бѣлинскаго! А, между тѣмъ, стоитъ только сличить рецензію, которая отвергалась критическою статьею, съ соотвѣтствующими мѣстами этой послѣдней, и мы увидимъ, что различіе между ними ничтожно: если бы самъ Бѣлинскій не высказалъ, что взглядъ его измѣнился, никто бы того и не могъ замѣтить *).

А въ критической статъъ, появившейся черезъ мъсяцъ («Отечественныя Записки» 1845 г., N 5) было сказано:

«Многіе видять въ «Тарантась» какое-то двойственное произведеніе, въ которомъ сторона непосредственнаго, художественнаго представленія дѣйствительности превосходна, а сторона воззрѣній автора на эту дѣйствительность, его мыслей о ней, будто бы исполнена парадоксовъ, оскорбляющихъ въ читателѣ чувство истины. Подобное миѣніе несправедливо. Тѣ, кому оно принадлежитъ, не довольно глубоко вникли въ пдею автора, и объективную вѣрность, съ какою изобразилъ онъ характеръ одного изъ героевъ «Тарантаса»—Ивана Васильевича—приняли за выраженіе его личныхъ убѣжденій, тогда какъ на самомъ дѣлѣ авторъ «Тарантаса» столько можетъ отвѣчать за миѣнія героя своего юмористическаю разсказа, сколько, напримѣръ, Гоголь можетъ отвѣчать за чувства, понятія и поступки дѣйствующихъ лицъ въ его Ревизорю или Мертвыхъ Душахъ. Между тѣмъ, ошибочный взглядъ лучшен

^{*)} Въ краткой рецензіи («Отечественныя Записки» 1845 г., N 4) говорилось:

[«]Тарантасъ» графа Соллогуба — сочинение оригинальное и интересное. Это нестрый калейдосковъ нарадоксовъ, иногда оригинальныхъ, иногда странныхъ, замѣтокъ самыхъ вѣрныхъ, наблюденій самыхъ тонкихъ, съ выводами, иногда поражающими своею истинностью, мыслей необыкновенно умныхъ, картинъ яркихъ, художественно набросанныхъ, разсужденій дѣльныхъ, чувствъ горячихъ и благородныхъ, иногда доводящихъ автора до крайности и односторонности въ уоѣжденіяхъ. Это книга живая, пестрая, одушевленная, разнообразная, —книга, которая возбуждаетъ въ душѣ читателя вопросы, тревожитъ его уоѣжденія, вызываетъ его на споры и заставляетъ его съ уваженіемъ смотрѣть даже и на тѣ мысли автора, съ которыми онъ не соглашается. Это не романъ, не повѣсть, не путешествіе, не философскій трактать, не журнальная статья, но и то, и другое, и третье вмѣстѣ. Авторъ является въ своей книгѣ и литераторомъ, и художникомъ, и публяцистомъ, и мыслителемъ».

Обстоятельство это само по себѣ вовсе не важно, и только такой строгій къ себѣ человѣкъ, какъ Бѣлинскій, могъ почесть нужнымъ указывать ошибку, и незначительную и незамѣтную. А еслибъ вздумалось ему совершенно прикрыть ее, это было бы очень легко:

части читателей на "Тарантасъ" очень понятенъ: при первомъ чтеніи, можеть показаться, будто бы авторь не чуждь желанія, хотя и не прямо, а предположительно, высказать, черезъ Ивана Васильевича, и вкоторыя изъ своихъ возэрвній на русское общество, тімь легче увлечься подобнымъ ошнобочнымъ мифніемъ, что необыкновенный талантъ автора и его мастерство живописать действительность лишають читателя способности спокойно смотръть на картины, которыя такъ быстро и живо проходять передъ его глазами. Мы сами на первый разъ увлеклись рёзкимъ противоречіемъ, которое находится между этими безпрестанно смѣняющимся и безпрестанно поражающими новымъ удивленіемъ картинами и между странными-чтобъ не сказать: нелъпыми-мевніями Ивана Васильевича. Это заставило пась забыть, что мы читаемъ не легкіе очерки, не силуэты, а произведеніе, въ которомъ характеры действующихъ лицъ выдержаны художественно, и въ которомъ нъть пичего произвольнаго, но все необходимо проистекаетъ изъ глубокой нден, лежащей въ основанін произведенія. Такимъ образомъ, беремъ назадъ свое выражение въ рецензии о "Тарантасъ" (въ 4-й кинжкъ "Отечественныхъ Записокъ"), что въ немъ, вмъстъ съ дельными мыслями, много и парадоксовъ. Только въ XV и XVI главахъ авторъ "Тарантаса" говоритъ съ читателемъ отъ своего лица; и вотъ-кстати замътить-эти-то главы больше всего сбивають читателя съ толку, раздвояя въ его ум'в произведение графа Соллогуба и ужасая его множествомъ страшныхъ парадоксовъ. Но мы не скажемъ, чтобъ это были парадоксы: это скоръе мивнія, съ которыми нельзя согласиться безусловно и которыя вызывають на споръ. Последнее обстоятельство даеть выъ полное право па книжное существование: съ чъмъ можно спорить и что стоить спора, то имееть право быть написаннымь и напечатаннымъ. Есть книги, имъющія удивительную способность смертельно наскучать читателю, даже говоря всю истину и правду, съ которою читатель вполнъ соглашается; и, наоборотъ, есть книги, которыя имъютъ еще болье удивительную способность завитересовать и завлечь читателя именио противоположностью ихъ направленія съ его убъжденіями; опъ служать для читателя повъркою его собственныхъ върованій, потому что, прочитавъ такую книгу, онъ или вовсе отказывается отъ своего убъжденія, или умъряеть его, или, наконець, еще болёе въ немъ утверждается. Такой кпигъ охотно можно простить даже и парадоксы, тъмъ болъе, если они искренны и авторъ ихъ далекъ отъ того, чтобъ подозръвать въ нихъ парадоксы. Вотъ другое дълопарадоксы умышленные, порожденные эгоистическимъ желаніемъ поддержать вопіющую ложь въ пользу касты или лица: такіе парадоксы не стоять опроверженія и спора; презрительная насмішка-единственное достойное ихъ наказаніе..."

стоило только употребить въ критической статъв оборотъ такого рода: «въ предъидущей книжкв мы сказали, что «Тарантасъ» наполненъ парадоксами», и, перифразировавъ прежнее сужденіе, продолжать: «да, авторъ часто вдается въ крайности, въ односторон-

Разница, какъ видимъ, состоитъ единственно въ томъ, что прежде Бълинскому многія изъ мыслей, излагаемыхъ Иваномъ Васильевымъ, кавались мнёніями самого автора; потомъ ему вадумалось, что можно предполагать въ изложеніи этихъ мивній тонкую пронію со стороны графа Солдогуба, и что только въ двухъ главахъ (разсказывающихъ воспитаніе Василія Ивановица и Ивана Васильевича) графъ Соллогубъ прямо издагаетъ свои собственныя понатія, -- только изъ этихъ главъ можно заключать обо истинныхъ мийніяхъ автора: въ другихъ случаяхъ кажущіеся парадоксы, быть можетъ, скрываютъ подъ собою иронію. Но отъ этого новаго предположенія изміняется только суждение о соображенияхъ, руководившихъ авторомъ "Тарантаса", и только. Взглядъ самого Бълинскаго на вещи нимало не измъняется отъ того, будеть ли онъ спорить противъ одного Ивана Васильевича, или будеть думать что мысли, высказываемыя Иваномъ Васильевичемъ, отчасти раздёляетъ н авторъ "Тарантаса". И, дъйствительно, критическая статья о "Тарантасъ" безнощадно опровергаетъ нарадоксы, все равно, отъ лица ли Ивана Васильевича, или отъ лица автора они высказываются. Вотъ, напримъръ, начало разбора XV главы, разсказывающей біографію Василія Ивановича: иронія критика нимало не смягчается тёмъ, что мненія, имъ опровергаемыя, издагаются прямо отъ лица автора.

Изобразивъ съ такою поразительною върностью "воспитаніе" Василія Ивановича и сказавъ, что даже и оно не испортило его доброй натуры, авторъ удивляется тому, что вев наши деды и прадеды воспитывались такъ же, какъ и Василій Ивановичь, а, между темъ, не въ примерь намъ, были отличнъйшіе люди, съ твердими правилами, что особенно доказывается тъмъ, что они «пръпко хранили, не по логическому убъждению, а по какому-то странному (?) внушение (?!), любовь ко всемъ нашимъ отечественнымъ постановденіямъ" (стр. 179). Здёсь авторъ что-то темновато разсуждаеть: но сколько можемъ мы понять, подъ отечественными постановленіям онъ раразумбетъ старые обычаи, которыхъ наши деды и прадеды, действительно, кръпко держались. Кому не извъстно, чего стоило Петру Великому сбрить бороду только съ малъйшей части своихъ подданныхъ? Впрочемъ, добродътель, которая возбуждаеть такой энтувіазмъ въ авторів "Тарантаса", и которая заключается въ крвпкомъ храненіи старыхъ обычаевъ, именно изъ того и вытекала, что наши дёды и прадёды, какъ говорить графъ Соллогубъ, были точно "люди не грамотные" (стр. 179). Мы не можемъ прійти въ себя отъ удивленія, не понимая, чему же авторъ туть удивляется... Эта добродътель и теперь еще сохранилась на Руси, именно между старообрядцами разныхъ толковъ, которые, какъ извёстно, въ грамоте очень не сильны. Китайцы тоже отличаются этою добродътелью, именно потому, что они, при

ность,—это тым странные, что самь онь очень часто и удачно подсмывается нады этою односторонностью, выставляя сы тонкою проніею нелыпость понятій своего героя, Ивана Васильевнча». Читатель согласится, что посредствомы этого оборота легко было бы выразить все, что выражено вы выписанномы нами отрывкы критической статьи, и сы тым сохранить совершенное внышнее согласіе этой статьи сы прежнимы отзывомы. Такы постоянно и лылають почти всы писатели. Только немногіе, слишкомы твердые вы своихы основныхы убыжденіяхы, слишкомы ясно понимающіе, что они идуть во всемы существенномы по прямой дорогы, не боятся сами выставлять на виды всы свои ошибки *).

своей грамотности, ужасные невъжды и обскуранты. Но еще больше китайцевъ отличаются этою добродътелью безчисленныя породы безсловесныхъ, которыя совсъмъ не способны знать грамотъ, и которыя до сихъ поръ живутъ точь-въ-точь, какъ жили ихъ предки съ перваго дня созданія... Вотъ, если бы авторъ "Тарантаса" нашелъ гдъ-нибудь людей просвъщенныхъ и образованныхъ, по которые кръпко держатся старыхъ обычаевъ, и удивился бы этому, тогда бы мы нисколько не удивились его удивленію и вполнъ раздълили бы его...

Мы не будемъ говорить, какъ Василій Ивановичь служинь въ Казани плясалъ на одномъ балу казачка и влюбился въ свою даму: но мы не можемъ пропустить рацеи его "дражайшаго родителя", въ отвъть на "покорнъйшую" просьбу "послушнъйшаго" сына о благословении на бракъ: "Вишь, щенокъ, "что затъяль; еще на губахъ молоко не обсохло, а ужь о бабъ думаетъ". Отъ матери онъ услышаль то же самое. Воля мужа была ей закономъ. "Даромъ, что пьяница", думана она, "а все-таки мужъ". При этомъ, авторъ не могъ удержаться отъ восклицавія: "такъ думали въ старину!" Хорошо думали въ старину! прибавимъ мы отъ себя. Когда милый "тятенька" Василія Ивановича умеръ отъ сивухи, добрые его крестьяне горько о немъ плакали: картина была умилительная... Авторъ очень остроумно замъчаетъ, что "любовь мужика къ барину есть любовь врожденная и почти неизъяснимая": мы въ этомъ столько же увърены, какъ и онъ. Наконецъ, Василій Ивановичъ женился и поёхаль въ Мордасы; на границе помёстья, всё мужики, стоя на комьняхь, ожидали молодыхь съ хлъбомъ и солью. "Русскіе престьянеговорить авторъ-не кричать виватовъ, не выходять изъ себя отъ восторга, но тихо и трогательно выражають свою преданность, и жалокь тоть, кто видить въ нихъ только лукавыхъ, безсповесныхъ рабовъ и не въруетъ въ ихъ искренность" (стр. 187). Объ этомъ предметъ мы опять думаемъ точно такъ же, какъ самъ авторъ. Еслибъ Василій Ивановичь спросиль у своего старосты, отчего крестьяне такъ радуются, староста, навърное, отвътилъ бы:

на радости, тебя увидя, иляшутъ.

^{*)} Говоря строго, надобно признаться что ошибки въ настоящемъ случав

Исторія съ «Тарантасомъ», нами разсказанная была самымъ важнымъ изъ тѣхъ случаевъ, на которые ссылались противники Бълинскаго въ доказательство шаткости его мнѣній; другіе доводы ихъ были еще забавнѣе; но было бы слишкомъ долго припоминать эти другіе случаи. Наша литература вообще имѣетъ еще слишкомъ мало опытности, и только этимъ объясняется возможность до чрезвычайности странныхъ недоразумѣній и невѣроятныхъ промаховъ, примѣры которыхъ такъ часты въ ней. Въ самомъ дѣлѣ, правдонодобное ли дѣло, чтобы писателя, подобнаго Бѣлинскому, могли обвинять въ шаткости мнѣній, когда скорѣе можно было говорить о чрезвычайномъ упорствѣ его? Ни въ одной изъ западно-евронейскихъ литературъ, болѣе опытныхъ, такое странное недоразумѣніе невозможно.

Мы не безъ намѣренія останавливаемся на обвиненіяхъ противъ Вѣлинскаго, хотя они по своей совершенной пустотѣ не заслуживаютъ ни мадѣйшаго вниманія: для характеристики положенія нашей литературы они имѣютъ свою цѣну. Важность истори-

не было вовсе, и что Бълинскій не имъдъ основательной причины брать назадъ прежнія слова. Авторъ "Тарантаса" очевидно подсмъивается во многихъ случаяхъ надъ Иваномъ Васильевичемъ; но столь же очевидно, что во многихъ случаяхъ онъ выставляетъ его сужденія, какъ основательныя и справедливыя. Потому объ фравы: въ парадоксахъ "Тарантаса" "скрывается пронія" и "парадоксы эти высказываются какъ положительная истина",—объ эти фразы равно могутъ бытъ употреблены, равно близки къ правдъ: на однъхъ страпицахъ "Тарантаса" выставляется нелъпымъ то самое, что на другихъ представляется глубокою мудростью. Противоръчіе въ книгъ, а не въ критихъ.

Мы издожили дёло въ томъ видё, какъ оно было понято большинствомъ тогдашней публики и литераторовъ, принявшихъ оговорку Бёлинскаго въ серьёзномъ смыслѣ. На самомъ же дёлѣ ближе къ правдѣ было бы другое понятіе о ея смыслѣ. Критическан статья о "Тарантасѣ" написана очень ѣдко; нелѣпость мнѣній Ивана Васильевича обнаруживается въ ней самымъ колкимъ образомъ. Потому слова: "эти мнѣнія не должны быть приписываемы автору, онъ самъ вмѣстѣ съ нами смѣется надъ нами и написалъ книгу свою именно съ тою цѣлію, чтобъ обнаружить ихъ нелѣпости",—слова эти, по всей вѣроятности, внушены только желаніемъ оказать возможную пощаду писателю, эти слова внушены деликатностію,—другаго смысла не слѣдовало бы и искать въ нихъ. Такимъ образомъ, всѣ громкія выходки противъ Бѣлинскаго, будто бы въ самомъ дѣлѣ отказывавшагося отъ мнѣнія, высказаннаго за мѣсяцъ,—всѣ эти выходки были, по настоящему основаны на недогадливости о смыслѣ его оговорки. Примѣрами такой недогадливости богата бѣдная исторія нашей литературы.

ческаго явленія опредѣляется не только его безотносительнымъ содержаніемъ, но и сравненіемъ его съ другими окружающими явленіями. Отсталость, мелочность или пустота направленій, которыя существовали въ русской литературѣ внѣ критики Бѣлинскаго, заставляють насъ вдвойнѣ дорожить этою критикою *).

Чёмъ внимательнее будемъ мы сравнивать въ хронологическомъ порядкъ всъ статьи, написанныя Бълинскимъ, тъмъ очевиднъе будеть обнаруживаться, что развитіе его понятій совершалось совершенно логически, постепеннымъ, почти неуловимымъ образомъ. Но и представленное въ предъидущей стать в сравнение шести годичныхъ отчетовъ его о русской литературѣ, въ «Отеч. Запискахъ» служить уже достаточнымъ доказательствомъ тому. Продолжать это сравненіе и на два последніе отчета, помещенные въ «Современникъ, было бы излишне, потому что никто не утверждалъ, чтобы въ последнее время мненія Белинскаго изменялись; напротивъ того, полъ конецъ его жизни многіе стали говорить, что Б'елинскій началь повторяться, что его новыя статьи не более, какъ перифразы прежнихъ-мнфніе, столь же основательное, какъ и всф упреки, разсмотрвеные нами прежде. Повторимъ: наша литература такъ молода и неопытна, что безпрестанно встречаются въ ней самыя наивныя недоразуменія, для разъясненія которыхъ надобно бываеть серьезно и подробно разсуждать о самыхъ элементарныхъ понятіяхъ.

Бълинскій писаль критическія статьи о русской литературів виродолженіе четырнадцати льть. Они разсівны по нісколькимы журналамь. Читатели журналовь постоянно сміняются одни другими. Изъ пятидесяти человікть, читавшихъ «Отечественныя Записки» 1845 года, едва ли одинъ быль знакомъ съ «Телескопомъ»

^{*)} Нѣть надобности повторять, что Бѣлинскаго должно считать только дальнѣйшимъ представителемъ направленія, считавшаго между своими послѣдователями почти всѣхъ даровитыхъ и образованныхъ русскихъ писателей, и что говоря: "внѣ критики Бѣлинскаго были только пустота и отсталость", мы говоримъ только: "внѣ направленія, представителемъ котораго въ критикѣ былъ Бѣлинскій, нѣтъ ничего замѣчательнаго или плодотворнаго", а вовсе не имѣемъ желанія уменьшать заслуги другихъ полезныхъ дѣятелей того времени, равдѣлявшихъ съ Бѣлинскимъ честь быть выразителями живыхъ мыслей. Бѣлинскій былъ, какъ мы уже говорили, только одинъ, первый или дѣятельнѣйшій изъ многихъ.

1835 года и едва ли пять человъкъ слъдили за «Отеч. Записками» съ 1840 года; изъ десяти человъкъ, читавшихъ «Современникъ» 1847 года, едва ли одинъ читалъ «Отеч. Записки» за всв предъидущіе годы. Возможно ли было бы въ стать в «Отеч. Зап.» 1845 г. уклониться отъ необходимаго объясненія того или другаго понятія на томъ основаніи, что оно ужь объяснено въ «Телескопъ» 1845 г., когда изъ людей, для которыхъ писана статья 1845 г., только очень немногіе были знакомы съ этимъ прежнимъ объясненіемъ? Критическая статья пишется для публики, она должна имъть въ виду, что различные годы даже одного и того же журнала имъютъ постоянно измёняющійся кругь читателей. Оттого повторенія въ критическихъ статьяхъ неизбъжны. Такъ всегда и бываетъ у всъхъ писателей, занимающихся критикою. Конечно, если соединить въ одинъ переплетъ всф статьи Бфлинскаго, многія страницы этого сборника будуть заключать повторенія, — но должно помнить, что эти статьи были разсвяны по сотнямъ книгъ. Избъгать повтореній было бы въ критическомъ писателъ страннымъ педанствомъ-безъ повтореній ни одна изъ его статей не была бы понятна и для десятой доли своихъ читателей. Возьмите любой сборникъ критическихъ статей автора, писавшаго впродолжение многихъ летъ, и вы увидите, что половина его страницъ заключаютъ повтореніе сказаннаго въ другой половинъ. У насъ теперь въ модъ критическія статьи Маколея-укажемъ хотя на нихъ: просматривая этотъ сборникъ, вы въ двадцати местахъ найдете одни те же разсужденія о временахъ Елисаветы, о реформаціи въ Англіи, о вліяніи на ходъ англійской исторіи островитянскаго положенія Англіи, о вліяніи того обстоятельства, что въ Англіи долго не было постоянной армін, и т. д., и т. д. Но въ Англіп никому не можетъ придти въ голову упрекать за то Маколея, говорить, что онъ повторяется, что онъ исписался; а у насъ говорилось это о Белинскомъ, и говорившіе не подозрѣвали, что говорять несообразно съ здравымъ смысломъ.

Впрочемъ, мало сказать, что повторенія для Вѣлинскаго были стольже необходимы, какъ, напримѣръ, для Маколея: они были для русскаго критика гораздо необходимѣе, нежели для англійскаго. Это зависитъ отъ различнаго положенія и литературы нашей и публики.

Мивнія, которыя излагаеть Маколей, излагаются сотнями дру-

гихъ англійскихъ писателей; они занесены въ книги, которыя находятся въ библіотекѣ каждаго имѣющаго библіотеку, хотя изъ сотни книгъ (а число такихъ людей въ Англіи въ тысячу разъ больше, нежели у насъ).—и однако же, Маколею было необходимо двадцать разъ повторять одну и ту же мысль. У насъ не то. Мнѣній, которыя излагались Бѣлинскимъ, вы не могли найти ни въ одной русской книгѣ, ни въ одномъ журналѣ, кромѣ того, въ которомъ писалъ онъ.

Европейская публика привыкла къ дъятельной умственной жизни. Она приготовлена ко всякой новой мысли, готова съ перваго раза замътить и оценить ее. У насъ — мы хотъли бы сказать: у насъ то же самое, но факты говорятъ совершенно пе то. У насъ даже старыя мысли, если только въ нихъ есть что нибудь живое, возбуждаютъ недоумъніе, будто неслыханная новость — вотъ и свидътельство о томъ, съ какимъ успехомъ бывали замъчены и оценны эти старыя мысли, когда являлись въ нашей литературт новыми. Намъ нужно твердить, твердить и твердить, чтобы въ нашемъ вниманіи, въ нашей памяти утвердилось наконецъ то, о чемъ мы читаемъ.

Не споримъ, есть у насъ люди, составляющіе исключеніе изъ этого правила-- слишкомъ грустно было бы если и того не было -но журнальныя статьи пишутся не для людей, составляющихъ исключеніе. А если кто вздумаль бы сомніваться въ справедливости сказаннаго нами, то очень легко привести доказательства, не покидая ръчи о Бълинскомъ: сколько въ последние годы было случаевъ, что однихъ писателей хвалили, другихъ осуждали за новыя, будто бы мысли, а, между твиъ, эти мысли были заимствованы изъ статей Бълинскаго, да, въ довершение эффектности доказательства въ нашу пользу, обыкновенно принадлежали къ числу мыслей, которыя чаще всего повторяль онъ. Примъровъ легко набрать десятки. Укажемъ только одинъ, истинно восхитительный: когда была мода на библіографію, прославившіеся въ то время библіографы были превозносимы особенно за то, что чрезъ нихъ критическая исторія нашей литературы воздвигается на основаніи совершенно новомъ-на основаніи разработки фактовъ, о необходимости которой (будто бы) прежде у насъ и не думали, считая (будто бы) подробное изследование фактовъ безполезнымъ. Къ этимъ похваламъ присоединялись упреки Белинскому за то, что онъ, самъ (будто бы) пренебрегая разработкою фактовъ, доказывалъ (будто бы) безполезность ея. Говорить это можно было только забывъ или вовсе никогда не имѣвъ понятія, что, при всякомъ удобномъ случав, Бѣлинскій твердилъ о необходимости разработки фактовъ, возбуждаль къ ней неутомимо, ободрялъ каждый сколько нибудь сносный опытъ въ этомъ родѣ. Надобно прибавить, что онъ самъ неутомимо занимался этою разработкою и собралъ для исторіи нашей литературы во сто разъ больше фактовъ, нежели кто нибудь изъ современныхъ ему или позднѣйшихъ писателей по части исторіи литературы. Такихъ восхитительныхъ примѣровъ можно было бы найти очень много въ журналахъ нашихъ за пятидесятые годы. Эти ошибки, кажется, слишкомъ ясно доказываютъ, что память у насъ довольно коротка, и что слишкомъ упорно нужно твердить намъ одну и ту же мысль, чтобы она сколько нибудь вошла въ наше сознаніе.

По необходимому условію критической діятельности, у Білинскаго часто встрвчаются повторенія основныхъ мыслей, и тв, которые видёли въ этомъ неизбежномъ качестве всякой критики особенный недостатокъ Белинскаго, обнаруживали только свое незнакомство съ понятіями объ условіяхъ, сообразно съ которыми долженъ действовать критикъ. Но та, которые выводили изъ этихъ новтореній заключеніе, что въ носледніе годы Белинскій только новторяль сказанное имъ прежде, не прибавляя ничего новаго, что онъ исписался. - эти строгіе судьи обнаруживали, что они не въ состояній даже понимать смысла читаемых статей и въ своихъ сужденіяхъ руководятся только отъискиваніемъ сходныхъ словъ, Въ 1842 году Бълинскій говориль о значеніи Ломоносова, и въ 1847 также-этого было для нихъ довольно: они рѣшали, что въ 1847 году онъ не сказалъ о Ломоносовъ ничего больще, какъ то, что говориль за пять л'ыть. А между тімь, стоило бы только сравнить соотвётствующія страницы въ двухъ обзорахъ, и они увидёли бы, что въ 1847 году Бълинскій, кратко упоминая о тёхъ вопросахъ по поводу Ломоносова, которые объяснилъ прежде, главное вниманіе обращаеть на вопросы, которыхъ прежде не касался. Общаго между двумя этими эпизодами только то, что они говорять объ одномъ писателъ и написаны по одному и тому же общему понятію о характер'в его сочиненій, они согласны между собою въ общемъ взглядъ на Ломоносова; но ихъ содержание, частныя мысли, въ нихъ развиваемыя, совершенно различны. Въ 1842 году Бълинскій доказывалъ, что оды Ломоносова внушены не жизнью, а подражаніемъ иноземной реторической поэзіи. Почему такъ было и могло ли быть иначе, при тогдашнемъ положении русской умственной жизни, объ этомъ онъ не говорилъ въ 1842 году. Въ 1847 году, кратко упомянувъ, что поэзія Ломоносова есть позэія подражательная, Белинскій не останавливается на этомъ факте, а объясняеть его необходимость, доказываеть, что именно по своей подражательности оды Ломоносова удовлетворяли потребностямъ того времени, что подражание явленіямъ цивилизованной жизни было тогда для насъ необходимъйшимъ и плодотворнъйшимъ дъломъспрашивается: неужели содержание этого эпизода не совершенно ново въ сравненіи съ содержаніемъ прежняго эпизода? Чудно устроенъ свътъ; и хорошо, что не нашимъ противникамъ Бълинскаго пришлось рёшать вопросъ объ отношеніи напримірь, Нибура къ Титу Ливію или Адама Смита къ Ксенофонту: они тотчасъ бы открыли, что англійскій экономисть не болье, какъ повториль греческаго, а немецкій историкъ-латинскаго. Въ самомъ деле, предметы одни и тъ же у нихъ: Нибуръ и Титъ Ливій, оба говорятъ о Ромуль и Нумь, о Цинциннать и Камилль, Адамъ Смитъ и Ксенофонть, оба говорять о государственных доходахь и расходахь, о земледеліи и ремеслахъ. Какое намъ дело до того, что въ сочиненіи одного разсматриваются одни вопросы въ сочиненіи другаго-совершенно другіе? Об'є книги им'єють одинь общій предметь, одинаковое заглавіе-чего же больше? Не ясно ли, что позднъйшая изъ двухъ книгъ должна быть повтореніемъ болье старой? зачемъ вникать въ смыслъ? -- это дело не безонасное, да и не всякому оно по силамъ.

Кто вникаеть въ смыслъ, не ограничивая своего разумънія исключительно именами и словами, тому, конечно, всегда казался чистою нельпостію упрекъ Бълинскому за повтореніе стараго или даже и за неподвижность. Трудно даже повърить, чтобы кому нибудь могло придти на мысль выбрать такую тему для своихъ филиппикъ; а, между тъмъ, Бълинскаго, дъйствительно, постоянно упрекали въ томъ, что онъ въчно повторяеть одно и то же, хотя для всякаго читавшаго его статьи поразительнъйшею чертою въ дъятельности этого писателя должно было бы представляться постоянное стремленіе его впередъ. Вообще, говоря объ упрекахъ,

какіе ділались Білинскому, чувствуещь себя совершенно неловко, какъ бы разсуждаль о томъ, справедливо ли упрекать Волгу за то, что вода стоить въ ней неподвижно. Что ділать съ такимъ мивніемь о неподвижности воды Волги? Объяснять его неумістность кажется оскорбительнымъ для глазъ и здраваго смысла; а, между тімъ, попробуйте не отвічать, если кто нибудь выскажеть его, — и человість, высказавшій этоть остроумный упрекъ, будеть воображать, что онъ остается правъ. А если такихъ устроумныхъ людей много, то на совісти вашей будеть лежать тяжелый гріхъ, когда вы оставите ихъ въ заблужденіи.

Мы приведемъ еще только одинъ примеръ въ опровержение страннаго заблуждения о которомъ упомянули сейчасъ.

Рядъ статей Бълинскаго о Пушкинъ, безъ всякаго сомнънія, представляетъ одно стройное целое; все эти статьи написаны подъ вліяніемъ одной мысли, по одному общему плану, и, кажется, до сихъ поръ никому еще не приходило въ голову утверждать, чтобы статьи эти въ чемъ нибудь противоръчили одна другой или чтобы общій иланъ не быль въ нихъ строго соблюденъ. Однако же, перечитывая статьи о Пушкинъ, изъ которыхъ первая помъщена въ шестой книгь «Отеч. Зап.» 1843 года, а последняя въ одинадцатой книге 1846 года, невозможно не заметить, что взглядь Белинскаго постепенно становится все шире и глубже, а содержание статей все решительные проникается интересами національной жизни. Такъ, напримъръ, въ началъ первой статьи значение Пушкина объясняется преимущественно съ художественной точки зрвнія, а въ заключении последней статъи сильнее, нежели чисто художественное достоинство произведеній Пушкина, выставляется на види значение его дъятельности для нашего общества, въ которомъ его поэзіею пробуждалась гуманность *). Четвертая статья, разсматри-

^{*)} Вотъ окончаніе послідней изъ статей о Пушкині:

[&]quot;Заключаемъ. Пушкивъ былъ по преимуществу поэтъ, художникъ и больше ничёмъ не могъ быть по своей натуръ. Онъ далъ намъ поэзію, какъ искусство, какъ художество. Потому опъ навсегда останется великимъ, образцовымъ мастеромъ поэзін, учителемъ искусства. Къ особеннымъ свойствамъ его поэзін принадлежитъ ея способность развивать въ людяхъ чувство изящнаго и чувство гуманности, разумъя подъ этимъ словомъ безконечное уклженіе къ достоинству человъка, какъ человъка. Несмотря на генеалогическіе свои предразсудки, Пушкинъ по самой натуръ своей былъ существомъ побящимъ, симпатичнымъ, готовымъ отъ полноты сердца протянуть руку кажъ

вающая лицейскія стихотворенія Пушкина, занимается преимущественно формальнымъ объясненіемъ той связи, въ какой манера Пушкина находится съ манерами предшествовавшихъ ему поэтовъ. Шестая, говорящая о «Руслань и Людмиль», «Кавказскомъ Пльнникъ», «Бахчисарайскомъ Фонтанъ», «Братьяхъ Разбойникахъ», ограничивается чисто литературными сужденіями объ этихъ произвеленіяхь: но въ седьмой статьв («Цыганы», «Полтава»), понятія Алеко о любви уже служать поводомъ къ эпизоду о нравственныхъ понятіяхъ, а въ осьмой и девятой статьяхъ, заключающихъ разборъ «Онъгина», эпизоды подобнаго рода занимаютъ уже наибольшее число страницъ, Такъ, перечитывая статьи, составляющія, повидимому, совершенно однородное цалое, строго выполненныя по заранье обдуманному плану, мы можеть видьть, какъ расширяется кругъ предметовъ, говорить о которыхъ Вълинскій считаетъ своею главною обязанностью, и какъ чисто литературный взглядъ его все болъе и болье оживляется, соединяясь съ заботою о другихъ потребностяхъ общества, какъ самая литература все яснее и яснее является Бълинскому сослужительницею интересовъ не столько искусства, сколько общества.

Заговоривъ о тъхъ упрекахъ, какіе дълались Вълинскому, мы хотимъ покончить съ этимъ предметомъ и для того должны сказать нъсколько словъ относительно обвиненія, столь же неосновательнаго въ сущности, такъ и всъ предъидущія, но имъвшаго по крайней мъръ, тънь внъшняго правдоподобія для людей, которые судятъ объ умъ и другихъ дарованіяхъ писателя не по его сочиненіямъ, а по формальнымъ обстоятельствамъ его жизни.

Лавуазье быль генеральный откупщикь, одинь изъ самыхъ дельныхъ и деятельныхъ по финансовой части директоровъ огромнаго коммерческаго предпріятія; но онъ создаль новейшую химію, и никто въ Европе не вздумаль отвергать его заслуги науке на томъ основаніи, что-де онъ быль промышленникъ: некогда ему было основательно заниматься химією. Вильгельмъ Гумбольдтъ быль дипломатъ, быль министръ; но онъ написаль геніальныя сочиненія по филологіи,—никто въ Европе не думаль отвергать достоин-

дому, кто казался ему "человъкомъ". Несмотря на его пылкость, способную доходить до крайности, при характеръ сильномъ и мощномъ, въ немъ было много дътски кроткаго, мягкаго и нъжнаго, и все это отразилось въ его изящныхъ созданіяхъ.

ство этихъ сочиненій на томъ основаніи, что-де некогда было Гумбольдту основательно заниматься филологією: онъ нисалъ денеши, вель переговоры и писалъ резолюціи на дёловыхъ бумагахъ. Анкетиль Дюперронъ былъ матросомъ, потомъ слугою въ Остъ Индін,—но онъ первый изучилъ зендскій языкъ и познакомилъ Европу съ огнепоклонническою цивплизацією,—и опять никто не вздумалъ спорить противъ него на томъ основаніи, что-де некогда матросу и лакею заниматься науками. Яковъ Бемъ, получивъ такое воспитаніе, которое едва научило его читать и писать, занялся для своего пропитанія сапожнымъ мастерствомъ и до конца жизни шилъ очень хорошіе сапоги, но кромѣ того, написалъ геніальныя философскія творенія,— и опять-таки никто въ Европѣ не думалъ говорить, что должны быть они плохи, потому-де, что куда же сапожнику быть хорошимъ философомъ: его дѣло точать сапоги и сучить дратву.

Это происходить оть недогадливости умныхь и образованных людей въ Европѣ. Они, оѣдняжки, не подумали о самомъ легкомъ и вѣрномъ средствѣ, судить, хороши ли ученыя сочиненія такогото автора. А вѣрнѣйшее средство это состоить въ томъ, чтобы спросить у автора: «покажи-ка намъ свои дипломы, скажи-ка, гдѣ ты кончилъ курсъ, какія ученыя общества приняли тебя въ число своихъ членовъ, какую должность ты занимаешь»? Есть дипломы у автора, занимаетъ онъ ученую должность, — значитъ и ученыя

его сочиненія прекрасны.

Это правило съ успѣхомъ было у насъ примѣняемо къ Н. А. Полевому, но еще съ большимъ успѣхомъ къ Бѣлинскому. «Человѣкъ-де былъ не получившій никакихъ дипломовъ, — ну, и значитъ, не могъ основательно писать объ ученыхъ предметахъ».

Бълинскій не быль ни сапожникомъ или матросомъ, ни дипломатомъ или банкиромъ, никакое житейское ремесло не отвлекало его отъ книгъ, но у него не было дипломовъ: какая же тутъ можетт быть ученость, посудите сами.

Да посмотрите, догадливые судьи, на самыя сочиненія и р'вшайте вопросъ объ учености писателя по его твореніямъ.

Этого способа повърки своихъ знаній Вълинскій не можетъ бояться. Будущіе біографы Бълинскаго разскажуть намъ, когда и чълъ именно онъ занимался и какъ пользовался доступными ему средствами для пріобрътенія знаній, — мы пишемъ не біографію,

насъ занимаютъ здѣсь не люди, а только ихъ сочиненія, — и потому для насъ довольно знать, что изученіе сочиненій Бѣлинскаго самымъ неоспоримымъ образомъ опровергаетъ всякія сомнѣнія въ основательности его знаній. У насъ мало было писателей, которыхъ можно было бы сравнить съ нимъ въ этомъ отношеніи. Кажется, нельзя сказать, чтобы кругъ вопросовъ, обнимаемыхъ его сочиненіями, былъ тѣсенъ, а между тѣмъ, положительно видишь, перечитывая его статьи, что обо всѣхъ вопросахъ, какихъ ни казался онъ, онъ имѣлъ понятія очень основательныя, которымъ могли бы позавидовать многіе ученые писатели.

Что же касается его спеціальной науки—псторіи русской литературы, онъ быль и до сихъ поръ остается первымъ знатокомъ ея. Въ этомъ отношеніи никто изъ нашихъ ученыхъ не могъ до сихъ поръ сравниться съ нимъ. Вообще надобно признаться, Бѣлинскій, будучи значительнъйшимъ изъ всѣхъ нашихъ критиковъ, былъ и однимъ изъ замѣчательнъйшихъ нашихъ ученыхъ. Это фактъ неоспоримо доказываемый его сочиненіями. Сомнѣваться въ томъ значить обнаруживать или недостатокъ научнаго образованія въ себѣ, или свое незнакомство съ сочиненіями Бѣлинскаго.

Для иныхъ (впрочемъ, можно быть увфреннымъ, очень немногихъ) можеть показаться излишнею суровостью съ нашей стороны то, что мы не дёлали ни малёйшихъ уступокъ въ пользу людей, осыпавшихъ Вълинскаго упреками и обвиненіями, — неужели, въ самомъ дёль, эти люди были совершенно неправы? -- Совершенно неправы, - и тутъ нътъ ничего особеннаго или страннаго для людей, имъющихъ понятіе объ исторіи, которая очень часто говорить о случаяхъ совершенно подобныхъ, часто показываетъ намъ, что одна изъ боровшихся партій была совершенно права, и всв обвиненія, взводившіяся на нее противниками, были совершенно ложны, происходя единственно отъ недальновидности, невѣжества, неблагонам вренности и тому подобных в отрицательных качествъ. «Но неужели, могуть спросить насъ далве, вы хотите доказаты что критическая деятельность Белинскаго-полное осуществление абсолютнаго идеала критики»?--Дело вовсе не въ томъ. Каждый писатель сынъ своего въка, и когда развитие мысли съ течениемъ времени становится выше той степени, которая была свойственна его эпох'ь, когда являются воззр'внія бол'ве полныя и глубокія, нежели каковы были его воззрвнія, тогда конечно, его произведенія нерестаютъ быть совершенно удовлетворительными. :Мы нимало не сомнъваемся въ томъ, что будущее развитие человъческой мысли далеко превзойдетъ своею полнотою и глубиною все, что произвела мысль нашего вёка; мы увёрены и въ томъ, что русской литературѣ предстоитъ великое развитіе, и что для того времени, когда настанеть эта эпоха высшаго развитія, будеть казаться неудовлетворительнымъ все существовавшее или существующее нынъ въ русской литературь, въ томъ числь и критика Белинскаго. Соображая аналогическій ходъ развитія другихъ литературъ, мы можемъ даже предусматривать, какія именно стороны нашей нынвшней литературы будуть казаться слабыми для того времени, можемъ предвидъть и то, чъмъ критика, соотвътствующая духу того времени, будетъ отличаться отъ критики Белинскаго: она будетъ гораздо требовательнее, и, сравнительно съ нею, критика Велинскаго будеть казаться слишкомь умфренною въ своихъ требованіяхъ, слишкомъ уклончивою или даже слишкомъ слабою по выраженію этихъ требованій; предметы, о которыхъ тогда будеть вести річь русская литература, будутъ важнъе, нежели были до сихъ поръ,-потому и критика будеть находить недостойнымъ своего вниманія многое, что кажется въ нынешней литературе деломъ великой важности. Но эта эпоха еще впереди, и скоро ли настанетъ она, трудно рѣшить: что будеть, можно предвидѣть, скоро ли и какимъ образомъ будетъ, нельзя сказать.

Предварительныя объясненія наши кончены, и мы теперь можемъ приступить къ подробному изложенію литературныхъ мнёній Білинскаго. Въ этомъ діліє мы постоянно будемъ приводить его собственныя слова, и трудъ нашъ ограничивается только выборомъ важнійшихъ містъ изъ его посліднихъ статей. Для большей точности, мы не будемъ даже отступать ни отъ того порядка, въ которомъ писаны были онів, ни отъ того порядка, въ которомъ пизаваются эти мысли въ каждой стать із мы просто представимъ извлеченіе изъ посліднихъ статей Білинскаго, зная, что это будетъ пріятніве всего для читателей, полезніве всего для литературы.

Начинаемъ наши извлеченія анализомъ статьи Бѣлинскаго помѣщенной въ «Петербургскомъ Сборникѣ»—«Мысли и замѣтки о русской литературѣ».

Безотносительное достоинство нашей литературы, по мивнію Белинскаго, еще не очень велико. Это понятіе важно, потому что вы, радуясь своимъ усивхамъ, слишкомъ наклонны воображать, что уже недалеко осталось намъ до того, чтобы стоять на ряду съ образованнейшими народами и отдыхать на воображаемыхъ лаврахъ. Необходимо напоминать намъ, что эта высокая мечта не более, какъ мечта. Если мы чемъ можемъ по справедливости гордиться, то, безъ сомнения, литературою: она составляетъ лучшую сторону нашей жизни; а между темъ, и литература наша до сихъ поръ находится въ состояніи, близкомъ къ младенчеству. Но, несмотря на свою слабость, для насъ она иметъ чрезвычайную важность:

"Какова бы ни была наша литература, во всякомъ случай, ея значеніе для насъ гораздо важнье, нежели какъ можеть оно казаться: въ ней, въ одной ей, вся наша умственная жизнь и вся поэзія нашей жизни. Только въ ея сферь перестаемъ мы быть Иванами и Петрами, а становимся просто людьми, обращаемся къ людямъ и съ людьми.

"Въ нашемъ обществъ преобладаетъ духъ разъединенія: у каждаго нашего сословія все свое, особенное-и платье, и манеры, и образъ жизни, и обычан, и даже языкъ. Духъ разъединенія враждебень обществу: общество соединяеть людей, каста разъединяеть ихъ. Этоть духъ особности такъ силенъ у насъ, что даже и новыя сословія, возникшія изъ новаго порядка діль, основаннаго Петромъ Великимъ, не замедлили принять на себя особенные оттъпки. Чему удивляться, что дворянинъ на купца, а купецъ на дворянина вовсе не походять, если иногда почти то же различие существуеть и между ученымъ и художникомъ?... У насъ еще не перевелись ученые, которые всю жизнь остаются върными благородной ръшимости не понимать, что такое искусство и зачъмъ оно; у насъ еще много художниковъ, которые и не подозрѣваютъ живой связи ихъ искусства съ наукою, съ летературою, съ жизнію. И потому сведите такого ученаго съ такимъ художникомъ, и вы увидите, что они будутъ или молчать, или перекидываться общими фразами... Несомненно то, что у насъ есть сильная потребность общества и стремленіе къ обществу; а это уже важно. Реформа Петра Великаго не уничтожила, не разрушила ствиъ, отдълявшихъ въ старомъ обществъ одинъ классъ отъ другаго; но она подкопалась подъ основаніе этихъ стінь и если не повалила, то наклонила ихъ на бокъ, — и теперь со дня на день онъ все болье и болье клонятся, обсыпаются и засыпаются собственными своими обломками, собственнымъ своимъ щебнемъ и мусоромь, такъ что починять ихъ значило бы придавать имъ тяжесть, которая, по причинъ подрытаго ихъ основанія, только ускорила бы ихъ, и безъ того неизбёжное, паденіе. И если теперь раздёленныя этими стінами сословія не могуть переходить черезъ нихъ, какъ черезъ ровную мостовую, зато легко могуть перескакивать черезъ нихъ тамъ, гдт овт особенно пообвалились или пострадали отъ проломовъ. Все это прежде делалось медленно и незаметно, теперь ділается и быстріе и замітніе,—и близко время, когда все это очень скоро и начисто сділается. Желізныя дороги пройдуть и подъ стінами и черезь стіны, туннелями и мостами; усиленіємь промынленности и торговли оніз переплетуть интересы людей всіхь сословій и классовь и заставять ихъ вступить между собою въ ті живыя и тісныя отношенія, которыя невольно сглаживають всії різкія и ненужныя различія.

"Но начало этого сближенія сословій между собою, которое есть начало образующагося общества, отнюдь не принадлежить исключительно нашему времени: оно сливается съ началомъ нашей литературы. Общественное просвъщеніе потекло у насъ въ началь ручейкомъ мелкимъ и едба замытнымъ, но зато изъ высшаго и благородныйшаго источника—изъ самой науки и литературы. Наука у насъ и теперь только укореняется, но еще не укорениласьтогда какъ образованіе только еще не разрослось, но уже укоренилось. Листь его мелокъ и рыдокъ, стволъ не высокъ и не толстъ, но корень уже такъ глубокъ, что его не вырвать никакой бурь, никакому потоку, никакой силы: вырубите этотъ льсокъ въ одномъ мысть, но корень дастъ отпрыски въ другомъ, и вы скорье устанете вырубать, нежели устанеть онъ давать новые отпрыски и разростаться...

"Говоря объ усићхахъ образованія нашего общества, мы говоримъ объ усићхахъ нашей литературы, потому что наше образованіе есть непосредственное дѣйствіе нашей литературы на понятія и нравы общества. Литература наша создала нравы нашего общества, воспитала уже нѣсколько поколѣній, рѣзко отличающихся одно отъ другаго, положила начало внутреннему сближенію сословій, образовала родъ общественнаго миѣнія и произвела нѣчто въ родѣ особеннаго класса въ обществѣ, который отъ обыкновеннаго средияю сословія отличается тѣмъ, что состоитъ не изъ купечества и мѣщанства только, но изъ людей всѣхъ сословій, сблизившихся между собою черезъ образованіе которое у насъ исключительно сосредоточивается на любви къ литературѣ.

"Различіе литературнаго образованія общества перешло въ жизнь и разділило людей на различно дійствующія, мыслящія и убіжденныя поколінія, которыхъ живые споры и полемическія отношенія, выходя изъ принциповъ, а не изъ матеріальныхъ интересовъ, являютъ собою признаки возникающей и развивающейся въ обществі духовной жизни. И это великое діло есть діло нашей литературы!...

"Лвтература была для нашего общества живымъ источникомъ даже практическихъ нравственныхъ идей. Она началась сатирою и въ лицѣ Кантемира объявила нещадную войну невѣжеству, предразсудкамъ, сутяжничеству, ябедѣ, крючкотворству, лихоимству и казнокрадству, которыя она застала въ старомъ обществѣ не какъ пороки, по какъ правила жизни, какъ моральныя убѣжденія. Каковъ бы ни былъ талантъ Сумарокова, но его сатирическія нападки на "кранивное сѣмя" всегда будутъ заслуживать почетнаго упоминовенія отъ историка русской литературы. Комедін Фонвизина были еще болѣе заслугою передъ обществомъ, нежели передъ литературою. Отчасти тоже можно сказать и объ "Ябедѣ" Капниста. Басня потому такъ хорошо и принялась у насъ, что она принадлежитъ къ сатирическому роду поэзіи. Самъ Державинъ, поэтъ по пре

имуществу лирический, быль въ то же время и сатирическимъ поэтомъ, какъ, напримъръ, въ "Фелицъ", "Вельможъ" и другихъ пьесахъ. Наконецъ пришло время, когда въ нашей литературь сатира перешла въ юморъ, который высказывается въ художественномъ воспроизведени житейской дъйствительности. Конечно, смішно было бы предполагать, чтобъ сатира, комедія, повість или романъ могли исправить порочнаго человъка; но нътъ сомитнія, что они открывая глаза общества на самого же его, способствуя пробуждению его самосознанія, покрывають порочнаго презраніемъ и позоромъ. Не даромъ же многіе у насъ не могуть безъ ненависти слышать имени Гоголя и его "Ревизора" называють "безиравственнымъ" сочиненіемъ, которое слёдовало бы запретить. Равнымъ образомъ, теперь уже никто не будетъ такъ простодушенъ, чтобы думать, что комедія или повъсть можеть взяточника сділать честнымъ человъкомъ: нетъ! кривое дерево, когда оно уже выросло и потолстело, не сделаешь прямымъ; но въдь у взяточниковъ такъ же бываютъ дъти, какъ и у невзяточниковъ: тѣ и другія, еще не имѣя причинъ считать безправственными яркія изображенія взяточничества, восхищаются ими и незамётно для самихъ себя обогащаются такими впечатленіями, которыя не всегда оказываются безплодными въ ихъ последующей жизни, когда они делаются действительными членами общества. Впечатавнія юности сильны, и юность то и принимаеть за несомвѣнную истину, что прежде всего поразило ея чувство, воображеніе и умъ. И вотъ какимъ образомъ дъйствуетъ литература уже не на одно образование, но и на нравственное улучшение общества. Какъ бы то ни было, но это фактъ не подлежащій никакому сомнінію, что только въ посліднее время у насъ начало дёлаться замётнымъ число людей, которые нравственныя убёжденія стараются осуществлять на дёлё, въ ущербъ своимъ личнымъ выгодамъ и во вредъ своему общественному положенію...

"Не менъе этого неоспоримъ и тотъ фактъ, что литература служитъ у насъ точкою соединенія людей, во всіхъ другихъ отношеніяхъ внутренно разъединенныхъ. Мѣщанинъ Ломоносовъ, за свой талантъ и свою ученость, достигаетъ важныхъ чиновъ, и вельможи допускаютъ его въ свой кругъ. Бъдный дворянинъ Державинъ, за свой талантъ, самъ дълается вельможею, — и между людьми, съ которыми сблизила его литература, онъ нашелъ не однихъ меценатовъ, но и друзей. Казанскій купецъ Каменевъ, написавшій балладу "Громвалъ", прікавъ въ Москру по деламъ, пошелъ познакомиться съ Карамзинымъ, а черезъ него перезнакомился со всёмъ московскимъ литературнымъ кругомъ. Это было назадъ тому сорокъ лътъ, когда купцы хаживали только въ переднія дворянскихъ домовъ, и то по деламъ, съ товараме или за должкомъ, объ уплате котораго смиренно докучали. Первые журналы русскіе, которыхъ и самыя имена теперь забыты, издавались кружками молодыхъ людей, сблизившихся между собою чрезъ общую имъ всёмъ страсть къ литературь. Образованность равняетъ людей. И въ наше время уже нисколько не редкость встретить дружескій кружокъ, въ которомъ найдется и знатный баринъ, и разночинецъ, и купедъ, и мъщанинъ, -- кружокъ, члены котораго совершенно забыли раздъляющія ихъ внёшнія различія и взаимно уважають другь въ друге просто людей. Воть истинное начало образованной общественности, созданное у насълитературо

Кто изъ имъющихъ право на имя человъка не пожелаетъ отъ всей души, чтобъ эта общественность росла и увеличивалась не по днямъ, а по часамъ, какъ росли наши сказочные богатыри! Какъ все живое, общество должно бытъ органическимъ, то есть множествомъ людей, связанныхъ между собою внутренно. Денежные интересы, торговля, акціи, балы, собранія, танцы — тоже связь, но только внѣшняя, слѣдовательно, не живая, не органическая, котя и необходимая и полезная. Внутренно связываютъ людей общіе нравственные интересы, сходство въ понятіяхъ, равенство въ образованіи и, при этомъ, взаимное уваженіе къ своему человѣческому достоинству. Но всѣ наши нравственные интересы, вся духовная жизнь наша сосредоточивалась до сихъ поръ и еще долго будетъ сосредоточиваться исключительно въ литературѣ: она живой источникъ, изъ котораго просачиваются въ общество всѣ человѣческія чувства и понятія...

"Любовь къ крайностямъ въ сужденіяхъ—одно изъ свойствъ еще не установившейся натуры русской: русскій человькъ любитъ или не въ мѣру хвастаться, или не въ мѣру скромничать.

"Пристаньте къ одной изъ этихъ партій, она сейчасъ же произведеть васъ въ великіе люди, въ геніи, тогда какъ другая возненавидить и объявить бездарнымъ человъкомъ. Но, во всякомъ случав, имея враговъ, вы будете иметь и друзей. Держась же безпристрастнаго, трезваго мивнія объ этомъ предметь, вы возстановите противъ себя объ стороны. Одна изъ нихъ обременить васъ своимъ моднымъ, попугайнымъ презраніемъ; другая; пожалуй, объявить васъ человёкомъ безпокойнымъ, опаснымъ, подозрительнымъ, ренегатомъ и будетъ писать на васъ дотературныя донесенія—разумьется, публикь... Самое непріятное туть то, что вы не будете поняты, и въ ващихъ словахъ будуть находить то неумфренныя похвалы, то неумфренную брань, но не будуть видъть въ нихъ върной характеристики факта дъйствительности, какъ онъ есть, со всемъ его добромъ и зломъ, достоинствами и недостатками, со всёми противоречіями, которыя онъ носить въ самомъ себь. Это особенно прилагается къ нашей литературь, которая представляеть собою столько крайностей и противорьчій, что, сказавъ о ней что нибудь утвердительное, тотчасъ же должно сделать оговорку, которая большинству публики больше любящему читать, нежели разсуждать, легко можетъ показаться отрицаніемъ или противоръчіемъ. Такъ, напримѣръ, сказавъ о сильномъ и благотворномъ вліяніи нашей литературы на общество и, слідовательно, о ея великой для насъ важности, мы должны оговориться, чтобы этому вліянію и этой важности не приписали большихъ разміровъ, нежели какіе мы разуміли, и, такимъ образомъ, не вывели бы изъ нашихъ словъ такого заключенія, что мы не только имбемъ литературу, но еще и богатую литературу, которая смёло можеть стать наравнё съ любою европейскою литературою. Подобное заключение было бы всячески ложно. У насъ есть литература, и литература, богатая талантами и произведеніями, если брать въ соображение ея средства и молодость, --но наша литература существуеть только для насъ: для иностранцевъ же она еще вовсе не литература, и они имфютъ полное право не признавать ея существованія, потому что они не могуть черезъ нее изучать и узнавать насъ, какъ народъ, какъ общество. Литература

наща слишкомъ молода, неопредёленна и безцейтна для того, чтобы иностранцы могли видёть въ ней фактъ нашей умственной жизии.

"Для иностранцевъ интереснъе другихъ были бы въ хорошихъ переводахъ тъ созданія Пушкина и Лермонтова, которыхъ содержаніе взято изъ русской жизни. Такимъ образомъ, Евгеній Оньгинъ быль бы для иностранцевъ интереснъе Монарта и Сальери, Скупато Рыцаря и Каменнато Гостя. И вотъ почему самый интересный для иностранцевъ русскій поэтъ есть Гоголь. Этотъ успъхъ понятенъ: кромъ огромности своего художническаго таланта, Гоголь строго держится въ своихъ сочиненіяхъ сферы русской житейской дъйствительности. А это-то всего и интереснъе для иностранцевъ: они хотятъ черезъ поэта знакомиться съ страною, которая произвела его. Въ этомъ отношеніи Гоголь—самый національный изъ русскихъ поэтовъ, и ему нельзя боятся перевода, хотя, по причинъ самой національности его сочиненій, и въ лучшемъ переводъ не можетъ не ослабиться ихъ колоритъ.

"Но и этимъ успъхомъ не должно слишкомъ заноситься. Для поэта, который хочеть, чтобъ геній его быль признань везді и всіми, а не одними только его соотечественниками, національность есть первое, но не единственное условіє: необходимо еще, чтобъ, будучи національным, онъ въ то же время быль и всемірными, то есть, чтобы національность его твореній была формою, твломъ, илотью, физіономією, личностію духовнаго и безплотнаго міра общечеловъческихъ идей. Другими словами: необходимо, чтобъ національный поэтъ имель великое историческое значене не для одного только своего отечества, по чтобы его явленіе им'то всемірно-историческое значеніе. Такіе поэты могуть являться только у народовь, призванныхъ играть въ судьбахъ человъчества всемірно-историческую роль, то есть своею національною жизнію им'єть вліяніе на ходъ и развитіе всего человічества. И потому, если, съ одной стороны, безъ великаго генія отъ природы, нельзя быть всемірно-историческимъ поэтомъ, то, съ другой стороны, и съ великимъ геніемъ иногда можно быть не всемірно-историческимъ поэтомъ, то есть имъть важность только для одного своего народа. Здёсь значеніе поэта зависить уже не отъ него самого, не оть его дъятельности, направленія, генія, но отъ значенія страны, которая произведа его. Съ этой точки зрвнія, у насъ неть ни одного поэта, котораго мы имели бы право поставить наравне съ первыми поэтами Европы".

Таланты есть повсюду и всегда; но не одни только таланты нужны для того, чтобы литература имъла положительное достоинство, только содержаніе придаетъ истинную цёну, ея произведеніямъ.

"Почти каждый образованный французь считаеть необходимымъ имѣть въ своей быбліотекѣ всѣхъ своихъ писателей, которыхъ общественное мнѣніе признало классическими. И онъ читаетъ и перечитываетъ ихъ всю жизнь свою. У насъ—что грѣха тантъ?—не всякій записной литераторъ считаетъ за нужное имѣть старыхъ писателей. И вообще у насъ всѣ охотнѣе покупаютъ новую книгу, нежели старую; старыхъ писателей у насъ почти никто не читаетъ, особенно тѣ, которые всѣхъ громче кричатъ о ихъ геніи и славѣ. Это отчасти происходитъ оттого, что наше образованіе еще пе установилось и образован-

ныя потребности еще не обратились у насъ въ привычку. Но тутъ есть и другая, можеть быть, еще болье существенная причина, которая не только объясняеть, но частю и оправдываеть это нравственное явленіе. Французы до сихъ поръ читають, напримырь, Рабле, или Паскаля, писателей XVI и XVII въка: тутъ ныть ничего удивительнаго, потому что этихъ писателей и теперь читають и изучають не одни французы, но и нымцы, и англичане,—словомъ, люди всёхъ образованныхъ націй. Языкъ этихъ писателей, и особенно Рабле, устарыть: но содержаніе ихъ сочиненій всегда будеть имыть свой живой интересъ, потому что оно тысно связано со смысломъ и значеніемъ цілой исторической эпохи. Это доказываеть ту истину, что только содержаніе можеть спасти отъ забвенія писателя".

Источникъ, изъ котораго возникаетъ богатая литература—богатство и сила умственной жизни въ обществъ. У насъ этого еще нътъ:

"Вообще, вмѣстѣ съ удивительными и быстрыми успѣхами въ умственномъ и литературномъ образованіи, проглядываютъ у насъ какая-то незрѣлость, какая-то шаткостъ и неопредѣленность. Истины, въ другихъ литературахъ давно сдѣлавшіяся аксіомами, давно уже не возбуждающія споровъ и не требующія доказательствъ, у насъ все еще не подвергались сужденію, еще не всѣмъ извѣстны.

"Вспомните только, что произведение, вкрно схватывающее какія нибудь черты общества, считается у насъ часто пасквилемъ, то на общество, то на сословіе, то на лица. Отъ нашей литературы требують, чтобы она виділа въ дъйствительности только героевъ добродътели да мелодраматическихъ злодъевъ, и чтобы она и не подозрѣвала, что въ обществѣ можетъ быть много смѣшныхъ, странныхъ и уродливыхъ явленій. Каждый, чтобъ ему было широко и просторно жить, готовъ, еслибъ могъ, запретить другимъ жить. Явился у насъ писатель, юмористическій таланть котораго иміль до того сильное вліяніе на всю литературу, что далъ ей совершенно новое направление. Его стали порочить. Хотели уверить публику, что онь-Поль-де-Кокъ, живописенъ грязной. неумытой и непричесанной природы. Онъ не отвъчалъ никому и шелъ себъ впередъ. Публика, въ отношени къ нему, разделилась на две стороны, изъ которыхъ самая многочисленная была рышительно противъ него, что, впрочемъ, нисколько не машало ей раскупить, читать и перечитывать его сочиненія. Наконецъ и большинство публики стало за него: что ділать поридателямь? они начали признавать въ немъ талантъ, даже большой, хотя, по ихъ словамъ, идущій и не по настоящему пути, но, вм'есть съ этимъ, стали давать знать и намекали прямо, что онъ, будто бы, унижаетъ все русское, оскорбляетъ почтенное сословіе чиновниковъ, и т. п. Всь мийнія находять у насъ місто, просторъ, внимание и даже последователей. Что же это, если не незредость и не шаткость общественнаго митнія? По, со встить этимъ, истина и здравый вкусъ все-таки идутъ твердыми шагами и овладъвають полемъ этой безпорядочной битвы мевній. Все это доказываеть, что и литература и общество наше еще слишкомъ молоды и незрилы, но что въ нихъ кроется много здоровой жизненной силы, объщающей богатое развитие въ будущемъ".

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ И ПОСЛЪДНЯЯ.

Продолжаемъ наши извлеченія изъ статей Бёлинскаго. Намъостается анализировать два последнія его годичныя обозренія русской литературы—за 1846 и 1847 годы («Совр.» 1847 года, № 1, и 1848 года. №№ 1 и 3). Эти два обозрвнія, вмысты съ статьей «Петербургскаго Сборника», отрывки изъ которой привели мы въпредъидущей главь, представляють довольно полное выражение общихъ литературныхъ воззрвній Белинскаго. Для перваго раза, эти извлеченія съ достаточною ясностью возобновляють въ памяти читателей личность геніальнаго нашего критика. Прійдеть время, кто нибудь скажеть намъ что нибудь новое, что нибудь лучшее. Въ нашемъ обществъ, въ нашей литературъ есть свъжія силы, есть стремленіе впередъ, есть залоги для развитія болье живаго и широкаго, нежели все предъидущее. Пусть воспоминанія о Бѣлинскомъ утратять большую часть нынёшняго живаго своего интереса для современности. Чемъ скорбе это будеть, темъ лучше. А пока,пока онъ все еще остается незаменимъ для нашей литературы.

«Взглядъ на русскую литературу 1846 года» начинается замѣчаніями о томъ, что характеръ современной русской литературы состоитъ въ болѣе и болѣе тѣсномъ сближеніи съ жизнью и дѣйствительностью, и что подобная характеристика можетъ быть умѣстна только относительно литературы очень молодой, мало еще развившейся, и начавшейся въ подражаніе иностраннымъ литературамъ, а не изъ самостоятельной національной жизни, что отрѣшеніе отъ подражательности, постепенное достиженіе самобытности есть главная черта въ исторіи нашей литературы, что и доказывается фактами. Выписки изъ этой части обзора были нами приводимы въ предъидущихъ главахъ. Наконецъ, говоритъ Бѣлинскій, въ произведеніяхъ Гоголя и писателей, имъ воспитанныхъ, наша литература явилась самобытною, стада вѣрнымъ изображеніемъ русской дѣйствительности и оттого получила въ глазахъ общества важное значеніе, какого прежде, по отсутствію живаго содержанія, она не имѣла. Въ беллетристикъ старое реторическое направленіе совершенно безсильно; но внѣ беллетристики оно проявляется такъ называемымъ славянофильствомъ.

"Известно, что въ глазахъ Карамзина Гоаннъ Ш былъ выше Петра Великаго, а до-петровская Русь лучше Россій новой. Воть источникь такъ называемаго славянофильства, которое мы впрочемъ, во многихъ отношеніяхъ считаемъ весьма важнымъ явленіемъ, доказывающимъ, въ свою очередь, что время зрелости и возмужалости нашей литературы близко. Во времена детства литературы вскув занимають вопросы, если даже и важные сами по себь, то не имьющіе никакого дыльнаго примыненія къ жизни. Такъ называемое славянофильство, безъ всякаго сомнёнія касается самыхъ жизненныхъ, самыхъ важныхъ вопросовъ нашей общественности. Какъ оно ихъ касается и какъ оно къ нимъ относится-это другое дёло. Но прежде всего славянофильство есть убъжденіе, которое, какъ всякое убъжденіе, заслуживаеть полнаго уваженія, даже и въ такомъ случав, если съ нимъ вовсе несогласны. Много можно сказать въ пользу славянофильства, говоря о причинахъ, вызвавшихъ его явленіе; но разсмотрівь его ближе, нельзя не увидіть, что существованіе и важность этой литературной котеріи чисто-отрицательныя, что она вызвана и живеть не для себя, а для оправданія и утвержденія именно той идеп, на борьбу съ которою обрекла себя. Поэтому пътъ никакого интереса говорить съ славянофилами о томъ, что они хотять, да и сами они неохотно говорять и пишуть объ этомъ, хотя и не ділають изъ этого никакой тайны. Діло въ томъ, что положительная сторона ихъ доктрины заключается въ какихъ-то то прелчувствіяхъ побіды Востока надъ Западомъ. Но отрицательная сторона нхъ ученія гораздо болье заслуживаеть вниманія, не въ томъ, что они говорять противъ гніющаго будто бы Запада, но въ томъ, что они говорять противъ русскаго европензма, а объ этомъ они говорять много дёльнаго съ чёмъ нельзя не согласиться хотя на половину, какъ, напримеръ, что въ русской жизни есть какая-то двойственность, следовательно, отсутствие нравственнаго единства; что это лишаетъ насъ ръзко выразившагося національнаго характера, какимъ, отличаются почти всё европейскіе народы; что это дёлаеть насъ какими-то междоумками, которые хорошо умѣють мыслить по французски, по нѣмецки, и по англійски, но чикакъ не уміноть мыслить по-русски, и что причина всего этого въ реформъ Петра Великаго. Все это справединво до извъстной степени. Но нельзя остановиться на признаніи справедливости какого бы то ни было факта, а должна изследовать его причины, въ надежде въ самомъ зле найти и средства къ выходу изъ него. Этого славянофилы не двлали и не сдвлали; но зато они заставили если не сдълать, то дълать это своихъ противниковъ. И вотъ гдь ихъ истинная заслуга. Заснуть въ самолюбивыхъ мечтахъ, о чемъ бы онь ни были-о нашей ли народной славь, или о нашемъ европеизмь, равно безплодно и вредно, потому что сонъ есть не жизнь, а только грезы о жизни; и нельзя не сказать спасибо тому, кто прерветь такой сонь. Въ самомъ дѣлѣ, никогда изученіе русской исторіи не им'яло такого серьезнаго характера, какой приняло оно въ последнее время. Мы вопрошаемъ и допрашиваемъ прошедшее, чтобы оно объяснило намъ наше настоящее и намекнуло о нашемъ будущемъ. Мы какъ будто испугались за нашу жизнь, за наше значение, за наше прошедшее или будущее, и скорье хотимъ ръшить великій вопросъ: Выть ими не быть? Туть уже дело идеть не о томь, откуда пришли варяги, съ запада или съ юга, изъ-за Балтійскаго, или изъ-за Чернаго моря, а о томъ, проходить ли черезъ нашу исторію какая нибудь живая органическая мысль, и если проходить, какая именно; какія наши отношенія къ нашему прошедшему, оть котораго мы какъ будто оторваны, и къ Западу, съ которымъ мы какъ будто связаны. И результатомъ этихъ хлопотливыхъ и тревожныхъ изследованій начинаеть оказываться, что, во первыхь, мы не такъ різко оторваны отъ нашего прошедшаго, какъ думали, и не такъ тесно связаны съ Западомъ, какъ воображали. Съ другой стороны, обращаясь къ своему настоящему положенію, смотря на него глазами сомнівнія и изслідованія, мы не можемъ не видёть, какъ, во многихъ отношеніяхъ, смешно и жалко успоконль насъ нашъ русский европеизмъ насчетъ нашихъ русскихъ недостатковъ, забъливъ и заруминивъ, но вовсе не изгладивъ ихъ. И въ этомъ отношенін поъздки за границу чрезвычайно полезны намъ: многіе изъ русскихъ отправляются туда рішительными европейцами, а возвращаются оттуда, сами не зная кѣмъ, и потому самому съ искреннимъ желаніемъ сділаться русскими. Что же все это означаеть?-Неужели славянофилы правы и реформа Петра Великаго только лишила насъ народности и сдълала междоумками? И неужели они правы, говоря, что намъ надо воротиться къ общественному устройству и нравамъ временъ не то баснословнаго Гостомысла, не то царя Алексая Михайловича (насчеть этого сами господа славянофилы еще не условились между собою)?..

"Нѣть, это означаеть совсёмь другое, а именно то, что Россія вполні исчерпала, исжила эпоху преобразованія, что реформа совершила въ ней свое діло, сдівлала для нея все, что могла и должна была сдівлать, и что настало для Россіи время развиваться самобытно, изъ самой себя. Но миновать, перескочить, перепрыгнуть, такъ сказать, эпоху реформы и воротиться къ предшествовавшимъ ей временамъ—неужели это значитъ развиваться самобытно? Смішно было бы такъ думать уже по одному тому, что это такая же невозможность, какъ и перемівнить порядокъ годовыхъ временъ, заставивъ за весною слідовать зиму, а за осенью—літо. Это значило бы еще признать явленіе Петра Великаго, его реформу и послідующія событія въ Россіи (можеть быть, до самого 1812 года—эпохи, съ которой началась новая жизнь для Россів), признать ихъ случайными, какимъ-то тяжелымь сномъ, который тотчасъ исчезаеть и уничтожается, какъ скоро проснувшійся человікь открываеть глаза.

Но такъ думать сродно только господамъ Маниловымъ. Подобныя событія въ жизни народа слишкомъ велики, чтобъ быть случайными, и жизнь народа не есть утлая лодочка, которой каждый можеть давать произвольное направление легкимъ движеніемъ весла. Вийсто того, чтобъ думать о невозможномъ и смйшить всёхь на свой счеть самолюбивымь вмёшательствомъ въ историческія судьбы, гораздо лучше, признавъ неотразимую и неизмѣнимую дѣйствительность существующаго, действовать на его основании, руководясь разумомъ и здравымъ смысломъ, а не маниловскими фантазіями. Не объ изміненіи того, что совершилось безъ нашего ведома и что смется надъ нашею волею, должны мы думать, а объ изминени самихъ себя на основани уже указаннаго намъ пути высшею насъ волею. Дело въ томъ, что пора намъ перестать казаться, а начать быть, пора оставить, какъ дурную привычку, довольствоваться словами и европейскія формы и вившность принимать за европензмъ. Скажемъ болъе: пора намъ перестать восхищаться европейскимъ потому только, что оно не азіатское, но любить, уважать его, стремиться къ нему потому только, что оно человъческое, и, на этомъ основаніи, все европейское, въ чемъ ність человъческаго, отвергать съ такою же энергіею, какъ и все азіатское, въ чемъ нътъ человъческаго.

"Повторяемъ: славянофилы правы во многихъ отношеніяхъ: но тъмъ не менте ихъ роль чисто-отрицательная, хотя и полезная на время. Главная причина ихъ странныхъ выводовъ заключается въ томъ, что они произвольно упреждають время, процессь развитія принимають за его результать, хотять видёть плодъ прежде цвёта и, находя листья безвкусными, объявляють плодъ гнилымъ и предлагають огромный лёсь, разросшійся на необозримомъ пространствъ, пересадить на другое мъсто и приложить къ нему другаго рода уходъ. По ихъ мивнію, это не легко, но возможно! Они забыли, что новая петровская Россія такъ же молода, какъ и Северная Америка, что въ будущемъ ей представляется гораздо больше, чёмъ въ прошедшемъ. Они забыли что въ разгари процесса часто особенно бросаются въ глаза именно ти явленія, которыя, по окончаніи процесса, должны исчезнуть, и часто не видно именно того, что впослёдствін должно явиться результатомъ процесса. Въ этомъ отношенін, Россію нечего сравнивать со старыми государствами Европы, которыхъ исторія шла діаметрально противоположно нашей и давно уже дала и цвёть и плодъ. Безъ всякаго сомнёнія, русскому легче усвоить себё взглядь француза, англичанина или нъмца, нежели мыслить самостоятельно, по русски, потому что готовый взглядь, съ которымъ равно легко знакомить его и наука и современная дізтельность, тогда какь онь, въ отношеніи къ самому себь, еще загадка, потому что еще загадка для него значение и судьба его отечества, гдк все зародыши, зачатки и ничего опредкленнаго, развившагося, сформировавшагося. Разумьется, въ этомъ есть ньчто грустное, но зато какъ много и утъщительнаго въ этомъ же самомъ! Дубъ ростеть медленно, зато живеть въка. Человъку сродно желать скораго свершенія своихъ желаній; но скороспадость ненадежна: намъ более, чемъ кому другому, должно убедиться въ этой истинт. Извъстно, что французы, англичане, нъмцы такъ національны каждый по своему, что не въ состояни понимать другь друга, -- тогда какъ

русскому равно доступны и соціальность француза, и практическая діятельность англичанина, и туманная философія нёмца. Одни видять въ этомъ наше превосходство передъ всеми другими народами, другіе выводять изъ этого весьма печальныя заключенія о безхарактерности, которую воспитала въ насъ реформа Петра: потому что, говорять ови, у кого нёть своей жизни, тому легко поддёдываться подъ чужую, у кого нёть своихъ интересовъ, тому легко принимать чужіе; но подділаться подъ чужую жизнь не значить жить, понять чужіе интересы не значить усвоить ихъ себь. Въ последнемъ мнёніи много правды, по не совсёмъ лишено истины и первое мижніе, какъ ни заносчиво оно. Прежде всего мы скажемъ, что ръщительно не въримъ въ возможность кринаго политическаго и государственнаго существованія народовъ лишенныхъ національности, следовательно, живущихъ чисто-внешнего жизнію. Въ Европъ есть одно такое искусственное государство, склеенное изъ многихъ національностей; но кому же неизвъстно, что его крыпость и сила-до поры до времени?.. Намъ, русскимъ, нечего сомнъваться въ нашемъ политическомъ и государственномъ значеніи: изъ всёхъ славянскихъ племень только мы сложились въ кръпкое и могучее государство и какъ до Петра Великаго, такъ и послѣ него, до настоящей минуты, выдержали съ честью не одно суровое испытаніе судьбы, не разь были на краю гибели и всегда успавали спасаться отъ нея и потомъ являться въ новой и большей силь и кръпости. Въ народъ чуждомъ внутренняго развитія, не можеть быть этой крепости этой силы. Да. въ насъ есть національная жизнь; мы призваны сказать міру свое слово, свою мысль; но каково это слово, какова мысль, объ этомъ пока еще рано намъ хлопотать. Наши внуки или правнуки узнають это безъ всякихъ усилій напряженнаго разгадыванія, потому что это слово, эта мысль будеть сказана ими...

"Что же касается до многосторонности, съ какою русскій человакъ понимаетъ чуждыя ему національности, - въ этомъ заключается равно и его слабая н его сильныя стороны. Слабая потому, что этой многосторонности, дъйствительно, много помогаетъ его настоящая независимость отъ односторонности собственныхъ національныхъ интересовъ. Но можно сказать съ достовърностью, что эта независимость только помогаеть этой многосторонности; а едва-ли можно сказать съ какою нибудь достов рностью, чтобы она производила ее. По крайней мере, какъ кажется, что было бы слишкомъ смело приписывать положенію то, что всего болье должно принисывать природной даровитости. Не любя гаданій и мечтаній и пуще всего боясь произвольныхъ, личныхъ выводовъ, мы не утверждаемъ за непредожное, что русскому народу предназначено выразить въ своей національности наиболье богатое и многостороннее содержаніе, и что въ этомъ заключается причина его удивительной способности воспринимать и усвоивать себт все чуждое ему; но смъемъ думать, что подобная мысль, какъ предположение, высказываемое безъ самохвальства и фанатизма, не лишена основанія"...

"...На свете нете ничего безусловно важнаго или неважнаго. Противъ этой истины могутъ спорить только те исключительно теоретическія натуры, которыя до тёхъ поръ и умны, пока носятся въ общихъ отвлеченностяхъ, а какъ скоро спустятся въ сферу приложеній общаго къ частному, словомъ, въ міръ

дъйствительность, тотчасъ оказываются сомнительными на счетъ нормальнаго состоянія ихъ мозга. Итакъ, все на свътъ только относительно важно или не важно, велико или мало, старо или ново. "Какъ—скажутъ намъ—и истина, и добродътель—нонятія относительныя"? Нѣтъ, какъ понятіе, какъ мыслъ, онъ безусловны и въчны; но какъ осуществленіе, какъ фактъ, онъ относительны. Идеи истины и добра признавались всьми народами, во всѣ въка; но что непреложная истина, что добро для одного народа или въка, то часто бываетъ ложью и зломъ для другаго народа, въ другой въкъ. Поэтому безусловный или абсолютный способъ сужденія есть самый легкій, но зато и самый ненадежный; теперь онъ называется абстрактнымъ или отвлеченнымъ. Ничего нѣтъ легче, какъ опредълить, чъмъ долженъ быть человъкъ въ нравственномъ отношеніи; но ничего нѣтъ труднѣе, какъ показать, почему вотъ этотъ человъкъ сдълался тѣмъ, что онъ есть, а не сдълался тѣмъ, чѣмъ бы ему, по теорів нравственной философіи, слѣдовало быть.

"Воть точка эрбнія, съ которой мы находимъ признаки эрблости современной русской литературы въ явленіяхъ, повидимому, самыхъ обыкновенныхъ. Присмотритесь, прислушайтесь: о чемъ больше всего толкуютъ наши журналы?-о народности, о дъйствительности. На что больше всего нападають они?-на романтизмъ, мечтательность, отвлеченность. О нѣкоторыхъ изъ этихъ предметовъ много было толковъ и прежде, да не тотъ они имали смыслъ, не то значеніе. Понятіе о дійствительности совершенно повое; на романтизмъ прежде смотрын, какъ на альфу и омегу человической мудрости, и въ немъ одномъ искали решенія всёхъ вопросовъ; понятіе о народности вмёло прежде исключительно литературное значеніе, безъ всякаго приложенія къ жизни. Оно, если хотите, и теперь обращается преимущественно въ сферѣ литературы, но разница въ томъ, что литература-то теперь сделалась эхомъ жизни. Какъ судять теперь объ этихъ предметахъ-вопросъ другой. По обыкновенію, одни лучше, другіе хуже, но почти всь одинаково въ томъ отношенін, что въ рышенін этихъ вопросовъ видять какъ будто собственное спасеніе. Въ особенности, вопрось о народности следался всеобщимъ вопросомъ и проявился въ двухъ крайностяхъ. Одни смешали съ народностью старинные обычаи, сохранившіеся теперь только въ простонародів, и не любять, чтобы при нихъ говорили съ неуваженіемъ о курной и грязной изоб, о редьке и квасе, даже о сивухв; другіе сознавая потребность высшаго національнаго начала и не на ходя его въ дъйствительности, хлопочуть выдумать свое, и неясно, намеками указывають намь на смиреніе, какъ на выраженіе русской національности. Съ первыми смёшно спорить; но вторымъ можно замётить, что смиреніе есть, въ извъстныхъ случаяхъ, весьма похвальная добродьтель для человъка всякой страны; для француза какъ и для русскаго, для англичанина какъ и для турка; но что она едва-ли можетъ одна составить то, что называется "народностью". Притомъ же этотъ взглядъ, можетъ быть, превосходный въ теоретическомъ отношенін, несовсьмъ уживается съ историческими фактами. Удыльный періодъ нашъ отличается скорве гордынею и драчливостью, нежели смиреніемъ; татарамъ поддались мы совсемь не отъ смиренія (что быдо бы для насъ не честью, а безчестьемъ, какъ и для всякаго другаго народа), а по безсилію, вслідствіе

разделенія нашихъ силь родовымь, кровнымь началомь, положеннымь въ основаніе правительственной системы того времени. Іоаннъ Калита быль хитеръ, а не смиренъ; Симеонъ даже прозванъ быль "гордымъ"; а эти князья были первоначальниками сплы Московскаго царства. Димитрій Донской мечемъ, а не смиреніемъ предсказаль татарамъ конець ихъ владычества надъ Русью-Іоанны III н IV, оба прозванные "грозными", не отличались смиреніемъ. Только слабый Өеодоръ составляеть исключение изъ правила. И вообще, какъ то странно видёть въ смиреніи причину, по которой ничтожное Московское княжество сделалось сперва Московскимъ царствомъ, а потомъ Россійскою имперією, пріосінивъ крыльями двуглаваго орла, какъ свое достояніе, Сибирь. Малороссію, Белоруссію, Новороссію, Крымъ, Бессарабію, Лифляндію, Эстляндію, Курляндію, Финляндію, Каквазъ. Конечно, въ русской исторіи можно найти поразительныя черты смиренія, какъ и другихъ добродьтелей, со стороны правительственныхъ и частныхъ лицъ; но въ исторіи какого же народа нельзя найти ихъ, и чемъ какой нибудь Людовикъ ІХ уступаетъ въ смиреніи Өеодору Іоанновичу?... Толкують еще о любеи, какъ о національномъ началь, исключительно присущемъ однимъ славянскимъ племенемъ, въ ущербъ галльскимъ, тевтонскимъ и инымъ западнымъ. Эта мысль у некоторыхъ обратилась въ истиную мономанію, такъ что кто-то изъ этихъ "нікоторыхъ" рішился даже печатно сказать, что русская земля смочена слезами, а отнюдь не кровыю, и что слезами, а не кровью, отдёлались мы не только отъ татаръ, но и отъ нашествія Наполеона. Мы, напротивъ, думаемъ, что любовь есть свойство чедовеческой натуры вообще и такъ же не можеть быть исключительно принаддежностью одного народа или племени, какъ и дыханіе, зрвніе, голодъ, жажда, умъ, сдово. Ошибка тутъ въ томъ, что относительное принято за безусловное. Завоевательная система, положившая основание европейскимъ государствамъ, тотчасъ же породила тамъ чисто юридическій быть, въ которомъ само насиліе и угнетеніе приняло видь не произвола, а закона. У славянь же, напротивъ господствоваль обычай, вышедшій изь "кроткихь и любовныхь" патріархальныхъ отношеній. Но додго-ли продолжался этоть патріархальный быть и что мы знаемъ о немъ достовърнаго? еще до удъльнаго періода встръчаемъ мы въ русской исторіи черты вовсе не любовныя-хитраго воителя Олега, суроваго воителя Святослава, потомъ Святополка (убійцу Бориса и Гліба), дітей Владиміра, возставшихъ на своего отца, и т. п. Это, скажуть, занесли къ намъ варяги и-прибавимъ мы отъ себя-положили этимъ начало искажению любовнаго натріархальнаго быта. Изь чего же въ такомъ случав клопотать. Удвльный періодъ такъ же мало періодъ любви, какъ и смиренія; это скорве періодъ рьзни, обратившейся въ обычай. О татарскомъ періодь нечего и говорить: тогда дицемърное и предательское смирение было нужные и любви и настоящаго смиренія. Пытки, казни періода Московскаго царства и последующихъ временъ, до половины XVIII стольтія, опять посылають насъ искать любви въ до-историческія времена славянь. Гдё жь туть любовь, какъ національное начало? Національнымъ началомъ она никогда и не была, но была человѣческимъ началомъ, поддерживавшимся въ племени его историческимъ, или, лучше сказать, его неисторическимъ положениемъ. Положение изманилось, изманилось и

патріархальные правы, а съ ними исчезда и любовь, какъ бытовая сторона жизни. Ужь не возвратиться-ли намъ къ этимъ временамъ? Почему жь бы и не такъ, если это такъ же легко, какъ старику сдѣлаться юношей, а юношѣ—младенцемъ?..

"Что составляеть въ человікі его высшую, его благороднійшую дійствительность?-Конечно, то, что мы называемъ его духовностью, то есть чувство, разумъ, воля, въ которыхъ выражается его вѣчная, непроходящая, необходимая сущность. А что считается въ человъкъ низшимъ, случайнымъ, относительнымъ, преходящимъ?--Конечно, его тъло. Извъстно, что наше тъло мы съиздътства привыкли презирать, можеть быть, потому именно, что, въчно живя въ логическихъ фантазіяхъ, мы мало его знаемъ. Врачи, напротивъ, больше другихъ уважаютъ тьло, потому что больше других в знають его. Воть почему оть бользней чисто нравственныхь они лечать иногда средствами чисто матеріальными, и наобороть. Въ этомъ отношенія они похожи на умнаго агронома, который съ уваженіемъ смотрить не только на богатство получаемых имъ отъ земли зеренъ, но и на самую землю, которая ихъ произрастала, и даже на грязный, нечистый и вонючій навозъ, который усилиль плодотворность этой земли.-Вы, конечно, очень цените въ человеке чувство?-Прекрасно! такъ цените же и этотъ кусокъ мяса, который тренещеть въ его груди, который вы называете сердцемъ, и котораго замедленное или ускоренное біеніе верно соответствуеть каждому движенію вашей души.—Вы, конечно, очень уважаете въ человъкъ умъ?-Прекрасно!-такъ останавливайтесь же въ благоговъйномъ изумлении и передъ этою массою мозга, гдв происходять всв умственныя отправленія, откуда по всему организму распространяются, чрезъ позвоночный хребетъ, нити нервъ, которыя суть органы ощущенія и чувствъ. Иначе, вы будете въ человікі удивляться следствію мимо причины, или-что еще хуже-сочините свои небывалыя въ природъ причины и удовлетворитесь ими. Психологія, не опирающаяся на физіологію, такъ же несостоятельна, какъ и физіологія, не знающая о существованіи анатоміи. Современная наука не удовольствовалась и этимъ химическимъ анализомъ хочеть она проникнуть въ таниственную лабораторію природы, а наблюденіемъ надъ эмбріономъ (зародышемъ) проследить таинственный процессъ развитія организма. Но это внутренній міръ физіологической жизни человька; всь его сокровенныя отъ насъ двиствія, какъ резуль тать, высказываются наружь въ лиць, взглядь, голось, даже манерахъ человька. А между тёмъ, что такое лицо, глаза, голосъ, манеры? Вёдь это все-тёло, внашность, сладовательно, все преходящее, случайное, ничтожное, потому что въдь все это-не чувство, не умъ, не воля?-такъ! но въдь во всемъ этомъ мы видими и слышими и чувство, и умъ, и волю. Умъ безъ плоти, безъ физіономіи, умъ, не дъйствующій на кровь и не принимающій на себя ея дъйствія, есть логическая мечта, мертвый абстракть. Умъ-это человикь въ тиль, или дучше сказать, человъкъ черезъ тъло, словомъ, личность. Посмотряте: сколько нравственных оттынковь вы человыческой натуры: у одного умы едва замытень изъ-за сердца, у другаго сердце какь будто помыстилось въ мозгу; этоть страшно уменъ и способенъ на діло, да ничего сділать не можетъ, потому что нёть у него воли; а у того страшная воля, да слабая голова, и изъ его

дъятельности выходить или вздорь, или зло. Перечесть этихъ оттънковъ такъ же невозможно, какъ перечесть различія физіономій: сколько людей, столько и лиць, и двухъ совершенио схожихъ людей найти еще менье возможно, нежели найти два древесные листка, совершенно схожіе между собою. Когда вы влюблены въ женщину, не говорите, что вы обольщены прекрасными качествами ея ума и сердца; иначе, когда вамъ укажуть на другую, которой нравственныя качества выше, вы обязаны будете перевлюбиться и оставить первый предметь своей любви для новаго, какъ оставляють хорошую книгу для лучшей. Нельзя отрицать вліянія нравственныхъ качествъ на чувство любви, но когда любять человека, любять его всего, не какъ идею, а какъ живую личность; любять въ немъ особенно то, чего не умілоть ни опреділить, ни назвать. Въ самомъ дёлё, какъ бы опредёлили и назвали вы, напримёръ, то неуловимое выражение, ту таинственную игру его физіономін, его голоса, словомъ, все то, что составляетъ его способность, что делаетъ его не похожимъ на другихъ, и за что именно вы больше всего и любите его? Иначе, зачёмъ бы вамъ было рыдать въ отчалніи надъ трупомъ любимаго вами существа?-Відь съ нимъ не умерло то, что было въ немъ лучшаго, благороднійшаго, что называли вы въ немъ духовнымъ и правственнымъ, — а умерло только грубо матеріальное, случайное? Но объ этомъ-то случайномъ и рыдаете вы горько, потому что воспоминанія о прекрасныхъ качествахъ человька не замізнять вамь человіка, какь умирающаго оть голода не насытить воспоминаніе о роскошномъ столь, которымъ онъ недавно наслаждался. Я охотно соглашусь съ спиритуалистами, что мое сравнение грубо, но зато оно върно, а это для меня главное. Державинъ сказалъ!

Такъ! весь я не умру; но часть моя большая, Отъ тела убежавъ, по смерти станетъ жить.

Противъ дъйствительности такого безсмертія нечего сказать, хотя оно и не утъшить людей, близкихь поэту; но что передаеть поэть потомству въ своихъ созданіяхь, если не свою личность? Не будь онъ личность больше, чъмъ что нибудь, личность по превмуществу, его созданія были бы безпвътны и блёдны. Отъ этого творенія каждаго великаго поэта представляють собой совершенно особенный, оригинальный мірь, и между Гомеромъ, Шекспвромъ, Байрономъ, Сервантесомъ, Вальтерь-Скоттомъ, Гёте и Жоржъ-Сандомъ общаго только то, что всё они—великіе поэты...

"Но что же это за личность, которая даеть реальность и чувству, и уму, и воль, и генію и безъ которой все или фантастическая мечта или логическая отвлеченность"? Я много могь бы наговорить вамь объ этомъ, читатели; но предпочитаю лучше откровенно сознаться вамь, что чъмъ живъе созерцаю внутри себя сущность личности, тъмъ менье умью опредълить ее словами. Это такая же тайна, какъ и жизнь: всь ее видять, всь ощущають себя въ ея ныдрахъ, и никто не скажетъ вамъ, что она такое. Такъ точно, ученые, хорошо зная дъйствіе и силы дъятелей природы, каковы электричество, гальванизмъ, магнитизмъ, и потому нисколько не сомнываясь въ ихъ существованіи, все-таки не умьють сказать, что они такое. Страннье всего, что все, что мы можемъ

сказать о личности, ограничивается тымь, что она ничтожна передъ чувствомъ, волею, добродытелью, красотою и тому подобными вычными и непреходящими идеями; но что безъ нея, преходящаго и случайнаго явленія, не было бы ни чувства, ни ума, ни воли, ни добродытели, ни красоты, такъ же, какъ не было бы ни безчувственности, ни глупости, ни безхарактерности, ни порока, ни безобразія...

"Что личность въ отношени къ идеть человъка, то народность въ отношени къ идеть человъчества. Другими словами: народности суть личности человъчества. Безъ національностей человъчество было бы мертвымъ логическимъ абстрактомъ, словомъ безъ содержанія, звукомъ безъ значенія. Въ отношеніи къ этому вопросу, я скорѣе готовъ перейти на сторону славяпофиловъ, нежели оставаться на сторонѣ гуманическихъ космополитовъ потому что если первые и ошибаются, то какъ люди, какъ живыя существа, а вторые и истину-то говорятъ, какъ такое-то изданіе такой-то логики... Но къ счастію, я надѣюсь остаться на своемъ мѣстѣ, не переходя ни къ кому.

"Человическое присуще человику потому, что онъ человикъ;--но оно проявляется въ немъ не иначе, какъ, во-первыхъ, на основании его собственной личности и въ той мфрф, въ какой она его можеть вместить въ себя, а, во-вторыхъ, на основаніи его національности. Личность человіка есть исключеніе другихъ дичностей и, потому самому, есть ограничение человъческой сущности: ни одинъ человъкъ, какъ бы ни велика была его геніальность никогла не исчерпаеть самимъ собою не только всихъ сферъ жизни, но даже и одной какой пибудь ея стороны. Ни одинъ человъкъ не только не можетъ замънить самимъ собою всёхъ людей (т. е. сділать ихъ существованіе ненужнымъ), но даже п ни одного человъка, какъ бы онъ ни былъ ниже его въ правственномъ или умственномъ отношенін; но всв и каждый необходимы всвиъ и каждому. На этомъ и основано и единство и братство человъческаго рода. Человъкъ силенъ и обезнечень только въ общества, но чтобы и общество, въ свою очередь, было сильно и обезпечено, ему необходима внутренняя, непосредственная, органическая связь-національность. Она есть самобытный результать соединенія людей, но не есть ихъ произведение: ни одинь народъ не создаль своей національности, какъ не создаль самого себя. Это указываеть на кровное, родовое происхождение всёхъ національностей. Чёмъ ближе человёкъ или народъ къ своему началу, темъ ближе онъ къ природе, темъ более онъ ея рабъ; тогда онъ не человъкъ, а ребенокъ, не народъ, а племя. Въ томъ и другомъ человѣческое развивается по мырь ихъ освобождения отъ естественной непосредственности. Этому освобождению часто способствують разныя вившнія причины; но человъческое темъ не мене приходить къ народу не извие, а изъ него же самого, и всегда проявляется въ немъ національно.

"Собственно говоря, борьба человіческаго съ національнымь, есть не боліе, какъ риторическая фигура; но въ дійствительности ея ніть. Даже и тогда, когда прогрессь одного народа совершается чрезъ заимствованіе у другаго, онъ тімъ не меніе совершается національно. Иначе, ніть прогресса. Въ наше время народныя вражды и антипатіи погасли совершенно. Французъ уже не питаеть ненависти къ англичанину только за то, что онъ англичанинъ и наобороть. Напротивъ, со дня на день болье и болье обнаруживается въ наше время сочувствіе и любовь народа къ народу. Это утішительное, гуманное явденіе есть результать просвіщенія. Но изъ этого отнюдь не слідуеть, чтобы просвъщение сглаживало народности и дълало всъ народы похожими одинъ на другой, какъ двъ капли воды. Напротивъ, наше время есть, по преимуществу, время сильнаго развитія національностей. Французь хочеть быть французомь. и требуеть отъ намда, чтобы тоть быль намцемь, и только на этомъ основанін и интересуются имъ. Въ такихъ точно отношеніяхъ находятся теперь другъ къ другу всѣ европейскіе народы. А, между тімъ, они нещадно заимствують другь у друга, нисколько не боясь повредить своей національности. Исторія говорить, что подобныя опасенія могуть быть дійствительны только для народовъ нравственно-безсильныхъ и ничтожныхъ. Древняя Эллада была наслъдницею всего предшествовавшаго ей древняго міра. Въ ея составъ вошли элементы египетскіе и финикійскіе, кром'є основнаго пеласгическаго. Римляне приняли въ себя, такъ сказать, весь древній міръ, и все-таки остались римлянами, и если пали, то не отъ внашнихъ заимствованій, а отъ того, что были последними представителями исчернавшаго всю жизнь своего древняго міра, долженствовавшаго обновиться черезъ христіанство и тевтонскихъ варваровъ. Французскан литература рабски подражала греческой и латинской, наивно грабила ихъ заимствованіями, и все-таки осталась національно-французскою. Все отринательное движение французской литературы XVIII въка вышло изъ Англіи, но французы до того ум'єди его усвонть себ'є, наложивъ на него печать своей національности, что никто и не лумаетъ оспаривать у ихъ литературы чести самобытнаго развитія. Нұмецкая философія пошла отъ француза Декарта, нисколько не сдълавшись отъ этого французскою".

Таково отношеніе Бѣлинскаго къ вопросу о народности. Онъ думаєть, что въ сущности о ней нечего и заботиться народу, имѣющему нравственныя силы. Она такъ же неотъемлема и несокрушима, какъ физіологическія особенности народа, потому что и сама, подобы имъ, врождена отъ природы. Мнимая борьба человѣческаго съ національнымъ — продолжаєть онъ — въ сущности есть только борьба новаго со старымъ, современнаго съ отжившимъ.

Итакъ, толковать о народности едва-ли не значить попусту терять слова; но въ стремленіи, изъ котораго возникли эти толки, есть смысль: онъ заключается въ томъ, что каждый народъ должень заниматься изученіемъ и улучшеніемъ своей дъйствительной жизни. Начатки этого направленія видитъ Бѣлинскій теперь въ нашей литературѣ, а въ этихъ начаткахъ — близость ея къ эрѣлости и возмужалости. Наша литература, съ появленіемъ Гоголя, занялась дѣломъ. «Въ этомъ отношеніи дошла она до такого положенія, что успѣхи ея въ будущемъ, ея движеніе впередъ зави-

сять больше оть объема и количества предметовь, доступныхь ея зав'ядыванію, нежели оть нея самой. Чёмъ шире будуть границы ея содержанія, чёмъ больше будеть пищи для ея д'ятельности, тёмь быстрёе и плодовитёе будеть ея развитіе».

Этимъ оканчивается общая часть предпоследняго годичнаго обзора русской литературы. Следующій, последній обзорь («Совр.» 1848, №№ 1 и 3) является въ своей общей части, какъ бы продолженіемъ предъидушаго. Читатели помнять, что направленіе, которое теперь владычествуеть въ нашей литературъ, получило, при своемъ появленіи, названіе натуральной школы, и что десять л'ять тому назадъ натуральная школа была предметомъ ожесточенныхъ нападеній со стороны всёхъ отсталыхъ писателей. Теперь мы видимъ, что поднялись противъ такъ называемаго отрицательнаго направленія толки, совершенно подобные тімь, какіе прежде поднимались противъ натуральной школы. Вся разница только въ замъненіи термина «натуральная школа» другимь, а предметь неудовольствія отсталыхъ критиковъ остается одинъ и тотъ же. Бѣлинскій отвічаеть на всі упреки противь натуральной школы съ полнотою, которая не оставляеть мёста никакимъ сомнёніямъ; онъ исторією доказываеть неизб'яжность нын'вшняго направленія литературы, эстетикою совершенную законность его, правственными потребностями нашего общества необходимость его:

"Натуральная школа стоить теперь на первомъ планѣ русской литературы, нисколько не преувеличивая дѣла по какимъ нибудь пристрастнымъ увлеченіямъ, мы можемъ сказать, что публика, т. е. большинство читателей за нее: это фактъ, а не предположеніе. Теперь вся литературная дѣятельность сосредоточилась въ журналахъ: а какіе журналы пользуются большею извѣстностью, имѣютъ болѣе общирный кругъ читателей п большее вліяніе на мнѣніе публики, какъ не тѣ, въ которыхъ помѣщаются произведенія натуральной школы? Какіе романы и повѣсти читаются публикою съ особеннымъ интересомъ, какъ не тѣ, которыя принадлежатъ натуральной школѣ, или, лучше сказать, читаются ли публикою романы и повѣсти, не принадлежащіе къ натуральной школѣ? Съ другой стороны, о комъ безпрестанно говорять, спорятъ; на кого безпрестанно нападаютъ съ ожесточеніемъ, какъ не на натуральную школу?

"Все это нисколько не ново въ нашей литературѣ, но было не разъ и всегда будетъ. Карамзинъ первый произвелъ раздѣленіе въ едва возникавшей тогда русской литературѣ. До него всѣ были ссгласны во всѣхъ литературныхъ вопросахъ, и если бывали разногласія и споры, они выходили не изъмнѣній и убѣжденій, а изъ мелкихъ и безпокойныхъ самолюбій Сумарокова и Тредъяковскаго. Но это согласіе доказывало только безжизненность тогдашней

10(

H

92

B1

IM

 \mathbf{B}

 \mathbf{u}

Ka

X

HE.

ιй

такъ называемой литературы. Карамзинъ первый оживилъ ее, потому что перевель ее изъ книги въ жизнь, взъ школы въ общество. Тогда, естественно явились и партін, началась война на перьяхъ, раздались вопли, что Карамзинъ и его школа губятъ русскій языкъ и вредять добрымъ русскимъ нравамъ. Въ лице его противниковъ, казалось, вновь возстала русская упорная старина, которая съ такимъ судорожнымъ, и темъ более безплоднымъ напряжениемъ, отстанвала себя отъ реформы Петра Великаго. Но большинство было на сторовѣ права, т. е. таланта и современныхъ правственныхъ потребностей, вопли противниковъ заглушались хвалебными гимнами поклонниковъ Карамзина. Все группировалось около него, и отъ него все получало свое значеніе, свою значительность, все-даже противники. Онъ быль героемъ, Ахилломъ того времени. Но что вся эта тревога въ сравнении съ бурею, которая поднялась съ появленіемъ Пушкина на литературномъ поприщь? Она такъ памятна всёмъ, что нёть нужды и распространяться о ней. Скажемъ только, что противники Пушкина видёли въ его сочиненіяхъ искаженіе русскаго языка, русской поэзін, несомивнный вредъ не только для эстетическаго вкуса публики, но иповърять ин теперь этому?-для общественной нравственности!... Что же за причина, что противники всякаго движенія впередъ во всв эпохи нашей литературы говорили одно и тоже и почти одними и тѣми же словами?

"Причина этого скрывается тамъ же, гдв надобно искать и происхожденія натуральной школы-въ исторіи нашей литературы. Въ лиць Кантемира, русская поэзія обнаружила стремленіе къ дійствительности, къ жизни, какъ она есть, основала свою силу на върности натуръ. Въ Державинъ (его оды "Къ Фелиць", "Вельможь", "На счастіе" едва ли не лучшія его произведенія, по крайней мёре, безъ всякаго сомненія, въ нихъ больше оригинальнаго, русскаго, нежели въ торжественныхъ одахъ), въ басняхъ Химницера и въ комедіяхъ фонъ-Визина, отозвалось направленіе, представителемъ котораго, по времени, быль Кантемиръ. Сатира у нихъ уже рѣже переходить въ преувеличение и каррикатуру, становится болье натуральною, по мере того, какъ становится болье поэтическою. Въ басняхъ Крылова сатира делается вполне художественною; натурализмъ становится отличительною характеристическою чертою его поэзін. Зато онъ первый и подвергся упрекамъ за изображенія "незкой природы". Наконецъ явился Пушкинъ, поэзія котораго относится къ поэзіи всёхъ предшествовавшихъ ему поэтовъ, какъ достижение относится къ стремлению. Несмотря на преимущественно идеальный и лирическій характеръ первыхъ поэмъ Пушкина, въ нихъ уже вошли элементы жизни действительной. Цыганскій таборъ съ оборванными шатрами между колесами телегь, съ пляшущимъ медведемъ и нагими детьми въ перекидныхъ корзинкахъ на ослахъ, быль тоже неслыханною дотоль сценою для кроваваго трагическаго событія. Но въ "Евгенін Онагина" идеалы еще болье уступили масто дайствительности, туть уже натуральность является не какъ сатира, не какъ комизмъ, а какъ втрное воспроизведение дъйствительности, со встиъ ея добромъ и зломъ, со всёми ея житейскими дрязгами: около двухъ трехъ лицъ, опоэтизированныхъ или нъсколько идеализированныхъ, выведены люди обыкновенные, но не на посмъщище, какъ уроды, какъ исключение изъ общаго правила, а какъ

лица, составляющія большинство общества. И все это въ романь, писанномъ стихами! Что же въ это время ділаль романь въ прозі:

10(

III

B1

J

M

1

B

П

-ka

X

330

"Онъ всеми силами стремился къ сближению съ действительностью, къ натуральности. Между этими попытками были очень замѣчательныя; но тѣмъ не менье всь онь отзывались переходною эпохою, стремились къ новому, не оставляя старой колеи. Весь успахъ заключался въ томъ, что, несмотря на вопли старовбровъ, въ романъ стали появляться лица всъхъ сословій, и авторы старались подублываться подъ языкъ каждаго. Это называлось тогда пародностью. Но эта народность слишкомъ отзывалась тогда маскарадностью: русскія лица пизшихъ сословій походили на переряженныхъ баръ, а бары только именами отличались отъ иностранцевъ. Нуженъ былъ геніальный таланть, чтобы навсегда освободить русскую поэзію, изображающую русскіе правы, русскій быть, изъ-подъ чуждыхъ ей вліяній. Пушкинъ много сдёлаль для этого; но докончить, довершить дёло предоставлено было другому таданту. Съ появленіемъ "Миргорода" и "Арабесокъ" (въ 1835 году) и "Ревизора" (въ 1836) начинается полная извистность Гоголя и его сильное вліяніе на русскую литературу. Вліяніе теорій и школь было одною изъ главныхъ причинь, почему многіе сначала спокойно, безъ всякой враждебности, искренно и добросовъстно видъли въ Гоголь не болье, какъ писателя забавнаго, но тривіальнаго и незначительнаго, и вышли изъ себя уже вследстве восторженныхъ похваль, расточавшихся ему другою сторопою, и важнаго значенія которое онъ быстро пріобръталь въ общественномъ мивнін. Въ самомъ дъль, какъ ни ново было въ свое время, направленіе Карамзина, оно оправдывалось образцами французской литературы. Какъ ни странно поразили всехъ баллады Жуковскаго, съ ихъ мрачнымъ кодоритомъ, съ ихъ кладбищами и мертвецами, но за нихъ были имена корифсевъ німецкой литературы. Самъ Пушкинъ, съ одной староны, былъ подготовленъ предшествовавшими ему поэтами, и первые опыты его носили на себѣ легкіе следы ихъ вліянія; а съ другой стороны, его нововведенія оправдывались общимъ движениемъ во всёхъ литературахъ Европы и вліяниемъ Байрона-авторитета огромнаго. Но Гоголю не было образда, не было предшественпиковъ ни въ русской, ни въ пностранныхъ дитературахъ. Всѣ теоріи, всѣ преданія дитературныя были противъ него, потому что онъ быль противъ нихъ. Чтобы понять его, надо было вовсе ихъ выкинуть изъ головы, забыть о ихъ существованіи, а это для многихъ значило бы переродиться, умереть и вновь воскреснуть. Чтобы ясике сделать нашу мысль, посмотримъ, въ какихъ отношеніяхь Гоголь находится къ другимъ русскимъ поэтамъ. Конечно, и въ техъ сочиненіяхъ Пушкина, которыя представляютъ чуждыя русскому міру картины; безъ всякаго сомнанія, есть элементы русскіе; но кто укажетъ ихъ? Какъ доказать, что, напримъръ, поэмы: "Моцартъ и Сальери", "Каменный Гость", "Скупой Рыцарь", "Галубъ", могли быть написаны только русскимъ поэтомъ, и что ихъ не могъ бы написать поэтъ другой націи? То же можно сказать о Лермонтовъ. Всъ сочиненія Гоголя посвящены исключительно изображенію міра русской жизни, и у него нъть соперниковъ въ искусствъ воспроизводить ес во всей ел истинности. Онъ ничего не смягчаетъ, не укращаетъ вследстве любви къ идеаламъ, или какихъ нибудъ заранте принятыхъ идей, или привычныхъ пристрастій, какъ, напримъръ. Пушкинъ въ "Онѣгинъ" идеализироваль помѣщичій бытъ. Конечно, преобладающій характерь его сочиненій — отрицаніе; всякое отрицаніе, чтобъ быть живымъ и поэтическимъ, должно дѣлаться во имя идеала, и этотъ идеалъ у Гоголя такъ же не свой, т. е. не туземный, какъ и у всѣхъ другихъ русскихъ поэтовъ, потому что наша общественная жизнь еще не сложилась и не установилась, чтобы могла дать литературѣ этотъ идеалъ. Но нельзя же не согласиться съ тѣмъ, что по поводу сочиненій Гоголя уже никакъ не возможно предположить вопроса: какъ доказать, что они могли быть написаны только русскимъ поэтомъ, и что ихъ не могъ бы написать поэтъ другой націи? Изображать русскую дѣйствительность, и съ такою поразительною вѣрностію и истиною, разумѣется, можетъ только русскій поэтъ. И вотъ пока въ этомъ-то болѣе всего и состоитъ народность нашей литературы.

"Литература наша начадась подражательностію. Но она не остановидась на этомъ, а постоянно стремилась къ самобытности, народности, изъ реторической стремилась сдёлаться естественною, натуральною. Это стремленіе, ознаменованное заметными и постоянными успехами, и составляють смысль и душу исторіи нашей литературы. И мы не обинуясь скажемъ, что ни въ одномъ русскомъ писатель это стремление не достигло такого усибха, какъ въ Гоголь. Это могло совершиться только чрезъ исключительное обращение искусства къ дъйствительности, номимо всякихъ идеаловъ. Для этого нужно было обратить все вниманіе на толпу, на массу, изображать людей обыкновенныхъ, а не пріятныя только исключенія изъ общаго правила, которыя всегда соблазняють поэтовъ на идеализирование и носять на себь чужой отпечатокъ. Это великая заслуга со стороны Гоголя; но это-то люди стараго образованія и вміняють ему въ великое преступление передъ законами искусства. Этимъ онъ совершенно измёниль взглядь на самое искусство. Къ сочинениямъ каждаго изъ поэтовъ русскихъ можно, хотя и съ натяжкою, приложить старое и ветхос опредъление поэзи, какъ "украшенной природы"; но въ отношении къ сочиненіямъ Гоголя этого уже невозможно сдёлать. Къ нимъ идеть другое опреділеніе искусства, какъ воспроизведеніе дійствительности во всей ся истині. Туть все діло въ типах, а идеаль туть понимается не какъ украшеніе (слідовательно, ложь), а какъ отношенія, въ которыя становить другь къ другу авторъ созданные имъ типы, сообразно съ мыслію, которую онъ хочетъ развить своимъ произведеніемъ.

"Вліяніе Гоголя на русскую литературу было огромно. Не только всѣ молодые таланты бросились на указанный имъ путь, но и нѣкоторые писатели, уже пріобрѣтшіе извѣстность, пошли по этому же пути, оставивъ свой прежній. Отсюда появленіе школы, которую противники ел думали унизить пазваніемь натуральной. Послѣ "Мертвыхъ Душъ" Гоголь ничего не написалъ. На сценѣ литературы теперь только его школа. Всѣ упреки и обвиненія, которыя прежде устремлялись на него, теперь обращены на натуральную школу, и если еще дылются выходки противъ него, то по поводу этой школы. Въ чемъ же обвиняють се? Обвиненій немного, и они всегда одни и тѣ же. Сперва нападали на нее за ел будто бы постоянныя нападки на чиновниковъ. Въ ел изображеніяхъ быта этого сословія, одни искренно, другіе умышленно, видѣли злона-

мъренныя каррикатуры. Съ нъкотораго времени эти обвиненія замолкли. Теперь обвиняють писателей натуральной школы за то, что они любять изображать людей низкаго званія, ділають героями свонхь повістей мужиковь, извощиковъ, дворниковъ, описываютъ углы, убћинща голодной нищеты и часто всяческой безиравственности. Чтобы устыдить новыхъ писателей, обвинители съ торжествомъ указывають на прекрасныя времена русской литературы, ссылаются на имена Карамзина и Дмитріева, избиравшихъ для своихъ сочиненій предметы высокіе и благородные. Мы же напомнимъ имъ, что первая замѣчательная русская повёсть была написана Карамзинымъ, и ея геропня была обольщенная нетиметромъ крестьянка-бъдная Лиза... Но тамъ, скажутъ они, все опрятно и чисто, и подмосковная крестьянка не уступить самой благовосинтанной барышинь. Воть мы и дошли до причины спора: туть виновата, какъ видите, старая пінтика. Она позволяєть изображать, ножалуй, и мужиковъ, но не иначе, какъ одътыхъ въ театральные костюмы, обнаруживающихъ чувства и понятія, чуждыя ихъ быту, положенію и образованію, и объясняющихся такимъ языкомъ, которымъ никто не говоритъ, а тімъ менье крестьянс. Старая пінтика позволяеть изображать все, что вамъ угодно, но только предписываеть при этомъ изображаемый предметъ такъ украсить, чтобы не было никакой возможности узнать, что вы хотели изобразить. Следуя строго ея урокамъ, поэтъ можеть пойти дальше прославленнаго Дмитріевымъ маляра Ефрема, который Архина писаль Сидоромъ, а Луку Кузьмою: онь можеть снять съ Архипа такой портретъ, который не будетъ походить не только на Сидора, но н ни на что на свътъ, даже на комокъ земли. Натуральная школа слъдуетъ совершенно противному правилу: возможно близкое сходство изображаемыхъ ею лицъ съ ихъ образцами въ дъйствительности не составляетъ въ ней всего, не есть первое ея требованіе, безъ выполненія котораго уже не можеть быть въ сочинении ничего хорошаго. Требование тяжелое, выполнимое только для таланта! Какъ же, после этого, не любить и не чтить старой пінтики темъ писателямъ, которые когда-то умъли и безъ таланта съ успъхомъ подвизаться на поприщь поэзін? Какъ не считать имъ натуральной школы самымъ ужаснымъ врагомъ своимъ, когда она ввела такую манеру писать, которая имъ недоступна? Это, конечно, относится только къ людямъ, у которыхъ въ этотъ вопросъ вмішалось самолюбіе; но найдется много и такихъ, которые по искреннему убъждению не любять естественности въ искусствъ, вслъдствіе вліянія на нихъ старой пінтики. Эти люди съ особенною горечью жалуются еще на то, что теперь искусство забыло свое прежнее назначение. "Бывало-говорять они-поззія поучала, забавляя, заставляла читателя забывать о тягостяхь и страданіяхъ жизни, представляла ему только картины пріятныя и смінощіяся. Прежніе поэты представляли и картины бідности, но бідности опрятной, умытой, выражающейся скромно и благородно; притомъ же, къ концу повъсти всегда являлась чувствительная молодая дама или девица, дочь богатыхь и благородныхъ родителей, а не то благодётельный молодой человёкъ, и во имя милаго или милой сердца водворяли довольство и счастіе тамъ, гдт были бідность и нужда, и благородныя слезы орошали благод тельную руку-и читатель невольно подносиль свой батистовый платокъ къ глазамъ и чугствоваль

что онъ становится добрже и чувствительнже... А теперы! посмотрите, что теперь пишуть, мужики въ лаптяхъ и армякахъ, часто отъ нихъ несетъ сивухою, баба-родъ центавра, по одежда не вдругъ узнаещь, какого это пола существо; упы-убъжище нищеты, отчаянія и разврата, до которыхъ надо дохоходить по двору грязному по кольни; какой нибудь пьянюшка подъячій или учитель изъ семинаристовъ, выгнанный изъ сдужбы, --- все это списывается съ натуры, въ наготъ страшной истины, такъ что если прочтешь -- жди ночью тяжедыхъ сновъ"... Такъ или почти такъ говорятъ маститые питомцы старой пінтики. Въ сущности ихъ жалобы состоять въ томъ, зачёмъ поэзія перестала безстыдно лгать, изъ детской сказки превратилась въ быль, не всегда прілтную, зачёмъ отказалась она быть гремушкою, подъ которую дётямъ пріятно и прыгать и засыпать... Странные люди, счастливые люди! имъ удалось на всю жизнь остаться дётьми и даже въ старости быть несовершеннольтними, недорослями, — и вотъ они требуютъ, чтобы и всѣ походили на нихъ-На читайте свои старыя сказки — никто вамъ не мѣшаетъ; а другимъ оставьте занятія, свойственныя совершеннольтію. Вамъ ложь — намъ истина: разділимся безъ спору, благо вамъ не нужно нашего пая, а мы даромъ не возьмемъ вашего... Но этому полюбовному раздёлу мёщаетъ другая причина — эгоизмъ, который считаетъ себя добродетелью. Въ самомъ деле, представьте себ'я челов'яка обезпеченнаго, можеть быть, богатаго; онь сейчась пообъдаль сладко, со вкусомъ (поваръ у него прекрасный), усвлся спокойно въ вольтеровскихъ креслахъ съ чашкою кофе, передъ пылающимъ каминомъ, тепло и хорошо ему, чувство благосостоянія делаеть его веселымъ,и вотъ беретъ онъ книгу, лѣниво переворачиваетъ ел листы, — и брови его надвигаются на глаза, улыбка исчезаеть съ румяных губъ, онъ взволнованъ встревоженъ, раздосадованъ... И есть отъ чего! книга говоритъ ему, что не всф на свёте такъ хорошо живуть, какъ онь, что есть умы, где подъ лохмотьями отъ холоду дрожитъ целое семейство, можетъ быть, недавно еще знавшее довольство,-что есть на свыть люди, рожденіемъ, судьбою обреченные на нитету, что последняя копейка идеть на зелено вино не всегда отъ праздности и лени, но и отъ отчаянія... И нашему счастливцу неловко, какъ будто совъстно своего комфорта... А все виновата скверная книга: онъ взялъ ее для удовольствія, а вычиталь тоску и скуку... Прочь ее! "Книга должна пріятно развлекать; я и безъ того знаю, что въ жизни много тяжелаго и мрачнаго, и если читаю, такъ для того, чтобы забыть это!" восклицаеть онъ.-Такъ, милый, добрый сибарить, для твоего спокойствія и книги должны лгать, и б'єдный забываеть свое горе, голодный свой голодь, стоны страданія должны долетать до тебя музыкальными звуками, чтобы не испортился твой аппетить, не нарушился твой сонъ... Представьте теперь въ такомъ же положении другаго любителя пріятнаго чтенія. Ему надо было дать баль, срокъ приближался, а денегъ не было, управляющій его, Никита Оедорычъ, что-то замінкался высылкою. Но сегодня деньги получены, балъ можно дать; съ сигарой въ зубахъ, реселый и довольный, лежить онъ на дивань, и отъ нечего дылать руки его лениво протягиваются къ книге. Опять та же исторія! Проклятая книга разсказываеть ему подвиги его Никиты Өедорыча, подлаго холопа, съ дътства привыкшаго подобострастно служить чужимъ страстямъ и прихотямъ, женатаго на отставной любовницѣ родителя своего барина. И ему-то поручено править имѣніемъ... Скорѣе прочь ее, скверную книгу!... Представьте теперь себѣ еще въ такомъ комфортномъ состояніи человѣка, который въ дѣтствѣ бѣгалъ боснкомъ, бывалъ на носылкахъ, а лѣтъ подъ пятъдесятъ какъ-то очутился въ чинахъ, имѣетъ "малую толику". Всѣ читаютъ — надо и ему читатъ; но что находить онъ въ книгѣ?—свою біографію, да еще какъ вѣрно разсказанную, хотя, кромѣ его самого, темныя похожденія его жизни — тайна для всѣхъ, и ни одному сочинителю неоткуда было узнать ихъ... И вотъ онъ уже не взволнованъ, а просто взбѣшонъ, и съ чувствомъ достоинства облегчаетъ свою досаду такимъ разсужденіемъ: "Вотъ какъ пишутъ нынѣ! вотъ дочего дошло вольнодумство! такъ-ли писали прежде? Интиль ровный, гладкій, все о предметахъ нѣжныхъ или возвышенныхъ, читать сладко и обвдѣться нечѣмъ!,

Есть особый родь читателей, который не любить встрычаться даже въ книгахъ съ людьми низшихъ классовъ, обыкновенно незнающими приличія и хорошаго тона, не любить грязи и нищенствъ, по вхъ противоположности съ роскошными будуарами и кабинетами. Эти отзываются о натуральной школь не иначе, какъ съ высокомърнымъ презръніемъ, ироническою улыбкою... Кто они такіе, эти феодальные бароны, гнушающіеся "подлою чернью"? Не спъшите справляться о нихъ въ герольдическихъ книгахъ или при дворахъ европейскихъ: вы не найдете ихъ гербовъ, они если видали большой свътъ, то не иначе, какъ съ улицы, сквозь ярко освъщенныя окна, на сколько позволяли сторы и занавъски...

"Что за охота наводнять литературу мужиками?" восклицають они. Въ ихъ глазахъ писатель-ремесленникъ, которому какъ что закажутъ, такъ онъ и ділаетъ. Имъ въ голову не входитъ, что, въ отношени къ выбору предметовъ сочиненія, писатель не можеть руководствоваться ни чуждою ему волею, ни даже собственнымъ произволомъ, ибо искусство имветъ свои законы, безъ уваженія которыхъ нельзя хорощо писать. Оно прежде всего требуеть, чтобы писатель быль вёрень собственной натурё, своему таланту, своей фантазів. А чёмъ объяснить, что одинъ любить изображать предметы веселые, другой-мрачные, если не натурою, характеромъ и талантомъ поэта? Кто что любитъ, чёмъ интересуются, то и знаеть лучше, а что лучше знаеть, то лучше и изображаеть. Воть самое законное оправданіе поэта, котораго упрекають за выборь предметовъ: оно неудовлетворительно только для людей, которые ничего не смыслять въ искусствъ и грубо смъшивають его съ ремесломъ. Природа — въчный образецъ искусства, а величайшій и благороднійшій предметь въ природі человъкъ... Божественное слово любви и братства не втунъ огласило міръ. То, что прежде было обязанностію только призванных влиць или добродітелью немногихъ избранныхъ натуръ, -- это самое дълается теперь обязанностію обществъ, служить признакомъ уже не одной добродьтели, но и образованности частныхъ лицъ. Посмотрите, какъ, въ нашъ въкъ, вездъ заняты всь участью визшихъ классовъ, какъ частная благотворительность всюду переходить въ общественную, какъ вездё основываются хорошо организованныя, богатыя вёрными средствами общества для распространенія просв'ященія въ низшихъ классахъ, для

пособія нуждающимся и страждущимъ, для отвращенія и предупрежденія нищеты и ея неизбъжнаго слъдствія—безиравственности и разврата. Это общее движеніе, столь благородное, столь человіческое, столь христіанское, встрітило своихъ порицателей въ лицъ поклонниковъ тупой и косой патріархальности. Они говорять, что туть действують мода, увлеченіе, тщеславіе, а не человіколюбіе. Пусть такъ, да когда же и гдё же въ лучшихъ человёческихъ дёйствіяхъ не участвовали подобныя мелкія побужденія? Но какъ же сказать, что только такія побужденія могуть быть причиною такихь явленій? Какь думать, что главные виновники такихъ явленій, увлекающіе своимъ приміромъ толиу, не одушевлены болье высокими и благородными побужденіями? Разумьется, нечего удивляться добродьтели людей, которые бросаются въ благотворительность не по чувству любви къ ближнему, а изъ моды, изъ подражательности, изъ тщеславія; но это добродьтель въ отношеніи къ обществу, которое иснолнено такого духа, что и діятельность суетных видей умість направлять къ добру! Это-ли не отрадное въ высшей степени явление новъйшей цивилизации, успъховъ ума, просвъщенія и образованности?

"Могло-ли не отразиться въ литературь это новое общественное движеніе,—въ литературь, которая всегда бываетъ выраженіемъ общества? Въ этомъ отношеніи литература сділала едва-ли не больше: она скорье способствовала возбужденію въ обществі такого направленія, нежели только отразила его въ себі, скорье учредила его, нежели только не отстала отъ него. Нечего говорить, достойна-ли и благородна-ли такоя роль; но за все-то и нападаютъ на литературу иные. Мы думаемъ, что довольно показали, изъ какихъ источниковъ выходять эти нападки и чего они стоють... ("Совр." 1848 года, т. VII "Русская Литер.", стр. 10—26).

Послѣ того, Вѣлинскій оправдываеть натуральную школу съ эстетической точки зрѣнія, развивая истинныя понятія о сущности и значеніи искусства. Этоть эпизодь быль уже представлень нами въ приложеніи къ седьмой главѣ «Очерковь».

Мы привели въ извлеченіи всё важнійшія страницы общей части обонхъ послёднихъ годичныхъ обозрёній Бёлинскаго. Во второй половинё того и другаго обозрёнія, гдё дается оцёнка замічательнійшихъ литературныхъ явленій предшествовавшаго года, особеннаго вниманія заслуживаеть одна общая черта: ученые труды, преимущественно по русской исторіи, разсматриваются съ такою же подробностью, какъ и беллетристическія произведенія. Этого прежде не было: объ ученыхъ книгахъ представлялись только краткія сужденія. Въ самомъ дёлё, въ послёднее время дёятельности Бёлинскаго одна отрасль нашей ученой литературы, именно разработка русской исторіи, благодаря трудамъ новой исторической школы (гг. Соловьевъ, Кавелинъ и другіе), получила для общества важность, какой не имѣла прежде. Съ того времени это общее сочув-

ствіе къ ученымъ вопросамъ постепенно возрастаетъ, и мало по малу наше общество начинаетъ расширять кругъ своихъ умственныхъ интересовъ. Въ последнее время, мы даже видели, что журналъ, вызывающій къ себѣ вниманіе публики преимущественно статьями ученаго содержанія, пользуется въ публикі вниманіемъ не меньшимъ того, какое обращено на журналы, успахъ которыхъ основанъ преимущественно на беллетристикъ и беллетристической критикъ. Пятнадцать, даже десять дътъ тому назадъ едва ли было бы возможно такое явленіе. Неть сомненія, что этоть новый прогрессъ въ умственной жизни нашей публики благотворнымъ образомъ отразится и на развитіи всей нашей дитературы. Бълинскій предугадываль это, и воть причина того, что въ последнее время онъ почелъ необходимымъ расширить горизонтъ своихъ годичныхъ обозрвній, обративь на труды по русской исторіи столько же вниманія, какъ и на произведенія изящной словесности. Если бы въ настоящее время мы имфли критиковъ, подобныхъ ему, конечно, они увидели бы возможность и необходимость еще более расширить кругъ нашей критики.

Выписки наши изъ статей Бёлинскаго были многочисленны и обширны. Легко было бы замёнить ихъ изложеніемъ ихъ содержанія; но читатель, в роятно, одобряєть тоть методь, которому мы следовали. Наши статьи имёли цёлью не только историческое изложеніе различныхъ направленій русской критики; мы хотёли также указать на основанія, отъ которыхъ не должна уклоняться современная критика, если не хочеть внадать въ безсиліе, мелочность, пустоту. Справедливыя понятія объ этомъ были высказываемы у насъ Велинскимъ, и на его критику до сихъ поръ надобно смотръть не только какъ на замъчательное историческое явленіе, но также и какъ на руководительный примъръ. Наши собственныя слова не имѣли бы такого авторитета, какой имѣютъ его слова. Кром'в того, если бы мы не приводили его мненій его собственными словами, инымъ, быть можетъ, вздумалось бы говорить, что мы приписываемъ Вёлинскому мненія, которыхъ онъ не имёлъ: мы уже говорили, что намять у многихъ наъ насъ очень коротка. Выписки изъ Белинскаго предупреждають возможность такого сомнения, и придають мыслямь, которыя должны быть считаемы справедливыми, авторитеть, который немногіе рашатся отвергать.

Два важные принципа особенно должны быть хранимы въ на-

шей памяти, когда дёло идеть о литературныхъ сужденіяхъ: понятіе объ отношеніяхъ литературы къ обществу и занимающимъ его вопросамъ; понятіе о современномъ положеніи нашей литературы и условіяхъ, отъ которыхъ зависитъ ея развитіе. Оба эти принципа были выставляемы Бёлинскимъ, какъ важнійшія основанія нашей критики, разъясняемы со всею силою его діалектики и постоянно приміняемы имъ къ ділу, успіту котораго и зависіть въ значительной степени отъ нхъ соблюденія. Съ того времени, какъ писалъ Білинскій, развитіе наше не сділало столь значительныхъ успітуовъ, чтобы его мысли потеряли прямое отношеніе къ нашему настоящему, и кто заботится объ истинъ, по необходимости до сихъ поръ держится литературныхъ воззрівній, представителемъ которыхъ былъ онъ въ нашей критикъ.

Во всёхъ отрасляхъ человъческой деятельности только тё направленія достигають блестящаго развитія, которыя находятся въ живой связи съ потребностями общества. То, что не имфетъ корней въ почвъ жизни, остается вяло и бледно, не только не пріобрътаетъ историческаго значенія, но и само по себт, безъ отношенія къ действію на общество, бываеть ничтожно. Когда дело идеть о стремленіяхь и фактахь, принадлежащихь къ сферамъ матеріальной, научной и общественной жизни, эта истина признается безспорно всеми. Когда дело идеть о живописи, скульитурь, архитектурь, также ни одинь сколько нибудь свъдущій человакъ не будетъ спорить противъ мысли, что каждое изъ этихъ искусствъ достигало блестящаго развитія только тогда, когда это развитіе условливалось общими требованіями эпохи. Скульнтура процвётала у грековъ только потому, что была выраженіемъ господствующей черты въ ихъ жизни, -- выражениемъ страстнаго поклоненія красоть формъ человьческаго тыла. Готическая архитектура создала дивные намятники только потому, что была служительницею и выразительницею среднев вковыхъ стремленій. Итальянская школа живописи произвела дивныя картины только потому, что была выразительницею стремленій общества въ томъ въкъ и въ той стране, служила духу века, состоявшему въ сліянін классическаго поклоненія красоть человьческаго тыла съ заоблачными стремленіями среднихъ въковъ.

Страннымъ исключеніемъ изъ общаго закона была бы литература, если бы могла производить что нибудь замѣчательное, отрѣ-

шаясь отъ жизни. Но мы уже говорили въ одной изъ прежнихъ статей, что такихъ случаевъ никогда и не бывало. Какимъ же образомъ можетъ находить себъ защитниковъ такъ называемая теорія «чистаго искусства» (искусства небывалаго и невозможнаго), требующая отъ литературы, чтобъ она исключительно заботилась только о форм'я? Тутъ все основано на томъ, что приверженцы такъ называемаго чистаго искусства сами не замечають истиннаго смысла своихъ желаній или хотять вводить другихъ въ заблужденіе, говоря о чистомъ искусствъ, котораго никто не знаетъ и никто, ни сами они, не желаеть. Не останавливаясь на общей фразь, которою завъдомо или безъ въдома для самихъ себя прикрываютъ они свои истинныя желанія, надобно ближе всмотреться въ факты, свидетельствующіе о ихъ стремленіяхъ, надобно посмотр'єть, въ какомъ дух сами они пишутъ и въ какомъ дух в написаны произведенія, одобряемыя ими, и мы увидимъ, что они заботятся вовсе не о чистомъ искусствъ, независимомъ отъ жизни, а, напротивъ, хотятъ подчинить литературу исключительно служенію одной тенденціи, им вощей чисто житейское значение. Дело въ томъ, что есть люди, для которыхъ общественные интересы не существують, которымъ изв'єстны только личныя наслажденія и огорченія, независимыя отъ историческихъ вопросовъ, движущихъ обществомъ. Для этихъ изящныхъ эпикурейцевъ жизнь ограничивается тёмъ горизонтомъ, который обнимается поэзіею Анакреона и Горація: веселая бесёда за умфреннымъ, но изысканнымъ столомъ, комфортъ и женщины,--больше не нужно для нихъ ничего. Само собою разумъется, что для такихъ темпераментовъ равно скучны вст предметы, выходящіе изъ круга эпикурейскихъ идей; они хотъли бы, чтобъ и литература ограничивалась содержаніемъ, которымъ ограничивается ихъ собственная жизнь. Но прямо выразить такое желаніе значило бы обнаружить крайнюю нетерпимость и односторонность, и для прикрытія служать имъ фразы о чистомъ искусствъ, независимомъ, будто бы, отъ интересовъ жизни. Но скажите, развъ хорошій столъ, женщины и пріятная беседа о женщинахъ не принадлежать къ житейскимъ фактамъ, наравнъ съ нищетою и порокомъ, злоупотребленіями и благородными стремленіями? разв'в поэзія, если бы рішилась ограничиться застольными песнями и эротическими беседами. не была бы все-таки выразительницею извёстнаго направленія въ жизни, служительницею извъстныхъ идей? Она говорила бы намъ:

«пойте и любите, наслаждайтесь и забавляйтесь, не думая ни о чемъ больше»; она была бы проповъдницею эпикурензма, а эпикурензмъ точно такъ же философская система, какъ стоицизмъ и платонизмъ, какъ пдеализмъ и матеріализмъ и проповъдывать эпикурензмъ значитъ просто на просто быть проповъдникомъ эпикурензма, а не служителемъ чистаго искусства.

Итакъ, вотъ къ чему сводится вопросъ о такъ называемомъ чистомъ искусствъ: не къ тому, должна или не должна литература быть служительницею жизни, распространительницею идей, — она не можеть ни въ какомъ случат отказаться отъ этой роли, лежащей въ самомъ существъ ея,---нътъ, вопросъ сводится просто къ тому: должна ли литература ограничиваться эпикурейскою тенденціею. забывая обо всемъ, кром'в хорошаго стола, женщинъ и беседы на аттическій манеръ съ миртовыми вінками на головахъ собесідниковъ и собеседницъ? *). Отвётъ, кажется, не можетъ быть затруднителенъ. Ограничивать литературу изящнымъ эпикуреизмомъ значитъ до нелъпости стъснять ея границы, впадать въ самую узкую односторонность и нетериимость. Нать нужды на односторонность отвъчать другою односторонностью; за остракизмъ, которому защитники такъ называемаго чистаго искусства хотели бы подвергнуть всё другія иден и направленія литературы, кромё эпикурейскаго, нътъ нужды платить остракизмомъ, обращеннымъ противъ эпикурейской тенденціи, хотя она скорве всякой другой тенденціи заслуживала бы осужденія, какъ нічто праздное и пошловатое. Неть, избетая всякихъ односторонностей, скажемъ, что эпикурейское настроеніе духа, существуя въ жизни, им'ветъ право выражаться и въ литературѣ, которая должна обнимать собою всю жизнь. По справедливость требуеть сказать, что вообще эпикуреизмъ можеть пграть важную роль въ жизни только немногихъ людей, расположенныхъ къ нему по натуре и обстановленныхъ въ жизни исключительно благопріятными обстоятельствами; потому и въ литературъ эпикурейское направление можетъ приходиться по вкусу только немногимъ счастливымъ празднолюбцамъ, а для огромнаго большинства людей такая тенденція всегда казалась и будеть ка-

^{*)} Само собою разум'вется, мы здёсь говоримъ только о томъ, какой смыслъ им'ветъ теорія чистаго искусства въ паше время. Здёсь пасъ занимаетъ настоящее, а не давно минувшее.

заться безвкусна или даже решительно противна. Если же речь переходить къ настоящему времени, то надобно зам'втить, что оно ръшительно неблагопріятно для эникуреизма, какъ время разумнаго пвиженія, а не празднаго застоя, и такъ какъ эпикурензмъ въ жизни для нашего времени есть занятіе холодно-эгоистическое, следовательно, вовсе не поэтическое, то и въ литература эникурейское направление нашего времени, по необходимости, запечатыввается холодною мертвенностью. Поэзія есть жизнь, действіе, страсть; эпикурензмъ въ наше время возможенъ только для людей бездейственныхь, чуждыхь исторической жизни, потому въ эникуреизмъ нашего времени очень мало поэзін. И если справедливо, что живая связь съ разумными требованіями эпохи дають энергію и усп'яхъ всякой д'ятельности челов'яка, то эпикуреизмъ нашего времени не можетъ создать въ поэзіи ровно ничего сколько нибудь замвчательнаго. Дъйствительно, всв произведенія, написанныя нашими современниками въ этой тенденцій, совершенно ничтожны въ художественномъ отношеніи: они холодны, натянуты, безцетны и реторичны.

Литература не можетъ не быть служительницей того или другаго направленія идей: это назначеніе, лежащее въ ея натурів, -- назначеніе, отъ котораго она не въ силахъ отказаться если бы и хотфла отказаться. Последователи теоріи чистаго искусства, выдаваемаго намъ за нёчто долженствующее быть чуждымъ житейскихъ дёлъ, обманываются или притворяются: слова «искусство должно быть независимо отъ жизни» всегда служили только прикрытіемъ для борьбы противъ ненравившихся этимъ людямъ направленій литературы, съ цёлью сдёлать ее служительницею другаго направленія, которое болье приходилось этимъ людямъ по вкусу. Мы видели, чего хотять защитники теоріи чистаго искусства въ наше время, и едва ли можно думать, чтобы ихъ слова могли имъть какое нибудь вліяніе на литературу, какъ скоро смысль этихъ словъ открыть. Нашему времени нъть никакой охоты для эпикурензма забыть обо всемь остальномь, и литература никакъ не можеть нодчиниться этому узкому и мелкому направленію, чуждому здоровымъ стремленіямъ вѣка.

Нельзя насильно дать себѣ одушевленія тѣмъ, что не возбуждаєть одушевленія въ нашей натурѣ. Или врожденныя качества темперамента, или опыть жизни, размышленіе и наука, а не про-

извольное напряжение фантазіи приводять человіка къ живому сочувствію всякой доброй, здоровой и благородной идев. Есть люди, неспособные искренно одущевляться участіемъ къ тому, что совершается силою историческаго движенія вокругь нихъ: для такихъ писателей безполезно было бы накладывать на себя маску патетическаго одушевленія современными вопросами, -- пусть они продолжають быть, чёмъ хотять: великаго ничего не произведуть они ни въ какомъ случав. Но тв писатели, въ которыхъ природа или жизнь соединила съ талантомъ живое сердце, - тв писатели должны дорожить въ себъ этимъ прекраснымъ сочетаніемъ таланта съ мыслыю, дающею силу и смыслъ таланту, дающею жизнь и красоту ея произведеніямъ. Они должны сознавать, что ихъ благородное сердие. ихъ просвъщенный умъ ведутъ ихъ по прямой, по единственной дорогь къ славъ, внушал имъ потребность дъйствовать на пользу историческаго развитія, быть служителями иден гуманности и улучшенія человіческой жизни.

Это равно относится къ литературѣ каждой страны, отъ Испаніи до Россіи, Швеціи и Италіи. Но кромѣ общихъ условій, зависящихъ отъ самой натуры предмета, для литературной дѣятельности каждаго народа есть свои частныя условія, зависящія отъ особенныхъ обстоятельствъ народной жизни.

Въ Германія, Англія, Франція, где умственная жизнь развилась уже на множество отдёльных самостоятельных отраслей, дальнъйшіе успъхи каждой умственной дъятельности зависять преимущественно отъ появленія геніальныхъ людей. Въ Германіи, напримірь, ныні ніть беллетристовь, подобныхь Диккенсу и Теккерею, и въ этомъ состоитъ единственная причина жалкаго состоянія и мецкой беллетристики, которое и продлится до той поры, пока явятся геніальные писатели. Условія, отъ которыхъ зависить дальнъйшее развитіе русской литературы, совершенно не таковы. Они лежать въ публикъ. Литература можеть вызывать публику къ умственной дъятельности, но не можетъ ни замънить собою нублику, ни существовать безъ поддержки со стороны публики. Мы говоримь не о матеріальной поддержкі (хотя и въ этомь отношеній русская литература находится въ положеній вовсе неудовлетворительномъ: въ интнадцать летъ вышли только два изданія Пушкина, и оба изданія вийсти не составляють и 10,000 экземимяровъ), но о нравственной поддержкъ, которая гораздо важные

и, къ сожаленію, до сихъ поръ еще очень слаба, чтобы не сказать: совершенно ничтожна. Помъщались стихи въ журналахъпублика читала стихи, находила, что книжка журнала безъ стиховъ какъ-то не полна; вдругъ журналы стали являться безъ стиховъ-публика ничего не сказала противъ этого; потомъ опять появились въ журналахъ стихи-публика нашла, что действительно, журналь выигрываеть, пом'вщая стихотворенія.-Теперь пишутся романы изъ простонароднаго быта — публика находить это направленіе полезнымъ. Прекрасно. Но пусть перестанутъ писаться романы изъ простонароднаго быта, что скажеть публика? - Теперь нублика болье всего интересуется русскими повыстями. Превосходный романъ Теккерея не читается съ такою жадностью, какъ посредственная русская пов'єсть; а когда является пов'єсть д'єйствительно хорошая, восторгъ публики безпредъленъ. Но если бы вдругъ нерестали писаться русскія пов'єсти, какъ вы думаете, что сказала бы русская публика?

Нельзя упрекать нашу публику въ отсутствіи сочувствія къ литературѣ; нельзя упрекать ее и въ неразвитости вкуса. Напротивъ отъ особеннаго положенія нашей литературы, составляющей самую живую сторону нашей духовной деятельности, и отъ состава нашей публики, къ которой принадлежать всъ наиболье развитые люди, въ другихъ странахъ мало интересующіеся беллетристикою и поэзіею, — отъ этихъ особенностей происходить то, что ни одна въ міра литература не возбуждаетъ въ образованной части своего народа такой горичей симпатін къ себь, какъ русская литература въ русской публикъ, и едва ли какая нибудь публика такъ здраво и вёрно судить о достоинствё литературныхъ произведеній, какъ русская. Самъ Байронъ не быль для англичанина предметомъ такой гордости, такой любви, какъ для насъ Пушкинъ. Изданіе сочиненій Байрона не было для англичанина національное дёло, какимъ недавно были для насъ изданія Пушкина и Гоголя. Вотъ вамъ факты относительно сочувствія публики; а за развитость ея вкуса ручаются тысячи случаевъ. Не говоримъ объ оценке публикою нашихъ собственныхъ писателей, которая вообще очень справедлива. Но какую замъчательную здравость вкуса обнаруживаеть постоянно наша публика и въ оценке иностранныхъ писателей! Французы восхищаются до сихъ поръ Викторомъ Гюго и Ламартиномъ-кто у насъ раздъляетъ эту ошибку? Англичане до сихъ

поръ ставять Бульвера наравить съ Диккенсомъ и Теккереемъ—у насъ кто не видить разницы между этими писателями? Нечего памъ гордиться этимъ превосходствомъ: оно происходить единственно оттого, что у насъ занимается чисто литературными вопросами та часть общества, которая въ Англіи и Франціи уже не кочеть удостоивать своимъ вниманіемъ этихъ, какъ тамъ кажется, мелочей. Но какъ бы то ни было, отчего бы то ни происходило, не подлежитъ сомивнію, что наша публика обладаетъ, въ нынѣшнемъ своемъ составѣ, двумя драгоцѣнѣйшими для развитія литературы качествами: горячимъ сочувствіемъ къ литературѣ и замѣчательно вѣрнымъ взглядомъ на нее. Педостаетъ нашей публикѣ только одного: сознанія своего вліянія на литературу. Потому литература зависитъ отъ каприза случайностей.

Девять лёть, прошедшія послё смерти Белинскаго, были безплодны для исторіи критики, и мы останавливаемся на обозрѣніи дъятельности Бълинскаго, потому что нечего больше сказать о русской критикъ, лучшимъ и современнымъ выражениемъ которой остаются до сихъ поръ его статьи. Но словесность наша не совершенно бездействовала въ это время. Напротивъ, поэты и беллетристы, образовавшіеся въ школ'є Б'єлинскаго или д'єйствующіе въ духѣ, представительницею котораго была его критика, достигли первенства въ нашей литературъ только уже въ послъдніе годы его жизни или послъ его смерти. Въ критикъ не нашлось людей, способныхъ продолжать начатое имъ; но словесность, какъ могла, продолжала развиваться въ направленіи, на которое указываль онъ. Въ тѣ годы, писатели новаго направленія еще только завоевывали себъ прочное положение въ литературъ; теперь они ръшительно господствують въ ней. Если обстоятельства позволять намъ исполнить во всемъ размъръ планъ, по которому начаты наши «Очерки», и первая часть котораго-обозрвніе критики-нами кончена, то мы должны будемъ обозравать во второй части нашего труда дъятельность русскихъ поэтовъ и беллетристовъ, начиная съ Гоголя до настоящаго времени. Отдёльныя изданія произведеній нікоторыхъ изъ этихъ писателей доставляютъ намъ случай опредълить ихъ значение для литературы въ отдельныхъ статьяхъ, которыя, однакожь будуть имъть непосредственное отпошение къ общей спстемф нашихъ «Очерковъ». 最初了

27890

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕНЪ.

А. 262. Аксаковъ, К. 76, 77, 93, 94, 106, 245, 246, 248, 249. Алипановъ. 74. Анакреонъ. 377. Анненковъ. 56, 161, 183, 185, 279. Араго. 139. Аристотель. 258. Аріосто. 75, 113, 148, 149, 169. Астъ. 188, 189, 192, 198.

Байронъ. 11, 19, 68, 70, 71, 75, 87, 176, 179, 181, 183, 189, 206, 299, 309, 364, 369, 381.
Бальзакъ. 63.
Баратынскій. 135, 137, 176, 199.
Батюшковъ. 82, 131, 135.
Баузе. 211.
Баяманъ. 221.
Баянъ. 189, 190.
Бемъ. Яковъ. 347.
Бенедиктовъ. 113, 135, 136, 141, 294.

314.
Бенигна (Полевой). 212, 214.
Беранже. 21, 265, 266, 299.
Бериетъ, 62.
Берценіусъ. 139.
Бетховенъ. 299.
Блеръ. 188.
Бопитъ. 138.
Боткинъ. 245.
Брамбеусъ, баронъ. 50—52, 54—63,

65—68, 71, 72, 77—79, 83—88, 90, 124, 228. Брумъ, пордъ 69. Брюловъ. 326. Буало. 47, 111, 112, 188. Булгаринъ. 71.

Булгаринъ. Буле. 211. Бульверь. 226, 382. Буслаевь. 138. Выстровь. Иванъ, 76. Вълинскій. 226—228, 230, 238—241, 243—245, 251, 254, 261, 262, 268, 269, 272—284, 289—298, 300, 301, 304—313 315, 316, 318, 321—325, 332—337, 339— 350, 356, 357, 366, 367, 374—376, 382.

Бълкинъ, А. 50. Бълоомутовъ, Иванъ (Надеждинъ), 190. Бъконъ. 168.

Вайгерсгеймъ, докторъ. 76.
Велианскій. 222.
Вельтманъ. 120, 187, 265.
Веневитиновъ 194.
Верстовскій. 214.
Вильберфорсъ. 127.
Виньи, Альфредъ де. 264.
Воейковъ. 55.
Вольтеръ. 63.
Воскресенскій, М. 72, 314.
Востоковъ. 138.
Вяземскій, князь. 54, 109, 123, 135, 157, 161, 216.

Галаховъ. 278. Галичей. 168, 294, 295. Гаммеръ. 61. Гегель. 24, 26, 47, 64, 110, 139, 146, 197, 221—223, 242, 243, 245, 252—263, 268, 269, 271—276, 296, 297, 299, 330. Гейне. 226, 249, 299. Генпади. 45. Гете. 14, 21, 22, 27, 40, 41, 70, 75, 142, 169, 189, 226, 248, 257, 299, 329, 330. Гвидо Рени. 132,

Гизо. 226.

170

Гильдебрандъ, И. 76. Глинка, Ө. 124, 135. Говардъ. 127. Гоггъ. 73.

 $\begin{array}{c} \Gamma_{07016}, \ 1, \ 2, \ 4, \ 7-23, \ 30-46, \ 50, \ 51, \\ 51-57, \ 61, \ 64, \ 65, \ 72-78, \ 81-86, \ 88, \\ 90-92, \ 104, \ 113, \ 114, \ 120, \ 124, \ 129, \\ 130, \ 134, \ 140-143, \ 145-163, \ 168, \ 170, \\ 171, \ 173, \ 203, \ 204, \ 225, \ 229-232, \ 234, \\ 238, \ 240-242, \ 248, \ 250, \ 251, \ 285, \ 290, \\ 294, \ 295, \ 299, \ 300, \ 307, \ 312-318, \ 355, \\ 352, \ 354, \ 357, \ 360, \ 369, \ 370, \ 381. \end{array}$

Голиковъ. 225. Голубинскій, Ө. А. 222.

Гомеръ. 75—77, 130, 148, 207, 316, 364. Гончаровъ. 19, 20, 116, 117, 149, 291. Горацій. 170, 185, 188, 207, 377. Гофманъ. 141, 266.

Грановскій. 278, 279. Гречъ. 71, 78, 124.

Грибовдовъ. 3, 17, 18, 20, 81, 218, 219, 228, 255, 298, 304, 307, 312.

Григоровичъ. 19, 20, 116, 117, 125— 127, 149, 225, 279, 294.

Григорьевъ, А. 51, 92. Гриммъ. 138.

Грузиновъ, Іосифъ. 71.

Гульяновъ 191.

Гумбольдть. 139, 169, 346, 347. Пюго, Викторь. 29, 31, 40, 41, 47, 50, 225, 226, 265, 294, 381.

Гюнтеръ. 309.

Давыдовъ, Денисъ. 135, 136. Даниловъ, Кирша. 135, 310. Дантъ. 137, 148, 149. Декартъ. 25, 168, 258, 261. Дельвигъ. 137, 165, 236. Демидовъ, М. 71.

Державинъ. 131, 169, 170, 188, 217, 218, 228, 235—237, 239, 240, 293, 294, 310, 351, 352, 364, 368.

Диккенсъ. 19, 21, 22, 38—40, 41, 47, 226, 234, 290, 294, 307, 328, 331, 380, 382.

Димъ, Фанъ. 62. Дмитріевъ, М. 101, 120, 121, 138, 371. Дюперронъ, Анкетиль. 347. Дюреръ, Альбертъ. 147. Дэви. 139.

Елагинъ, 184.

Жаненъ, Жюль. 63, 66, 67, 68. Жанлисъ. 47. Жанъ-Поль. 187. Жоржъ-Зандъ. См. Сандъ, Жоржъ Жуковскій. 1, 2, 27, 45, 107, 120, 123, 131, 135, 136, 143, 157, 161, 211, 248, 328, 369.

Genlis, madame. 206.

Загоскинъ. 8, 12, 81, 120. Зотовъ, В. 62, 68, 70, 71, 72, 314. Зражевская. 120, 124.

Иванчинъ-Писаревъ, Н. 138.

Кавелинъ. 215, 225, 279, 374. Калайдовичъ. 211. Каменевъ. 352. Каменскій. 124, 137.

Канова 132.

Кантемиръ. 17, 18, 313, 322, 368. Кантъ. 25, 103, 139, 221, 258, 261— 263, 299.

Капнистъ. 160, 161, 351.

Карамзинъ. 12, 56, 111, 112, 115, 116, 128, 124, 128, 211—213, 215, 224, 225, 237, 294, 309, 357, 867—869, 371.

Катковъ. 245, 249, 278. Каченовскій. 183—187, 199, 210, 212.

Каченовскій. 183—187, 199, 210, 212— 216.

Кеплеръ, 139. Кетчеръ, 278.

Киръевскій, 93—95, 97, 100, 105, 106. Ключниковъ. 245, 249, 278.

Козловъ. 19, 55. Кокъ, Поль де. 76, 77, 88, 355.

Колумбъ. 172. Кольриджъ. 120.

Кольцовъ 3, 20, 78, 137, 171, 204, 223, 225, 229, 230, 242, 245, 245, 246, 248, 249, 278.

Коперникъ. 139.

Косичкинъ, Өсофилактъ (Пушкинъ). 192

Кориель. 169. Коровкинт. 314. Корить. 278. Костровъ. 188, 190. Котельницкій, А. 39. Кошелевъ. 94. Краевскій. 279.

Красовъ. 245, 219. Кронебергъ, И. Я. 222, 279. Крыловъ. 17, 18, 178, 218, 228, 312, 368.

Ксенофонтъ. 344. Кудрявцевъ. 245, 278. Кузенъ. 24—26, 50, 103, 190, 191,

198, 266. Кузмичевт, Өедөтъ. 74. Кукольникъ. 68—71, 87, 124.

Кулябко, Сильвестръ. 189.

Куперъ. 226, 299. Кургановъ. 184. Кювье. 61, 71, 139, 169.

Лавуазье. 346. Лагариъ. 112. Лажечниковъ. 12. Ламартинъ. 21, 225, 226, 266, 299, 381. Ланласъ. 332. Лейбинцъ. 168. Лемъ. 73. Лерминье. 265. Лермонговъ. 3, 20, 40, 41, 70, 71, 77, 113, 123, 124, 132 – 137, 139, 141, 142, 149, 204, 225, 238, 241, 242, 249, 250, 264, 267, 278, 294, 301, 309, 311, 312, 315, 323, 354, 369. Лесажъ. 63.

Лессингъ. 27. Либихъ. 139, 169. Локкъ. 25.

Ломоносовъ. 115, 116, 129, 169, 188, 190, 218, 235, 237, 238, 241, 308—312,

322, 343, 344, 352. Дуганскій, казакъ. 120.

Луканъ. 188.

Люминъ, Эммануилъ. 72.

М., Николай (Кулишъ). 45. Майковъ. 137, 188, Маколей. 341, 342. Максимовичъ. 45. Марлинскій. 13, 27, 54, 87, 136, 141. 235, 240, 250, 300, 314, 323.

Мармонтель. 309.
Марріетъ. 63.
Масальскій. 124.
Мерзляковъ. 111, 112.
Мильтонъ. 327
Мильтонъ. 327.
Мидкевнчъ. 299.
Минелетъ 221.
Минле. 265.
Могила, Петръ. 189.
Мольеръ. 156.
Морозовъ. 50.
Муръ, Томасъ. 189, 299.

Надоумко (Надеждинъ). 166, 174— 179, 181—188, 190—192, 194—199, 202, 204, 205, 210—212, 214, 217, 219.

Надеждинъ. 53—55, 59, 166, 173—177, 181, 183, 186—193, 197—204, 214, 220—222, 228—231, 233, 234, 236, 238, 240, 242—244, 280, 281, 310.

Некрасовъ 279.

Нестроевъ (Кудрявцевъ). 250.

Нибуръ. 344. Нъкитенко. 125. Новиковъ. 56. Ньютопъ. 4, 139, 169, 172, 294, 295.

Огаревъ. 269.—273, 276, 279. Озеровъ. 34 Орловъ, А. А. 74, 192. Оспровъ, Н. 39. Островскій. 19. Очкипъ. 62. Oulybycheff, E. 72.

Павлова. 120. Павловъ, М. Г. 13, 222. Павскій, Г. П., протоїерей. 221. Панаевъ. 279. Паскаль. 355. Петровъ. 190.

Петръ Великій. 102, 138, 168, 170, 171, 225, 306, 310, 312, 337, 350, 357, 358, 360, 368.

Плетневъ. 157, 161, 162,

Илюшаръ, 61.

Погодинъ, М. И. 92, 93, 177, 190. Подолинскій: 176, 177, 204, 205.

Покровскій, И. 128. Полевой, Н. А. 15, 15, 23—27, 29—38, 36—42, 44—47, 50, 52, 54, 55, 59, 66, 72, 73, 78—80, 82, 84, 87, 88, 91, 124, 151, 176, 182, 183, 186—193, 197, 198, 201—203, 210, 213—216, 225, 230, 235, 236, 281, 310, 314, 323, 333, 347

Поне. 111, 112. Поповскій. 184, 188. Поповъ. 188. Потеръ, Попь. 158. Протопоповъ. 64

Протопоновъ. 64

IIушкинъ, А. С. 1—3, 12, 15, 16, 18—22, 27, 34, 35, 45, 54—57, 62, 66, 68, 75, 77, 80—83, 85, 86, 91, 112, 115, 116, 118, 123, 124, 128, 130—133, 135, 142, 143, 149, 156, 157, 161, 164—166, 169, 170, 173, 174, 176, 181, 182—186, 189, 192, 194—196, 204, 212, 214, 215, 225, 228, 230, 232, 236—242, 248, 250, 264, 265, 267, 278, 283, 291, 293, 294, 298, 299, 309, 312—314, 318, 323, 345, 346, 354, 368—370, 380, 381.

Пушкинъ, Вас. Льв. 185, 186.

Рабле. 63, 355.

Рафаэль. 132, 148, 149, 284, 328, 329. Ребо, Лун. 101.

Ронсаръ. 265. Ростопчина, 120. Румянцевъ. 190.

Руссо, Жанъ Батистъ. 310.

Руссо, Жанъ Жакъ. 264.

Саути. 27.

Савельевъ. 174.

Сандъ, Жоржъ. 19, 21, 22, 38—41, 47, 225, 226, 327, 364.

Свиньинъ. 129.

Сепковскій. 50, 53, 54, 59, 65, 78-80,

Септъ-Бевъ. 101.

Сервантесъ. 364.

Скоттъ, Вальтеръ. 19, 21, 69, 85, 136, 149, 225, 226, 299, 327, 364.

Сиговъ. 74.

Сидонскій, ∂. А. 222.

Сковорода. 294, 307.

Скюдери. 265.

Смирдинъ. А. Ф. 56, 57, 78, 80, 81.

Смить, Адамъ. 344. Соколовскій. 81.

Солдогубъ, графъ. 334 – 337.

Соловьевъ. 215, 225, 294, 374.

Софоклъ. 175. Спиноза. 261.

Станкевичъ, Н. В. 223, 243, 245-247, 250, 254, 263, 268, 269, 271, 273, 275,

277, 278.

Стернъ. 73. Страховъ. 207.

Студитскій, А. 101, 138.

Стурдза, А. 138.

Сумароковъ. 17, 35, 219, 351, 367.

Сю, Евгеній. 327.

Т. Л. Н. (гр. Левъ Толстой). 19. Тальма. 69.

Тальяндье, Сенъ-Репе. 101.

Тегнеръ. 299. Теккерей. 19, 21, 307, 380-382.

Теперани. 132.

Теньеръ. 158. Тикъ. 141, 142, 307.

Тить, Ливій. 344.

Тимовеевъ. 62, 68, 314. Товарницкій, Викторъ-Оома. 188, 189.

Толстой, Левъ. 19.

Тредьяковскій, 65, 156, 175, 184, 187,

Тургеневъ. 19, 116, 117, 125—127, 137, 149, 223, 246, 279, 294.

Тютюнджи-Оглу (Сенковскій) 50, 68. Тырановъ. 326. Тьеръ. 266.

Уордсвортъ. 299.

Фареде. 169.

Феселеръ. 222. Фильдингъ. 63. 156.

Фихте. 197, 221, 256, 258, 261, 299.

Флюгеровскій. 185

Фонвизинъ. 12, 17, 18, 85, 129, 158, 218, 219, 351, 368.

Фуксъ, Александра. 71.

Хемницеръ. 368.

Херасковъ. 188. Хиджеу, А. 307.

Хомяковъ. 93, 94, 102, 106, 120, 137, 294, 323.

Чернявскій, М. 72.

Шаликовъ. князь. 128.

Шаль, Филаретъ. 101.

Шампольйонъ. 61, 71. Шатобріанъ. 21, 225, 266.

Шевалье, Мишель. 101.

Шевыревъ. 50-52, 60, 92, 93, 101, 106-108, 110-124, 126-130, 132-136.

138-140, 142-145, 150-155.

Шекспиръ. 4, 19, 26, 35, 40, 130, 149, 169, 207, 249, 299, 306, 316, 326, 327, 329, 330, 364.

Шеллингъ. 24, 25, 103, 197, 221—223, 261, 299.

ППалиеръ. 27, 246, 248, 265, 299, 317.

Шишкина 124.

Шишковъ. 123, 128, 129.

Шреккъ. 207.

Штуцманъ. 188, 189, 192, 198.

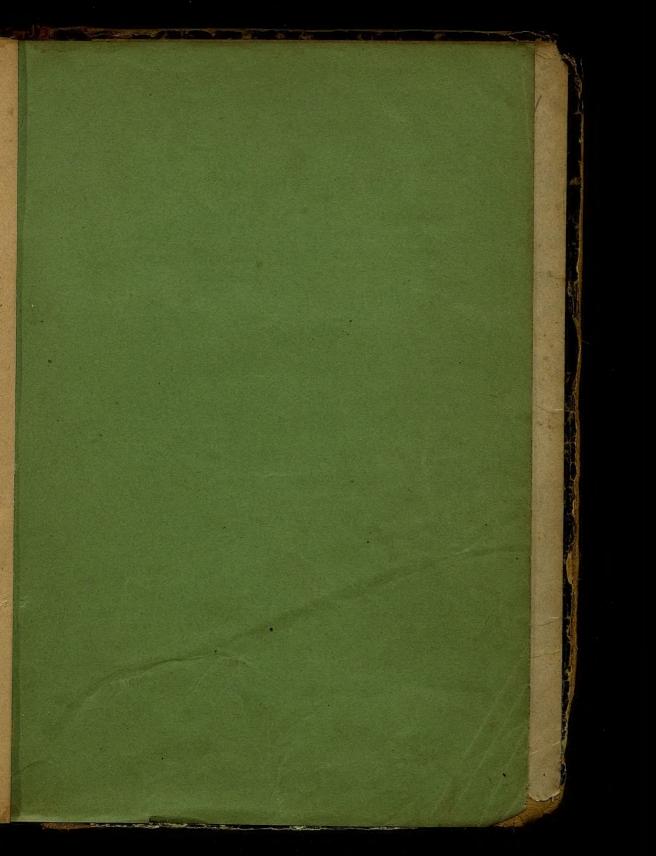
Эленшлегеръ. 299.

Языковъ. 19, 55, 137, 323.

Якоби. 221.

Якобсъ. 211. Ярославцевъ, А. 72.

-Ө- (Ключниковъ). 245, 249.



Fr. Fla.

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

Н. П. КАРБАСНИКОВА.

С.-Петербургъ, 1) Литейный пр., № 46. 2) внутри Гостиннаго двора, кладовая № 21. Мосива, 1) Моховая улица, домъ Коха.
 2) Плющиха, домъ Орлова. Варшава, Новый Свътъ, № 67.

Находятся на складѣ слѣдующія изданія М. Н. Чернышевскаго.

T.

ОЧЕРКИ ГОГОЛЕВСКАГО ПЕРІОДА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

(Современникъ 1855-1856 гг).

II.

КРИТИЧЕСКІЯ СТАТЬИ

— Пушкинъ. Гоголь. Тургеневъ. Островскій. Левъ Толстой. Щедринъ и др. —

(,,Современникъ" 1854—1861 гг.)

III.

ЭСТЕТИКА И ПОЭЗІЯ

—Эстетическія отношенія искусства къ дѣйствительности.— «О поэзіи», Аристотеля — «Пѣсни разныхъ народовъ».— Критическія статьи о русской поэзіи: Огаревъ, Бенедиктовъ, Щербина, Плещеевъ. — Лессингъ, его время, его жизнь и дѣятельность.—

("Современникъ" 1854—1861 гг.)

Дозволено цензурою С.-Петербургъ, 7 Іюля 1893 г. Типографія и Литографія В. А. Тиханова, Садовая № 27.

